

ДИДРО

и

ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ.

Джона Морлея.

ПЕРЕВЕЛЬ СЪ ПОСЛЕДНЯГО АНГЛІЙСКАГО ИЗДАНІЯ

В. Н. Невѣдомскій.

Издание К. Т. Солдатенкова

Цѣна 2 р. 50 к.

МОСКВА.

Типографія И. М. Мартынова, на Тверской улицѣ, домъ Іокотниковъ.

1882.

ДИДРО

и

ЭНЦИКЛОПЕДИСТЫ.

Джона Морлея.

ПЕРЕВЕЛЬ СЪ ПОСЛѢДНЯГО АНГЛІЙСКАГО ИЗДАНІЯ

В. Н. Невѣдомскій.

Чаданіе К. П. Солдатенкова.

1405-0



МОСКВА.

Типографія П. М. Мартынова, на Тверской улицѣ, домъ Локотниковой.
1882.

жизни и смерти, и каким образом въ конечномъ итогѣ
они удачно выразили въ своемъ произведении сущность французской
революции, а также и какъ они охарактеризовали
литературную группу, въ которой они находились.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Этой книгой заканчивается рядъ исследований о литературныхъ произведеніяхъ, подготовившихъ французскую революцію. Она отличается отъ однородныхъ съ нею сочиненій о Вольтерѣ и Руссо большею полнотою фактическихъ подробностей. Всякому образованному читателю болѣе или менѣе знакомы самые выдающіеся факты изъ жизни двухъ названныхъ знаменитыхъ писателей. Но касательно Дидро и Кружона, въ которомъ онъ жилъ, нельзя разсчитывать на такое знакомство и потому я счелъ за лучшее отвести значительное мѣсто,—надѣюсь, не слишкомъ большое, по мнѣнию читателей,—для такихъ подробностей, которыхъ не иногообразно отличаются отъ простаго изложенія фактovъ или отъ ихъ анализа. Такой пріємъ по меньшей мѣрѣ дастъ читателю возможность уяснить себѣ, каковы были на самомъ дѣлѣ идеи, встрѣтившія такое сильное сочувствіе, благодаря соціальному и экономическому положению, въ которомъ находилась Франція наканунѣ революціи. Забудовденія группы энциклопедистовъ достаточно очевидны. Они были недавно выставлены въ яркомъ свѣтѣ въ остроумныхъ и одностороннихъ преувеличеніяхъ такого блестательнаго литератора, каковъ г. Тэнъ. Такъ какъ было бы менѣе трудно упустить изъ виду соціальное значеніе и положительные достоинства литературныхъ произведеній этой группы писателей, то—подобно тому какъ я это дѣлалъ въ сочине-

ніяхъ о Вольтерѣ и Руссо,—я главнымъ образомъ старался выяснить, какое выдающееся мѣсто должна занимать въ исторіи идей именно эта сторона ихъ дѣятельности.

Издание сочиненій Дидро, на которое я дѣлаю ссылки, исполнено въ двадцати томахъ покойнымъ Ассезомъ и Морисомъ Турнѣ. Сверхъ того мнѣ известна только одна серьезная книга о Дидро, а именно прекрасное сочиненіе Розенкранца *Diderot's Leb'e n.*, вышедшее въ 1866 и представляющее обильные результаты всестороннихъ и тщательныхъ изслѣдованій. На другія многочисленныя критическія статьи о Дидро, написанныя Раумеромъ, Арндтомъ, Геттнеромъ, Дамирономъ, Берсомъ и въ особенности Карлейлемъ, я не считаю нужнымъ настоятельно указывать.

Май, 1878.

Примѣчаніе къ новому изданію.

Послѣ того, какъ слѣдующія за симъ страницы уже были напечатаны, я получилъ изъ Америки письмо, касательно упоминаемаго на стр. 401 разговора между Франкліномъ и Рейналемъ; въ этомъ письмѣ между прочимъ говорится:—«Передо мною лежитъ IV томъ Американскаго юридического журнала, изданного въ Филадельфіи въ 1813 г. и тамъ на страницѣ 458 я нахожу полный текстъ «рѣчи, которую произнесла миссъ Полли Бэкеръ въ Коннектикутскомъ судѣ, гдѣ производилось разбирательство ея уголовнаго дѣла.» Стало быть Рейналь быть бы правъ, еслибы вмѣсто Массачузета называлъ Коннектикутъ, и стало быть или Франклінъ сказалъ неправду или Силась Динъ.

СОДЕРЖАНИЕ.

Глава I.—Предварительные замѣчанія.

Стр.

Церковь въ половинѣ восемнадцатаго столѣтія	1
Новая фаза возстанія	3
Энциклопедія была ея символомъ.	4
Конецъ реакціи противъ Энциклопедіи.	6
Положеніе, которое занималъ Дидро въ эти мѣсяцы движенія.	6

Глава II.—Молодость.

Рожденіе и родина (1713).	8
Его семейство	9
Парижскіе литераторы	1
Дидро вступаетъ въ ихъ общество	12
Его жизнь въ Парижѣ: его симпатичный характеръ	14
Анекдоты о его добродушіи	16
Его снискходительность къ тѣмъ, кого отвергаетъ общество .	19
Его литературная борьба	21
Женитьба (1743).	22

Глава III.—Первые литературные произведения.

Неумѣніе пользоваться своими дарованіями	25
Сверхъ того Дидро былъ не столько великимъ писателемъ, сколько замѣчательнымъ собесѣдникомъ	28
Онъ былъ человѣкъ такого же типа, какъ Сократъ.	29
Работалъ по найму для книгопродавцевъ.	31
Философскія мысли (1746).	31
Вліяніе Шафтсбери	31
Цѣль Философскихъ мыслей	35
О достаточности натуральной религіи (1747).	42
Объясненіе привлекательныхъ сторонъ натуральной религіи .	43
Надзоръ полиціи надъ литераторами	45
Две черты изъ жизни писателей по найму.	46
Заарестованіе Прогулки скептика (1747)	47

Цѣль этого сочиненія	48
Вolumъ разсказовъ (1748).	50
Миѳія Диdro о назначеніи и характерѣ женщинъ	53

Глава IV.—Новая философія.

Разсказъ Вольтера объ операциіи, исполненной Чесельденомъ	56
Дидро печатаетъ <i>Письмо о слѣпыхъ</i>	57
Значеніе этого письма	58
Кондильякъ и Диdro	59
Содержаніе <i>Письма о слѣпыхъ</i>	59
Его главная сущность заключается въ примѣненіи условности къ понятію о Богѣ	61
Кембриджскій профессоръ Саундерсонъ	62
Приписываемое ему разсужденіе	63
Странное предвкушеніе одной знаменитой новѣйшей гипотезы	64
Критика Вольтера	67
Вліяніе философической точки зрења Диdro на теорію церкви	68
Это не былъ лишь метафизический споръ	69
Примѣръ житейской оригинальности Диdro	70
Мѣста, интересныя въ литературномъ отношеніи	71
<i>Письмо о глухо-пѣмыхъ (1751)</i>	72
Статуя Кондильяка	73
Дидро посаженъ въ Венсенскую тюрьму (1749)	75
Его посѣщаетъ Руссо	78
Разрывъ съ г-жою Плюизье	79
Дидро освобожденъ изъ заключенія	79

Глава V.—Энциклопедія.

(1) Ея исторія.

Прежніе примѣры энциклопедической идеи	81
Настоящее происхожденіе Энциклопедіи Диdro	83
Начало этого предпріятія	84
Содѣйствіе д'Аламбера; его исторія и характеръ	86
Миѳія Диdro и д'Аламбера объ обязанностяхъ литературы	89
Главный характеръ Энциклопедіи	90
Самые выдающіеся въ ней участники	91
Непрошеннные добровольцы	95
Участіе въ ней Вольтера	96
Стараніе не затрогивать господствовавшихъ предразсудковъ	98
Ея цѣлью была не литература, а жизнь	99
Появленіе первого и втораго тома (1751—2)	101
Дѣло Де-Прада	101
Дидро вступается за него (1752)	102
Отсюда происходитъ разрывъ между философами и яисенистами	102
Королевскимъ декретомъ приказано уничтожить два первыхъ тома (1752)	104

Неудачная попытка іезуитовъ продолжать начатое дѣло	105
Издаются еще четыре тома	106
Седьмой томъ (1757).	106
Онъ возбуждаетъ сильную непріязнь	107
Буря усиливается благодаря сочиненю Гельвеція L' Esprit .	108
Мѣтропріятія противъ Энциклопедіи	109
Ихъ внутреннее значеніе	109
Они совпадаютъ съ странной реакцией, происшедшей въ школѣ просвѣщенія	112
Удаленіе д'Аламбера	113
Дидро одинъ продолжаетъ дѣло въ теченіе семи лѣтъ	115
Мучительныя притѣсненія	116
Энциклопедія въ Версалі	117
Воспроизведенія и подражанія	120
Денежное вознагражденіе Дидро	121

(2) Общее содержаніе.

Философскіе нападки переходять въ соціальные	121
Обстоятельства, благодаря которымъ они оказываются практическими своевременными	122
Широкіе размахи вызванного Энциклопедіей переворота	123
Положительное направление Энциклопедіи	124
Чому мы называемъ ее орудіемъ политического переворота .	125
Статьи о земледѣліи	127
О Gabelle и Taille	127
О привилегіяхъ	128
О барщинѣ	129
О милиції	130
О вкладахъ на вѣчные времена, ярмаркахъ и промышленныхъ гильдіяхъ	131
О дичи и обѣ охотѣ	131
Пристрасіе къ подробностямъ касающимся промышленности .	132
Какой смыслъ имѣла важность, придававшаяся промышленности и наукѣ	133
Интеллектуальная сторона переворота	134
Положеніе, занятое Энциклопедіей по отношенію къ религії .	136
Какія были цѣли Дидро въ этомъ вопросѣ	137
Въ какой мѣрѣ планъ изданія осуществлялъ его желанія .	138
Предварительное объясненіе	139
Признаніе пользы преній	140
И религіозной терпимости	141

(3) Статьи самого Дидро.

Ихъ огромное разнообразіе	142
Постоянное стараніе внушать здравыя теоріи	143
И давать практическія указанія	144

VIII.

Стр.

Дидро не всегда стоять выше литературныхъ мелочей	146
У него не было никакого расположения къ безплодной учености	147
Его отзывы о Монтезъ и Бэйль	149
Мъстами онъ береть на себя роль моралиста	149
Измѣничивое положеніе по отношенію къ теологии	150
Практическія искусства	151
Источники изъ вторыхъ рукъ	152
Несообразности	153
Разсужденія о метафизикѣ	155
О Спинозѣ	156
О Лейбницѣ	158
О свободѣ	159
Странное противорѣчие съ самимъ собою	161
Политическая статья	163
О правительственномъ механизмѣ	164
Предвкушение идеи Кобдена	166
Заключеніе	168

Глава VI.—Общественная жизнь (1759—1770).

Отношения Дидро къ дѣвицѣ Воланѣ	170
Его письма къ ней	171
<i>Союзальпія о моемъ старомъ халатѣ</i>	173
Отсутствие домашняго комфорта	175
Его неукротимая жажда дѣятельности	177
Жизнь въ Грандвальѣ	178
Размышленія о человѣческой жизни	180
Онъ интересовался разсужденіями о человѣческихъ чувствахъ	183
Различныя высказанныя имъ мнѣнія	184
Замѣчаніе касающееся риторики	186
Впечатлѣніе, произведенное Англіей на Гольбаха	186
Два вопроса совѣсти	187
Рассказъ о людской порочности	190
Метода и геній: апологъ	191
Разговоръ	193
Обращеніе въ ничто	194
Характеристика вѣка	197
Неистощимое добродуше Дидро	198
Аббать Ле-Монье	198
Дѣвица Жоденъ	199
Ландуа	199
Руссо	201
Гrimmъ	203
Денежная дѣла Дидро	205
Денежная помощь, оказанная ему императрицей Екатериной .	205
Французские книгопродавцы въ восемнадцатомъ столѣтіи .	206
Разговоръ между Дидро и д'Аламберомъ	210
Мнѣніе англичанъ о кружкѣ, къ которому принадлежалъ Дидро	212

IX.

Глава VII.—Театръ.

Стр.

Въ какомъ смыслѣ Дидро былъ величайшимъ гениемъ своего вѣка	215
Отличительныя черты его теоріи драмы	216
Вліяніе Дидро на Лессинга	217
Его комедія <i>Незаконный сынъ</i> (1757).	217
Объясненіе ея достоинствъ	218
Его пониманіе важности пантомими	220
Діалоги приложенные къ <i>Незаконному сыну</i>	222
✓ Его вторая комедія <i>Отецъ семейства</i>	223
Одно коренное заблужденіе въ его теоріи драмы.	224
Скромное мнѣніе о своихъ собственныхъ произведеніяхъ.	225
Его восхищеніе Тереніціемъ	228
Дидро переводить Мурова <i>Игрука</i>	229
Отзывъ о Шекспирѣ	229
Парадоксъ касательно актеровъ	230
Разсказъ о Гаррикѣ	232
О правдѣ въ театральныхъ пьесахъ	233
Онъ не одобряетъ французскія классическія пьесы	234
Основанія драматического искусства	235
Дидро считаетъ себя творцемъ нового рода драмы	237
Онъ не создалъ особой школы	238
Почему Энциклопедисты не моглиничѣмъ замѣнить классическую драму	240
Великая драма восемнадцатаго столѣтія	241

Глава VIII.—Племянникъ г-на Рамо.

Настроеніе ума, изъ котораго зародилось это сочиненіе	242
Его исторія	243
Различныя мнѣнія о цѣли произведенія	245
Тунеядецъ Ювенала	246
Лукіанъ	247
Какъ Дидро описываетъ своего оригинала	248
Это описание не безъ фантастическихъ штриховъ	249
Это было нечто большее чѣмъ литературное развлечenie	250
Сарказмы касательно Палиссо	252
Споры о музыкѣ	253

Глава IX.—Другіе діалоги.

(1) <i>Разговоры отца съ своими детьми</i>	255
Замѣчанія объ этомъ произведеніи.	
(2) <i>Несостоятельность сужденій публики о поступкахъ частныхъ лицъ</i>	260
Замѣчанія.	
(3) <i>Дополненіе къ путешествіямъ Бюгенвилля</i>	264

Х.

Стр.

Философская сторона разсуждения неудовлетворительна	265
Онъ ничего не доказалъ своей критикой брака	269

Глава X.—Романы.

Отступление, которое необходимо, когда идетъ рѣчь о Дидро	271
Влияние Ричардсона на Европу	272
Дидро восхваляетъ его	273
Руссо и Ричардсонъ	274
Дидро пишетъ <i>Монахиню</i>	276
Обстоятельства, при которыхъ она быда написана	277
Цѣль этого произведения	278
Его характеристическая особенности	279
Стерни	279
Дидро пишетъ <i>Jacques le Fataliste</i>	280
Исторія этого произведения	280
Критика Гёте	281
Въ чёмъ заключалось подражаніе Дидро Ричардсону и Стерни	282
Въ <i>Jacques le Fataliste</i> не было настоящаго твор- чества	283
Ничѣмъ не выкупаемая грубость произведенія	284
Отсутствие въ немъ поэтичности и аромата	285

Глава XI.—Искусство.

Такъ называемые Salons	286
Достоинства, заключавшіяся въ этой критикѣ	287
Глубокія достоинства Дидро какъ критика	287
Французская критика произведеній искусства	288
Дюфреснѣ, Любо, Веббъ, Андрѣ, Баттѣ	290
Путешественники по Италии	291
Дидро никогда не былъ въ Италии	291
Духъ французскаго искусства въ ту пору	292
Любимецъ Дидро—Грэзъ	293
<i>Accordé de Village</i> Грэза	294
Гогартъ не могъ бы понравиться Дидро	296
Осмотрительность Дидро въ его критическихъ отзывахъ	297
Буше	297
Фрагонаръ	298
Дидро присовокупляетъ къ научной критикѣ литературную привлекательность	299
Его расположение уклоняться отъ предмета для нравствен- ныхъ соображеній	300
Онъ указываетъ на годные для живописи сюжеты	302
Онъ объясняетъ, какъ можно бы было улучшить содержаніе картины	303
Доказательства разнообразія въ его приемахъ	303
Очеркъ Дидро о живописи	306

XI.

Комментарій Гёте	Стр. 306
Различие типа между Гёте и Дидро.	307
Очеркъ Дидро о красотѣ	309
Онъ предвкушаетъ идеи Лессинга	310
Музыка	312

Глава XII.—С.-Петербургъ и Гага.

Дидро рѣшается посѣтить императрацу Екатерину	314
Княгиня Дашкова	314
Князь Голицынъ	315
Дидро въ Голландіи (1773)	315
С.-Петербургъ и русская цивилизација	317
Императрица	318
(Отзывы о ней дѣловыхъ людей	319
Ея влеченія къ французской культурѣ	320
Участіе, которое она принимала въ партіи французскихъ философовъ.	321
Это отчасти было результатомъ политическихъ разсчетовъ .	322
Философы и раздѣлъ Польши	325
Разсказъ Рюльера о восшествіи Екатерины на престоль .	326
Фальконетъ былъ первый французъ, къ которому она отнеслась благосклонно	327
Дидро пріѣзжаетъ въ Петербургъ (1773)	328
Его разговоры съ императрицей	329
Его политическая идеи не имѣли успѣха	330
Общее впечатлѣніе, которое онъ произвелъ	331
Гrimmъ опережаетъ его въ расположениіи двора	331
Возвращеніе Дидро въ Гагу.	332
Разсказъ Бернштеля о немъ	333
Современная голландская литература	334
Гемстругио.	336
Княгиня Голицына	337
Дидро возвращается въ Парижъ	338

Глава XIII.—Гельвецій.

Три произведенія, вдохновителемъ которыхъ считался Дидро .	339
L'Esprit Гельвеція	339
Современный протестъ противъ этого сочиненія	340
Вѣская критика Тюрго	340
Настоящая цѣль этой книги.	342
Разсказъ о Гельвеціѣ	343
Стиль его книги.	347
Содержащийся въ ней многозначительный принципъ	347
Онъ заимствованъ отъ Гельвеція Бентамомъ.	348
Гельвецій признаетъ теорію полезности.	349
Эта теорія оказывается въ его рукахъ неудачной	349

ХII.

Стр.

Его ложные выводы	351
Съ какой стороны его положенія вызывали опроверженія	351
Гельвецій опрометчиво берется за изложение правильной теоріи.	352
Смѣщеніе благотворительности съ себѧ любіемъ	352
Подраженія Мандевиллю	353
Аnekдоты	353
Въ чёмъ заключались заблужденія Гельвеція	354
Объясненіе ихъ причинъ	355
Положительная сторона его философскихъ идей	355
Настоящее ихъ значеніе	356
Второй важный парадоксъ въ L'Esprit	357
<i>Адольфъ Бенжамена Констана</i>	359

Глава XIV.—Гольбахова *Система природы*.

Появленіе въ свѣтѣ <i>Системы природы</i>	361
Она произвела ошеломляющее впечатлѣніе	362
Тревога Вольтера	363
Онъ никогда не понималъ основной идеи Гольбаха	364
Свѣдѣнія о Гольбахѣ	364
Его неуваженіе къ исторіи идей	366
Его неистовые нападки на правительство	367
Причины этихъ нападокъ	368
Теорія, изъ которой зародилась книга Гольбаха	369
Что такое былъ натурализмъ Гольбаха	370
Его мнѣнія о человѣкѣ	370
Онъ употребляетъ ортодоксальный выраженія, говоря о человѣческой гордости.	376
Его взглядъ на нравственность	376
Его нападки на теорію свободы воли	377
Связь между детерминизмомъ и гуманностью уголовныхъ наказаний	378
Его отвѣты на некоторые возраженія противъ детерминизма .	379
Глава о бессмертіи души	380
Его влеченіе къ реформамъ	381
Литература политической революціи	382
Ложное понятіе о Гольбаховой этической теоріи	383
<i>Система природы</i> была протестомъ противъ аскетическихъ идеаловъ	384
Содержаніе второй половины сочиненія	386
Онъ отвергаетъ априористический методъ	387
Возражаетъ противъ обычныхъ нападокъ на атеизмъ	388
Глава о превосходствѣ натурализма	389
Политическая сторона обвиненій противъ религіи	390
Наклонность Гольбаха къ пропагандѣ	390

XIII.

Глава XV.—Исторія Индій Рейналя.

	Стр.
Мнѣнія современниковъ объ Исторіи Индій	392
Свѣдѣнія о Рейналь	393
Составъ его сочиненія	396
Его разнородная популярность	396
Фридриху Великому оно не нравится	397
Выдающееся достоинство книги	398
Ея ошибки	399
Ея идеалистические вымыслы	399
Живость и разнообразіе ея содержанія	402
Виѣшнія причины ея популярности	403
Болѣе глубокія причины	404
Католицизмъ въ соприкосновеніи съ низшими породами людей .	405
Другая сторона этого предмета	406
Книга Рейналя была заступничествомъ за справедливость и человѣколюбие	407
Нравственные обязанности по отношенію къ низшимъ расамъ .	407
Рабство	408
Образъ дѣйствій Рейналя во время революціи	410
Его смерть	411

Глава XVI.—Послѣдніе годы Дидро.

Его размышленія о жизни и смерти	413
Старость одолѣваетъ его по возвращеніи изъ Россіи	414
Онъ пишетъ жизнь Сенеки	415
Ея достоинства	415
Почему карьера Сенеки была особенно интересна для Дидро .	416
Странное отступленіе	417
Причины раздраженія Дидро противъ Руссо	418
Его обычное великодушіе	418
Сношенія Дидро съ Вольтеромъ	420
Нэжонъ	421
Разсказъ Ромилы о Дидро	422
Палиссо и консервативные писатели	423
Церковные поборники старой системы	425
Предшественники мало по малу сходятъ со сцены	426
Галіани	427
<i>Mariage de Figaro</i> Бомарше	428
Знаменитое двустишие, написанное Дидро	428
Его лавгрыскіе соотечественники	429
Послѣдніе дни	430

Глава XVII. Заключеніе.

Разнообразіе сюжетовъ у Дидро	432
1) Мысли касательно объясненія природы	433

XIV.

Стр.

Loi d'Épargne Монпертюи	433
Общая цѣль афоризмовъ Диdro	433
Предсказаніе касательно геометріи	434
Утвержденіе, будто полезность устанавливаетъ границы философскихъ теорій	435
Другая сторона этого принципа	436
О конечныхъ причинахъ	437
Примѣненіе Лейбница закона о сбереженіи силъ природы	438
2) Сонб д'Аламбера	430
Дидро не былъ изобрѣтателемъ французскаго матерьялизма .	440
Матерьялизмъ трехъ диалоговъ	441
Нравственныя возраженія дѣвицы Леспинассъ	441
3) Планъ университета для Россіи	442
Религіозное образованіе	443
Латинскій и греческій языки	443
Письмо къ графинѣ Форбахъ	444
4) Разговоръ съ супругой маршала ***	444
Шаробола о юномъ мексиканцѣ	445
5) Письма къ Фальконету	446
Дидро вступается за желаніе пользоваться расположениемъ потомства	448

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Илемянникъ г-на Рамо въ переводѣ	449
--	-----

ОШИБКА.

На стран. 24 сказано, что дѣвица Воланъ умерла въ 1774; но есть основаніе думать, что она умерла въ 1784 или 1783.

ДИДРО.

ГЛАВА I.

Предварительные замѣчанія.

Въ прошедшемъ столѣтіи былъ такой моментъ, когда галлианская церковь надѣялась, что въ ея средѣ возстановится прежнее единодушие и что для нея настанетъ прежнее благоенствіе. Эта непродолжительная эра упований почти въ точности совпадаетъ съ половиной столѣтія. Въ то время Вольтеръ жилъ въ Берлинѣ въ изгнаніи. Авторъ *Персидскихъ Писемъ* и *Духа Законовъ* былъ уже старъ и близокъ къ смерти. Руссо переписывалъ на чердакѣ ноты. Энциклопедія возбуждала интересъ, но въ ней видѣли не болѣе какъ литературное предпріятіе нѣсколькихъ говорившихся книгоиздателей. Янсенисты, бывшіе за двадцать пять лѣтъ передъ тѣмъ столь многочисленными и столь бодрыми духомъ, имѣли теперь лишь очень мало послѣдователей въ средѣ французского духовенства. Великая корпорація служителей церкви достигла наконецъ того, что могла стоять несокрушимой твердыней насупротивъ своихъ враговъ—великихъ судебныхъ корпорацій. Правда, одинъ патріотическій министръ былъ такъ смѣль, что предложилъ обложить налогомъ церковную собственность, но церковь не поддалась и вышла изъ борьбы побѣдительницей. Именно въ то время были посланы войска для того чтобы отыскивать и разгонять собиравшихся въ пустынныхъ мѣстахъ протестантовъ, и ханжі приходили въ восторгъ при мысли, что тѣла пасторовъ будутъ качаться на висѣлицахъ, а еретическія конгрегаціи будутъ спасаться бѣгствомъ подъ выстрѣлами православныхъ мушкетеровъ. Австрійскій царствующій домъ былъ об-

бранъ невѣрующимъ Фридрихомъ, но всему свѣту было извѣстно, что гордая и благочестивая императрица-королева скоро найдетъ случай для страшной отмѣтки; при этомъ Франція была-бы на сторонѣ справедливости и истины. Въ то время можно было извинить увѣренность духовенства, что для суетлія, невѣжества, вредныхъ привилегій и жестокости наступаетъ самая блестящая и самая торжественная пора, какой еще не было со временемъ Реформации.

Теперь намъ извѣстно, что этимъ пылкимъ надеждамъ было суждено оказаться обманчивыми, и что это должно было случиться очень скоро. Съ небольшимъ черезъ сорокъ лѣтъ послѣ торжественнаго введенія отвратительной системы исповѣдныхъ свидѣтельствъ, завершившаго собою рядъ доказательствъ церковнаго преобладанія, Парижъ сдѣлался свидѣтелемъ празднества въ честь Высшаго Существа и поклоненія Богинѣ Разума. Церковь только что стала впадать въ дремоту, когда ее разбудили самымъ грубымъ и рѣшительнымъ образомъ. Она увидѣла передъ собою самыхъ энергичныхъ, отважныхъ и счастливыхъ соперниковъ, какихъ когда либо вдохновлялъ духъ прогресса. Въ сравненіи съ этимъ новымъ нападеніемъ Янсенизмъ представлялся не болѣе какъ незначительнымъ эпизодомъ въ семейной ссорѣ. Фомисты и Молинисты сдѣлались чѣмъ то въ родѣ союзниковъ, а квѣтизмъ сталъ казаться не болѣе какъ ересью. Въ каждомъ вѣкѣ, даже въ самыя отдаленные времена вѣры, появлялись нарушители умственного застоя. Послѣ того какъ Карлъ Великій ввелъ въ Европѣ новые порядки, почти каждое столѣтіе порождало какого нибудь индивидуума или какую нибудь небольшую группу людей, которые пускались въ провѣрку того или другаго пункта установленныхъ церковью вѣрованій, до которыхъ доходилъ слабый свѣтъ новой истины и которые старались доказать ошибочность, несостоятельность или непослѣдовательность старой системы мышленія. Вопросы, возникшіе въ самыхъ проницательныхъ умахъ сто лѣтъ тому назадъ, возникали и въ проницательныхъ умахъ людей жившихъ за нѣсколько сотъ лѣтъ передъ тѣмъ. И чѣмъ глубже мы проникаемъ въ исторію человѣческихъ мнѣній, тѣмъ болѣе зреетъ въ насть убѣжденіе, что въ высшихъ философскихъ сферахъ нѣтъ такого вопроса, который бы былъ бы совершенno новъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ едва ли найдется и такой на него отвѣтъ, который былъ-бы совершенно новъ. Но церковь знала, какъ нужно справляться съ опиравшимися на человѣческий разумъ бунтовщиками, начиная съ Абелляра въ двѣнадцатомъ столѣтіи и кончая Джорданомъ Бруно и Ванини—въ семнадцатомъ. Эти люди дѣйствовали по одиночкѣ; они большею частію смирялись безъ сопротивленія; въ противномъ же случаѣ церковь доказывала, что у нея длинные когти и что ихъ укољъ причиняетъ смерть. Сверхъ

того, всѣхъ этихъ достохвальныхъ предвозвѣстниковъ новыхъ идей дѣлалъ безсилыми одинъ важный недостатокъ, котораго не могла восполнить умственная проницательность: у нихъ была научная идея, но у нихъ не было идеи соціальной. Они были въ состояніи правильно опредѣлить достоинства силлогизма и настоящую сущность предмета. Они могли повѣдать Европѣ,—гораздо ранѣе чѣмъ это было дозволено церковью,—что земля вращается вокругъ земли и что напротивъ того земля вращается вокругъ солнца. Но они были совершенно неспособны справляться съ громадными трудностями нравственныхъ и соціальныхъ задачъ. Это дѣло, неизмѣримо болѣе важное чѣмъ разъясненіе какихъ бы то ни было вопросовъ изъ физики, взяла на себя и въ теченіе нѣсколькихъ столѣтій исполняла церковь съ такимъ успѣхомъ, какой только быть возможенъ при тогдашнихъ условіяхъ. Пусть тѣ писатели, которые незнакомы ни съ исторіей человѣчества ни съ человѣческойатурой, утверждаютъ, будто только естествознаніе въ состояніи улучшить соціальную условія нашей жизни. Здравый смыслъ цѣлаго міра всегда протестовалъ противъ этого грубаго заблужденія. Этотъ протестъ ясно выразился въ томъ, что въ теченіе столькихъ столѣтій всѣ молча подчинились системѣ управлѣнія, существовавшей въ Западной Европѣ, несмотря на то, что съ точки зрѣнія разсудка она была неудовлетворительна.

Въ началѣ второй половины прошедшаго столѣтія, протестъ противъ притязаній церкви и противъ католическихъ догматовъ выразился при одномъ изъ самыхъ важныхъ фазовъ своего развитія въ новомъ и очень знаменательномъ фактѣ. Въ этомъ фазѣ онъ вдохновился въ одно и тоже время и научной идеей и соціальной. Это былъ шагъ впередъ и въ сферѣ знаній и въ сферѣ нравственныхъ мотивовъ. Онъ ошипался на такую точку зрѣнія, которая хотя и была отчасти незрѣла и неправильна, однако, подобно той высокой точкѣ зрѣнія, на которой стояла церковь, обнимала собою человѣческую жизнь въ ея цѣлости. Правила нравственности, положительные законы, общественный порядокъ, домашняя жизнь, свойство и предѣлы человѣческаго знанія, организація физическаго міра—все это одно вслѣдъ за другимъ высвободилось изъ-подъ гнета богословскихъ толкованій. Окончательное философское направление вѣка во Франціи, олицетворявшееся въ Дидро, стало теперь клониться къ новому соціальному синтезису, построенному на чисто положительному фундаментѣ. Еслибы это направленіе присовокупило къ остальному своему содержанію пониманіе исторіи, его цѣль могла бы быть успешно достигнута. Но во всякомъ случаѣ его руководители обозрѣвали все поле дѣятельности съ такою акуратностью и на такомъ далекомъ разстояніи, какія только возможны при

имѣвшихся въ ихъ распоряженій средствахъ, и разбросали по всему миру массу такихъ идей, которая тотчасъ вступили въ энергическую борьбу съ старой системой, поконившейся на авторитетѣ. Великимъ символомъ такого расширявшагося въ объемъ протеста и была энциклопедія.

Энциклопедія въ сущности была столько же протестомъ противъ старой теоріи сколько протестомъ противъ старой организаціи общества. Главная суть изложенного въ ней нравоученія можетъ быть выражена въ слѣдующихъ общихъ чертахъ: человѣческая природа хороша, изъ нашего мира можно сдѣлать приятное мѣстопребываніе, зло есть плодъ дурного образования и дурныхъ учрежденій. Эта симпатичная теорія поражаетъ теперь нашъ слухъ какъ общее мѣсто и какъ трюизмъ. А лѣтъ сто тому назадъ она была во Франціи удивительной новинкой и началомъ новыхъ порядковъ. Это былъ новый великий принципъ, противопоставленный аскетизму въ жизни и нравственности, формализму въ искусствѣ, абсолютизму въ соціальныхъ порядкахъ и обскурантизму въ мышленіи. Съ тѣхъ поръ всякое соціальное улучшеніе было въ той или другой формѣ плодомъ этой доктрины. Убѣжденіе, что характеръ и участъ людей могутъ быть безконечно измѣняемы къ лучшему, сдѣлалось необходимымъ антецедентомъ для всякаго общаго и энергического усиленія измѣнить окружающая человѣка условія жизни. Громадное вліяніе, оказываемое раннимъ образованіемъ, законами и системой общественного устройства на пластические до безконечности импульсы человѣческой природы—вотъ тотъ принципъ, который привлекалъ къ общему дѣлу людей съ самыми различными характерами и наклонностями. Всякому понятно, къ какимъ широкимъ и глубоко проникающимъ въ сущность предметовъ выводамъ могла привести эта доктрина; всякому понятно, что она затрагивала всѣ вопросы, находящіеся въ связи съ психологіей и съ образованіемъ характеровъ, что она проникала въ самыя основы нравственности, что она освѣщала новымъ и нежеланнымъ свѣтомъ догматы старой теологии, что она придавала новое значеніе всѣмъ выводамъ реального знанія и практическимъ искусствамъ, что она усиливала интересъ всего, что касается домашней жизни, законодательства и управления.

Смертельная досада, съ которой духовенство смотрѣло на труды Энциклопедистовъ, была вполнѣ естественна. Ученіе церкви изображало человѣка павшимъ и нравственно испорченнымъ. А новое свѣтское учение и по буквѣ и по духу противорѣчило въ тысячѣ пунктовъ старымъ священнымъ истинамъ. Даже въ тѣхъ случаяхъ, когда не было такого противорѣчія, возбуждаемый новымъ ученіемъ живой интересъ и его привлекательность набрасывали на старые истины тѣнь пренебреженія. Возбуждать въ людяхъ сильную любо-

знательность и надежду касательно всего земного значило ослаблять ихъ заботливость о царствѣ небесномъ. Пробуждать въ нихъ стремленіе къ соціальнымъ улучшениямъ значило уничтожать самыя скандальные и самыя вопіющиа изъ существовавшихъ тогда соціальныхъ злоупотреблений. Старая духовная власть утратила прежнее умѣніе ловко и осторожно управлять умами. Вместо того, чтобы быть руководительницей и наставницей органовъ свѣтской власти, она сдѣлалась самой вредной соучастницей въ ихъ злоупотребленияхъ. Энциклопедія была ничто иное какъ безформенная, переходная и временная организація новой духовной власти. Школа, выразившая въ ней свои идеи, завладѣла высшимъ руководствомъ надъ умами благодаря единственному достоинству, дающему на это право,—благодаря старанию выяснить общественные нужды и найти средства для ихъ удовлетворенія.

Давно уже нашъ ветеранъ-юмористъ разсказывалъ намъ на своемъ причудливомъ языкѣ, что важность дѣяній французской философіи, изложенныхъ на цѣлыхъ десятинахъ печатныхъ словъ, почти испарилась, что знаменитое энциклопедическое древо не принесло плода, и что великий Дидро сузился до размѣровъ легко измѣримаго человѣка. Юмористический методъ конечно представляетъ очень удобное средство для составленія подобныхъ приговоровъ и для выраженія подобныхъ идей. Самые великие люди сдѣлаются легко измѣримыми, если будетъ установлена мѣрка на половину транспондентальная, на половину циническая. Болѣе здравая и болѣе терпѣливая критика иначе оцѣниваетъ выдающіяся личности прошлаго. Она старается выяснить ихъ отношенія къ великому мировому движению впередъ и спрашиваетъ, въ какую сторону небеснаго пространства были устремлены ихъ взоры,—къ востоку ли, откуда показываются новые лучи свѣта, или къ западу, гдѣ старые лучи безвозвратно померкли. Сверхъ того, болѣе здравая критика напоминаетъ намъ, что пионеры на прогрессивномъ пути рѣдки, что ихъ жизнь тяжела и наполнена страданіями, и что ихъ услуги передъ человѣчествомъ неоцѣнимы. Одинъ болѣе великий писатель чѣмъ Карлейль сказалъ: «Дидро—оригинальная личность; всякий кто дешево цѣнитъ его самого или его дѣятельность—филистеръ, а имя такимъ людямъ легионъ. Люди не научаются ни отъ Бога, ни отъ природы, ни отъ своихъ ближнихъ, какъ относиться съ признательностью къ тому, что неоцѣнимо по своему достоинству» (Гёте). Дѣйствительно, чрезмѣрное филистерство лежало въ основѣ великой умственной реакціи, которая слѣдовала за революціей, и даже такие ея апостолы, какъ Вордсвортъ и Карлейль, не вполнѣ избавились отъ этой заразы.

Лѣтъ сорокъ тому назадъ,—когда писалъ Карлейль,—преду-

бъжденному читателю можетъ быть дѣйствительно могло показаться, что Энциклопедическое древо не принесло плода. Но и въ то время и даже тогда, когда критика была погружена въ бесплодную трансцендентальность, бывшую тогда въ модѣ, было бы можно ожидать признанія того факта, что съмъ всѣхъ великихъ улучшенній, которая доставила Франції революція, не смотря на составлявшая ея хвостъ страшная несчастія, было посъяно Энциклопедистами. Но теперь, когда туманъ трансцендентальной реакціи начинаетъ разсѣваться, мы видимъ, что движение умовъ, которому дала толчокъ Энциклопедія, снова въ полномъ ходу. [Матеріалистические выводы при изученіи человѣка, гуманныя цѣли законодательства, натурализмъ въ искусствѣ, живая вѣра въ способность человѣческихъ учрежденій совершенствоваться,— вотъ въ чемъ снова заключаются отличительныя черты философскихъ теорій и руководящихъ идей въ практической дѣятельности.] Философія перестала играть роль вставки, окружаемой скобками. Въ исторіи преобразованія основъ мышленія восьмидесятилѣтній перерывъ занимаетъ не болѣе мѣста, чѣмъ морганіе глаза въ человѣческой жизни. А этому перерыву теперь насталъ конецъ. Европа снова видѣтъ стоящихъ лицомъ къ лицу старыхъ противниковъ—церковь и соціальную философію, медленно подвигающуюся къ разработкѣ своихъ основныхъ идей въ положительную науку. Насъ не можетъ не интересовать разслѣдованіе цѣлей, средствъ и степени успѣха тѣхъ, кто, сотню лѣтъ тому назадъ, самымъ яснымъ образомъ предвидѣлъ, какого слѣдуетъ ожидать глубокаго и обширнаго измѣненія въ идеяхъ западной Европы. Намъ всего удобнѣе разслѣдовать это въ связи съ бiографіей Дидро.

Все равно—принимаемъ ли мы или отвергаемъ энергическое утвержденіе Конта, что Дидро былъ величайшимъ геніемъ восемнадцатаго столѣтія, мы по менышей мѣрѣ не можемъ отрицать того, что онъ былъ однимъ изъ членовъ великой партіи просвѣщенія съ полнымъ правомъ называться философомъ. Вольтеръ и Руссо стояли во главѣ двухъ важныхъ школъ и каждый изъ нихъ оставилъ по себѣ глубокіе и ясно распознаваемые слѣды своего вліянія на мнѣнія и событія своего вѣка. Было бы не трудно доказать, что ихъ вліяніе было шире чѣмъ вліяніе того философа, который видѣлъ недостатки и того и другаго. [Но Руссо вдохновлялся страстью и чувствомъ, а Вольтеръ обладалъ лишь блестящимъ и проницательнымъ рационализмомъ.] Только у одного Дидро, въ этомъ знаменитомъ тріо, была въ умѣ идея о научномъ методѣ; только у него замѣтно пониманіе важности теоріи—важности широкихъ органическихъ и руководящихъ идей. Онъ обладалъ рѣдкой способностью къ настоящему философскому мышленію. Хотя онъ былъ неизмѣримо ниже

Вольтера и Руссо по таланту литературного изложения, онъ въ такой же мѣрѣ превосходилъ ихъ ширину и реальностью своего принципа. Отъ него ведетъ свое начало натуральная, реалистическая и симпатическая школа литературной критики. Онъ пытался создать новые формы для драмы. Какъ въ произведенияхъ фантазіи, такъ и въ критикѣ его дѣятельность была постояннымъ обращеніемъ отъ искусственныхъ условій классическихъ школъ къ дѣйствительнымъ условіямъ общественной жизни. То же самое направление въ связи съ общими стремленіями его философскихъ теорій возвысило его до уровня тѣхъ немногихъ людей, которые были самыми замѣчательными и самыми безпредвзятными исследователями человѣческой природы и условій человѣческой жизни. Такой оригинальный и дѣятельный умъ былъ-бы способенъ заинтересовать насъ даже независимо отъ выдающагося мѣста, которое онъ занимаетъ въ исторіи литературы и идеяй.

ГЛАВА II.

Молодость.

Дени Дидро родился въ Лангрѣ въ 1713 и, стало быть, былъ нѣсколькими мѣсяцами моложе Руссо (1712), почти двадцатью годами моложе Вольтера (1694), двумя годами моложе Юма (1711) и одиннадцатью годами старше Канта (1724). Онъ происходилъ отъ старого и пользовавшагося хорошей репутацией рода. Члены его семьи въ прямой яисходящей линіи участвовали не менѣе чѣмъ въ теченіи двухъ столѣтій въ обширной мѣстной промышленности—въ ножевомъ ремеслѣ. Дидро любилъ напоминать о засвидѣтельствованныхъ исторію доблестяхъ своего роднаго города, начиная со временъ Юлія Цезаря, древнихъ Лингоновъ и Сабина и вплоть до временъ Великаго Монарха. Повинуясь наклонности своего поколѣнія объяснять нравственные свойства людей климатическими условіями, онъ приписывалъ живость и подвижность мѣстнаго населения вліянію частыхъ и рѣзкихъ атмосферическихъ перемѣнъ отъ жары къ холоду, отъ спокойствія къ бурѣ, отъ дождя къ солнечному сіянію. «Такимъ образомъ они съ самаго ранняго дѣтства привыкали мѣняться вмѣстѣ съ направленiemъ вѣтра. У жителей Лангра голова на плечахъ похожа на тотъ флюгеръ, который торчитъ на верхушкѣ церковнаго шпица. Она никогда не останавливается на одномъ пункте; если же она возвращается на тотъ пунктъ, на которомъ была прежде, то это вовсе не для того, чтобы на немъ остановиться. При удивительной подвижности въ своихъ побужденіяхъ, желаніяхъ, планахъ, фантазіяхъ и идеяхъ, они отличаются отсутствиемъ дара слова. Что касается до меня, то я дитя моей родины». Это было вполнѣ вѣрно. Онъ унаследовалъ всю измѣн-

чивость своихъ соотечественниковъ, всю ихъ быструю стремительность и вмѣсть съ тѣмъ нѣкоторую долю ихъ неумѣнья выражаться.

Его отецъ былъ изъ числа самыхъ честныхъ, прямодушныхъ, трудолюбивыхъ и здравомыслящихъ людей. Дидро всегда жалѣлъ, что со старика не сняли портрета въ то время, какъ на немъ надѣть было фартукъ, на носу были очки, а рука держалась за кое-лесо точильного камня. Послѣ его смерти, ни одинъ изъ сосѣдей не могъ безъ слезъ говорить о немъ съ сыномъ. Какъ ни была сумасбродна и беспорядочна жизнь, которую велъ Дидро въ молодости, онъ всегда питалъ искреннюю привязанность къ своему отцу. «Одной изъ самыхъ пріятныхъ минутъ въ моей жизни», — сказалъ онъ однажды, — «была та, которую я пережилъ болѣе тридцати лѣтъ тому назадъ и которая сохранилась въ моей памяти такъ свѣжо, какъ будто это случилось вчера; я возвращался изъ школы, мои руки были завалены полученными наградами, на моихъ плечахъ лежали полученные мною ѣнки, которые были слишкомъ велики и потому сползали съ моей головы. Лишь только отецъ за-видѣлъ меня, онъ оставилъ работу, бросился къ дверямъ мнѣ на встрѣчу и заплакалъ. То было прекрасное зрѣлище — серьзный и безукоризненный человѣкъ, растроганный до слезъ». ¹⁾ О его матери мы имѣемъ мало свѣдѣній. У него была сестра, которая, какъ кажется обладала неразвитыми задатками его собственныхъ наклонностей. По его словамъ она была «жива, дѣятельна, любезна, рѣшительна, легко входила въ обиду, медленно приходила въ себя, мало заботилась о настоящемъ или будущемъ и неохотно подчинялась чужой волѣ или обстоятельствамъ; она была свободна въ обращеніи, и еще болѣе свободна въ разговорахъ; это было нечто въ родѣ Діогена въ юбкѣ.... Мнѣ никогда не случалось встрѣтить другое созданіе столь оригинальное и съ такими же рѣзкими особенностями; это — олицетворенная доброта, но съ особенной физіономіей». ²⁾ У его единственного брата проглядывали нѣкоторые изъ тѣхъ же семейныхъ свойствъ, но въ болѣе блѣдномъ и непривлекательномъ видѣ. Изъ него вышелъ аббать и святоша, сварливый и недовѣрчивый человѣкъ, столь же чрезмѣрно склонный къ набожности, сколько знаменитый его братъ былъ склоненъ къ противному. «Онъ бы былъ бы хорошимъ другомъ и хорошимъ братомъ», — писалъ Дидро, — «еслибы религія не заставляла его заглушать въ себѣ такія низкія влечения. Онъ — хороший христіанинъ, ежеминутно доказывающій мнѣ, что было бы лучше, еслибы онъ былъ хорошимъ человѣкомъ. На его примѣрѣ видно, что такъ называемое евангел-

¹⁾ Oeuv., XVIII. 505.

²⁾ Ibid. 364.

лическое совершенство есть ничто иное, какъ вредное искусство заглушать природу, которая вѣроятно и въ немъ заговорила-бы такъ же сильно какъ во мнѣ»¹⁾.

Точно такъ, какъ и многіе другіе реформаторы восьмнадцатаго столѣтія, Дидро былъ воспитанникомъ іезуитовъ. Его пылкій, порывистый, не въ мѣру живой temperamentъ не разъ вовлекалъ его въ порочные поступки. Но его живой и дѣятельный умъ преодолѣлъ всѣ препятствія. Его наставники, всегда предусмотрительно отыскивавшіе людей съ выдающимися способностями, надѣялись завербовать его въ члены своего ордена. Неизвѣстно ими-ли, или имъ самимъ было задуманъ планъ бѣгства изъ родительскаго дома, но во всякомъ случаѣ слухъ обѣ этомъ дошелъ до отца. «Мой дѣдъ», — писала дочь Дидро, — «хранилъ самое глубокое молчаніе, но уходя спать, захватилъ съ собою ключи отъ выходной двери». Услышавъ, что сынъ спускается съ лѣстницы, онъ догналъ его и спросилъ, куда ему понадобилось ити въ полночь. «Въ Парижъ», — отвѣчалъ юноша, — «для того чтобы поступить къ іезуитамъ». «Этого не будетъ сегодня ночью; впрочемъ ваше желаніе будетъ исполнено, но прежде того мы должны высপаться». На другой день утромъ его отецъ взялъ два мѣста въ почтовой каретѣ, и отвезъ его въ Парижъ въ учебное заведеніе Гаркуръ. Приведя все въ порядокъ, онъ простился съ сыномъ. Но добрый старикъ горячо любя этого мальчика, не былъ въ состояніи покинуть его, не убѣдившись хорошо ли ему тамъ; онъ имѣлъ терпѣніе выждать цѣлыхъ двѣ недѣли, кое какъ убивая свое время и смертельно скучая въ гостиницѣ, и даже не видаясь съ тѣмъ, для кого онъ оставался въ Парижѣ. По истеченіи двухъ недѣль, онъ отправился въ учебное заведеніе и Дидро не разъ говоривалъ, что такое доказательство заботливости и привязанности заставило бы его пойти на другой край свѣта, еслибы только этого пожелалъ его отецъ. «Другъ мой», — сказалъ ему старикъ, — «я пришелъ освѣдомиться, хорошо-ли вамъ, довольны-ли вы вашимъ начальствомъ, вашей пищѣ, вашими товарищами и самимъ собою. Если вамъ не хорошо или если вы недовольны, мы вмѣстѣ возвратимся къ вашей матери. Если же вы желаете тутъ остаться, то я пришелъ сюда для того, чтобы поговорить съ вами, чтобы обнять васъ и оставить вамъ мое благословеніе.» Мальчикъ объявилъ, что онъ совершенно доволенъ, а его начальникъ сказалъ, что онъ отлично учится, но что уже замѣтно, что онъ не всегда будетъ изъ числа послушныхъ²⁾.

По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ молодому Дидро, какъ и всѣмъ

1) *Oeuvres*, XVIII, 379.

2) *Ibid.*, I. 30.

другимъ сынамъ Адама, пришлось подумать о добываніи средствъ существованія. Тогда наступила обычна борьба между юношескими влечениями и старческою опытностью. Его отецъ, принадлежавший къ числу людей съ состояніемъ, предоставилъ ему выборъ между медициной и законовѣдѣніемъ. Но отъ законовѣдѣнія онъ отказался, потому что не желалъ тратить свое время на заботы о чужихъ дѣлахъ, а отъ медицины потому, что не имѣлъ наклонности убивать людей. Тогда отецъ рѣшительно отказался доставлять ему денежные средства и Дидро долженъ былъ разсчитывать лишь на свои личные способности.

Въ концѣ первой половины прошедшаго столѣтія въ Парижѣ, точно такъ какъ и въ Лондонѣ, на литераторовъ смотрѣли какъ на отверженцевъ и прощелыгъ. Вольтеръ, Грэй и Ричардсонъ были едва ли не единственные три выдающіеся писателя того времени, никогда не знавшіе, что значить голодать или выходить изъ дома, не имѣя на себѣ рубашки. Но ни одинъ изъ нихъ не зависѣлъ въ средствахъ существованія отъ произведеній своего пера. Всѣ другіе писатели того времени, произведенія которыхъ впослѣдствіи услаждали и поучали весь міръ, начали свою карьеру горемыками и бездомными скитальцами, а многіе изъ нихъ провели такъ всю свою жизнь и такъ-же ее кончили. Фильдингъ и Коллинсъ, Гольдсмітъ и Джонсонъ въ Англіи, Гольдони въ Италіи, Вовенаргъ, Мармонтель, Руссо во Франціи, Винкельманъ и Лессингъ въ Германіи,—всѣ они не былиувѣрены, будеть ли на что пообѣдать и не знали, гдѣ придется переночевать. Всѣ они вели жизнь, зависящую отъ простыхъ случайностей, и должны были безпрестанно прибѣгать къ мелочной изворотливости. Грустно подумать, сколько литературныхъ произведеній того времени, всего болѣе услаждающихъ и возвышающихъ нашу душу въ трудныя минуты нашей жизни, писались съ болью въ сердцѣ и среди самыхъ тяжелыхъ заботъ. Литераторы въ то время впервые пріобрѣли ясно очерченный характеръ, отличавшій ихъ и отъ ученыхъ стараго закала и отъ систематическихъ мыслителей. Маколей указалъ намъ на противоположность между нищетою наемныхъ писателей Грубъ-стрита во времена Джонсона и почестями, воздававшимися въ болѣе раннюю пору Прайору и Аддисону, а также значительными суммами, которые выплачиваются книгопродавцамъ писателямъ нашего времени. Но его блестящія замѣчанія касаются лишь внешней стороны прошедшей великой перемѣны. Ея значеніе почти вовсе не зависитъ отъ цѣнъ, уплачиваемыхъ за литературные произведенія. Самый важный фактъ относительно литераторовъ во Франціи заключался въ томъ, что они образовали изъ себя новый классъ людей, что ихъ возвышеніе было равнозначуще съ перемѣщеніемъ духовной власти изъ рукъ церкви

и что, сдѣлавшись органами новой общественной силы, они присо-
вокупили къ этому и новые теоріи для замѣны старыхъ. Эти лю-
ди были не только воспитанниками іезуитовъ, но также ихъ не-
посредственными преемниками въ качествѣ наставниковъ и руково-
дителей общества. Въ теченіе двухъ сотъ лѣтъ послѣдователямъ
Лойолы принадлежалъ умственный и нравственный контроль надъ
католическими общинами, выпавшій изъ ослабѣвшихъ рукъ папъ и
свѣтскаго духовенства. Теперь пробилъ и ихъ часъ. Историки ра-
ціоналисты рѣдко отдавали справедливость заслугамъ, которыхъ бы-
ли оказаны этимъ великимъ орденомъ европейской цивилизациі.
Безнравственность многихъ изъ ихъ принциповъ, ихъ слишкомъ ча-
стое участіе въ политическихъ неправдахъ съ цѣллю пріобрѣтенія
власти, ихъ неумолимая ненависть къ противникамъ, ихъ жадность
и вредная дѣятельность въ годы ихъ упадка,—вотъ что скрывало
отъ нашихъ глазъ многія прекрасныя страницы іезуитской хроники.
Даже такие люди, какъ Дидро и Вольтеръ, чья жизнь была въ тѣ-
ченіе многихъ лѣтъ отравлена іезуитскими кознями, не разъ доказы-
вали, что они сознаютъ, въ какой мѣрѣ ихъ старые наставники
содѣйствовали образованію и просвѣщенію Европы. Именно отъ свя-
тыхъ отцовъ—іезуитовъ пріобрѣли прошедшіе ихъ школу литерата-
торы тотъ практическій и соціальный складъ ума, благодаря которому
имъ представлялся столь реальнымъ нашъ міръ съ своими на-
сущными интересами. Можетъ быть также на своихъ іезуитскихъ
наставниковъ могли бы литераторы взвалить вину въ нѣкоторомъ
недостаткѣ твердости и правильности своихъ понятій о нравствен-
ности.

Каковъ же былъ этотъ новый классъ людей, возникшій путемъ
борьбы, очень скоро давшій знать о себѣ и наконецъ вполнѣ успѣв-
шій захватить наслѣдство, оставшееся отъ старой духовной орга-
низациі? Что же были за люди эти литераторы? Сатирику было бы
не трудно изобразить ихъ въ эпиграммахъ, наполненныхъ плохими
насмѣшками; школьній педантъ можетъ быть видеть въ нихъ не
болѣе какъ людей, легкомысленно и пошло изадѣвавшихъ надъ таин-
ствами знанія; ученый нахаль, питающій свой собственный разбор-
чивый умъ безплодною критикою, презираетъ ихъ. Тѣмъ не менѣе
литераторамъ пришлось исполнять свою задачу въ критической пе-
ріодъ соціального перерожденія. Ихъ не слѣдуетъ смѣшивать ни съ
великими мыслителями—систематиками, ни съ великими творцами
произведеній фантазіи. Они не родились ни на крыльяхъ широкой
философской идеи, ни на крыльяхъ возвышенной поэтической идеи.
Они были лишь распространителями одной доли такихъ идей, а так-
же нѣкоторыхъ другихъ, отъ нихъ производныхъ, и менѣе широ-
кихъ. У нихъ не было,—какъ у замѣненныхъ ими отцовъ—іезуи-

тобъ,—ни органической доктрины, ни историческихъ традицій, ни настоящей дисциплины, ни опредѣленной, широкой, далеко простирающейся и сосредоточенной цѣли. Характеристической чертой ихъ дѣятельности была разбросанность. Они отличались тѣмъ, что старались популяризировать такія отрывочные идеи, какія общество способно усвоить, старались возбудить интересъ къ этимъ идеямъ, облекая ихъ въ разнообразныя формы литературнаго искусства, старались знакомить съ ними людей, обсуждая эмпирически и отрывочно каждый вопросъ изъ частной или общественной жизни, или каждое новое мнѣніе по мѣрѣ того какъ они возникали. Мы вовсе не намѣрены превозносить такого рода дѣятельность. Напротивъ того, я раздѣляю мнѣніе того проницательнаго наблюдателя, который предостерегалъ насъ, утверждая, что «склонность къ изолированію есть изъява для человѣчества и что если мы хотимъ быть сильны, мы должны дѣйствовать сообща. Если мы чего либо достигаемъ, то это лишь благодаря тому, что развиваемъ между людьми духъ дисциплины».¹⁾ Но бываютъ и такія эпохи, когда критика не поддается никакой дисциплинѣ и когда вредъ отъ изолированія не такъ великъ, какъ вредъ отъ незрѣлой и преждевременной организаціи. Фонтенель былъ первымъ и въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ самымъ замѣчательнымъ типомъ этого класса людей. Онъ былъ скептикъ и ученый, былъ талантливъ и краснорѣчивъ. Его дѣятельность обнимаетъ промежутокъ времени (1657—1757) начиная съ знаменитаго спора о сравнительномъ достоинствѣ древнихъ и новыхъ писателей и кончая Энциклопедіей, начиная съ Боссюэта и Корнеля и вплоть до Жан-Жака и Дидро. Когда онъ родился, литераторы еще не существовали, когда онъ умеръ, литераторъ былъ самою видною личностью во Франціи. Но когда Дидро началъ шататься по парижскимъ улицамъ, эта громадная перемѣна еще не совершилась вполнѣ.

Въ теченіе лѣтъ десяти (1734—1744) исторія жизни Дидро была повторенiemъ старыхъ разсказовъ о лишеніяхъ и приключеніяхъ, о замѣчательной твердости характера и обѣ отличной честности, не всегда очищенной отъ плутовскихъ продѣлокъ. Одно время онъ зарабатывалъ немного денегъ уроками. Если ученикъ былъ понятливъ и послушенъ, онъ не тяготился работой и былъ доволенъ, что бы ему ни платили и если даже ничего не платили. Если же ученикъ былъ тупоуменъ, Дидро никогда болѣе не возвращался въ домъ и пред-

¹⁾ Wahlverwandschaften, pt. II. ch. VII. Читатель хорошо сдѣлаетъ, если познакомится съ философской оцѣнкой дѣятельности литераторовъ изъ сочиненія Кюта Philosophie Positive, V. 512, VI. 192, 287. Самое лучшее современное изложеніе принциповъ и направлений литераторовъ восемнадцатаго столѣтія можно найти у Кондорсе въ его Esquisse d'un d'abre u etc., р. 187—9 (Ed. 1847).

почиталъ ложиться спать не поужинавши. Ему платили за уроки всѣмъ чѣмъ вздумается,—рубашками, стульями или столомъ, кни-
гами, деньгами, а иногда и вовсе ничего не платили. Необычайная
плодовитость его натуры внушала ему гордое равнодушіе къ мате-
ріальнымъ мелочамъ. Съ самой молодости онъ принадлежалъ къ
числу тѣхъ людей, которые по своей природѣ ставить жизнь выше
питанія, а тѣло выше одежды. Внѣшнія условія жизни были для
него дѣйствительно вѣйшими. Они никогда не мучили его и не
поглощали его вниманія по цѣлымъ днямъ и ночамъ, они никогда
не заглушали въ немъ сильнаго природнаго инстинкта, указывав-
шаго ему, въ какой мѣрѣ слѣдуетъ придавать значеніе житейской
обстановкѣ. Его умъ былъ настроенъ на одинъ ладъ съ тѣмъ древ-
нимъ философомъ, который, узнавши что все его имущество погибло
при кораблекрушеніи, сказалъ: *Jubet me fortuna expeditius philosophari*. Однажды онъ имѣлъ счастіе попасть въ настав-
ники въ сыну одного богатаго человѣка. Онъ исполнялъ свои обя-
занности съ усердіемъ, пользовался хорошимъ помѣщеніемъ и хо-
рошимъ столомъ. И хозяинъ дома былъ вполнѣ доволенъ имъ. Но
по прошествію трехъ мѣсяцевъ механическій трудъ сдѣлался для
него невыносимымъ. Отецъ воспитанника предлагалъ ему такую
плату, какую онъ пожелаетъ, лишь бы только онъ остался. «По-
смотрите на меня», возразилъ наставникъ, «мое лицо желто какъ
лимонъ. Изъ вашихъ дѣтей я дѣлаю людей, но живя среди нихъ
я ежедневно мало по малу самъ обращаюсь въ ребенка. Въ ва-
шемъ домѣ я живу въ такомъ достаткѣ и комфорѣ, который въ
тысячу разъ болѣе того, какъ мнѣ нуженъ, но я долженъ оставить
его; я чувствую потребность не въ томъ, чтобы лучше жить, а въ
томъ, чтобы избѣжать смерти». Тогда онъ снова перешелъ отъ ком-
форта къ жизни на чердакѣ. Если ему случалось встрѣтить какого
нибудь стараго пріятеля изъ Ланgra, онъ занималъ у него денегъ,
а его честный отецъ уплачивалъ этотъ долгъ. Материнскія сбереже-
женія доставлялись ему чрезъ посредство одного долго служившаго
въ ихъ домѣ вѣрнаго человѣка, которому пришлось не разъ та-
скаться пѣшкомъ съ этимъ порученіемъ и который прибавлялъ къ
маленькой посылкѣ и свои собственные небольшие заработки. Много
разъ случалось, что среди лишеній часы казались ему слишкомъ
длинными. Однажды, во вторникъ первой недѣли великаго поста,
онъ рано всталъ и не нашелъ въ своемъ карманѣ ни одной копѣйки.
Его пріятели не пригласили его на свои грязныя пирушки. Голодъ
и мысли о томъ, какъ онъ прежде веселился на масляницѣ и какъ
ищутъ подъ далекимъ роднымъ кровомъ, лишили его способности
работать. Онъ поспѣшилъ выйти изъ дому и пробродилъ цѣлый
день, посѣща тѣ публичныя мѣста, которыхъ открыты для людей

безъ гроша. Когда онъ возвратился вечеромъ на свой чердакъ, его хозяйка замѣтила, что онъ впалъ въ обморокъ и изъ состраданія, свойственного добрымъ людямъ, настояла на томъ, чтобы онъ по-ужиналь вмѣстѣ съ нею. «Въ этотъ день», — рассказывалъ Дидро въ старости своимъ дѣтямъ, — «я далъ себѣ слово, что, если настанутъ болѣе счастливыя времена, и что если у меня будутъ денежнныя средства, я никогда не откажу въ помощи никакому живому существу, и никогда не заставлю его провести этотъ день такъ же печально какъ я». ¹⁾ Но главный интересъ этой истории заключается въ томъ фактѣ, что никогда еще никакое данное слово не было исполнено съ большою точностью. Нѣть болѣе вѣрного признака богато одаренной натуры, чѣмъ тотъ фактъ, что человѣкъ не дѣлается ни дикаремъ, ни несчастнымъ, ни мизантропомъ при такомъ горѣ, которое не происходитъ отъ сентиментальнаго углубленія въ самаго себя, но грызетъ его и давить и при которомъ человѣкъ даже не находитъ поддержки въ чувствѣ собственнаго достоинства.

Дидро пережилъ горькія минуты. Ему были знакомы и уныніе и упадокъ духомъ, неизбѣжно навѣщающіе того, кто живетъ одинокой и беспорядочной жизнью. Но они не долго продолжались. Отъ нихъ не оставалось юдкаго осадка, а это служить доказательствомъ здороваго темперамента, если только не происходитъ просто отъ огрубѣнія. Но Дидро былъ болѣе чѣмъ кто либо изъ его современниковъ далекъ отъ такого отвратительнаго свойства. Онъ всегда отличался чѣмъ-то въ родѣ широкой душевной безпечности. Онъ смотрѣлъ на жизнь вскользь и снисходительно. Житейскія условія и приличія, слова, которыми люди прикрываютъ правду, всѣми принятыя мнѣнія, безконечно разнообразныя особенности человѣческаго характера, многочисленныя усложненія въ нашемъ образѣ дѣйствій и въ нашей судьбѣ, — все это онъ высматривалъ въ окружавшей его средѣ и не спѣшилъ выражать результаты своихъ наблюдений въ какомъ нибудь принципѣ или въ какой нибудь теоріи. Его умъ не стѣснялся никакими установленными пріемами. Онъ нисколько не былъ зараженъ той наклонностью разыгрывать роль просвѣщеннаго человѣка, которою Гёте развратилъ столькихъ людей при слѣдующемъ поколѣніи. Онъ никогда не дѣлалъ изъ своей собственной жизни центръ цѣлаго міра. Развитіе и идеализированіе самого себя, какъ конечная цѣль, показались бы Дидро кукольной комедіей, свидѣтельствующей объ изнѣженности характера. Ежедневное и ежеминутное обращеніе къ результатамъ наблюденій съ цѣлью возвести какое либо зданіе въ своемъ собственномъ вкусѣ, показалось бы ему непонятнымъ и даже противнымъ въ теоріи и невозможнымъ

¹⁾ Naigeon, p. 24.

на практикѣ. Среди всѣхъ лишеній своей юности, и впослѣдствії среди исполинскихъ срочныхъ работъ, его предохранили отъ нравственного паденія неистощимая жизненная сила и искренность его природныхъ наклонностей. И онъ не суживалъ дѣятельность этихъ наклонностей обращеніемъ вниманія лишь на одни вѣшнія формы человѣческихъ отношеній. Для Дидро не трудно было поступать согласно съ тѣмъ принципомъ, котораго мы большею частію придерживаемся лишь на словахъ: онъ обращалъ вниманіе не на то, что люди говорили и даже не на то, что они дѣлали, а лишь на то, каковы они въ сущности.

Тотъ, кого онъ разъ нашелъ достойнымъ любви и уваженія, могъ причинять ему всякия непріятности, безъ опасенія оттолкнуть его отъ себя. Всякій въ состояніи оцѣнивать характеры по образу дѣйствій; но въ тѣхъ случаяхъ, когда затрагиваются наши собственные интересы, не всякий въ состояніи объяснять поступки при помощи предварительного знакомства съ характеромъ дѣйствующаго лица. Такъ напримѣръ отецъ Дидро могъ бы безъ затрудненія давать сыну такое содержаніе, которое избавило бы его отъ мучительныхъ лишеній бродячей жизни въ Парижѣ. Человѣкъ менѣе богато одареный отъ природы и менѣе благородный, чѣмъ Дидро, пришелъ бы въ негодованіе отъ упрямства непреклоннаго старика. А Дидро, напротивъ того, добродушно смотрѣлъ на это разномысліе какъ на такую случайность, отъ которой не можетъ ослабѣть искренность старой привязанности. «Въ первые годы моего пребыванія въ Парижѣ», — однажды разсказывалъ онъ одному изъ своихъ знакомыхъ, — «я вѣль жизнь очень беспорядочную; поведеніе мое было таково, что должно бы было прогнѣвить моего отца даже въ томъ случаѣ, еслибы ему не преувеличивали того, что было на самомъ дѣлѣ. Но въ клеветѣ не было недостатка. Ему рассказывали — но чего ему не рассказывали обо мнѣ? Мнѣ представился случай побывать у него. Я ни минуты не колебался, и отправился съ полной увѣренностью въ его сердечной добротѣ. Я былъ увѣренъ, что онъ будетъ радъ меня видѣть, что я брошусь въ его объятія, что мы оба расплачемся и что все будетъ забыто. И я не ошибся». ¹⁾ Невозможно сомнѣваться въ прочности врожденныхъ наклонностей, когда видимъ съ одной стороны такую упорную привязанность въ соединеніи съ такимъ полнымъ довѣріемъ, а съ другой — такую искреннюю любовь. Мы выскажемъ банальную истину, когда замѣтимъ, что человѣческая жизнь не была бы наполнена столькими дрягами, еслибы люди не мѣшали своему внутреннему зреѣнію проникать сквозь искажающую его пелену эгоиз-

¹⁾ Oeuv., XIX. 162.

ма въ самую сущность привязанностей, сердечныхъ побужденій и родственныхъ связей.

Въ теченіе всей своей жизни Дидро былъ одаренъ тѣмъ божественнымъ даромъ состраданія къ ближнимъ, который едва ли кто либо согласился бы промѣнять на умъ Аристотеля. И это состраданіе не имѣло у него того сентиментального характера, который свойственъ изящнымъ дамамъ. Одинъ изъ его пріятелей чувствовалъ отвращеніе къ тѣмъ женщинамъ, которые произвели на свѣтъ ребенка. «Какое уродливое чувство!» писалъ Дидро; что касается до меня, то я всегда бываю растроганъ такимъ положеніемъ. На женщину изъ простонародья находящуюся въ такомъ положеніи я не могу смотрѣть безъ нѣжнаго состраданія». ¹⁾ Сверхъ того состраданіе у Дидро было деликатное и почтительное. Въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ разсказываетъ о бѣдной женщинѣ, которую обидѣлъ священникъ; по неимѣнию денегъ она не обращалась къ покровителюству закона, пока не вступился за нее одинъ изъ пріятелей Дидро. Процессъ былъ выигранъ, но когда приступили къ исполненію судебнаго рѣшенія священникъ успѣлъ скрыться со всѣмъ своимъ имуществомъ. Женщина пришла благодарить своего покровителя и выразить ему сожалѣніе о понесенныхъ имъ убыткахъ. «Во время разговора она вынула изъ кармана дрянную табакерку и кончиками пальцевъ стала подбирать оставшійся на донышкѣ табакъ; ея благодѣтель сказалъ ей: «А! у васъ вышелъ весь табакъ, такъ дайте мнѣ вашу табакерку, я снова наполню ее». Онъ взялъ въ руки табакерку и положилъ въ нее нѣсколько лундоровъ, прикрывши ихъ сверху табакомъ. Вотъ поступокъ, который совершенно въ моемъ вкусѣ и также въ вашемъ! Помогайте, если можно, но избавьте бѣдняка отъ срама протягивать свою руку». ²⁾ И важно еще то, какъ мы уже замѣтили, что въ самомъ Дидро было столько же доброты сколько и въ мнѣніяхъ, которыхъ онъ высказывалъ. Не такъ какъ для большинства краснорѣчивыхъ говоруновъ того времени, для него такія наивныя сердечные движения были самой реальной стороной его жизни. Никто другой такъ не спѣшилъ оказать помощь ближнему, и никто другой не былъ такъ безпеченъ относительно своего собственного комфорта.

Не разъ уже была рассказана одна оригинальная исторія касательно его небрежнаго отношенія къ самому себѣ, но разказать ее еще разъ будетъ вовсе не лишнимъ для тѣхъ эгоистовъ, среди которыхъ мы живемъ. Однажды утромъ къ нему пришелъ молодой человѣкъ и подалъ ему рукопись. Онъ просилъ Дидро сдѣ-

¹⁾ Ibid., 89.

²⁾ Ibid., 93.

лать ему одолжение просмотрѣть ее и сдѣлать на поляхъ поправки, которая онъ найдетъ нужными. Дидро прочелъ въ рукописи Ѳдкую сатиру на свою собственную личность и на свои сочиненія. Когда молодой человѣкъ снова пришелъ, Дидро спросилъ его, что побудило его къ этимъ нападкамъ. «Мнѣ нечего Ѳсть», отвѣчалъ сатирикъ, «и я надѣялся, что вы дадите мнѣ нѣсколько пятифранковыхъ монетъ за то, что я этого не напечатаю». Дидро тотчасъ все извинилъ изъ состраданія къ голодному писакѣ. «Я научу васъ, какъ добыть этимъ путемъ еще больше денегъ. Братъ герцога Орлеанскаго принадлежитъ къ разряду благочестивыхъ людей и потому ненавидитъ меня. Посвятите ему вашу сатиру, на перенесѣтъ поставьте его гербъ и отнесите ее ему въ одно прекрасное утро; онъ, навѣрно, не откажеть вамъ въ пособіи». «Но я не знакомъ съ принцемъ и не съумѣю написать посвященія». «Присядьте», сказалъ Дидро, «я вамъ его напишу». Посвященіе было написано, сатира была отнесена къ принцу и авторъ ея получилъ хорошее денежное вознагражденіе ¹⁾.

Мармонтель утверждаетъ, что Дидро никогда не представлялся въ такомъ выгодномъ для себя свѣтѣ, какъ въ тѣхъ случаяхъ, когда какой нибудь писатель приходилъ къ нему посовѣтоваться о своей работе. «Вы тогда увидѣли бы»—писалъ онъ,—«что онъ тотчасъ обнимаетъ умомъ всю суть содержанія, проникаетъ въ нее до самой глубины, и мгновенно опредѣляетъ все богатство и всѣ красоты, которыхъ для нея доступны. Если онъ замѣчаетъ, что авторъ не попалъ на настоящій путь, онъ не слѣдя за чтеніемъ, тотчасъ до-дѣлываетъ въ своей головѣ все то, что оставалось у автора недоконченнымъ и неудовлетворительнымъ. Если это была театральная пьеса, онъ вносилъ въ нее новыя сцены, новыя приключенія, новые черты характера, и воображая что онъ на самомъ дѣлѣ слышалъ все то, что было создано его воображеніемъ, онъ превозносилъ до небесъ произведеніе, которое только что было прочитано, и въ которомъ, при его выходѣ въ свѣтѣ, не оказывалось ничего похожаго на то, что онъ цитировалъ оттуда.... Будучи однимъ изъ самыхъ просвѣщенныхъ людей своего вѣка, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ быть однимъ изъ самыхъ любезныхъ; а когда онъ откровенно высказывалъ свое мнѣніе о чемъ либо, касавшемся нравственныхъ достоинствъ человѣка, въ его краснорѣчиѣ была такая увлекательность, которую я не могу выразить словами. Вся его душа отражалась въ его глазахъ и на его устахъ; никогда еще физіономія не изображала съ такою вѣрностью сердечную доброту» ²⁾. Морелле также превозноситъ Дидро не только за блескъ, оживлен-

¹⁾ Oeuvres, XIX; I. XLVIII.

²⁾ Мармонтель, Мѣм., vol. II. b. VII. p. 315.

ность, разнообразие и искренность его разговора, но также за его доступность и снисходительность для всѣхъ, кто въ немъ нуждался, и за полную участія симпатичную готовность, съ которой онъ предоставлялъ лучшую долю самого себя въ распоряженіе другихъ¹⁾.

Нѣтъ надобности утверждать, что такой характеръ постоянно подавалъ поводъ къ тому, что имъ злоупотребляли. По мнѣнію родственниковъ Дидро, три четверти его жизни были принесены въ жертву тѣмъ, кто нуждался въ его деньгахъ, въ его знаніяхъ или въ его услугливости. Его дочь сравнивала его библіотеку съ лавкой, въ которой покупатели постоянно сбывають одни другихъ, но получаютъ все что имъ нужно не путемъ покупки, а путемъ дароваго захвата. Къ счастію для Дидро, онъ былъ такъ великодушенъ по temperamentu а не потому, что разсчитывалъ на призательность. Всякій нуждающійся плутъ, способный расплакаться когда нужно и притвориться растроганнымъ, могъ надуть его и обобрать. Такъ напримѣръ онъ много хлопоталъ ради одного изъ такихъ нуждающихся и неотвязчивыхъ просителей, снабжаяль его деньгами и совѣтами и потратилъ много времени на оказаніе ему услугъ Наконецъ распростившись съ отѣзжающимъ пріятелемъ, Дидро проводилъ его до лѣстницы. Тогда благодарный пріятель спросилъ его, знакомъ ли онъ съ натуральной исторіей. «Немножко», отвѣчалъ Дидро; «я умѣю отличить алоевое дерево отъ латука, и голубя отъ колибри». «А знакомы ли вы съ *Formica leo*? Нѣтъ? Такъ я вамъ расскажу, что это — маленькое насѣкомое, чрезвычайно искусное; оно продалбливаєтъ въ землѣ отверстіе въ формѣ воронки, прикрываетъ его поверхность легкимъ мелкимъ пескомъ, привлекаетъ туда другихъ насѣкомыхъ, схватываетъ ихъ, высасываетъ изъ нихъ весь соокъ и потомъ говоритъ имъ: «Г-нъ Дидро имѣю честь пожелать вамъ доброго дня»²⁾.

Но Дидро не различалъ наглости отъ неблагодарности. Онъ всегда внимательно прислушивался ко всякому разсказу о чужой бѣдѣ, всегда мгновенно увлекался чувствительностью и никому не отказывалъ ни въ тратѣ своего времени, ни въ деньгахъ, ни въ услугахъ. Я не берусь рѣшить, возвышались ли или умалялись его добродѣтели оттого, что онъ относился съ чрезмѣрной снисходительностью къ тѣмъ, кого общество выбрасывало изъ своей среды, какъ негодяевъ. Наша грубая привычка клеймить человѣка словомъ негодяй возмущала его. Общая наклонность брать на себѣ роль публичныхъ обвинителей отъ имени всего человѣчества казалась ему самой вредной изъ всѣхъ человѣческихъ слабостей. «Вамъ из-

1) Morellet, Mѣm., I. p. 29.

2) Oeuv., I. XLVIII.

вѣстно», говоривъ онъ, «какъ неукротимы страсти; вы взвѣсили всѣ обстоятельства на вашихъ вѣчно неизмѣнныхъ вѣсахъ; вы произносите приговоръ о томъ, хорошъ или дуренъ человѣкъ; вы назначаете награды и наказанія за такія дѣянія, между которыми нѣтъ взаимнаго соотношенія. Увѣрены-ли вы, что вы никогда не сдѣлали такого дурнаго дѣла, которое вы извинили самимъ себѣ, потому что его цѣль была незначительна, хотя въ основѣ его было болѣе безнравственности, чѣмъ въ преступленіяхъ, вызванныхъ нищетой или изступленіемъ? Даже суды, опирающіеся на свою опытность, на законы, на обще принятая мнѣнія, иногда заставляющія ихъ постановлять приговоры, не одобряемыя ихъ собственной совѣстью, не всегда безъ внутренняго трепета произносятъ приговоръ надъ обвиняемымъ. И когда же дозволялось закономъ, чтобы одно и тоже лицо было и судьей и обвинителемъ? ¹⁾ Это осмысленное мягкосердечіе есть одно изъ самыхъ благородныхъ свойствъ въ характерѣ мужчины. «На меня производятъ болѣе сильное впечатлѣніе прелести добродѣтели, нежели безобразіе порока», — говорилъ Дидро, и обѣ этихъ словахъ не худо бы было иногда напоминать людямъ еще болѣе достойнымъ чѣмъ самъ Дидро; «я тихонько отворачиваюсь отъ дурнаго человѣка и бросаюсь въ объятія хорошаго. Если въ какомъ нибудь произведеніи, характерѣ, картинѣ, статуѣ, есть хоть что нибудь хорошаго, мои глаза на немъ и останавливаются; я ничего не вижу кромѣ него и ничего другаго недерживаю въ моей памяти; обо всемъ остальномъ я позабываю» ²⁾.

Въ этомъ и заключается секретъ рѣдкаго и прекраснаго характера. Благодаря ему Дидро успѣшно прошелъ чрезъ всѣ тяжелыя испытанія, неизбѣжныя при вступлѣніи на тернистое литературное поприще. То, чего другіе достигали благодаря своему умственному развитію, онъ достигъ благодаря своимъ врожденнымъ силамъ и природнымъ способностямъ. Намъ неизвѣстно, какимъ путемъ Дидро развивалъ и обогащалъ свой умъ. Его примѣчанія къ переводу сочиненій Шафтсбери, равно какъ его первыя оригиналныя произведенія, доказываютъ, что онъ не только читалъ Монтзеня и Паскаля, но и взвѣшивалъ ихъ идеи вполнѣ самостоятельно. Они также доказываютъ, что на него произвѣла впечатлѣніе *Civitas Dei* св. Августина и что онъ по меньшей мѣрѣ заглядывалъ въ произведенія Теренція и Гораций, Цицерона и Тацита. Его послѣдующія сочиненія доказываютъ, что, подобно другимъ писателямъ того времени, онъ находилъ въ нашей англійской литературѣ главный внѣшній стимулъ для умственной дѣятельности. Особенно сильное впе-

¹⁾ Оену, XIX. 55.

²⁾ Ibid. XVIII. 376.

чательніе произвели на него блестящія идеи знаменитаго Бэкона и эти же идеи послужили непосредственнымъ источникомъ для самаго великаго предпріятія въ жизни Дидро. Онъ, какъ говорятьъ, мало читалъ, но много размышлялъ,—а это самый лучшій способъ развитія для немногихъ людей такого же какъ онъ крѣпкаго закала. Работа, которую ему пришлось исполнять изъ-за средствъ къ существованію, была такого рода, что сломила бы всякаго, кто не одаренъ самыми выдающимися способностями. Онъ сочинялъ даже проповѣди. Какой-то миссіонеръ заказалъ ему пол-дюжины проповѣдей для произнесенія ихъ въ португальскихъ колоніяхъ съ платою по пятидесяти кронъ за каждую, и Дидро не смотрѣлъ на это какъ на одну изъ плохихъ торговыхъ сдѣлокъ. Для человѣка съ геніемъ это была нищенская работа, но Дидро никогда не старался выдавать себя за геніального человѣка, а довольствовался такой жизнью, какая слагалась сама собою. Когда ему случалось оставаться безъ обѣда и не имѣть въ карманѣ ни одной копѣйки, онъ начиналъ съ грустью помышлять о томъ, что ему придется покинуть свои книги и свое перо и подчиниться желаніямъ отца. Но достаточно было одной строчки изъ Гомера, одной идеи изъ *Principia*, одной интересной алгебраической или геометрической проблемы для того, чтобы возвратить жаждѣ знанія ея неодолимую силу. И лишь только пробуждалось въ немъ это господствующее влеченіе, материальные заботы исчезали какъ облака отъ солнечныхъ лучей, и умъ его снова дѣлался спокойнымъ и яснымъ.

Монтескіѣ говоривалъ, что онъ никогда не зналъ такого горя, котораго нельзя бы было разогнать въ пол-часа чтеніемъ. У Дидро былъ такой-же счастливый характеръ.

Однако Дидро въ сущности не принадлежалъ къ разряду начитанныхъ людей. Онъ никогда не впадалъ въ общее всѣмъ писателямъ заблужденіе, будто въ самихъ книгахъ заключается ихъ конечная цѣль и никогда не ставилъ литературу выше жизни. Его вниманіе сосредоточивали на себѣ характеры людей, ихъ страсти, ихъ взаимныя отношенія и житейская траги-комедія, но отнюдь не печатная ея тѣнь или изображеніе. Въ этомъ отношеніи онъ имѣлъ болѣе сходства съ Руссо, нежели съ Вольтеромъ или Фонтенелемъ. «Кромѣ моего существованія», говоривалъ онъ, «и благополучія моихъ собратьевъ, какое мнѣ дѣло до всего остального»? Однако, какъ мы уже замѣтили, никто еще никогда не интересовался болѣе его научными свѣдѣніями. Его біографъ и ученикъ указывалъ на противорѣчіе между его пылкимъ порывистымъ характеромъ и восторженностью съ одной стороны и его неусыпной, внимательной наблюдательностью—съ другой. *Faire le bien, connaître le vrai*—въ этой формулы онъ выражалъ свой идеалъ жизни и опредѣлялъ

единственные особенности, которыми въ его глазахъ люди отличаются другъ отъ друга. А единственнымъ разумнымъ мотивомъ для разслѣдованія истины было по его мнѣнію пріисканіе средствъ, чтобы дѣлать добро. Такъ силенъ былъ въ немъ практическій житейскій смыслъ, не смотря на то, что вокругъ него постоянно занимались составленіемъ теорій.

Въ то время, когда Дидро съ большимъ трудомъ добывалъ насущный хлѣбъ для самого себя, онъ страстно влюбился въ жившую по сосѣдству швею Антуанетту Шампіонъ. Онъ тотчасъ сталъ настоятельно просить ее о вступлениі съ нимъ въ бракъ. Мать швеи съ благоразумнымъ упорствомъ долго не соглашалась на предложеніе такого запальчиваго молодаго человѣка, который ничего не дѣлаетъ и вичего не имѣеть кромѣ умѣнья произносить рѣчи, вскружившія голову ея дочери. Въ концѣ концовъ мать увлеклась его краснорѣчіемъ, точно также какъ имъ увлеклась и дочь. Было решено, что его желанія увѣнчаются успѣхомъ, если онъ получить согласіе своего отца. Съ сердцемъ полнымъ надеждъ Дидро полетѣлъ въ Лангръ. Его отецъ вообразилъ, что въ немъ пробудилось сознаніе своихъ заблужденій и что онъ пріѣхалъ для того, чтобы подчиниться честнымъ традиціямъ своей семьи. Но узнавши настоящую цѣль этого посѣщенія, онъ обошелся съ сыномъ какъ съ сумасшедшими и пригрозилъ ему проклятіями. Не возразивши ни слова, Дидро отправился назадъ въ Парижъ. Г-жа Шампіонъ объявила ему, что онъ долженъ навсегда отказаться отъ своихъ намѣреній. Такая неумолимая твердость весьма часто бываетъ предвѣстницей полной уступчивости. Дидро занемогъ. И мать и дочь не могли оставаться равнодушными при мысли, что больной лежитъ одинокій и грустный въ такой комнатѣ, которая не лучше собачьей конуры и что никто не подастъ ему ни бульона, ни прохладительного питья. Онѣ сталиходить за нимъ, а когда онъ выздоровѣлъ, то, что онъ считалъ великую цѣль своей жизни, было достигнуто. Онъ вступилъ въ бракъ съ своей возлюбленной (1743).¹⁾ Кто то сказалъ, что «выборъ въ супружествѣ есть великая борьба между сознательнымъ разсчетомъ и непредвидимыми случайностями, а углубляться въ анализъ такого факта, въ которомъ случайность играетъ главную роль, значило бы тратить безъ пользы время». По отношенію къ Дидро судьба оказалась неблагопріятной.

Его женѣ было болѣе тридцати лѣтъ. Она была покорна, благоразумна и набожна. Она постоянно отличалась тѣмъ самоотверженiemъ въ мелочныхъ вещахъ, которое встрѣчается почти у всѣхъ.

¹⁾ Г-жа Водель говоритъ, что бракъ состоялся въ 1744. Но Жаль (D'ist. Сгіт., 495) воспроизводить брачное свидѣтельство. Можетъ быть и самъ Дидро также ошибался, когда въ старости относилъ это постыдное приключение къ 1744. (Oeuv., XIX. 85).

женщинъ. Когда ея мужъ обѣдалъ въ дома, она довольствовалась за своимъ обѣдомъ и ужиномъ сухимъ хлѣбомъ и радовалась при мысли, что на другой день она накормить мужа лучше обыкновен-наго. Такъ какъ кофе былъ слишкомъ дорогой домашней роскошью, то она давала ему каждый день нѣсколько мѣдныхъ монетъ для того чтобы онъ шелъ въ *Café de la Régence* удовлетворить тамъ эту потребность и посмотретьть, какъ играютъ въ шахматы. По проше-ствіи одного или двухъ лѣтъ, когда она пріѣхала въ Лангръ для того чтобы помириться съ своимъ тестемъ, она нашла путь къ сердцу старика благодаря своей привѣтливой ласковости, своей по-чтительности, своей готовности помогать въ хозяйствѣ, и своему добродушію. Но даже самая добрая женщина къ несчастію могутъ выражать свою сердечную доброту, свое благоразуміе и свою пре-данность въ такихъ формахъ, которыя возбуждаютъ въ мужѣ не-годованіе. Вѣроятно такъ было и въ настоящемъ случаѣ. Диdro былъ человѣкомъ добропорядочнымъ и твердымъ въ своихъ прави-лахъ, когда ему было пятьдесятъ лѣтъ, но въ тридцатилѣтнемъ возрастѣ въ немъ еще была очень сильна наклонность къ бродяж-ничеству. Ему нужна была жена, одаренная невозмутимой терпѣли-востю и способная сдерживать его чрезмѣрную подвижность. Есть основаніе предполагать, что еслибы Мирабо женился на Аниѣ Моръ, этотъ бракъ не былъ бы счастливъ, а бракъ самого Диdro былъ къ несчастію въ такомъ же родѣ. Скромная почтительность и ме-лочная заботливость его жены раздражали его. Онъ еще не отдавалъ себѣ отчта въ томъ, во что обходится разрывъ сердечныхъ привязан-ностей. Въ то время какъ его жена навѣщаала его родныхъ, онъ вступиль въ связь съ одной женщиной (г-жой Пюизье), которая, какъ кажется, была въ такой же мѣрѣ зла и себялюбива, въ какой его жена от-личалась противоположными свойствами. Она была авторомъ нѣсколь-кихъ литературныхъ произведеній, очень скоро позабытыхъ публи-кой, но даже самая скромная претензія на *bel-esprit* могли показаться чрезвычайно привлекательными для такого человѣка, ко-торому до смѣти надоѣло полное невѣжество его вседневной подру-ги¹⁾). Эта связь продолжалась три или четыре года до 1749. Мы увидимъ впослѣдствіи, какъ онъ открылъ измѣну своей любовницы и какъ онъ бросить ее. Но тѣмъ временемъ добродѣтели его жены, какъ кажется, пріяли Ѣдкій характеръ, какъ это нерѣдко слу-чается съ благородиемъ, которое не цѣнятъ по достоинству и съ преданностью, къ оторой относятся съ пренебреженіемъ. Теперь уже было поздно снѣа связывать разорванные узы супружескаго

¹⁾ Касательно г-жи Пюизье въ ея позднѣйшіе годы см. *Mémoires* г-жи Роданъ, I. 156.

согласія. Во время вторичной поѣздки жены въ Шампань (1754), онъ вступилъ въ новую любовную связь съ дочерью вдовы одного капиталиста (дѣвицей Воланъ), продолжавшуюся до самой смерти этой особы (1774).

Едва ли можно высказать какое нибудь дѣльное мнѣніе по поводу всей этой беспорядочности въ семейной жизни. Мы вовсе не знакомы съ ея подробностями такъ близко, чтобы могли съ увѣренностью произнести надъ нею правильный приговоръ. Мы не должны также упускать изъ виду того, что такая порочность поведенія была въ нравахъ того времени. А приписывать ее вліянію новыхъ религіозныхъ идей было бы также нелѣпо, какъ приписывать вліянію старыхъ религіозныхъ идей безнравственный образъ жизни Дюбуа, Людовика XV или кардинала де-Роана.

ГЛАВА III.

Первые литературные произведения.

Ларошфуко,—выражая банальную мысль тѣмъ изящнымъ языкомъ, благодаря которому онъ былъ первымъ мастеромъ въ сочиненіи краткихъ изречений,—объявилъ, что «недостаточно обладать великими достоинствами: надо умѣть ими распоряжаться». Или какъ выражается другой писатель: «Господство въ этомъ мірѣ принадлежитъ не столько уму, талантамъ, предпріимчивости, сколько умѣнью пользоваться всѣми другими своими способностями съ искусствой бѣрежливостью и съ постоянною предусмотрительностью». ¹⁾ Не смотря на опасность всякихъ слишкомъ рѣзкихъ приговоровъ, мы склонны думать, что Дидро былъ самой замѣчательной иллюстраціей приведенныхъ изречений, какую только можно найти въ исторіи литературы и философіи. Если многимъ случается не попасть въ ту высокую цѣль, въ достижениѣ которой они сами или ихъ близкіе родственники были вполнѣувѣрены, то это большею частію происходитъ не отъ ихъ неумѣнья распорядиться своими способностями, а отъ недостатка въ нихъ тѣхъ возвышенныхъ качествъ, которыхъ ошибочно имъ приписывались. На дѣлѣ человѣкъ оказывается посредственнымъ, бесплоднымъ и мелочнымъ—таковъ бываетъ грустный конецъ многихъ надменно заявленныхъ притязаній. Такая развязка почти всегда бываетъ результатомъ преувеличенія способностей, а не неумѣнья распорядиться своими природными дарованіями. Напротивъ того у Дидро дарованія были блестящія, но онъ не умѣлъ благоразумно примѣнять ихъ къ дѣлу. Этимъ и объясняется

¹⁾ Сенъ-Бёвъ, *Causseries*, IX. 136.

тотъ странный фактъ, что онъ былъ едвали не единственный писатель, который оставилъ по себѣ великое имя и наложилъ печать своего величія на людей съ самыми выдающимися и самыми разнообразными умственными способностями, а между тѣмъ не написалъ ни одного образцового произведенія; отъ него осталось много прекрасныхъ страницъ, какъ выразился Мармонтель, но ни одного замѣчательного сочиненія.

Никогда еще ни одинъ писатель не былъ менѣе его зараженъ тѣмъ тревожнымъ чувствомъ собственного достоинства, которое нерѣдко внушаетъ жалость и отвращеніе къ людямъ съ литературными талантами. Онъ никогда не принималъ на себя вида притворной снисходительности къ плохимъ литературнымъ произведеніямъ и не дѣлалъ намековъ на болѣе высокія дарованія, которыхъ кроются въ немъ непроизводительно вслѣдствіе неблагопріятныхъ обстоятельствъ. Въ одномъ только случаѣ, и сколько намъ известно, только въ одномъ, онъ высказалъ сожалѣнія, которыхъ весьма понятны: «И такъ», писалъ онъ, въ то время какъ передъ нимъ лежали для просмотра послѣдняя страницы Энциклопедіи (25 іюня, 1765) «черезъ восемь или десять дней я увижу окончаніе предпріятія, занимавшаго меня въ теченіи двадцати лѣтъ, вовсе не обогатившаго меня, не разъ подвергавшаго меня опасности быть изгнаннымъ изъ моего отечества или лишился свободы и поглотившаго жизнь, которую я могъ бы сдѣлать и болѣе полезной и болѣе славной. Принесеніе дарованій въ жертву нуждѣ было бы дѣломъ менѣе обычнымъ, еслибы дѣло шло только о самомъ себѣ. Всякій согласился бы пить одну воду и Ѳѣсть одни сухія корки съ тѣмъ, чтобы можно было свободно подчиняться на какомънибудь чердакѣ внушеніямъ своего генія. Но на что не рѣшится человѣкъ для жены и для дѣтей? Еслибы я захотѣлъ выставить въ ихъ глазахъ мои заслуги, я не сказалъ бы имъ: я работалъ для васъ въ теченіи тридцати лѣтъ, а сказалъ бы: я въ теченіи тридцати лѣтъ отказался для васъ отъ моего природнаго призванія; я предпочелъ заглушить мои влеченія, дѣлая то, что было полезно для васъ вмѣсто того чтобы дѣлать то, что было пріятно для самого меня. Въ этомъ заключается то, чѣмъ вы въ сущности мнѣ обязаны, но что никогда не приходитъ вамъ въ голову»¹⁾.

Тѣмъ не менѣе, еще остается открытымъ вопросъ, написалъ-ли бы Дидро какоенибудь образцовое произведеніе, еслибы гнетъ семейныхъ заботъ не заставлялъ его искать заработковъ повсюду, гдѣ ихъ можно было найти. По правдѣ сказать, едвали можно задаваться такимъ вопросомъ. Его умъ былъ обширенъ и оригиналъ,

¹⁾ Oeuvres, XIX. 159. См. также Salons, 1767, No. 118.

но слишкомъ разбрасывался по сторонамъ, слишкомъ легко отвѣкался отъ данного предмета и былъ слишкомъ недисциплинированъ для тѣхъ продолжительныхъ умственныхъ усилий, которыхъ необходимы для всякаго великаго произведенія и въ сферѣ философіи и въ сферѣ искусства. Онъ былъ отъ природы лишенъ прекрасной способности къ бережливости и умѣнья распорядиться своими средствами, а только при помощи такихъ свойствъ и можно накоплять материалы и силы для сосредоточенной дѣятельности. Онъ сдѣлался энциклопедистомъ не случайно и не отъ винѣшнаго гнета нужды. Его неудержимая подвижность, пылкость его фантазіи и измѣнчивость его идей, которыхъ онъ приписывалъ климатическому вліянію своей родины, заразѣ обрекали его на дѣятельность энциклопедиста или другую тому подобную. Онъ почти съ одинаковой быстрой и силой увлекался то однимъ то другимъ предметомъ; онъ всегда былъ одинаково предпримчивъ, одинаково свѣжъ и бодръ умомъ въ своихъ выводахъ и одинаково настойчивъ въ своихъ изслѣдованіяхъ. Но такое разнообразіе мотивовъ возбуждавшихъ его къ дѣятельности,—а у Дидро всякий мотивъ превращался въ сильное возбуждающее средство,—еще болѣе препятствовало созданію образцовыхъ произведеній, нежели стѣсненіе въ средствахъ существованія. Его можно извинить въ томъ, что въ минуту душевнаго утомленія и грусти онъ вообразилъ, будто онъ принесъ сокровища своего ума въ жертву богамъ семейнаго очага. Но еслибы у него и не было дѣтей и еслибы онъ не былъ женатъ, результатъ былъ бы точно такой-же. Онъ щедрою рукою расточалъ свои литературные дарованія, вѣря въ неистощимость своего запаса, никогда не сдерживая своей фантазіи и никогда неограничивая свою производительность никакими предѣлами. «Не они», писалъ онъ, «отнимаютъ у меня жизнь, а я отдаю имъ ее. И могу ли я сдѣлать что либо лучшее, чѣмъ отдать одну ея часть тому, кто настолько уважаетъ меня, что желаетъ получить отъ меня такой даръ? Правда, меня не будутъ за это восхвалять ни теперь, когда я еще живъ, ни тогда, когда меня уже болѣе не будетъ; но я самъ уважаю себя за это и другое будутъ за это болѣе любить меня. Вовсе не дурной расчетъ промѣнять на благосклонное къ вамъ расположение ту славу, которая не всегда пріобрѣтается, и которая никогда не пріобрѣтается безъ пожертвованій. Я никогда еще не пожалѣлъ о томъ времени, которое я тратилъ для другихъ, но я едвали могу сказать то же самое о томъ времени, которое я тратилъ для самого себя». ¹⁾ Зная, какъ всѣ литераторы склонны придавать себѣ болѣе значенія чѣмъ слѣдуетъ, мы не можемъ не пожалѣть, что

¹⁾ *Les Règnes de Claude et de Néron*, § 79.

эта выделявшаяся между ними личность, въ другихъ отношеніяхъ столь замѣчательная и столь цѣльная, не придавала самой себѣ достаточнаго значенія.

Кромѣ того, что Дидро по своему характеру былъ неспособенъ создать какое либо великое литературное произведеніе, онъ былъ одаренъ отъ природы не столько талантами писателя сколько талантами краснорѣчиваго собесѣдника. Подобно доктору Джонсону онъ былъ скорѣе замѣчательнымъ рассказчикомъ, чѣмъ замѣчательнымъ авторомъ великихъ произведеній. Читая его сочиненія, мы не въ состояніи понять причину его извѣстности. Они слишкомъ часто впадаютъ въ декламацію, дурно составлены, часто прерываются возгласами, неуклюжи и безсвязны. Одинъ вполнѣ компетентный критикъ отзывался о немъ какъ о такомъ французскомъ писателѣ, который всѣхъ болѣе похожъ на нѣмцевъ. И дѣйствительно его слогъ отличается тѣмъ отсутствиемъ чувства изящнаго, той рѣзкостью выраженій и той грубостью размаховъ, которыя свойственны вообще всей нѣмецкой литературѣ за исключеніемъ немногихъ самыхъ выдающихся ея произведеній. Но въ разговорѣ не требуется ни постоянной точности выраженій ни послѣдовательной аргументаціи. Возгласы становятся естественными благодаря полудраматическому характеру положенія. Даже рѣзкая гипербола, почти всегда обезображивающая писанную прозу, можетъ производить впечатлѣніе и нравиться, когда она гармонируетъ съ голосомъ, выражениемъ глазъ и жестами пылкаго и увлекательнаго разсказчика. Вотъ почему личность самого Дидро,—точно также какъ это было съ Джонсономъ и Кольриджемъ,—придавала его разговору тотъ особый интересъ и ту привлекательность, которая останутся всегда непонятными для тѣхъ, кто изучаетъ его только по его сочиненіямъ.

Его поклонники утверждали, что у него была такая же идеальная голова какъ у Аристотеля или Платона. У него былъ широкий, высокий, открытый и красиво округленный лобъ; изгибъ его бровей былъ очень изященъ; его носъ былъ красивъ мужской красотой; обычное выраженіе его глазъ было доброе и симпатичное, но когда онъ разгорячался въ разговорѣ, они сверкали какъ огонь; очертанія рта свидѣтельствовали о привлекательномъ сочетаніи изящества, граціи и ума. Его тѣлодвиженія были небрежны, но въ его манерѣ держать голову,—въ особенности когда онъ говорилъ жестикулируя,—было много достоинства, энергіи и благородства. Казалось, какъ будто восторженность была естественной принадлежностью его голоса, его ума, и всей его наружности. Онъ дѣлался настоящимъ Дидро только тогда, когда его мысли переносили его за предѣлы его внутренняго мира. Въ его идеяхъ было болѣе силы, нежели въ немъ самомъ; онъ увлекали его за собою такъ, что онъ

не быть въ состояніи ни удержать ихъ ни управлять ими. «Когда я вспоминаю о Дидро», писалъ одинъ изъ его друзей, «о чрезвычайномъ разнообразіи его идей, о громадныхъ его познаніяхъ, о быстромъ полетѣ, горячности и неукротимыхъ порывахъ его фантазіи, обѣ увлекательности и беспорядочной оживленности его разговора, я позволяю себѣ сравнить его характеръ съ самой природой въ томъ видѣ какъ онъ себѣ ее представлялъ,— съ такой природой, которая богата, плодородна, обилуетъ зародышами всякаго рода, привѣтлива и свирѣпа, проста и величава, прекрасна и величественна, но у которой нѣтъ господствующаго принципа, нѣтъ хозяина, нѣтъ Бога»¹⁾). Композиторъ Гретри говорилъ, что Дидро принадлежалъ къ числу тѣхъ рѣдкихъ людей, которые умѣютъ раздувать искры гenія въ пламя, и что первоначальные импульсы, возбужденные къ дѣятельности его пылкимъ воображеніемъ, обращались въ божественное вдохновеніе²⁾). Мармонтель предостерегаетъ нась, что тотъ кто знакомъ съ Дидро только по его сочиненіямъ, вовсе незнакомъ съ нимъ. Надо было послушать, какъ онъ убѣдительно краснорѣчивъ и надо было видѣть, какъ его лицо разгоралось въ пылу увлеченія. Онъ по истинѣ приводилъ въ восторгъ, когда оживлялся разговоромъ и давалъ полную волю потоку своихъ идей. Въ своихъ сочиненіяхъ,— основательно замѣчаетъ Мармонтель,— онъ никогда не умѣлъ изложить что либо вполнѣ, а это происходило отъ того, что первоначальный процессъ размѣщенія всѣхъ идей по своимъ мѣстамъ казался ему слишкомъ медленнымъ и слишкомъ скучнымъ. Но недостатокъ цѣльности не замѣчался при вольномъ и измѣнчивомъ теченіи разговорной бесѣды³⁾.

Слѣдуетъ также замѣтить, что Дидро принадлежалъ въ этомъ отношеніи къ тому же типу какъ Сократъ, хотя и отличался отъ Сократа тѣмъ, что былъ распространителемъ положительныхъ и примѣнимыхъ къ жизни идей. Его личность имѣла рѣшающее влияніе на окружающихъ. Читая отзывы о немъ друзей, мы невольно вспоминаемъ слова молодаго Аристида, обращенные къ Сократу: «я дѣлался лучшимъ когда былъ недалеко отъ васъ, даже когда находился только въ одномъ съ вами домѣ, а не въ одной съ вами комнатѣ; но я еще болѣе совершенствовался, когда находился въ одной комнатѣ съ вами, и еще болѣе если могъ не сводить съ васъ глазъ». ⁴⁾ Кто то основательно замѣтилъ, что личность Дидро

¹⁾ Разсказъ Мейстера о Дидро, напечатанный въ *Correspondance Littéraire* Гриама, XIII. 202—11.

²⁾ Отзывъ Гретри, приведенный въ *Oeuv. choisies de Diderot* Женевы, 42.

³⁾ Мармонтеля *Mésh.*, гл. VII. ч. II, 312.

⁴⁾ Фрагментъ Платона, 130, с.

точно также какъ и личность Сократа, обладала какой то нечистой силой. Дидро былъ одержимъ бѣсомъ и потому умѣлъ господствовать надъ умами. Но чтобы достигнуть превосходства въ литературѣ необходимо также умѣть господствовать надъ самимъ собою, необходимо имѣть не одни импульсы, но и обдуманность, необходимо чтобы вольный потокъ внезапно возникающихъ идей подчинялся требованіямъ послѣдовательности, гармоніи и вѣнчанаго изящества. Впрочемъ краснорѣчіе Дидро въ салонной безсвязной болтовнѣ или во время деревенскихъ прогулокъ нельзя ставить на одинъ уровень съ безодержательнымъ многословіемъ и пустой высокопарностью людей, составившихъ себѣ репутацію пріятныхъ собесѣдниковъ. Оно было въ одно и то же время и полно интереса и обильно; оно отзывалось декламацией по своей формѣ, но было ново и увлекательно по содержанію; оно было несказанно по распределенію идей, но по мысли оно было сильно и направлено къ одной цѣли. Если и можно назвать Дидро мудрецомъ то, конечно, такимъ, который способенъ бѣсноваться. Ему случалось закончить свою рѣчь тѣмъ, что онъ съ яростью хлопалъ своимъ ночнымъ колпакомъ объ стѣну, какъ будто для того чтобы закрѣпить силу приведенныхъ имъ аргументовъ. Но не смотря на эту горячность, на эту склонность къ декламаціи, его бесѣда все таки была поучительна. Молодые люди самыхъ разнообразныхъ характеровъ, начиная съ Морелле и кончая Жуберомъ,—которые были вполнѣ способны разоблачить простую высокопарность или пылкое пустословіе,—были очарованы силою его ума. Но его сочиненія вовсе не производили такого впечатлѣнія. Въ нихъ мы чувствуемъ пламя, но лишь сквозь прикрывающій его дымъ; въ нихъ способъ выраженія не туманный, а неуважающій, не растянутый а тяжеловатый, преувеличенный и не совсѣмъ понятный. Здѣсь мы не найдемъ ни ясной точности и пылкости Вольтера, ни увлекательной фантастической благозвучности Руссо, ни высокопарности Бюффона. Насъ интересуетъ Дидро не прелестью своего слога, а богатствомъ плодотворныхъ идей, замѣчательнымъ знаніемъ человѣческой жизни и мощною оригинальностью своей личности.

Знакомство Дидро съ англійскимъ языкомъ оказалось ему въ ту пору его жизни большую услугу. Достойна вниманія одна подробность касательно того, какимъ способомъ онъ безъ наставника научился по-англійски. Вместо того, чтобы пользоваться англо-французскимъ лексикономъ, онъ постоянно пользовался англо-латинскимъ. Смыслъ латинскихъ или греческихъ словъ, говорилъ онъ, болѣе твердо установленъ, болѣе точенъ, болѣе ясенъ, и болѣе поддается подъ всѣ причудливыя требованія условныхъ понятій, нежели смыслъ тѣхъ туземныхъ выражений, на которыхъ останавливается прихоть или

невѣжество лексикографовъ. Читатель составляетъ свой собственный словарь и благодаря этому приобрѣтаетъ болѣе точности и выразительности ¹⁾. Во всякомъ случаѣ Дидро лучше зналъ англійскій языкъ, нежели большинство французскихъ писателей нашего времени. Первый его трудъ по заказу книгопродацовъ послѣ его женитьбы заключался, сколько намъ известно, въ переводѣ трехъ томовъ исторіи Греціи Станіана. За эту работу онъ получилъ, къ удивленію своей жены, сто кронъ. Около того же времени (1745) онъ издалъ *Принципы нравственной философіи, или Опытъ о на III. о достоинствѣ и добродѣтели (Principes de la philosophie morale ou essai sur le mérite et la vertu par mylord S.)* Здѣсь начальная буква обозначаетъ Шафтсбери, а переведенное сочиненіе было изслѣдованіе названаго писателя о добродѣти и достоинствѣ.

Вѣроятно около того же времени Дидро познакомился съ г-жою Пюизье, о которой кто то сказалъ, съ явнымъ намѣреніемъ посыпаться надъ ея слабостями, что ей недоставало ни той добродѣтели ни тѣхъ достоинствъ, о которыхъ только что проповѣдывалъ ея обожатель. Рассказываютъ, будто желаніе добыть для нея денегъ внушило ему мысль его первого оригинального произведенія. Но такъ какъ этотъ фактъ заимствованъ изъ мемуаровъ его дочери, наполненныхъ множествомъ неточностей, то очень можетъ быть, что онъ также не согласенъ съ истиной какъ и многія другія изъ сообщаемыхъ ею свѣдѣній. Все, что мы знаемъ о направленіи ума и искренности Дидро даетъ ему право на то, чтобы мы усумнились въ справедливости разсказа. *Философскія мысли (Pensées philosophiques, 1746)* были продолженіемъ того настроенія, которое внушило ему мысль дѣлать примѣчанія къ упомянутому *Опыту*. Онъ, какъ утверждаютъ, набросалъ на бумагу эти размышленія въ промежутокъ времени между страстной пятницей и первымъ днемъ Святой недѣли. Въ такой быстрой авторской дѣятельности мы не найдемъ ничего неправдоподобнаго, если припомнимъ, съ какой стремительной горячностью онъ брался за все, что предпринималъ. *Философскія мысли*, очевидно, были плодомъ продолжительныхъ размышлений, литературное же ихъ изложеніе было не трудной задачей. Здѣсь мы находимъ болѣе рѣшительное развитіе скептицизма нежели у Шафтсбери, у которого онъ игралъ самую незначительную роль. Парижскій парламентъ приказалъ сжечь книгу вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими (7 июля 1746) частію потому, что она не была согласна съ ученіемъ церкви, частію потому, что печатаніе книгъ безъ офи-

¹⁾ Ст. *Encyclopédie*.

ціального разрѣшенія дошло въ ту пору до небывалыхъ размѣровъ¹⁾. Тогда Дидро впервые познакомился на опытѣ съ гнетомъ той власти, которая осыпала его оскорблениями и притѣсненіями въ теченіе тридцати лѣтъ. Но правительственное неодобрение не помѣщало ни распространенію, ни вліянію *Философскихъ мыслей*. Онѣ были переведены на нѣмецкій и итальянскій языки и удостоились цѣлаго ливня враждебныхъ отзывовъ критики. Во Франціи онѣ много разъ перепечатывались и даже въ наше время онѣ не совсѣмъ вышли изъ обращенія въ качествѣ краткаго руководства для скептиковъ²⁾.

Писатели, занимающіеся исторіей литературы, нерѣдко видятъ въ-инихъ книгахъ причину возникновенія спорныхъ идей, тогда какъ на самомъ дѣлѣ эти книги ничто иное какъ символъ или отголосокъ идей уже существующихъ въ человѣческихъ умахъ. Поэтому никогда не слѣдуетъ излагать нить какихъ либо идей, не попытавшись выяснить побужденія современниковъ и конкретныя условія, сопровождавшія и вызвавшія ихъ развитіе. Наблюдая затѣмъ, какъ сигнальные огни зажигаются то на одной то на другой возвышенности,—

*φάρος δὲ τηλέπομπον οὐκ ἡγαῖνετο
φρουρὰ, προσαιθρίζουσα πόμπιμον φλόγα,* —

мы не должны забывать, что ихъ источникъ и причину ихъ передвиженія слѣдуетъ искать въ дѣйствіи, движеніи и вліяніи разнообразныхъ силъ и множества людей. Во всякомъ случаѣ каждая книга есть ничто иное какъ выраженіе идей автора, а самъ авторъ—человѣкъ, дѣйствующій подъ вліяніемъ того, что происходитъ передъ его глазами. Вольтеръ и Дидро сдѣлались вольнодумцами и стали нападать на церковь не потому только, что Бэконъ, Гоббзъ и Локкъ написали какія-то книги. «Пока были еще въ живыхъ такие люди, какъ Боссюэтъ, Фенелонъ, Арно и Николь, у Бэйля было не много послѣдователей; возвышение кардинала Дюбуа и результаты этого возвышенія увеличили число людей невѣрующихъ и равнодушно относившихся къ религіи³⁾. Вліяніе философскихъ произведеній всегда обусловливается ихъ практической примѣнимостью. Экономический вредъ монашеской жизни, усиливавшіеся пыль и грубость предразсудковъ, заносчивые нападки духовенства, жестокости зараженныхъ ханжествомъ судовъ—вотъ что возвстановило противъ себя и вывело изъ терпѣнія самыхъ просвѣщенныхъ людей, а англійская философія только поддерживала воодушевленіе въ умахъ⁴⁾.

1) См. Журналъ Барбье, IV. 166.

2) Эта книга оказалась въ числѣ тѣхъ, которыхъ были найдены у несчастнаго Ля-Барра.

3) Говеггера Kritische Geschichte der französischen Cultureinflüsse in den letzten Jahrhunderten, pp. 267—73.

4) «Es ist nicht gleichgültig ob eine Folge grosser Gedanken in frischer Ursprünlichkeit auf die Zeitgenossen wirkt, oder ob sie zu einer Mixtur mit reichlichem

И не случайнымъ образомъ обратилъ Дидро вниманіе именно на Шафтсбери, а не на какого либо другаго англійскаго писателя. Мысль написать очеркъ *Объ энтузіазмѣ* была внушена Шафтсбери сумасбродствами французскихъ пророковъ—тѣхъ жалкихъ Севенскихъ фанатиковъ, которые, укрывшись въ Лондонѣ послѣ отмѣны вантскаго эдикта, до того дошли въ своихъ пароксизмахъ религіозной истерики, что вызвали вмѣшательство правительства (1707). Съ 1727 по 1758 и даже позднѣе, Парижъ также былъ свидѣтелемъ подобной восторженности между янсенистскими фанатиками, еще въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Самымъ достовѣрнымъ образомъ засвидѣтельствованныя чудеса, какія только можно найти въ исторіи сверхъ-естественныхъ явленій, совершились надъ могилой янсенистскаго дьякона Пари¹⁾). Въ то время толпа увлекалась дѣлами вѣры до судорожного изступленія; и мужчины и женщины подвергали себя самыемъ жестокимъ истязаніямъ въ надеждѣ, что въ награду за это на нихъ низойдетъ божественная благодать. Тотъ здравомыслящий гражданинъ, который оставилъ намъ записки столь цѣлезныя для уясненія внутреннихъ событий во Франціи отъ временъ Регентства до заключенія мира въ 1763, разсказываетъ намъ, какое впечатлѣніе производило на умы это отвратительное возрожденіе старыхъ суевѣрій. Тогда начали догадываться, говорить онъ, какъ слѣдуетъ относиться къ чудесамъ старыхъ временъ. Чѣмъ болѣе люди стали виникать въ чудеса и пророчества, тѣмъ болѣе стали они находить недостовѣрности въ первыхъ и неясности въ послѣднихъ. Развѣ можно было поручиться, что въ отдаленные времена и тѣ и другія не были удостовѣрены и признаны за несомнѣнныя по столь же неудовлетворительнымъ доводамъ, какъ и тѣ, которые происходили на собственныхъ глазахъ публики? Точно такимъ же путемъ, неистовые и продолжительные споры, интриги и уловки, которыми сопровождалось принятіе знаменитой буллы *Unigenitus*, объяснили проницательнымъ наблюдателямъ, какъ утверждаются религіозныя вѣрованія. Они также уяснили, какъ мало должно быть въ нашемъ умѣ и

Zusatz überlieferter Vorurtheile verarbeitet ist. Ebensowenig ist es gleichgültig welcher Stimmung, welchem Zustande der Geister eine neue Lehre begegnet. Man darf aber kühn behaupten, das für die volle Durchführung der von Newton angebahnten Weltanschauung weder eine günstigere Naturanlage, noch eine günstigere Stimmung getroffen werden konnte, als die der Franzosen im 18 Jahrhunderth. (Gesch. d. Materialismus Langle, I. 303). Но, подобно большинству писателей, занимавшихся исторіей человѣческихъ мнѣній, авторъ не обращаетъ достаточно вниманія на то, что рядомъ съ развитіемъ логическихъ выводовъ имѣли долю вліянія и виції общественныхъ условій.

¹⁾ См. *La Vérité des Miracles de M. de Paris demontrée* (1737) Монжерона. Это сочиненіе представляетъ интересныя данные для патологии человѣческаго ума.

въ нашей совѣсти благоговѣнія передъ тѣми великими истинами, открытие которыхъ приписывала себѣ католическая церковь¹⁾.

Вотъ чѣмъ объясняется суровый и рѣшительный скептицизмъ, проявившійся въ первыхъ произведеніяхъ Дидро. Этимъ объясняется и вліяніе, которое имѣлъ на него Шафтсбери. Ни Дидро ни его современники еще не были подготовлены къ тому болѣе широкому и болѣе рѣшительному отрицанію, которому они вполнѣ отдались впослѣдствіи. Не подлежитъ сомнѣнію, что вѣжливость, съ которой Дидро относится къ христіанству и въ своихъ замѣткахъ къ первому сочиненію Шафтсбери и въ своихъ собственныхъ *Философскихъ мысляхъ*, была не болѣе какъ выраженіемъ иронического преклоненія передъ установленными суевѣріями. Примѣчанія къ очерку *О достоинствахъ и добродѣтеляхъ* доказываютъ, что на Дидро, точно также какъ и на всѣхъ другихъ французскихъ писателей, возстававшихъ противъ существующихъ суевѣрій, имѣлъ глубокое вліяніе остроумный Монтэнъ. Но пылкость ученика мѣтко выставляла одни возраженія вслѣдъ за другими съ такою рѣзкостью, которая не имѣла ничего общаго съ благоразумной сдержанностью наставника. Впрочемъ, ни отъ кого другаго, какъ отъ Шафтсбери заимствовалъ Дидро здравый смыслъ какъ философскій принципъ. Этотъ принципъ былъ косвенно заимствованъ Шафтсбери отъ Локка и чрезъ посредство Гутчесона сдѣлся источникомъ и вдохновителемъ шотландской философіи прошлаго столѣтія. Это было орудіе вполнѣ пригодное для борьбы съ теологіей, упавшей въ мнѣніи всякихъ хладнокровнаго наблюдателя вслѣдствіе историческихъ сумасбродствъ однихъ религіозныхъ фанатиковъ и вслѣдствіе возмутительныхъ притязаній другихъ. Впрочемъ, другаго орудія и не было подъ рукою. Историческій или критический методъ изслѣдованія былъ невозможенъ, потому что въ то время еще не имѣлось нужныхъ для этого научныхъ свѣдѣній. Косвенные нападки съ точки зрѣнія физическихъ наукъ также были невозможны. Результаты великаго Ньютона открытия касательно ходящихъ идей о Творцѣ и предполагаемой системы божескаго управления міромъ еще не были добыты вполнѣ. А другія научныя понятія, впослѣдствіи поколебавшія достовѣрность старой гипотезы, еще въ то время и не зарождались.

Дидро тотчасъ понялъ, что руководительство борьбой переходить отъ метафизиковъ къ физіологамъ. Хотя вначалѣ онъ и не составилъ себѣ точнаго понятія о томъ, къ чему можетъ привести окончательный выводъ изъ открытій, сдѣланныхъ путемъ научного опыта, однако онъ понялъ, какую силу могутъ имѣть эти открытія при богословскихъ спорахъ. «Не отъ руки метафизиковъ», сказалъ онъ, «были

¹⁾ Барбье, 168, 244 и пр.

нанесены атеизму самые тяжелые удары. Возвышенные размышления Малебранша и Декарта были менѣе способны пошатнуть материализмъ, чѣмъ какое нибудь отрывочное замѣчаніе Мальпиги. Если эта опасная гипотеза стала въ наше время утрачивать довѣріе, мы этимъ обязаны выводамъ опытной физики. Только въ произведеніяхъ Ньютона, Мушенброка, Гарцекера и Ньювентита люди нашли удовлетворительные доказательства того, что есть существо съ высшей интелигенціей. Благодаря произведеніямъ этихъ великихъ людей, міръ пересталъ быть богомъ; это—машина съ особыми счастями, блоками, пружинами и гилями¹⁾. Другими словами, Дидро еще стоялъ на томъ самомъ пункѣ, который былъ любимой точкой отправленія для англійскихъ физіологовъ оть Ньютона до Фарадея²⁾. Систематический материализмъ еще не утвердился въ его умѣ. Между тѣмъ онъ напрягалъ всѣ свои силы, опираясь подобно Вольтеру, на здравый смыслъ, но съ большою чѣмъ Вольтеръ серьезностью въ своихъ приемахъ. Хотя и нельзя сказать, чтобы съ помощью этого орудія, онъ достигъ надлежащихъ результатовъ, но мы должны припомнить, что онъ самъ очень скоро пришелъ къ сознанію непригодности этого орудія и продолжалъ споръ, какъ мы сейчасъ увидимъ, съ другой точки зрењія.

Нѣсколько краткихъ выдержекъ объяснятъ намъ, съ какою цѣлію были написаны *Философскія мысли* и въ какомъ настроеніи ума былъ Дидро, когда ихъ писалъ. Начальные слова указываютъ на важность нового времени и вмѣстѣ съ тѣмъ служатъ ключемъ для пониманія всѣхъ характеристическихъ особенностей Дидро. «Люди постоянно возстаютъ противъ страстей; они приписываютъ страсти слѣдующимъ образомъ: если кто либо осмѣлитъ сказать слово въ пользу этихъ враговъ его. Однако одни только страсти и сильные страсти способны возвышать нашу душу до великихъ подвиговъ. Скромныя наклонности порождаютъ лишь пошлость. Подавленные страсти лишаютъ человѣка его выдающихся способностей. Гнетъ уничтожаетъ природное величие и силу. Посмотрите на это дерево, вѣдь вы обязаны пышности его вѣтвей свѣжестью и шириной тѣни, которою вы наслаждаетесь до тѣхъ поръ пока зима не унесетъ его зеленые локоны. Ни поэзія, ни живопись, ни музыка не дадутъ намъ ничего превосходного, если предразсудки наложить на человѣческій temperamentъ печать преклоннаго возраста! Было бы въ высшей степени безразсудно замышлять гибель своихъ страстей. Действительно, какъ

¹⁾ *Pensées Philosophiques*, XVIII.

²⁾ Касательно этого предмета см. Ланга, I., 294.

было бы прекрасно, еслибы какой нибудь ханжа сталъ терзать себя какъ каторжникъ, для того чтобъ ничего не желать, ничего не любить и ничего не чувствовать; еслибы онъ въ этомъ успѣлъ, онъ кончилъ бы тѣмъ, что сдѣлался бы настоящимъ чудовищемъ!»¹⁾ Въ томъ же духѣ писалъ онъ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того г.-жѣ Воланть: «Я всегда горячо вступался за сильныя страсти; только онъ и способны возбуждать меня къ дѣятельности. Все равно внушаютъ-ли онъ мнѣ восторгъ или негодованіе, благодаря имъ чувства мои пылки. Если отъ нихъ происходятъ отвратительныя дѣянія, позорящія человѣческую натуру, то отъ нихъ же происходятъ и удивительные подвиги, возвышающіе ее. Человѣкъ съ скромными влеченіями живетъ и умираетъ какъ животное». Продолжая въ этомъ тонѣ, авторъ доходитъ до слѣдующаго страннаго мнѣнія: «еслибы мнѣ пришлось дѣлать выборъ между такимъ Расиномъ, который дурной мужъ, дурной отецъ, фальшивый другъ и превосходный поэтъ, и такимъ, который хорошій отецъ, хороший мужъ, хорошій другъ и безталантный почтенный человѣкъ, я предпочелъ бы первого. Что осталось бы отъ того Расина, который былъ дурной человѣкъ? Ничего. А что осталось бы отъ того Расина, который былъ геніальный человѣкъ? Безсмертныя произведенія»²⁾. Не затрудняясь разрѣшеніемъ этой проблемы, мы довольствуемся тѣмъ, что усматриваемъ изъ нея, какое было у Дидро направленіе ума и какую оно должно было внушать ему ненависть къ подавленнымъ и изуродованнымъ страстямъ въ католическомъ вкусѣ. Смиреніе, цѣломудріе, покорность, праздное одиночество, которыя въ теченіи многихъ вѣковъ превозносились церковью, казались чѣмъ-то уродливымъ для такого пылкаго и энергического человѣка. Церковь вычеркнула изъ числа человѣческихъ достоинствъ геройскую предпріимчивость, а Дидро, впадая въ другую крайность, вычеркнулъ даже подчиненіе установленнымъ правиламъ. Но обратимся отъ его понятій объ основахъ поведенія къ понятію о человѣческихъ мнѣніяхъ. Какъ мы уже замѣтили, онъ сталъ на точку зрѣнія скептицизма:

«То, что никогда не было подвергнуто сомнѣнію, не могло быть доказано. То, что не было разслѣдовано безъ предвзятыхъ идей, не было разслѣдовано основательно. Скептицизмъ есть пробный камень (§ 31).

«Невѣріе нерѣдко бываетъ порокомъ въ глупцѣ, а легковѣріе — порокомъ въ умномъ человѣкѣ. Послѣдній глубоко проникаетъ умомъ въ необъятность того что возможно; а первый едва ли считаетъ

¹⁾ Pensées Philosophiques. Оeuv. I. 128 — 9.

²⁾ Оeuv. XIX. 87. Гrimmъ, прибавл. 148.

возможнымъ что либо кромѣ наличныхъ фактовъ. Можетъ быть отсюда и происходитъ робость первого и смѣлость втораго (§ 32).

«Полу-скептицизмъ есть признакъ слабаго ума. Онъ разоблачаетъ въ человѣкѣ малодушнаго мыслителя, пугающагося своихъ собственныхъ выводовъ, разоблачаетъ въ немъ суевѣрное существо, воображающее, что оно чтитъ Бога, налагая оковы на свой разумъ, и такого невѣрующаго, который боится снять съ себя маску передъ самимъ собою. Вѣдь если, по мнѣнію полу-скептика, истина не можетъ ничего потерять отъ разслѣданія, то что же долженъ онъ думать въ глубинѣ своей души о тѣхъ привилегированныхъ понятіяхъ, которыя онъ не дерзаетъ провѣрять и которыя засѣли въ одномъ уголкѣ его головы, какъ въ святилищѣ, къ которому онъ не смѣетъ приблизиться? (§ 34).

«Скептицизмъ годенъ не для всѣхъ. Онъ требуетъ глубокаго и беспристрастнаго изслѣдованія. Кто сомнѣвается потому только, что ему не знакомы основы достовѣрности, тотъ нисколько не лучше невѣжды. Настоящій скептикъ сообразилъ и взвѣсилъ всѣ доводы. Но взвѣсить доводы вовсе не легко. Кто изъ настѣ способенъ определить ихъ достоинство съ точностью? У каждого ума есть свой особый телескопъ. Возраженіе,ничто жное въ вашихъ глазахъ, кажется мнѣ колоссальнымъ: вамъ кажется пошлымъ такой аргументъ, который я считаю за вполнѣ убѣдительный... А если такъ трудно взвѣшивать доводы, если быть такихъ вопросовъ, которые не представляли бы двухъ различныхъ сторонъ и почти всегда въ одинаковомъ размѣрѣ, то какъ можемъ мы съ такой быстротой приходить къ какому нибудь заключенію? (§ 24).

«Когда благочестивые люди возстаютъ противъ скептицизма, мнѣ кажется, что они дѣлаютъ это вслѣдствіе непониманія своихъ собственныхъ интересовъ или вслѣдствіе своей непослѣдовательности. Если не подлежитъ сомнѣнію, что для обращенія въ истинную вѣру и для отреченія отъ ложной требуется лишь близкое знакомство съ той и съ другой, то конечно всякий долженъ желать, чтобы по всей землѣ распространился духъ сомнѣнія, и чтобы всѣ наши дозволили разслѣдовать истину ихъ религій. Тогда наши миссіонеры нашли бы, что ихъ задача уже въ значительной мѣрѣ исполнена другими (§ 36).

Слѣдуетъ припомнить, что Дидро, точно также какъ Вовенаргъ, Вольтеръ и Кондорсе, постоянно имѣть въ умѣ Паскаля, когда ему приходилось говорить о защитникахъ церкви. Всѣ названные писатели признавали въ Паскаль философа, отличавшагося любовью къ истинѣ отъ членовъ католической, англиканской, браминской и всякой другой церкви. «Паскаль», говоритъ Дидро, «быть правдивъ, но робокъ и склоненъ къ легковѣрію. Будучи изящнымъ писателемъ и глубокимъ мыслителемъ, онъ безъ сомнѣнія могъ бы разлить свѣтъ

по всему міру, если бы Провидѣніе не отдало его въ руки такихъ людей, которые принесли его способности въ жертву своимъ собственнымъ антипатіямъ. Какъ жаль, что онъ не предоставилъ теологамъ своего времени разрѣшеніе происходившихъ между ними споровъ и не предался изслѣдованію истины безъ всякихъ оговорокъ и безъ опасенія оскорбить Бога тѣмъ, что сталъ бы пользоваться всѣми силами данной ему Богомъ интеллигенціи. Какъ жаль, что онъ взялъ себѣ въ наставники такихъ людей, которые не были достойны быть его учениками и что онъ былъ такъ безразсуденъ, что воображалъ, будто Арно, Де-Саси и Николь лучше его самого» (§ 14). *Философскія мысли* должны были служить отвѣтомъ на болѣе знаменитыя *Мысли* этого поборника популярной теологии. Такъ напримѣръ первая изъ слѣдующихъ выдержекъ напоминаетъ одну достопамятную выходку Паскаля, въ которой отразился его возвышенный пессимизмъ. Нѣсколькоихъ отрывковъ изъ сочиненія Дидро будетъ достаточно чтобы выяснить намъ, какого рода аргументація привела самыхъ передовыхъ людей того времени къ тому, что они стали отвергать притязанія католической церкви.

«Какіе возгласы! Какіе крики! Какіе стоны! Кто же тотъ, по чьему велѣнію посажены въ темницы всѣ эти жалкіе люди? Какое преступленіе совершили эти несчастныя созданія? И кто осудилъ ихъ на такія мученія? Богъ, которою они оскорбили. Но что-же это за Богъ? Это Богъ исполненный благости. Но развѣ исполненный благости Богъ сталъ бы находить удовольствіе въ томъ, чтобы купаться въ морѣ слезъ?... Есть такие люди, о которыхъ нельзѧ сказать, что они боятся Бога, а можно только сказать, что они страшно имъ напуганы.... Судя по тому, какъ они представляютъ себѣ высшее существо, его гнѣвъ и жестокость его мщенія, и судя по тому, какъ велико число людей, которыхъ онъ осуждается на гибель въ сравненіи съ числомъ тѣхъ людей, которыхъ онъ удостоивается своей помощи, самые честные люди должны бы были желать, чтобы вовсе не было такого высшаго существа (§ 7—9).

«Вы показываете невѣрющему человѣку сборникъ письменныхъ произведеній, божественность которыхъ вы намѣрены ему доказать. Но прежде чѣмъ вникнуть въ ваши доводы, онъ навѣрно захочеть сдѣлать вамъ нѣсколько вопросовъ касательно вашего сборника. Всегда ли оставался этотъ сборникъ безъ измѣненій? Почему нѣ сколько стольтій тому назадъ онъ былъ болѣе понятъ нежели теперь? По какому праву были исключены изъ него тѣ или другія части, признаваемыя нѣкоторыми сектами за подлинныя, и почему были оставлены въ немъ тѣ или другія части, которая иными сектами отвергаются?... На всѣ эти недоразумѣнія вы отвѣчаете

лишь признаниемъ, что первыя основы религіи имѣютъ чисто человѣческий характеръ, что выборъ между различными рукописями, восстановленіе нѣкоторыхъ мѣстъ и окончательное составленіе сборника были сдѣланы согласно съ правилами критики. Но я и не отказываюсь признать за божественностью священныхъ книгъ ту степень достовѣрности, которая соотвѣтствуетъ несомнѣнности тѣхъ правилъ (§ 60).

«Всѣ согласны въ томъ, что въ высшей степени важно, чтобы въ защиту вѣры приводились лишь солидные аргументы. Однако тѣхъ, кто пытается ниспровергнуть плохіе аргументы, подвергаютъ преслѣдованіямъ. Но развѣ недостаточно быть христіаниномъ? Развѣ сверхъ того нужно быть христіаниномъ на основаніи ложныхъ аргументовъ (§ 57).

«Чѣмъ менѣе фактъ правдоподобенъ, тѣмъ болѣе свидѣтельство исторіи утрачиваетъ свой вѣсъ. Я безъ всякаго труда повѣрилъ бы свидѣтельству одного честнаго человѣка, который сообщилъ бы мнѣ, что король только что одержалъ полную победу надъ союзниками. Но еслибы весь Парижъ увѣрялъ меня, что умершій человѣкъ воскресъ, я не повѣрилъ бы ни одному слову такого разсказа. Нѣтъ ничего удивительного ни въ томъ, что историки вводятъ настъ въ заблужденіе, ни въ томъ, что цѣлый народъ можетъ быть введенъ въ заблужденіе (§ 46).

«Что такое Богъ? Вотъ вопросъ, который мы задаемъ дѣтямъ, и на который философы очень затрудняются отвѣтить. Мы хорошо знаемъ, въ какомъ возрастѣ ребенокъ долженъ начать учиться грамотѣ, пѣнію, танцамъ, и когда ему пора приступить къ изученію латинскаго языка или геометріи. Только въ дѣлѣ религіи мы не принимаемъ въ соображеніе его способностей. Онъ только что приобрѣлъ способность слушать, а вы уже спрашиваете у него: что такое Богъ? Въ одно и тоже время и изъ однихъ и тѣхъ-же устъ онъ узнаетъ, что существуютъ привидѣнія, домовые, оборотни и узнаетъ, что есть Богъ (§ 25).

«Разнообразіе религіозныхъ мнѣній навело деистовъ на мысль сослаться на такой аргументъ, который не столько основателенъ, сколько оригиналенъ. Цицеронъ, желая доказать, что Римляне самый воинственный народъ въ мірѣ, очень ловко вложилъ это мнѣніе въ уста ихъ противниковъ. Галлы, кому дали бы вы пальму первенства въ дѣлѣ храбрости? Римлянамъ. Парене, кто, послѣ васъ, самые храбрые люди? Римляне. Африканцы, кто могъ бы внушить вамъ страхъ, еслибы это чувство было для васъ доступно? Римляне. Попробуемъ-же, говорять деисты, предложить религіознымъ фанатикамъ вопросы въ такой-же формѣ. Китайцы, если бы ваша религія оказалась не самой лучшей, какую бы вы предпочли послѣ

нег? Натуральную религию. Мусульмане, въ какую вы перешли бы въру, если бы вамъ пришлось отречься отъ магометанской? Въ натурализмъ. Христіане, какую въру слѣдовало-бы считать за истинную, еслибы не существовало христіянства? Еврейскую. Но вы, Евреи, какую въру считали бы вы за истинную, если бы еврейская оказалась ложной? Натурализмъ. Но тотъ, продолжаетъ Цицеронъ,— кому всѣ единогласно предоставляютъ второе мѣсто, и кто съ своей стороны никому не уступаетъ первого мѣста, неоспоримо достоинъ занимать это первое мѣсто (§ 62).

Во всѣхъ этихъ выдержкахъ проглядываютъ характеристические черты той полемики, какая велась въ восемнадцатомъ столѣтіи касательно религіи, основанной на откровенії. Нападающіе требуютъ отъ ея защитниковъ отвѣта на всѣ интеллектуальные или логическія возраженія, которыхъ могли бы быть сдѣланы тѣмъ, кто никогда не былъ христіаниномъ и отказывается отъ вступленія въ христіанскую въру, пока всѣ тѣ возраженія не будутъ опровергнуты. При этомъ не принималось въ соображеніе то умственное состояніе, при которомъ зарождаются и слагаются вѣрованія; не принимался въ соображеніе и рядъ историческихъ условій, которыхъ подготавливаютъ людей къ принятію вѣрованій. Новѣйшие поборники церкви уклончиво ограничиваются объясненіемъ религіи, а лѣтъ сто тому назадъ отъ нихъ требовали доказательствъ ея истины. Результатомъ такого метода неизбѣжно было отрицаніе. Въ такомъ вѣрованіи, которое заявляетъ претензіи на сверхъестественность, объективные положенія не могутъ быть доказаны путемъ вывода изъ натуральныхъ или рационалистическихъ посыпокъ. А если бы они и могли быть доказаны такимъ способомъ, то не иначе какъ на такихъ основаніяхъ, которыхъ одинаково пригодны для всякихъ другихъ вѣрованій съ такими-же притязаніями. Такимъ образомъ скептикъ съ торжествомъ взвѣшивалъ на однихъ и тѣхъ же вѣсахъ достоинства одной откровенной религіи въ сравненіи съ другой¹⁾.

¹⁾ Вольней прибѣгнулъ къ другому слегка видоизмѣненному методу въ сочиненіи, которое пользовалось въ свое время огромной известностью — *Les Ruires, ou Méditation sur les révolutions des empires* (1791). Вѣдьсто того, чтобы выяснить, въ какой мѣрѣ притязанія различныхъ вѣроисповѣданій взаимно уничтожаютъ одно другое, онъ придумалъ поразительную сцену, въ которой священнослужители каждого вѣроисповѣданія выслушиваютъ своихъ противниковъ и потомъ осуждаютъ ихъ предразсудки и неподѣдовательность. У Диляра основой для аргументаціи служила та мысль, что если каждая изъ столькихъ разнообразныхъ религій заявляетъ одни и тѣ же исключительные притязанія, то все эти притязанія должны считаться неосновательными. А у Вольнея аргументація болѣе непосредственно касается внутреннихъ достоинствъ вѣрованій и ведеть къ тому заключенію, что все религіи въ одинаковой мѣрѣ суть болезненные или патологическія явленія, потому что все они наводятъ насъ на поступки, неодобряемые самыми характеристическими изъ ихъ собственныхъ принциповъ. Его методъ сравнительной оценки

Точка зре́нія у автора *Философскихъ мыслей* ясно деистическая. Но у него попадаются и такія кидающіяся въ глаза мѣста, изъ которыхъ видно, какое сильное впечатлѣніе производили на него чѣмкоторые изъ аргументовъ противной стороны. «Я открываю», говоритъ Дидро, записки одного знаменитаго профессора и читаю: «Атеисты, я готовъ согласиться съ вами, что движеніе свойственно матеріи, но какое же выводите вы отсюда заключеніе? Что міръ есть продуктъ случайного соединенія атомовъ? Вы могли бы точно также утверждать, что Гомерова Иліада или Вольтерова Генріада была продуктомъ случайного соединенія написанныхъ буквъ». Что касается до меня, то я не обратился бы съ такими доводами къ атеисту, такъ какъ ему было бы нетрудно разбить меня помощью слѣдующаго сравненія. Согласно съ законами анализа случайностей, сказаль-бы онъ мнѣ, я не долженъ удивляться, если случается то, что могло бы случиться, а трудность события возмѣщается тѣмъ, сколько разъ я буду метать жребій. Я могу держать пари, что при извѣстномъ числѣ метаний игральныхъ костей, я добьюсь того, что на сто тысячъ костей получу сто тысячъ шестерокъ. Какое бы ни было число буквъ, съ помощью которыхъ я взялся-бы нечаянно составить *Иліаду*, непремѣнно есть такое число метаний, при которомъ я могъ бы съ успѣхомъ взяться за это: мой успѣхъ былъ бы даже несомнѣненъ, если бы число дозволенныхъ мнѣ метаний было безконечно. Вы, конечно, согласитесь со мною, что матерія вѣчно существовала и что ей свойственно движеніе. Изъ признательности за эту любезность и я соглашусь съ вами, что міръ не имѣть предѣловъ, что число атомовъ безконечно и что тотъ порядокъ, которому вы удивляетесь, нигдѣ не нарушается: а изъ этихъ взаимныхъ уступокъ можно сдѣлать только тотъ выводъ, что возможность случайного возникновенія вселенной очень невелика, но что число случайныхъ сочетаній безконечно,—то есть, что трудность события болѣе чѣмъ достаточно возмѣщается числомъ случайныхъ сочетаній. Отсюда слѣдуетъ, что такъ какъ матерія вѣчно находилась въ движеніи и такъ какъ въ безконечномъ числѣ возможныхъ комбинацій должно быть безконечное число удивительныхъ сочетаній, то нашъ разсудокъ долженъ бы быть не допускать предположенія, что матерія при безконечномъ рядѣ комбинацій не попала ни на одно изъ тѣхъ удивительныхъ сочетаній. Стало-быть нашъ умъ долженъ быть пораженъ удивленіемъ не отъ того, что возникла вселенная, а отъ того, что такъ долго длился предполагаемый хаосъ» (§ 21).

ки религій былъ очень пригоденъ для разрушительныхъ цѣлей, но въ наше время онъ не могъ бы считаться удовлетворительнымъ. (См. *Oeuvres de Volney*, I. 109, и пр.).

¹⁾ См. Ланга, II. 308.

Въ коротенькомъ продолженіи *Философскихъ мыслей*, озаглавленномъ: *O достаточности натуральной религии* (*De la suffisance de la religion naturelle*), Дидро сдѣлалъ шагъ впередъ, обратившись къ той вѣрѣ, которую приверженцы каждой религии считаютъ за лучшую послѣ ихъ собственной. Но и здѣсь онъ все таки не выходитъ изъ сферы отрицанія. Онъ старается только доказать, что откровенная религія не доставляетъ никакихъ выгодъ, которыхъ уже не были бы обеспечены намъ натуральной религіей. «Законъ откровенія не заключаетъ въ себѣ никакихъ нравственныхъ правилъ, которыхъ не были бы предписаны и не исполнялись бы на практикѣ подъ влияніемъ законовъ природы, и стало быть онъ не научаетъ насъ ничему новому касательно нравственности. Законъ откровенія не познакомилъ насъ ни съ какими новыми истинами, такъ какъ истина есть ничто иное, какъ определеніе какого либо предмета, выражющее такія идеи, которыхъ мнѣ понятны и связь между которыми также понятна. Но откровенная религія не дала намъ такихъ опредѣленій. Все что она прибавила въ натуральнымъ законамъ заключается въ пяти или шести положеніяхъ, которыхъ для меня такъ же мало понятны, какъ если бы они были выражены на древнемъ карѳагенскомъ нарѣчіи, такъ какъ мнѣ вовсе непонятны ни идеи выраженные этими положеніями, ни взаимная связь этихъ идей между собою»¹⁾.

Въ этомъ сочиненіи нѣтъ никакихъ признаковъ того, чтобы Дидро ввѣкнулъ въ положительныя основы натуральной религіи или чтобы онъ былъ готовъ дать какой либо удовлетворительный отвѣтъ на аргументы, выставленные Бютлеромъ въ предшествовавшее десятилѣtie. Мы не видимъ, чтобы ему было известно, что на основаніи его собственныхъ скептическихъ принциповъ можно сдѣлать такія же солидныя возраженія противъ данныхъ, на которыхъ ссылается натуралистической деизмъ, какъ и противъ притязаній сверхъестественной религіи. Онъ довольствовался той точкой зрѣнія, на которой остановился Шафтсбери.

Вліяніе Шафтсбери на Дидро было постоянное. Оно не долго было такъ же полно и безгранично, какъ въ сферѣ религіозныхъ мнѣній, но слѣды его всегда были замѣтны въ понятіяхъ Дидро о нравственности и обѣ искусства. Живость и одушевленіе Шафтсбери въ изложеніи философскихъ идей были въ высшей степени симпатичны для Дидро. Основанная на оптимизмѣ гармонія, которую слѣдовавшіе за Лейбницомъ англійскіе философы считали за исходную точку его этическихъ и религіозныхъ понятій, не только была въ высшей степени симпатична для сангвинического темперамента Дидро,

¹⁾ *Dela Suffisance de la Religion Naturelle*, § 5.

но также представляла ему самый удобный способъ вы свободиться изъ подъ гнета нелѣпыхъ и неясныхъ теологическихъ понятій о грѣховности, обѣ аскетизмѣ, о чудесахъ и о другихъ монашескихъ заблужденіяхъ. Такая натуралистическая религія можетъ показаться въ наше время крайне небезопаснымъ и не комфорtabельнымъ убѣжищемъ. Но для тѣхъ, кому религія представлялась неразрывно связанный съ буллой *U nigenitus* и вѣроисповѣдными свидѣтельствами, съ различными проявленіями нетерпимости и жестокости, съ мелочными спорами о благодати и *Пяти положеніяхъ*, натурализмъ въ прозѣ Шафтсбери и въ стихахъ Попа казался чѣмъ то въ родѣ зари послѣ наводившей уныніе ночи. Всякій, кто желалъ смягчить безчеловѣчную супровость уголовнаго законодательства того времени¹⁾, имѣлъ привычку ссылаться на натуральные законы въ противоположность обычнымъ указамъ и писаннымъ законоположеніямъ. Тогда стали утверждать, что натуральные законы предшествовали всѣмъ законамъ, придуманнымъ людьми. Точно такимъ-же образомъ всякий, кто желалъ разсвѣтъ мракъ непонятныхъ догматовъ и уничижительныхъ требованій церковной власти, ссылался на простоту, ясность и чистоту натуральной религіи, предполагая, что она была исказена во всемъ мірѣ суевѣріями различныхъ религіозныхъ общинъ.

«Я считаю *Опытъ о человѣкѣ* Попа», — писалъ Вольтеръ послѣ своего возвращенія изъ Англіи (1728), — «за самую изящную, самую полезную и самую возвышенную дидактическую поэму, какая когда либо была написана на какомъ либо языкѣ. Правда, все ея содержаніе можно найти въ *Характеристикахъ* Шафтсбери и я не понимаю, почему Попъ приписываетъ ее вліянію Болингброка, но не говоритъ ни слова обѣ ученикѣ Локка, знаменитомъ Шафтсбери²⁾. Причина такого восторженного отзыва обѣ англійскомъ натурализмѣ

¹⁾ Не лишнимъ будетъ напомнить, что пытки не были уничтожены во Франції до самой революціи. Одинъ католіческій писатель высказалъ слѣдующія основательныя сужденія: — „При изученіи восемнацатаго столѣтія, настѣ неизбѣжно приводить въ изумленіе тѣ безнравственныя послѣдствія, которыхъ возникали для парижскаго населенія изъ часто повторявшихся и отвратительныхъ сценъ казни. Читая газеты того времени, мы, къ удивленію нашему, видимъ, что сцены, происходившіе на площади Греве, играли весьма важную роль въ жизни простонародья. Это было нечто въ родѣ дневныхъ театральныхъ представлений. Вѣшаніе и колесование совершались периодически и народъ смотрѣлъ, какъ несчастные преступники страдали по пыткамъ днемъ въ пре смертныхъ мукахъ. Иногда программа казни видоизмѣнялась обезглавливаніемъ и даже сжиганіемъ на кострахъ. Пытка имѣла свои легенды и своихъ героевъ, такъ какъ она была предметомъ ежедневныхъ разговоровъ для того поколѣнія, которое начало съ того, что видѣло, какъ разрывали Дамена до красна раскаленными щипцами, и кончилъ темъ, что само разорвало на куски Фулона“. (*Carné, Monarchie fran aise au 18-i me si cle*, p. 493).

²⁾ *Lettres sur les Anglais*, XXIII.

заключалась не въ томъ только, что этотъ натурализмъ ставилъ нравственность въ независимое положеніе отъ религій,—чего и добивался всѣми силами Шафтсбери. Сверхъ того онъ отожествлялъ религию со всѣмъ, что есть прекраснаго и гармонического во вселенной. Онъ окружалъ новую вѣру чистой и возвышенной поэзіей, дававшей ей возможность бороться съ старыми вѣрованіями при равныхъ условіяхъ достоинства и возвышенности. Шафтсбери, а вслѣдъ за нимъ и Дидро, облагородилъ человѣческую натуру тѣмъ, что помѣстилъ принципы добродѣтели и доброты внутри человѣческаго сердца. Дидро, какъ мы увидимъ далѣе, всегда вѣрно держался этой идеи. Этимъ объясняется его наборъ фразъ о добродѣтели и нравственности, встрѣчающейся въ его письмахъ къ г-жѣ Воланѣ и въ нѣкоторыхъ другихъ, который иначе производилъ бы на нашъ слухъ непріятное впечатлѣніе ханжества. Наконецъ стараніе Шафтсбери придать нравственности особую красоту, объяснить вопросы ея ка-сающіеся различiemъ наклонностей и придать почти одинакое значеніе чувству красоты и чувству нравственному—все это произвело на Дидро неизгладимое впечатлѣніе. Въ своихъ *Изслѣдованіяхъ* авторъ утверждаетъ, что всякий человѣкъ съ здравымъ взглядомъ на вещи, принялъ бы за ребяческое жеманство всякую попытку отвергнуть тотъ фактъ, что въ нравственныхъ существахъ, точно также какъ и въ материальныхъ предметахъ, есть истинная и существенная красota, есть иѣчто реально возвышенное. Что Дидро тотчасъ горячо схватился за эту мысль, видно изъ напыщенного подстрочного примѣчанія, которое онъ прилагаетъ къ оригиналу¹⁾). Эта горячность и сдѣлалась источникомъ той этической окраски въ его критическихъ статьяхъ объ искусствѣ, которая придала имъ столько новизны и интереса потому что ставила эстетику выше техническихъ мелочей и приводила ее въ связь съ реальными импульсами и условіями человѣческой жизни²⁾.

Одно изъ написанныхъ около того же времени (1747) сочиненій Дидро *Прогулка Скептика* (*Promenade du Sceptique*) вышло въ свѣтъ лишь послѣ его смерти. Его дочь разсказываетъ, что полицейскій агентъ вошелъ однажды въ домъ и сталъ обыскивать кабинетъ писателя. Отыскавъ какую-то рукопись, онъ сказалъ:

¹⁾ *Essai sur le M  rite*, I. II. § 3. Оeuv., I. 33.

²⁾ Шафтсбери былъ однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ людей восемнадцатаго столѣтія. Всѣ величайшіе умы того времени не только въ Англіи, но и въ ея, какъ то Лейбницъ, Вольтеръ, Дидро, Лессингъ, Мэндельсонъ, Вильандъ и Гердеръ извлекали изъ его сочиненій самую здоровую пищу для своего ума³⁾. (Геттнера *Literaturgeschichte des 18-ten Jahrhunderts*: 1-er Teil, 188). См. также *Ланге Gesch. des Materialismus*, I, 306, etc. Прекрасная статья о Шафтсбери помещена Лесли Стефеномъ въ его *Essays on Freethinking and Plain-Speaking*.

«Хорошо, это именно то, что мнѣ нужно», положилъ ее къ собѣ въ карманъ и ушелъ. Дидро употреблялъ всевозможныя старанія чтобы обратно получить свое сочиненіе, но никогда не могъ этого добиться¹⁾. Кончи съ этой рукописи попала въ руки Нэжона и, какъ кажется, была сохранена директоромъ прессы. Малербомъ изъ доброжелательства къ автору. Если бы она была напечатана, авторъ безъ сомнѣнія поплатился бы за нее тюремнымъ заключеніемъ въ Венсенѣ.

Съ первого взгляда намъ кажется несочувствіе понятнымъ, какъ могла полиція узнать о томъ, что лежитъ въ письменномъ столѣ неизвѣстнаго писателя. Но мы не должны забывать, что хотя Парижъ чрезвычайно разросся въ эпоху системы Ло (1719—20), однако имѣлъ еще такие размѣры, при которыхъ задача администраціи сравнительно не была особенно трудна. Хотя въ 1720 населеніе всего королевства достигало лишь четырнадцати или пятнадцати миллионовъ жителей, населеніе Парижа было не менѣе чѣмъ въ полтора миллиона. Такое искусственное расширение столицы прекратилось вмѣстѣ съ паденіемъ Ло. Въ половинѣ столѣтія, населеніе Парижа едва превышало восемьсотъ тысячи²⁾. Стало быть въ то время, не такъ какъ теперь при вредномъ и чудовищномъ размноженіи обитателей Парижа и Лондона, полиція была въ состояніи наблюдать за всѣмъ съ достаточной акуратностью. Это былъ скопье очень большой провинциальный городъ. Сверхъ того жители распредѣлялись по группамъ или по сферамъ дѣятельности съ такою опредѣленностью, которая уже невозможна въ наше время. Такъ напримѣръ одна пятая часть населенія состояла изъ домашней прислуги³⁾. Въ его числѣ было отъ двадцати до тридцати тысячъ нищихъ по профессіи⁴⁾. Кружокъ лицъ судебнаго вѣдомства былъ довольно многочисленъ и привлекалъ къ себѣ общее вниманіе своимъ вліяніемъ и своими внутренними раздорами. Сфера литераторовъ хотя и возбуждала много шума и была очень вліятельна, однако состояла лишь изъ небольшой группы людей. Учрежденіе

¹⁾ Oeuvres, I. XLVI.

²⁾ Жобеза France sous Louis XV, 11. 373. Въ 1725 въ Парижѣ было 24,000 домовъ, 20,000 экипажей и 120,000 лошадей. (Мартена Hist. de France, XV, 116).

³⁾ Дошедшія до настѣ свѣдѣнія о томъ что такое былъ въ то время Парижъ, содержать въ себѣ не мало доказательствъ беспокойнаго нрава этой отвратительной арміи лакеевъ. Barbier, 1. 118. Касательно того, какъ развилась въ нихъ заносчивость, см. Saint-Simon, XII. 354 и пр. Число лакеевъ, находившихся при мѣстахъ, было, какъ кажется, чрезвычайно велико по сравненію съ общей суммой ежегодныхъ расходовъ, и въ этомъ нельзѧ не усмотреть очень любопытной черты въ нравахъ того времени. См. Вольтера Dict. Phil., § V. Economie Domestique (liv. 182).

⁴⁾ Duclos, Mém. secrèts sur le Règne de Louis XV., III. 306.

цензуры всегда поражаетъ толки и перешептыванія касательно подозрительныхъ литературныхъ произведеній прежде нежели они выйдутъ въ свѣтъ, а эти перешептыванія даютъ полиціи возможность проникать во всѣ тайны, какія только могутъ интересовать ее.

Что касается до Дидро, то его откровенное добродушіе давало всякому посѣтителю возможность знакомиться съ положеніемъ его дѣлъ. Его домъ служилъ мѣстомъ сборища для всѣхъ парижскихъ голодныхъ писакъ и самъ онъ оставилъ намъ не одно живое изображеніе литературныхъ тружениковъ того времени. Вотъ напримѣръ, что онъ писалъ обѣ одномъ бѣднякѣ, которому онъ далъ какую-то рукопись для снятія съ нея копіи. «Уже прошелъ тотъ срокъ, въ который онъ обѣщалъ мнѣ доставить ее, а такъ какъ онъ не являлся ко мнѣ, я сталъ беспокоиться и отправился отыскивать его. Я нашелъ его въ какой-то дырѣ шириною почти въ мой кулакъ, грязной какъ смоль и безъ малѣйшаго лоскутика занавѣски или обовоѣ для прикрытия обнаженныхъ стѣнъ; тамъ было нѣсколько соломенныхъ стульевъ, выдвижная кровать съ стеганнымъ одѣяломъ, изѣденнымъ молью, въ уголкѣ за каминомъ сундукъ, заваленный разною ветошью, маленькая жестяная лампа, для которой служила подставкой бутылка, а на полкѣ около дюжины первоклассныхъ литературныхъ произведеній. Я провелъ тамъ въ разговорѣ почти три четверти часа. Мой бѣднякъ былъ голъ какъ червякъ, тощъ, черенъ, сухъ, но совершенно спокойенъ духомъ. Онъ ничего не говорилъ, а только съ аппетитомъ жевалъ корку хлѣба и отъ времени до времени обращался съ лаской къ своей возлюбленной, лежавшей на отвратительной кровати, которая занимала двѣ трети его комнаты. Если бы я прежде того не зналъ, что источникъ счастья въ нашей душѣ, мой Эпиктетъ изъ улицы Гиацінта вполнѣ убѣдилъ бы меня въ этомъ.»¹⁾.

Разсказъ обѣ одномъ изъ такихъ клиентовъ-оборванцевъ совершенно подходящъ для нашей цѣли. «Въ числѣ тѣхъ», — писалъ Дидро г-жѣ Воланъ²⁾, — «кто обращался ко мнѣ случайно или по нуждѣ былъ нѣкѣй Глена, хорошо знавшій математику, имѣвшій хорошій почеркъ и искашій заработковъ. Я сдѣлалъ все что могъ, чтобы вывести его изъ затрудненій. Я повсюду искалъ для него заказовъ. Если онъ заходилъ ко мнѣ въ обѣденное время, я не позволялъ ему уходить не поѣвши; если у него не было башмаковъ, я давалъ ихъ ему; по временамъ мнѣ случалось незамѣтно всунуть ему въ руку серебряную монету. Онъ имѣлъ видъ самаго добродѣтельнаго человѣка въ мірѣ, и даже переносилъ лишенія съ нѣко-

¹⁾ Oeuv., XIX. 91.

²⁾ Ibid., p. 130.

торой веселостью, которая мнѣ нравилась. Я любилъ поболтать съ нимъ; онъ, повидимому, не придавалъ большой цѣны ни богатству, ни славѣ, ни всему тому, что прельщаетъ насъ въ жизни. Семь или восемь дней тому назадъ Дамилавилль написалъ мнѣ, чтобы я прислалъ къ нему этого человѣка, такъ какъ одинъ изъ его пріятелей нуждается въ переписчикѣ. Я далъ знать Глену, чтобы онъ туда отправился, и ему вручили для переписки рукопись, въ которой рѣчи шли о религіи и о правительствѣ. Я не знаю какъ это случилось, но рукопись оказалась въ рукахъ директора полиціи. Дамилавилль извѣстилъ меня объ этомъ. Я поспѣшилъ къ моему пріятелю Глену, чтобы предупредить его, что онъ не долженъ впредь разсчитывать на меня. „Почему же я не долженъ впредь разсчитывать на васъ?“ „Потому что вы на замѣчаніи у полиції. За вами слѣдить и потому нѣть возможности доставлять вамъ работу“. „Но вы, дорогой мой другъ, не подвергнетесь никакой опасности если только не будете довѣрять мнѣ ничего предосудительного. Полиція приходитъ сюда только тогда, когда чуетъ добычу. Я не могу объяснить вамъ, какъ она это дѣлаетъ, но она никогда не ошибается“. „Хорошо, во всякомъ случаѣ я знаю теперь въ чемъ дѣло и я узналь отъ васъ гораздо болѣе того, чего ожидалъ“;—съ этими словами я повернулся спиной къ этому негодяю и вышелъ. По какому-то дѣлу Дидро пришлось поспѣстить директора полиціи; тогда онъ завелъ разговоръ о случившемся и рѣзко упрекнулъ директора за то, что онъ такъ отвратительно употребилъ во зло его сердечную доброту, введя шпиона въ его домъ. Г-нъ де-Сардинъ разсмѣялся, а Дидро уходя далъ себѣ слово, что какой-бы ни пришелъ къ нему бѣднякъ,—будь у него грязныя и оборванныя манжетки, дыры на чулкахъ и на башмакахъ, волосы нечесанные, дурное верхнее платье въ дыряхъ или коротенькое черное платье съ бросающимися въ глаза заплатами, и при этомъ звукъ голоса и умильные взгляды страждущей добродѣтели,—онъ отнесется къ пришельцу какъ къ человѣку подосланному полиціей, какъ къ негодяю, которому поручено подсматривать за нимъ. Что Дидро скоро позабылъ о данномъ словѣ, не можетъ подлежать сомнѣнію; тѣмъ не менѣе вся эта исторія доказываетъ намъ, что положеніе литераторовъ было въ нѣкоторомъ отношеніи гораздо болѣе тягостно во Франціи нежели въ Англіи.

Но міръ, конечно, не понесъ-бы невозвратимой потери, еслибы полиція бросила въ огонь *Процессуаль Скептика*. Это—аллегорія, написанная съ цѣллю провести параллель между жизнью религіознаго человѣка, жизнью философа и жизнью, наполненной чувственными наслажденіями. Изъ всѣхъ формъ литературнаго творчества, аллегорія, чтобы быть удачной, всего болѣе требуетъ отъ автора способ-

ности уловлять вновь возникающія въ людяхъ понятія о счастії. И ясность и правдоподобіе и выдержанность ничего не стоятъ въ сравненіи съ изворотливостью и богатствомъ фантазіи. У Беніана была такая способность, а у Вольтера она также была но въ соединеніи съ безконечно большей живостью. У Дидро же не было свойственной первому изъ нихъ глубокой искренности или реализма въ убѣжденіяхъ; у него не было и свойственного второму изъ нихъ неподражаемаго умѣнья вполнѣ предаваться фантазіи. Онъ былъ самымъ неловкимъ, самымъ неудачнымъ и самымъ ненаходчивымъ изъ сочинителей. Его аллегорія объ аллѣѣ изъ терновника, объ аллѣѣ изъ каштановыхъ деревьевъ и объ аллѣѣ изъ цвѣтовъ, неискусно задумана, слишкомъ ясна и бѣдна содержаніемъ, а потому интересуетъ столько же сколько могло бы интересовать изложеніе ея содержанія безъ всякой попытки придать ему фантастическую обстановку. Скромные святоши, прогуливающіеся между кустами терновника, и сластолюбивые грѣшники, прогуливающіеся между цвѣтами, похожи на механическія фигуры. Стараясь передать приличнымъ для аллегорического положенія языкомъ отвращеніе скептика съ одной стороны къ грубымъ суевѣріямъ, а съ другой къ грубому гедонизму, онъ употребляется натянутыя и неуклюжія выраженія. Самый интересный изъ трехъ отдельностей — второй, заключающей въ себѣ пренія, въ которыхъ принимаютъ участіе дѣйствіе, пантейстъ, субъективный идеалистъ, скептикъ и атеистъ. Здѣсь аллегорія оттѣсняется на задний планъ и передъ нами безъискусственно излагаются нѣкоторыя изъ возраженій, которые могутъ быть сдѣланы скептикомъ-атеистомъ и противъ откровенія и противъ натуральной религіи. Звѣздное небо вызываетъ обычное восхваленіе творца такихъ красотъ. «Все это дѣло воображенія», возражаетъ атеистъ. «Это ничто иное какъ догадки. Передъ нашими глазами незнакомый намъ аппаратъ, надъ которымъ сдѣланы нѣкоторыя наблюденія. Невѣжественные люди, разсмотрѣвшіе только одно изъ его колесъ, въ которомъ близко познакомились едва ли болѣе чѣмъ съ однимъ или съ двумя зубцами, дѣлаютъ догадки о томъ, какъ его кулаки приспособлены къ взаимно-дѣйствію съ сотнями тысячъ другихъ колесъ. А за тѣмъ они, какъ настоящіе ремесленники, наклеиваютъ на это произведеніе ярлыкъ съ именемъ его автора».

Зашитникъ оправдываетъ свою точку зреінія тѣмъ аргументомъ съ ссылкой на часы съ репетиторомъ, къ которому такъ часто прибѣгали Палэ и нѣкоторые другие писатели. Для всякаго ясно, говорить онъ, что конструкція и правильность хода такихъ часовъ суть дѣло интеллигентнаго существа. «Нѣтъ», — возражаетъ атеистъ, — «здѣсь идетъ рѣчь о разнородныхъ предметахъ. Такое законченное произведеніе, происхожденіе и творецъ котораго вамъ извѣстны, вы сравниваете

съ сложнымъ до безконечности предметомъ, котораго начало, настояще положеніе и конецъ одинаково вамъ неизвѣстны, и о творцѣ котораго вы не имѣете никакихъ болѣе положительныхъ свѣдѣній, чѣмъ однѣ догадки».

Но развѣ его конструкція не даетъ указаній о его творцѣ? «Нѣтъ; вы не видите, кто этотъ творецъ, и каковъ онъ. Кто сказалъ вамъ, что порядокъ, которымъ вы здѣсь восхищаетесь, не нарушается гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ? Какое имѣете вы право дѣлать изъ одного пункта въ пространствѣ выводы касательно всего безконечнаго пространства? Вы засыпаете огромное пространство землей и разными обломками, которые разбросаны наудачу, но между которыми находяться для себя очень удобныя жилища и червякъ и муравей. Что подумали-бы вы обѣ этихъ насекомыхъ, если бы они, разсуждая точно такимъ-же образомъ, какъ и вы, стали бы восхищаться интеллигентціей садовника, такъ хорошо для нихъ размѣстившаго всѣ эти материалы»? ¹⁾

Въ этой зачаточной формѣ главный ораторъ высказываетъ нѣкоторыя возраженія противъ деизма съ точки зрѣнія неизмѣнной ограниченности и немѣдленной относительности человѣческихъ знаній. Такого рода возраженія были высказаны еще за долго передъ тѣмъ и съ большою силой Паскалемъ въ знаменитой статьѣ его *Мыслей*, гдѣ объяснялось, какъ трудно доказать существованіе божества путемъ изученія природы ²⁾. У Дидро аргументація не доходитъ до догматического отрицанія. Она лишь доказываетъ, что на атеиста можно нападать оружіемъ, взятымъ изъ того же самаго скептическаго арсенала, изъ котораго онъ извлекъ свое собственное оружіе для нападокъ на откровеніе. Нѣтъ возможности рѣшить, какъ далеко зашелъ Дидро въ ту пору въ своихъ мнѣніяхъ. Рѣшительность, съ которой его атеистъ излагаетъ свои доводы, служить доказательствомъ того, что авторъ вполнѣ сознавалъ ихъ силу. Но атеиста постигаютъ неожиданныя несчастія. Возвратившись домой, онъ находитъ, что его дѣти убиты, его домъ разграбленъ, его жена увезена и авторъ утверждаетъ, что на основаніи своихъ собственныхъ принциповъ атеистъ не имѣлъ права жаловаться на это. Если отсутствіе свидѣтелей давало убийцѣ возможность совершить свое преступленіе безнаказанно, то почему же онъ не долженъ быть совер-

1) *Prém. du Sceptique. Оeuvr.*, I. 229.

2) „Если есть Богъ, то онъ непостижимъ для насть, потому что не имѣя составныхъ частей или предѣловъ, онъ не имѣть никакого соотношенія съ наими: потому мы неспособны понять, что онъ такое и существуетъ-ли онъ. При такомъ положеніи вещей, можемъ-ли мы отважиться на разрѣшеніе вопроса? Во всякомъ случаѣ, если кто либо можетъ, то не мы, у которыхъ нѣтъ никакого соотношенія съ нимъ“.—*Pensées*, II. III. I.

шать его? Есть также одно мѣсто, въ которомъ авторъ; повидимому, высказываетъ свои собственныя мнѣнія. Одинъ изъ собесѣдниковъ настаиваетъ на необходимости поддерживать въ народѣ нѣкоторые предразсудки. «Какіе предразсудки? Если кто либо допускаетъ существованіе Бога, нравственное добро и зло, бессмертіе души, будущія награды и наказанія, зачѣмъ ему нужны предразсудки? Допустимъ, что онъ посвященъ во всѣ тайны пресуществленія, Троицы, единства трехъ ипостасей, предопределѣнія, воплощенія и проч., развѣ онъ будетъ оттого лучшимъ гражданиномъ?»¹⁾

Въ сущности умъ Дидро парилъ въ то время въ облакахъ рационалистического отрицанія, а мораль его произведенія, какъ онъ самъ на это намекаетъ, направлена во первыхъ противъ сумасбродствъ католицизма, за тѣмъ противъ пустоты свѣтскихъ удовольствій и, наконецъ, противъ безконечной неопределѣленности философскихъ теорій. Но при этомъ мы усматриваемъ въ немъ довольно сильную склонность къ теоріи о вѣчности матеріи, которая распределась и приняла разнообразныя формы благодаря присущему ей свойству подвижности.²⁾

Весьма характеристичнымъ и непріятнымъ признакомъ времени служить тотъ фактъ, что среди такихъ серьезныхъ философскихъ идей Дидро приступилъ (1748) къ сочиненію разсказовъ въ томъ самомъ родѣ, который сдѣлался весьма популярнымъ благодаря автору *Codfы*. Содержаніе этого жалкаго произведенія еще болѣе отъратительно—въ эстетическомъ, а не нравственномъ отношеніи,—чѣмъ все, что можно найти въ слишкомъ многочисленныхъ произведеніяхъ грязной литературы. Мысль сочиненія, какъ кажется, заимствована изъ одного стариннаго *Fabliau* и.³⁾ И то, что сносно въ формѣ граціозныхъ и наивныхъ стиховъ двѣнадцатаго или тринадцатаго столѣтія, дѣлается невыносимымъ, когда обдуманно облекается серьезнымъ человѣкомъ въ низящную и нестыдливую прозу восемнадцатаго столѣтія. Мы не находимъ здѣсь ни стариннаго юмора, ни блестокъ фантазіи, ни остроумія, ни веселой *gaillardise*—и передъ нами лишь выдохшійся осадокъ сального анахронизма. Даже Карлейль,—не смотря на то, что онъ не любить стѣсняться, когда заходить рѣчь о подобныхъ предметахъ, и не придерживается общепринятыхъ лицемѣрныхъ приемовъ нашей критики,—очень рѣшительно и основательно утверждаетъ, что это «самая скотскія изъ всѣхъ прошедшихъ, настоящихъ и будущихъ пошлыхъ повѣстей.» «Когда какой

1) Стр. 182.

2) Стр. 223.

3) Барбазана *Fabliaux et Contes*, III. 409 (изд. 1808). Первая часть этого учебнаго труда появилась въ свѣтѣ въ 1756 и легко могло случиться, что Дидро познакомился съ его содержаніемъ прежде нежели онъ былъ напечатанъ.

нибудь смертный, будь онъ даже рецензентъ, снова заглядывалъ въ эту книгу, я сознаваль какъ вѣрно замѣчаніе нашего юмориста, «что еслибы читатель выкупался въ ключевой водѣ и перемѣнилъ бѣлье, то всетаки оставался бы грязнымъ до окончанія чтенія»: Самъ Дидро, какъ и слѣдовало ожидать, скоро сталъ раскаяваться въ томъ, что написалъ такую постыдную вещь и никогда не могъ безъ замѣшательства слышать упоминаніе о ней. ¹⁾

Я уже имѣлъ случай замѣтить, ²⁾ что именно такія произведенія, какъ упомянутые разсказы Дидро, какъ романы Кребильона, какъ *Исторія графа А Дюкло*, и обнаружившаяся въ нихъ развращенность нравовъ придали *Новой Элоизѣ* Руссо (1761) ея увлекательное и непреодолимое обаяніе. Такъ какъ я указалъ уже въ другомъ мѣстѣ на вліяніе нравственной распущенности, отъ которой не вполнѣ остались чистыми и тѣ, кто принадлежалъ къ партіи философовъ, то я ограничусь здѣсь двумя коротенькими замѣчаніями. Вопервыхъ я напомню, что развратъ, воцарившійся при дворѣ послѣ смерти Людовика XIV, скоро распространился и въ среднемъ классѣ столичнаго населенія. Вызванное безразсудными спекуляціями Ло ослабленіе общественныхъ узъ безъ сомнѣнія содѣйствовало распространенію деморализациі. Во вторыхъ, реакція противъ церкви заключала въ числѣ другихъ своихъ элементовъ и страстную ненависть ко всему, что походило на аскетизмъ. Это явленіе совпало съ общимъ упадкомъ нравственности, замѣнившимъ мрачную суровость временъ Людовика XIV. Оттого-то даже люди, отличавшіеся чистотою своей жизни какъ Кондорсе, доходили въ теоретическомъ протестѣ противъ аскетизма до извиненія практической безнравственности того времени. Это одна изъ тѣхъ громадныхъ невыгодъ, которая рѣдко принимаются въ соображеніе при исчислѣніи благодѣяній, доставляемыхъ суевѣріемъ. Средневѣковое суевѣріе принесло нѣкоторую пользу, но теперь настало время расплатиться за это. Неизмѣнныя нравственные правила были поставлены въ неразрывную связь съ преходящими религіозными вѣрованіями. Поэтому, когда вѣрованія утратили свой интеллектуальный кредитъ, вмѣстѣ съ ними пришла на короткое время въ упадокъ и половая нравственность. Таковъ всегда бываетъ естественный результатъ попытки построить здравую этику на нетвердомъ песчаномъ грунѣ и на непрочномъ фундаментѣ теологии.

Такія литературные произведенія, какъ эти разсказы Дидро, были отражениемъ въ одно и то же время и обыденныхъ практическихъ понятій и философской теоріи. Оригинальныя выходки этого рода дорого обходятся народу, если онъ облекаются въ такую ли-

¹⁾ *Naïgues.*

²⁾ Въ моей книжѣ *Руссо*, II. 24—6.

тературную форму, которая придает имъ долговѣчность. Иные утверждаютъ, что романъ Луве—*Фоблазъ* и до сихъ порь служитъ могущественнымъ орудіемъ для развращенія французского юношества. Впрочемъ у Дидро не было самыхъ характеристическихъ достоинствъ французскихъ писателей; онъ не умѣлъ быть ни наивнымъ, ни деликатно вкрадчивымъ, ни играво циническимъ. Вотъ почему его произведеніе было недолговѣчно и намъ нѣтъ надобности долѣе останавливаться на немъ. *Chaque esprit a sa lie*, сказалъ одинъ писатель, когда—то преклонявшийся передъ Дидро¹⁾; и мы можемъ отложить въ сторону рассказы, о которыхъ идетъ рѣчь, какъ осадокъ мощнаго, беспечнаго и зараженнаго чувственностью ума. Впослѣдствіи Дидро написалъ *La Religieuse*, на которую поверхностной критикѣ не трудно изливать цѣлые потоки прітворной ярости. Однако въ этомъ случаѣ онъ совершилъ глубокое патологическое изслѣдованіе съ серьознымъ направлениемъ. Если сюжетъ и ужасенъ, то въ этомъ слѣдуетъ винить складъ человѣческаго характера или негодность человѣческихъ учрежденій. *La Religieuse* не была продолженіемъ тѣхъ развратныхъ идей, которые возникли и кончились вмѣстѣ съ рассказами, написанными въ 1748,—тѣми рассказами, которые принадлежать къ числу многочисленныхъ иллюстрацій мнѣнія Гизо, что восемнадцатое столѣтіе было самымъ заманчивымъ и самымъ соблазнительнымъ изъ всѣхъ столѣтій, такъ какъ оно сулило полное удовлетвореніе какъ всѣмъ возвышеннымъ стремленіямъ человѣчества, такъ и всѣмъ его слабостямъ. Геттнеръ цитируетъ выдержку изъ одной мелкой статьи Нибура, въ которой этотъ историкъ сравниваетъ Дидро съ Петрониемъ, такъ какъ оба они были честные, благонамѣренные люди, которые въ эпоху общаго безстыдства были вовлечены въ цинизмъ своей глубокой ненавистью къ господствовавшему пороку. «Еслибы Дидро жилъ въ наше время»,—говорить Нибуръ,—«и еслибы Петроній жилъ не въ третьемъ, а только въ четвертомъ столѣтіи, имъ казалось бы отвратительнымъ описание сальностей и поводы къ тому были бы несравненно менѣе значительны»²). Но въ Дидро не замѣтно слѣдовъ такого глубокаго отвращенія къ порочности его времени. Можно только сказать, что онъ въ свои ранніе годы не избѣжалъ ея вліянія не смотря на то, что отъ природы былъ человѣкомъ нравственнымъ и честнымъ.

Достоинъ вниманія тѣтъ фактъ, что распущенность нравовъ, господствовавшая въ половинѣ столѣтія, не соединялась съ циничес-

¹⁾ Жуберъ.

²⁾ Геттнера, *Literaturgeschichte des 18-ten Jahrhunderts*, II. 301.

кимъ и презрительнымъ взглядомъ на женщинъ,—какъ это обыкновенно случается при упадкѣ нравственности. Тогда болѣе или менѣе ясно сознавали ту истину, которая становилась все болѣе и болѣе очевидной по мѣрѣ того какъ со временемъ революціи просвѣщался человѣческій умъ,—ту истину, что вопросъ о сфере дѣятельности и о назначеніи женщины входитъ въ число трехъ или четырехъ самыхъ передовыхъ вопросовъ въ дѣлѣ общественныхъ улучшеній. Теперь это сознается всѣми, какъ бы ни были различны мнѣнія касательно правильнаго разрѣшенія этой задачи. Лѣтъ сто тому назадъ, это сознаніе было шатко и неопределѣленно, но и тогда уже ясно высказывалось опасеніе, что католическій идеалъ женщины такъ же мало соответствуетъ условіямъ жизни, какъ и католическая понятія о наукѣ, о собственности, о труда, о политическомъ устройствѣ и о правительственной власти.

Отъ Дидро осталось нѣсколько оригинальныхъ и достойныхъ вниманія размышлений о назначеніи и характерѣ женщинъ. Онъ не обнаруживаетъ стремленій къ переустройству общества, а выражается какъ человѣкъ, который мучительно вдумывается въ печальносложившіяся условія жизни. У него нѣтъ той приторной сентиментальности, которая была свойственна Жану Жаку. Онъ не пренебрегаетъ простыми физическими явленіями, о которыхъ такъ трудно говорить, когда установился вредный обычай обходить ихъ молчаніемъ, но о которыхъ было бы такъ вредно молчать. Онъ никогда не унижается до той вредной лести по отношенію къ женщинамъ, которой довольствуются близорукіе наблюдатели, фаты и люди осѣпленные своими личными привязанностями. «Никогда не забывайте»,—говорить онъ,—«что вслѣдствіе непривычки вдумываться въ предметы и вслѣдствіе отсутствія какихъ либо принциповъ, ничто не проникаетъ достаточно глубоко въ убѣжденіе и въ умъ женщинъ. Понятія о справедливости, добродѣтели, порокъ, сердечной добротѣ или злости, скользятъ по поверхности ихъ души. Онѣ себѣлюбивы и охраняютъ свои личные интересы со всей свойственной имъ натурѣ энергіей. Хотя онѣ съ вѣнчней стороны болѣе цивилизованы, чѣмъ мы, но внутренно онѣ остались настоящими дикарками.... Въ любовной страсти, въ припадкахъ ревности, въ восторгахъ материнской нѣжности, въ вспышкахъ суевѣрія—вотъ въ чёмъ женщины обнаруживаютъ приводящее настъ изумленіе умѣніе усвоивать господствующія какъ эпидемическая зараза общепринятія мнѣнія; онѣ прекрасны какъ серафимъ у Блошитока, страшны какъ злые духи у Мильтона... Развлеченія дѣловой и полной борьбы жизни заглушаютъ наши страсти. Женщина-же, напротивъ того, питаетъ въ себѣ свои страсти; это—неподвижная точка, къ которой приковано ея вниманіе благодаря ея праздности или мелоч-

ности ея обязанностей... Женщины непроницаемы въ своемъ притворствѣ, жестоки въ мстительности, упорны въ своихъ намѣреніяхъ, неразборчивы въ средствахъ для успѣха, и одушевлены глубокою и скрытною ненавистью къ деспотизму мушкины, такъ что вамъ кажется, будто между ними существуетъ нечто въ родѣ такого же союза, какой существуетъ между лицами духовнаго званія всѣхъ націй... Символомъ для женщины служитъ то слово, которое написано во главѣ Апокалипсиса,—тайна.... Если у насъ разсудокъ болѣе силенъ чѣмъ у женщинъ, за то у нихъ инстинктъ болѣе силенъ, чѣмъ у насъ.»¹⁾ Все это было высказано безъ желчи, и, напротивъ того, въ духѣ глубокомысленнаго наблюдателя.

Ироническая жолчность была бы здѣсь такъ же неумѣстна, какъ и легкомысленный похвалы. Диадре питалъ глубокое чувство состраданія къ женщинамъ. Ихъ физическія слабости растрогивали его до соболѣзвнованія. Къ этимъ слабостямъ присоединялось бремя материнскихъ обязанностей и бремя несправедливыхъ законовъ. «Настало время, когда дѣвушка должна выйти изъ зависимости отъ своихъ родителей; ея воображеніе раскрывается для будущаго, наполненнаго химерами; ея сердце погружается въ море тайныхъ радостей. Радуйся пока можешь, несчастное существо! Время ослабило бы ту тиранію, отъ которой ты освободилась, но время же усиливъ ту тиранію, которая ожидаетъ тебя. Они выбрали ей супруга. Она дѣлается матерью. Въ страданіяхъ, съ опасностью для своей жизни, съ утратой своихъ прелестей, нерѣдко съ вредомъ для своего здоровья—вотъ какъ производить она на свѣтъ ребенка. Органы ея пола подвержены двумъ неизлечимымъ болѣзнямъ. Можетъ быть неѣть такой радости, какъ радость матери при видѣ своего первого ребенка, но этотъ моментъ купленъ дорогой цѣнной. Съ текенiemъ времени красота увядаетъ; настаютъ годы пренебреженія, сплины, скучи. По волѣ природы женщина должна пройти чрезъ физическія страданія, чтобы сдѣлаться матерью; въ страданіяхъ, въ опасной и продолжительной болѣзни разрѣшается она отъ бремени. И что ожидаетъ послѣ того женщину? Мужъ пренебрегаетъ ёю, дѣти покидаютъ ее, въ обществѣ она не имѣеть никакого значенія, и благочестіе дѣлается ея единственнымъ и послѣднимъ ресурсомъ. Почти во всѣхъ странахъ міра жестокость гражданскихъ законовъ по отношенію къ женщинамъ присоединяется къ жестокости самой природы. Къ женщинамъ относятся какъ къ слабоумнымъ дѣтямъ. Въ средѣ цивилизованныхъ націй неѣть такого при-

¹⁾ Оену., II. 260, etc.

тѣсненія, которому женщина не могъ бы безнаказанно подвергнуть женщину». ¹⁾

Мнѣнія Дидро остановились на томъ, что выражено въ этомъ патетическомъ словоизверженіи. Онъ предоставилъ слѣдующему поколѣнію,—Кондоре и другимъ,—разрѣшить эту проблему съ практической точки зрењія и развить ту правильную теорію, что для возмѣщенія физическихъ невыгодъ на сторонѣ женщинъ слѣдуетъ стремиться къ ихъ соціальной эманципації и къ подчиненію женщинъ нравственной дисциплинѣ. Тѣмъ не менѣе нельзя не отдать Дидро справедливости въ томъ, что онъ отнесся къ положенію и характеру женщинъ въ цивилизованномъ обществѣ съ понимавіемъ реальныхъ условий жизни и отбросилъ въ сторону общепринятыхъ въ поэзіи и литературѣ сладкія любезности, которыми прикрывалась цѣлая бездна страданій.

1) Oeuv., II. 258—9. De l'Essai sur les Femmes, par Thomas, См. Грима Corr. Lit., VII, 451, где эта книга подвергается хулѣ, и VIII, 1, где приводится мнѣніе объ ней Дидро. Томасъ принадлежалъ къ партии философовъ, но не къ числу ея воинствующихъ членовъ. Онъ былъ серьезный и добродорядочный человѣкъ и находился въ самой тѣсной дружбѣ съ г-жою Неккеръ. Его восторженная любовь къ добродѣти, справедливости и свободѣ, выражавшаяся съ большою высокопарностью, скѣлала его идоломъ того кружка, который собирался у г-жи Неккеръ. Недавно одинъ писатель—не безъ основанія, хотя и съ некоторымъ преувеличеніемъ,—прозвалъ его „хизъмъ Грандисономъ“. (Альбера Lit. Française au 18 ième siècle, стр. 423).

ГЛАВА IV.

Новая философія.

Существует общее предубѣждение, въ силу которого относятся къ Вольтеру такъ, какъ будто онъ ничего не сдѣлалъ кромѣ того, что написалъ *La Rucelle* и насмѣхался надъ пророками. Всякій, кто серьозно изучалъ литературу, составилъ себѣ болѣе правильное мнѣніе о немъ. Онъ популяризовалъ философию Ньютона (1738), а это было чрезвычайно важнымъ стимуломъ для развитія во Франціи новыхъ идей. Въ одной изъ главъ этого произведения онъ объяснилъ теорію *Беркелей* о зрѣніи, съ своей обычной безподобной изящностью и ясностью. Принципъ этой теоріи, какъ всякому извѣстно, заключается въ томъ, что внѣшнія очертанія, размѣры, положенія, разстоянія суть продуктъ не ощущеній, а выводовъ; они не распознаются непосредственно зрѣніемъ, а суть результаты сопоставленій и склада нашего ума; они опредѣляются непосредственно не зрѣніемъ, а воображеніемъ и опытомъ. Поэтому, еслибы слѣпой отъ рожденія мгновенно сдѣлался зрячимъ, онъ не былъ бы тотчасъ въ состояніи распознавать ни положеніе, ни разстояніе, ни размѣръ, ни внѣшнія очертанія предметовъ. За тѣмъ Вольтеръ описываетъ результаты операций, совершенной Чесельденомъ (1728) надъ однимъ мальчикомъ, который былъ слѣпъ отъ рожденія. Этотъ опытъ считался за подтвержденіе того, что предвидѣли Локкъ и Беркелей, такъ какъ пациентъ долго не былъ въ состояніи различать одинъ предметъ отъ другаго по ихъ объему, разстоянію или внѣшней формѣ¹⁾. Возбуж-

¹⁾ *Eléments de la Philosophie de Newton*, Pt. 11., Ch. VII. Самъ Беркелей только одинъ разъ ссылается на операцию Чесельдена: *Theologus of Vision vindicated*, § 71. Профессоръ Фразеръ, въ своемъ замѣчательномъ изданіи произведеній Беркелей (I. 444), воспроизводить изъ *Philosophical Transactions* подлинный разсказъ объ операции, который, къ сожалѣнію, гораздо менѣе ясенъ и точенъ, чѣмъ его изложеніе у Вольтера, хотя смыслъ его и достаточно понятенъ.

денный по этому случаю интересъ еще болѣе усилился, когда Кондильякъ сослался на опытъ Чесельдена въ своемъ первомъ сочиненіи, появившемся въ 1746¹⁾.

Въ 1748 Реноюръ снималъ катарактъ съ глазъ одной дѣвочки, которая была слѣпа отъ рожденія. Дидро пожелалъ присутствовать на этой операциі, но ему въ этомъ отказали и онъ излилъ свою досаду въ такой формѣ, которая, какъ мы далѣе увидимъ, стоила ему очень дорого. Такъ какъ онъ не могъ быть свидѣтелемъ операциі, то онъ сталъ размышлять объ этомъ предметѣ и результатомъ этого было *Письмо о слѣпыхъ, написанное для зрячихъ* (*Lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient*), появившееся въ свѣтъ въ 1749—въ тотъ самый годъ, когда было издано другое произведеніе, имѣвшее большое вліяніе на развитіе материалистическихъ идей—сочиненіе Давида Гартлея *Наблюденія надъ человѣкомъ, надъ его природными свойствами, обязанностями и надеждами*. Въ сущности Дидро не былъ сильно раздосадованъ тѣмъ, что ему не дозволили присутствовать при операциі. Онъ самъ рѣшительно утверждаетъ въ одномъ мѣстѣ помянутаго письма, что было бы очень трудно совершить подобную операцию при такихъ условіяхъ, которыхъ необходимы для того, чтобы она могла привести къ серьезнымъ выводамъ. Подготовить слѣпаго отъ рожденія такъ, чтобы онъ былъ способенъ давать ясные отвѣты на философскіе вопросы, и ставить эти вопросы правильно,—это, по мнѣнію Дидро, былъ бы такой подвигъ, который достоинъ совокупныхъ усилий Ньютона, Декарта, Локка и Лейбница. Дидро полагалъ, что если пациентъ не будетъ поставленъ именно въ такія условія, то будетъ болѣе пользы отъ разспросовъ слѣпаго, одареннаго здравымъ смысломъ, нежели отъ выслушивания отвѣтовъ необразованнаго человѣка, впервые получившаго даръ зрѣнія при условіяхъ ненормальныхъ и приводящихъ его въ замѣшательство²⁾). Въ этомъ случаѣ, онъ, конечно, былъ правъ. Еслибы такой опытъ былъ подготовленъ при тѣхъ delicatныхъ условіяхъ, какія необходимы для того чтобы придать ему рѣшающую убѣдительность, то онъ могъ бы быть вполнѣ удовлетворительнымъ. Но въ то время для такого опыта не было сдѣлано и вѣроятно никогда не будетъ сдѣлано подобной подготовки³⁾).

¹⁾ *Essai sur l'origine des Connaissances humaines*, 1., § 6.

²⁾ *Lettre sur les Aveugles*, 323—4. Кондорсе придаетъ болѣе важное значеніе операциі Чесельдена; *Оенв.*, 11.; 121.

³⁾ Докт. Май-Кошъ (*Exam. of J. S. Mill's Philosophy*, p. 163) говорить о подобной операциі, которая была исполнена лейпцигскимъ докторомъ Францемъ и о которой сохранилось самое лучшее описание; а проф. Фразеръ въ приложеніи къ сочиненію Беркеля (*loc. cit.*) упоминаетъ о другой операциі, исполненной Нюннели. См. также Милль *Exam. of Hamilton*, p. 288 (3-е изд.).

Если бы мы стали читать когда то знаменитое письмо Дидро О слепыхъ при свѣтѣ прекрасныхъ и обработанныхъ философскихъ произведеній, которыми такъ богата Англія въ наше время, мы нашли бы, что изложенные въ немъ мысли незрѣлы и неясны. Тѣмъ не менѣе, если мы примемъ въ соображеніе то положеніе, въ кото-ромъ находилась въ ту пору философія во Франціи, мы будемъ по-ражены остроуміемъ, здравымъ смысломъ и оригинальностью многихъ изъ высказанныхъ въ немъ положеній. Это была первая серьозная попытка познакомить Францію съ тѣми великими основными прин-ципами, что всякое знаніе есть знаніе лишь по отношенію къ на-шей интеллигенції, что мысль не можетъ быть мѣриломъ того, что существуетъ, что ясность положенія не можетъ считаться за дока-зательство его истины и что нашъ опытъ не служить предѣломъ для того, что возможно. Одни только нетерпѣливые критики от-носятся съ пренебреженіемъ къ французскимъ философамъ какъ къ та-кимъ людямъ, которые были радикально невѣжественны и ни на что негодны. Дидро усвоилъ себѣ яѣкоторые изъ самыхъ важныхъ и са-мыхъ широкихъ выводовъ, къ которымъ приводить теорія обѣ Относи-тельномъ. Именно тотъ фактъ, что онъ и его единомышленники пользо-вались этой теоріей какъ орудіемъ для борьбы противъ тогдашней орга-низациі общества, и дѣлаетъ ихъ жизнь достойной исторического из-слѣдованія. Тогдашняя организація общества была воплощеніемъ про-тивоположной теоріи. Она дѣлала изъ антропоморфизма и изъ або-лютного принципа дѣйствительный фундаментъ и источникъ жизни какъ индивидуальной такъ и общественной. Никакой прогрессъ не былъ возможенъ, пока эта умозрительная основа не была соверше-но измѣнена. Этимъ и объясняется глубокая важность того, что съ пѣрваго взгляда кажется не болѣе какъ обсужденіемъ одной изъ вто-ростепенныхъ проблемъ метафизики. Не Дидро открылъ принципъ Относительного и не онъ упрочилъ его значеніе, но онъ первый ввелъ его въ литературу своей страны въ такую пору, когда созрѣли нуж-ные для того условія.

Кондильякъ, какъ мы уже сказали, издалъ свое первое сочиненіе *Опытъ о происхожденіи человѣческихъ знаній* за три года передъ тѣмъ (1746). Это было безъискусственное и необработанное изложеніе теоріи Локка, чго первоначальный источникъ нашихъ идей за-ключается въ впечатлѣніяхъ, которыя испытываются нашими чув-ствами, и потомъ облекаются въ опредѣленную форму и приводятся между собою въ связь путемъ мышленія. Не прежде какъ въ 1754 г. Кондильякъ издалъ свой болѣе знаменитый *Трактатъ обѣ ощуще-ніяхъ*, въ которомъ онъ сдѣлалъ шагъ впередъ по сравненію съ Локкомъ и вмѣсто того, чтобы приписывать наши идеи двойному источнику ощущеній и мышленія, утверждаетъ, что само мышле-

віе есть ничто иное какъ ощущеніе «инымъ образомъ видоизмѣненное». Сверхъ того, въ своемъ первомъ сочиненіи онъ опровергаль теорію Беркалея о зрѣніи, а во второмъ сознательно признавалъ ея правильность. Руссо былъ тотъ, кто свѣль Дидро съ Кондильякомъ въ то время, какъ всѣ эти три писателя бродили безъ средствъ къ существованію по улицамъ Парижа. Они сходились разъ въ недѣлю обѣдать въ одинъ трактиръ и Дидро былъ тотъ, кто убѣдилъ одного книгопродаца дать Кондильяку сто кронъ за его первую рукопись. «Парижскіе книгопродацы», — говорить Руссо, «были очень высокомѣрны и суровы съ начинающими писателями; а метафизика не была въ то время въ модѣ и потому не представляла особенной привлекательности»¹⁾). Постоянныя личныя сношенія между Дидро и Кондильякомъ въ промежутокъ времени между двумя сочиненіями великаго апостола чувственности, безъ сомнѣнія много содѣйствовали быстрому развитию этой доктрины. Это — одинъ изъ многочисленныхъ примѣровъ того вліянія, которое оказывалъ энергическій и возбуждающій умъ Дидро на направленіе и развитіе стремленій его времени, со включеніемъ тогдашнихъ заблужденій и оплошностей. Съ другой стороны для насть очевидно и вліяніе Кондильяка на выборъ темы для первого значительного произведения Дидро.

Письмо о слѣпыхъ есть изслѣдованіе о томъ, въ какой мѣрѣ природное отсутствіе одного изъ пяти чувствъ должно измѣнять обыкновенные понятія, пріобрѣтаемыя тѣми, кто одаренъ нормальными чувственными способностями. Оно разсматриваетъ интелигенцию въ томъ случаѣ, когда она лишена одного изъ чувствъ. Авторъ начинаетъ съ разсказа о томъ, что онъ посѣтилъ вмѣстѣ съ нѣсколькими друзьями одного слѣпаго отъ рожденія въ Пюизо,—мѣстечкѣ находящемся въ семидесяти миляхъ отъ Парижа. Они спросили у слѣпаго, что думаетъ онъ о глазахъ. «Это такие органы, на которые воздухъ производитъ точно такое же впечатлѣніе, какъ моя палка на мою руку». Зеркало онъ считалъ за такую машину, которая выставляетъ предметы рельефно вѣнчихъ самихъ, если только они поставлены по отношенію къ ней какъ слѣдуетъ. Это понятіе сложилось въ его умѣ слѣдующимъ образомъ. Слѣпой знакомъ съ предметами только посредствомъ осозанія. Ему известно изъ свидѣтельства другихъ, что мы знакомимся съ предметами посредствомъ зрѣнія, точно такъ какъ онъ знакомится съ ними посредствомъ осозанія и онъ не въ состояніи составить себѣ иного понятія объ этомъ предметѣ; ему также известно, что человѣкъ не можетъ видѣть своего собственного лица, хотя и можетъ осознать его. Отсюда онъ заключаетъ, что зрѣніе есть нечто въ родѣ осозанія, рас-

1) *Исповѣдь*, 11., VII.

пространяющагося не на наше собственное лицо, а только на другіе предметы, находящіеся въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ насъ. А такъ какъ осязаніе доставляетъ ему лишь понятіе о рельефности, то по его мнѣнію и зеркало должно быть такой машиной, которая выставляетъ насъ рельефно въ насъ самихъ. Сколько есть философовъ, восклицаетъ Дидро, которые потратили менѣе умственной проницательности на то, чтобы достигнуть столько же неосновательныхъ понятій!

У слѣпаго отъ рожденія удивительная память на то, что онъ слышитъ; онъ примѣчаетъ въ звукахъ голоса такое же разнообразіе, какое мы видимъ въ выраженіяхъ лицъ. Для такихъ людей голосъ имѣеть безконечное множество тонкихъ оттѣнковъ, которые ускользаютъ отъ насъ, потому что у насъ нѣть такого же какъ у слѣпыхъ повода быть внимательными. Содѣйствіе, которое чувства оказывають взаимно одно другому, препятствуетъ ихъ изощренію.

Слѣпецъ сказалъ, что онъ готовъ бы былъ считать людей одаренныхъ зрѣніемъ за существа съ высшей интеллигентіей, еслибы онъ не примѣчалъ очень часто, что они ниже его въ другихъ отношеніяхъ. А развѣ мы можемъ бытьувѣрены, — замѣчаетъ по этому поводу Дидро, — что и животныя не разсуждаютъ такимъ же образомъ и что они не считаютъ себя за равныхъ съ нами или даже за высшія существа не смотря на то, что у насъ болѣе сложная и болѣе сильная интеллигентія? Очень можетъ быть, что они признаютъ въ насъ умъ, при которомъ не худо бы было имѣть поболѣе ихъ инстинкта, и что они считаютъ себя одаренными такимъ инстинктомъ, при которомъ имъ не трудно обойтись безъ нашего ума.

На вопросъ, желалъ ли бы онъ быть зрячимъ, слѣпецъ отвѣчалъ, что если отложить въ сторону любознательность, онъ бы былъ бы одинаково доволенъ, еслибы ему дали болѣе длинныя руки; тогда его руки познакомили бы его съ тѣмъ что дѣлается на лунѣ гораздо лучше нежели наши глаза или наши телескопы; къ тому же у глазъ скорѣе пропадаетъ способность видѣть, нежели у рукъ способность осязать. Поэтому для него было бы столько же полезно усовершенствованіе того органа, который у него есть, сколько дарованіе ему нового органа, котораго онъ до сихъ поръ не имѣлъ. Это разсужденіе невѣрно, потому что никакое усовершенствованное осязаніе не можетъ познакомить насъ съ свѣтовыми явленіями, и самыя длинныя руки не дадутъ намъ возможности познакомиться съ ними.

Изложивъ нѣкоторая другія оригиналныя мнѣнія слѣпца, Дидро замѣчаетъ, что слѣпецъ не придаетъ большаго значенія чувствустыда. Такъ напримѣръ ему непонятно, чтобы одежда могла имѣть другую цѣль кромѣ предохраненія отъ холода. Онъ откровенно признается своему философствующему собесѣднику, что онъ не пони-

маетъ, почему одну часть тѣла слѣдуетъ прикрывать скорѣе нежели другую. «Я никогда не сомнѣвался въ томъ», — говоритъ Дидро, — «что состояніе нашихъ органовъ и нашихъ чувствъ имѣть большое влияніе и на нашу метафизику и на нашу нравственность». На это можно замѣтить, что отсюда вовсе не слѣдуетъ, чтобы въ обществѣ человѣческихъ существъ, одаренныхъ зрѣniемъ, чувство физического стыда было не болѣе какъ предразсудкомъ, отъ котораго настъ излечить философія. Отъ того, что слѣпецъ не находитъ ничего дурнаго въ наготѣ, нисколько не уменьшается значеніе или естественность стыда между зрячими. Даже тотъ фактъ, что деликатность или стыдливость не принадлежитъ къ числу общихъ всѣмъ людямъ импульсовъ, а вводится и получаетъ опредѣленное направлѣніе чрезъ посредство видоизмѣняющихся общественныхъ приличий, нисколько не уменьшаетъ пользы и разумности такого искусственнаго введенія ея и опредѣленія. Основные мотивы стыдливости хотя и находятся въ связи съ нашими чувствами, устанавливаются по такимъ соображеніямъ, которыхъ исходятъ изъ общественныхъ мотивовъ. Намъ кажется основательнымъ мнѣніе Дидро, что у слѣпаго отъ рожденія сначала не бываетъ физической стыдливости, потому что стыдливость исходить изъ сознанія, что на настъ смотрятъ, а слѣпой отъ рожденія не сознаетъ, что на него смотрятъ. Поэтому полагаютъ, что самая важная сторона въ ихъ воспитаніи заключается въ томъ, чтобы чѣмъ внушить такое сознаніе¹⁾. Но искусственность нравственного приобрѣтенія очевидно не можетъ служить доказательствомъ ни его достоинствъ, ни необходимости сохранять его. Дидро восклицаетъ: «Ахъ, милостивая государыня, какъ отлична нравственность слѣпца отъ нашей собственной нравственности, и какъ была бы отлична нравственность человѣка родившагося глухимъ отъ нравственности слѣпца; а еслибы у кого нибудь было однимъ чувствомъ болѣе нежели у всѣхъ настъ, какой негодной казалась бы ему наша нравственность!» Здѣсь бросается въ глаза незрѣлость и ошибочность способа, которымъ авторъ старается уяснить ту важную истину, что понятія о нравственности и ея принципы въ высшей степени относительны. Дидро говоритъ объ нихъ такъ, какъ будто они обусловливаются только нашими пятью способностями и только вмѣстѣ съ ними видоизмѣняются. Но всякому извѣстно, что нравственность зависитъ не только отъ пяти чувствъ, но и отъ склада ума, дѣйствующаго на нее изнутри и отъ общественныхъ условій, дѣйствующихъ на нее извнѣ. Скорѣе отъ этихъ условій нежели отъ числа нашихъ чувствъ зависятъ понятія о нравственности.

¹⁾ Дарвина The Expression of the Emotions in Men and Animals, с. ХІІІ., стр. 312, также стр. 335—7. Этотъ фактъ въ сущности, какъ кажется, не говорить въ пользу теоріи о передачѣ чувствъ.

Опуская нѣкоторыя другія замѣчанія, мы переходимъ къ тѣмъ страницамъ въ *Письма о слѣпыхъ*, на которыхъ принципъ Относительного примѣняется къ господствующему понятію о Богѣ. Рассужденія Дидро объ этомъ предметѣ, натурально, возбудили болѣе сильный интересъ, нежели его другія чисто ученые изслѣдованія. Никого не приводилъ въ волненіе слѣдующій вопросъ: слѣпецъ, научившійся отличать посредствомъ осозанія шаръ отъ куба, будетъ ли въ состояніи потомъ различить ихъ, если сдѣлается зрячимъ.¹⁾ Болѣе сильное любопытство возбуждалъ вопросъ: имѣеть-ли слѣпецъ такие же резоны вѣрить въ существованіе Бога, какъ и зрячій? Какъ и слѣдовало ожидать, при обсужденіи болѣе узкаго вопроса Дидро обнаруживаетъ гораздо болѣе логической послѣдовательности нежели при обсужденіи вопроса болѣе широкаго, по той простой причинѣ, что ограниченная отъ природы способность слѣпыхъ къ наблюденіямъ не можетъ способствовать уясненію этой задачи.

Здѣсь, точно также какъ и въ другихъ частяхъ своего очерка, Дидро придерживался метода задавать вопросы самимъ слѣпымъ. Въ настоящемъ случаѣ онъ обратился къ самому удивительному въ исторіи примѣру интеллектуальныхъ способностей и научной проницательности въ такомъ человѣкѣ, который принадлежалъ къ разряду слѣпыхъ отъ рожденія и касательно такихъ предметовъ, для сужденія о которыхъ повидимому вполнѣ необходимо быть зрячимъ. Однимъ изъ профессоровъ математики въ Кэмбриджскомъ университѣтѣ состоялъ съ 1711 по 1739 Николай Саундерсонъ, лишившійся зрѣнія когда ему еще не было одного года. Этотъ человѣкъ обладалъ поразительной силой ума, былъ оригинальнымъ и полезнымъ преподавателемъ и написалъ книгу объ алгебрѣ, пользовавшуюся въ свое время большимъ уваженіемъ. Его познанія по части оптики были въ высшей степени замѣчательны. Онъ имѣлъ ясныя понятія о перспективѣ, о сферическихъ очертаніяхъ и о формахъ, принимаемыхъ плоскими или твердыми фигурами при извѣстныхъ положеніяхъ.

¹⁾ Локкъ отвѣчалъ на этотъ вопросъ, что человѣкъ не отличить кубъ отъ шара, пока не убѣдится посредствомъ осозанія, что первое впечатлѣніе, полученнное имъ такие же посредствомъ осозанія тождественно съ предметомъ, производящимъ на него данное впечатлѣніе путемъ зренія. Кондильякъ сдѣлалъ нѣкоторыя основательные возраженія противъ постановки этого вопроса у Молиѣ, и отвѣчалъ на него иначе чѣмъ Локкъ. Дидро выразилъ свое собственное мненіе въ слѣдующихъ словахъ: „Я полагаю, что когда глаза слѣпаго отъ рожденія откроются въ первый разъ, онъ сначала ничего не различить, что въ теченіе нѣкотораго времени его глаза нужно будегь дѣлать эксперименты для самихъ себя, но что они будутъ цѣловать эти эксперименты сами по себѣ, по своему и безъ помощи осозанія“. Это мненіе сходится съ новѣйшей теоріей, что въ самой конструкціи (например глазъ) существуютъ врожденныя способности, но что опытъ есть необходимое условіе для развитія и усовершенствованія этихъ способностей.

яхъ. Чтобы дѣлать вычисления онъ придумалъ очень остроумную машину, съ помощью которой, при нѣкоторыхъ приспособленіяхъ, можно было также дѣлать объяснительные чертежи къ геометрическимъ теоремамъ. Въ религії онъ былъ скептикъ или нѣчто большее, а незадолго передъ смертью,—какъ утверждаетъ Дидро,—онъ вступилъ въ пренія съ однимъ лицемъ изъ духовнаго званія касательно доказательствъ существованія божества, извлекаемыхъ изъ понятія о конечныхъ причинахъ. Дидро утверждаетъ, будто онъ воспроизводить эти пренія, и заставляетъ Саундерсона выражаться съ болѣшимъ краснорѣчіемъ и паѳосомъ.

Всѣдѣствіе одной изъ тѣхъ мистификацій, благодаря которымъ французская полемическая литература восемнадцатаго столѣтія приводить въ отчаяніе библіографовъ. Дидро ссылается на *Біографію Саундерсона*, написанную докт. Инклифомъ. Онъ выписываетъ за главы этой книги съ большими подробностями, но такой книги нѣть и никогда не было. Тѣмъ не менѣе Лондонское Королевское Общество было очень недовольно тѣмъ, что одному изъ его членовъ вздумали приписывать атеистическія идеи и Дидро былъ систематически устранимъ отъ чести быть принятymъ въ это ученое собраніе, точно также какъ въ теченіе всей своей жизни онъ не былъ допущенъ во Французскую Академію¹⁾.

Рассужденія, которыя Дидро влагаетъ въ уста профессора, суть пылкое выраженіе той мысли, что аргументы, основанные на созерцаніи чудесъ природы, очень мало убѣдительны для слѣпца. Наша способность создавать новые предметы, такъ сказать, при помощи маленькаго зеркала, гораздо болѣе понятна для нихъ, чѣмъ тѣ звѣзды, которыя имъ суждено никогда не увидѣть. Блестящій шаръ, двигающійся по небесному пространству отъ востока къ западу, менѣе удивителенъ для нихъ, чѣмъ огонь очага, который они могутъ ослаблять или усиливать по своему произволу. «Зачѣмъ вы разсказываете мнѣ»,—говорить Саундерсонъ,—«обо всѣхъ этихъ великолѣпныхъ зрѣлищахъ, которыя существуютъ не для меня? Я осужденъ на то, чтобы проводить всю мою жизнь во мракѣ, а вы ссылаетесь на такія чудныя картины, которыя мнѣ непонятны и которыя могутъ служить доказательствами только для васъ и для тѣхъ, кто видитъ тоже что и вы. Если вы хотите, чтобъ я уѣровалъ въ Бога, вы должны сдѣлать такъ, чтобы я могъ осязать его». Духовное лицо возразило на это, что достаточно чувства осязанія для того, чтобы онъ могъ убѣдиться въ существованіи божества по удивительному механизму его собственныхъ органовъ. На

¹⁾ Очень толковый англійскій переводъ *Письма о слѣпыхъ* былъ изданъ въ 1773. Неизвѣстно почему Дидро названъ на заглавномъ листѣ медикомъ Ея Христіансаго Величества.

это Саундерсонъ отвѣчалъ: «повторяю вамъ, что все это не такъ прекрасно для меня, какъ для васъ. Механизмъ вселенной,—если даже онъ дѣйствительно такой совершенный, какимъ вы его считаете и какимъ я готовъ его считать,—что имѣеть онъ общаго съ существованіемъ высшей интеллigenціи? Если онъ приводить васъ въ изумленіе, то это вѣроятно потому, что вы привыкли считать за диво все, что не по силамъ вамъ самимъ. Я самъ такъ часто возбуждалъ въ васъ удивленіе, что имѣю низкое понятіе о томъ, что васъ удивляетъ. Я привлекалъ къ себѣ со всѣхъ концовъ Англіи людей, которые не могли понять, какимъ способомъ могу я изучать геометрію. Вѣдь вы не можете не согласиться со мною, что у этихъ людей не было яснаго понятія о томъ, что входить въ сферу возможнаго. Представится ли намъ такое явленіе, которое по нашимъ понятіямъ выше человѣческихъ способностей? Мы тотчасъ воскликнемъ—*Это дѣло рукъ Божіихъ.* Только это объясненіе и можетъ удовлетворить наше тщеславіе. Но почему же мы не сталяемся вносить въ наши сужденія поменьше гордости и побольше философії? Если природа представляетъ намъ какой нибудь узель, который трудно развязать, оставимъ его такимъ, каковъ онъ есть; не будемъ разѣвать его рукою такого Существа, которое въ свою очередь немедленно обращается въ новый для нась узель—и притомъ въ такой, который еще труднѣе распутать нежели первый. Индѣецъ разсказываетъ вамъ, что нашъ шаръ держится въ воздухѣ на спинѣ слона. А слонъ? онъ держится на черепахѣ. А черепаха? на чѣмъ она держится?... Вы чувствуете состраданіе къ индѣцу, но къ вамъ можно бы было обратиться съ такими же словами, какъ и къ нему: мой добрый другъ г-нъ Гольмсъ, сознайтесь въ вашемъ невѣжествѣ и избавьте меня и отъ слона и отъ черепахи.» ¹⁾.

Тогда духовное лицо, натурально, прибѣгаеть къ всѣмъ авторитетамъ и приглашаетъ Саундерсона принять за руководство мнѣнія Ньютона, Кларка и Лейбница. Слѣпой отвѣчаетъ на это, что если бы настоящее положеніе вселенной и свидѣтельствовало о чудномъ, струйномъ порядкѣ, все таки ни Ньютонъ, ни Кларкъ, ни Лейбницъ не могутъ отнять у него свободы мнѣній касательно прежняго ея положенія. И за тѣмъ онъ, по истинѣ замѣчательнымъ образомъ, наводить нась на ту теорію, которая въ наше время считается великимъ торжествомъ для научныхъ открытій и безъ сомнѣнія служить могущественнымъ стимуломъ для философскихъ умозрѣній. Что касается прежняго положенія вселенной «вы не можете противопоставить мнѣ очевидцевъ, а ваши глаза вамъ въ этомъ случаѣ

¹⁾ Oeuvres, I. 308.

не помогутъ. Воображайте, если это вамъ нравится, что стройный порядокъ, такъ глубоко поражающій васъ удивлениемъ, существовалъ съ самого начала. Но не мѣшайте мнѣ думать, что этого не было и что еслибы мы перенеслись къ эпохѣ зарожденія вещей и картинъ природы и посмотрѣли бы на то, какъ матерія находится въ движениі, а хаосъ медленно исчезаетъ, мы увидѣли бы множество безформенныхъ существъ вместо того, чтобы найти очень немного существъ прекрасно организованныхъ. Если я не въ состояніи сдѣлать возраженія на то, что вы говорите о теперешнемъ положеніи вещей, то я по крайней мѣрѣ могу сдѣлать вамъ нѣсколько вопросовъ касательно ихъ прежняго положенія. Напримѣръ, я могу спросить васъ, кто сказалъ вамъ—и не только вамъ, а также Лейбницу, Кларку и Ньютону,—что между первыми образчиками животныхъ нѣкоторыя изъ нихъ не были безъ головъ, а нѣкоторыя безъ ногъ? Я утверждаю, что у однихъ изъ нихъ не было желудковъ, у другихъ не было кишокъ; что нѣкоторыя изъ нихъ, которымъ желудокъ, нѣбо и зубы повидимому обѣщали долгое существованіе, исчезли оттого, что у нихъ чего нибудь не доставало въ сердцѣ или въ легкихъ; что чудовища поочередно уничтожали другъ друга, что всѣ неудовлетворительныя (*vices*) комбинаціи матеріи исчезли, и что остались въ живыхъ только тѣ, въ механизмѣ которыхъ не было какихъ нибудь важныхъ недостатковъ (*contradiction*) и которыя были способны поддерживать себя и размножаться.

«Еслибы, согласно съ этой гипотезой, у первого человѣка горть была закрыта, или еслибы онъ не нашелъ пригодной для себя пищи, или еслибы у него не было дѣтородныхъ органовъ, или еслибы онъ не нашелъ себѣ жены,—что сталось бы тогда съ человѣческимъ родомъ? Онъ до сихъ поръ былъ бы предметомъ общаго очистительного процесса во всей вселенной, и то надменное существо, которое называетъ себя человѣкомъ, будучи разсѣяно и разбросано между частицами матеріи, можетъ быть до сихъ поръ существовало бы лишь въ числѣ возможностей.

«Еслибы никогда не существовало безформенныхъ созданій, вы непремѣнно стали бы утверждать, что никогда ихъ и не будетъ, и что я очертя голову пускаюсь въ химерическую гипотезу. Но порядокъ и до сихъ еще поръ не дошелъ до такого совершенства, чтобы по временамъ не появлялись на свѣтѣ чудовищныя существа»¹⁾.

Здѣсь мы усматриваемъ достаточно ясное, хотя и выраженное въ крайне необработанной формѣ, понятіе: во первыхъ о беспрестанной измѣнчивости организмовъ, обнаруживающейся самимъ нагляднымъ

¹⁾ Стр. 309—310.

образомъ въ тѣхъ уродливыхъ особенностяхъ сложенія, которыхъ отъ времени до времени появляются предъ собственными нашими глазами; во вторыхъ о способности примѣняться ко всему окружающему, какъ о главномъ условіи долговѣчности для зарождающихся новыхъ формъ. Хотя всѣ эти мнѣнія были не болѣе какъ догадки, неподкрепленные достаточными доводами, все таки они сильно расшатывали теорію о конечныхъ причинахъ,—ту теорію, которая, какъ мы не разъ уже замѣчали, падаетъ сама собою, лишь только мы начинаемъ объяснять какой либо рядъ явлений условіями матеріи и движенія.

Затѣмъ, расширяя понятіе о явленіяхъ, которыхъ могутъ быть произведены матеріей и движениемъ, Саундерсонъ говоритъ: «Я предполагаю, что вначалѣ, когда изъ находившейся въ состояніи броженія матеріи мало по малу созидалась наша вселенная, такія склонныя существа, какъ я, были обычнымъ явлениемъ. Но почему же я не долженъ думать о мірахъ тоже, что я думаю о животныхъ? Сколько уродливыхъ, недостигшихъ совершенства міровъ случайно распадались, потомъ преобразовывались, и потомъ снова разлагались въ тѣхъ отдаленныхъ пространствахъ, которыхъ я не могу осязать, а вы не можете видѣть, но въ которыхъ благодаря движению соединяются и не перестанутъ соединяться массы матеріи до тѣхъ поръ, пока онѣ не попадутъ случайно на такой складъ, въ которомъ онѣ могутъ окончательно окрѣпнуть! Философы, перенеситесь вмѣстѣ со мною къ предѣламъ вселенной—внѣ того пункта, где я могу осязать, а вы можете видѣть организованная существа; посмотрите на этотъ новый океанъ и поищите между его беспорядочными безцѣльными колебаніями какихъ нибудь признаковъ того интеллигентнаго Существа, премудрость котораго возбуждаетъ въ васъ въ этомъ мірѣ такое удивленіе!

«Что такое міръ? Сложное цѣлое, подверженное безконечнымъ переворотамъ. Всѣ эти перевороты обнаруживаютъ постоянную наклонность къ разрушенію; это—быстроизмѣняющійся рядъ существъ, следующихъ другъ за другомъ, стремящихся впередъ и исчезающихъ, это—скоропреходящая симметрія, и порядокъ на одно мгновеніе. Я только что обвинялъ васъ въ томъ, что вы взвѣшиваете достоинства вещей соразмѣрно съ вашими собственными способностями; теперь я считаю себя въ правѣ обвинить васъ и въ томъ, что вы измѣряете ихъ долговѣчность соразмѣрно съ долговѣчностью вашей собственной жизни. Вы судите о продолжительности существованія міра точно такъ, какъ судило бы однодневное насѣкомое о продолжительности вашего существованія. Міръ вѣченъ для васъ, точно также какъ вы вѣчны для тѣхъ существъ, которыхъ живутъ лишь одно мгновеніе. Однако насѣкомое всетаки благоразумнѣе васъ.. Вѣдь

какое громадное число скоропреходящихъ поколѣній свидѣтельствуетъ о вашей вѣчности! Какой неизмѣримый рядъ преданій! Однако мы всѣ исчезнемъ, не найдя возможности опредѣлить ни настоящихъ размѣровъ того мѣста, которое мы занимали въ пространствѣ, ни точнаго размѣра времени, въ теченіе котораго мы жили. Время, матерія, пространство,— все это, можетъ быть, не болѣе какъ одна точка»¹⁾.

Дидро послалъ копію съ своего сочиненія Вольтеру. Поэтъ отвѣчалъ ему съ своей обычной щутливой любезностью, но заявилъ, что не раздѣляетъ мнѣній Саундерсона, «который отвергаетъ существованіе Бога, оттого что родился слѣпымъ»²⁾. Болѣе взыскательные и гораздо менѣе прозорливые критики чѣмъ Вольтеръ обратили свое вниманіе на этотъ же самый пунктъ аргументаціи и сдѣлали на него точно такія же возраженія,— а именно, что хотя Саундерсонъ и былъ слѣпъ, онъ всетаки долженъ бы быть сознавать существованіе интеллигентнаго Существа, одарившаго его столькими другими чувствами, замѣняющими зрѣніе и что тотъ стройный порядокъ во вселенной, который онъ могъ постигать умомъ безъ помощи зрѣнія, долженъ-бы быть внушить ему убѣжденіе о существованіи искусстваго зодчаго. Но въ сущности, не въ этомъ заключалась главная суть всей аргументаціи. Когда Саундерсонъ утверждалъ, что онъ могъ бы допустить существованіе Бога только въ томъ случаѣ, еслибы могъ осознать его, онъ признавалъ одно только чувство за проводникъ всѣхъ идей, какія только возможны, и за мѣрило всѣхъ разумныхъ сочетаній этихъ идей. Это нелѣпость, и Дидро, какъ мы видѣли, очень скоро перешелъ отъ нея къ самымъ солиднымъ пунктамъ своихъ воззрѣній. Всѣ остальные возраженія противъ коученныхъ причинъ были бы столько же умѣстны въ устахъ зрячаго, какъ и въ устахъ Саундерсона. Гипотетическая ссылка на поражающую удивленіемъ стройность вселенной, какъ на доказательство существованія божества, неосновательна между прочимъ и потому, что она игнорируетъ или оставляетъ безъ объясненій поражающія удивленіемъ нестройности вселенной. Она придаетъ на вѣчныя времена абсолютный характеръ такой гипотезѣ, которая могла бы по большей мѣрѣ считаться основательной лишь относительно,— и не только относительно къ числу нашихъ чувствъ, но и относительно къ немногимъ пристрастно выбраннымъ явленіямъ изъ нашей собственной короткой жизни. Она объясняетъ лишь немногіе поразительные факты, оставляя совершенно необъясненными гораздо большее число фактovъ, которые одинаково поразительны и даже прямо про-

¹⁾ Стр. 311.

²⁾ Ст. 1749. по изданію виѣннаго подъ редакціе альбума въ 1824 г.

тивоположны первымъ. Это было тоже, что придумать воображаемое вмѣшательство посторонней силы для оправданія несовершенствъ творенія, и приписать этой силѣ такие мотивы, которые могли одушевлять благодушного европейца, жившаго въ восемнадцатомъ столѣтіи. Здѣсь вовсе не принимаются въ соображеніе ни громадное число уродливыхъ или несовершенныхъ организмовъ, ни страшный законъ безпощадного и беспрестанного разрушенія.

Для насъ все это составляетъ обычную тему для размышлений. Но во Франціи, сто двадцать лѣтъ тому назадъ, этимъ путемъ была впервые пробита широкая брешь въ той стѣнѣ, которая въ теченіе пятнадцати или болѣе столѣтій охраняла жителя западной Европы отъ отчаянія по поводу внѣшнихъ условій жизни. И для протестанта и для скептика теперь гораздо труднѣе составить себѣ ясное понятіе о законченности католицизма какъ полной системы для жизни и мышленія, нежели составить себѣ ясное понятіе о какомъ либо другомъ фактѣ въ исторіи человѣческихъ обществъ. Католицизмъ былъ не только общественнымъ учрежденіемъ, не только религіознымъ вѣрованіемъ, но также философіей и систематическимъ изложеніемъ законовъ вселенной. Въ свою лучшую пору церковь руководила нравственными отношеніями между отдѣльными личностями и съ большими или меньшими успѣхомъ стараласьнести гуманность въ сношенія между человѣческими обществами. Она удовлетворяла или возбуждала чувства преданности, превознося Дѣву Марію, какъ самый достойный предметъ поклоненія; она питала воображеніе легендами о святыхъ и мученикахъ; она поддерживала религіозныя эмоціи трогательными и дѣйствовавшими на фантазію обрядами; она окружала своихъ членовъ эмблемами специальнаго и всепреодолѣвающаго покровительства. Католицизмъ стремился обнять всю жизнь въ ея цѣлости, не оставляя въ своего влиянія никакихъ природныхъ влечений, никакихъ человѣческихъ способностей, никакихъ требованій интеллигенціи. Но мы не должны забывать, что хотя эта удивительная система имѣла свои корни въ человѣческихъ привязанностяхъ и симпатіяхъ, она также опиралась на метафизическую теорію. Она имѣла въ основѣ авторитетъ и традицію, но также искала для себя выраженія въ философскомъ объясненіи всѣхъ вещей. Сущность этой философіи заключалась въ томъ, чтобы сдѣлать изъ человѣка конечную причину существованія вселенной. Ея понятія о мірѣ были абсолютны; ея понятія о Создателѣ были абсолютны; всѣ наши умственные впечатлѣнія, наши нравственные правила, наши духовные идеалы—все было, по ея мнѣнію, абсолютно. Поэтому, когда Дидро началъ писать *Письмо о слѣпыхъ*, онъ пришелъ къ убѣждѣнію, что разрушеніе старыхъ понятій не будетъ вполнѣ достигнуто на практикѣ, если онъ ограничится ра-

ционалистическими нападками на священные книги, на чудеса и на нравственные типы католицизма и что это нисколько не будетъ содѣйствовать замѣнѣ старыхъ приемовъ мышленія другими, болѣе соответствующими истинѣ. Онъ полагалъ, что нападеніе должно начаться съ философскихъ идей, что первый плодотворный шагъ долженъ заключаться въ перемѣнѣ точки зреенія, въ расширеніи разряда фактовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, въ доказательствахъ условности нашихъ понятій, въ освобожденіи насъ самихъ отъ тираніи антропоморфизма.

Гоббзъ остроумно опредѣлилъ папство, назвавши его привидѣніемъ старой римской имперіи, возсѣдающимъ на тронѣ надъ ея могилой; но это опредѣленіе не должно заставлять насъ позабыть ту важную истину, что основы власти того привидѣнія были совершенно иные, чѣмъ основы власти разрушившагося политического тѣла. Имперія была политической организацией, опиравшейся на военную силу. Церковь была соціальной организацией, приобрѣвшей живучесть путемъ убѣжденій. Самымъ замѣчательнымъ фактомъ въ духовной жизни восемнадцатаго столѣтія былъ тотъ рѣшительный переворотъ, которому подверглись эти служившія опорой убѣжденія. И то движение умовъ и тѣ люди, которыхъ мы теперь изучаемъ, вполнѣ обязаны возбуждаемымъ ими интересомъ тому участію, которое они принимали въ этомъ обширномъ предпріятіи. Основная мысль — что міръ получилъ существованіе только для того, чтобы споспѣшствовать предназначенніямъ создателя, касавшимся человѣка, — сдѣлалась невѣроятной. Это абсолютное утвержденіе было мало по малу вытѣснено понятіями объ ограниченности человѣческихъ способностей и о сравнительно незначительной части всего космоса или хаоса, которую мы считаемъ доступной для нашего пониманія. Замѣна абсолютной точки зреенія такою относительной точкою зреенія была самой важной подготовительной работой для успешнаго уничтоженія великой католической организаціи.

Что казалось поверхностнымъ наблюдателямъ не болѣе какъ метафизическимъ споромъ, въ сущности было и остается до сихъ поръ самымъ важнымъ эпизодомъ великой борьбы между теологіей и философіей совмѣстимой съ знаніемъ. Когда началась католическая реакція, самый проницательный изъ ея поборниковъ въ сферѣ философіи Жозефъ де Местръ счелъ первымъ своимъ долгомъ напасть всѣми силами своей діалектики на принципъ Относительного и возстановить абсолютный способъ мышленія и абсолютныя достоинства католическихъ понятій о религії, знаніи и системѣ правленія.¹⁾ Но ни онъ, и ни кто либо другой изъ его партіи не могли

¹⁾ См. Critical Miscellanies: первая серія.

пошатнуть того солидного аргумента, который былъ изложенъ Дидро съ фантастическими объясненіями въ слѣдующемъ отрывкѣ изъ его отвѣта на письмо написанное Вольтеромъ для изъявленія признательности за присланное ему сочиненіе:—«Что долженъ я думать объ этомъ внушающемъ удивленіе порядкѣ и объ этихъ удивительныхъ приспособленіяхъ? Что это метафизические предметы, существующіе только въ вашемъ собственномъ умѣ. Вы покрываютъ почву на большомъ пространствѣ массой обломковъ, случайно разбросанныхъ на право и на лѣво; между ними находятъ для себя удобное пристанище черви и муравьи. Чѣмъ сказали-бы вы объ этихъ насѣкомыхъ, еслибы они приняли за настоящій и окончательный порядокъ отношеніе обитаемаго ими мѣста къ ихъ собственной организаціи, и за тѣмъ стали-бы приходить въ восторгъ отъ красоты ихъ подземной архитектуры и отъ удивительно высокой интеллигенціи садовника, который такъ хорошо все для нихъ устроилъ¹⁾. Ту же мысль высказалъ черезъ три года послѣ того самъ Вольтеръ въ *Misgöt è gas* въ остроумной фантастической формѣ. Микроскопическое животное въ четырехугольной шапочкѣ, возбуждающее въ гигантѣ гомерической смѣхъ своимъ напыщеннымъ разсказомъ о томъ, что оно было конечною цѣллю созданія вселенной, есть ни что иное, какъ олицетвореніе той философіи, которая служила основой для католицизма.

Въ томъ-же самомъ письмѣ Дидро признается,—хотя и есть основаніе заподозрить искренность этого признанія,—что онъ не согласенъ съ выводами Саундерсона. «Туманъ, который помрачаетъ во мнѣ»,,—говорить онъ,—«сознаніе бытія Божія, возникаетъ обыкновенно въ ночное время, а восходъ солнца всегда разгоняетъ его. Но мракъ никогда не прекращается для слѣпца и солнце восходитъ только для зрячихъ». Но отреченіе отъ атеизма со стороны Дидро кажется намъ болѣе чѣмъ сомнительнымъ при видѣ того, какія онъ дѣлаетъ усилія, чтобы доказать основательность мнѣній Саундерсона; такъ напр. онъ даетъ своей аргументаціи слѣдующій оборотъ:—«Еслибы никогда не было иныхъ существъ кромѣ матеріальныхъ, то никогда бы не было существъ духовныхъ, такъ какъ духовными существамъ пришлось бы или дать жизнь самимъ себѣ или получить ее отъ матеріальныхъ существъ. Но еслибы никогда не было иныхъ существъ кромѣ духовныхъ, вы поймете, что никогда не было бы существъ матеріальныхъ. Истинная философія дозволяетъ мнѣ предполагать въ предметахъ только то, что я могу ясно усмотреть въ нихъ. А я ясно усматриваю въ умѣ лишь способность хотѣть и способность мыслить, и не могу допустить, чтобы мысль и воля вліяли на ма-

¹⁾ Дидро къ Вольтеру, 1749. О е и в. XIX. 421.

териальные предметы или на ничто, точно также какъ я не могу допустить, чтобы материальная существо или ничто вліяли на существа духовныя», и затѣмъ онъ кончаетъ свое письмо слѣдующимъ образомъ: — «Очень важно, чтобы ядовитую траву не принимали за петрушку, но вовсе не важно вѣрять ли или не вѣрять въ Бога. По словамъ Монтэня, міръ—это мячикъ, который Богъ далъ философамъ для того, чтобы они бросали его то туда то сюда; я могъ бы сказать почти то-же самое и о самомъ божествѣ»¹).

Въ заключеніе нашего анализа этого произведения, мы должны упомянуть о томъ, что Дидро высказалъ въ немъ одну мысль, которая ясно доказывается, какъ смѣтливъ и практиченъ всегда былъ его умъ въ своихъ поискахъ за новыми идеями. У насъ есть, говорить онъ, общепринятые знаки, взывающіе къ зрѣнію, а именно письменные буквы, и есть общепринятые знаки, взывающіе къ слуху, а именно члено-раздѣльные звуки; но нѣтъ ничего, что взывало бы къ осознанію. «Всѣдѣствіе недостатка въ такомъ способѣ выраженія, мы совершенно лишены возможности сообщаться съ тѣми, кто родился глухими, нѣмыми и слѣпыми. Эти люди ростутъ, но не выходятъ изъ состоянія тупоумія. Они можетъ быть и были бы способны пріобрѣтать какія нибудь идеи, если бы мы могли объясняться съ ними съ самаго дѣтства какимъ нибудь точнымъ, опредѣленнымъ, неизмѣннымъ и однообразнымъ способомъ, короче сказать, еслибы мы могли чертить на ихъ руѣ тѣ же самыя буквы, которыя мы чертимъ на бумагѣ и еслибы придавали этимъ буквамъ всегда одно и тоже значеніе²). Человѣколюбіе и изобрѣтательность бостонскаго доктора Гова доказали въ наше время на практикѣ основательность этихъ мнѣній Дидро.

Слѣдуетъ также упомянуть о нѣкоторыхъ мелкихъ подробностяхъ въ *Письма о слѣпыхъ*,—подробностяхъ, представляющихъ литературный интересъ. Дидро ссылается на остроумное выраженіе одного англійскаго геометра: *God geometrizes* (Богъ примѣняетъ на практикѣ законы геометрії) (стр. 294). Ему, какъ видно, было неизвѣстно преданіе, приписывавшее это выраженіе Платону, хотя въ сочиненіяхъ Платона его нѣть. Плутархъ, сколько мнѣ извѣстно, былъ первый писатель, упомянувшій объ этомъ выраженіи и обсуждавшій вопросъ о томъ, что разумѣлъ Платонъ подъ этими словами. Въ сущности оно принадлежитъ къ многочисленному разряду тѣхъ изреченій, которыя болѣе остроумны, чѣмъ вѣрны. У Барроу есть прекрасный отрывокъ на латинскомъ языкѣ касательно геометрической стройности вселенной, а тотъ кто читалъ *Religio Medicis*

¹⁾ Ibid.

²⁾ Стр. 294.

(стр. 42) вѣроятно не забылъ, что сэръ Томасъ Броунъ называетъ Бога «искуснымъ геометромъ».

Стоитъ также упомянуть о странномъ совпаденіи сходныхъ идей. Дидро говорить, что «большія услуги похожи на большія монеты, которыхъ мы рѣдко имѣемъ случай употреблять въ дѣло. Мелкая одолженія—вотъ та ходячая монета, которую мы всегда носимъ съ собою». Это напоминаетъ высказанную въ Tatler'ѣ мысль, что «человѣкъ, одаренный большими совершенствами, но не получившій хорошаго воспитанія, похожъ на того, кто набилъ свои карманы золотомъ, но не имѣть мелкой монеты на свои обыденные расходы». Впрочемъ, если бы Дидро прочелъ Tatler'a, онъ конечно сослался бы гдѣ нибудь на разсказъ подъ № 55 о томъ, какъ Вильямъ Джонсъ изъ Ньюигтона, родившійся слѣпымъ, пріобрѣлъ зрѣніе когда ему было двадцать лѣтъ;—вѣдь этотъ разсказъ пришелся бы Дидро совершенно по сердцу.

II.

Здѣсь мѣсто упомянуть о коротенькомъ философскомъ отрывкѣ, написанномъ Дидро въ 1751, о *Письмѣ о слѣпыхъ и глухихъ, написанномъ для тѣхъ, кто слышитъ и говоритъ* (*Lettre sur les sourds et muets à l'usage de ceux qui entendent et qui parlent*). Здѣсь,—не такъ какъ въ *Письмѣ о слѣпыхъ*,—рѣчь шла не о разсѣданіи такого случая, когда наши мыслительныя способности лишены одного или нѣсколькихъ чувствъ. Это въ сущности не болѣе какъ отрывокъ, и очень замѣчательный отрывокъ касательно эстетики и мы будемъ имѣть случай говорить о немъ въ другомъ мѣстѣ. Однако въ немъ есть нѣсколько пунктовъ, гдѣ нить идей сходится съ идеями *Письма о слѣпыхъ*.

Письмо начинается разрѣшеніемъ вопроса о причинѣ и предѣлахъ эволюціи языка. Это немедленно наводитъ автора на разсужденіе о естественномъ порядкѣ идей и выраженій, и Дидро утверждаетъ, что мы можемъ отыскать этотъ первоначальный порядокъ только путемъ изученія языка жестовъ. Изучать этотъ языкъ можно или путемъ продолжительныхъ объясненій съ кѣмъ нибудь, кто глухъ или нѣмъ отъ рожденія или же опытами надъ *тие de convention*, то-есть надъ такимъ человѣкомъ, который отказывается отъ употребленія членораздѣльныхъ звуковъ съ цѣлью изучить процессъ образованія языка. Обобщая эту мысль, Дидро раздѣляетъ людей на столько различныхъ и самобытныхъ существъ, сколько у нихъ чувствъ. «Я намѣренъ, такъ сказать, разложить человѣка на его составныя части, и разсмотретьъ, что

онъ получаетъ отъ каждого изъ тѣхъ чувствъ, которыми онъ одаренъ. Я нѣкоторое время забавлялся такой метафизической анатоміей, и нашелъ, что изъ всѣхъ чувствъ зрѣніе самое поверхностное, слухъ—самое прекрасное, обоняніе — самое сладострастное, вкусъ—самое сувѣрное и самое непостоянное, осязаніе—самое глубокое и всѣхъ больше свойственное философу. Было бы забавно собрать такое общество, въ которомъ у каждого члена не болѣе какъ одно чувство; не подлежитъ сомнѣнію, что каждый изъ нихъ считалъ бы всѣхъ остальныхъ за полуумныхъ».

Эти идеи интересны потому, что въ то время ихъ считали за источникъ одного изъ самыхъ знаменитыхъ произведений фантазіи въ философической литературѣ вѣка,—за источникъ статуи въ трактатѣ Кондильяка объ ощущеніяхъ. Кондильякъ придумалъ статую, которая организована какъ человѣкъ, но у которой каждое чувство развивается самостоятельно по волѣ вѣчнаго неограниченного властителя. Философъ сначала допускаетъ въ своеѣ Франкенштайнѣ обоняніе и перечисляетъ, какія умственныя способности могутъ развиться подъ вліяніемъ измѣнчивыхъ впечатлѣній, испытываемыхъ этимъ чувствомъ. Другія чувства даются ему одно вслѣдъ за другимъ, прибавляя новые группы идей къ прежнему запасу, пока наконецъ умственное развитіе не будетъ полное.

Намъ ясно, въ какой мѣрѣ статуя Кондильяка похожа на *mane et de convention*, но Дидро по меньшей мѣрѣ нельзя винить въ заимствованіи чужихъ идей. Кондильякъ издалъ свое сочиненіе черезъ три года (1754) послѣ *Письма о глухихъ и нѣмыхъ* и впослѣдствіи написалъ памфлеть съ цѣллю защитить себя отъ обвиненія, будто онъ заимствовалъ отъ Дидро идею о своей статуѣ; что же касается Дидро, онъ никогда не заявлялъ никакихъ притязаній по этому поводу. Мы уже имѣли случай говорить о взаимныхъ отношеніяхъ между этими двумя философами и если нѣть основанія считать Дидро за одного изъ самыхъ знаменитыхъ учениковъ Кондильяка¹⁾, то также нѣть никакого основанія утверждать, что Кондильякъ былъ ученикомъ Дидро или не вѣрилъ словамъ Кондильяка, что мысль о статуѣ дана ему дѣвицей Ферранъ,—той замѣчательной женщиной, которой онъ всегда былъ глубоко признателенъ за ея поощренія и советы. Слѣдуетъ также обратить вниманіе на тотъ фактъ, что въ 1671 одинъ изъ Парижскихъ книгопродавцевъ напечаталъ въ переводѣ на латинскій языкъ болѣе умное и болѣе ученое произведеніе фантазіи, нежели описание статуи,—а именно сочиненіе арабскаго писателя Ибнъ Тофаили *Pilosophus Autodidactus*. Это—романъ, въ которомъ описано человѣческое су-

¹⁾ Льюиса Hist. Philos II, 342.

щество, вскормленное серной на пустынномъ островѣ подъ тропиками, развивающееся тѣмъ же путемъ какъ Робинзонъ Крузо, но съ склонностью къ психологическимъ умозрѣніямъ и мало по малу, путемъ наблюдений, приходящее къ сознанію всѣхъ отличительныхъ особенностей, которыми одарены его чувства. ¹⁾

Касательно той части *Licyma*, въ которой идетъ рѣчь о жестахъ, можно только сказать, что она должна поражать своей незрѣлостью всякаго, кто знаетъ, какие успѣхи сдѣланы со временемъ Дидро въ собираниіи и обобщеніи тѣхъ любопытныхъ фактovъ, которые находятся въ связи съ языкомъ жестовъ. Не трудно себѣ представить, какъ сильно заинтересовали бы Дидро добытые наблюденіями факты, — что языкъ жестовъ имѣеть нѣчто въ родѣ точныхъ синтаксическихъ правилъ, что онъ не даетъ возможности различать причину отъ послѣдствія или отъ того, что случилось одновременно, что въ школѣ для глухо-нѣмыхъ ²⁾ дикарь всѣхъ пойметъ и всеми будетъ понять безъ труда и съ точностью. Дидро былъ достаточно прозорливъ, чтобы понимать, что вопросы о языкахъ могутъ быть разрѣшаемы не съ помощью старого метафизического метода, а лишь путемъ опыта. Но для этого то время еще не дозрѣло. Поэтому неудивительно, что послѣ нѣсколькихъ страницъ онъ уклонился отъ предмета и занялся эстетическими вопросами.

III.

Съ отмѣной такъ называемаго *Licensing Act* въ Англіи не прекратились наказанія за печатное изложеніе еретическихъ мнѣній; но по крайней мѣрѣ ихъ стали налагать судомъ. Вульстонъ былъ подвергнутъ въ 1730 денежной пени и тюремному заключенію по приговору *Суда королевской скамьи*, послѣ того какъ были соблюданы всѣ формальности судебнаго слѣдствія. Петеръ Аннэ за своего *Свободного изслѣдователя* былъ въ 1762 привязанъ къ позорному столбу и потомъ заключенъ въ тюрьму не по приговору *Епископскаго суда* или *Звѣздной палаты* и, конечно, не вслѣдствіе декрета, подписаннаго Георгомъ Третьемъ или маркизомъ Бутомъ. Единственная непріятность, постигшая Мандевилля за его *Басню о пчелахъ* заключалась въ томъ, что судъ присяжныхъ въ Миддлсексѣ (1723) объявилъ его человѣкомъ вреднымъ для общества. Ради контраста съ этими фактами посмотримъ на тѣ порядки, которые подготовили революцію во Франціи.

¹⁾ Розенкранцъ, I, 102.

²⁾ Тейлора *Researches into the Early History of Mankind*, гл. II. и III; Леббока *Origin of Civilization*, гл. IX.

Въ одно іюльское утро 1749 года—почти ровно за сорокъ лѣтъ до того іюля 1789 года, который занимаетъ такое видное мѣсто въ лѣтописяхъ деспотическихъ правительствъ и государственныхъ тюремъ,—полицейскій комиссаръ, сопровождаемый тремя помощниками, пришелъ въ квартиру Дидро, тщательно пересмотрѣлъ его бумаги, и потомъ предъявилъ ему декретъ о его арестованіи. Философъ безъ всякаго шума объявилъ своей женѣ, чтобы она не ожидала его къ обѣду, сѣлъ въ карету и отправился въ сопровожденіи полицейскихъ чиновниковъ въ Венсенскую тюрьму. Его вина заключалась въ сущности въ томъ, что въ *Гісъмль о слѣпыхъ онъ слегка задѣлъ любовницу одного изъ министровъ*¹⁾. Впрочемъ и помимо оскорблениія любовницы, статья по своему атеистическому содержанію дала бы достаточно основательныхъ поводовъ въ Англіи для судебнаго преслѣдованія ея автора, а во Франціі для такъ называемыхъ *lettres-d-e-sachet*, замѣнявшихъ судебныя преслѣдованія. Къ тому же въ ту пору были специальные резоны для строгихъ мѣръ противъ прессы. Въ то время появились въ печати стихи съ рѣзкими насмѣшками надъ королемъ и надъ его образомъ жизни, вслѣдствіе чего и было предпринято грозное нашествіе на всѣхъ Парижскихъ писакъ. При дворѣ только что произошла одна изъ тѣхъ реакцій въ пользу церковной партіи, которая въ теченіи предшествовавшихъ тридцати лѣтъ такъ часто смѣнялась реакціями въ противоположномъ направлѣніи. Въ городѣ ходилъ слухъ, что причиной заключенія Дидро въ тюрьму была сатира на іезуитовъ, сочиненіе которой ему ошибочно приписывали²⁾. Впрочемъ не стоить труда доискаваться причины факта совершившагося въ такое время, когда правительственная власть была способна и готова бросить кого вздумается въ тюрьму какъ по основательнымъ мотивамъ такъ и по такимъ, которые никуда не годны. На авторовъ и на издателей философскихъ сочиненій полиція смотрѣла въ то время точно такъ, какъ въ наше время судья смотритъ на негодяевъ, промышляющихъ сбытомъ гнусныхъ печатныхъ произведеній.

Директоръ полиції (Беррье) обошелся съ несчастнымъ писателемъ съ особенной строгостью, потому что тотъ упорно отказывался сообщить имя издателя. Дидро было хорошо известно, что издатель будетъ сосланъ на галеры, если только попадется въ руки полиції. Слѣдуетъ замѣтить, что директоръ полиції былъ впослѣдствіи воз-

¹⁾ Г-жу Дюпра де Сен-Моръ, которая умѣла расположить въ свою пользу графа д'Аржансона. Д'Аржансонъ былъ младшій братъ уволненного въ 1747 маркиза д'Аржансона, и занималъ постъ министра съ 1743 по 1757 г. Несмотря на то, что благодаря его вмѣшательству Дидро былъ заключенъ въ тюрьму, онъ былъ довольно постояннымъ покровителемъ партіи философовъ.

²⁾ Барбье, IV. 337.

веденъ въ почетное званіе хранителя печати въ награду за усердіе и ловкость, съ которыми онъ доставлялъ жертвъ для королевскаго гарема въ Версалі¹⁾. Человѣкъ, осмѣлившійся употреблять въ дѣло свои умственные способности, былъ заключенъ въ венсенскую тюрьму тѣмъ, кто исполнялъ обязанности шпиона и прислужника при г-жѣ Помпадуръ. Официальный отчетъ о разговорѣ, происходившемъ между Беррье и принадлежащимъ «къ католической, апостольской, римской церкви» Дени Дидро производить очень странное впечатліе въ виду того, что заключенный давалъ свои отвѣты «послѣ принесенія клятвы, что будетъ говорить и отвѣчать правду».

„На вопросъ, не онъ-ли авторъ сочиненія *Письмо о слѣпыхъ*. „Отвѣчалъ, что не онъ.

„На вопросъ, кому поручилъ онъ изданіе названнаго сочиненія.

„Отвѣчалъ, что никому не поручалъ изданія названнаго сочиненія.

„На вопросъ, известно-ли ему имя автора названнаго сочиненія.

„Отвѣчалъ, что ему ничего объ этомъ неизвѣстно.

„На вопросъ, не имѣлъ-ли онъ у себя названнаго сочиненія въ рукописи, прежде чѣмъ оно было напечатано.

„Отвѣчалъ, что не имѣлъ у себя названнаго сочиненія въ рукописи ни прежде ни послѣ того, какъ оно было напечатано.

„На вопросъ, не онъ-ли авторъ появившагося за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ сочиненія подъ заглавіемъ *Философскія мысли*.

„Отвѣчалъ, что не онъ.

Послѣ цѣлой дюжины другихъ отвѣтовъ, отличающихся такою же правдивостью, и послѣ того, какъ ему было прочитано изложеніе всего допроса, Дидро «сказалъ, что отвѣты согласны съ истиной, ничего не измѣнилъ въ нихъ и удостовѣрилъ ихъ своею подписью». Какое по истинѣ жалкое положеніе человѣка, взявшагося проповѣдывать новое ученіе! Съ другой стороны, апостолъ нового ученія не приходился по вкусу и апостоламъ старого ученія. За два года передъ тѣмъ священнику церкви св. Медара счѣль нужнымъ обратиться въ шпиона и доносчика. Вотъ какое донесеніе послалъ онъ къ директору полиції (1747):—

„Дидро, не имѣющій никакой профессіи и никакихъ средствъ къ жизни и т. д.... такой молодой человѣкъ, который представляетъ изъ себя вольнодумца и гордится своимъ нечестіемъ. Онъ написалъ

1) Въ оригиналномъ сочиненіи, носящемъ название *L'Ecole de l'homme* есть описание личности Беррье подъ именемъ Сргона, II, 73.

нѣсколько философскихъ сочиненій, въ которыхъ нападаетъ на религию. Говоритъ онъ въ томъ же тонѣ, въ какомъ пишетъ. Теперь онъ занятъ новымъ сочиненіемъ, которое очень опасно».

Доносъ священника былъ подтвержденъ еще менѣе важнымъ агентомъ правительственной власти, который съ нарушеніемъ правилъ грамматики и синтаксиса писалъ: «бездѣльникъ Дидро—очень опасный человѣкъ; онъ говоритъ съ презрѣніемъ о святыхъ таинствахъ нашей религіи; онъ развращаетъ нравы и высказалъ намѣреніе поступить въ послѣднія минуты своей жизни такъ, какъ все поступаютъ, исповѣдаться и пріобщиться Св. Таинъ, но только ради своего семейства»¹⁾.

Все это подготовило для Дидро жалкую участъ, когда и для него, какъ почти для всѣхъ его друзей, настало время расплаты. Въ теченіе цѣлаго мѣсяца онъ былъ отрѣзанъ отъ внѣшняго міра. Единственнымъ его собесѣдникомъ былъ *Потерянный рай*, случайно находившійся въ его карманѣ въ моментъ его арестованія. Онъ самъ составилъ себѣ чернила, наскошивъ сланца съ оконной рамы, мелко искрошивъ его и смѣшивши съ виномъ внутри разбитаго стакана. Зубочистка, случайно уцѣлѣвшая въ карманѣ его жилета, служила ему перомъ, а чистыя страницы и поля въ Мильтоновой поэмѣ обратились въ хранилище его мыслей. Руководствуясь искреннимъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ очень характеристическимъ участіемъ ко всѣмъ, съ кѣмъ могла бы случиться такая же бѣда какъ съ нимъ, онъ начертілъ на стѣнахъ своей тюрьмы коротенький рецептъ для составленія письменныхъ матеріаловъ.²⁾ Легко могло случиться, что Дидро оставался бы тамъ за-живо похороненнымъ не только мѣсяцы, но цѣлые годы. Но, къ счастію для него, Венсенскій губернаторъ приходился родственникомъ Вольтеровой божественной Эмиліи—маркизѣ дю-Шатлѣ. Когда Вольтеръ, находившійся въ то время въ Люневилѣ, узналъ о постигшемъ Дидро несчастіи, онъ по обыкновенію сталъ громко высказывать свое отвращеніе къ такой странѣ, где ханжи могутъ запирать на замокъ философовъ и по обыкновенію тотчасъ стать хлопотать о томъ, какъ-бы помочь бѣдѣ. По его ходатайству г-жа дю-Шатлѣ написала губернатору письмо, въ которомъ просила его по возможности облегчить для Сократа-Дидро тягости заключенія.³⁾ Это было послѣднее изъ ея добрыхъ дѣлъ, такъ какъ въ слѣдующемъ мѣсяцѣ (сент. 1749) она умерла при самой странной трагической обстановкѣ, а ея мужъ, ея сынъ, Вольтеръ и Сенъ-Ламберъ поочередно утѣшали другъ друга надъ ея гробомъ и поочередно осыпали другъ

¹⁾ Все это цитировано въ сочиненіяхъ Дидро, XX. 121—3.

²⁾ Нажоль, стр. 131.

³⁾ Согг. Вольтера. Іюль и августъ 1749.

друга упреками. Между тѣмъ Дидро воспользовался результатами ея посредничества. Его перевели изъ тюрьмы въ замокъ, сму дозволили гулять по парку, полагаясь на данное имъ честное слово, и позволили принимать друзей. Самымъ пылкимъ между этими друзьями былъ Жанъ-Жакъ. Ихъ первое свиданіе послѣ заключенія Дидро въ тюрьму было описано самимъ Руссо въ такихъ выраженіяхъ, которые вызовутъ улыбку на устахъ флегматика, — но смѣхъ здѣсь былъ бы неумѣстенъ, потому что манера выражать свои душевныя эмоціи такъ-же относительна, какъ и все остальное на свѣтѣ. «Послѣ трехъ или четырехъ вѣковъ нетерпѣливаго ожиданія, я бросился въ объятія моего друга. О невыразимо счастливое мгновеніе! Онъ былъ не одинъ; съ нимъ были д'Аламберъ и казначей святой капеллы. Но, когда я вошелъ, я никого не видѣлъ кромѣ его одного. Я съ крикомъ бросился къ нему, прижалъ его лицо къ моему, крѣпко обнялъ его, и не могъ передать ему того, что чувствовалъ, иначе какъ слезами и рыданіями; я задыхался отъ волненія и отъ восторга»¹⁾). Послѣ этого Руссо приходилъ къ нему пѣшкомъ два или три раза въ недѣлю. Во время одного изъ такихъ странствованій пѣшкомъ, въ жаркій лѣтній день, ему впервые пришла мысль написать свое достопамятное литературное произведение, направленное противъ цивилизациі. Онъ разлегся подъ деревомъ и съ лихорадочнымъ пыломъ написалъ нѣсколько страницъ для того, чтобы показать ихъ своему другу. Онъ разсказываетъ намъ, что еслибы его не поощрилъ Дидро, онъ едва ли осуществилъ бы свое намѣреніе. Другие утверждаютъ, будто Дидро первый навелъ Руссо на мысль, что искусства и науки испортили нравы. Въ этомъ нѣть ничего невозможного. Несмотря на силу и проницательность своего ума, Дидро по причинѣ своей природной запальчивости нерѣдко переносился въ сферу парадоксовъ. Его собственное странное и смѣлое произведеніе—*S i r r é m e n t a i V o u a g e d e Bougainville* написано совершенно въ томъ же духѣ, какъ и диссертaciя Руссо о превосходствѣ первобытной жизни надъ жизнью въ цивилизованномъ обществѣ. «Какая удивительная сибilla восьмнадцатаго столѣтія—этотъ всемогущій чародѣй Дидро!», — воскликнуетъ Мишле. «Онъ только вымолвилъ одно слово и передъ нами появился новый человѣкъ—Руссо». ²⁾ Трудно повѣрить, чтобы такой удивительный литературный гений, какой былъ у Руссо, заглохъ послѣ того какъ на него пахнуло живительнымъ парижскимъ воздухомъ. Но весьма вѣроятно, что пылкость и вдохновляющая энергія Дидро заставили этотъ гений скорѣе приняться за производи-

¹⁾ Сонф., 11, VIII.

²⁾ Мишле, *Лудостик XV*, стр. 258-2471 атактив и заслуженный заслуги

тельную дѣятельность. Все свидѣтельствуетъ о томъ, что именно такъ и случилось. Что же касается того, дѣйствительно ли Дидро отвѣтственъ за ложное направленіе мнѣній Руссо,— это такой вопросъ, для разрѣшенія котораго мы не имѣемъ достаточныхъ основаній. 1) То было бы странный образчикъ исключинской небрежности, нерѣдко поражающей насъ въ Дидро, еслибы онъ дѣйствитель но внушилъ самому краснорѣчивому и самому увлекательному изъ современныхъ писателей желаніе доказать, что искусства и науки— бичъ человѣчества, между тѣмъ какъ онъ самъ въ тоже время напрягалъ всѣ свои усилия къ тому, чтобы распространять знакомство съ искусствами и науками и выставить ихъ въ глазахъ людей во всемъ ихъ блескѣ.

Въ числѣ другихъ посѣтителей Дидро была и г-жа Пюиэзь. Однажды она явилась къ нему въ нарядномъ туалетѣ, потому что отправлялась въ тотъ вечеръ на балъ въ одно изъ сосѣднихъ селеній. Дидро выразилъ ей ревнивый подозрѣнія на счетъ ея вѣрности, но въ отвѣтъ получилъ увѣреніе, что на вечерѣ она будетъ одна, безъ кавалера, и будетъ тамъ съ грустью вспоминать о своемъ философѣ, томящемся въ заключеніи. Но она позабыла, что любопытство въ сродствѣ съ философіей и что Дидро принадлежалъ къ школѣ скептиковъ. Онъ перелѣзъ въ тотъ вечеръ черезъ ограду Венсенского парка, добѣжалъ до того мѣста, где происходилъ фестиваль и увидѣлъ тамъ именно то, чего ожидалъ. Такимъ образомъ оказалось, что онъ напрасно писалъ для нея статьи о добродѣтели и человѣческомъ достоинствѣ; тогда для профанированной любовной связи насталъ конецъ.

Послѣ трехъ-мѣсячнаго тюремнаго заключенія Дидро былъ выпущенъ на свободу. Заинтересованные изданіемъ Энциклопедіи книгопродавцы докучали правительству настоятельными просьбами, чтобы оно возвратило имъ руководителя такого предпріятія, которое возбуждало общее любопытство. 2) Первая часть этого знаменитаго произведенія была въ то время почти готова къ выходу въ свѣтъ, и въ обществѣ съ нетерпѣніемъ ожидали ея появленія. Мысль объ изданіи такого произведенія пришла Дидро въ 1745, и съ этого времени до 1765 была главной заботой его жизни. О достоинствахъ и значеніи основной идеи, положенной въ основу этого труда, я буду говорить въ слѣдующей главѣ. Тамъ я разскажу и весь ходъ этого предпріятія. Обстоятельства, при которыхъ были выпущены

1) См. Руссо, того же автора, который написалъ настоящее сочиненіе, стр. 91.

2) Касательно двухъ петицій, въ которыхъ книгопродавцы просили Аргентона освободить Дидро, см. предварительная замѣчанія Ассеза. О е и в. XIII. 112, и др.

въ свѣтъ тридцать пять томовъ Энциклопедіи, свидѣтельствуютъ о томъ, что Дидро принадлежитъ къ числу немногихъ настоящихъ героевъ на поприщѣ литературы. Они требовали примѣненія къ дѣлу такихъ человѣческихъ качествъ, которыхъ всѣхъ болѣе достойны удивленія. Они требовали такого же постояннаго и продолжительнаго трудолюбія, такой же прозорливой осмотрительности, такой же вѣрности задуманному плану, такого же терпѣливато, неизмѣннаго, непоколебимаго мужества, какія мы обыкновенно превозносимъ въ инженерѣ, соорудившемъ какую нибудь обширную и трудную постройку или въ главнокомандующемъ, руководившемъ какою нибудь смѣлой и опасной экспедиціей.

V.

Энциклопедія.

Исторія энциклопедическаго взгляда на человѣческія познанія представляеть гораздо болѣе интересный и важный предметъ для изслѣдований, нежели списокъ различныхъ энциклопедическихъ предпріятій, встрѣчающихся въ лѣтописяхъ литературы. Тѣмъ не менѣе здѣсь будетъ уместно упомянуть о нѣкоторыхъ попыткахъ въ этомъ направленіи, предшествовавшихъ появленію замѣчательной книги восемнадцатаго столѣтія, о которой идеть теперь рѣчь. Аристотель, безъ сомнѣнія, есть тотъ писатель, у котораго мы находимъ первые проблески идеи, что человѣческія знанія представляютъ нѣчто цѣлое и что всѣ ихъ части тѣсно и органически связаны между собою. Но эта идея лишь мимолетно блеснула въ умѣ великаго мыслителя и затѣмъ померкла на нѣсколько столѣтій. Компіляції Плінія не могутъ быть названы энциклопедическимъ сборникомъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова, такъ какъ онѣ составлялись безъ всякой опредѣленной идеи о систематическомъ порядке изложенія. Лишь въ концѣ среднихъ вѣковъ были сдѣланы нѣкоторыя попытки представить человѣческія знанія какъ нѣчто цѣлое. Альбертъ Великий «обезьянившій Аристотеля» (1193—1280), отложилъ на время въ сторону три великихъ вопроса: о существованіи универсальныхъ понятій, о формахъ существованія видовъ и родовъ и объ ихъ мѣстѣ внутри или внѣ души индивидуумовъ, и составилъ сборникъ тѣхъ физическихъ фактovъ, которые были въ то время извѣстны.¹⁾ Болѣе опредѣленнымъ энциклопедическимъ характеромъ отличалась книга Венсена-де-Бовэ (ум. 1264), носящая заглавіе *Speculum naturale, morale, doctrinale, et historiale*; это

¹⁾ Журдена *Recherches sur les traductions latines d'Aristote*, p. 325.

была компиляція частію изъ сочиненій Аквината, частію изъ сочиненій Аристотеля. Галламъ упоминаетъ еще о трехъ компиляціяхъ, относящихся къ тринадцатому и четырнадцатому столѣтіямъ и замѣчаетъ, что трудолюбивые ихъ составители не много содѣствовали обработкѣ собранныхъ ими свѣдѣній, хотя и распредѣляли ихъ иногда въ надлежащемъ порядкѣ. Въ средніе вѣка, какъ онъ замѣчаетъ, сильнымъ препятствіемъ для достоинства такихъ компиляцій служилъ недостатокъ способности распознавать то, что болѣе близко къ истинѣ.¹⁾)

Гораздо болѣе замѣчательнымъ въ этомъ родѣ произведеніемъ тринадцатаго столѣтія былъ *Orius Majus* Рожера Бэкона (1267), о которомъ было сказано, что это въ одно и тоже время и Энциклопедія и *Nouum Organum* того вѣка,²⁾ что это и сборникъ знаній и зарожденіе болѣе правильнаго метода. Но это было лишь приготовительнымъ очеркомъ къ болѣе обширному энциклопедическому произведению,—къ *Compendium Philosophiae*, которое не было доведено до конца. «У Бэкона возникла мысль обнять всю массу знаній какъ нѣчто цѣлое вслѣдствіе свойствен-наго всѣмъ обширнымъ умамъ яснаго пониманія, что всѣ отдѣлы философіи находятся въ тѣсной связи между собою и вслѣдствіе желанія возвыситься надъ низкимъ уровнемъ всякаго обособленнаго знанія».³⁾ Можно по истинѣ сказать, что энциклопедическое настроение умовъ носилось въ воздухѣ въ теченіе всего тринадцатаго столѣтія. Это былъ вѣкъ сочиненій съ такими знаменательными заглавіями, какъ *Summa, Universitas* и *Speculum*.

То же настроеніе умовъ получило новую силу около половины шестнадцатаго столѣтія. Въ 1541 была издана въ Базелѣ Рингельбергомъ книга, впервые получившая название Энциклопедіи, которое сдѣлалось съ тѣхъ поръ такимъ употребительнымъ словомъ въ западной Европѣ. Затѣмъ въ теченіе шестицѣсяти лѣтъ появилось еще нѣсколько произведеній въ томъ же родѣ. Это движеніе достигло своего высшаго выраженія въ томъ сочиненіи, которое считалось лучшимъ въ этомъ родѣ въ теченіе цѣлаго столѣтія. Нѣмецъ по имени Альштедъ (1518—1638), издалъ въ 1620 *Encyclopaedia Scientiarum omnium*. Лѣтъ сто спустя, знаменитый Лейбницъ объявилъ, что стойти труда дополнить и исправить книгу Альштеда. Этому достойному человѣку, сказалъ онъ, недоставало не трудолюбія и не ума, а матеріаловъ и счастья родиться на свѣтѣ въ наше время. И Лейбницъ написалъ статью,

1) Европейская литература, I. гл. П. § 39.

2) Узевелъ Hist. Indust. Sci., ХІІ. с. 7.

3) Fr. Roger Bacon; J. S. Brewer's Pref., pp. 57, 63.

въ которой указывалъ на способъ дополненія и исправленія кни-
ги ¹⁾). Альштедъ написалъ свою Энциклопедію, какъ и слѣдовало
ожидать, по-латыни и во главѣ ея привелъ въмѣсто энциграфа зна-
менитыя строки, въ которыхъ Лукрецій говоритъ, что нѣтъ ничего
болѣе пріятнаго, какъ жить особнякомъ въ свѣтлыхъ хра-
махъ мудрости. Хотя въ предисловіи авторъ Энциклопедіи и сооб-
щаетъ намъ, что онъ имѣлъ въ виду сдѣлать въ сжатомъ видѣ
очеркъ великаго «*Latifundium regni philosophici*», однако на
самомъ дѣлѣ онъ лишь собралъ нѣсколько отдѣльныхъ трактатовъ
или руководствъ и даже лексиконовъ въ нѣсколько томовъ. Соглас-
но съ духомъ того вѣка, въ который онъ писалъ, онъ даетъ пре-
обладающее значеніе грамматикѣ, реторикѣ и правиламъ логики и
при размѣщеніи предметовъ придерживается скорѣе буквальнааго или
логическаго ихъ распредѣленія, нежели научнаго взгляда на ихъ
объективную между собою связь.

Впрочемъ намъ нѣтъ надобности удлинять этотъ списокъ для
того, чтобы отыскать настоящій источникъ зарожденія той энцикли-
педіи, которая была дѣломъ Дидро и д'Аламбера. Мысль о систематической
классификациіи знаній, вдохновившая Дидро и постоянно
служившая руководствомъ для его дѣятельности, принадлежала Фрэн-
сису Бэкону. «Если мы доведемъ до конца это обширное предпрія-
тие», — писалъ Дидро въ *Проспектусъ*, — «мы будемъ этимъ обя-
заны преимущественно канцлеру Бэкону, который начертилъ планъ
всебоющаго лексикона наукъ и искусствъ въ такое время, когда,
такъ сказать, еще не было ни искусствъ, ни наукъ». Это чувство
глубокой и искренней признательности раздѣлялось также д'Алам-
беромъ и выражалось много разъ во время хода занятій. Нашъ
бессмертный соотечественникъ никогда не получалъ болѣе восторжен-
ныхъ похвалъ, чѣмъ тѣ, которыя встрѣчаются въ *Предваритель-
номъ объясненіи*. ²⁾ Французская Энциклопедія была прямымъ про-
дуктомъ широкихъ идей Бэкона. И не только настоящій зародышъ
Энциклопедіи находился въ Англіи, самый поводъ къ ея состав-
ленію возникъ тамъ-же.

Вестмореландскій квакеръ Эфраимъ Чемберсъ издалъ въ 1727 въ
Лондонѣ два большихъ тома подъ заглавиемъ *Cyclopaedia or
Universal Dictionary of the Arts and Sciences*. Идея
этого труда была широкая и превосходная. «Наша цѣль», — гово-
ритъ Чемберсъ, — ,заключалась въ томъ, чтобы разсмотретьъ раз-
личные предметы не только въ ихъ отдѣльности, но и относи-

¹⁾ Leibnitz Opera, V. 184.

²⁾ Oeuv. de d'Alembert, I. 63.

тельно, то есть во взаимной ихъ между собою связи—въ томъ, чтобы разсмотрѣть каждый изъ нихъ какъ нечто цѣлое и какъ часть еще большаго цѣлаго¹. Компилиатору недоставало ширины ума, необходимой для осуществленія такого похвального намѣренія. Тѣмъ не менѣе его книга отличается сжатостью и представляеть любопытный образчикъ литературной усидчивости, такъ какъ она вся составлена самимъ Чемберсомъ. Она имѣла большой успѣхъ и, хотя ея цѣна была высока (четыре гинеи), она имѣла въ теченіе восемнадцати лѣтъ пять изданій. Впрочемъ она вообще недостаточно богата содержаніемъ и болѣе похожа на лексиконъ, нежели на такую, напримѣръ, энциклопедію, какъ энциклопедія Альштеда.

Лѣтъ черезъ пятнадцать послѣ выхода въ свѣтъ Энциклопедіи Чемберса, англичанинъ Мильсъ и нѣмецъ Селліусъ обратились къ Ле-Бретону съ предложеніемъ издать ее въ переводѣ на французскій языкъ. Книгопродавецъ выхлопоталъ на этотъ предметъ разрѣшеніе правительства, но выхлопоталъ для себя самого, а не для тѣхъ, кому принадлежала мысль предпріятія. Эта плутня вызвала скору, но прежде чѣмъ дѣло дошло до развязки нѣмецъ умеръ, а англичанинъ возвратился къ себѣ на родину. Они оставили переводъ вполнѣ готовымъ.¹⁾ Тогда Ле-Бретонъ поручилъ это дѣло одному аббату по имени Гуа де Мальвесу. Этотъ Гуа де Мальвесъ (род. 1712), какъ кажется, былъ дѣловой и неглупый человѣкъ. Онъ перевѣлъ произведеніе Беркелея *Hylas and Philonous*, *Путешествія* Ансона и нѣсколько англійскихъ сочиненій о денежныхъ знакахъ и о политической экономіи. Утверждали, будто онъ первый далъ мысль обѣ энциклопедіи въ болѣе широкомъ размѣрѣ²⁾, но мы не имѣемъ на это доказательствъ. Во всякомъ случаѣ въ его рукахъ этотъ проектъ не двигался впередъ. Книгопродавецъ, не зная какъ выйти изъ затрудненія, обратился къ Дидро, очень нуждавшемуся въ то время въ такой работѣ, которая дала бы ему средства существованія. Его обильный и энергическій умъ совершенно преобразовалъ первоначальный проектъ. Благодаря удивительному дару интуиціи, онъ понялъ, какой удобный случай доставить энциклопедическая форма для собранія въ одно цѣлое всѣхъ новыхъ идей и современныхъ знаній, разбросанныхъ безъ всякой системы и безъ всякихъ объясненій. Его восторженность воспламенила Ле-Бретона. Было решено, что трудъ Чемберса будетъ лишь точкой исхода для новаго предпріятія, задуманного въ гораздо большихъ размѣрахъ.

¹⁾ M  m. pour J. P. F. Luneau de Boisjermain, 4-to, Paris, 1771. См. также *Prospectus* Дидро; тамъ сказано: „Мы просмотрѣли весь переводъ Чемберса“, и т. д.

²⁾ Biog. Universelle, S. V.

«У престарѣлого и ученаго д'Агессо», — говорить Мишле, — «несмотря на нѣкоторыя жалкія и дурныя черты характера, были также двѣ возвышенныя черты — склонность къ реформѣ законодательства и личная страсть, любовь и настоятельное влечение къ всеобщности, — то есть нечто похожее на энциклопедическое настроение ума. Однажды приходитъ къ нему молодой человѣкъ, живущій литературной работой и нѣсколько сконфуженный тѣмъ, что имя его уже сдѣлалось извѣстнымъ благодаря нѣсколькимъ книгамъ сомнительного достоинства, написаннымъ подъ гнетомъ материальной нужды. Однако этотъ пришецъ съ сомнительной репутацией совершаетъ чудо. Съ удивленіемъ слушать старый мудрецъ, какъ онъ развивалъ гигантскій планъ такой книги, которая должна заключать въ себѣ всѣ книги. Въ его устахъ науки превращались въ свѣтъ и жизнь. Это было болѣе чѣмъ изустное изложеніе, — это было творчество. Онъ, какъ будто, создалъ эти науки и продолжалъ созидать ихъ, дѣлая къ нимъ дополненія, расширяя ихъ, оплодотворяя ихъ и даже вкладывая въ нихъ новую жизнь. Впечатлѣніе, которое онъ произвелъ, невыразимо. Д'Агессо, превзошедший на минуту самого себя, забыть свои преклонные лѣта, заразился ядомъ генія и сдѣлался великою чужимъ величиемъ. Онъ у说服алъ въ молодаго человѣка и сдѣлался покровителемъ Энциклопедіи»¹⁾.

Было выхлопотано новое разрѣшеніе (21 янв. 1746), а такъ какъ у Ле-Бретона не было капитала достаточнаго для столь обширнаго предпріятія, то онъ привлекъ къ участію въ дѣлѣ другихъ трехъ книгопродавцевъ съ тѣмъ, что ему будетъ принадлежать одна половина барышей, а имъ — другая. Какъ Ле-Бретонъ не былъ въ состояніи взять на себя материальныя заботы объ изданіи, задуманномъ на такую широкую ногу, такъ точно и Дидро сознавалъ свою неспособность составить и редактировать всѣ отдѣлы такого произведенія, которое должно было вмѣщать въ себѣ всю сферу знаній. Онъ не былъ достаточно свѣдущъ ни въ математикѣ ни въ физикѣ, которая въ то время была основана большею частію на математическихъ выводахъ. Для этого отдалъ онъ пригласиль, въ

¹⁾ Мишле, Louis XV., 258. Отъ д'Агессо (1668—1751) остался одинъ отрывокъ, который следуетъ выдѣлить изъ тринадцати томовъ его сочиненій, — отрывокъ, который заключаетъ въ себѣ его воспоминанія объ отцѣ (Оеиу. XIII). Это — одно изъ тѣхъ свидѣтельствъ твердости и возвышенности характера, которыя освѣжаютъ и укрѣпляютъ умъ читателя гораздо болѣе, чѣмъ цвѣлая библиотека, наполненная религіозными и нравственными увѣщаніями. Возвышенность ума, изысканная суровость и трогательная воспримчивость произведенія Тацита Agricola или произведенія Кондорсе Turgot соединяются здѣсь съ какой то степенной мягкостью, которая была отчасти свойственна послѣдователямъ янсенизма въ семнадцатомъ столѣтіи.

качествъ сотрудника, одного изъ самыхъ выдающихся и самыхъ дѣятельныхъ членовъ партіи философовъ. Здѣсь будуть умѣстны нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ замѣтительномъ человѣкѣ, находившемся въ теченіи многихъ лѣтъ въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ съ Дидро.

Д'Аламбѣръ былъ незаконный сынъ г-жи де-Тенсенъ, которая безжалостно подкинула его немедленно послѣ его появленія на свѣтѣ. По этому поводу Кондорсе основательно замѣтилъ, что «настоящіе предки геніального человѣка—великие наставники, жившіе до него, а его настоящіе потомки—ученики, которые достойны его». Въ одну ноябрьскую ночь 1717 какой то сторожъ нашелъ его почти полумертвымъ на ступенькахъ церкви св. Иоанна Круглого, отъ которого онъ впослѣствіи и получилъ свое христіанское имя. Подкидыша взяла на свое попеченіе одна почтенная женщина изъ простонародья, повинуясь тому чувству самоотверженія, которое чаще встречается у бѣдныхъ, чѣмъ у богатыхъ. Отецъ ребенка—артиллерійскій офицеръ, братъ Детуша, написавшаго нѣсколько плохихъ комедій,—отъ времени до времени доставлялъ небольшія суммы денегъ на воспитаніе сына. Въ школѣ д'Аламбѣръ выказалъ блестящія способности. Не такъ какъ почти всѣ члены энциклопедической партіи,—онъ воспитывался не у іезуитовъ, а у ихъ противниковъ. Янсенисты замѣтили въ своемъ воспитанникѣ проницательность и силу ума и вообразили, что найдутъ въ немъ новаго Паскаля. Но онъ не былъ такъ послушенъ, какъ этотъ великий его предшественникъ на скамьяхъ янсенистской школы. По окончаніи своихъ учебныхъ занятій онъ посвятилъ себя геометріи, къ которой питалъ никогда не ослабѣвшую склонность. Вместо стараго монашескаго обѣта бѣдности, цѣломудрія и повиновенія онъ принялъ болѣе приличный мушинъ и болѣе достойный литератора девизъ: бѣдность, истина и свобода. Просыпаясь утромъ, онъ съ наслажденіемъ думалъ о работѣ, которая была начата наканунѣ и которая будетъ занимать его въ теченіи наступающаго дня. Въ необходимые промежутки между своими занятіями онъ помышлялъ объ удовольствіи, которое доставилъ ему театръ, а въ театрѣ, во время антрактовъ, онъ помышлялъ о еще большемъ удовольствіи, которое доставлять ему завтрашняя занятія. Его труды по математикѣ привели къ цѣннымъ выводамъ касательно принципа равновѣсія и движенія жидкихъ тѣлъ, касательно новыхъ способовъ вычисленія и касательно новаго разрѣшенія проблемы о прецессіи равноденствій¹⁾.

Его труды по такой отрасли наукъ, которая въ то время была

1) Краткій разборъ главныхъ научныхъ статей д'Аламбера, сдѣланный Берtrandомъ, можно найти въ Rev. des Deux Mondes за октябрь 1865.

самой популярной, доставили ему известность, а съ известностью всегда неразлучны помѣхи для занятій. Лишь только писатель обнаружилъ такія дарованія, которыхъ могутъ принести обществу пользу, общество тотчасъ начинаетъ вовлекать его въ соблазны и мѣшать усидчивому примѣненію этихъ дарованій къ дѣлу. Д'Аламберъ упорно уклонялся отъ подобныхъ приманокъ. Его средства существованія были очень ограниченны, тѣмъ не менѣе его никогда не могли склонить къ увеличенію этихъ средствъ въ ущербъ его соціальной независимости или его научнымъ занятіямъ. Онъ въ теченіе сорока лѣтъ жилъ подъ скромной кровлей той бѣдной женщины, которая обошлась съ нимъ какъ съ роднымъ сыномъ. «Изъ вѣась никогда не выйдетъ ничего лучшаго, чѣмъ философъ», — восклицала она съ тономъ упрека, — «а что такое философъ? Это — сумасшедшій человѣкъ, который терзаетъ себя въ продолженіи всей своей жизни для того, чтобы о немъ говорили послѣ его смерти». Д'Аламберъ упорно держался за то, что считалъ своимъ назначениемъ Фридрихъ Великій щѣтно соблазнялъ его предложеніемъ замѣнить Монпертою въ качествѣ президента берлинской академіи. Впрочемъ, хотя онъ и отказался занять эту должность, онъ пользовался связаннымъ съ нею вліяніемъ и ея прерогативами. Фридрихъ постоянно обращался къ нему за советами при замѣщеніи открывавшихся ваканцій и при новыхъ назначеніяхъ. Великодушіе д'Аламбера проявилось въ томъ фактѣ, что онъ доставилъ Лагранжу мѣсто и средства существованія въ Берлинѣ и горячо рекомендовалъ его какъ человѣка съ рѣдкимъ и возвышеннымъ умомъ, несмотря на то, что Лагранжъ упорно опровергалъ некоторые изъ его математическихъ теорій. Черезъ десять лѣтъ послѣ сдѣланнаго ему Фридрихомъ предложенія, другая царствующая особа — Императрица Екатерина пригласила его взять на себя воспитаніе юнаго великаго князя — ея сына. Но ни ласковая настойнія и упрашиванія со стороны уполномоченныхъ императрицы, ни щедрое предложеніе ста тысячъ франковъ годового содержанія не могли заставить его разстаться съ его независимостью и съ его друзьями. Фридрихъ Великій обыкновенно сравнивалъ его съ однимъ изъ тѣхъ восточныхъ монарховъ, которые живутъ въ совершенномъ уединеніи для того, чтобы усилить свое значеніе и свой престижъ. Онъ не отказался отъ ежегодной пенсіи приблизительно въ пятьдесятъ фунт. стерл. изъ Берлина, и такую же сумму получалъ изъ собственной шкатулки французскаго короля. Въ добавокъ къ этому онъ ежегодно получалъ небольшую сумму денегъ отъ академіи.

Хотя математическая науки всегда были специальнымъ предметомъ его занятій, однако д'Аламберъ, подобно всѣмъ выдающимся людямъ энциклопедической школы, не впадалъ въ свойственную спе-

циалистамъ узкость идей. Онъ невольно напоминаетъ намъ замѣтительныя слова приписываемыя Лейбницу,—что знаніе имѣеть цѣну только потому, что дѣлаетъ человѣка способнымъ говорить съ авторитетомъ о философіи и о религії. Его переписка съ Вольтеромъ, обнимающая собою всю третью четверть столѣтія, представляетъ самыя поучительныя изъ всѣхъ дошедшихъ до насъ свѣдѣній о многосторонней предпримчивости той дѣятельной эпохи. Собрание похвальныхъ рѣчей, которыхъ онъ произносилъ въ честь академиковъ, умершихъ въ промежуткѣ времени между 1700 и 1772, составляетъ одно изъ самыхъ интересныхъ произведеній по части исторіи литературы. Онъ относился съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ къ великому и трудному искусству излагать свои мысли. Переводы изъ Тацита, Бэкона и Аддисона служатъ доказательствомъ того, что онъ старался придать своимъ занятіямъ практическую пользу. Длинный сборникъ синонимовъ свидѣтельствуетъ о его способности подмѣтать тонкіе отличительные оттѣнки того или другаго выраженія. А ясность, точность идержанная энергія его собственной прозы доказываютъ, что онъ не безъ успѣха работалъ надъ улучшенiemъ слога. Онъ зналъ тотъ секретъ, отъ котораго зависитъ такой успѣхъ. Имѣйте возвышенныя мысли, сказалъ онъ и ваша манера выражаться будетъ ясна и благородна¹⁾. Ему не была незнакома и другая сторона этой истинны, выраженная другимъ замѣтительнымъ писателемъ того времени въ слѣдующихъ словахъ: стараясь выражаться съ точностью, вы приобрѣтаете привычку правильно мыслить (*Кондильякъ*).

Подобно многимъ другимъ писателямъ, оказавшимъ большія услуги литературѣ, д'Аламберъ въ теченіе всей своей жизни боролся съ слабымъ здоровьемъ. Подобно Вольтеру и Руссо онъ родился полу-мертвымъ и до конца жизни оставался слабымъ и хворымъ. Онъ страдалъ тѣми умственными недугами, которые свойственны людямъ съ его темпераментомъ. Онъ былъ неусидчивъ, нетерпѣливъ, непостояненъ и склоненъ къ раздражительности. Когда молодая дѣвица Флионъ,—сдѣлавшаяся впослѣдствіи знаменитой въ качествѣ жены добродѣтельнаго Ролана,—посѣтила одно изъ засѣданій Академіи, ее привлекало туда желаніе увидѣть автора *Предварительного объясненія*, но его невыразительное лицо и его пронзительный тонкий голосъ заставили ее съ разочарованіемъ сознаться, что сочиненія философовъ болѣе интересны, чѣмъ ихъ наружность²⁾. Во всемъ, кромѣ стремленій къ просвѣщенію и къ эманципації, д'Аламберъ былъ контрастомъ Дидро. Тамъ, гдѣ Дидро было многорѣчивъ,

¹⁾ Oeuvres de d'Alembert, IV. 367.

²⁾ Oeuv. de J. Ph. Roland, I. 230 (edit. 1800).

расточителенъ и беспорядоченъ, д'Аламберъ былъ тщательно точенъ. Впрочемъ несмотря на различие темпераментовъ дружба между ними была въ теченіе многихъ лѣтъ самая искренняя и тѣсная. Когда было задумано изданіе Энциклопедіи, Дидро, какъ мы сказали, обратился къ помощи д'Аламбера въ математическихъ наукахъ, такъ какъ его собственныхъ познанія по этой части были недостаточно основательны. Они вполнѣ сходились въ своихъ взглядахъ на то мѣсто и ту роль, которая должны принадлежать литераторамъ. Однимъ изъ самыхъ важныхъ результатовъ ихъ единомыслія и однѣмъ изъ самыхъ важныхъ явлений въ исторіи Энциклопедіи было тотъ фактъ, что профессія литератора сдѣлалась профессіей определенной и независимой. И Дидро и д'Аламберъ всегда были бѣдными людьми, но никогда не были привязчивыми просителями. Они не искали покровителей и не стѣснялись въ своихъ идеяхъ желаніемъ угодить Версальскому правительству. Они первые установили законный авторитетъ нового священства. Они съ сознаніемъ и въ тщательно обдуманной формѣ протестовали противъ старой системы искательствъ и покровительствъ. «Счастливы тѣ литераторы» — писалъ д'Аламберъ, — «которые пришли наконецъ къ сознанію, что самый вѣрный способъ заставить себя уважать заключается въ томъ, чтобы жить въ согласіи между собою и почти совершенно въ сторонѣ отъ другихъ людей; что благодаря взаимному согласію они безъ большихъ усилий дойдутъ до того, что будутъ предписывать всей націи законы въ вопросахъ вкуса и философіи; что настоящее уваженіе есть то, которое оказывается вами по приговору такихъ людей, которые сами достойны уваженія..... Развѣ послѣ слишкомъ рѣдко встрѣчающагося искусства хорошаго управлѣнія искусство обучать и просвѣщать людей не есть самая благородная задача и самая благородная изъ человѣческихъ способностей»¹).

Приобрѣтенное въ ту пору литераторами сознаніе своего влиянія и своего высокаго призванія не было такимъ поверхностнымъ фактомъ, какимъ оно могло бы показаться съ первого взгляда. Оно свидѣтельствовало о возникновеніи нового ученія и объ отмѣнѣ старого. Самая возвышенная нравственная идея перестали быть достояніемъ духовенства, и сдѣлались достояніемъ писателей, пере-

1) *Essai sur la Société des Gens de Lettres et des Grands, etc.* Oeuv. IV. 372. „Пишите такъ“, — говорить онъ, — „какъ будто вы любите славу; а въ жизни поступайте такъ, какъ будто вы разнодушны къ ней“. Сравн. замѣчаніе Дюкло съ ссылкою на приведенные слова (*Consid. sur les Mœurs, ch. XI*): „Человѣкъ, облеченный властью, приказываетъ, но интеллигентные люди управляютъ, потому что съ течениемъ времени они образуютъ общественное мнѣніе, которое рано или поздно подчиняетъ себѣ всякую despотическую власть“. Это вѣрно лишь отчасти.

стали быть достояниемъ официального католицизма и сдѣлались достояниемъ тѣхъ плодотворныхъ новыхъ взглядовъ на человѣческія знанія и на человѣческое общество, которые въ то время были въ ходу подъ названіемъ философскихъ. Замѣтленъ тотъ фактъ, что мысли, посвѣянныя философией послужили для католицизма источникомъ болѣе возвышенныхъ стремлений. Если во время революціи церковь обнаруживала такія качества, которые по истинѣ были достойны удивленія, то причиной этого была кучка энциклопедистовъ, невольно и неизбѣжно передавшая долю своей собственной дальновидности, твердости, нравственной силы и заботливости о соціальныхъ улучшенияхъ той самой церкви, которая въ началѣ ихъ дѣятельности, была тяжелымъ бременемъ для умственной жизни всей націи. Если католицизмъ Шатобріана, Ламенѣ и Монталамбера имѣлъ мало общаго съ католицизмомъ кардинала Дюбуа или герцога де-Роана, съ безнравственными правилами іезуитовъ и университетскими предразсудками позднѣйшихъ якесинистовъ, то этимъ измѣненіемъ и церковь и человѣчество обязаны ненавистнымъ свободнымъ мыслителямъ. Просвѣщенный католикъ нашего времени не можетъ не сознаться, что Вольтеръ, Дидро и Руссо были настоящими преобразователями его религіи. Они доставили ей тѣ идеи, которыхъ помѣшили ей сдѣлаться бичемъ для цивилизациі. Не какойнибудь католический прелатъ, а Дидро былъ тотъ, кто разорвалъ стѣснявшіе умственную дѣятельность догматические узы, когда онъ произнесъ великолѣпный возгласъ: *Détruissez ces enseintes qui rétrécissent vos idées! Élargissez Dieu!*¹⁾) Въ наше время происходитъ передъ нашими глазами точно такое же явленіе. Христіанскія церкви, такъ быстро, какъ это позволяютъ имъ уставы, усвоиваютъ новое свѣтило, болѣе благородныя понятія о нравственности и болѣе возвышенныя идеи людей, которые не принадлежать ни къ какой церкви и систематически выдаются за враговъ человѣчества. *Sic vos non vobis mellificatis apes!* Такія преобразованія религіи путемъ заимствованія идей изъ чуждой ей доктрины представляютъ самое интересное явленіе въ исторіи понятій объ истинѣ.

Энциклопедія сдѣлалась могущественнымъ орудіемъ этого преобразованія. Такъ какъ она была такимъ орудіемъ и такъ какъ кѣней прѣмыкали всѣ лучшіе люди Франціи, желавшіе просвѣщенія и соціальныхъ преобразованій, то мы не должны жалѣть ни времени ни усилий, чтобы прослѣдить ея исторію. Вѣдь энциклопедисты вывели Францію на новый путь не въ одной только сфере религіозныхъ идей. Они коснулись народной жизни со всѣхъ ея сторонъ и

приложили принципы просвещенія ко всѣмъ отраслямъ матеріальной и политической организаціи. Ихъ соединеніе въ одну большую философическую группу придало ихъ работѣ внушительное значеніе. Собрание въ одномъ многотомномъ изданіи всѣхъ новыхъ истинъ, затрагивавшихъ столько важныхъ для человѣчества вопросовъ, придавало книги и писателямъ характеръ всеобщности и заставляло предполагать существование такой коллективной и органической доктрины, на которую, безъ сомнѣнія, не заявили бы притязаній сами писатели и которую было бы не трудно опровергнуть при помощи одной логики. Тѣмъ не менѣе, общее мнѣніе, что энциклопедисты составляли одно цѣлое съ общею для всѣхъ доктриной и съ общею цѣллю, было въ практическомъ отношеніи основательно. Конь съ удивительной ясностью объяснялъ достоинства идеи объ энциклопедической работѣ соединенными силами. ¹⁾ Она соединяла членовъ враждебныхъ между собою школы, стремившихся къ разрушению существующаго строя, и вела ихъ къ одной великой созидательной цѣли. Она служила сборнымъ пунктомъ для умственныхъ усилий, которые иначе расходились бы въ разныя стороны. Вліяніе энциклопедистовъ было именно такое, какимъ оно должно бы было быть, если бы впечатлѣніе произведенное ими на публику было вполнѣ согласно съ истиной. Дидро и д'Аламберъ дѣлали все что могли, чтобы усилить это впечатлѣніе. Они не пропускали случая, чтобы укрѣпить мысль о совокупной работѣ и о совокупной солидарности. Они говорили о своемъ лексиконѣ такъ, какъ будто рѣчь шла о трудахъ какой нибудь академіи. ²⁾ Каждый писатель былъ отвѣтственъ за свои статьи, но онъ находился въ такомъ же положеніи, какъ членъ какой либо ученой корпораціи. До великаго кризиса, наступившаго въ 1759, каждому тому предпосыпался списокъ лицъ, принимавшихъ въ немъ участіе. Если кто либо изъ сотрудниковъ умиралъ, публика извѣщалась о понесенной утратѣ и заслуги умершаго перечислялись въ похвальной статьѣ. ³⁾ Въ ссорахъ, эпиграммахъ и личныхъ оскорблѣніяхъ недостатка не было, но вообще поддерживалось постоянное и искреннее чувство братства.

По краснорѣчивому выраженію Вольтера, и офицеры сухопутной арміи и моряки, и суды, и медики, изучившіе человѣческуюнатуру, и литераторы, направление которыхъ было облагорожено знаніемъ, и геометры и физики,—всѣ соединились для дѣла столь же полезнаго сколько труднаго, безъ всякаго личнаго интереса и даже не ища извѣстности, такъ какъ многие изъ нихъ скрывали свое имя, и наконецъ безъ всякаго предварительного словора или со-

¹⁾ Phil. Pos., V. 520. Polit. Pos., PI. 584.

²⁾ См. Предисловіе къ тому III.

³⁾ Напримѣръ см. Предисловіе къ тому VI.

тлашенія, а потому и безъ чего либо похожаго на духъ партіи. ¹⁾ Пробѣгая страницы, на которыхъ перечислены сотрудники, мы встрѣчаемся съ именами почти всѣхъ тѣхъ, кто содѣствовалъ воз- вышенню литературы того времени. Монтескье, умершій въ началѣ 1755, оставилъ недоконченный отрывокъ изъ статьи о *Вкусѣ* и, мимоходомъ можно замѣтить, нашъ добродушный Дидро былъ единственныи литераторъ, сопровождавшій бренные останки знаменитаго писателя до могилы. ²⁾ Сама статья, хотя въ сущности составляющая лишь отрывокъ, имѣть всю прелестъ того прекраснаго стиля, которымъ обладалъ Монтескье; она серьзна безъ педантства, изящна безъ легкомыслія, и богата замѣчаніями, которыя ясны и метки безъ высокопарности. Великій Тюрго, усердно заботившійся объ успѣхѣ всякаго предприятия, которое было задумано съ цѣлію улучшить благосостояніе человѣчества путемъ расширенія знаній и распространенія просвѣщенія, написалъ нѣсколько статей, принадлежащихъ къ числу самыхъ лучшихъ во всемъ изданіи, а его статья о *Вкладахъ* и до сихъ поръ представляетъ едвали не самое дѣльное разсужденіе объ этомъ важномъ предметѣ. Къ сожалѣнію онъ былъ изъ числа тѣхъ немногихъ писателей, которые не хотѣли подписываться подъ своими статьями. ³⁾ Его сотрудничество прекратилось только тогда, когда онъ замѣтилъ, что первоначальный планъ окрасился тѣмъ духомъ секты, въ которомъ онъ всегда видѣлъ самого опаснаго врага духа истины. ⁴⁾ Жанъ-Жакъ Руссо, только что пріобрѣвшій въ то время странную извѣстность благодаря своимъ парадоксамъ о естественномъ равенствѣ и о нравственномъ вредѣ цивилизациіи, доставилъ статьи о музыкѣ, помѣщенные въ первой полудюжинѣ томовъ. Онѣ были не безъ ошибокъ, но его сотоварищи великодушно вступились за него, утверждая что виною того были или небрежность корректора или невнимательность переписчика. ⁵⁾ Занимавшій высокое общественное положеніе Бюффонъ приспалъ въ самые первые годы предприятия статью о *Природѣ*, и издатели поспѣшили извѣстить подписчиковъ о пріобрѣтеніи такого высокопоставленнаго сотрудника. ⁶⁾ Впрочемъ составленіе статей о натуральной исторіи Бюффонъ, по свойственной ему сановитой важности, предоставилъ своему вѣрному помощнику и ору-

¹⁾ Siècle de Louis XV., гл. 43.

²⁾ Гrimme, Corr. Lit., I. 273. Дидро Оeuv.. IV. 15.

³⁾ Avergissement къ 7. VI; также къ VII. Статьи Тюрго были написаны на слова *Etymologie*, *Existence*, *Expanſibilité*, *Foires*, *Foundations*. Въ новомъ изданіи сочиненій Дидро, XV. 12, эти статьи ошибочно приписаны самому Дидро.

⁴⁾ Кондорсе, Vie de Turgot.

⁵⁾ Предисл. къ т. III (1752) и къ т. VI (1756).

⁶⁾ Предисл. къ т. II.

женосцу-- Добентону. Даже его собственная статья, какъ кажется, не была напечатана. Передъ выходомъ въ свѣтъ одиннадцатаго тома возникли страшныя бури; тогда нѣкоторые изъ сотрудниковъ отстранились отъ дѣла и въ числѣ ихъ вѣроятно былъ Бюффонъ. Конечно въ томъ видѣ, въ какомъ появилась въ Энциклопедіи статья о *Природѣ*, ее едвали можно считать за произведение Бюффона.

Въ дополнительныхъ томахъ, вышедшихъ въ свѣтъ въ 1776—черезъ десять лѣтъ послѣ осуществленія первоначально задуманнаго предпріятія—приняли участіе два новыхъ сотрудника, имена которыхъ придали новый блескъ и еще болѣе серьезное значеніе всему изданію. Однимъ изъ нихъ былъ царь физіологовъ восемнадцатаго столѣтія—великій Галлеръ, доставившій подробную статью о своихъ предшественникахъ въ дѣлѣ изученія внутренняго механизма человѣческой натуры и анализа ея сложныхъ отпрѣленій. Другимъ былъ суровый и благородный Кондорсе. Всегда готовый помочь въ добромъ дѣлѣ и всегда возстававшій противъ тѣхъ кто отчаялся въ благополучіи человѣчества, онъ началъ на страницахъ Энциклопедіи ту карьеру, которая была полна добрыхъ предзнаменованій и возвышенныхъ надеждъ, но завершилась въ ужасной залѣ Ковен-та и въ благородной трагической кончинѣ среди кровавыхъ смутъ эпохи Террора.

Между менѣе блестящими звѣздами на энциклопедическомъ небосклонѣ встрѣчаются нѣкоторыя имена, которыя не заслуживаютъ полнаго умолчанія. Одинъ изъ самыхъ поучительныхъ политico-экономическихъ писателей вѣка—Форбоннэ доставлялъ для первыхъ томовъ Энциклопедіи статьи, которые были впослѣдствіи воспроизведены въ его *Elements de Commerce*.¹⁾ Самодовольный Мармонтель написалъ привлекательную статью о *Комедіи*, *Похваль-ныхъ рѣчахъ*, *Эклогахъ*, *Славѣ* и нѣкоторыхъ другихъ предметахъ изъ сферы литературы и искусства. Замѣчательный основатель школы экономистовъ Кенэ обработалъ два предмета касательно земледѣлія и воспроизвелъ здѣсь какъ свои теоретические парадоксы, такъ и свои прекрасные практическіе взгляды на материальное благосостояніе народовъ. Гольбахъ, еще не написавшій въ то время свою замѣчательную *Систему природы*, составилъ множество статей о химії и минералогії главнымъ образомъ по нѣмецкимъ источникамъ; такъ какъ онъ былъ единственный въ группѣ энциклопедистовъ писатель, хорошо владѣвшій нѣмецкимъ языкомъ, знаніе котораго было въ то время едва ли болѣе необходимо для образованнаго че-

1) Гrimma Corr. Lit. I. 130. Главнымъ произведеніемъ Форбоннэ былъ его *Recherches et Considerations sur les finances de la France*.

ловѣка, чѣмъ въ наше время знаніе русскаго языка. Нельзя пройти молчаниемъ и Дюкло, принадлежавшаго къ числу самыхъ дѣятельныхъ сотрудниковъ при составленіи Энциклопедіи. Это былъ одинъ изъ самыхъ проницательныхъ и умныхъ людей того времени, стоявшій въ передовомъ ряду второстепенныхъ писателей. Его способности были не развиты, но это было не болѣе какъ недостатокъ проницательной и энергической интеллигенціи. Его статьи въ Энциклопедіи (*Déclamation des Anciens, Etiquette, etc.*) не особенно замѣчательны, но размышенія о человѣческихъ поступкахъ, озаглавленныя такъ: *Considérations sur les Moeurs de ce Siècle* (1750) хотя и грубоваты по тону, однако изобилуютъ проницательными, широкими и здравыми идеями, дающими имъ право стоять на ряду съ произведеніями тѣхъ моралистовъ и исследователей по части общественныхъ условій жизни, которые до сихъ поръ стоятъ того, чтобы ихъ читать. Морелле писалъ о нѣкоторыхъ предметахъ, касающихся богословія и его статьи замѣчательны тѣмъ, что представляютъ самый выдающейся въ произведеніяхъ энциклопедистовъ образчикъ такого взгляда на религію, который былъ ясно и сознательно историческимъ. «Я старался доказать» — писалъ онъ много лѣтъ спустя, — «что въ такихъ сборникахъ, какъ Энциклопедія, слѣдуетъ относиться къ исторіи и примененію на практикѣ христіанскихъ догматовъ и обрядовъ точно также какъ мы относились бы къ религіи Брамы или Магомета». ¹⁾ Благодаря такой философской точкѣ зрѣнія онъ могъ написать статью о Сынѣ Божіемъ, не впадая ни въ Арианизмъ, ни въ Несторіанизмъ, ни въ Соціанизмъ, ни въ какія либо другія еретическія понятія объ этомъ предметѣ. Намъ нѣтъ надобности останавливаться на тѣхъ именахъ другихъ писателей, которыхъ въ наше время не болѣе какъ тѣни именъ, — какъ напримѣръ на Ла-Кондаминѣ, ученымъ путешественникѣ, имѣвшемъ извѣстность и нѣкоторыя достоинства для своего времени и для своего поколѣнія, на Дю-Марсѣ, — этомъ бѣдномъ и несчастномъ педантѣ, писавшемъ статьи о грамматикѣ, на президента Де-Бросса, къ своему несчастію выигравшемъ денежный процессъ съ Вольтеромъ и вносядѣствіи сдѣлавшемъ извѣстнымъ читателямъ скорѣе благодаря яростнымъ нападкамъ со стороны разгнѣваннаго патріарха, нежели благодаря своимъ собственнымъ статьямъ о древнѣйшей исторіи цивилизациі.

Но не слѣдуетъ проходить молчаниемъ имя одного сотрудника, который усердно помогалъ сооруженію этого новаго Іерусалима, хотя его произведенія и были *multa non multum*. Кавалеръ де-Жокуръ (1704—1779), какъ указываетъ самый его титулъ,

¹⁾ Предисл. къ т. II.

былъ меньшой сынъ аристократической семьи. Онъ учился въ Женевѣ, Кэмбриджѣ и Лейденѣ и издалъ въ 1734 недурное описание жизни и произведеній Лейбница. Когда было задумано изданіе Энциклопедіи, онъ тотчасъ былъ приглашенъ къ сотрудничеству и сдѣлался ея слугою начиная отъ буквы А до послѣднихъ словъ на букву Z. Онъ писалъ статьи о предметахъ своей специальности— о натуральной исторіи и физическихъ наукахъ, но сверхъ того всегда былъ готовъ помочь въ другихъ отрасляхъ занятій,—въ переписываніи, чтеніи, исправленіи статей и въ исполненіи всѣхъ тѣхъ болѣе низкихъ издательскихъ обязанностей, о которыхъ читатель не имѣетъ понятія и которымъ онъ не придаетъ значенія. Жокуръ съ наслажденіемъ предавался этой черной работѣ. Богъ создалъ его для исправленія статей, говорилъ Дидро. «Въ теченіе шести или семи лѣтъ Жокуръ проводилъ время среди полудюжины конторокъ, читая, диктуя, работая какъ невольникъ по тринадцати или четырнадцати часовъ въ день и это ему до сихъ поръ еще не надоѣло. Когда ему говорили, что предпріятіе непремѣнно будетъ имѣть конецъ, онъ падалъ духомъ и перспектива предстоящаго освобожденія отъ такого пріятнаго бремени наполняла его сердце отчаяніемъ. ¹⁾ «Если»,—говорить Дидро въ предисловіи къ восьмому тому (1765),—«мы испустили радостный крикъ, подобно моряку завидѣвшему твердую землю послѣ мрачной ночи, проведенной между небомъ и морской пучиной, то мы обязаны этимъ Жокуромъ. Чего онъ не дѣлалъ для насъ, въ особенности въ это послѣднее время? Съ какимъ упорствомъ отклонялъ онъ настоянія друзей и представителей власти, старавшихся отнять его у насъ? Никогда еще не встрѣчалось болѣе безусловного и болѣе полнаго принесенія въ жертву личнаго спокойствія, здоровья и своихъ собственныхъ интересовъ». ²⁾ Этотъ скромный и неутомимый помощникъ въ хорошемъ дѣлѣ не долженъ быть позабываемъ при перечисленіи болѣе блестящихъ именъ.

Кромѣ тѣхъ, кто принадлежалъ къ числу всѣмъ известныхъ сотрудниковъ Энциклопедіи, было еще множество непрошеныхъ добровольцевъ. «Чѣмъ болѣе мы подвигаемся впередъ»—говорили издатели въ предисловіи къ шестому тому (1765),—«тѣмъ болѣе замѣчаемъ мы приращеніе какъ въ содержаніи такъ и въ числѣ тѣхъ, кто любезно предлагаетъ намъ свои услуги». Они получали по нѣскольку статей обѣ одномъ и томъ-же предметѣ. Ихъ безпрѣстанно приводило въ замѣшательство соревнованіе, которое хотя и было лестно для нихъ какъ доказательство сочувствія къ ихъ

¹⁾ Ноябр. 10, 1760, XIX. 24. Так же окт. 7, 1761, XIX. 35.

²⁾ См. также Предисл. къ т. III.

предпріятію, но вмѣстѣ съ тѣмъ заставляло ихъ дѣлать выборъ между статьями, принося въ жертву нѣкоторыя изъ хорошо составленныхъ,—заставляло ихъ то оттолкнуть отъ себя одного изъ постоянныхъ сотрудниковъ, то оскорбить какого нибудь вліятельного новаго пришельца. Всякій, у кого возникала въ головѣ какая нибудь новая идея или кто воображалъ, что у него родилась такая идея, излагалъ ее въ статьѣ, которую присыпалъ издателямъ. Люди, принадлежавшіе къ составу католического или протестантскаго духовенства, но въ глубинѣ души принадлежавшіе къ числу невѣрующихъ, присыпали имъ массы статей, въ которыхъ позволяли себѣ пріятную роскошь—высказать хоть отчасти то, что они думали. Женщины также стремились къ участію въ великомъ предпріятіи. Неизвѣстныя издателямъ дамы по собственной иниціативѣ доставляли имъ живописныя описанія особенностей женскаго туалета, начиная съ фалбалы, украшавшей нижнюю часть ихъ юпоекъ и кончая тѣмъ маленьkimъ бантикомъ изъ лентъ въ волосахъ, который замѣнилъ старый наводившій страхъ десяти-этажный головной уборъ съ егерархическими подраздѣленіями на герцогинь, отшельниковъ, мушкетеровъ, полумѣсяцъ, небесную твердь, десятое небо и мышь.¹⁾ Самымъ старымъ изъ сотрудниковъ былъ Лангле ди Фреснуа, написавшій книгу о *Методѣ изученія исторіи*, которая и до сихъ поръ знакома всякому, кто изучалъ развитіе человѣческихъ понятій о связи между настоящимъ и прошедшимъ. Лангле родился въ 1674. А самымъ юнымъ между энциклопедистами былъ Кондорсе, родившійся почти семидесятю годами позже (1743). Одинъ изъ ветерановъ этой группы, Морелле, бывшій школьній товарищъ Тюрго и Ломени-де-Бріенна, дожилъ до того, что стала размышлять о многихъ предметахъ менѣе отвлеченныхъ чѣмъ тѣ, о которыхъ онъ писалъ въ Энциклопедіи. Онъ пережилъ революцію, эпоху Террора, имперію, Ватерлоо, реставрацію и умеръ въ 1819, имѣя передъ глазами Священный Союзъ и избѣженія въ Петерлоо. Съ рожденія Лангле до смерти Морелле—сколь многому научилась по опыту западная Европа!

Никто не усомнится въ томъ, что прозорливый умъ, стимулирующее слово и щедрая рука Вольтера были на сторонѣ такого предпріятія, которое имѣло цѣллю внушать людямъ любовь къ терпимости, просвѣщенію, милосердію и справедливости. Вольтеръ разыгрывалъ въ Потсдамѣ роль непослушнаго царедворца въ то время, какъ вышли въ свѣтъ первые два тома Энциклопедіи. Онъ тотчасъ объявилъ съ характеризующей его горячностью, что это предпріятіе будетъ славой для Франціи, и позоромъ для ея хулителей.

¹⁾ Предисл. къ т. VI; также см. V. Fontange. Гриммъ, I. 451.

Онъ сказалъ, что Дидро и д'Аламберъ воздвигаютъ бессмертное зданіе и что онъ съ удовольствіемъ будетъ доставлять имъ отъ времени до времени маленькие камешки, которые могли бы быть вставлены въ стѣнѣ зданія въ какой нибудь уголокъ или въ какую нибудь разсѣдину. Онъ былъ неутомимъ въ своей дѣятельности. Въ противоположность съ болѣе слабыми и болѣе самонадѣянными талантами—этими *petits-maîtres* мышленія, докучавшими издателямъ и напрасно отнимавшими у нихъ время, великий писатель охотно бралъ на себя какъ важные такъ и мелкіе сюжеты и подчинялся всѣмъ искаженіямъ и измѣненіямъ, какія требовались условіями предпріятія и затруднительнымъ положеніемъ его руководителей¹⁾). По мѣрѣ того, какъ работа подвигалась впередъ, его восторгъ становился болѣе пылкимъ. Дидро и его сотоварищъ,—говорить онъ,—готовятъ себѣ крылья, чтобы перелетѣть въ потомство; это—Атласъ и Геркулесъ, несущіе міръ на своихъ плечахъ; это—величайшее произведеніе въ мірѣ; это—великолѣпная пирамида; ихъ типографія—бюро для поученія человѣческаго рода, и т. д. все въ томъ же духѣ поощрительного сочувствія и энергического участія. Впрочемъ его сочувствіе не мѣшало ему замѣчать ошибки въ исполненії. Здравый смыслъ и ясный умъ Вольтера были полезны его друзьямъ столько же предостереженіями отъ заблужденій, сколько одобреніемъ того, что ими дѣлалось. Онъ имѣлъ достаточно добросовѣстности для того, чтобы выражать свое неудовольствіе прямо своимъ друзьямъ, а не постороннимъ людямъ. Въ одномъ мѣстѣ онъ говоритъ имъ, и не безъ основанія, что ихъ поденьщики владаютъ въ декламацію и слишкомъ часто замѣняютъ туманными и мелочными разсужденіями тѣ положительныя знанія, которыхъ ищутъ читатели въ Энциклопедіи. Въ другомъ мѣстѣ онъ возвастѣтъ противъ нѣкоторыхъ легкомысленныхъ жеманствъ и нѣкоторыхъ фатовскихъ выходокъ, вызываемыхъ желаніемъ сообразоваться съ литературными модами. Онъ постоянно совѣтуется придерживаться опредѣленного и яснаго метода и въ этимологіяхъ и въ опредѣленіяхъ, и въ примѣрахъ и въ доводахъ, рекомендуетъ ясность и сжатость. «У васъ плохие помощники»,—писалъ онъ,—«это дурные солдаты въ арміи великаго генерала»²⁾). «Мнѣ очень жаль, что тотъ кто писалъ статью объ Адѣ, утверждаетъ, будто адъ былъ однимъ изъ пунктовъ ученія Моисея; отъ имени всѣхъ чертей увѣряю васъ, что это неправда. Къ чему было выдумывать это? Конечно адъ—пре-

1) Corres. avec d'Alembert (Oeuv. LXXV.), Сент. 1755, февр. 1757, и пр.

2) 22 дек. 1757.

красная вещь, но Моисей, очевидно, не былъ съ нимъ знакомъ. Здѣшній міръ—вотъ настоящій адъ»¹⁾.

Въ отвѣтъ на эти замѣчанія д'Аламберъ всегда сознавался въ ошибкахъ, указанныхъ патріархомъ и великимъ наставникомъ, но въ оправданіе ихъ приводилъ различные резоны. Онъ объяснялъ, что Дидро не всегда воленъ не принять или передѣлать доставленную ему статью²⁾). Служалось, что писатель, принесшій большую пользу нѣсколькими прекрасными статьями, требовалъ чтобы въ награду за хорошия статьи были помѣщены и плохія, и т. д. «Конечно, у насъ встрѣчаются плохія статьи по части богословія и метафизики, но и вы сами не сдѣлали бы ихъ лучшими при томъ условіи, что ихъ цензорами будутъ богословы и что на этотъ предметъ будетъ выдана привилегія. Есть другія статьи, менѣе бросающіяся въ глаза; въ нихъ все исправлено какъ слѣдуетъ. Время научить людей отличать то, что мы думали, отъ того, что мы говорили»³⁾. Эти послѣднія слова горьки и унизительны, но тотъ кто вздумалъ бы бросить камень въ ихъ автора, пусть прежде убѣдится, что въ его собственной жизни нѣть никакихъ слѣдовъ притворной угодливости и фальшиваго заискаванія. Одинъ Кондорсе сдѣлалъ по этому поводу основательное замѣчаніе, что отвѣтственность за стыдъ и позоръ такого лицемѣрного образа дѣйствій лежитъ не на писателяхъ, которымъ приходилось выбирать между этими образомъ дѣйствій и поддержаніемъ застоя въ идеяхъ, а на духовенствѣ и министрахъ, чья тираннія дѣлала лицемѣріе необходимымъ. Впрочемъ покрывало, наброшеннное представителями власти, на самомъ дѣлѣ ничего не прикрывало. Каждый читатель узнавалъ настоящія мысли писателя о старыхъ мистеріяхъ изъ колкихъ фразъ, ловкихъ сопоставленій, внушительныхъ намековъ и двусмысленныхъ похвалъ. Дидро открыто сознается въ такихъ пріемахъ на страницахъ самой Энциклопедіи. «Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ,»—говорить онъ,—«когда какой нибудь национальный предразсудокъ кажется заслуживающимъ уваженія, соотвѣтствующая статья должна отзываться о немъ почтительно и излагать все, что въ немъ есть привлекательного и правдоподобнаго. Но глиняное зданіе должно быть разрушено и ни къ чemu негодная масса мусора должна быть разсѣяна по вѣтру въ такихъ статьяхъ, въ которыхъ противорѣчація тѣмъ предразсудкамъ истины имѣютъ въ основѣ солидные принципы. Такой способъ выводить людей изъ заблужденій быстро дѣйствуетъ на умы хорошаго закала, а на всякие другіе умы онъ дѣйствуетъ непре-

1) 24 мая 1757.

2) 13 дек. 1756, апр. 1756.

3) 21 июня 1757.

мънно и безъ всякихъ вредныхъ послѣдствій, незамѣтно и безъ шума»¹⁾. «Наши фанатики,»—замѣчалъ съ удовольствіемъ д'Аламберъ,—«чувствуютъ удары, хотя и затрудняются рѣшить, съ какой стороны они наносятся»²⁾.

То было одно изъ самыхъ печальныхъ явлений въ исторіи литературы, что человѣкъ, воодушевленный такими благородными идеалами и такими возвышенными соціальными стремленіями, какъ Дидро, былъ вынужденъ уничтожаться до этихъ отвратительныхъ недомолвокъ. Читая его *Проспектус* и въ особенности его статью *Епсуслореди*, мы поражены благотворностью и шириной великихъ идей, одушевлявшихъ его и руководившихъ имъ. По выражению одного писателя, Энциклопедія не была мирнымъ складочнымъ мѣстомъ, въ которомъ ученые и мыслители всякаго рода могли обозрѣвать приобрѣтенные ими сокровища; это была гигантская осадная машина,—арсеналь съ заготовленнымъ для нападенія оружиемъ³⁾. Это мнѣніе вѣрно лишь по отношенію къ одной части изданія и не къ самой важной. Такой приговоръ возможенъ лишь въ устахъ того, кто самъ не изучилъ всего произведенія энциклопедистовъ или того, кому не знакомы соціальные стремленія Франціи того времени. Впослѣдствіи мы поговоримъ объ этомъ подробно, а теперь достаточно будетъ сдѣлать два замѣчанія. Орудія, которыми по обстоятельствамъ того времени пришлось пользоваться какъ средствами для нападенія на противниковъ, были одинаково годны для приобрѣтенія въ лучшія времена тѣхъ сокровищъ мышленія и знанія, которыя служатъ цѣлью для безпристрастныхъ изслѣдованій. И еще болѣе важенъ тотъ фактъ, что характеристическімъ отличиемъ и замѣчательной заслугой французской революціонной школы было ея стараніе подчинить научные знанія практической задачѣ, заключавшейся въ томъ, чтобы поднять общество изъ того безнравственного и беспомощного состоянія, до котораго оно было доведено двойнымъ влияніемъ гражданскаго и церковнаго авторитета. Успія энциклопедистовъ нельзя назвать безпристрастными въ томъ смыслѣ, что это были лишь безцѣльные удары по воздуху. Они имѣли въ виду не теорію, а практику, не литературу, а жизнь. Конечно, не всѣ энциклопедисты былигодны для серьезной борьбы, а некоторые изъ нихъ были не болѣе какъ застрѣльщики. Но по меньшей мѣрѣ у Дидро постоянно была на умѣ великая цѣль, которой нужно было достигнуть послѣ того, какъ сраженіе будетъ выиграно. Онъ былъ глубоко убѣженъ, что простое накопленіе зна-

1) Статья подъ заглавіемъ *Епсуслореди*.

2) Къ Вольт. 15 февр. 1757.

3) Геттнера *Literaturgesch. des 18-ten Jahrhunderts*, II. 277.

ній о физическихъ явленіяхъ во вселенной не завело бы людей очень далеко по пути къ общественному переустройству. Въ слѣдующемъ прекрасномъ отрывкѣ онъ далъ руководящій тонъ всему предпріятію: — «мы никогда не должны терять изъ виду того соображенія, что еслибы мы изгнали съ земной поверхности человѣка, то есть мыслящее и созерцательное существо, увлекательныя и величественныя картины природы сдѣлались бы сценой меланхоліи и молчанія. Миръ сдѣлался бы нѣмъ; мракъ и тишина ночи вступили бы въ обладаніе имъ... Одно только присутствіе человѣка придаетъ интересъ другимъ существамъ; а при изученіи исторіи этихъ существъ развѣ можно избрать лучшую основу, чѣмъ сознаніе этой истины? Почему же не предоставить въ нашемъ предпріятія человѣку такое же мѣсто, какое онъ занимаетъ во вселенной? Почему не сдѣлать его общимъ центромъ? Развѣ въ безконечномъ пространствѣ есть какойнибудь другой пунктъ, отъ которого мы могли бы съ болѣею пользою проводить тѣ огромныя линіи, которыя мы предполагаемъ продлить до всѣхъ другихъ пунктовъ? Какое живительное и пріятное воздействиѣ будуть тогда взаимно производить другъ на друга человѣкъ и окружающія его существа?... Человѣкъ есть единственный пунктъ, отъ которого должно все исходить и къ которому должно все возвращаться, если мы желаемъ понравиться, заинтересовать, растрогать даже при изложеніи самыхъ сухихъ размышленій и самыхъ мелкихъ подробностей. Если вы отложите, въ сторону мое собственное существованіе и благополучіе моихъ близкихъ, какое будетъ мнѣ дѣло до всей остальной природы?»¹⁾

Въ этихъ словахъ слышится голосъ нового времени точно также какъ и въ восклицаніи Дидро, что усовершенствованіе Энциклопедіи есть дѣло столѣтій; должны были пройти цѣлые столѣтія прежде нежели можно было заложить фундаментъ; должны пройти еще столѣтія прежде нежели она будетъ вполнѣ окончена: «mais à la postérité, et à l'être qui ne meurt point!»²⁾ Эти возвышенныя идеи не были замѣной усидчиваго труда. Во всемъ, что пишетъ Дидро о своемъ великоклѣпномъ предпріятіи, насть поражаетъ оригинальное въ немъ сочетаніе здраваго смысла съ возвышенностью ума, простоты съ энергией, гибкости съ силой, скромности съ полною надеждѣ увѣренностью. Въ тѣхъ случаяхъ, когда человѣкъ менѣе добросовѣстный и менѣе серьезный легко вовлекся бы въ высокопарность и въ надменность, признаніе неизбѣжныхъ несовершенствъ такого обширнаго труда постоянно проглядываетъ сквозь его горделивое сознаніе возвышенности его-

¹⁾ Статья *Encyclopédie*.

²⁾ *Prospectus*.

цѣлей и благотворности его предпріятія. Тяжесть бремени придавала ему новые силы, а заботливость честнаго и дѣятельнаго труженника заглушала въ немъ поползновенія къ витеватости.

Прежде чѣмъ мы будемъ говорить о содеряніи Энциклопедіи, мы должны вкратцѣ разсказать о тѣхъ необычайныхъ препятствіяхъ и затрудненіяхъ, съ которыми пришлось бороться ея неустрешимому руководителю. Проектъ былъ вполнѣ готовъ и его подробности были въ точности опредѣлены въ промежутокъ времени между 1745 и 1748. О предстоящемъ изданіи Энциклопедіи было объявлено въ *Проспектусъ*, авторомъ котораго былъ самъ Дидро. Наконецъ въ 1751 вышелъ въ свѣтъ первый ея томъ, а въ январѣ 1752 второй. Клерикальная партія тотчасъ поняла, какія страшныя укрѣпленія возводятся насупротивъ ея лагеря, и какими смертоносными орудіями они снабжены. Іезуиты всегда смотрѣли съ завистью на предпріятіе, къ участію въ которомъ они не были приглашены. Они надѣялись, что по крайней мѣрѣ имъ будетъ принадлежать контроль надъ богословскими статьями. Убѣдившись что этого не будетъ, они задумали взять все предпріятіе въ свои собственные руки и тогда ортодоксія поспѣшила употребить въ дѣло всѣ силы своей союзницы — правительственной власти.

Первое нападеніе было сдѣлано не прямо. Аббать де-Прадъ защищалъ какую-то диссертацию на офиціальномъ диспутѣ въ Сорбонѣ, и Дидро былъ безъ всякаго основанія заподозрѣнъ въ томъ, что онъ настоящій авторъ диссертациі. Было приказано разсмотрѣть изложенные въ ней взгляды. Она была признана вредной, опасной и клонящейся къ атеизму, въ особенности по причинѣ слишкомъ внушительныхъ сравненій между чудесными исцѣленіями, о которыхъ говорится въ Новомъ Завѣтѣ и тѣми, которые приписываются болѣе древними легендами Эскулапу. Другія основанія для горячихъ возраженій были найдены въ томъ, что авторъ придерживался теоріи Локка о происхожденіи нашихъ идей. Утверждали, что отвергать врожденность идей значитъ быть материалистомъ и атеистомъ. Аббать де-Прадъ былъ признанъ виновнымъ и былъ лишенъ ученой степени (27 янв. 1752). Такъ какъ всѣмъ было известно, что онъ въ дружбѣ съ Дидро и такъ какъ подозревали, что онъ писалъ для Энциклопедіи богословскія статьи, то іезуиты надѣялись, что губя де-Прада они уронятъ въ общественномъ мнѣніи новое предпріятіе и доведутъ до того, что оно будетъ запрещено правительствомъ. Затѣмъ они склонили парижскаго архіепископа къ изданію пасторскаго посланія. Въ этомъ документѣ не только осуждались еретические тезисы де-Прада, но и упоминалось въ неясныхъ выраженіяхъ о какихъ то не названныхъ по имени произведеніяхъ, наполненныхъ заблужденіями и нечестіемъ. Всякому бы-

ло понятно, на кого дѣлался намекъ, а послѣдствіемъ этого между прочимъ было то, что Энциклопедія сдѣлалась болѣе популярной и болѣе извѣстной¹⁾). Но іезуитамъ не дозволили присвоивать себѣ монополію рвенія къ угнетеніямъ и Янсенисты не захотѣли отставать отъ нихъ на аренѣ лицемѣрныхъ интригъ. Епископъ Оксерскій, принадлежавшій къ партіи Янсенистовъ, послѣдовалъ примѣру своего собрата архіепископа парижскаго и сдѣлалъ болѣе прямое нападеніе, направленное не только на Энциклопедію, но также на Монтескье и Бюффона. Де-Прадъ спасся бѣгствомъ. Д'Аламберъ рекомендовалъ его Вольтеру, жившему въ то время въ Берлинѣ. Король былъ въ отлучкѣ, и Вольтеръ оказывалъ королевское покровительство бѣглецу до возвращенія Фридриха. Тогда де-Прадъ тотчасъ попалъ въ милость и былъ назначенъ чтецомъ при королѣ, но онъ оказался не созданнымъ для роли мученика, потому что вслѣдствіи отрекся отъ своихъ еретическихъ мнѣній, получилъ бенефицію и былъ заключенъ Фридрихомъ въ тюрьму за то, что сообщалъ своимъ соотечественникамъ разныя свѣдѣнія во время Семилѣтней войны²⁾). Къ несчастію ни ортодоксія, ни иновѣріе не обладаютъ исключительнымъ патентомъ на монополію безчестныхъ поступковъ.

Между тѣмъ Дидро написалъ ради его энергическое и полное достоинства возраженіе на задорное паstryрское посланіе. Эта апология не была такимъ же образцомъ краснорѣчія, какъ великое письмо, которое было написано Жанъ-Жакомъ Руссо черезъ десять лѣтъ послѣ того въ отвѣтъ на паstryрское посланіе парижскаго архіепископа по поводу Эмиля. Однако объясненія Дидро въ защиту де-Прада отличаются силою, сдержанностью и ясностью аргументациі. Стоитъ перечитать это произведеніе даже въ наше время, когда высшіе сановники церкви нерѣдко выказываютъ такое же невѣжество, такую же отвагу и такое же постыдное отсутствіе любви къ ближнему, какая проявилъ епископъ Оксерскій сто двадцать лѣтъ тому назадъ. Они прибѣгаютъ точно къ такимъ же обманамъ, которые служатъ для нихъ обороной противъ научныхъ истинъ и философскихъ теорій, несогласныхъ съ ихъ официальными мнѣніями. «Я не знаю», — говоритъ Дидро, — «ничего болѣе неисторичнаго и болѣе оскорбительнаго для религіи, чѣмъ эти туманныя декламаціи теологовъ противъ разума. Слушая ихъ, можно было подумать, что люди могутъ вступать въ лоно христіянства только такъ, какъ вступаетъ стадо рогатаго скота въ свои стойла, и что мы должны отречься отъ нашего здраваго смысла, если хо-

¹⁾ Барбье, V. 151, 153.

²⁾ Дидро въ Воланѣ, Оeuv. XVIII. 361. Карлайлъ Фридрихъ, кн. 18, гл. 11.

тимъ вступить въ нашу вѣру или оставаться въ ней.... Такіе принципы, какъ ваши, могутъ лишь наводить страхъ на малодушныхъ людей; такихъ людей все приводить въ смущеніе потому что они ясно видятъ, что изъ ничего нельзѧ дѣлать никакихъ выводовъ; они приводятъ во взаимную связь такие предметы, которые не имѣютъ ничего общаго между собою; они видятъ опасность во всякомъ методѣ доказательствъ, который имъ незнакомъ; они на удачу хватаются то за истины, то за предразсудки, не умѣя отличить однихъ отъ другихъ, и будучи одинаково привязаны и къ тѣмъ и къ другимъ; такимъ образомъ они проводятъ всю свою жизнь протестуя то противъ чудесъ, то противъ нечестія». Въ заключительныхъ словахъ статьи, столь же краснорѣчивыхъ сколько поучительныхъ, авторъ заставляетъ де-Прада напасть на своего янсенистскаго цензора и поставить ему въ вину тѣ постигшія вѣрующихъ смуты, которыхъ были результатомъ внутреннихъ раздоровъ между Янсенистами и іезуитами. «Если достовѣрность чудесъ», — восклицаетъ онъ, — «была ниспровергнута, этому виною отвратительная достовѣрность вашихъ конвульсій; если достовѣрность существованія мучениковъ за вѣру была уничтожена, этому виною глупая отвага, съ которой ваши фанатикишли на встрѣчу угнетеніямъ. Если духовенство, алтари и вѣра покрыты позоромъ, этому виною ваши декламаціи противъ первосвященниковъ, противъ епископовъ и противъ всѣхъ чиновъ церковной іерархіи. Если презрѣніе стало удѣломъ папы, епископовъ, духовенства, простыхъ вѣрующихъ, всей церкви съ ея мистеріями, таинствами, храмами и церемоніями, — все это дѣло вашихъ, однихъ вашихъ рукъ»¹⁾.

Болѣе чѣмъ за пол-столѣтія передъ тѣмъ Бурдалу упрекалъ свободныхъ мыслителей своего времени за то, что они впадаютъ въ фальшивъ и непослѣдовательность, принимая сторону тѣхъ самыхъ Янсенистовъ, къ предразсудкамъ которыхъ они явно выказываютъ свое презрѣніе. Но для такого сближенія существовалъ довольно основательный мотивъ. Янсенисты, помимо своихъ теологическихъ воззрѣній, отличались главнымъ образомъ тѣмъ, что были представителями антиправительственной оппозиціи. Потому-то Лудовикъ XIV и считалъ ихъ болѣе вредными людьми, чѣмъ атеистовъ. Напротивъ того іезуиты, сдерживая своихъ противниковъ при помощи внѣшней силы, сдѣлялись приверженцами абсолютнаго правительства и поддерживали его при всякомъ удобномъ случаѣ. Когда Янсенисты были раздавлены путемъ насилия, они начали понимать, до какихъ крайностей можетъ быть доведена правительственная власть. Благодаря опыту, вынесенному изъ испытанныхъ ими угнетеній, они

1) *Apologie de l'Abbé de Prades. Ouev. I. 482.*

превратились изъ теоретическихъ враговъ свободы въ ея приверженцевъ на практикѣ. Распра между Молинистами и Янсенистами разрослась изъ богословскаго вопроса въ вопросъ о человѣческой свободѣ.¹⁾

Теперь все это измѣнилось. Свободные мыслители сдѣлались достаточно сильными для того, чтобы быть представителями антиправительственной оппозиціи на основаніи своихъ собственныхъ принциповъ и въ своемъ собственномъ лицѣ. Горячія возраженія, съ которыми Дидро обратился къ епископу Оксерскому, обозначаютъ окончательное прекращеніе симпатій философовъ къ поборникамъ Янсенизма. «Ваша склонность къ распрямъ», — сказалъ онъ, — «создала въ теченіе послѣднихъ сорока лѣтъ гораздо болѣе невѣроящихъ, чѣмъ всѣ философскія сочиненія». Для насъ вполнѣ ясно, что явная некомпетентность церкви въ соціальныхъ вопросахъ была причиной популярности и вліянія того, что называли тогда философіей, — то есть либерализма. Сочиненіе Локка *Essai on human understanding* было переведено въ 1700, но не произвело большаго впечатленія, и первое изданіе перевода еще не было распродано даже въ 1725. Нравственное безсиліе и неблаговидное одряхленіе духовенства — вотъ что расчистило путь для мыслителей.

Впрочемъ до побѣды было еще далеко. Дидро еще предстояло одолѣть страшныя препятствія. У него не было недостатка въ друзьяхъ даже въ лагерѣ его враговъ. Послѣ того какъ онъ возразилъ на нападеніе священника Бертье на *Проспектусъ*, онъ получилъ анонимное письмо въ которомъ говорилось, что ему доставятъ и важные документы и деньги, если онъ пожелаетъ отомстить за себя іезуитамъ. Дидро отвѣчалъ, что онъ не нуждается въ деньгахъ и что у него нѣтъ свободнаго времени для изученія іезуитскихъ документовъ.²⁾ Онъ полагался на человѣческій разсудокъ. Но ни разсудокъ, ни краснорѣчіе не могли одолѣть вліянія, которымъ пользовалась церковная партія при дворѣ. Продажа втораго тома Энциклопедіи была приостановлена вслѣдствіе распоряженія, которое Мальзербъ вынужденъ былъ сдѣлать въ противность своимъ личнымъ убѣжденіямъ. Декретомъ королевскаго совѣта (7 февр. 1752) было приказано уничтожить оба первые тома, потому что они содержать въ себѣ идеи, враждебныя королевской власти и религії. Издателямъ было запрещено перепечатывать ихъ, а книгоиздавцамъ было запрещено продавать экземпляры, которые могли еще остаться въ ихъ рукахъ. Впрочемъ въ декретѣ не запрещалось

¹⁾ См. Жобеза, I. 358.

²⁾ XIX. 425.

продолжать начатую работу. Онъ, какъ кажется, не имѣлъ въ виду иной болѣе серьезной цѣли, чѣмъ удовлетворить іезуитовъ и публично выразить одобреніе высшимъ сановникамъ церкви, издавшимъ пасторскія посланія. Нѣкоторые даже думали, что правительство хотѣло предупредить этимъ путемъ болѣе строгія распоряженія со стороны судебнай власти¹⁾, такъ какъ корпораціи законовѣдцевъ рѣдко были менѣе заражены ханжествомъ и менѣе придиличивы, чѣмъ корпораціи лицъ духовнаго званія. Впрочемъ законовѣдцы и священники не были единственными врагами Дидро. Низкая и достойная презрѣнія взаимная зависть между книгопродавцами также содѣйствовала усиленію возникшой бури.²⁾

Между тѣмъ терзаемаго со всѣхъ сторонъ Дидро ожидалъ оригиналный триумфъ. Подъ страхомъ вторичнаго тюремнаго заключенія онъ былъ вынужденъ передать въ руки представителей власти всѣ находившіеся у него бумаги, корректурные листы и металлическія доски для гравированія. Іезуиты воображали, что если имъ удастся завладѣть материалами для слѣдующихъ томовъ, имъ не трудно будетъ обработать ихъ и передѣлать согласно съ ихъ собственными взглядами. Но ихъ невѣжество и самонадѣянность очень скоро дали себя знать. Отбирая бумаги Дидро, они по выражению Гrimма, позабыли захватить его голову и его геній; они позабыли спросить у него ключъ для объясненія содержанія статей, которыхъ они не только не могли понять, но даже не были въ состояніи прочитать. Правительство нашлось вынужденнымъ снова обратиться къ Дидро и д'Аламберу для продолженія труда, къ которому ихъ враги оказались неспособными. Однако, вслѣдствіе одной изъ тѣхъ несобразностей, которыя свойственны пришедшемъ въ упадокъ системамъ управления, надъ ихъ головами продолжалъ висѣть декретъ, изданный за три мѣсяца передъ тѣмъ.³⁾

Третій томъ Энциклопедіи вышелъ въ свѣтъ осенью 1753. Д'Аламберъ предположилъ ему предисловіе, въ которомъ защищалъ себя самого и своего сотоварища съ такимъ мужествомъ, съ такой искренностью, серьезностью и горячностью, которые и восхитительны и трогательны. «Что», — говорить онъ въ заключеніе, — «могла бы еще выдумать злоба противъ двухъ литераторовъ, которые давно уже дошли путемъ размышлений до того, что не страшатся ни несправедливостей ни бѣдности, и которые, научившись путемъ долгаго и печальнаго опыта, не презирать людей, а не довѣрять имъ и опасаться ихъ, имѣютъ смѣлость любить ихъ и благоразуміе из-

1) Барбье, V. 160.

2) Барбье, V. 169.

3) Гrimmъ, Согр. Lit., I. 81. Барбье, V. 170

бѣгать ихъ?... Послѣ того какъ настоящій трудъ служилъ бурнымъ и тяжелымъ занятіемъ для самой дорогой поры нашей жизни, можетъ быть онъ сдѣлается отрадой для ея послѣднихъ лѣтъ. Когда не будетъ на свѣтѣ ни настѣни нашихъ враговъ, да послужить онъ долговѣчнымъ свидѣтельствомъ добрыхъ намѣреній со стороны однихъ и несправедливостей со стороны другихъ.... Припомнимъ содержаніе одной изъ басенъ Бокалини: «Одному путешественнику очень докучали своимъ щебетаньемъ кузнеци; онъ вздумалъ перебить ихъ всѣхъ до одного, но былъ застигнутъ наступленіемъ ночи и сбился съ дороги; если бы онъ склонно продолжалъ свой путь, кузнеци сами всѣ перемерили бы въ концѣ недѣли».¹⁾

Затѣмъ ежегодно издавался одинъ томъ и это продолжалось до осени 1757 и до выхода въ свѣтъ седьмаго тома. Здѣсь очередь дошла до словъ *G u o m a n s u* и *G u t h i u m*. Тогда-то возникли тѣ бури и раздоры, которые составляютъ достопамятную эпоху какъ въ исторіи самой книги, такъ и въ жизни Дидро и другихъ энциклопедистовъ, а равно и въ исторіи идей того вѣка. Популярность изданія постепенно и непрерывно усиливалась въ теченіе пяти лѣтъ между 1752 и 1757. Число первоначальныхъ подписчиковъ едва достигало двухъ тысячъ. Когда появился четвертый томъ, ихъ было уже три тысячи. А при выходѣ седьмаго тома число ихъ увеличилось почти на цѣлую тысячу.²⁾). Такой удивительный успѣхъ воспламенялъ раздраженіе партіи суевѣровъ до лихорадочнаго жара. По мѣрѣ того какъ ежегодно одинъ томъ выходилъ изъ печати и находилъ болѣе широкій кругъ читателей, чѣмъ предшествовавшій томъ, усиливались ихъ злоба и раздраженіе. Они распускали злобные слухи, и засыпали публику памфлетами; не было такой клеветы, которую они считали бы слишкомъ для себя гнусной или слишкомъ нелѣвой. Они утверждали, что Дидро, д'Аламберъ, Вольтеръ, Руссо и Бюффонъ организовали союзъ писателей съ сознательнымъ намѣреніемъ нарушить общественное спокойствіе и ниспрровергнуть общество. Они указывали на этихъ писателей, какъ начинщиковъ настоящаго заговора, какъ на организаторовъ тайного общества, какъ на шайку разбойниковъ, связанныхъ между собою отвратительной общностью пагубныхъ идей и безчестныхъ интересовъ.

Въ седьмомъ томѣ появилась статья, еще болѣе усилившая волненіе въ умахъ. д'Аламберъ незадолго передъ тѣмъ посѣтилъ Вольтера въ Фернѣ, откуда частоѣздилъ въ Женеву. Во время своихъ бесѣдъ съ пасторами этого знаменитаго города онъ пришелъ къ

¹⁾ *P r e d i c l.* къ т. III. *O e u v . d e D ' A l e m b e r t*, IV. 410.

²⁾ *B a r b y e*, V. 170. *G r i m m a C o g g . L i t .*, I, 201; *i b i d . II.* 197.

убѣжденію, что ихъ религіозныя мнѣнія въ сущности такія же, какъ у Социніанъ и высказалъ это въ своей статьѣ о Женевѣ. При этомъ онъ ставилъ женевскімъ пасторамъ въ заслугу ихъ несогласія съ православiemъ мнѣнія, такъ какъ онъ находилъ, что невѣріе въ божественность Спасителя, въ таинства вѣры и въ вѣчныя мученія обыкновенно соединяется въ практической жизни съ достойной удивленія простотой, нравственностью чистотой и терпимостью. Въ каждой строкѣ этихъ похвальныхъ отзывовъ о социніанскихъ женевскихъ пасторахъ проглядывало жгучее и презрительное порицаніе того духа жестокосердія и умственного омраченія, который господствовалъ въ средѣ французского духовенства. Иезуиты и Янсенисты, вѣтреныe аbbаты и распутные прелаты— всѣ были затронуты за живое, когда прочли, что нравственность женевскихъ пасторовъ примѣрна, что они не проводятъ свою жизнь въ яростныхъ спорахъ о необъяснимыхъ предметахъ и что они не обращаются въ судъ съ непристойными и придирчивыми обвиненіями другъ на друга. Для ортодоксальныхъ ханжей были горьки какъ полны слѣдующія слова: «Адъ, составляющей одинъ изъ главныхъ пунктовъ въ нашихъ вѣрованіяхъ, перестать быть таковыми для многихъ женевскихъ пасторовъ; по ихъ мнѣнію, мы оскорбили бы божество еслибы допустили, что Высшее Существо, столь полное справедливости и благости, способно наказывать насть за наши заблужденія вѣчными мученіями: они стараются объяснить, насколько это возможно, согласно съ здравымъ смысломъ тѣ мысли св. писанія, которыхъ не согласуются съ ихъ мнѣніями и утверждаютъ, что въ священныхъ книгахъ мы никогда не должны принимать въ буквальномъ смыслѣ то, что повидимому оскорбляетъ чувства человѣколюбія и разсудокъ». Не подлежитъ сомнѣнію, что у д'Аламбера были на умѣ не столько женевская консисторія, сколько парижское духовенство и парижскій парламентъ, когда онъ восхвалялъ протестантскихъ пасторовъ не только за ихъ религіозную терпимость, но и за то, что они не выходятъ за предѣлы своихъ офиціальныхъ обязанностей и первые подаютъ примѣръ покорности передъ судьями и передъ законами. Цѣль этой тщательно обработанной и обдуманной статьи касательно вѣрованій и практической жизни кучки проповѣдниковъ еретического города не могла не быть понята тѣми, кого авторъ имѣлъ въ виду. Она произвела въ черныхъ рядахъ офиціальной ортодоксіи такое гнѣвное раздраженіе, какого только могъ желать ея авторъ.

Слѣдуетъ припомнить, что въ то время церковь еще не успѣла позаимствовать у атеистовъ принципы гуманности и терпимости. Энциклопедистамъ приходилось бороться не съ очищеннымъ христіанскимъ учениемъ нашего времени, а съ организованной корпо-

ратіей, у которой были въ распоряженіи экстраординарные суды, специальная материальная привилегія, тюрьмы и цѣпи. Мы должны помнить, что официальная религія представляла въ то время странное сочетаніе византійскаго одряхленія съ энергической свирѣпостью инквизиціоннаго суда. Черезъ пять лѣтъ послѣ этого косвеннаго заступничества д'Аламбера за терпимость и гуманность, Каласъ былъ умерщвленъ въ Тулузѣ приверженцами ортодоксіи. Лѣтъ почти черезъ десять послѣ того (1766) Людовикъ XV, подъ свѣжими впечатлѣніями вынесенныміи изъ *Raccaux Sergfs*, былъ награжденъ выраженіями преданности со стороны парижской черни за то, что вышелъ изъ кареты при встрѣчѣ съ священникомъ, несшимъ св. дары, и не смотря на грязь, рас простерся ницъ передъ священнымъ символомъ.¹⁾ Въ томъ же году юнаго Ла-Барра сначала пытали, потомъ обезглавили, наконецъ сожгли за какую-то непочитительность къ тому же священному символу, изъ котораго сдѣлали въ то время отвратительную вывѣску человѣческаго растлѣнія, фанатической жестокости и злобнаго суевѣрія. Впрочемъ долгъ справедливости заставляетъ меня сказать, что даже въ ту прискорбную пору, когда религія была синонимомъ жестокосердія и тайныхъ казней, одинъ или два человѣка, осмѣлившіеся сказать въ лице королю и г-жѣ Помпадуръ, какъ низко ихъ поведеніе, были члены духовенства.

Статья д'Аламбера едвали заходилъ за предѣлы того, что мы считаемъ за принципы всякаго зравомыслящаго человѣка. Но мы не должны забывать, что то было другое время. Даже сами члены философической партіи, какъ напримѣръ Гриммъ, считали статью неумѣстной и слишкомъ смѣлой.²⁾ Женевскіе пасторы съ негодованіемъ отвергли какъ тотъ комплиментъ, что они придерживаются Социніанизма, такъ и ту похвалу, что они менѣе неразумны, чѣмъ ихъ сосѣди. Вольтеръ съ наслажденіемъ читалъ и перечитывалъ статью, и настоятельно убѣждалъ автора продолжать великое предприятіе, не обращая вниманія ни на яростные нападки язычниковъ, ни на глупыя заблужденія толпы.³⁾

Когда буря, повидимому, уже достигла своей высшей степени, случилось нечто такое, что вызвало новые потоки неистового гнѣва. Гельвецій издалъ свое знаменитое сочиненіе, въ которомъ, какъ полагали, онъ раскрылъ всему миру тайну его существованія. Его книга *O духѣ* (*De l'esprit*) вышла въ свѣтъ въ 1758. Она

¹⁾ Гарди, дитированный Обертеномъ, 407—8.

²⁾ Согг. Lit., II. 211.

³⁾ Къ д'Аламберу, 29 дек. 1757, янв. 1758.

вызвала въ общественномъ мнѣніи общий протестъ. И набожные и неразвитые люди нашли ее соблазнительной, непристойной, нечестивой и крайне опасной. Философическая партія чувствовала, что ея союзникъ нанесъ тяжелый ударъ свободѣ мышленія и свободному выражению мнѣній. «Философія», — писалъ Гrimmъ, разумѣвшій подъ этимъ словомъ, какъ я замѣтилъ выше, либерализмъ, — «будетъ долго чувствовать на себѣ общее негодованіе, вызванное этой книгой; а вслѣдствіе того что Гельвецій слишкомъ вольно излагалъ такую мораль, которая сама по себѣ дурна и должна, онъ долженъ будетъ упрекать себя за всѣ стѣсненія, которыя неизбѣжно будутъ наложены на немногихъ людей съ возвышеннымъ умомъ, назначеніе которыхъ заключалось въ томъ, чтобы просвѣщать другихъ людей и распространять истину на землѣ».¹⁾

Въ началѣ 1759 генераль-прокуроръ возбудилъ судебное преслѣдованіе противъ книги Гельвеція, противъ полуудионы другихъ менѣе значительныхъ произведеній и наконецъ противъ Энциклопедіи. Книгу *De l'Esprit* онъ считалъ не болѣе какъ извлеченіями изъ Энциклопедіи, а Энциклопедію — позоромъ для націи по причинѣ ея нечестивыхъ принциповъ и ея непріязненныхъ отношеній къ нравственности и религії. Судъ поручилъ девяти комиссарамъ разсмотрѣть всѣ семь томовъ, а на это время воспретилъ продажу или передачу книги. Когда комиссары, по-прошествіи одного мѣсяца, представили свой докладъ, парламентъ нашелъ содержаніе доклада неудовлетворительнымъ и поручилъ разсмотрѣніе книги четыремъ вновь назначеннымъ для того лицамъ, въ числѣ которыхъ были два богослова, и два законовѣдца. Прежде, нежели новые цензоры успѣли исполнить возложенное на нихъ порученіе, Государственный Совѣтъ вмѣшался въ дѣло и издалъ самоправный декретъ (мартъ 1759), который отмѣнялъ выданную въ 1746 привилегію, воспрещающую продажу уже вышедшихъ изъ печати семи томовъ и не дозволяль печатанія слѣдующихъ томовъ подъ страхомъ примѣрного наказанія.²⁾ Причина этого вмѣшательства никогда не была вполнѣ выяснена. По мнѣнію однихъ, королевское правительство хотѣло этимъ отстранить судъ отъ участія въ дѣлѣ, и появленіе королевскаго декрета было не болѣе какъ эпизодомъ свирѣпствовавшей въ то время вражды между короной и парламентами. По мнѣнію другихъ, Мальзербъ или Шуазель искалъ случая угодить дофину и іезуитской партіи въ Версаліи. Но всего правдоподобнѣе этотъ фактъ объясняется тѣмъ, что правительству очень хотѣлось заглушить хоть одинъ изъ трехъ элементовъ оппозиціи, вносившихъ тревогу въ умы — или Ян-

¹⁾ Согр. Lit., II. 292—3.

²⁾ Барбье, VII. 125—42.

сенистовъ, или законовѣдцевъ или философовъ. До первыхъ двухъ ему было трудно добраться, поэтому оно и набросилось на того изъ трехъ противниковъ, добраться до котораго было всего легче.

Впрочемъ правительство не имѣло намѣренія окончательно раздать такого врага, который въ нѣкоторыхъ случаяхъ могъ сдѣлаться полезнымъ для него союзникомъ. Оно то одобряло, то давило философовъ, сообразуясь съ политическими расчетами данной минуты, а иногда сообразуясь съ прихотями любовницы короля или даже любовницы какого нибудь министра. Когда духовенство доказывало своимъ образомъ дѣйствій, что оно не боится королевской власти, самыя смѣлые произведенія печати встрѣчали снисходительность. Но когда правительство находилось вынужденнымъ удовлетворить желанія духовенства, тогда даже самая избитая идея новой философіи дѣлалась поводомъ для обвиненій. Весьма естественно, что Энциклопедіи приходилось очень часто переживать такие переходы отъ милостиваго вниманія къ недоброжелательству.¹⁾ Любопытнымъ образчикомъ такихъ перемѣнъ служитъ кризисъ 1759 года. Весной этого года, какъ было замѣчено выше, привилегія была отнята отъ четырехъ вступившихъ въ ассоціацію книгопродавцевъ и продолженіе предпріятія было строго воспрещено. Несмотря на это, печатаніе Энциклопедіи не было пріостановлено даже ни на одну недѣлю. Пятьдесятъ наборщиковъ дѣятельно работали надъ книгой, которая была рѣшительно запрещена правительственнымъ декретомъ подъ страхомъ тяжелыхъ денежныхъ штрафовъ. Подобныя потакчи практиковались и въ пользу другихъ оппозиціонныхъ партій. Такъ напримѣръ, за тридцать лѣтъ передъ тѣмъ органъ янсенистской партіи былъ безусловно воспрещенъ. Поліція произвела тщательные розыски и заарестовала даже книгопечатный станокъ, на которомъ печатались *Nouvelles Ecclésiastiques*. Тѣмъ не менѣе этотъ журналъ не переставалъ выходить въ свѣтъ и доставлялся читателямъ съ прежней аккуратностью.²⁾

Исторія правительственной политики по отношенію къ Энциклопедіи составляетъ не болѣе какъ одинъ эпизодъ между тѣми въ высшей степени поучительными фактами, которыми наполнена исторія царствованія Лудовика XV. Долгое время держалось ошибочное мнѣніе, будто правительственная система этого короля была основана на насилии и тиранніи. На самомъ же дѣлѣ ея неуспѣхъ и распаденіе были результатомъ не столько произвола въ ея приемахъ, сколько полного отсутствія твердости, убѣженія и послѣдовательности въ ея цѣляхъ и направленіи. А эти недостатки, съ своей

¹⁾ Декретеля France pendant le 18-me Siècle, III. 89.

²⁾ Жобезъ, II. 464 и 538.

стороны, были результатом частю сложного и неудобоуловимаго характера оппозиції, съ которой должны были имѣть дѣло смѣнявшіе одинъ другаго министры, частю преобладающаго вліянія тѣхъ азіатскихъ принциповъ управлениія, которые пріобрѣли такое вредное обаніе при Ришелье и Лудовикѣ XIV. Кто восторгается личной системой управлениія, руководствуясь своими чувствами а вовсе не научными выводами, тотъ до того бываетъ ослѣщенъ своею первою раздражительностью и шарлатанскими пріемами, что дѣлается неспособнымъ сознавать ту неизмѣнную истину, для которой служить иллюстраціей нравственное безсиліе Лудовика XV, замѣнившее мощную власть его прадѣда и нравственное безсиліе Наполеона III, замѣнившее мощную власть его дяди.

Настоящій интересъ всѣхъ этихъ подробностей касательно такого повидимому неважнаго предмета, какъ изданіе книги, обусловливается громадною важностию того развитія политическихъ идей и стремленій, котораго касаются эти подробности. Настоящій интересъ всякой исторіи заключается въ представляемомъ ею зрѣлищѣ развитія и упадка, столкновенія и перерожденія, безпрестанно совершающихся въ великихъ группахъ человѣческихъ идей. Декреть противъ Энциклопедіи обозначаетъ главный моментъ столкновенія между двумя противоположными идеями, боровшимися и до сихъ поръ борющимися между собою во Франціи изъ-за права вводить и контролировать государственная учрежденія. Одна изъ этихъ идей заключается въ устраненіи политической власти отъ руководительства мнѣніями людей; она предполагаетъ безусловную секуляризацию правительства. Противоположная идея была та, которая вдохновляла убійцъ въ Варѳоломеевскую ночь, породила такъ называемыя *Dragonnades*, вызвала отмѣну Нантскаго эдикта и множество другихъ подобныхъ актовъ, не только отнявшихъ у Франціи тысячи самыхъ преданныхъ и самыхъ трудолюбивыхъ ея дѣтей, но также расшатавшихъ и развратившихъ чистыя национальныя чувства. Понятно, что нась возмущаетъ деспотическая попытка положить конецъ смѣлу и полезному для просвѣщенія предпріятію Дидро. Но, по правдѣ сказать, это было не болѣе какъ обычное примѣненіе общепринятаго правила, что правительство должно или имѣть право руководить мнѣніями и регулировать ихъ выраженіе. Іезуиты дѣйствовали согласно съ этой теоріей, и прибѣгали къ насилию и къ содѣствію свѣтской власти всякий разъ, какъ это оказывалось возможнымъ. Янсенисты отвергали самый принципъ, но съ жаромъ примѣняли его на практикѣ всякий разъ, какъ интриги доставляли имъ удобный для того случай.

Одно чрезвычайное и неожиданное обстоятельство дало новое направление этому опасному столкновенію идей. Понятіе объ обязан-

ностяхъ свѣтской власти въ духовной сферѣ до той поры входило въ составъ католического ученія. Поэтому упадокъ этого ученія быстро подорвалъ довѣріе и къ входившему въ его составъ понятію. Но этотъ процессъ упадка былъ прерванъ и прерванъ такимъ человѣкомъ, который внезапно вышелъ изъ рядовъ самыхъ энциклопедистовъ. Изъ своего уединенного жилища въ Монморансі Руссо (1758) написалъ поразившее всѣхъ какъ громомъ письмо къ Д'Аламберу о театральныхъ представлениихъ. Помѣщенная въ седьмомъ томѣ Энциклопедіи статья о Женевѣ не только превозносila пасторовъ за ихъ невѣріе, но также нападала на пользовавшееся въ теченіе долгаго времени уваженіемъ ученіе церкви, что театръ есть адское заведеніе, и выдуманъ дьяволомъ. Д'Аламберъ угождалъ фернейскому патріарху и своему руководителю и вмѣстѣ съ тѣмъ пускалъ стрѣлы въ его парижскихъ враговъ изъ церковной партіи, когда убѣждалъ жителей Женевы отбросить безсмысленные предразсудки и завести у себя театръ. Руссо давно уже имѣлъ съ Диdro личные непрѣятности, о которыхъ я говорилъ подробно въ другомъ мѣстѣ и потому не нахожу нужнымъ говорить снова¹⁾). Онъ воспользовался вреднымъ по его мнѣнію совѣтомъ, даннымъ Д'Аламберомъ жителямъ его роднаго города, не только для того, чтобы напасть на драму вообще съ свойственными ему силою и краснорѣчіемъ, но и для того чтобы заявить о разрывѣ между нимъ и Дидро. Съ этого момента онъ сталъ отзываться о Holbachiens (такимъ прозрительнымъ словомъ обозначалъ онъ энциклопедистовъ), какъ о врагахъ человѣческаго рода и какъ о распространителяхъ самыхъ ядовитыхъ идей.

Это не была простая распрая между двумя писателями—соперниками. Это было проявленіе фундаментально противоположныхъ мнѣній и начало гибельной реакціи въ самой средѣ людей, принадлежавшихъ къ школѣ просвѣщенія. Въ числѣ самыхъ выдающихся элементовъ реакціи были слѣдующіе: подчиненіе разсудка душевнымъ эмоціямъ, замѣна дѣятельности, знаній, энергической и многосторонней предпріимчивости мечтательною лѣнью и наконецъ подавленіе свѣтскою властію тѣхъ мнѣній, которыя она находитъ вредными для общества. Такимъ образомъ мы возвращаемся къ нашей точкѣ исхода и встрѣчаемся съ старой идеей, облеченнай въ новую форму—съ абсолютистскимъ понятіемъ о функціяхъ правительственной власти, поставленнымъ въ связь съ дейстивской теоріей. Къ несчастію для Франціи, идея Руссо встрѣтила сочувствіе и въ концѣ концовъ восторжествовала надъ своей противницей. Причина этого ясна. Идея Руссо вполнѣ подходила къ политическимъ традиціямъ и учрежденіямъ страны. Она, гораздо легче и непосредственнѣе чѣмъ

¹⁾ См. книгу Мордехаю Руссо, гл. 7 и 9.

противоположная ей идея, совмѣщалась съ тѣмъ направленіемъ умовъ, которое къ сожалѣнію такъ глубоко вкоренилось въ народномъ характерѣ путемъ традиціи и подъ вліяніемъ общественныхъ учрежденій.

Поэтому кризисъ 1758—59 года былъ событиемъ въ высшей степени важнымъ. Въ немъ выразилось столкновеніе между старымъ принципомъ Лудовика XIV, Варѳоломеевской ночи и отмѣны Нантскаго эдикта съ одной стороны и новымъ рационалистическимъ принципомъ умственной эманципаціи—съ другой. Старый принципъ одряхлѣлъ и уже не былъ въ состояніи держаться самъ собою; гончія собаки были по прежнему злы, но ихъ злоба была беззубая. Но прежде нежели новый принципъ успѣлъ достигнуть господства, Руссо сдѣлалъ такое господство невозможнымъ. Въ этотъ самый моментъ появились на свѣтѣ двое людей, которымъ было суждено сдѣлаться воплощеніями двухъ противоположныхъ принциповъ. И Дантонъ и Робеспьеръ—оба родились въ 1759. У Дидро, по словамъ Мишле, было нечто въ родѣ библейскаго предчувствія. «Вы чувствуете, что за личностью Руссо онъ видѣлъ что то предвѣщающее бѣду, онъ видѣлъ призракъ будущаго. Дидро—Дантонъ уже тогда стоялъ лицемъ къ лицу противъ Руссо—Робеспьера»¹⁾.

Затѣмъ безстрашаго и на все готоваго Дидро постигла непріятность болѣе горькая даже чѣмъ декретъ государственного совѣта и чѣмъ отступничество жившаго въ Монморансі еретика. Д'Аламберъ объявилъ о своемъ намѣреніи отказаться отъ начатаго предприятия и убѣждать своего сотоварища послѣдовать его примѣру. Въ его письмѣ къ Вольтеру изложены съ достаточной ясностью мотивы этого рѣшенія. «Я измученъ»,—говорить онъ, «оскорблѣніями и придирками всякаго рода, которыхъ навлекло на насъ это предпріятіе. Злобныя и даже гнусныя сатиры, которыхъ печатаются противъ насъ и которыхъ не только дозволяются, но поощряются, одобряются и даже заказываются тѣми, у кого въ рукахъ власть; проповѣди, или правильнѣе сказать удары въ набатъ, раздающіеся противъ насъ въ Версалі въ присутствіи короля, *пемпне гесlamante* (безъ протеста съ чьей либо стороны); новыя невыносимыя стѣсненія, налагаемыя на Энциклопедію назначеніемъ такихъ новыхъ цензоровъ, которые болѣе неизѣпы и болѣе несговорчивы, чѣмъ какихъ можно бы было найти въ Гоа,—всѣ эти причины вмѣстѣ съ некоторыми другими вынуждаютъ меня навсегда отказаться отъ этого проклятаго предпріятія.» Пасквили или ядовитые памфлеты сами по себѣ не смущали его, но онъ смотрѣлъ совсѣмъ иначе на такие пасквили, которые дозволялись или заказывались

¹⁾ Louis XV et Louis XVI, p. 50.

тѣми, кто могъ бы немедленно приказать ихъ уничтожить, — дозволялись несмотря на то, что въ нихъ печатались самыя низкия личныя оскорблениа. Онъ допускалъ, что были и другія причины его удаленія отъ дѣла, и одной изъ этихъ причинъ, какъ кажется, были непріятности съ книгопродавцами по поводу денежныхъ вопросовъ.¹⁾

Вольтеръ въ теченіе нѣкотораго времени упрекалъ его за такое отступленіе передъ ненавистнымъ Infâme. Но вообще его мнѣнія сходились съ неоднократными заявленіями д'Аламбера, что литераторы покрыли бы себя позоромъ, еслибы стали преклонять свою голову передъ унизительнымъ игомъ министровъ, духовенства и полиціи. Вольтеръ писалъ Дидро, что прежде всего необходимо смѣло смотрѣть въ глаза противнику, что продолжать дѣло послѣ удаленія д'Аламбера было бы отвратительнымъ слабодушiemъ, что было бы нелѣпостью, еслибы такой геніальный человѣкъ какъ Дидро сдѣжалъ изъ себя раба книгопродавцевъ и жертву фанатиковъ. Развѣ этотъ лексиконъ, во сто разъ болѣе полезный чѣмъ лексиконъ Бейля, — спрашивалъ онъ, — можетъ стѣснять себя тѣми самыми предразсудками, которые онъ долженъ уничтожить; развѣ можно вступать въ сдѣлку съ негодяями, которые никогда не исполняютъ того, что условлено; развѣ въ такой вѣкъ, какъ нашъ собственный, могутъ возвышать свой голосъ враги разума, преслѣдователи философовъ, и убийцы нашихъ королей? «Человѣчество находится наканунѣ великаго переворота въ умахъ и этимъ оно обязано всего болѣе вамъ.»²⁾

Не разъ Вольтеръ обращался къ Дидро съ совѣтомъ довести до конца его предпріятіе въ какомъ нибудь иностранномъ государствѣ, такъ какъ тамъ его руки не были бы связаны. «Нѣть», — отвѣчалъ Дидро съ увлекательной энергией, — «отказаться отъ предпріятія значило бы покинуть поле битвы и сдѣлать именно то, чего желаютъ преслѣдующіе насъ негодяи. Еслибы вы знали, съ какой радостью они встрѣтили вѣсть объ удаленіи д'Аламбера!.... Нѣть никакого основанія надѣяться, что негодяи, которымъ позволено дѣлать съ нами все что захотятъ, понесутъ заслуженную кару, а требовать этого намъ нѣть никакой надобности; развѣ они не оскорбляютъ всякаго, кого вздумается, и развѣ кто нибудь этимъ обижается? Развѣ мы имѣемъ какое нибудь основаніе жаловаться, когда они, осыпая насъ оскорблениями, ставятъ насъ на одну ногу съ такими людьми, до уровня которыхъ мы никогда не достигнемъ? И такъ, что же намъ остается дѣлать? То, что прилично мужествен-

¹⁾ 11 янв. 1758. 20 янв. 1758. Письмо Дидро къ дѣвицѣ Воланѣ, 11 окт. 1759. См. слѣдующую главу.

²⁾ Вольтеръ къ д'Аламбера, отъ янв. до мая 1758. Вольтеръ къ Дидро, янв. 1758.

нымъ людямъ — презирать нашихъ враговъ, преслѣдовать ихъ и пользоваться, какъ мы и прежде пользовались, глупостью нашихъ цензоровъ.... Развѣ мы не достаточно отмстимъ за себя, если убѣдимъ д'Аламбера снова приняться за дѣло и если доведемъ это дѣло до конца?.... Послѣ всего сказаннаго вы подумаете, что я стою за продолженіе Энциклопедіи, но вы ошибаетесь. Дорогой мой наставникъ, мнѣ уже болѣе сорока лѣтъ и мнѣ до смерти надоѣли мелкіе дрязги. Я съ утра до ночи ищу одного — спокойствія и едва ли проходить одинъ день безъ того, чтобы я не соблазнялся мыслью окончить мою жизнь въ неизвѣстности и спокойно умереть на моей родинѣ. Вѣдь придетъ такое время, когда нашъ прахъ смѣшается съ прахомъ другихъ людей. Тогда какое мнѣ будетъ дѣло до того, что я назывался Вольтеромъ или Дидро, и до того, какіе три слога будуть долговѣчнѣе, — тѣ-ли изъ которыхъ состояло ваше имя или тѣ, изъ которыхъ состояло мое? Всякій долженъ работать, всякий долженъ приносить какую нибудь пользу, всякий долженъ отдать отчетъ въ томъ, что онъ сдѣлалъ съ своими дарованіями, и т. д. и т. д. Приносить пользу людямъ! Но развѣ можно сказать съ увѣренностью, что мы не ограничиваемся только тѣмъ, что забавляемъ ихъ и что существуетъ большое различіе между философомъ и флейтистомъ? Они выслушаютъ и того и другаго или съ удовольствіемъ или съ пренебреженіемъ, но во всякомъ случаѣ остаются такими же, какими были прежде. Аѳиняне никогда не были болѣе порочны, чѣмъ во времена Сократа и существованію этого философа они едвали обязаны чѣмъ либо инымъ, кромѣ новаго повода для преступленія. Что во всемъ этомъ болѣе сплина, чѣмъ здраваго смысла, я согласенъ — и возвращаюсь опять къ Энциклопедіи¹⁾.

Такимъ образомъ въ теченіе цѣлыхъ семи лѣтъ на одномъ Дидро лежала вся работа по веденію столь обширнаго предпріятія. Ему приходилось не только писать статьи касательно самыхъ скучныхъ и самыхъ разнообразныхъ предметовъ, но также распредѣлять занятія между сотрудниками, пересматривать ихъ рукописные труды, исправлять корректурные листы, надсматривать надъ приготовленіемъ гравюръ, писать объяснительныя къ нимъ замѣчанія и совершать все это среди беспрестанныхъ опасеній и тревогъ, возбуждаемыхъ правителствомъ и полиціей. Онъ избѣжалъ бы угнетеній, еслибы захотѣлъ переселиться въ Лозанну или въ Лейденъ. Два великихъ сѣверныхъ монарха, полагавши что къ числу обязанностей царствующихъ особъ принадлежитъ заступничество за новую философію, предлагали ему убѣжище въ Петербургѣ и въ Берлинѣ²⁾.

1) Дидро къ Вольтеру, 19 февр. 1758, XIX. 452.

2) Къ Воланъ, Оепн. XIX. 146.

Но развѣ онъ могъ бы перевезти вмѣстѣ съ собою на берега Невы или Шпре своихъ пятидесятерыхъ искусствныхъ наборщиковъ, своихъ ловкихъ рѣзчиковъ эстамповъ и всю массу людей, специально знакомыхъ съ дѣломъ. Развѣ онъ могъ бы найти въ этихъ полуварварскихъ странахъ станки, машины и тысячи сложныхъ снарядовъ и удивительныхъ приспособленій, которые были у него подъ рукою во Франціи? Вотъ почему онъ не покинулъ своего поста на пятомъ этажѣ въ улицѣ Сенъ-Бенуа и сдѣлался навсегда предметомъ заслуженного удивленія для литераторовъ.

Въ то время, какъ его мучительная работа близилась къ концу, ему былъ нанесенъ самый гибельный изъ всѣхъ ударовъ, какіе онъ испыталъ въ теченіе своей продолжительной, отважной и мучительной дѣятельности. Послѣ происшедшаго въ 1759 перерыва, было решено выпустить въ свѣтъ разомъ всѣ остальные десять томовъ. Ле-Бретону было поручено ихъ изданіе. Рукописи были набраны печатнымъ шрифтомъ, Дидро исправилъ корректурные листы, просмотрѣлъ вторыя корректуры и возвратилъ каждый листъ съ своею подписью въ удостовѣреніе того, что можно приступить къ его печатанію. Съ этого момента начались гнусныя продѣлки Ле-Бретона. Онъ и его факторъ принялись вычеркивать, выбрасывать и уничтожать въ доставленныхъ имъ листахъ всякое мѣсто, всякую строчку или фразу, которыя, по ихъ мнѣнію, могли вызвать неудовольствіе или гневъ со стороны правительства. Такимъ образомъ они по собственному дикому произволу привели большую часть самыхъ лучшихъ статей въ такой видъ, что онъ походили на изувѣченные отрывки, лишенные всего, что въ нихъ было самого цѣннаго. Злодѣи даже не задали себѣ труда придать этимъ уродливымъ обрубкамъ статей хоть внешній видъ стройности и послѣдовательности. Окончивъ свою разрушительную работу, они приступили къ печатанію, а чтобы сдѣлать свое злодѣяніе непоправимымъ, они передали пламени всѣ оригиналныя рукописи и корректурные листы. Однажды, когда печатаніе уже было почти кончено (1764), Дидро, обратившійся для какой то справки къ одной изъ статей подъ буквою S, нашелъ ее совершенно искаженной. Это привело его въ крайнее смущеніе. Послѣ минутнаго размыщенія онъ догадался, что это должно быть дѣло рукъ безжалостнаго изданія. Онъ спѣшилъ перечитать тѣ статьи, надъ которыми онъ и его подчиненные всего болѣе трудились, и повсюду нашелъ такое же опустошеніе и такой же хаосъ. «Это открытие», — говорить Гrimmъ, — «привело его въ такое бѣшенство и отчалинѣ, которыхъ я никогда не позабуду.» ¹⁾ Онъ отъ скорби рыдалъ въ присутствіи самого-

¹⁾ Corr. Lit., VII. 146.

преступника, въ присутствіи жены, дѣтей и сочувствувающей ему прислуги. Въ теченіе нѣсколькихъ недѣль онъ не могъ ни ъѣсть, ни спать. «Въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ», — восклицалъ онъ, обращаясь къ Ле-Бретону, — «вы низкимъ образомъ надували меня. Вы уничтожили, или поручили какой то низкой твари уничтожить трудъ двадцати хорошихъ людей, посвятившихъ вамъ свое время, свои способности, часы своихъ бдѣній, изъ любви къ правдѣ и истинѣ, удовлетворяясь одной надеждой, что ихъ идеи будутъ переданы публику и что они будутъ вознаграждены за это вполнѣ заслуженнымъ уваженіемъ, которое теперь навсегда отняли у нихъ ваша несправедливость и ваша неблагодарность... Васъ и вашу книгу будутъ теперь топтать въ грязи; впредь на васъ будутъ указывать какъ на человѣка, провинившагося въ такомъ обманѣ, въ такомъ низкомъ безстыдствѣ, которому никогда еще не было ничего подобного. Тогда-то вы будете въ состояніи оцѣнить вашъ панический страхъ и подлые совѣты тѣхъ варварскихъ Остроготовъ и глупыхъ Vandatovъ, которые помогали вамъ въ совершении вашего разбоя.»¹⁾

Однако онъ остался непреклоннымъ до самой послѣдней минуты. Сначала онъ хотѣлъ было совершенно отказаться отъ предпріятія и извѣстить подписчиковъ и весь міръ о низкомъ преступкѣ Ле-Бретона, но потомъ передумалъ. Его трудъ утратилъ свою прелесть. Его произведеніе было обезображенено и изуродовано. Онъ никогда не могъ позабыть этой ужасной горести и никогда не простила ея безсовѣстнаго виновника. Но послѣдній камень зданія былъ наконецъ заложенъ. Въ 1765 подписчики получили послѣдніе десять томовъ печатнаго шрифта. Гравюры въ одиннадцати томахъ были вполнѣ готовы лишь въ 1772. Ихъ экземпляры носили на заглавномъ листѣ слово Невшатель и раздавались втайне. Собравшіеся на совѣщаніе представители духовенства немедленно рѣшили издать декретъ противъ вновь вышедшей книги. Парламентъ воспротивился этому, не изъ сочувствія къ книгѣ, а изъ ненависти къ духовенству. Но правительство распорядилось, чтобы всякий, у того была Энциклопедія, немедленно представилъ ее въ полицію. Затѣмъ экземпляры книги возвращались къ своимъ владѣльцамъ съ нѣкоторыми незначительными вырѣзками.

Вольтеръ оставилъ намъ игривое описание, какъ представители власти важно разсуждали между собою объ этомъ великомъ орудіи разрушенія. Его словами мы и закончимъ нашъ разсказъ о странной и полной разнообразія исторіи этого орудія:

„Одинъ изъ лакеевъ Людовика XV рассказалъ мнѣ, что однажды,

1) Corr. Lit., VII. 146.

въ то время какъ король ужиналъ въ Трианонѣ въ немногочисленномъ обществѣ, разговоръ зашелъ сначала объ охотѣ, а потомъ о порохѣ. Кто то изъ присутствующихъ сказалъ, что лучшій порохъ дѣлается изъ равнаго количества селитры, сѣры и древеснаго угля. Герцогъ де-ла-Вальеръ, лучше другихъ знакомый съ этимъ предметомъ, сталъ утверждать, что въ составѣ хорошаго пороха должны входить одна часть сѣры и одна часть древеснаго угля на каждыя пять частей селитры.

„Странно“, — замѣтилъ герцогъ Нивернуа, — „что мы каждый день забавляемся въ Версалѣ тѣрѣльбою куропатокъ, а иногда занимаемся тѣмъ, что убиваемъ людей или сами даемъ себѣ убивать на границѣ, а между тѣмъ мы не знаемъ въ точности какъ составляется средство убивать“.

„Къ сожалѣнію“, — сказала г-жа Помпадуръ, — „всякій изъ нась находится точно въ такомъ же положеніи, очемъ бы ни зашла рѣчь: я не знаю какъ составляются румяны, которая я кладу на мопшики, и я была бы поставлена въ большое затрудненіе, еслибы у меня спросили, какъ дѣлаются мои шелковые чулки“.

„Поэтому очень жаль“, — сказалъ де-ла Вальеръ, — „что Его Вечество приказало отобрать у нась Энциклопедію, которая стоила каждому изъ нась по сту пистолей тамъ мы тотчасъ нашли бы ответъ на все, что намъ нужно“.

Король сталъ объяснять причины отобранія книги: его предупредили, что двадцать одинъ волюмъ, которые можно найти на туалетномъ столѣ всякой знатной дамы, — самая опасная вещь для французскаго королевства, и потому, прежде чѣмъ дозволять всякому чтеніе этой книги, онъ хотѣлъ бы самъ убѣдиться, правда ли все, что о ней говорятъ. Когда ужинъ кончился, онъ послалъ за книгой трехъ лакеевъ, которые возвратились, съ трудомъ неся въ рукахъ каждый по семи томовъ.

„Тогда оказалось изъ статьи о Порохѣ, что герцогъ де-ла-Вальеръ былъ правъ, а г-жа Помпадуръ узнала, какая разница между старыми испанскими румянами, которыми натираютъ себѣ щеки мадридскія дамы, и тѣми румянами, которая употребляются парижскими дамами. Она узнала, что греческія и римскія женщины натирали себя пурпуромъ, добываемымъ изъ тигех и что стало быть наша алая краска тоже, что пурпуръ у древнихъ; она узнала, что въ испанскихъ румянахъ больше шафрана, а во французскихъ больше кошенили.

„Она узнала, какъ ткутся ея чулки и пришла въ восторгъ отъ описанія ткацкаго станка.

„Всѣ бросились на эти томы съ такою же жадностью, какъ дочери Ликомела на украшенія Улисса, и всякий тотчасъ находилъ все, что было ему нужно. Тѣ, которые занимались законодательствомъ, къ удивленію своему нашли тамъ разрешеніе всѣхъ своихъ недоразумѣній. Король прочелъ все, что касалось его короны. „По истинѣ“, — сказалъ онъ, — „я не могу понять, почему мнѣ

такъ дурно отзывались объ этой книгѣ¹. „Развѣ Ваше Величество не изволите замѣтить“, — сказалъ герцогъ Нивернуса, — „что это происходитъ отъ того, что книга очень хороша; вѣдь люди никогда не бранятъ того, что посредственно или заурядно. Когда женщины стараются поднять на смѣхъ новоприбывшую даму, можно быть увѣреннымъ, что эта послѣдняя красивѣе ихъ всѣхъ“.

Междѣ тѣмъ всѣ были заняты перелистываніемъ книги и графъ де-С.... громко сказалъ: „Какъ вы счастливы, Ваше Величество, что въ ваше царствованіе нашлись люди, способные изучить всѣ отрасли знаній и передать эти знанія потомству. Здѣсь можно найти все, начиная съ способа дѣлать булавки и кончая искусствомъ выливать и наводить ваши пушки, начиная съ безконечно малаго и кончая безконечно великимъ. Благодареніе Богу за то, что онъ произвелъ на свѣтъ въ вашемъ королевствѣ тѣхъ людей, которые совершили дѣло, столь полезное для цѣлаго міра. Другія націи вынуждены или покупать Энциклопедію или,—если это невозможно,— добывать ее хищническимъ образомъ. Отберите у меня, если вамъ угодно, всю мою собственность, но отдайте мнѣ назадъ мою Энциклопедію“.

„Однако“, — возразилъ король, — „меня увѣряютъ, что хотя это произведеніе полезно и достойно удивленій, въ немъ много недостатковъ“.

„Ваше Величество“, — сказалъ графъ де-С...., — „за вашимъ ужиномъ подавали два рагу, которые были неудачны; мы оставили ихъ не тронутыми, тѣмъ не менѣе мы прекрасно поужинали. Неужели изъ-за этихъ двухъ рагу вы приказали бы выбросить за окно весь ужинъ?...“

„Но Зависть и Невѣжество все-таки не сознались въ своемъ пораженіи; эти двѣ бессмертныя сестры не перестали попрежнему кричать, интриговать и угнетать. Что же изъ этого вышло? То, что иностранцы выпустили въ свѣтъ четыре изданія этой запрещенной во Франціи французской книги, и нажили этимъ около 1.800,000 кронъ“¹.

Когда среди скучнаго описанія житейскихъ дрязгъ попадается эффектная сцена, намъ не хотѣлось бы ослаблять производимаго ею впечатлѣнія, но наша обязанность быть осмотрительными. Писатели, воспроизведившіе этотъ интересный разсказъ, упустили изъ виду то обстоятельство, что г-жа Помпадуръ умерла до выхода въ свѣтъ тѣхъ томовъ Энциклопедіи, въ которыхъ шла рѣчь о порохѣ и румянахъ. Издание двадцати одного тома Энциклопедіи окончилось не прежде 1765, а она умерла весной предшествовавшаго года. Но содержаніе разсказа вѣроятно невымышлено, хотя Вольтеръ и вставилъ въ него по ошибкѣ одно имя вместо другаго.

¹⁾ Oeuv. de Voltaire. Эта разсказъ иногда поимѣетъ въ числѣ Facéties, иногда въ числѣ Mélanges.

Что касается размышленія, которымъ Вольтеръ заканчиваетъ свой рассказъ, то мы должны напомнить, что произведеніе энциклопедистовъ было перепечатано въ Женевѣ лишь только оно появилось въ Парижѣ. Впослѣдствіи оно было перепечатано въ полномъ составѣ въ Женевѣ (1777) и въ Лозаннѣ (1778). Одно его изданіе появилось въ 1770 въ Ливорно, а другое въ 1771 въ Луккѣ. Тотчасъ послѣ окончанія Энциклопедіи стали появляться избранный изъ нея мѣста. Составители этихъ извлеченій (какъ напримѣръ изданного въ 1768 въ Женевѣ *Esprit de l'Encyclopédie*), вовсе не имѣли въ виду распространенія какихъ либо идей. Ихъ цѣлью была нажива путемъ распродажи красивыхъ книжекъ въ двѣнадцатую долю листа, содержащихъ въ себѣ самыя живыя, самыя любопытныя и самыя забавныя статьи, какія только можно было извлечь изъ громаднаго содержанія оригиналъныхъ фоліантовъ.

Хотя Энциклопедія, составленная подъ руководствомъ Дидро, и не была самымъ удивительнымъ изъ тѣхъ подвиговъ, которыми могутъ гордиться французскіе книгопродавцы, но она вдохновила ихъ на такие подвиги. Панкуѣ — имя, часто встрѣчающееся въ перепискѣ Вольтера и членовъ его семейства, — задумалъ въ 1782 изданіе *Методической Энциклопедіи*. Этотъ колоссальный трудъ, который въ сущности ничто иное, какъ сборникъ специальныхъ энциклопедій для каждой специальной науки, былъ доведенъ до конца не прежде 1832 и состоять изъ ста шестидесяти шести томовъ текста и двадцати томовъ съ гравюрами. Въ немъ нѣть ни единства доктрины, ни однообразнаго примѣненія какихъ либо философскихъ принциповъ, ни опредѣленной соціальной цѣли. Изъ всѣхъ энциклопедій, появлявшихся послѣ 1772, мѣй знакома только одна, задуманная съ цѣлью провести въ ней одну общую теорію; это — недоконченная *Encyclopédie Nouvelle* Пьера Леру и Жана Рено. Авторы этого произведенія намѣревались примѣнить свои соціалистическія и спиритуалистическія идеи ко всѣмъ сферамъ знанія и мышленія. Въ результатѣ вышелъ только рядъ диссертаций, а не энциклопедія въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова ¹⁾.

Книгопродавцы сначала говорили объ Энциклопедіи, какъ о такомъ предпріятіи, на которое потребуется два миллиона ливровъ. Но расходы изданія, какъ кажется, немного превзошли одинъ миллионъ сто сорокъ тысячъ ливровъ. Баловой доходъ они исчисляли вдвое противъ этой суммы. Подписная цѣна за семь томовъ, вышедшихъ въ свѣтъ до 1757, за десять томовъ, изданныхъ въ 1765 и за один-

¹⁾ См. *Oeuv. Choisies de Jean Reypaud*, перепечатанный въ 1866. Статья *Encyclopédie* (vol. 1) представляетъ интересную попытку доказать пригодность установленныхъ Декартомъ принциповъ классификаціи.

наддатъ томовъ съ гравюрами, изданныхъ въ 1772, была въ девятьсотъ восемьдесятъ ливровъ¹⁾) или почти въ сорокъ три фунта стерлинговъ по тогдашней ихъ стоимости, и соотвѣтствовала втрое большей суммѣ денегъ по цѣнамъ нашего времени.

Какое денежное вознагражденіе получалъ Дидро, трудно сказать съ точностью, да и его условія съ книгопродающими очевидно измѣнялись отъ времени до времени. Послѣ того какъ д'Аламберъ покинулъ его, средній размѣръ его денежнаго вознагражденія, какъ кажется, доходилъ до трехъ тысячъ ливровъ или ста тридцати фунт. ст. въ годъ. Это предположеніе согласуется съ словами Гrimма, что вся сумма денегъ, которую получиль Дидро, состояла изъ шестидесяти тысячъ ливровъ или почти изъ двухъ тысячъ шести сотъ фунт. ст. ²⁾). Когда Вольтеръ узналъ, какое скромное жалованье получалъ Дидро, онъ воскликнулъ: а вѣдь какойнибудь подрядчикъ военнаго вѣдомства пріобрѣтаетъ по двадцати тысячъ ливровъ въ одинъ день! Самъ Вольтеръ нажилъ болѣе полу-милліона ливровъ тѣмъ, что участвовалъ въ одномъ подрядѣ на армію во время войны 1734 года, и его ежегодный доходъ, происходившій отъ пріобрѣтенія этой суммы и отъ благоразумнаго ея помѣщенія, простирался до семидесяти тысячъ ливровъ, соотвѣтствовавшихъ почти десяти тысячамъ фунтовъ стерл. ежегоднаго дохода по стоимости нашего времени.

II.

Всѣ писатели, изучавшіе развитіе просвѣщенія во Франціи въ восемнадцатомъ столѣтіи, обращаютъ наше вниманіе на тотъ фактъ, что во второй половинѣ вѣка умозрительное или философское движеніе умовъ быстро перерождается въ политическое или соціальное. Читатели нерѣдко бываютъ не въ состояніи ясно понять, какъ или почему произошла такая метаморфоза. Дѣйствительно, метафизической вопросъ о томъ, способна ли матерія мыслить, который въ то время такъ любили обсуждать, повидимому очень далекъ отъ сферы политическихъ теорій. А психологической вопросъ о томъ, врожденны ли въ насъ наши идеи, или же они пріобрѣтаются путемъ опыта черезъ посредство чувствъ, представляется публицисту не имѣющимъ ничего общаго съ системами управления или съ цѣлями общественными. Тѣмъ не менѣе, именно тѣ выводы, къ которымъ люди приходятъ въ этой сферѣ идей, опредѣляютъ свойство гражданскихъ понятій и значе-

¹⁾ См. обверточный листъ тома XXVIII.

²⁾ Мѣт., II, 115. Гrimmъ, VII, 145.

ніє політическої організації. Доктори богословія, преслідовавши Де-Прада за ссылки на психологію Локка і за ізм'яну Картезіанізму, руководствовались вірнимъ інстинктомъ самосохраненія. Де-Местръ,—етотъ самый остроумный и самый проницательный изъ всѣхъ приверженцевъ католического ученія,—выказалъ свою даль-нозоркость всего болѣе тѣмъ, что началъ свою атаку на револю-ціонные принципы энергическимъ и предумышленнымъ нападеніемъ на Бэкона¹⁾.

Какъ я уже имѣлъ случай прежде замѣтить, непосредственное вліяніе философскихъ произведеній обуславливается ихъ практической примѣнимостью. Не оттого только, что Бэконъ, Гоббзъ и Локкъ написали известныя сочиненія, энциклопедисты унаслідовавшие ихъ философскія идеи, сдѣлались могущественной политической партіей и съ течениемъ времени приобрѣтали все болѣе и болѣе приверженцевъ. Благодаря стечению различныхъ обстоятельствъ, предпринятая ими атака пріобрѣла во Франції такое значеніе и такой вѣсъ, какого она никогда не имѣла въ Англіи. Причиной этого впервыхъ было то, что естественные науки сдѣлали тѣмъ временемъ огромный шагъ впередъ. Это подорвало вліяніе теологіи и теологической мета-физики и вмѣстѣ съ тѣмъ косвеннымъ образомъ расположило умы къ не-теологическимъ взглядамъ какъ на явленія міра нравственного, такъ и на явленія міра физического. Сверхъ того, во Франції цѣлью нападенія было нечто эластичное и не податливое. Въ Англії политическая теорія слѣдовали за политическими нововведеніями и реформами, а не предшествовали имъ. Во Франції же ихъ свѣтъ бро-саъть свои лучи на такія учрежденія, которые закоренѣли въ абсолютиз-мѣ и привилегіяхъ и потому не были способны къ существеннымъ измѣненіямъ. Деизмъ былъ сравнительно безсиленъ для борьбы съ

¹⁾ Де-Местръ говоритъ, что известность Бэкона въ сущности не восходитъ даље Энциклопедіи, и что нѣть ни одного настоящаго ученаго исследователя, который бы былъ бы знакомъ съ его произведеніями или искалъ бы въ немъ для себя опоры (Examen de la Phil. de Bacon, II. 110). Дидро говоритъ:—„Я по-лагаю, что я научилъ моихъ согражданъ уважать и читать Бэкона; въ послѣдніе пять или шесть лѣтъ произведенія этого глубокомысленнаго писателя перелистывались гораздо болѣе, чымъ прежде“ (XIV. 494). Профессортъ Фоулерь, въ своемъ тщательномъ изданіи книги Ноуми Огапп (Введение, стр. 104) опровергаетъ мнѣніе Монтуклы и нѣкоторыхъ другихъ писателей, что известность Бэкона ведеть свое начало съ Энциклопедіи. Все зависитъ отъ того, что мы разумѣемъ подъ словомъ известность. Конечно нельзя оспа-ривать того, что энциклопедисты на время возвели Бэкона на ту высоту по-пулярности, съ которой ньютонализмъ Вольтера извергъ Декарта. Фоулерь описывая развитіе Бэконовой теоріи, признаетъ за ней почти всѣ самые достоинства, о которыхъ шла рѣчь, такъ какъ овъ говоритъ: „покровительство Вольтера и Энциклопедистовъ много содѣствовало распространенію зап-комства съ произведеніями Бэкона и сверхъ того вызвало много споровъ о правильности его взглядовъ на многіе философскіе и богословскіе вопросы.“

англійской церковью во первыхъ потому, что въ немъ отражалось умственное, а не социальное движение, во вторыхъ потому, что учение церкви о конституционныхъ вопросахъ было склонно къ податливости. Дензель въ устахъ своихъ французскихъ послѣдователей, вошелъ въ связь съ социальнымъ либерализмомъ, потому что въ ту пору учение католической церкви отождествлялось со всѣми репрессивными идеями. Сверхъ того, стремленія деизма во Франціи сдѣлались болѣе склонными къ насильственному разрушению не потому только, что религиозное суевѣріе тамъ было болѣе грубо, но также и потому, что суевѣріе воплощалось тамъ въ твердой и недоступной для какихъ либо перемѣнъ общественной организаціи.

«Было бы ошибочно думать», — писалъ проницательный и свѣдущій наблюдатель д'Аржансонъ, еще въ 1753, — «что причиной упадка религіи во Франціи была англійская философія, увлекшая за собою въ Парижъ не болѣе сотни мыслящихъ людей, вместо того чтобы приписывать это явленіе ненависти къ духовенству, доходившей до послѣдней крайности. Всѣ умы проникаются духомъ недовольства и непокорности, и все, какъ въ религіи такъ и въ управлѣніи, быстро близится къ огромному перевороту. Не то ожидаетъ пришедшую къ намъ въ шестнадцатомъ столѣтіи изъ Германіи суровую реформацію, — это смыщеніе предразсудковъ съ свободой! Такъ какъ наша нація и нашъ вѣкъ просвѣтились совершенно инымъ путемъ, то они дойдутъ до того, до чего должны дойти: они выгонятъ всѣхъ священниковъ, уничтожатъ всякое священство, отвергнутъ откровеніе и всѣ мистеріи.» Но въ этихъ словахъ указывается лишь разрушительная сторона этого огромнаго переворота, который д'Аржансонъ предвидѣлъ за тридцать шесть лѣтъ до его осуществленія на дѣлѣ. Однако у этого переворота была и созидательная сторона. Если однимъ изъ его элементовъ была ненависть, то въ немъ было и другой болѣе важный элементъ — надежда. Этотъ то созидательный и реформаторскій духъ, охватившій умы самыхъ выдающихся во Франціи людей съ 1750 по 1789, выразился въ кружкѣ энциклопедистовъ и воплотился въ изданныхъ ими томахъ. И, — чтобы возвратиться къ нашей точкѣ исхода, — мы къ этому прибавимъ, что онъ находился въ непосредственной и неразрывной связи съ философіей Бэкона и Локка. Въ чёмъ же заключалась связь между теоріями этихъ писателей и энергическимъ стремленіемъ къ общественнымъ реформамъ? По недостатку мѣстамы здѣсь лишь вкратцѣ отвѣтимъ на этотъ вопросъ.

Ясныя черты того умственного переворота, который выразился въ Энциклопедіи, видны на каждой изъ ея страницъ и потому касательно ихъ не можетъ быть недоразумѣній. Переходъ отъ Декарта къ Ньютону обозначалъ окончательную замѣну гипотезъ выводами изъ наблюдений. Возвышенные идеи Бэкона были переходомъ отъ

сверхъ-естественныхъ толкованій къ толкованіямъ, основаннымъ на опыте. Успѣхъ и дальнѣйшее развитіе психологіи Локка были ни-что иное, какъ объясненіе нашихъ идей физическими ощущеніями и наводили людей довольно прямымъ по ихъ мнѣнію путемъ къ отождествленію ума съ функциями матеріи. Намъ нѣтъ надобности раз-сматривать здѣсь, въ какой мѣрѣ былъ съ философской точки зрѣнія вѣренъ или послѣдователенъ этотъ взглядъ на происхожденіе и свойство знанія или на развитіе человѣческаго характера. Намъ достаточно только указать на его господствовавшее стремленіе. Это стремленіе, очевидно, заключалось въ томъ, чтобы отстранить влияніе магіи и замѣнить его изученіемъ той нормальной связи между причиной и слѣдствіемъ, которая раскрывается путемъ умственныхъ изслѣдованій. Тогда возникъ болѣе ясный взглядъ на вселенную, какъ на группу такихъ естественныхъ явлений, которыхъ допускаютъ рациональное и послѣдовательное ихъ объясненіе. А чѣмъ шире арена естественныхъ законовъ, тѣмъ сильнѣе въ людяхъ сознаніе, что они способны давать направленіе дѣйствующимъ силамъ и достигать тѣхъ результатовъ, какіе имъ желательны. Тогда объективные интересы и ихъ условія приобрѣтаютъ въ умахъ преобладающее значеніе. Съ другой стороны, чѣмъ болѣе расширяются предѣлы знанія, тѣмъ болѣе становятся опредѣленными предѣлы незнанія. Чѣмъ болѣе мы знакомимся съ устройствомъ вселенной, тѣмъ болѣе мы постепенно и незамѣтно убѣждаемся, что нѣкоторые предметы, о которыхъ люди составили себѣ опредѣленныя понятія не соображаясь съ этимъ феноменальнымъ устройствомъ, на самомъ дѣлѣ недоступны для наскѣ при помощи тѣхъ орудій опыта и наблюденія, которымъ мы обязаны другими нашими познаніями. Отсюда происходитъ естественная наклонность примѣнять наши способности къ изученію такихъ явлений, которыхъ доступны нашему наблюденію и не тратить ихъ на изученіе такихъ явлений,—если дѣйствительно ихъ можно назвать явленіями,—которыхъ недоступны ни нашему наблюденію, ни нашему пониманію. Такимъ образомъ человѣкъ дѣлается для самого себя центромъ міра, природа дѣлается его службой и орудіемъ, а человѣческое общество дѣлается сферой его интересовъ и его дѣятельности. Съ своей стороны, та психологія, которая принимаетъ въ основу ощущенія,—все равно выдерживаетъ ли она научную критику или нѣтъ,—открыто стремится къ тому, чтобы возвысить въ нашихъ глазахъ влияніе воспитанія и общественныхъ учрежденій на нашъ характеръ. Чѣмъ живѣе мы сознаемъ, какъ была велика роль внѣшнихъ впечатлѣній въ томъ, чтобы сдѣлать человѣка такимъ, каковъ онъ есть, тѣмъ болѣе мы озабочиваемся внѣшними условіями жизни и ихъ улучшеніемъ. Но изученіе общественныхъ явлений тогда только могло проникнуться духомъ

позитивизма, когда Декартова философія была отложена въ сторону вмѣстѣ съ своими ссылками на необъяснимыя интуїціи и своими преувеличениеми гипотетического метода.

Въ своей статьѣ о богадѣльяхъ и госпиталяхъ Дидро случайно объяснилъ, въ чёмъ заключается существенная разница между старымъ католическимъ направлениемъ и новымъ соціальнымъ, между окрашенными квіетизмомъ сувѣріями и энергическимъ стремлениемъ къ знанію:— «*Было бы гораздо полезно стараться предотвратить нищету, чѣмъ увеличивать число пристанищъ для нищихъ.*»

Было бы не трудно доказать, что у энциклопедистовъ не было непоколебимой научной основы для ихъ философіи. Теперь уже всяко ясно, что ихъ метафизика и психологія были несовершенны. Но важно то, что ихъ метафизика и психологія, несмотря на всѣ свои несовершенства, были приспособлены къ тому, чтобы внушать сильное влечение къ общественнымъ вопросамъ, такъ какъ онъ были пропитаны чувствами человѣкобудія. Выдавать Энциклопедію за евангеліе отрицанія значило-бы упускать изъ виду четыре пятыхъ доли ея содержанія. Конечно тотъ, кому это нравится, могъ бы относиться къ ней какъ къ произведенію, написанному съ одними отрицательными цѣлями, и сослаться напримѣръ на то, что въ ней высказывается протестъ противъ допросовъ и наказаній посредствомъ пытки (см. *Question, Peine*), но въ такомъ случаѣ мы спросили бы его: какое евангеліе написанное съ положительными цѣлями могло бы доставить человѣку болѣе цѣнныя блага? ¹⁾ Если бы метафизика этихъ писателей была еще въ тысячу разъ болѣе поверхностна, какое было бы намъ до этого дѣло, если бы при этомъ они постоянно имѣли въ виду всѣ тѣ величія общественные улучшія, отъ которыхъ зависить не только развитіе, но даже существованіе націй? Нѣ подлежитъ сомнѣнію, что было бы неосновательно утверждать, будто сознательное стремленіе къ общественнымъ улучшениямъ несомнѣнно съ спиритуалистической доктриной; но мы считаемъ себя въ правѣ утверждать, что энергическая увѣренность въ возможности общественныхъ улучшений впервые возникла благодаря той философіи, которая приняла за основу чувственныя ощущенія и опытъ.

Когда мы говоримъ, что стремленія энциклопедистовъ между прочимъ клонились къ усиленію сочувствія къ политическимъ вопросамъ подъ господствующимъ вліяніемъ гуманной философіи, мы употребляемъ слово политический въ самомъ широкомъ его значеніи.

¹⁾ См. выше, стр. 43, *Примѣчаніе*.

Экономическая условия страны и способъ примѣненія дѣйствующихъ въ ней законовъ имѣютъ гораздо болѣе существенное значеніе для ея благосостоянія, нежели форма ея правленія. Въ сущности форма правленія есть вопросъ первостепенной важности, но она въ значительной степени обязана этой важностью тому вліянію, которое она можетъ оказывать на два другихъ разряда основъ национальной жизни. Форма правленія то же, что фасонъ платья; онъ можетъ быть удобенъ для насть или неудобенъ, можетъ быть красивъ или дуренъ, можетъ вызывать въ насть дурное или хорошее расположение духа, но во всякомъ случаѣ онъ имѣеть менѣе тѣсную связь съ нашимъ благополучіемъ, чѣмъ составъ нашей крови и нашихъ тканей. Поэтому говоря, что энциклопедисты предприняли политическое дѣло, мы хотимъ этимъ сказать, что они освѣтили свѣтомъ новыхъ идей цѣлую группы учрежденій, обычавъ и порядковъ, вліявшихъ такъ же сильно на благосостояніе и счастіе Франціи, какъ питаніе вліяетъ на здоровье и силу каждого отдельнаго француза. Энциклопедисты первые возбудили общественное мнѣніе Франціи противъ злоупотребленій тираннической колоніальной системы управления и противъ гнусной торговли невольниками. Они доказали безразсудство, раззорительность и безчеловѣчіе той системы налоговъ, которая источала жизненные силы страны. Они и кстати и не кстати протестовали противъ такихъ порядковъ, при которыхъ отравленіе правосудія превращалось въ сдѣлку между продавцами и покупателями. Они горячо нападали на отвратительныя жестокости устарѣлаго уголовнаго законодательства. Не высшее дворянство, толпившееся вокругъ Людовика XIV и не духовенство, служившее обѣдни, а кучка этихъ писателей, руководимая незнавшимъ покоя литераторомъ,—вотъ кто впервые проникся великимъ принципомъ новѣйшаго общества—уваженіемъ къ производительной дѣятельности. Они горячо ратовали за величие мирныхъ подвиговъ и страстно нападали на подвиги военные¹⁾.

Мы вовсе не утверждаемъ, что Энциклопедія создала какія либо новые методы или новыя соціальные идеи. Такъ напримѣръ возвышенная любовь къ миру, столь свойственная нашему собственному времени, была внушена сочиненіями аббата Сень-Пьера (1658—

1) Д'Аламберъ не побоялся доказывать одному изъ великихъ полководцевъ того времени, что воинственный духъ Людовика XIV былъ болѣшимъ несчастіемъ для Европы. Онъ обнаружилъ вѣрное пониманіе характера Фридриха Великаго и его понятій о своихъ обязанностяхъ по отношенію къ управляемой имъ націи, когда сказалъ, что король прусскій предпочелъ бы имѣть сотню тысячъ лишнихъ землемѣщцевъ, вместо того чтобы содержать столько же солдатъ, если бы его положеніе ему это дозволило. Согрэс. авес ле го де Пруссie, Оeuv. V. 305.

1743), одного изъ самыхъ оригинальныхъ мыслителей своего вѣка, заслуживающаго, чтобы имя его не предавалось забвению между прочимъ и потому, что онъ изобрѣлъ слово *l e i f e n f a i s a n c e*. Затѣмъ, пробѣгая массу политическихъ статей, вы чувствуете, какую сильную наклонность къ соціологическимъ изслѣдованіямъ возбудило сочиненіе Монтескье *Esprit des Lois*. Въ этихъ статьяхъ обсуждается очень мало такихъ вопросовъ, которые не были подняты Монтескье, и ни одинъ вопросъ не обсуждается безъ указаній на тѣ аргументы, на которые ссылается Монтескье. Переходя отъ *Esprit des Lois* къ Энциклопедіи, мы замѣчаемъ только ту перемѣну, что политическими идеями стали пользоваться какъ средствами для достиженія известной цѣли. Философія превратилась въ патріотизмъ. Энциклопедисты стали съ серьозной заботливостью винить въ общественные недуги, къ которымъ версальскіе тунеядцы съ красными каблуками оставались безстыдно и неисправимо равнодушными.

Такъ напримѣръ статьи о земледѣліи превосходны по полнотѣ и точности, съ которыми въ нихъ описано тогдашнее положеніе Франціи, по ясности, съ которой они объясняютъ, въ какой мѣрѣ это положеніе не соотвѣтствуетъ своимъ первоначальнымъ источникамъ и по сильному сочувству къ излагаемому предмету, которое оно въ одно и то же время и сами выражаютъ и внушаютъ читателямъ. Если мѣстами тонъ статей слишкомъ идиллический, за то онъ доставили огромную пользу странѣ, познакомивши ее съ тѣмъ ясно доказаннымъ фактомъ, что изъ пятидесяти миллионовъ десятинъ пахатной земли въ королевствѣ болѣе чѣмъ одна четверть или никогда не обрабатывалась или заброшена. Принесло огромную пользу и то, что было обращено вниманіе общества на причины упадка французского земледѣлія, какъ-то на стѣсненіе хлѣбной торговли, на произвольное обложеніе налогами, и на переселеніе деревенскихъ жителей въ большие города. Затѣмъ однимъ изъ самыхъ полезныхъ уроковъ, какіе когда либо приходилось выслушивать французамъ, было то указаніе на поощреніе, доставляемое земледѣлію англійской системой свободной вѣшней торговли, которое подкрѣплялось въ Энциклопедіи ссылками на не въ мѣру патріотическое самочувство современныхъ англійскихъ чистателей.

Слѣдуетъ замѣтить, что существуютъ и такія злоупотребленія, которыхъ всего удобнѣе разоблачать путемъ простаго изложенія фактovъ въ самыхъ ясныхъ выраженіяхъ безъ всякой аргументации. Исторія такого налога, какъ налогъ на соль (*Gabelle*), и смѣлое описание произвольныхъ и безмыслиенныхъ способовъ его взиманія были равносильны формальному обвинительному акту. Не было надобности ни въ реторикѣ, ни въ аргументаціи, чтобы доказать какъ возмутительно несправедливо слѣдующее узаконеніе: «всякій, пере-

мѣнившій мѣсто своего жительства, продолжаетъ въ теченіи нѣкото-
раго времени уплачивать налоги въ мѣстѣ своего прежняго пребы-
ванія, а именно фермеры и земледѣльцы въ теченіи одного года, а
всѣ другіе плательщики налоговъ въ теченіи двухъ лѣтъ, если при-
ходъ, въ который они перешли, находится въ томъ же самомъ
округѣ; если же нѣтъ, — то фермеры должны платить въ теченіи
двухъ лѣтъ, а прочие въ теченіи трехъ лѣтъ» (*Taill e*). Такимъ,
образомъ инымъ приходилось уплачивать въ теченіи трехъ лѣтъ
двойные налоги въ наказаніе за перемѣну мѣста жительства. Намъ
уже слышится ропотъ, выразившійся черезъ двадцать пять лѣтъ
послѣ того въ такъ называемыхъ *s a h i e g s*, когда мы читаемъ
рассказъ о томъ, съ какимъ восторгомъ привѣтствовали граждане
города Лизье введеніе *taill e r g o r o t i o n e l l e* (1718) и
сколько другихъ городовъ стали просить о ниспосланіи имъ такого-
же благодѣянія. «Эти просьбы не были учтены по причинамъ,
которые объяснять не наше дѣло; такъ не легко сдѣлать доброе
дѣло, о которомъ всѣ толкуютъ болѣе для того, чтобы выказать къ
нему свое сочувствіе, чѣмъ изъ желанія совершить его на дѣлѣ....
Доказательствомъ выгодности этой мѣры служить тотъ фактъ, что
налоги 1718 года вмѣстѣ со всѣми недоимками за пять лѣтъ были
уплачены въ теченіи двѣнадцати мѣсяцевъ безъ всякихъ безполез-
ныхъ тратъ или пререканій. Но вслѣдствіе безразсудства, болѣе
чѣмъ что либо другое унижающаго человѣчество, общее
благополучіе вызвало недовольство въ томъ самомъ классѣ, благо-
состояніе котораго основано на чужой нищетѣ» — въ классѣ
привилегированномъ. ¹⁾)

Страстная любовь къ гражданскому равенству развилась въ со-
временной намъ Франціи вовсе не вслѣдствіе врожденной наклон-
ности къ мятежу, какъ то увѣряютъ нѣкоторые легкомысленные
критики. Корень этого чувства кроется въ неизгладимомъ воспоми-
наніи о нравственномъ и материальномъ вредѣ, который былъ при-
чиненъ ея гражданамъ несправедливымъ распределеніемъ налоговъ
при старомъ режимѣ. Статья *P r i v i l é g e* доказываетъ какъ было-
бы желательно, чтобы правительство разслѣдовало причины много-
численныхъ изъятій изъ податного обложенія и чтобы оно отмѣни-
ло всѣ тѣ налоги, съ уплатой которыхъ не соединяется исполненіе
какихъ нибудь существенныхъ и полезныхъ обязанностей. Авторъ
статьи, заявляя тотъ самый протестъ, который вскорѣ послѣ того
раздавался по всей странѣ, говоритъ: «Какой нибудь буржуа, на-
ходящійся въ достаткѣ, и способный уплачивать половину *taill e*

¹⁾ См. статью о Тюрго въ менхъ *C r i t i c a l M i s c e l l a n i e s , S e c o n d S e r i e s*.

за цѣлый приходъ, еслибы эта подать была наложена въ своеи надлежащемъ размѣрѣ, вносить свои налоги за одинъ или за два года, а нерѣдко и менѣе, и затѣмъ, не смотря на низкое происхожденіе, на недостатокъ воспитанія и способностей, поку-
паетъ мѣсто въ мѣстномъ соляномъ бюро, или какую нибудь без-
полезную придворную должность или какое нибудь положеніе при
одномъ изъ принцевъ.... Этотъ человѣкъ открыто пользуется всѣми
податными облегченіями, на которых имѣютъ право высшее дворян-
ство и высшія лица судебнаго званія... Изъ такого злоупотребленія
привилегіями происходитъ двойной весьма значительный вредъ:
бѣднѣйшая часть населенія постоянно обременена налогами не по
силамъ, несмотря на то, что она самая полезная для государства,
такъ какъ этотъ классъ состоять изъ тѣхъ, кто обрабатываетъ
землю и доставляетъ пропитаніе для высшихъ классовъ; другой
происходящій отсюда вредъ заключается въ томъ, что привилегіи
внушаютъ образованнымъ и талантливымъ людямъ отвращеніе къ
судебнымъ должностямъ и ко всѣмъ другимъ профессіямъ, требую-
щимъ трудолюбія и прилежанія и заставляющимъ ихъ предпочитать
ничтожныя занятія и пустыя должности». Вся статья написана въ
серъезномъ и умѣренномъ тонѣ, которымъ въ то время отличались
во Франціи вообще всѣ политические споры. Но этотъ тонъ мало
по малу исчезъ въ теченіи 1789, когда оказалось что даже въ то
время привилегированные сословія настоятельно требовали въ своихъ
cahiers сохраненія въ силѣ каждого изъ своихъ самыхъ отвра-
тительныхъ и самыхъ несправедливыхъ правъ.¹⁾ Поэтому въ от-
вѣтъ на утвержденія, будто Энциклопедія сознательно расчищала
путь для политического переворота, мы замѣтимъ, что въ дѣйстви-
тельности она лишь пролила свѣтъ рациональной критики на такія
злоупотребленія въ практической жизни, о возстановленіи которыхъ
теперь уже не мечтаютъ даже самые слабоумные изъ французскихъ
консерваторовъ.

Остановимся еще на двухъ изъ числа самыхъ отяготительныхъ
установленій, служившихъ въ то время бичемъ для Франціи, — во
первыхъ на такъ называемой *Cogu e*, то есть на томъ фео-
дальномъ установленіи, которое возлагало на каждого непривилле-
гированного фермера или крестьянина обязанность отработать из-

1) Такъ напримѣръ они требовали, чтобы ихъ феодальные права были под-
тверждены, чтобы никто кроме дворянъ не носилъ оружія и не могъ быть
избираемъ въ военные должности, чтобы *lettres-de-sache* не отмѣня-
лись, чтобы печать не была свободна, чтобы винная торговля не была сво-
бодна ни внутри страны, ни при вывозѣ за границу, чтобы было запрещено
касаться пустырей и обнесенныхъ заборомъ выгоновъ, чтобы прежняя органи-
зация милиціи оставалась безъ перемѣнъ. — Грансе Артура Юнга, гл.
XXI, стр. 607.

вѣстное число дней для поддержанія большихъ проѣзжихъ дорогъ. По словамъ Артура Юнга, подтверждаемыи оставшимися послѣ Тюрго замѣтками, эта гибельная, жестокая и недостигавшая своей цѣли система была ежегодно причиною разоренія вѣсколькихъ сотъ человѣкъ; онъ упоминаетъ о трехъ стахъ фермерахъ, которые были доведены до нищенства тѣмъ, что имъ было приказано засыпать одинъ каналъ въ Лотарингіи. ¹⁾ Подъ заглавiemъ *Sog v e e* въ Энциклопедіи помѣщена статья, которая не только знакомить читателей съ исторіей этого учрежденія, но также представляеть, на подобіе памфлета или журнальной статьи, критическое изслѣдованіе всѣхъ проис текающихъ изъ него неудобствъ и указываетъ какимъ способомъ ихъ можно бы было избѣжать. Въ то время Тюрго еще не успѣлъ объяснить на практикѣ, какой единственный вѣрный способъ замѣнить барщину. Статья Энциклопедіи была напечатана въ 1754, и только черезъ десять лѣтъ послѣ того этотъ великий администраторъ, сдѣлавшись губернаторомъ Лимузена, отмѣнилъ въ своемъ округѣ обязательную личную службу на большихъ дорогахъ, и потребовалъ вмѣсто нея денежныхъ взносовъ, распределляемыхъ между приходами. ²⁾ Автору статьи не пришелъ на умъ этотъ способъ замѣны, очевидно самый рациональный изъ всѣхъ; но онъ нарисовалъ поразительную картину тысячи злоупотребленій и неудобствъ неразлучныхъ съ практическимъ примѣненіемъ *sog v e es*, и его статья послужила иллюстраціей для горячихъ споровъ объ общественныхъ вопросахъ, интересъ къ которымъ старалась возбудить Энциклопедія. Достоинъ вниманія тотъ фактъ, что авторомъ статьи былъ субъ-инженеръ дорогъ и мостовъ въ Турскомъ округѣ. Это— одно изъ многихъ доказательствъ того, что Энциклопедія была складочнымъ мѣстомъ, куда всякаго рода люди, способные къ умственной дѣятельности, могли приносить плоды своихъ размышленій и наблюдений.

Послѣ *sog v e es*, самое сильное неудовольствіе въ третьемъ со словіи возбуждала система вербовки въ милицию. Статья *Milice* очень коротка, но она проникаетъ до самого корня зла. Въ ней основательно доказывается, что для земледѣльца съ скромными средствами составляеть непоправимую потерю завербованіе его единственного сына, принужденного покинуть отеческій кровъ въ ту самую минуту, когда его работа могла бы вознаградить нуждающихся родителей за всѣ расходы по его воспитанію. Авторъ статьи говорить, что слѣдовало бы совершенно уничтожить такое установление и потомъ прибавляетъ, что цѣль этого установленія достига-

¹⁾ Travels in France гл. XXI.

²⁾ Critical Miscellanies, Second Series, 202.

лась бы върнѣе и болѣе человѣколюбивымъ образомъ, еслибы было дозволено приходамъ ставить извѣстное число рекрутъ по своему собственному усмотрѣнію. Такую перемѣну уже ввелъ Тюрго въ Лимузенѣ (1765) и она дала превосходные результаты. Авторъ заканчиваетъ статью въ высшей степени гуманнымъ замѣчаніемъ, что мы должны подумать о томъ, не представляютъ ли благосостояніе сельского населенія, обработка земли и просвѣщеніе ея жителей болѣе достойныхъ цѣлей для того, кто ищетъ славы, чѣмъ снаряженіе громадныхъ армій по примѣру Ксеркса. Къ сожалѣнію всякому, кто изучаетъ исторію, приходится встрѣтиться съ самыми гуманными идеями, высказанными сто или двѣсти лѣтъ назадъ, и убѣдиться, что онѣ и теперь такъ же полезны и такъ же мало обращаютъ на себя вниманія, какъ и въ то время, когда онѣ были высказаны въ первый разъ.

Такое же размышленіе возникаетъ при чтеніи статьи Foundations. Я уже выше замѣтилъ, что эта тщательно написанная и толковая статья до сихъ поръ представляетъ самую мастерскую оцѣнку того, какія хорошія и какія дурныя стороны стипендій. Даже въ наше время, въ нашей собственной странѣ, самымъ плодотворнымъ и благодѣтельнымъ дѣломъ, на которое могъ бы посвятить себя энергический и отважный государственный дѣятель, было бы примѣненіе къ практикѣ тѣхъ здравыхъ принциповъ, которые изложены въ Энциклопедіи. Переходя въ томъ же томъ отъ статьи Foundations къ статьѣ Foige, вышедшей также изъ-подъ-пера Тюрго, мы находимъ новый поразительный образчикъ экономической мудрости энциклопедистовъ. Провинціальная ярмарки съ своими привилегіями, ограниченіями и исключеніями, были нагляднымъ свидѣтельствомъ вреда, проистекавшаго отъ «замашки все регулировать и всѣмъ руководить», которою была заражена въ то время торговая администрація и которая прерывала естественное развитіе торговли путемъ безразсудныхъ притѣсненій со стороны полиції. Другое вредное примѣненіе того же самаго принципа указано въ статьѣ Maitrises. Читая ее, всякий, кто способенъ стать выше «священныхъ законовъ предразсудка» долженъ убѣдиться, въ какой мѣрѣ недобросовѣстность, лѣнь, безпорядочность и всѣ другія вредныя послѣдствія монополіи усиливалась благодаря системѣ завидовавшихъ одна другой торговыхъ гильдій, которая доводили обязательное подраздѣленіе и стѣсненіе всякаго ремесленного труда до такой степени, что все это было бы очень смѣшно, еслибы было менѣе вредно.

Однимъ изъ самыхъ настоительныхъ требованій, всего громче высказывавшихся въ 1789, было требованіе объ уничтоженіи дикихъ животныхъ и о прекращеніи барскихъ охотъ (capitaineries). «Подъ

словомъ «дикія животныя»—говорить Артуръ Юнгъ,—«следуетъ разумѣть цѣлыхъ стада кабановъ и оленей, которыя не содержались въ мѣстахъ обнесенныхъ стѣнами или какой нибудь оградой, а свободно разгуливали по всей странѣ, уничтожая хлѣбъ на корню и населяя галеры несчастными крестьянами, дерзавшими убивать ихъ для того чтобы сберечь пропитаніе для своихъ безпомощныхъ дѣтей». 1) Въ томъ же самомъ мѣстѣ авторъ перечисляетъ гнусныя и невѣроятныя постановленія, разорявши земледѣліе на пространствѣ цѣлыхъ сотенъ лѣё съ цѣлью доставить дворянству удобства для занятій спорта. Въ семи томахъ Энциклопедії, вышедшихъ въ свѣтъ въ 1757, относительно многихъ предметовъ болѣе сдержанности, чѣмъ въ тѣхъ десяти томахъ, которые издавались однимъ Дидро послѣ великаго раздора, происшедшаго въ 1759. Впрочемъ, что касается спорта, авторъ статьи *Chasse* приводитъ всѣ соображенія, какія всякой патріотическій министръ желалъ бы видѣть господствующими въ общественномъ мнѣніи. Статья мѣстами поражаетъ настъ откровенностью и смѣлостью обвиненій, и даже самымъ хладнокровнымъ читателемъ овладѣваетъ то чувство негодованія, которое при следующемъ поколѣніи кипѣло въ груди нашего проницательнаго и разсудительнаго Артура Юнга (1787). «Пріѣзжайте»,—говорить онъ,—«къ кому нибудь изъ этихъ знатныхъ дворянъ, и вы вѣроятно застанете его въ лѣсу, густо населенномъ оленями, кабанами и волками. О! еслибы я былъ хоть въ теченіи одного дня законодателемъ Франціи, у меня наплясались бы эти баричи!» 2)

Это приводить насъ къ тому, что составляетъ едва ли не самую выдающуюся изъ всѣхъ руководящихъ идей книги. Въ Георгикахъ Виргилия многіе видѣли восхваленіе трудолюбія. Мысль объ Энциклопедіи, повидимому, зародилась изъ того-же мотива—изъ такого же сильнаго сочувствія ко всѣмъ цѣлямъ, интересамъ и мелкимъ подробностямъ производительной дѣятельности. Дидро,—какъ кто-то основательно замѣтилъ,—былъ сынъ ножевщика и потому съ его стороны было естественно желаніе возвысить въ мнѣніи общества тѣхъ, кто занимался какимъ нибудь ремесломъ; понятно, что изъ мастерской своего добра отца онъ долженъ былъ вынести чувство симпатіи и уваженія къ ловкости и трудолюбію. 3) Объяснительные рисунки, за изданіемъ которыхъ Дидро слѣдилъ съ напряженнымъ вниманіемъ въ теченіи почти тридцати лѣтъ, замѣчательны по своему богатству, по своей ясности и законченности и во всѣхъ отношеніяхъ по истинѣ превосходны. Но въ нихъ еще болѣе поражаетъ

1) *Travels in France*, p. 600.

2) *I b i d.*, I. 63.

3) Розенкранцъ, I. 219.

насть что-то въ родѣ поэтическаго чувства, которое превращаетъ простое изображеніе какого нибудь занятія въ одушевленную картину человѣческой жизни, възвуждающую въ насть сочувствіе и дѣйствующую на наше воображеніе, какъ будто передъ нашими глазами какая нибудь драматическая сцена. Живость, ловкость и прорврство рабочихъ въ плавильнѣ, у печи, гдѣ льются стекло, на пороховомъ заводѣ, на фабрикѣ шелковыхъ матерій изображены съ такимъ же искусствомъ, какъ и болѣе спокойныя занятія молочницы, швеи, кондитера, наборщика, аптекаря или чеканщика. Рисунки напоминаютъ намъ то живое сочувствіе къ своей работѣ, ту всегдашнюю къ ней готовность, которая составляютъ такую привлекательную черту характера въ лучшихъ французскихъ мастеровыхъ. Трудно себѣ представить, какое одушевленіе господствуетъ въ этихъ огромныхъ фоліантахъ. Они производятъ на васъ такое же впечатлѣніе, какъ еслибы вы съ возвышенностей Монмартра окинули взоромъ Парижъ. Перелистывая одинъ за другимъ эти томы, вы точно будто разсматриваете великолѣпную панораму всей дѣловой жизни того времени. Въ нихъ мелкія подробности поражаютъ васъ столько же своей тщательной отдѣлкой, сколько своей удобопонятностью. Самый мелкій рабочій инструментъ, узелокъ на ниткѣ, сгибъ на веревкѣ, изгибъ ручной кисти или пальца,—все это изображено съ замѣчательной точностью. Читатель улыбается при видѣ полнаго и тщательнаго подбора выкроекъ портного. Онъ содрогается, когда доходитъ до ножей, зондовъ, бандажей и когда видить въ какомъ положеніи долженъ лежать несчастный больной, надъ которыми будетъ производиться одна изъ самыхъ опасныхъ хирургическихъ операций. Для всѣхъ главныхъ отраслей промышленности есть гравюры, достаточно хорошо объясняющія и практическія особенности дѣла и вѣнчаную его обстановку. Намъ уже приходилось говорить о томъ, что Дидро самъ посыпалъ мастерскія, наблюдалъ за ходомъ работъ, задавалъ тысячи вопросовъ, садился за ткацкій станокъ, приказывалъ разобрать всю машину по частямъ и въ его присутствіи снова ее собрать, бралъ на себя какую нибудь тяжелую работу исполняемую подмастерьями и работалъ плохо съ цѣллю, какъ онъ самъ говорилъ, сдѣлаться способнымъ научить другихъ, какъ слѣдуетъ хорошо работать. То не была пустая риторическая фраза, когда онъ воскликнулъ, что Энциклопедія должна сдѣлаться святынищемъ, въ которомъ человѣческія знанія могли бы укрыться отъ разрушительного вліянія времени и революцій. Онъ дѣйствительно постарался сдѣлать изъ нея полный складъ практическихъ знаній, столь удовлетворительный во всѣхъ своихъ подробностяхъ, что можно бы было разомъ возстановить все эти знанія въ томъ случаѣ, еслибы потопъ уничтожилъ все кроме одного экземпляра

Энциклопедії. Такія подробности, говоритъ д'Аламберъ, можетъ быть покажутся крайне неумѣстными для тѣхъ ученыхъ педантовъ, которые нашли бы въ высшей степени интересными и цѣнными длинныя диссертациі о поваренномъ искусствѣ или о прическѣ у древнихъ, о мѣстоположеніи какой нибудь давно разрушившейся деревушки, о томъ какое имя получилъ при крещеніи какой нибудь малоизвѣстный писатель десятаго столѣтія. Онъ утверждаетъ, что подробности, касающіяся государственного хозяйства, ремесль и торговли имѣютъ не менѣе права на вниманіе, чѣмъ схоластическая философія, или какая нибудь еще не вышедшія изъ употребленія риторическая система, или таинства геральдики. Однако и изъ этихъ послѣднихъ предметовъ ни одинъ не былъ упущенъ изъ виду.¹⁾

Значеніе, придаваемое въ Энциклопедії естественнымъ наукамъ и практическимъ искусствамъ, было признакомъ и примѣрнымъ объясненіемъ двухъ элементовъ совершившагося въ наше время великаго перерожденія. Оно служить исходомъ и для соціального и для умственного переворота. Во первыхъ мы видимъ здѣсь, что мирнымъ занятіямъ присвоиваются тѣ же почести и та же слава, какія до тѣхъ поръ были исключительнымъ удѣломъ рыцарей и монаховъ, войны и аскетизма,—то есть удѣломъ тѣхъ, кто сражался и молился. Это—ничто иное, какъ опредѣленное признаніе тѣхъ самыхъ основъ, на которыхъ зиждется современное намъ общество. Еслибы дворянство и духовенство поняли такъ же ясно какъ Дидро и д'Аламберъ, какая непреодолимая сила препятствовала сохраненію старой системы, то можно бы было избѣжать всѣхъ самыхъ страшныхъ бѣдствій, которыми сопровождались великія политическія перемѣны, происшедшия въ послѣднее десятилѣтіе прошлаго вѣка. Что дворянство и духовенство не хотѣли этого понять,—было гибеллю для революціи. Въ слѣдующихъ пяти или шести строчкахъ статьи *Journalier*, мы видимъ проблескъ того глубокаго измѣненія соціальныхъ, идей, которое совершалось въ то время. «Поденьщикъ—такой рабочій, который занимается ручной работой и получаетъ жалованье поденно. Этого рода люди составляютъ большинство націи; хорошее правительство должно имѣть главнымъ образомъ въ виду ихъ положеніе. Если поденьщикъ въ нищетѣ и вся нація бѣдна». Въ другомъ мѣстѣ говорится: «Равномѣрно распределенный чистый прибыли всего общества должны быть предпочтаемы болѣе значительнымъ прибылямъ, неравномѣрно распределеннымъ, такъ какъ эти послѣднія раздѣляютъ народъ на два класса — на людей утопающихъ въ избыткѣ и на людей, гибнущихъ въ нищетѣ» (*Homme*).

¹⁾ Предисл. къ тому III.

Второй элементъ въ новѣйшемъ перерожденіи есть лишь интеллектуальная сторона первого изъ нихъ. Онъ заключается въ томъ, что вмѣсто того чтобы заниматься словами занимаются самимъ предметомъ,—въ томъ, что споры о внѣшней формѣ выраженія замѣняются приобрѣтеніемъ положительныхъ знаній. Теперь уже немного такихъ людей, которые не признаютъ услугъ, оказанныхъ схоластиками умственному развитию Европы. Но въ ту пору уже все было зре-ло для того, чтобы довести до конца умственное движение, исходившее отъ Бэкона и Декарта и окончательно поставить на подобающее имъ мѣсто и словесный анализъ, и словесная опредѣленія и словесные выводы. Форма должна была утратить первенство надъ содержаниемъ. Энциклопедисты постоянно указываютъ на контрастъ между ихъ собственнымъ вѣкомъ практическаго рационализма и «мелочнымъ вѣкомъ хорошаго вкуса». Въ статьѣ *Bibliomanie* говорится о большой коллекціи книгъ, какъ о коллекціи материаловъ для истории человѣческаго ослѣпленія и самомнѣнія. Собиратель книгъ сравнивается съ такимъ человѣкомъ, который вкладываетъ пять или шесть драгоценныхъ камней въ кучу булышника. Если здравомыслящий человѣкъ замѣтитъ, что въ приобрѣтенной имъ дюжинѣ волюмовъ достойна вниманія лишь полдюжина страницъ, онъ хорошо сдѣлаетъ, если вырѣжетъ изъ нихъ эти страницы, а все остальное бросить въ огонь. Наконецъ, надъ входомъ во всякую большую библіотеку не была бы неумѣстной слѣдующая надпись: *Бедламъ человѣческаго ума.* Относительно этого можно было замѣтить д'Аламберу, что изученіе патологіи ума вовсе не дурное вспомогательное средство для того, кто желаетъ проникнуть въ тайны человѣчества и его жизни. Но въ его время чувствовалась потребность не въ знакомствѣ съ мыслями, мечтаніями и умственными методами прошлаго, а въ умѣніи пользоваться тѣмъ, что годно для дѣятельной жизни. Во всякомъ случаѣ Дидро былъ правъ, когда говорилъ, что очеркъ, въ которомъ писатель высказываетъ отрывочно одну или двѣ гениальныя идеи, имѣть въ его глазахъ предпочтеніе надъ трактатомъ, въ которомъ драгоценные перлы завалены цѣлой грудью повтореній.... «У человѣка была лишь одна идея; для ея выраженія требовалась не болѣе какъ одна фраза; эта полная смысла и значенія фраза была бы усвоена читателемъ съ наслажденіемъ, но когда она залита цѣлымъ потокомъ словъ, она надоѣдаетъ и внушаетъ отвращеніе».¹⁾ Даже у Руссо не было болѣе сильного чѣмъ у Дидро или д'Аламбера отвращенія къ тѣмъ, кто любить книги только ради ихъ самихъ. Мы составили бы себѣ совершенно

¹⁾ Дидро *Oeuvres*, IV. 24.

ошибочное понятие объ Энциклопедии, еслибы стали смотрѣть на нее какъ на литературное или философское произведение.

Положеніе, занятое Энциклопедией по отношенію къ религіи, представлялось въ ложномъ свѣтѣ почти всѣми, кто описывалъ ту эпоху. Насъ постоянно увѣряли, что цѣль тѣхъ, кто руководилъ составленіемъ Энциклопедии, заключалась въ проповѣдываніи догматического атеизма. Этого не сталъ бы утверждать тотъ, кто самъ прочелъ бы теологическія статьи, — все равно самыя выдающіяся или самыя ничтожныя. Додумался ли окончательно въ ту пору самъ Дидро до атеизма или нѣтъ, во всякомъ случаѣ можно положительно сказать, что Энциклопедія представляетъ лишь одну фазу раціоналистического скептицизма. Что критика энциклопедистовъ действовала разрушительно на многія народныя вѣрованія и что она стремилась къ тому, чтобы ихъ уничтожить, — это не подлежитъ сомнѣнію, и было неизбѣжнымъ результатомъ ихъ усилий. Но когда насилия 1793 и 1794 годовъ, — а всѣ насилия революціонеровъ вмѣстѣ взятыя составляютъ лишь одну каплю въ сравненіи съ потоками крови, которыми окрасили исторію католицизмъ и абсолютизмъ, — когда преступленія и смуты конца прошедшаго столѣтія приписываются историками материализму и атеизму Энциклопедіи, мы можемъ на это лишь замѣтить, что такое мнѣніе есть искаженіе истины. Материализмъ и атеизмъ таились вовсе не тамъ. Нападки на религию были внушены и были направляемы тѣми же соціальными идеями, которыми были проникнуты экономической статьи. Священникъ былъ врагомъ общества, покровительствовалъ праздности, ненавидѣлъ научный познанія, не признавалъ гражданскихъ узаконеній, безъ всякой для кого либо пользы поглощалъ достояніе націи и сверхъ того угнеталъ другихъ. Священство — вотъ что было цѣллю нападокъ со стороны энциклопедистовъ. Чтобы подкопаться подъ него, нужно было прежде всего установить принципъ терпимости, потому что католическій священникъ заявляетъ притязаніе на то, чтобы его одного считали обладателемъ спасительной доктрины. Затѣмъ было нужно искоренить принципъ чудесъ, такъ какъ католическій священникъ при ежедневномъ исполненіи обрядовъ выдаетъ себя за священное орудіе чудодѣянія. «Пробѣгите», — основательно замѣчаетъ Розенкранцъ, — «сотни исторій церкви, государства, литературы, и въ каждой изъ нихъ вы прочтете, что Энциклопедія распространяла духъ безбожія. Это обвиненіе лишь относительно вѣрно, а именно оно вѣрно лишь въ томъ отношеніи, что Энциклопедія нападала на вѣру въ чудеса и на угнетенія совѣсти, исходившія отъ священнической аристократіи». ¹⁾)

¹⁾ Diderot's Leben, I. 157.

Слѣдуетъ замѣтить, что съ начала и до самаго конца Энциклопедіи въ ней незамѣтно послѣдовательной и опредѣленной манеры относиться къ обсуждаемымъ предметамъ. А предсказаніе д'Аламбера,—что время раскроетъ передъ глазами читателя, что на самомъ дѣлѣ хотѣль высказать авторъ, писавшій подъ вліяніемъ опасенія преслѣдованій со стороны цензуры,—осуществилось лишь отчасти.

Понятіе о чудесахъ было расшатано не прямыми аргументами, а косвеннымъ вліяніемъ науки и указаніями на успѣшные результаты научнаго метода. Въ этомъ случаѣ Энциклопедія дѣйствительно имѣла разрушительное вліяніе и достигла его единственнымъ путемъ, которымъ оно можетъ быть достигнуто съ успѣхомъ. Чудо божественнаго откровенія, божественнаго милосердія и совершаемыхъ во время католической обѣдни таинствъ, стало представляться людямъ въ иномъ свѣтѣ съ тѣхъ поръ, какъ они болѣе ознакомились съ физическими законами вселенной. Вліянію Энциклопедіи на читателей слѣдуетъ приписать не столько то, что они утратили вѣру въ мистеріи, сколько то, что они стали менѣе прежняго интересоваться этимъ предметомъ. Таковъ нормальный ходъ разложенія теологическихъ вѣрованій. Энциклопедія раскрывала передъ глазами читателя множество научныхъ понятій по всемъ отраслямъ человѣческой дѣятельности, удивительный рядъ открытій, живую panoramu побѣдъ, одержанныхъ человѣческимъ искусствомъ и трудолюбиемъ. Созерцаніе чудесъ, совершенныхъ самимъ человѣкомъ, замѣнило самоуглубленіе въ чудеса, приписываемыя богамъ. Эти послѣдніе не то, чтобы были отвергнуты прямодушными читателями, а были мало по малу упускаемы изъ виду и предаваемы забвению. Теперь уже никто не задастъ себѣ труда опровергать существованіе Юпитера и Юноны, сатировъ и лѣсныхъ нимфъ.

Дидро постоянно настаиваетъ на томъ, какъ важно и необходимо отдѣлять сферы знанія и философіи отъ сферы богословской.... И въ наше время заботятся о такомъ разграничениіи, потому что винять въ немъ средство спаси теологію; но Дидро смотрѣлъ на него какъ на средство спаси философію. Онъ полагалъ, что рѣшительное господство положительныхъ знаній въ самыхъ широкихъ предѣлахъ той сферы, которую они тогда обнимали, въ концѣ концовъ оттѣснить теологическая идеи въ ихъ собственную сферу, которая такъ далека отъ нась и такъ не плодотворна, что люди не захотятъ напрасно тратить свои силы, чтобы проникнуть туда. Онъ имѣлъ въ виду замѣнить старые пріемы мышленія и старыя цѣли умственной дѣятельности новыми. Онъ былъ увѣренъ, что новое знаніе и новые взгляды на человѣческую жизнь выше старыхъ и по своей практической примѣнимости и по своему внутреннему до-

стоинству. Это доказываетъ, что его философія имѣла созидаельную цѣль. На мѣсто непроизводительныхъ теологическихъ интересовъ, уже отжившихъ свое время, онъ поставилъ тѣ великия группы живыхъ и плодотворныхъ интересовъ, которыя разсыпаны и ярко блещутъ въ волюмахъ Энциклопедіи. Вотъ въ чёмъ заключался настоящий вредъ, который Энциклопедія нанесла церкви, какъ органу неподвижного суевѣрія. Нѣкоторыя статьи напоминаютъ намъ, что Франція стояла въ ту пору на какой то странной пограничной чертѣ между унизительными суевѣріями и благотворнымъ свѣтомъ знанія. Читателя въ такой степени охватываетъ новый духъ, который неосязаемо сказывается во всемъ произведеніи энциклопедистовъ, что когда тамъ появляются ради формы теологическая бредни, изложенный во всемъ ихъ торжественномъ ортодоксальномъ величіи, онъ ясно сознаетъ, что во всемъ этомъ есть какое то противорѣчіе и несообразность, и подмѣчаетъ нѣчто въ родѣ тонкой ироніи, забавляющейся надъ цензоромъ подъ самыми его глазами. Кто не улыбнется, читая слѣдующій серьезно поставленный вопросъ: *Adam, le premier de tous les hommes, a-t-il été philosophe?* Вопросы въ родѣ такого: слѣдуетъ ли крестить выкидыш? уже перестали интересовать ту публику, которая начала воспитываться на спорахъ о пользѣ оснопрививанія.

Никто не сознавалъ такъ ясно крупныхъ недостатковъ Энциклопедіи, какъ самъ Дидро. Онъ составилъ весьма объемистый списокъ тѣхъ отдыловъ, которые были неудовлетворительны.¹⁾ Но достоинства обширной гуашпировки столькихъ предметовъ едва ли уменьшались отъ того, что были указаны всѣ ошибки и пробѣлы. Соединеніе всѣхъ этихъ мірскихъ познаній въ одно колоссальное цѣлое придавало имъ какую то величественность. Они были изложены такъ, что представляли изъ себя массивный и великоклѣпный фронтъ. Они были изображены передъ любопытствующими взорами того поколѣнія какъ огромный городъ съ блестящими дворцами и роскошными палатами, или,—пожалуй,—какъ громадный ландшафтъ, съ горами, равнинами, утесами, водами, лѣсами, животными и тысячами другихъ предметовъ, обнаруживавшихъ при солнечномъ освѣщеніи свое величие и красоту. Теология, очевидно, должна была утратить прежнее значеніе. Люди начинали понимать, какъ обширна вселенная. Вмѣстѣ съ тѣмъ и все тѣмъ же способомъ Энциклопедія давала имъ ключъ для пониманія цѣлаго, давала имъ нить, за которую они могли держаться, чтобы не заблудиться въ этомъ громадномъ лабиринтѣ. Впрочемъ генеалогическое древо, или классификація искусствъ и наукъ, помѣщенная въ концѣ *Проспектуса* и

¹⁾ Оeuv. XX. 132.

заимствованная съ незначительными измѣненіями отъ Бэкона, была ошибочна и неудовлетворительна. Она распредѣляла различныя отрасли знанія по отношенію къ способностямъ человѣческаго ума, вмѣсто того, чтобы группировать ихъ сообразно съ ихъ взаимной объективной связью. Это привело къ многимъ непригляднымъ результатамъ, какъ напримѣръ къ тому, что искусство печатанія фигурируетъ въ отдѣлѣ орографіи въ качествѣ подраздѣленія логики, къ которой отнесено также знаніе геральдики или объясненія гербовъ. Было также ошибочно то, что архитектура дѣлилась на три отдѣла и затѣмъ гражданская архитектура была отнесена къ национальной юриспруденціи, а морская архитектура къ соціальной юриспруденціи, тогда какъ въ отдѣлѣ изящныхъ искусствъ не было места ни для какой архитектуры. Но даже послѣ того какъ мы умножили бы до крайнихъ предѣловъ эти порицанія, все таки общее впечатлѣніе, производимое величиемъ и шириной предпріятія, нисколько бы отъ того не уменьшилось.

Еще болѣе замѣчательнымъ, чѣмъ изложеніе человѣческихъ знаній, было объясненіе той постепенности, съ которой эти знанія медленно приобрѣтались. *Предварительное объясненіе* къ Энциклопедіи, большая и лучшая часть котораго написана д'Аламберомъ, содержитъ въ себѣ прекрасный обзоръ развитія наукъ, мышленія и литературы со времени возобновленія научныхъ изслѣдованій. Это ничто иное какъ благородная канонизация великихъ героевъ мірскаго знанія. Оно кратко, но оцѣнка Бэкона, Декарта, Ньютона, Локка, Лейбница представляеть такой рядъ очерковъ, который вносить въ умъ читателя понятіе о правильномъ ростѣ и постепенномъ развитіи. Это возбуждало живое и полное надеждъ сочувствіе, которое незамѣтно но очень рѣшительно оттѣсняло безплодныя положенія догматической теологии на задній планъ, где все было тускло и не-привлекательно. И это еще не все. *Предварительное объясненіе* и масса статей, на которую оно ссылалось, доказывали, что торжество знанія и правильность взглядовъ на вещи были достигнуты при двухъ условіяхъ. Первымъ изъ этихъ условій было рѣшительное пренебреженіе къ авторитету, вторымъ—воздержаніе отъ преждевременнаго составленія какой либо системы. Господство невѣжества и предразсудковъ укоренилось благодаря уваженію къ традиціи: воображенію истины препятствовали искусственные межевые столбы, которые къ сожалѣнію слишкомъ глубоко вколачивались авторами системъ. А такъ какъ общий духъ теологии по существу своему и авторитетный и систематической, то упомянутое пренебреженіе было обильно непосредственными результатами. Его влияніе сказывалось еще инымъ путемъ. И Сорбонна, и университеты, и ученые — все отождествляли ортодоксію съ картезіанизмомъ. «Трудно повѣрить», —

говорилъ д'Аламберъ въ 1750, — «что только въ теченіи послѣднихъ тридцати лѣтъ стали отвергать картезіанізмъ». Онъ могъ бы прибавить къ этому, что одинъ изъ самыхъ влиятельныхъ его современниковъ Монтескій оставался до конца жизни твердымъ приверженцемъ Декарта. «Наша нація», — говоритъ онъ, — «хотя и очень любить перемѣны во всемъ, что есть дѣло вкуса, но въ научныхъ предметахъ чрезвычайно привязана къ старымъ мнѣніямъ». Это замѣчаніе вѣрно даже по отношенію къ Франціи нашего времени, и еслибы мы имѣли на то достаточно свободного времени, мы могли бы сдѣлать интересное отступленіе, постаравшись выяснить все его значение. Во всякомъ случаѣ Франція можетъ считать, что она произвела одного замѣчательного нововводителя — самого основателя картезіанизма. Д'Аламберъ указываетъ на то, что ученики нарушили основные принципы своего руководителя. Онъ считаетъ отжившей и даже смѣшной гипотезу, принимающую существование массы эфира, вращающихся около оси и доктрину о врожденныхъ идеяхъ, но мы не должны забывать, говоритъ онъ съ изысканной искренностью, что Декартъ былъ тотъ, кто указалъ намъ путь, кто показалъ интеллигентнымъ людямъ, какъ слѣдуетъ сбрасывать съ себя иго схоластики, установившихъ мнѣній и авторитета, — однимъ словомъ иго предразсудковъ и варварства. Тѣ, которые остаются вѣрными его гипотетической системѣ, отказываясь отъ его метода, можетъ быть и могли-бы быть послѣдними его приверженцами, но они никогда не могли бы быть лучшими его учениками.

Подъ словомъ система Энциклопедисты разумѣли болѣе или менѣе связныя сочетанія легкомысленныхъ догадокъ. Нѣкоторые утверждаютъ, будто настоящая заслуга философовъ или естествоиспытателей заключается въ томъ, что у нихъ есть духъ системы, но что они никогда не строили никакихъ системъ. Понятіе, выраженное въ этомъ приговорѣ, обозначаетъ сочетаніе выгодъ органическаго синтеза съ выгодами свободы ума иничѣмъ не стѣсняемыхъ изслѣдований. Было бы странно думать, говоритъ д'Аламберъ, что въ анатоміи нечего болѣе открывать, потому что анатомы занимаются изслѣдованіями, которыхъ могутъ казаться ни къ чему негодными, но которыхъ нерѣдко оказываются весьма пригодными въ своихъ послѣдствіяхъ. Было бы не менѣе нелѣпо, еслибы мы наложили запретъ на ученость подъ тѣмъ предлогомъ, что наши учёные нерѣдко занимаются самыми мелочными предметами.

Въ Энциклопедіи наскъ постоянно поражаетъ искреннее желаніе доискаться самого вѣрнаго взгляда единственнымъ вѣрнымъ путемъ, — путемъ подробнаго, всестороннаго и свободного обсужденія. Такъ напримѣръ въ статьѣ *Fermes Générales* разсматривается вопросъ о томъ, какъ лучше собирать налоги — черезъ посредство откуп-

щиковъ или непосредственно черезъ агентовъ, находящихся на содеряніи и подъ надзоромъ правительства. Монтескіе рѣшительно высказался за второй изъ этихъ способовъ, известный подъ названіемъ *Régie*. Авторъ статьи перечисляетъ всѣ девять соображений, приводимыхъ Монтескіе въ подтвержденіе его мысли, и за тѣмъ на каждое изъ нихъ онъ дѣлаетъ то возраженіе, которое говорить въ пользу противоположнаго вывода. Въ концѣ статьи, издатели Энциклопедіи помѣстили слѣдующую замѣтку:— «Помѣщая эту статью мы руководствовались чувствомъ беспристрастія и желаніемъ вызвать обсужденіе и разъясненіе этого важнаго вопроса. Такъ какъ главная цѣль Энциклопедіи—общественная польза и просвѣщеніе, то мы готовы вставить въ статью *Régie* всѣ тѣ доводы за и противъ, какіе намъ будутъ кѣмъ либо доставлены съ тѣмъ лишь условіемъ, чтобы они были изложены толково и умѣренно». Увы! если мы обратимся къ статьѣ *Régie*, мы найдемъ, что это объясніе не было исполнено и что тамъ нѣть ничего вромъ дюжини бѣдныхъ содеряніемъ строчекъ. Но съ тѣхъ поръ прошли восемь лѣтъ бурныхъ тревогъ и немало хорошихъ намѣреній потерпѣли крушеніе. Но все таки приведенное извѣщеніе свидѣтельствуетъ о томъ, каковы были цѣли и духъ проекта въ его первоначальномъ видѣ.

Намъ нѣть надобности останавливаться на томъ, какими аргументами поддерживали энциклопедисты свой взглядъ на религіозную терпимость. Они были самыми усердными распространителями новѣйшаго принципа терпимости. Всѣмъ извѣстно, что это было нечто большее, чѣмъ отвлеченный споръ между знатоками соціальной философіи въ такой странѣ, где юноши колесовали за легкомысленное отношение къ церковной процессії, где почти всякий замѣчательный человѣкъ того вѣка подвергался изгнанію или тюремному заключенію за то, что употреблялъ въ дѣло свои умственныя способности и которая была почти доведена до разоренія, благодаря неоднократно возобновлявшимся преслѣдованіемъ протестантовъ. Статьей *Tolérance* очень восхищались въ то время; это было краснорѣчивое и увлекательное воспроизведеніе аргументовъ Локка. Въ ней поражаетъ насъ удивленіемъ воспроизведеніе того мѣста изъ *Общественнаго Договора*, въ которомъ Руссо доказываетъ право судь подвергать изгнанію всякаго, кто недостаточно религіозенъ для того чтобы исполнять свои обязанности и кто не хочетъ исповѣдывать гражданскую вѣру. По мнѣнію автора статьи въ словахъ Руссо выражена та мысль, что «атеисты, отнимающіе у людей сильныхъ единственное, что могло бы ихъ обуздать, а у людей слабыхъ ихъ единственную надежду», не имѣютъ права вызывать въ терпимости. Эта вставка поражаетъ неожиданностью въ такомъ

произведеніи, которое по общепринятому мнѣнію было самымъ рѣзкимъ возваніемъ въ пользу атеизма¹⁾.

Самъ Дидро еще прежде того обсуждалъ этотъ же предметъ въ статьѣ *Intoléance*, но въ болѣе рѣзкомъ тонѣ. Онъ не излагалъ систематически свои доводы, а точно будто металъ въ публику своими принципами, стиснувши зубы, сжавши кулаки, и сверкая изъ глазъ молнией, какъ изъ громовой тучи. Онъ напалъ на тѣхъ, кто угнеталъ его въ теченіе всей его жизни, на духовенство и на парламенты, съ такой язвительностью, которая смѣшить читателя, а въ заключеніе онъ описываетъ что за человѣкъ тотъ, кто не признаетъ терпимости; это, по его словамъ, такой человѣкъ, который забываетъ, что другие люди его собраты и относится къ нимъ какъ къ хищнымъ звѣрямъ потому только, что они не однихъ съ нимъ мнѣній; это—такой человѣкъ, который приносить въ жертву своей гордости духъ и правила своей религіи, это—дерзкій безумецъ, воображающій, что сводъ небесный не обрушится только въ томъ случаѣ, если онъ самъ будетъ поддерживать его своими руками; это—такой человѣкъ, у которого вообще нѣтъ никакой религіи и которому гораздо удобнѣе имѣть усердіе, чѣмъ нравственные принципы. Дѣйствительно, каждая страница Энциклопедіи была заступничествомъ за терпимость. Это усилило нерасположеніе духовенства къ произведению Энциклопедистовъ еще болѣе, чѣмъ ихъ нападки на доктрины, потому что для большинства лицъ духовнаго званія власть была дороже истины. А въ пользованіи властью они всего болѣе цѣнили отвратительное право налагать честными или нечестными путями запретъ на всякое мнѣніе, которое не было официальнымъ.

III.

Послѣ того какъ мы обрисовали общій характеръ и значеніе Энциклопедіи, намъ остается еще разсмотрѣть одну ея часть съ болѣе специальной точки зрѣнія. Мы уже видѣли, какъ разнообразны были труды Дидро въ качествѣ издателя. Намъ остается сдѣлать краткій очеркъ его занятій въ качествѣ сотрудника. У него все было на широкую ногу; его дѣятельность по составленію статей была бы удивительна даже въ томъ случаѣ, если бы къ ней не присоединилась болѣе тяжелая обязанность просматривать то, что было написано другими. Статьи самого Дидро наполняютъ болѣе чѣмъ четыре огромныхъ тома въ полномъ собраніи его сочиненій.

¹⁾ Авторъ ея—Ромилль, избранный впослѣдствіи въ пасторы одной изъ французскихъ протестантскихъ церквей Лондона. См. *Memoirs of Sir Samuel Romilly*, I, 65.

Здѣсь господствуетъ страшный безпорядокъ. Въ иныхъ статьяхъ направленіе историческое, въ иныхъ полемическое; иные написаны въ критическомъ духѣ, иные въ доктринальномъ. Въ одномъ мѣстѣ Дидро говоритъ отъ своего собственного лица, а въ другомъ онъ выражается какъ непричастный къ дѣлу переписчикъ, пишущій подъ диктовку невидимаго автора. Здѣсь нѣтъ ни опредѣленной мысли, ни установленныхъ размѣровъ. Намъ приходится безпрестанно переходить отъ серьезнаго разсужденія къ какой нибудь остроумной выходкѣ, отъ тщательно обработаннаго исторического очерка къ какому нибудь произведенію фантазіи; не мало есть и такихъ страницъ, на которыхъ Дидро, очевидно, говоритъ не то что думаетъ. Нѣкоторыя статьи повидимому попали туда только потому, что Дидро именно въ тотъ моментъ случайно заинтересовался ихъ сюжетомъ. Прочитавъ коротенькую статью Вольтера о *Воображеніи*, мы удивляемся, видя что Дидро отвелъ болѣе широкое мѣсто для такой второстепенной отрасли этого предмета, какъ *Вліяніе воображения беременныхъ женщинъ на будущихъ дѣтей*. Статья о *Тесософахъ* едва ли была бы такъ чрезмѣрно длинна только ради Парацельса, Ван-Гельмона, Шуаре и Розенкрайцеровъ, еслибы Дидро не заинтересовался въ ту пору тѣмъ сочетаніемъ вдохновенія съ сумасбродствомъ и шарлатанства съ благородными стремленіями, которое обнаруживалось въ полу-мистическомъ, полу-научномъ направленіи названныхъ личностей¹⁾.

Сверхъ того многія изъ статей Дидро не имѣли права на то, чтобы занимать мѣсто на страницахъ Энциклопедіи. Такъ напримѣръ статья о *Генѣ* есть ничто иное какъ полный жизни и внушительныхъ намековъ, но очень растянутый литературный очеркъ; онъ содержитъ въ себѣ,—мимоходомъ замѣтить,—странные утвержденіе, что хотя у Локка мало заблужденій, а у Шафтсбери слишкомъ мало истинъ, однако у Локка былъ лишь проницательный и обширный умъ, тогда какъ у Шафтсбери былъ первоклассный гений.

Подъ словомъ *Трудолюбивый* мы находимъ лишь дюжину строкъ съ яростными нападками на деспотизмъ, который дѣлаетъ людей лѣтнями, потому что не обеспечиваетъ права собственности. Подъ словами *Легкомысленный, Свѣтская любезность, Совершенство, Важность, Вѣжливость, Меланхолія, Славный читатель* находить забавные и поучительные миніатюрные очерки нравовъ и характеровъ, нерѣдко заканчивающіеся какой нибудь пророческой

1) Въ этой статьѣ есть интересная страница, на которой идетъ рѣчь о характеристическихъ особенностяхъ и превратной судьбѣ гениальныхъ людей. «Мы должны отнести къ этому разряду людей Пиндара, Эсхила, Моисея, Иисуса Христа, Магомета, Шекспира, Рожера Бэкона и Парацельса».—XVII, 265—7.

сентенцией и меткимъ нравоученiemъ. Иногда (какъ напр. въ статьѣ *Grandeur*) попадается очаровательный очеркъ, написанный на манеръ Ля-Брюйра. Подъ глаголомъ *Naître*, помѣщенному въ отдѣлѣ грамматики, мы находимъ слѣдующее мѣсто, не имѣющее ничего общаго съ грамматикой:—

«Слова жизнь и смерть не имѣютъ ничего абсолютнаго; они лишь обозначаютъ послѣдовательныя состоянія одного и того же существа; для того, кто сильно проникнуть этимъ философскимъ понятіемъ, урна содержащая въ себѣ прахъ отца, матери, мужа, любовницы, есть по истинѣ трогательная вещь; въ ней еще сохранились и жизнь и теплота; этотъ прахъ можетъ быть и до сихъ поръ чувствовать наши слезы и отвѣчаетъ на нихъ; кто можетъ утверждать, что движение, возбуждаемое нашими слезами въ то время, какъ они омываютъ этотъ прахъ, совершенно лишено чувствительности?»

Этотъ легкій взрывъ смѣшной сантиментальности подтверждаетъ мнѣніе тѣхъ, кто говорилъ, что изъ всѣхъ французовъ Дидро всего болѣе похожъ на нѣмца¹⁾. Столько же характеристичны и еще болѣе сантиментальны нападки автора на *Формалистовъ*. «Формалисты хорошо знаютъ, какой надлежашій промежутокъ времени между получениемъ визита и возвращенiemъ его; онъ ожидаетъ васъ именно въ такой то день и въ такой то часъ; если же вы не явитеься, онъ принимаетъ это за доказательство вашего въ нему пренебреженія и входить въ обиду. Одинъ человѣкъ этого покрова способенъ навести тоску и смущеніе на цѣлое общество. Ничто такъ не противно простымъ и прямодушнымъ людямъ, какъ эти формальности; такъ какъ имъ присуще сознаніе того доброжелательства, съ которымъ они относятся ко всѣмъ другимъ людямъ, то они не стараются постоянно выказывать такое чувство, которое имъ привычно, и не требуютъ его постоянно отъ другихъ». Съ этимъ мнѣніемъ имѣеться нѣкоторую аналогію его презрѣніе къ педантамъ, которые возстаютъ противъ употребленія словъ, представляющихъ смѣсь изъ различныхъ языковъ:— «Если какое нибудь слово, составленное изъ одного греческаго и одного латинскаго слова, хорошо выражаетъ мысль, и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе удобно для произношенія и болѣе пріятно для слуха, нежели то, которое составлено изъ двухъ греческихъ или двухъ латинскихъ словъ, зачѣмъ употреблять послѣднее?» (*Hibrides*). Нѣкоторыя статьи ничто иное какъ рѣзкія выходки противъ враговъ. Напримѣръ подъ словомъ *Pardon* мы читаемъ:— «Нужно

¹⁾ Та же мысль еще болѣе ярко выражена въ одномъ изъ писемъ къ дѣвицѣ Воланѣ (15 окт. 1759, XVIII. 408), где Дидро вступается за тѣхъ, которые провели всю жизнь во взаимной привязанности, желаютъ быть похороненными другъ подъ друга.

много сдержанности, много скромности, много ловкости, для того чтобы заставить других извинять намъ наше превосходство. Тѣ, которые привели въ исполненіе безразсудное предпріятіе, никогда не были въ состояніи простить намъ того, что мы задумали предпріятіе болѣе разумное. Они были бы въ состояніи простить намъ какое нибудь преступленіе, но никогда не простятъ доброго дѣла». *Prostitution* получила мѣсто въ Энциклопедіи только для того, чтобы можно было примѣнить это гадкое слово къ нѣкоторымъ критикамъ, «которыхъ развелось такъ много и которые безчестятъ (*prostituent*) свое перо изъ за денегъ, изъ за милостей, изъ за неправды и изъ за всѣхъ тѣхъ пороковъ, которые всего болѣе не-приличны честному человѣку».

Насъ постоянно изумляетъ и забавляетъ ловкость, съ которой Дидро отклоняется отъ своего предмета съ цѣллю расположить читателя въ пользу тѣхъ теорій терпимости, воздержности отъ рѣшишательныхъ приговоровъ и свободы, которыхъ гораздо дороже его сердцу, чѣмъ какой либо чисто научный вопросъ. У него есть небольшая статья объ одномъ изъ низшихъ римскихъ боговъ Айѣ-Локуціѣ, ораторѣ-вѣщателѣ. Дидро начинаетъ съ рассказа о томъ, какъ это божество мало по малу пріобрѣтalo извѣстность. Затѣмъ онъ цитируетъ насыщливое замѣчаніе Цицерона, что въ то время, когда это божество никому не было извѣстно, оно произносило благотворныя изречения, но послѣ того какъ ему построили прекрасный храмъ, богъ рѣчи сдѣлался нѣмъ. По этому поводу Дидро наивно приходитъ въ удивленіе, какимъ образомъ такой религіозный народъ, какъ Римляне, допускаль такія непочтительныя выходки со стороны философовъ. Отсюда было уже не трудно перейти къ тому, при какихъ условіяхъ могло бы правительство дозволять новѣйшимъ философамъ опубликованіе ихъ теорій. При этомъ Дидро высказываетъ странную мысль, что всего лучше было бы запретить изданіе какихъ либо сочиненій противъ правительства и религії, написанныхъ на общепотребительномъ языке, а тѣмъ, кто пишеть на языкахъ, понятномъ для однихъ ученыхъ, дозволить издавать все что хотять. И на этомъ оканчивается рѣчь объ Айѣ-Локуціѣ. Мимоходомъ мы сами себѣ задаемъ вопросъ, не было ли бы полезно примѣнить совѣтъ Дидро къ обсужденію нѣкоторыхъ предметовъ, относительно которыхъ свободная рѣчь на общепонятномъ языке едва ли совмѣстима съ *reverentia quae debet in priuatis?*

У Дидро не было такого ошибочнаго сознанія важности принятаго имъ труда, которое могло бы помѣшать ему примѣнить къ научнымъ и философскимъ изслѣдованіямъ практическія идеи о мелочахъ предметахъ вседневной жизни по мѣрѣ того какъ

эти идеи возникали въ его изобрѣтательномъ умѣ. Такъ напримѣръ онъ говоритъ, что для предотвращенія плутней со стороны изво-щиковъ и по отношенію къ ихъ хозяевамъ и по отношенію къ пуб-ликѣ, слѣдовало бы установить, что всѣ уплаты извощикамъ про-изводятся на извоцічихъ биржахъ чрезъ посредство особыхъ чи-новниковъ и что ни одинъ извощикъ не имѣть права брать сѣдоковъ иначе какъ на одной изъ этихъ биржъ¹⁾). Говоря о ла-кейахъ, онъ указываетъ на ихъ наглость и на печальное положе-ніе, въ которомъ большинство изъ нихъ оканчиваетъ свою жизнь; за тѣмъ онъ говорить, что огромное ихъ число винаю того, что нѣтъ достаточно рукъ для обработыванія полей. Это—сельскіе жи-тели, толпами стекающіеся въ Парижъ для того, чтобы избѣжать военной службы. Въ то время крестьяне превращались въ лакеевъ для избѣжанія рекрутчины, точно такъ же какъ въ наше время они поступаютъ съ этой цѣлію въ духовное званіе. Распростране-ніе этого зла, говоритъ Дидро, могло бы быть прекращено обло-женіемъ ливрѣйныхъ лакеевъ особымъ налогомъ; но такой налогъ едва ли будетъ когда нибудь наложенъ, потому что онъ слишкомъ обременителенъ.

Не смотря на то, что у него былъ практический и пылкій умъ, Дидро не пренебрегалъ и мелкими литературными сюжетами, когда онъ увлекался юморомъ. Если онъ былъ способенъ написать обширную статью объ Энциклопедіи, о Спинозѣ, объ Акаде-міяхъ и о тканьѣ, онъ былъ также способенъ остановиться на словѣ Анаграмма и разказать намъ, что изъ буквъ, входящихъ въ составъ имени убийцы Генриха III Фrèr e Jасques Clément, можетъ быть составлена ужасная фраза: *C'est l'enfer qui t'a gréé*. Онъ способенъ написать нѣсколько интересныхъ страницъ объ опоматансу или о способѣ угадывать будущее по имени, которое мы носимъ; онъ способенъ напомнить намъ съ безпристрастіемъ и серьезностью, какъ часто великия имперіи разрушались подъ управлениемъ государей, носившихъ тоже самое имя, какъ ихъ основатели, и какъ нѣкоторыя имена были зловѣ-щими для государей, какъ напримѣръ Кай у Римлянъ, Іоаннъ во Франціи, Англіи и Шотландіи и Генрихъ во Франціи.

Мѣстами попадаются и анекдоты, которые стоятъ того, чтобы ихъ прочесть и сохранить. Такъ напримѣръ въ статьѣ *Mакіавел-листъ* мы читаемъ:— «Мнѣ рассказывали, что какой-то философъ, на сдѣланный ему однимъ великимъ монархомъ вопросъ, какого онъ мнѣнія о только что изданномъ Его Величествомъ опровер-женіи Макіавеллизма, отвѣчалъ: «Я полагаю, что первый урокъ,

¹⁾ XIV. 32.

который задалъ бы Макиавелли своимъ ученикамъ, заключался бы въ томъ, чтобы опровергнуть его сочиненія». Очень сомнительно, действительно ли эти слова были сказаны Вольтеромъ Фридриху Великому, но во всякомъ случаѣ они очень метки. Затѣмъ читатель, только что пробѣжавшій коротенький очеркъ арабской философіи, развеселяется чтеніемъ поэтическихъ изречений касательно человѣческой жизни, избранныхъ изъ поэмы Сади *Гюлистанъ*; эта статья оканчивается восточной сказкой,—вовсе не особенно назидательной,—о томъ, какъ три человѣка нашли кладъ; одинъ изъ нихъ положилъ яду въ пищу, за которой былъ посланъ двумя остальными; когда онъ возвратился, они внезапно напали на него и убили, а потомъ сѣѣли отравленное кушанье, такъ что кладъ не достался ни одному изъ нихъ¹⁾.

Мы уже имѣли случай говорить о томъ, съ какимъ презрѣніемъ отзывался д'Аламберъ о страсти къ литературнымъ древностямъ,—которая, слѣдуетъ замѣтить, не имѣть ничего общаго съ научными изслѣдованіями касательно происхожденія и классификаціи государственныхъ учрежденій и органовъ общественной власти. Статья Дидро о *Германцахъ* служитъ превосходной иллюстраціей этого благотворнаго господства научныхъ взглядовъ надъ поверхностными результатами безплодной эрудиції. «Слово *All em and*»,—говорить Дидро,—«имѣеть очень много этимологій, но всѣ онѣ натянуты и потому ознакомиться съ ними всѣми столько же полезно, сколько не знакомиться ни съ одной изъ нихъ. Что касается происхожденія этого знаменитаго племени, то все, что было сказано объ этомъ предметѣ, начиная съ Тацита и кончая Клодвигомъ, есть не болѣе, какъ сплетеніе ни на чемъ неоснованныхъ догадокъ». Конечно, иные найдутъ это мнѣніе постыдно-лекомысленнымъ, а иные усмотрятъ въ немъ очень здравый взглядъ и правильную оценку того, что можно и что стоитъ знать, и того, чего нельзя и чего нестоитъ знать. Въ статьѣ о *Безбрачіи* проглядываетъ то же настроение ума. Для ознакомленія читателя съ понятіями древнихъ объ этомъ предметѣ, здѣсь вкратцѣ разсказывается, что думали Египтяне, Греки и Римляне о безбрачіи и какіе существовали у нихъ на этотъ предметъ постановленія. Но главное содержаніе статьи есть ничто иное какъ воспроизведеніе размышеній аббата Сень-Пьера о томъ, какъ было бы полезно для Франціи, при уменьшающемся ея населеніи, еслибы сорока тысячамъ живущихъ въ ней священниковъ было позволено жениться и произвести на свѣтъ восьмидесять тысячъ дѣтей. Мы представляемъ себѣ, какъ

¹⁾ *Saggarsins*, XVII. 82. См. также XVIII. 429, откуда видно, какъ Сали приводилъ въ восхищеніе Дидро.

долженъ быть улыбаться Дидро, когда онъ повторялъ лукавую мысль аббата, что за папой должно быть признано право освобождать отъ обѣта безбрачія и что римская курія должна получать опредѣленное денежное вознагражденіе за каждое дарованное ею разрѣшеніе.

Хотя Дидро и презиралъ бесплодную страсть къ книгамъ, его статья о *Библиотекахъ*, принадлежащая къ числу самыхъ длинныхъ и обработанныхъ самымъ тщательнымъ образомъ, сообщаетъ довольно полный списокъ самыхъ знаменитыхъ книгохранилищъ, начиная съ первого появленія книгъ и кончая послѣдними вкладами въ королевскую библіотеку въ улицѣ Vivienne. Въ этой статьѣ онъ повидимому съ одобрениемъ цитируетъ оригинальныя выраженія, въ которыхъ авторъ Philobiblon'а (1340) престарѣлый Ричардъ Бюри восхвалялъ книги какъ нашихъ лучшихъ наставниковъ, подражая въ этомъ случаѣ безсмертному защитнику поэта Arpiaca:—«*Hi sunt magistri qui nos instruunt sine virgis et ferulis, sine cholera, sine pecunia; si accedis non dormiunt; si inquiris non se abscondunt; non obmurmurant si oberres; cachinnos nesciunt si ignores.*».

Какъ въ своихъ чисто литературныхъ произведеніяхъ, такъ и въ произведеніяхъ философскихъ, Дидро не пропускаетъ случая, чтобы настаивать на необходимости довольствоваться условными приговорами. Такъ напримѣръ, онъ порицаетъ тѣхъ, кто писалъ исторію человѣческихъ мнѣній, за то, что они приписываютъ всѣмъ евреямъ мнѣнія высказанныя нѣсколькими раввинами, или смѣло выдаютъ за мнѣнія, господствовавшія въ теченіи цѣлаго столѣтія то, что было высказано нѣсколькими отцами церкви, хотя быть можетъ то столѣтіе не оставило намъ никакихъ сочиненій, кроме сочиненій этихъ немногихъ отцовъ церкви, и хотя намъ неизвѣстно, встрѣчали ли ихъ произведенія одобреніе и даже были ли они многимъ извѣстны. «Желательно, чтобы писатели выражались менѣе положительно въ особенности касательно нѣкоторыхъ предметовъ и касательно отдаленныхъ выводовъ, и чтобы они приписывали эти выводы непосредственно только тѣмъ, въ чьихъ произведеніяхъ они дѣйствительно находятся. Я долженъ сознаться, что въ этомъ случаѣ исторія мнѣній у древнихъ народовъ будетъ казаться не полной и что тогда придется прибѣгать къ нерѣшительнымъ опѣнкамъ гораздо чаще, чѣмъ это дѣжалось прежде; но, поступая иначе, мы подвергаемся опасности принять неосновательныя и ошибочныя предположенія за достовѣрныя и неоспоримыя истины. Заурядный литераторъ, точно также какъ и заурядный человѣкъ, не любить употреблять нерѣшительныя выраженія». Это неумѣстное отступле-

не помещено подъ заголовкомъ *Гипнотизмъ*, но высказанное здѣсь мнѣніе всегда останется основательнымъ.

Насъ не можетъ удивлять уваженіе, съ которымъ Дидро относился къ Монтэню и Бэйлю, составлявшимъ вмѣстѣ съ Юмомъ великую троицу скептицизма. «Произведенія Монтэня», — говоритъ Дидро, — «суть пробный камень хорошей интеллигенціи; вы можете быть увѣрены, что у того, кто не находитъ удовольствія въ чтеніи Монтэня, есть какой нибудь порокъ въ сердцѣ или въ умѣ. Что же касается Бэйля, то у него мало равныхъ въ искусствѣ разсуждать, и можетъ быть нѣтъ никого, кто превосходилъ бы его въ этомъ отношеніи; хотя онъ и наваливаетъ грудами одни сомнѣнія на другія, онъ всегда послѣдователенъ; вышедшая изъ-подъ его пера статья то же что живой полипъ, раздѣляющійся на множество маленькихъ полиповъ, которые всѣ живутъ, возникая другъ изъ друга»¹⁾. Впрочемъ Дидро чувствовалъ потребность подвинуться впередъ далѣе того пункта, на которомъ остановились Бэйль и Монтэнъ. При своемъ пылкомъ влеченіи къ удовлетворяющимъ внутреннее чувство несомнѣннымъ истинамъ, онъ съ трудомъ могъ довольствоваться нерѣшительными мнѣніями и сомнѣніемъ.

Дидро всегда готовъ отклониться отъ своего сюжета и разразиться какими нибудь нравоученіями. Статья о *Человѣкѣ*, какъ объ одной изъ отраслей естествознанія, содѣржитъ въ себѣ вѣрное, хотя и нѣсколько поверхностное, описание этого любопытнаго животнаго; въ заключеніе авторъ приводить таблицу, которая объясняетъ, сколько лѣтъ можетъ надѣяться прожить человѣкъ въ извѣстномъ возрастѣ. «Замѣтьте», — говоритъ онъ, — «во 1-хъ, что семилѣтній возрастъ есть тотъ, въ которомъ вы можете надѣяться прожить всего дольше; во 2-хъ, что въ двѣнадцати или тринадцати лѣтнемъ возрастѣ вы прожили четвертую часть вашей жизни, что когда вамъ двадцать восемь или двадцать девять лѣтъ вы прожили половину вашей жизни, а когда вамъ пятьдесятъ — болѣе трехъ четвертей». И затѣмъ онъ неожиданно оканчиваетъ всѣ эти замѣчанія восклицаніемъ: — «О вы, которые добрались до пятидесятилѣтнаго возраста, которые наслаждаетесь комфортомъ, и которые еще сохранили и здоровье и силу, чего ждете вы прежде, чѣмъ перейти къ вѣчному покою? Долголи еще будете вы повторять завтра, завтра?»

Нерѣдко попадаются блестящія аналогіи и сравненія и очень удачныя мысли и выраженія. Стоиковъ онъ называетъ Янсенистами язычества. «Для того, чтобы выросъ одинъ стебелёкъ травы, нужно чтобы вся природа этому содѣйствовала». «Человѣкъ впадаетъ въ

¹⁾ См. Руггопиене.

сомнѣнія однимъ изъ слѣдующихъ двухъ путей: или потому, что онъ недостаточно свѣдущъ или потому что онъ знаетъ слишкомъ много; этотъ послѣдній путь не самый употребительный».

Обращаясь къ статьямъ, касающимся теологии, мы затрудняемся рѣшить, куда мы попали. Иногда Дидро говоритъ о народныхъ сувѣріяхъ съ такой серьезностью, которая была бы умѣстна въ миѳологическомъ словарѣ. Иногда онъ нашиваетъ на мрачный сѣрый плащъ своего скептицизма яркокрасную заплату изъ дейстической декламаціи.¹⁾ Статья объ Иисусѣ очевидно написана въ общепринятой формѣ, а въ статьѣ *Christianisme* многія мѣста несомнѣнно неискренни. Дойдя до болѣе тщательно изложенной статьи *Providence*, мы не находимъ возможности извлечь изъ нея систему связныхъ идей, о которой можно было бы съ увѣренностью сказать, что она выражаетъ его собственныхъ убѣжденія или такія убѣжденія, которыхъ онъ желалъ бы внушить своимъ читателямъ.

Едва ли представляется надобность вавѣшивать, на основаніи высказанныхъ въ Энциклопедіи мнѣній, въ какой мѣрѣ Дидро былъ христіаниномъ или дистомъ. Достаточно пробѣжать его частную переписку, чтобы убѣдиться, что онъ не только ни въ какой мѣрѣ и ни въ какомъ отношеніи не можетъ быть причисленъ къ послѣдователямъ этихъ ученій, но даже былъ самымъ смѣлымъ и рѣшительнымъ ихъ противникомъ; хотя я и рискую оскорбить чувства людей религіозныхъ, я все таки считаю себя обязаннымъ воспроизвести одинъ отрывокъ изъ его писемъ, изъ которого мы узнаемъ настоящія мнѣнія Дидро въ отличіе отъ тѣхъ, которыхъ онъ считалъ нужнымъ высказывать въ печати. «Католическая религія», — говоритъ онъ, — «представляется мнѣ самой нелѣпой и самой жестокой въ своихъ догматахъ, самой непонятной, самой метафизической, самой запутанной и неясной и потому подающей поводъ къ раздорямъ, къ возникновенію сектъ, расколовъ и еретическихъ ученій, самой вредной для общественного спокойствія, самой опасной для монарховъ вслѣдствіе своего іерархического устройства, своихъ преслѣдованій и своей дисциплины, самой безвкусной, самой мрачной, самой готической и самой непривлекательной въ своихъ церковныхъ обрядахъ, самой мелочной и необщительной въ тѣхъ изъ своихъ нравственныхъ правилъ, которыхъ не имѣютъ ничего общаго съ господствующими повсюду правилами нравственности, а составляютъ только принадлежащую ей одной евангелическую, апостолическую и католическую нравственность, — изъ всѣхъ самую склонную къ нетерпимости. Отбросившая нѣкоторыя нелѣпости лютеранская вѣра лучше католической, протестанская лучше лютеранской, Социніанизмъ лучше протестантизма, а деизмъ съ храмами и цер-

¹⁾ Въ статьѣ *Plaisir*, XVI, стр. 298.

ковными обрядами лучше Социнианизма. Если человѣку, склонному отъ природы къ суевѣріямъ, необходимъ какой нибудь идолъ, то желательно, чтобъ этотъ идолъ былъ самый простой и безвредный»¹⁾. Мы не находимъ нужнымъ ни обсуждать, ни удлинять эту цитату; сказанного нами уже достаточно для того, чтобъ освободить нась отъ необходимости анализировать статьи, въ которыхъ авторъ относится къ христіанству со всѣмъ внѣшнимъ уваженiemъ, какого требовала въ ту пору свѣтская власть.

Это внѣшнее уваженіе не было несомнѣмымъ съ многими прикрытыми сарказмами, которые были понятны для тѣхъ, кто умѣлъ читать между строками и доставляли имъ пикантное удовольствіе. Эти сарказмы постоянно были неосновательны и неглубокомысленны. Даже тѣхъ изъ насъ, которые отвергаютъ теологію вмѣстѣ со всѣми ея произведеніями, непріятно поражаетъ грубость и непристойность намековъ, мѣстами обезображивающихъ разсужденія Дидро о теологическихъ или другихъ вопросахъ. Въ этомъ не мало была виновата сама церковь, отличавшаяся въ ту пору во Франціи своей грубостью, заносчивостью и привычкой забывать свое духовное назначение. И Вольтеръ, и Дидро, и Гольбахъ писали бы совершенно въ иномъ духѣ, даже дѣлая точно такие же нападки на теологіческія мнѣнія, еслибы французская церковь имѣла такую школу религіозныхъ наставниковъ, какую въ семнадцатомъ столѣтіи англійская церковь нашла въ Латитудинаріяхъ или такую школу, какую она находитъ теперь въ девятнадцатомъ столѣтіи въ лицѣ тѣхъ, кто заимствовалъ частію изъ поэтическихъ произведеній Вордсворта, частію изъ историческихъ указаній Оксфордскихъ брошюръ (*Oxford Tracts*) безпристрастіе, ширину, возвышенность и задумчивую грацію, недопускающія употребленія тѣхъ грубыхъ полемическихъ приемовъ, которые были единственными приемами во Франціи сто лѣтъ тому назадъ.

Мы уже такъ много говорили о большой и важной группѣ статей, касавшихся искусствъ и ремесль, что намъ уже не представляется надобности распространяться о томъ, какое участіе принималъ въ ихъ составленіи Дидро. Онъ посѣтилъ всѣ парижскія мастерскія; онъ посыпалъ за справками и за объясненіями специальностей въ главные центры мануфактурной дѣятельности королевства; иногда онъ вызывалъ къ себѣ мастеровыхъ изъ провинціи для того, чтобъ узнатъ отъ нихъ разныя подробности касательно фабрикаціи писчей бумаги въ Монтаржи и касательно фабрикаціи шелковыхъ и бархатныхъ матерій въ Ліонѣ²⁾). Многія изъ статей Дидро, даже тѣ изъ нихъ, въ которыхъ шла рѣчь о важныхъ практическихъ сюже-

¹⁾ Къ Дамилавиллю, 1766, XIX. 477.

²⁾ XX. 34.

такъ, безъ сомнінія были ничто иное, какъ воспроизведеніе свѣдѣній, почерпнутыхъ изъ книгъ и добытыхъ изъ вторыхъ рукъ. Возьмите напримѣръ статью о *Земледѣліи*, которое безъ сомнінія было и въ ту пору, какъ и во всяко другое время, самымъ важнымъ для Франціи изъ всѣхъ сюжетовъ. Въ ней есть дюжина страницъ съ практическими указаніями, которыми Дидро обязанъ, какъ кажется, одному изъ Грандвалльскихъ фермеровъ. Затѣмъ въ составѣ статьи входятъ около двадцати страницъ, заключающихъ въ себѣ изложеніе новой системы хлѣбопашства, которую англичанинъ Тулль излагалъ передъ недовѣрчивой публикой между 1731 и 1751 годами. Дюгамель перевелъ сочиненіе Тулля на французскій языкъ, присовокупивъ къ переводу примѣчанія и результаты своего собственного опыта; изъ этого сочиненія Дидро и заимствовалъ сущность своей статьи. Единственная заслуга Дидро — и это была вовсе немаловажная заслуга въ такую пору, когда повсюду господствовала рутина, — заключалась въ томъ, что онъ искалъ самыхъ новыхъ свѣдѣній и еще болѣе въ томъ, что онъ настоятельно доказывалъ пользу послѣднихъ экспериментовъ, сдѣланныхъ въ земледѣліи. Тулль не былъ самымъ неоспоримымъ авторитетомъ въ этомъ вопросѣ; однако не слѣдуетъ забывать, что разборчивый Коббетъ нашелъ его идеи о земледѣліи достойными воспроизведенія черезъ семьдесятъ лѣтъ послѣ того, какъ Дидро нашелъ ихъ достойными краткаго изложенія въ своей статьѣ.

И не только въ томъ, что касалось подробностей практическихъ искусствъ Дидро пользовался материалами приобрѣтенными изъ вторыхъ рукъ. Статья о *Зендавестѣ* заимствована изъ *Ежегодного отчета* за 1762. Длинный рядъ статей обѣ исторіи философіи въ сущности есть ничто иное какъ повтореніе того, что онъ вычиталъ изъ Бэйля, Деланда и Брукера. Изъ этого общаго правила есть нѣсколько исключений. Едва ли не самое важное изъ нихъ мы находимъ подъ заголовкомъ *Спиноза*, къ которому мы сейчасъ возвратимся. Статья о *Гоббизмѣ* содержитъ въ себѣ анализъ всѣхъ положеній Гоббза, очевидно сдѣланный самимъ авторомъ статьи; но онъ не освѣщается почти ни однимъ критическимъ замѣчаніемъ. Правда, въ статьѣ о *Société* мы находимъ, что авторъ опровергаетъ взглядъ Гоббза на отношенія между гражданской и свѣтской властями, но даже тутъ Дидро почти исключительно ограничивается возраженіями, заимствованными отъ Локка.

Впрочемъ онъ добросовѣстно указываетъ читателямъ на эти источники болѣе полныхъ свѣдѣній¹⁾. О его статьяхъ касательно исторіи философіи мы можемъ сказать только то, что онъ отличаются

¹⁾ XVI. 280.

полнотою, что Дидро относился къ своему сюжету умно и съ разборчивостью, и что онъ нерѣдко примѣшивалъ сюда собственный блестящія замѣчанія и широкіе взглѣды. Это было все, чего требовала цѣль предпринятаго имъ труда. Подражать усидчивымъ литературнымъ изслѣдованіямъ Бэйля или Брукера или пытаться составить самостоятельную исторію философіи значило бы принести въ жертву Энциклопедію какъ нѣчто цѣлое ненужному совершенству одной небольшой ея части. Въ подобныхъ случаяхъ можно заявлять только одно безусловное требованіе,—а именно то, чтобы писатель не воспроизводилъ собраннаго имъ матеріала, не провѣривъ его предварительно своимъ собственнымъ умомъ. Такому требованію, какъ общему правилу, не могъ не подчиниться человѣкъ съ столь неистощимой энергией ума, какъ Дидро.

Но и изъ этого правила бывали исключения. Были такие случаи, когда Дидро,—точно самый заурядный писака,—воспроизводилъ чужія мнѣнія безъ всякой попытки провѣрить ихъ. Въ двухъ статьяхъ—о *Философахъ* и о *Философіи* мы находимъ два любопытныхъ образчика неясностей и несообразностей, въ которыхъ вовлекала Дидро эта манера смѣшивать чужія мысли съ своими собственными. Первая изъ этихъ статей есть существенно соціальное и практическое объясненіе того, чѣмъ долженъ быть философъ; во второй изъ нихъ мы находимъ опредѣленіе философіи, которое переносить настъ въ такія сферы, которыхъ весьма далеки отъ того, что раціонально и практически. Тутъ мы витаемъ въ самыхъ возвышенныхъ сферахъ буквального анализа и чистаго формализма. Философъ описанъ какъ нельзя лучше желать. Дидро сначала противопоставляетъ его толпѣ людей вовсе не глупыхъ, которые проводятъ свое время въ томъ, что произносятъ рѣшительные приговоры. «Они не знакомы съ задачами и предѣлами человѣческаго ума; они считаютъ его способнымъ знать все; поэтому они сочли бы себя несчастными, еслибы не произносили окончательныхъ приговоровъ и воображаютъ, что именно въ этомъ и заключается достоинство интеллигенціи. А философъ полагаетъ, что интеллигенція заключается въ правильности приговоровъ. Онъ предпочитаетъ воздержаться отъ приговора, чѣмъ произнести приговоръ, не имѣющій достаточныхъ основаній. Блестящимъ выводамъ онъ предпочитаетъ стараніе провѣрить свои идеи и опредѣлить ихъ настоящій объемъ и настоящую внутреннюю связь. Онъ не привязывается ни къ какой системѣ въ такой степени, чтобы не быть въ состояніи понимать всю силу вызываемыхъ ему возраженій, тогда какъ большинство людей до такой степени предано своимъ мнѣніямъ, что вовсе не старается вникать въ мнѣнія другихъ. Съ другой стороны, философъ ясно и отчетливо понимаетъ какъ то, почему онъ что либо отвергаетъ, такъ и то, почему

онъ что либо утверждаетъ». За тѣмъ Дидро дѣлаетъ очень странній переходъ отъ интеллектуальной къ соціальной сторонѣ обсуждаемаго предмета. «Нашъ философъ не считаетъ себя изгнаникомъ въ этомъ мірѣ; онъ не воображаетъ, будто находится въ непріятельской странѣ; онъ находитъ удовольствіе въ обществѣ другихъ, а чтобы находить такое удовольствіе онъ самъ долженъ доставлять его другимъ; это достойный уваженія человѣкъ, желающій быть пріятнымъ и полезнымъ. Заурядные философы, которые размышляютъ слишкомъ много, или правильнѣе сказать, которые размышляютъ въ ложномъ направленіи, относятся ко всѣмъ такъ же грубо и надменно, какъ относятся знатные люди къ тѣмъ, кого они не считаютъ за равныхъ имъ; они бѣгутъ отъ людей, а люди избѣгаютъ ихъ. Но нашъ философъ, умѣющій дѣлить свое время между уединеніемъ и обществомъ людей, полонъ человѣколюбія. Для него гражданское общество есть, такъ сказать, земное божество; онъ дѣлаетъ честь этому обществу своею честностью, строгимъ исполненіемъ своихъ обязанностей и искреннимъ желаніемъ не быть бесполезнымъ или лишнимъ его членомъ. У мудреца есть закваска порядочности и правильности; онъ полонъ такихъ идей, которыя находятся въ связи съ благомъ гражданского общества. Опытъ ежедневно доказываетъ намъ, что чѣмъ болѣе разуменъ и просвѣщенъ человѣкъ, тѣмъ болѣе онъ пріятенъ въ обхожденіи и тѣмъ вѣрѣ можно на него полагаться.»¹⁾

Отъ такого взгляда на философа, какъ на человѣка принадлежащаго къ высшей породѣ людей, очень страненъ переходъ къ опредѣленію философіи какъ науки о возможномъ на сколько оно возможно. По этому поводу намъ приходитъ на умъ слѣдующее размышеніе самого Дидро: *Combien cette maudite m taphysique fait des fous!*²⁾ Авторъ неожиданно переноситъ насъ изъ атмосферы Бэкона въ атмосферу Лейбница. Мы были въ правѣ ожидать, что статья о философіи начнется перечисленіемъ вопросовъ, на которые человѣкъ можетъ надѣяться получить отвѣтъ, и кончится систематическимъ изложеніемъ принциповъ знанія съ заключительнымъ указаніемъ условій нравственности и организаціи гражданскихъ обществъ. Мы были въ правѣ ожидать,— и наши ожиданія оправдались — что философу будутъ приписаны слѣдующія характеристическая особенности: «онъ ничего не принимаетъ безъ доказательствъ, никогда не соглашается съ призрачными понятіями, строго разграничиваетъ то что достовѣрно, что вѣроятно и что сомнительно, а главнымъ образомъ никогда не довольствуется

¹⁾ См. также статью *Indépendance*.

²⁾ IV, 93.

одними словами». Но эти здравыя понятия высказаны въ такой статьѣ, въ которой определеніе и раздѣленіе философіи заимствованы отъ Христіана Вольфа, тогда какъ и методъ и способы выраженія Вольфа имѣютъ такъ-же мало общаго съ положительнымъ направленіемъ Энциклопедіи, какъ они имѣютъ мало общаго съ мистическимъ направленіемъ Якоби.

Вольфъ (1679—1754) занимаетъ въ исторіи нѣмецкой философіи срединное мѣсто между Лейбницемъ и Кантомъ, и до появленія Канта его система была господствующей между нѣмецкими метафизиками¹⁾. Именно отъ Вольфа Дидро и заимствовалъ разбросанныя имъ на страницахъ Энциклопедіи несообразныя одно съ другимъ положенія въ родѣ слѣдующаго: «въ числѣ всѣхъ возможностей необходимо должна заключаться и возможность такого Существа, которое существуетъ само собою; иначе были бы такія возможныя вещи, о возможности которыхъ не можетъ быть рѣчи,—а этого утверждать невозможно». Насъ поражаетъ тотъ фактъ, свидѣтельствующій о странномъ разнообразіи направлений въ компиляціяхъ Дидро, что также самая статья, которая начинается такими заимствованіями отъ автора философской системы, изложенной въ двухъ десяткахъ томовъ, заканчивается рѣшительными нападками на то, что въ философію проникаетъ духъ системы.

Я рѣшаюсь цитировать одинъ смѣлый отрывокъ изъ другой статьи (Руффони и пѣ), въ которомъ иные усмотрять доказательство философской несостоятельности Дидро, а другіе усмотрять доказательство его здраваго смысла. «Мы приходимъ къ заключенію,»—говоритъ онъ,—«что такъ какъ въ природѣ все находится во взаимной связи, то въ строгомъ смыслѣ слова нѣть ничего такого, что человѣкъ могъ бы знать совершенно, абсолютно и вполнѣ, хотя бы то были самыя очевидныя аксиомы,—потому что для этого требуется знаніе всего. Даѣте,—такъ какъ все находится во взаимной связи, то неизбѣжно должно случиться, что переходя отъ одного размыщенія къ другому, онъ дойдетъ до чего нибудь неизвѣстнаго; затѣмъ обратно исходя отъ этого неизвѣстнаго пункта, мы будемъ въ правѣ приписывать его непониманіе непониманію, неясности или недостовѣрности предшествующаго пункта; тоже самое можно будетъ сказать объ этомъ предшествующемъ пункте по отношенію къ тому пункту, который ему предшествуетъ, и такимъ образомъ мы дойдемъ до такого принципа, который намъ вполнѣ понятенъ. Вотъ почему въ пользованіи нашимъ разсудкомъ мы должны быть

¹⁾ Читатель найдетъ массу свѣдѣній и критическихъ отзывовъ о философіи Вольфа въ появившемся недавно въ Глазговѣ сочиненіи профессора Эдварда Керда Critical Account of the Philosophy of Kant.

воздержны.... Когда шагъ за шагомъ я довелъ кого либо до какого нибудь несомнѣнного вывода, я прекращу споръ; я не стану обращать никакого вниманія на того, кто будетъ отвергать существованіе физическихъ тѣлъ, правила логики, свидѣтельства чувствъ, различіе между добромъ и зломъ, между правдой и ложью и т. д. Я поверну спину всякому, кто попытается отклонить меня отъ несложныхъ вопросовъ и постараюсь вовлечь меня въ споръ о свойствахъ матеріи, ума, мышленія и другихъ предметовъ, у которыхъ нѣть ни береговъ ни дна.»¹⁾ Чтобы мы ни думали объ этихъ мнѣніяхъ, мы во всякомъ случаѣ не можемъ не замѣтить, что они служатъ вѣрной характеристикой автора. Но не лучше ли было бы вовсе ничего не писать о метафизическихъ предметахъ?

Мы упомянули о статьѣ касательно Спинозы. Она характеризуетъ какъ хорошія такъ и дурныя стороны литературной дѣятельности Дидро. Цѣлая половина ея есть не болѣе какъ воспроизведеніе мнѣній Бэйля о Спинозѣ и его системѣ. Другая ея половина состоитъ изъ возраженій, которыя дѣлаетъ противъ Спинозы съ большой энергией самъ Дидро, но при этомъ вовсе незамѣтно, чтобъ его знакомство съ произведеніями Спинозы шло далѣе первой книги Этики. Мы не находимъ никакихъ несомнѣнныхъ свидѣтельствъ того, что онъ прочелъ еще что-либо или что онъ имѣлъ передъ глазами что либо кромѣ извлечений, сдѣланныхъ Бэйлемъ. Такая манера трактовать о серьезныхъ предметахъ едва ли можетъ удовлетворять современные требованія литературной добросовѣтности, такъ какъ литературная добросовѣтность получила въ наше время отпечатокъ специальности и не одобряетъ энциклопедической точки зрѣнія. Возраженія самого Дидро, какъ мы сказали, были высказаны съ большой рѣшительностью. «Если вы постараетесь», — говорить онъ, — «хоть немного проникнуть въ густой мракъ, которымъ окружилъ себя Спиноза, вы найдете цѣлый рядъ пропастей, въ которыхъ низвергъ самъ себя этотъ отважный мыслитель, цѣлый рядъ положеній или очевидно ложныхъ или очевидно сомнительныхъ, цѣлый рядъ произвольныхъ принциповъ, замѣняющихъ собою естественные принципы и осознательная истины; вы найдете неправильное употребленіе терминовъ, принимаемыхъ большою частію въ ложномъ смыслѣ, массу вовлекающихъ васъ въ заблужденіе двусмысленностей и цѣлую массу очевидныхъ противорѣчий». Вся система, по мнѣнію Дидро, чудовищна, нелѣпа и смѣшна. Предположеніе, что у Спинозы былъ свой методъ — вотъ что ввело всѣхъ въ заблужденіе; всякий думалъ, что тотъ кто прибѣгаешь къ помощи геометріи и подвигается впередъ путемъ аксиомъ и опредѣленій, непремѣнно дол-

¹⁾ XVI, 491—2.

женъ находиться на пути къ истинѣ. Но при этомъ не замѣчали, что эти аксюомы были ничто иное какъ очень туманныя и очень недостовѣрныя положенія, что опредѣленія были неточны, неудовлетворительны и нелѣпы.

У насъ нѣтъ достаточно мѣста, чтобы прослѣдить доводы, на основаніи которыхъ Дидро дѣлаетъ этотъ презрительный отзывъ о знаменитомъ философѣ, на счетъ котораго никакъ нельзѧ положительно сказать, былъ ли онъ пантеистъ, атеистъ, беспорядочный человѣкъ или человѣкъ богоизбраненный. Дидро безпрестанно возобновляетъ свои нападки, какъ будто втайне сознавая, что онъ такъ рѣшительно высказываетъ порицаніе, не имѣя на то достаточныхъ оснований. И читатель съ своей стороны чувствуетъ, что Дидро не попалъ на настоящій путь, которымъ онъ могъ бы — съ его собственной точки зрѣнія — разрушить систему Спинозы. Онъ пытается разрушить путемъ логики нѣкоторыхъ отдельныхъ положеній Спинозы, какъ напримѣръ его третье положеніе, что «*въ томъ случаѣ, когда предметы не имѣютъ между собою ничего общаго, одинъ изъ нихъ не можетъ быть причиной другаго.*» Дидро оспариваетъ это положеніе, какъ ложное и въ примѣненіи къ сферѣ нравственности и въ примѣненіи къ другимъ сферамъ. Звукъ слова Богъ не имѣть ничего общаго съ той идеей о Создателѣ, которую оно возбуждаетъ въ моемъ умѣ. Несчастіе, постигшее моего друга, не имѣть ничего общаго съ горестью, которую я чувствую вслѣдствіе этого несчастія. Когда я дѣлаю движеніе рукой вслѣдствіе акта моей воли, это движеніе не имѣть по своему существу ничего общаго съ актомъ моей воли; они совершенно различны другъ отъ друга. Я не треугольникъ, однако я составляю себѣ понятіе о треугольнике и рассматриваю его свойства. Точно также относится Дидро и къ пятому положенію, что *въ мірѣ не можетъ существовать двухъ или болѣе сущностей одного и того же свойства или съ одними и тѣми же атрибутами.* Если Спиноза разумѣеть здѣсь лишь сущность вещей или сущность ихъ опредѣленія, то онъ этимъ ничего не сказалъ, потому что въ такомъ случаѣ его слова можно понять только въ такомъ смыслѣ, что въ мірѣ не можетъ быть двухъ различныхъ сущностей, имѣющихъ одну и ту же сущность. Но кто же въ этомъ сомнѣвается? Если же Спиноза хотѣлъ этимъ сказать, что не можетъ быть такой сущности, которая могла бы находиться въ различныхъ отдельныхъ предметахъ, точно также какъ сущность треугольника находится въ треугольнике А и въ треугольнике В, то онъ говорить явную неправду. Впрочемъ, не прежде какъ дойдя до послѣднихъ двухъ или трехъ страницъ, Дидро выражаетъ свое неодобреніе въ самой широкой его формѣ. «Чтобъ опровергнуть Спинозу», — говоритъ онъ въ заключеніе, — «достаточно

остановить его на первомъ шагѣ, не затрудняя себя попыткой пропрѣтии всю массу дѣлаемыхъ имъ выводовъ; будетъ достаточно, если не ясный принципъ, изъ котораго онъ дѣлаетъ основу для своей системы, мы замѣнимъ слѣдующимъ принципомъ, который самъ по себѣ ясенъ въ высшей степени: есть иль сколько различныхъ сущностей. Дѣйствительно, развѣ можно указать другое положеніе болѣе ясное, болѣе ярко бросающееся въ глаза, болѣе доступное для человѣческаго ума и сознанія? Я не ссылаюсь здѣсь ни на какого другаго судью, кромѣ самого простаго здраваго смысла, общаго всему человѣческому роду..... А такъ какъ здравый смыслъ возстаетъ противъ каждого изъ положеній Спинозы, какъ противъ первого изъ нихъ, такъ и противъ остальныхъ выдаваемыхъ за его доказательства, то мы въ правѣ, не обсуждая ни одного изъ этихъ лишенныхъ здраваго смысла доказательствъ, сказать ему: — «Вашъ принципъ противенъ здравому смыслу, а изъ такого принципа, въ которомъ нѣтъ здраваго смысла, нельзѧ вывести ничего такого, въ чёмъ могъ бы снова оказаться здравый смыслъ.»

Этотъ отрывокъ звучитъ непрѣятно, точно воззваніе къ толпѣ для разрѣшенія научнаго вопроса. Дидро, вѣроятно хотѣлъ этимъ сказать, что Спиноза изобрѣлъ такое понятіе о сущности, которое не имѣетъ никакого соотношенія съ объективнымъ опытомъ и что онъ даетъ фантастические отвѣты на такие вопросы, которые не стоило задавать себѣ, потому что отвѣты на эти вопросы всегда вынудятъ насъ вносить заимствованныя изъ опыта термины въ сферу, стоящую выше опыта, и сверхъ того потому что ихъ никакъ нельзѧ пропрѣти. Во всякомъ случаѣ—именно ли это онъ хотѣлъ сказать и былъ ли онъ правъ, задаваясь такимъ намѣреніемъ,—мы можемъ положительно утверждать, что такой проницательный критикъ какъ Дидро, занявши разборомъ такого въ высшей степени мастерскаго метафизического метода, какъ методъ Спинозы, долженъ бы быть постараться придать своимъ возраженіямъ всю ширину, какая имъ была доступна. ¹⁾)

Въ статьѣ о Лейбницѣ менѣе оригинального содержанія, чѣмъ въ статьѣ о Спинозѣ. Философскіе взгляды этого великаго и энергичнаго мыслителя на метафизику, логику, натуральную теологію, натуральные законы, просто на просто изложены въ длинномъ перечинѣ сжатыхъ положеній, между тѣмъ какъ описание жизни и характера Лейбница просто на просто заимствовано изъ превосход-

¹⁾ Есть также отрывочныхъ критическихъ замѣчанія о Спинозѣ въ статьяхъ *Тождество и Свобода*.

наго панегирика, написанного о немъ въ 1716 Фонтенелемъ. Рассказъ Фонтенеля воспроизведенъ въ духѣ почтительного уваженія къ геніальному человѣку, который походилъ на Дидро энциклопедическимъ разнообразiemъ интересовавшихъ его вопросовъ, но былъ гораздо выше Дидро по своей сосредоточенности, тонкой проницательности, точности и способности приводить идеи въ одну стройную систему. Еслибы надъ нашими головами, говорить Дидро, были такія существа, которые способны наблюдать надъ нашими дѣйствіями, точно такъ какъ мы наблюдаемъ надъ движenіями ползающихъ у нашихъ ногъ насѣкомыхъ, съ какимъ удивленіемъ замѣтили бы эти существа такихъ четырехъ удивительныхъ насѣкомыхъ, какъ Бэйль, Декартъ, Лейбницъ и Ньютонъ. За тѣмъ онъ приводитъ небольшой списокъ знаменитыхъ имень, между которыми слѣдуетъ выбрать то имя, которое должно быть поставлено во главѣ человѣческаго рода. Этотъ списокъ заключаетъ въ себѣ, кромѣ Юліана Отступника,—внесенного сюда, какъ слѣдуетъ полагать, единствено съ цѣллю полу-шути задѣть враговъ изъ церковной партіи,—Сократа, Марка Аврелия, Траяна, Бэкона и только что названныхъ четырехъ великихъ людей. И въ заключеніе Дидро съ неблагороднымъ увлеченіемъ утверждаетъ, будто одинъ Лейбницъ сдѣлалъ для славы Германіи столько же, сколько Платонъ, Аристотель и Архимедъ вмѣстѣ взятые сдѣлали для славы Греціи. Впрочемъ, какъ мы уже прежде замѣтили, въ этой статьѣ вовсе нѣтъ критического разбора и нѣтъ никакихъ признаковъ того, чтобы Дидро разсмотрѣлъ что либо кромѣ фасада воздвигнутаго Лейбницомъ великаго зданія, возбуждающаго удивленіе своею внѣшністю.

Статья о *Свободѣ*, написанная такимъ даровитымъ мыслителемъ какъ Дидро, была бы въ высшей степени достойна вниманія, если бы только мы могли быть увѣрены, что Дидро высказался въ ней съ полной искренностью. Но мы имѣемъ полное основаніе думать, что онъ писалъ ее вовсе не для того, чтобы высказаться въ ней съ полной откровенностью. Она такъ же поверхностна съ философской точки зрѣнія, какъ его статьи о евреяхъ и о Библіи поверхности съ научной точки зрѣнія. Одну изъ причинъ этой неудовлетворительности найти не трудно. Мы не разъ уже имѣли случай замѣтить, въ какой мѣрѣ соціальные цѣли и соціальные наклонности брали въ умѣ Дидро верхъ надъ всѣми другими соображеніями. Но эта манера ставить всѣ обсуждаемые вопросы въ связь съ общественнымъ благомъ и измѣрять достоинство добываемыхъ выводовъ вліяніемъ ихъ на общество, имѣть свои опасныя стороны. Примѣромъ того, какъ это опасно, можетъ служить отвращеніе лицъ духовнаго званія къ свободѣ преній изъ опасенія, что отъ этого поколеблются учрежденія и вѣрованія, которыхъ по ихъ мнѣнію

полезны для человечества. Тотъ, кто сталъ бы утверждать, что Дидро писалъ то, что думалъ, могъ бы сказать, что Дидро не избѣжалъ точно такого же заблужденія, такъ какъ онъ позабылъ, что изъ всѣхъ вещей, полезныхъ для общества, истина есть самая цѣнная. И кто могъ бы повѣрить, что Дидро — этотъ гонимый издатель Энциклопедіи и авторъ смѣлой статьи о *Нетерпимости* — вставляеть слѣдующія строки въ разсужденіе о нескончаемыхъ спорахъ касательно *Свободной Воли и Необходимости*: — «*Отнимите Свободу, и въ мірѣ не будетъ болѣе ни порока, ни добродѣтели, ни личныхъ достоинствъ; награды сдѣлаются неумѣстными, а наказанія несправедливыми. Гибель Свободы нисправергнетъ всякой порядокъ и всякое благочиніе, смѣшаетъ порокъ съ добродѣтелью, сдѣлаетъ возможной всякую возмутительную низость, потушитъ послѣднія искры стыда и раскаянія, безвозвратно унизитъ и развертитъ весь человѣческій родъ.* Такая уродливая теорія не должна быть рассматриваема въ школахъ, а должна быть преслѣдуема судомъ.»¹⁾ Совершенно тоже говорили іезуиты о вѣрѣ въ Бога, объ откровеніи, и о церковныхъ учрежденіяхъ. Отнять все это, говорили они, значило бы нисправергнуть оплоты порядка и всякая попытка съ этой цѣлію, — будь она сдѣлана энциклопедистами или кѣмъ либо другимъ, — должна быть преслѣдуема судомъ. Очевидно, что Дидро на эту разъ сбился съ дороги.

Насъ не можетъ удивить то, что въ статьѣ, написанной въ такомъ духѣ, не высказано никакой серьозной мысли касательно предмета, о которомъ шла рѣчь. Дидро пришелъ къ убѣждению, что при отсутствії *свободной воли* всѣ нравственные влечения, выражающіяся въ сочувствіи сердецъ, въ благоклонности къ другимъ и въ обожаемой имъ справедливости, низойдутъ до уровня простыхъ механическихъ поступковъ. «Если люди не будутъ свободны въ томъ, что они дѣлаютъ хорошаго и дурнаго», — восклицаетъ онъ, очевидно, въ припадкѣ безразсудства, — «тогда добро перестанетъ быть добромъ, а зло — зломъ». Но разъ виѣшнія свойства и результаты добра и зла не находятся въ независимости отъ умственныхъ операций, предшествующихъ человѣческимъ дѣяніямъ. Убийство не перестанетъ считаться за преступленіе оттого только, что будетъ доказано, что намѣреніе убійцы совершилъ преступное дѣяніе было результатомъ его прежней жизни. Всякое дѣяніе имѣть свои собственные отличительныя черты и послѣдствія, или хорошія или дурные, все равно въ какомъ бы умственномъ состоянія ни находился тотъ, кто его совершилъ. Но Дидро, повидимому, вовсе не догадывается, какой отсюда правильный выводъ; онъ выражается

¹⁾ XX. 34.

такъ, что можно подумать, будто послѣдователи теоріи необходимости или Детерминисты отвергаютъ существованіе воли и будто вопросъ заключается въ томъ, существуетъ ли воля. Никто не отвергаетъ того, что она существуетъ; сущность вопроса въ томъ при какихъ условіяхъ она существуетъ: опредѣляются ли эти условія антecedентами, или же они опредѣляются сами собою, самопроизвольно и самостоятельно. Вопросъ въ томъ, находится ли воля въ зависимости отъ внѣшнихъ причинъ.

Аргументація Дидро въ сущности есть ничто иное какъ заявленіе, что человѣкъ сознаетъ въ себѣ волю. И точно такъ какъ въ другихъ частяхъ своей статьи Дидро разумѣеть подъ свободой лишь существованіе воли, онъ видить въ свободѣ лишь здоровое состояніе души, а не ея независимость отъ внѣшнихъ причинъ. Мы не будемъ тратить время ни на критику такихъ запутанныхъ понятій, ни на критику той теоріи, что воля иногда зависитъ отъ умственныхъ антecedентовъ, а иногда не зависитъ. Къ нашему удивленію, писатель не замѣчаетъ, что въ этой нелѣпой теоріи онъ проповѣдуетъ тотъ самый принципъ, на который онъ нападалъ, какъ на гибельный для добродѣтели, вредный для общества и заслуживающій наказанія со стороны правительства. Вѣдь изъ его теоріи, по-видимому, слѣдуетъ, что воля тѣхъ, чьи «наклонности не умѣренны», не свободна; а мы конечно въ правѣ къ этому прибавить, что именно тѣ, чьи наклонности самыя неумѣренныя, суть самые грубые нарушители общаго благосостоянія. Мы приведемъ еще одинъ отрывокъ для того чтобы доказать, какъ авторъ былъ далекъ отъ правильнаго взгляда на обсуждаемый имъ предметъ. «Изъ вашихъ словъ»,—говорить онъ, обращаясь къ Бэйлю,—«вовсе не ясно, что я могу шевелить моей рукой или не шевелить по моей волѣ: въ такомъ случаѣ слѣдовало бы считать заранѣе рѣшеннымъ, что черезъ четверть часа отъ настоящаго момента я три раза подниму къ верху руку, или не подниму... Поэтому если вы серьезно думаете, что я не свободенъ, вы не можете отказаться отъ предложенія, которое я вамъ дѣлаю: я предлагаю пари въ тысячу пистолей противъ одного, что относительно движеній моей руки я сдѣлаю совершенно противоположное того, чего вы потребуете. Если вы не примете pari, вы этимъ докажете присутствіе въ васъ непоколебимой увѣренности, что я свободенъ». Точно будто намѣреніе двигать или не двигать рукой не будетъ вызвано никакими антecedентами, когда вы только что создали такой влиятельный антecedентъ, какъ желаніе не лишиться тысячи пистолей. Вольтера, пожалуй, еще можно извинить въ томъ, что онъ довольствовался туманнымъ поэтическимъ содержаніемъ для своего поэтическаго разсужденія о свободѣ, но отъ Дидро, какъ отъ издателя и писателя, можно бы было ожидать чего

нибудь лучшаго, чѣмъ неуклюжее воспроизведеніе тѣхъ самыхъ разсужденій, помошью которыхъ такие люди какъ Тюрретини сдѣлали изъ философіи грязную пособницу теологии.

Касательно этой странной статьи намъ остается еще разсказать объ одномъ странномъ фактѣ. Она была написана, по всему вѣроятію, въ промежуткѣ между 1757 и 1762 годами. Въ іюнѣ 1756, Дидро написалъ къ одному изъ сотрудниковъ Энциклопедіи Ландуа письмо, въ которомъ самымъ рѣшительнымъ образомъ отвергаль всю теорію о свободѣ. «Свобода есть слово лишенное всякаго смысла; нѣтъ и никогда не могло существовать свободныхъ существъ; мы лишь таковы, каковыми должны быть сообразно съ общественнымъ порядкомъ, съ общественнымъ устройствомъ, съ воспитаніемъ и ходомъ обстоятельствъ. Мы не можемъ представить себѣ такое существо, которое дѣйствовало бы безъ мотивовъ, точно также какъ мы не можемъ себѣ представить, чтобы одна сторона вѣсовъ приходила въ движеніе, когда на нее не положено никакой тяжести; а мотивы всегда бываютъ внутренне отъ насъ независящіе, возникающіе или отъ природы или отъ какой нибудь причины, которая находится внутрь настъ самихъ. Въ строгомъ смыслѣ слова существуютъ только одного рода причины, а именно причины физическая». ¹⁾ И далѣе все въ томъ же духѣ рѣшительного и безвозвратнаго преклоненія передъ принципомъ необходимости, съ которымъ мы скоро ближе познакомимся, когда будемъ говорить о *Системѣ природы*. ²⁾

Есть только одно объясненіе такихъ рѣзкихъ противорѣчій. Дидро вѣроятно писалъ о свободѣ точно также, какъ онъ писалъ объ Иисусѣ Христѣ и о библії. Онъ высказывалъ не то, что думалъ, а только то, чего требовали отъ него лица, въ рукахъ которыхъ была правительственная власть. Мы можемъ искать его настоящихъ мнѣній конечно скорѣе въ письмахъ къ близко знакомымъ ему людямъ, чѣмъ въ статьяхъ, помѣщенныхъ въ Энциклопедіи. Что такія мистификаціи отвратительны и постыдны и что, прибѣгая къ нимъ, Дидро употреблялъ слишкомъ унизительныя средства на пользу столь великаго предпріятія,—въ этомъ всѣ будутъ согласны. Мы можемъ только замѣтить по этому поводу, что этотъ прискорбный фактъ есть бросающійся въ глаза образчикъ тѣхъ увертокъ, которыя были въ ту пору общеупотребительны. Мы обратимъ вниманіе читателя еще на одно обстоятельство. Усердіе и ловкость, съ которыми Дидро защищалъ мнѣнія, которыя онъ считалъ ложными, служать поразительнымъ свидѣтельствомъ его удивительной драматической способности употреблять свои дарованія какъ діалектика, казуиста и софиста на защиту ложныхъ и призрачныхъ идей.

¹⁾ XIX. 435—6.

²⁾ См. ниже томъ II.

Переходя отъ его философскихъ статей къ статьямъ политическимъ или социальнымъ, мы не находимъ нужнымъ прибавлять многое къ тому, что уже было о нихъ сказано ранѣе. Одна изъ самыхъ лучшихъ статей въ этой группѣ есть статья о *Rosкоши*. Дидро остроумно начинаетъ съ того, что перечисляетъ всѣ указанія на предполагаемый вредъ роскоши и подъ каждымъ изъ такихъ указаний помѣщаетъ какой нибудь историческій фактъ, ясно доказывающій его несостоятельность. Точно такъ же поступаетъ онъ и съ тѣми указаніями, въ которыхъ доказывается польза роскоши для общества. Развѣявшись свой сюжетъ этимъ единственно вѣрнымъ путемъ, онъ дѣлаетъ нѣсколько замѣчаній касательно пользы и вреда роскоши,—замѣчаній весьма здравыхъ и не впадающихъ въ банаальность. Въ статьяхъ *Pouvoir, Souverain, Autorité* онъ почти ограничивается тѣмъ, что повторяетъ старую неимѣющуу исторической достовѣрности сказку объ обществѣ, которое передало долю своей верховной власти на храненіе какому нибудь индивидууму или какой нибудь династіи. Не лишнимъ будетъ при этомъ замѣтить, какъ мало Дидро и его школа были демократичны въ якобинскомъ, анархическомъ или болѣе умѣренномъ современномъ значеніи этого слова. Въ статьяхъ Дидро не рѣдко встрѣчаются основательные и смѣлые доводы въ пользу самоуваженія, которымъ должна быть проникнута народная масса, но не болѣе какъ одинъ или два раза попадается выраженіе такихъ же рѣзкихъ мнѣній, какія встрѣчаются на страницахъ, вышедшихъ изъ-подъ пера Руссо. Такъ напр. онъ говоритъ:—«когда съ жителями деревень обходятся хорошо, тогда незамѣтно увеличивается число земельныхъ собственниковъ, а огромное разстояніе отдѣляющее бѣдныхъ отъ богатыхъ и зависимость первыхъ отъ послѣднихъ уменьшаются; тогда народъ приобрѣтаетъ бодрость, душевную силу и физическую крѣпость; онъ любить свое отечество, уважаетъ представителей власти, привязанъ къ государю, къ порядку и къ законамъ, которымъ онъ обязанъ своимъ спокойствиемъ и благосостояніемъ. Тогда сынъ почтенного землемѣльца не будетъ охотно покидать благородное занятие своихъ предковъ и не будетъ марать себя ношеніемъ ливреи богачей и ихъ высокомѣрнымъ обращеніемъ». ¹⁾)

Никто, конечно, не будетъ порицать ни демократическихъ чувства такого рода, ни встрѣчающіяся въ статьѣ благородныя и вовсе не новыя мысли о томъ, что одна добродѣтель возвышаетъ человѣка, а порокъ есть источникъ стыда и униженія. Но ни Дидро, ни Вольтеръ никогда не позволяли себѣ льстить народной массѣ, приписывая ей такія качества, которыми едва ли можетъ обладать народная мас-

1) См. ст. *Lux e*, XVI, 23.

са. Коротенькая статья о *Multitude* повидимому вставлена въ Энциклопедию только для того, чтобы разрушить ни на чьемъ неоснованныя притязанія толпы. «Не довѣряйте мнѣнію толпы во всемъ, что принадлежитъ къ сферѣ разсудка и философіи; касательно такихъ предметовъ ея голосъ есть голосъ зложелательства, безразсудства, безчеловѣчія, умственной непослѣдовательности и суевія. Не довѣряйте ей и въ такихъ предметахъ, которые требуютъ много знанія или изящнаго вкуса. Толпа невѣжественна и пошла. Не довѣряйте ей и въ томъ, что касается нравственности; она не способна на энергической и великодушный образъ дѣйствій; она скорѣе удивляется такого рода дѣйствіямъ, чѣмъ одобряетъ ихъ; въ ея глазахъ геройская самоотверженность есть почти тоже что сумасбродство. Не довѣряйте ей и въ томъ, что касается чувствъ; развѣ деликатность чувствъ есть такое обыкновенное качество, что вы можете искать его въ толпѣ? Такъ въ чьемъ же свойства толпы оказываются хорошими? Во всемъ, но только по истеченіи долгаго времени, потому что тогда она дѣлается отголоскомъ, повторяющимъ мнѣнія немногихъ умныхъ людей, которые заранѣе подготавливаютъ мнѣнія потомства. Если на вашей сторонѣ будетъ свидѣтельство вашей совѣсти, а противъ васъ свидѣтельство толпы, не тревожьтесь и будьте увѣрены, что время воздастъ всякому должное.» Между писателями не часто встречаются такие люди, у которыхъ презрительное убѣжденіе въ недоступности для толпы высшихъ сферъ мышленія соединяется съ горячимъ желаніемъ сдѣлать жизнь народной массы приличной для людей, которые уважаютъ самихъ себя.

Та же самая рука, которая написала только что цитированный оскорбительныя для народной массы слова, написала и слѣдующую коротенькую статью о нищетѣ: — «Немного людей съ такимъ твердымъ характеромъ, что нищета не доводить ихъ до отчаянія и нравственного паденія. Бѣдные простолюдины тупоумны до невѣроятія. Я не понимаю, какое ослѣпительное заблужденіе мѣшаетъ имъ ясно видѣть, какъ бѣдственно ихъ настоящее положеніе и какое еще болѣе бѣдственное положеніе ожидаетъ ихъ въ старости. Нищета матъ великихъ преступленій. Несчастными дѣлаютъ людей правители; на нихъ то и лежитъ отвѣтственность и въ этомъ мірѣ и въ томъ за всѣ преступленія, вызываемыя нищетой».

Что касается правительственного механизма, Дидро пишеть объ этомъ предметѣ большою частію придерживаясь мнѣній Монтескье. Подъ заголовкомъ *Repr  sentants* онъ доказываетъ не столько пользу управления посредствомъ собранія, состоящаго изъ народныхъ представителей, сколько пользу того, чтобы подобное собраніе помогало королевскому правительству своими совѣтами. Здѣсь нѣть ни одного слова о всеобщей подачѣ голосовъ. «Собственность со-

здаетъ граждани; всякий, у кого есть собственность въ государствѣ, заинтересованъ въ поддержаніи государства и каково бы ни было положеніе, предоставляемое ему специальными установленими, оно всегда будетъ положеніемъ собственника; только благодаря тому, что онъ чѣмъ нибудь владѣеть, онъ имѣть право голоса и приобрѣть право имѣть отъ себя представителя». Однако эта вполнѣ ясная мысль не спасаетъ Дидро отъ противорѣчий, въ которыхъ обыкновенно впадаетъ демократическая философія, когда занимается политикой. Сверхъ того, съ точки зрѣнія логики, приведенное мнѣніе не можетъ быть согласовано съ другими мнѣніями, которыхъ Дидро высказываетъ въ той же самой статьѣ. Такъ напримѣръ онъ говоритъ, что «ни одинъ разрядъ гражданъ не способенъ входить въ соглашенія отъ имени всѣхъ; еслибы одинъ какой либо разрядъ имѣть такое право, онъ очень скоро сталъ бы входить въ соглашенія, вызванныя его собственной пользой; каждый разрядъ долженъ имѣть представителями людей, хорошо знакомыхъ съ его положеніемъ и его нуждами; эти нужды хорошо известны только тѣмъ, кто испытываетъ ихъ на дѣлѣ». Но въ такомъ случаѣ для самого бѣднаго класса населенія было бы всего болѣе необходимо имѣть непосредственныхъ представителей; этотъ классъ самый многочисленный, его нужды самые настоящіе, и его интересы самымъ непосредственнымъ образомъ затрагиваются всѣмъ, что касается войны, источенія національнаго богатства, расходованія государственныхъ доходовъ, равенства передъ закономъ, судебнай администраціи и другихъ предметовъ, подлежащихъ вѣдомству законодательного собранія. Вопросъ заключается въ томъ, какъ согласить необходимость участія массы населенія въ дѣлахъ управления съ тѣмъ невѣжествомъ и умственнымъ настроеніемъ, которые ей приписываются самъ Дидро.

Рамки излагаемаго нами предмета не позволяютъ намъ заняться интереснымъ изслѣдованіемъ, какими новыми политическими идеями обогатилъ публицистику столѣтій опытъ Англіи, Франціи, Германіи и Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ. Статья Дидро о Законодателѣ представляетъ странное смѣщеніе тѣхъ понятій, которыхъ считаются политическими писателями за устарѣлые и тѣхъ, которыхъ служатъ въ наше время руководствомъ для самыхъ просвѣщенныхъ государственныхъ людей. Здѣсь немало говорится въ тонѣ Жанъ-Жака Руссо объ удивительной законодательной дѣятельности Ликурга въ Спартѣ, о философской системѣ управления великой китайской имперіи и о превосходномъ духѣ государственныхъ учрежденій въ Перу. Для насъ становится яснымъ, что подъ вліяніемъ тѣхъ же самыхъ причинъ, по которымъ политическая сантиметальность Руссо сдѣлалась столь популярной, и мощный умъ Дидро проникся убѣждениемъ, что

ничѣмъ не стѣсняемая правительственная власть можетъ сдѣлать людей такими, какими пожелаетъ, и можетъ вводить такія государственные учрежденія, какія ей угодно. Убѣжденіе, что главная обязанность всякаго правительства заключается въ томъ, чтобы сдѣлать подчиненный ему народъ счастливымъ, такъ же сильно у Дидро, какъ оно было сильно у Руссо и впослѣдствіи у Робеспьера. Дидро превозноситъ китайскихъ императоровъ за то, что ихъ указы похожи наувѣщанія отца къ дѣтямъ. Всякій указъ, говоритъ онъ, долженъ поучать и увѣщевать столько же сколько предписывать. Однако, когда черезъ два года послѣ окончанія Энциклопедіи (1774), Тюрго предположилъ своимъ проектамъ преобразованій подробное и ясное изложеніе ихъ мотивовъ, это предисловіе произвело болѣе сильное впечатленіе на умы, нежели самые законы, которые онъ хотѣлъ ввести.

Помимо общеупотребительныхъ выражений восторга по поводу «великолѣпнаго законодательства» такихъ странъ, о которыхъ писатель въ сущности не имѣлъ никакого понятія, мы находимъ въ статьѣ о *Законодателѣ* нѣсколько пунктовъ, заслуживающихъ вниманія. Мы уже видѣли, что Дидро считалъ обладаніе собственностью за существенное отличие гражданина и за основаніе его правъ на участіе въ дѣлахъ управлениія. Но онъ придавалъ собственности такое высокое значеніе не даромъ. Законодатель, говоритъ онъ, обязанъ направлять всѣ свои усилия къ тому, чтобы вознаградить человѣчество за утрату того равенства, которое принадлежитъ къ числу жертвъ, принесенныхъ людьми въ то время какъ они отказались отъ естественного состоянія. Поэтому законодатель долженъ стараться, чтобы никто не могъ достигать огромнаго богатства иначе какъ путемъ такой дѣятельности, которая обогащаетъ государство. «Онъ долженъ заботиться о томъ, чтобы общественные тяжести падали на богачей, получающихъ выгоды отъ общества». Даже тѣ, которые раздѣляютъ мнѣніе Дидро и готовы подать свой голосъ за постепенный подоходный налогъ, согласятся со мною, что онъ приходитъ къ такому выводу, не изучивъ и не пропрѣшивъ ни подкрепляющихъ его серьезныхъ аргументовъ, ни вызываемыхъ имъ серьезныхъ возраженій.

Но еще болѣе интересно для насъ въ этой длинной статьѣ то, что ея авторъ предвкушаетъ идеи, съ которыми нераздѣльно связываютъ въ Англіи имя Кобдена. «Люди всѣхъ странъ стали необходимы другъ для друга для обмѣна продуктовъ промышленности и произведеній почвы. Торговля сдѣлалась новою связью между людьми. Каждая нація заинтересована въ наше время тѣмъ, чтобы всякая другая нація сохранила свое богатство, свою промышленность, свои банки, свою роскошь и свое земледѣліе. Банкротства въ Лейп-

цигъ, въ Лиссабонѣ и въ Лимѣ вызвали новыя банкротства на всѣхъ европейскихъ биржахъ и повліяли на судьбу многихъ миллионовъ людей». ¹⁾ Подъ вліяніемъ того же умственнаго настроенія онъ предвидѣть упадокъ патріотизма въ прежнемъ узкомъ смыслѣ этого слова и преобладаніе международныхъ влеченій надъ національными. «Теперь всѣ націи имѣютъ достаточно правильныхъ понятія о своихъ сосѣдахъ и потому приходятъ въ восхищеніе отъ своего отечества гораздо менѣе, чѣмъ въ старыя времена нѣтъжества. Тамъ, гдѣ много просвѣщенія, мало энтузіазма; энтузіазмъ почти всегда есть ничто иное, какъ душевное волненіе въ такомъ человѣкѣ, который болѣе страстенъ, чѣмъ образованъ. Сравнивая законы однихъ странъ съ законами другихъ, таланты и нравы однихъ съ талантами и нравами другихъ, народы найдутъ такъ мало основанія считать себя выше другихъ, что если въ нихъ и сохранился та любовь къ отечеству, которая основана на личныхъ интересахъ, они все таки утратятъ тотъ энтузіазмъ, который есть результатъ исключительного самоуваженія».

Впрочемъ у Дидро достало проницательности на то, чтобы подмѣтить и вредъ, который можетъ произойти отъ такого переворота въ соціальныхъ идеяхъ. «Торговля, точно такъ же какъ и просвѣщеніе, смягчаетъ суровость нравовъ, но, точно такъ же какъ просвѣщеніе заглушаетъ энтузіазмъ самомнѣнія, торговля заглушаетъ энтузіазмъ добродѣтели. Она мало по малу заглушаетъ въ насъ духъ великодушнаго безкорыстія и замѣняетъ его духомъ суровой справедливости. Направляя умы людей къ тому что полезно, а не къ тому, что прекрасно, къ тому что благоразумно, а не къ тому что возвыщенно, она можетъ оказать вредное вліяніе на то, что есть возвышенного и благороднаго въ нравахъ».

Всѣ эти мнѣнія, какова бы ни была степень ихъ основательности, во всякомъ случаѣ болѣе вѣрны, чѣмъ утвержденіе Дидро, что впредь для каждой изъ европейскихъ націй завоеванія будутъ нравственной невозможностью. Въ ту пору Наполеонъ Бонапартъ еще только начиналъ свою военную карьеру. Но была ли эта карьера

1) Какъ на доказательство того, какъ сильно эти идеи были въ ходу, мы можемъ сослаться на одно ыѣсто въ народной комедіи Седена *Философъ безъ собственнаго владома* (1765), актъ II, сп. IV. Вандернъ говоритъ о купцахъ:— «Онъ служитъ не одному какому либо храму и не одной какой либо націи; онъ служить имъ всемъ и получаетъ отъ нихъ услуги: это человѣкъ всемирный. Нѣкоторые смѣлыя люди возвставляютъ королей другъ противъ друга, вспыхиваетъ война, все объято ея пламенемъ и вся Европа раздѣлена на партии, но не смотря на это и англійскій, и голландскій, и русскій и китайскій купецъ не перестаютъ быть близкими моему сердцу; мы на земной поверхности то же что шелковыя нити, которыя связываютъ одну націю съ другой и возвставляютъ между ними согласіе вслѣдствіе требованій торговли; вотъ, сынъ мой, что такое честный торговецъ».

подтверждениемъ или опроверженiemъ мнѣнія Дидро,—это спорный вопросъ.

Однако намъ пора закончить нашъ очеркъ великаго произведенія. Мы сдѣлаемъ только одно заключительное замѣчаніе. Развѣ неудивительно, что человѣкъ съ такимъ отважнымъ умомъ и такими философскими дарованіями не могъ возвыситься отъ механическаго распределенія идей и познаній до какого нибудь болѣе возвышенного и болѣе широкаго взгляда на отношенія между 18-мъ столѣтіемъ и тѣми великими системами мышленія, методами и вѣрованіями, которыя въ различныя эпохи и на различныхъ пространствахъ земного шара служили отвѣтомъ на вопросы, обращенные передовыми людьми къ самимъ себѣ и къ окружающей ихъ безжалостной природѣ? Мы постоянно чувствуемъ, какъ близокъ Дидро къ той точкѣ зрѣнія, которая освѣтила-бы его умъ. Мы чувствуемъ, какъ онъ близокъ отъ того, чтобы видѣть въ умственныхъ экспериментахъ человѣческаго рода и на востокѣ и на западѣ не предразсудки, не упадокъ, не унизительная заблужденія, но свидѣтельства такихъ умственныхъ усилий и влечений, которыя достойны человѣческаго вниманія и научнаго анализа, а по своимъ цѣлямъ и содержанию одного закала съ новѣйшей наукой и съ новѣйшими фазами религіознаго и антирелигіознаго развитія идей. Дидро бытъ единственный членъ партіи философовъ, который бытъ способенъ возвыситься до такого взгляда. Еслибы Дидро додумался до такого руководящаго понятія о единствѣ исторіи человѣческаго ума и объ органической связи между всѣми теоріями мышленія, то мы имѣли бы настоящую Энциклопедію,—мы имѣли бы такой обзоръ и такое изложеніе всѣхъ вопросовъ и отвѣтовъ въ мірѣ, что могли бы отсюда заключить, какие вопросы преимущественно заслуживаютъ нашего вниманія и на которые изъ нихъ уже есть удовлетворительные отвѣты.

Но для этого еще не настало время. Франціи и всей Европѣ предстояло рѣшить важную соціальную задачу; ее нельзя было откладывать до той поры, когда мыслители выработаютъ систему вполнѣ удовлетворяющую требованіямъ философіи. Впрочемъ мыслители и не дѣлали никакихъ серьезныхъ усилий, чтобы достигнуть такого совершенства. Тѣмъ не менѣе Энциклопедія была серьезнымъ и не вполнѣ неудачнымъ предприятіемъ. Разставляя снова на моихъ полкахъ эту гору волюмовъ «мрачныхъ, громадныхъ, и кажущихся еще болѣе громадными, когда станемъ рассматривать ихъ содержаніе», я предчувствую, что ни я ни кто либо другой не нарушилъ еще разъ ихъ покоя. Лѣтъ сто тому назадъ они были орудіемъ великой цѣли, а теперь они ничто иное какъ развалина, покрытая многочисленными историческими наслойніями. Здѣсь передъ нами не над-

гробный памятникъ египетского короля Озимандія, поражающій наши взоры своими уродливыми развалинами и освѣжающій въ насъ безплодныя воспоминанія. Они скорѣе похожи на мрачныя полуразрушившіяся стѣны старой крѣпости, которая была сооружена мощными руками людей вѣровавшихъ въ свое дѣло, и изъ которой кучка бойцовъ однажды выступила на встрѣчу шайкѣ варваровъ для борьбы за человѣчество и за правду.

ГЛАВА VI.

Общественная жизнь.

(1759—1770).

Тотъ обнаружилъ бы свое незнакомство съ фактами, кто сталь бы утверждать, что тѣ люди восемнадцатаго столѣтія, которые не вѣрили въ Бога и были такъ же мало цѣломудрены, какъ царь Давидъ, были нисколько не лучше беспечныхъ бродягъ изъ Грубъ-стрита. Послѣ того какъ Дидро взялся за свое громадное предпріятіе, онъ сдѣлался добропорядочнымъ человѣкомъ. Правда онъ былъ сердечно привязанъ къ одной особѣ, которая не была его женой. Но въ то время и при дворѣ и въ средѣ энциклопедистовъ на бракъ смотрѣли лишь какъ на вѣшнюю связь. Если только не было явного разрыва и какого нибудь скандала, свѣтъ не обращалъ на эти дѣла никакого вниманія. Дидро былъ нисколько не хуже тѣхъ, кто его окружалъ, хотя намъ и очень жаль, что человѣкъ съ такими благородными влеченіями и съ такими возвышенными порывами не былъ лучше ихъ. Если мы сдѣлаемъ надлежащую уступку нравамъ того времени, мы будемъ въ правѣ сказать, что дѣвица Воланъ принадлежала къ разряду почтенныхъ и сантиментальныхъ женщинъ. Ея семейство занимало въ обществѣ хорошее положеніе; она жила вмѣстѣ съ матерью и сестрами, и со всѣми ними Дидро былъ въ хорошихъ отношеніяхъ. Мы можемъ составить себѣ вѣкоторое понятіе о характеристическихъ особенностяхъ этихъ трехъ дамъ изъ слѣдующаго разговора между Дидро и однимъ господиномъ, случайно познакомившимся съ ними: «Онъ сказалъ мнѣ, что провелъ три мѣсяца въ деревнѣ, гдѣ вы живете.—*Три мѣсяца*,—это гораздо болѣе того,

что нужно, чтобы сойти съума отъ г-жи Лежсандръ¹⁾. — Это правда, но вѣдь она такъ сдержанна! — Я не знаю женщины, у которой было бы столько же самоуваженія сколько у нея. — Она имѣеть на это полное право. — Г-жа Воланъ... женщина съ рѣдкими достоинствами. — А ея старшая дочь.... Она умна какъ чортъ. — Она очень умна, но мнѣ всего болѣе нравится въ ней ея откровенность. Я готовъ биться объ закладъ, что съ тѣхъ поръ, какъ она достигла возраста разсудка, она не сказала сознательно ни одной лжи²⁾. — Отсюда видно, что отношенія Дидро къ Софіи Воланъ нисколько не были похожи на грязную любовную связь съ необразованной или легкомысленной свѣтской женщиной. Всѣ внѣшнія приличія строго соблюдались. Ихъ взаимная привязанность хотя въ началѣ и не обходилась безъ любовныхъ ухаживаній, но очень скоро приняла характеръ достоинства и благопристойности, какъ это нерѣдко случается когда въ человѣкѣ, достигшемъ зрѣлаго возраста, смягчается пылкость юношескихъ страстей и является потребность придать своей привязанности философскій отпечатокъ.

Письма, которыя Дидро писалъ къ дѣвицѣ Воланъ, представляютъ одинъ изъ самыхъ интересныхъ мемуаровъ о восемнадцатомъ столѣтіи. Касательно подлинности этихъ писемъ никогда не возникало ни малѣйшаго сомнѣнія, а по отношенію къ ихъ содержанію, ихъ неподѣльность вполнѣ очевидна изъ ихъ оригинального характера. Они въ первый разъ были напечатаны въ 1830 съ рукописи, которая за годъ передъ тѣмъ была продана книготорговцу однимъ французскимъ литераторомъ по имени Жѣди-Дюгуромъ. Этотъ Жѣди-Дюгуръ перешелъ въ русское подданство, переименовался въ Гурова и умеръ статскимъ совѣтникомъ и начальникомъ петербургскаго университета. Нѣть никакой возможности догадаться, какимъ путемъ добылъ онъ письма Дидро. Существуетъ предположеніе, что послѣ смерти дѣвицы Воланъ, ея семейство возвратило Дидро его письма и другія бумаги, и что Дидро передалъ ихъ вмѣстѣ съ другими документами Гrimmu. Отъ этого послѣдняго они перешли въ библіотеку петербургскаго Эрмитажа. Продалъ-ли Жѣди-Дюгуръ копіи или оригиналы, и, если то были копіи, то снималъ-ли онъ ихъ въ упомянутой библіотекѣ, которая однако была ни для кого недоступна въ теченіе царствованія Николая I, — это литературные секреты, разгадать которые нѣть возможности. Вообще, говоря о Дидро, не слѣдуетъ забывать, что духъ мистификаціи, проявлявшійся въ литературѣ восемнадцатаго столѣтія, не переставалъ

1) Младшая сестра Софии, которую любилъ Дидро.

2) XVIII. 454.

парить и надъ литературой девятнадцатаго. Это мы сейчасть увидимъ на другомъ оставшемся отъ Дидро письменномъ документѣ, который даже болѣе интересенъ, чѣмъ его письма къ дѣвицѣ Воланѣ¹⁾.

Эти письма не представляютъ непрерывной серіи. Они писались только въ тѣхъ случаяхъ, когда Дидро уѣзжалъ изъ Парижа или когда дѣвица Воланѣ уѣзжала въ деревню къ своей матери. Дидро выражался въ нихъ, повидимому, откровенно и безъ всякаго лицемѣрія. Отвѣтныя письма дѣвицы Воланѣ, по причинамъ, которыхъ для всякаго понятны, адресовались не въ квартиру Дидро, а тайнымъ образомъ въ бюро того самаго Дамилавилля, который такъ хорошо знакомъ всякому, кто читалъ переписку Вольтера. Дамилавилль былъ начальникомъ одного изъ почтовыхъ отдѣлений; здѣсь мы встрѣчаемся съ однимъ изъ многихъ образчиковъ тайного соглашенія между представителями правительственной власти и ея врагами, такъ какъ письма и пакеты Вольтера, Дидро и прочихъ членовъ этой группы принимались, разсылались, хранились и франкировались начальникомъ одного изъ правительственныхъ учрежденій. Хлопоты, которыхъ Дамилавилль добровольно принималъ на себя съ цѣллю услужить своимъ друзьямъ, служать также свидѣтельствомъ той странной любезности и сердечной заботливости, на которыхъ мы уже указывали какъ на отличительную черту того времени. «Какая внимательность со стороны Дамилавилля»; — писалъ Дидро, — «сегодня воскресенье и ему нужно было выѣхать изъ своего бюро. Но онъ былъ увѣренъ, что я зайду сегодня вечеромъ, потому что онъ зналъ, что я жду отъ васъ письма. Онъ оставилъ не запертою дверь; на столѣ горѣли двѣ свѣчи и между ними онъ положилъ ваше письмо и написанную имъ самимъ любезную записочку». И при свѣтѣ этихъ свѣчей Дидро тотчасъ написалъ длинный отвѣтъ²⁾.

Насъ не можетъ удивлять то, что въ этихъ письмахъ безпрестанно идетъ рѣчь о запоздавшихъ почтовыхъ курьерахъ, о не дошедшихъ до своего назначенія отвѣтахъ, о невыносимости разлуки и объ ожидаемыхъ въ будущемъ радостяхъ. Это все та же старая болтовня между мужчинами и женщинами, которая неизмѣнно возобновляется съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ міръ; только по ней мы и догадываемся, что читаемъ письма, адресованныя женщиной къ женщинѣ. Она интересна для насъ только потому, что представляеть намъ оригинально откровенное и чистосердечное описание вседневной жизни автора этихъ писемъ.

¹⁾ См. главу о *Племяннике г-на Рамо*.

²⁾ 10 ноября, 1770; XIX. 22.

Нѣкоторые полагаютъ, что лучшее средство придать сколько ни-
будь твердую основу жизни, для того, чтобы она не заволакивалась
туманомъ эфемерныхъ мечтаній, заключается въ топографическомъ
и сосредоточеніи,—въ привычкѣ постоянно жить все въ одномъ и
томъ-же домѣ. Дидро принадлежитъ къ числу не многихъ людей,
подчинявшихся этому требованію. Въ теченіе тридцати лѣтъ онъ
занималъ четвертый и пятый этажи дома, который еще не очень-
давно существовалъ на углу улицы Сенъ-Бенуа и улицы Тараннъ-
въ томъ самомъ Парижѣ, котораго не хотятъ изучать въ подроб-
ностяхъ наши туристы, но который тѣмъ не менѣе до сихъ поръ
остается настоящимъ Парижемъ восемнадцатаго столѣтія. О томъ,
какъ былъ устроенъ его кабинетъ, сохранилось прелестное описаніе,
сдѣланное рукою самого жильца. Оно находится въ его игри-
выхъ *Regrets sur ma vieille robe de chambre* (*Сожалѣнія о моемъ старомъ халатѣ*), столь богатыхъ удачными
и восхитительными штрихами.

„Зачѣмъ я разстался съ нимъ? Онъ былъ по мнѣ, а я былъ по
немъ. Онъ обхватывалъ всѣ изгибы моего тѣла, не стѣсняя его; я
былъ живописевъ и красивъ. А этотъ жѣстокъ, чопоренъ и дѣлаетъ
изъ меня какую-то чучелу. Не было такой потребности, къ кото-
рой онъ не примѣнялся бы съ полной готовностью; вѣдь бѣдность
почти всегда бываетъ услужлива. Была-ли покрыта пылью какая
нибудь книга, одна изъ его полъ предлагала свои услуги, чтобы
обтереть ее. Отказывались-ли сгустившіяся чернила течь съ моего
пера, онъ предлагалъ свой бокъ, на которомъ были изображены
длинными черными полосами частыя услуги, которая онъ мнѣ ока-
зывалъ. Эти длинныя полосы свидѣтельствовали о томъ, что я ли-
тераторъ, писатель, человѣкъ работящій. А теперь я съ виду по-
хожъ на богатаго тунеядца; никакъ не узнаешьъ, кто я таковъ.... Я
былъ полнымъ хозяиномъ моего старого халата; я сдѣлялся рабомъ
моего новаго халата. Драконъ, который стерегъ золотое руно, не
былъ болѣе беспокоенъ, чѣмъ я. Я окруженнъ заботами.

„Страстный старикъ, связавшій себя по рукамъ и по ногамъ,
чтобы подчиниться капризамъ молодой вѣтренницы, повторяетъ съ
утра до вечера: Гдѣ моя добрая старая экономка? Какой демонъ
смутилъ меня въ тотъ день, когда я прогналъ ее изъ-за этой новой?
Шотомъ онъ плачетъ и вздыхаетъ.

„Я не плачу и не вздыхаю, но ежеминутно повторяю: да будетъ
проклять тотъ, кто изобрѣлъ искусство придавать самой простой
матеріи цѣнность, окрашивая ее въ красный цветъ! Да будетъ
проклято дорогое одѣяніе, къ которому я обязанаъ относиться съ
уваженiemъ! Гдѣ мои старыя, скромныя, покойныя грубыя лохмотья?

„И это, другъ мой, еще не все. Послушайте, какія опустошенія
производить роскошь, и какіе бываютъ результаты роскоши, кото-
рая во всемъ послѣдовательна. Мой старый халатъ совершенно-

подходилъ къ окружавшѣй меня ветви.... Соломенныи стуль, деревянныи столъ, еловая доска, на которой стояло нѣсколько книгъ, покрытыи копотью эстампы, у которыхъ не было рамокъ и которые были приколочены по угламъ къ стѣнѣ; промежь этихъ эстамповъ три или четыре гипсовыи фигуры,—вотъ что представляло вмѣстѣ съ моимъ старымъ халатомъ самую гармоническую нишету. А теперь гармонія нарушена. Нѣтъ болѣе ни цѣльности, ни единства, ни красоты.

„Ни женщина, вступающая въ домъ вдовца, ни министръ, замѣняющій впавшаго въ немилость ministra, ни епископъ-молинистъ, завладѣвшій приходомъ епископа-янсениста, не могли бы произвести такого смятенія, какое произвелъ у меня этотъ ярко-красный пришелецъ.

Я безъ отвращенія смотрю на крестьянку. Этотъ кусокъ грубой матеріи, покрывающей ея голову; эти волосы падающіе въ беспорядокъ на ея щеки; это дырявое рубище, лишь на половину прикрывающее ея тѣло; эта дрянная коротенькая юпочка, спускающаяся лишь до колѣнъ; эти голыя и покрытыи грязью ноги—все это не оскорбляетъ меня: это—картина такой трудовой жизни, которую я уважаю, это—дурная стороны нужды и несчастія, о которыхъ я сожалѣю. Но я прихожу въ негодованіе, удаляюсь и отворачиваюсь,—не смотря на окружающую ее ароматическую атмосферу,—отъ той развратницы, на которой изысканная прическа, разорванныя манжетки, грязные шелковые чулки и изношенная обувь свидѣтельствуютъ о томъ, какъ нишета сегодняшняго дня соединяется съ вчерашней роскошью. Такова была бы и внутренность моего жилища, еслибы ярко-красный повелитель не настроилъ всего остального на одинъ съ нимъ тонъ. У меня были двѣ нeliшенныхъ достоинства гравюры: *Падение маны въ пустынѣ* Пуссена и *Эсфирь передъ Ассуромъ* того же художника; одна изъ нихъ,—а именно печальная Эсфирь,—постыднымъ образомъ выгнана какимъ-то Рубенсовымъ старикомъ, а *Манна* разсѣяна по вѣтру *Бурей* Вернэ. Сафьянное кресло изгнало соломенныи стуль въ прихожую. Гомеръ, Виргилій, Гораций, Цицеронъ облегчили тонкую еловую доску, гнувшуюся подъ ихъ тяжестью, и были заключены въ шкапъ, украшенный мозаикой—убѣжище болѣе достойное ихъ, нежели меня.... Деревянныи столъ не уступалъ своего мѣста; масса разбросанныхъ на немъ брошюръ и бумагъ охраняла его и, казалось, долго будетъ охранять отъ угрожающаго ему униженія. Но и онъ не избѣгъ своей участіи, и всѣ мои брошюры и бумаги, не смотря на мою лѣни, сами размѣстились на полкахъ дорогаго письменного стола.... Вотъ какъ назидательное убѣжище философа превратилось въ позорный кабинетъ откупщика. Этимъ я нанесъ оскорблениe народной нишетѣ.

„Отъ моей прежней скромной обстановки остался лишь полосатый коверъ. Я сознаю, что этотъ жалкій коверъ не подходитъ къ моей роскоши. Но я уже поклялся и снова клянусь, что я сохраню

этот коверъ, точно такъ какъ крестьянинъ, переселившися изъ своей хижины въ дворецъ своего государя, сохранилъ свои деревянные башмаки. Когда я, надѣвши на себя великолѣпный красный халатъ, вхожу утромъ въ мой кабинетъ и опустивши внизъ глаза, примѣчаю мой старый полосатый коверъ, я вспоминаю о моемъ прежнемъ положеніи, и чувство гордости не осмѣливается проникать въ мое сердце. Нѣтъ, другъ мой, я не развратился. Нужда всегда находитъ у меня отпертую для себя дверь, и прежнюю привѣтливость; я выслушиваю ее, даю ей совѣты, помогаю ей, жалѣю ее“....

А между тѣмъ въ его домашней жизни Сократу-Дидро небо ни-спослало также мало семейныхъ радостей, какъ и болѣе древнему и болѣе великому Сократу. Конечно и самъ Дидро не былъ безупреченъ. Руссо отозвался о его женѣ какъ о сварливой и бранливой женщинѣ. Не подлежитъ сомнѣнію, что она была именно такова; она была упрямая въ своихъ отношеніяхъ къ мужу, нетерпѣлива въ обхожденіи съ дѣтьми, требовательна и безразсудна въ своемъ обхожденіи съ прислугой.¹⁾ Мы не считаемъ себя въ правѣ рѣшить, кто изъ нихъ былъ болѣе достоинъ порицанія. Ихъ совмѣстная жизнь была очень печальна, и ея описание производится на настѣ непрятное и грустное впечатлѣніе. Дидро возвращается вечеромъ отъ Гольбаха, бросаетъ изъ-за двери въ свою комнату портфель, бѣжитъ за письмомъ отъ дѣвицы Воланѣ, пишетъ къ ней письмо, возвращается домой въ полночь, находить свою dochь больной, обращается съ ласковыми и привѣтливыми вопросами къ женѣ, но та отвѣчаетъ ему съ такой раздражительностью, что онъ находится вынужденнымъ замолчать.²⁾ Случались и болѣе бурные сцены. На него въ теченіе двухъ длинныхъ часовъ изливаются потоки незаслуженныхъ и безразсудныхъ упрековъ и онъ удивляется, какая будетъ его женѣ польза, если она доведетъ его до того, что у него лопнетъ одинъ изъ кровеносныхъ сосудовъ; и вотъ какъ онъ изливаетъ свою скорбь:—«Ахъ, какъ тяжела мнѣ жизнь! сколько разъ я встрѣтилъ бы съ радостью ея конецъ»!³⁾ Вотъ какъ мучительна жизнь въ такой семье, где нѣтъ согласія; вотъ какъ мушки и женщины своими прискорбными жгучими раздорами разрываютъ на куски ту нѣжную ткань, которая привязываетъ ихъ другъ къ другу. Развѣ можно смотрѣть на это безъ сожалѣнія!

Попадаются и болѣе свѣтлые промежутки времени; тогда можно было подумать, что въ домѣ было бы болѣе счастья, еслибы жена

¹⁾ См., для примѣра, XIX. 81, 91, 129, 133, 145 и пр; Карлзайль и Розен-кранцъ или просмотрѣли эти мѣста или усомнились въ ихъ достовѣрности, не имѣя на то никакихъ основаній.

²⁾ XVIII. 293.

³⁾ XIX. 46.

была хоть немного болѣе терпѣлива, снисходительна, привѣтлива, и не много менѣе предавалась своимъ бесплоднымъ сувѣріямъ. Одинъ изъ главныхъ недостатковъ современаго соціального идеала женщины заключается въ томъ, что систематически поддерживая въ ней невѣжество, предразсудки и узкость взглядовъ, онъ не требуетъ отъ нея смиренія. «Будьте довольны», — говорилъ Джонъ Веслей своей свою равной женѣ, — «будьте довольны тѣмъ, что вы частное незначительное лицо, и что вѣсть знать и любить Бога да я. Какое значеніе имѣетъ ваша личность для человѣческаго рода? Если бы вы сейчасъ умерли или еслибы вы никогда не жили, что потеряло бы отъ того дѣло Божіе? Однако едва ли можно утверждать, что это энергическое внушеніе исчерпываетъ вопросъ. Оно лишь объясняетъ, какихъ здравыхъ понятій недоставало г-жѣ Дидро и какихъ всегда будетъ недоставать многимъ болѣе достойнымъ личностямъ, пока женщина — въ силу общественнаго мнѣнія или въ силу законовъ, — будетъ устраняться отъ дѣятельного участія въ разрѣшеніи важныхъ общественныхъ вопросовъ и вслѣдствіе этого будетъ относиться безучастно ко всему, кроме домашнихъ интересовъ и эгоистической личной пользы. Между тѣмъ въ домашней жизни Дидро настали болѣе свѣтлые минуты. «Я объявилъ» — пишетъ Дидро, — «что я уѣзжаю въ будущій вторникъ. Лишь только я это сказалъ, на лицахъ матери и дочери обнаружилось смущеніе. У дѣвочки было готово привѣтствіе къ дню моего рожденія и ей было досадно, что она заучивала его по напрасну, а мать предполагала дать большой обѣдъ въ воскресенье. Но все уладилось какъ нельзя лучше. Я совершилъ мою поѣздку и возвратился во время для того, чтобы выслушать привѣтствіе и присутствовать на праздничномъ обѣдѣ. Милая дѣвочка продекламировала свою коротенькую рѣчь самымъ обворожительнымъ образомъ. Когда ей приходилось произнести какое нибудь трудное слово, она останавливалась и говорила мнѣ: «папаша, это случилось отъ того, что у меня выпали два переднихъ зуба», — и это была правда. Затѣмъ она продолжала далѣе. Она должна была въ заключеніе подать мнѣ букетъ, но не могла его отыскать; поэтому она еще разъ остановилась и сказала мнѣ: — «Вотъ что всего хуже: мои цвѣты пропали». Затѣмъ она отправилась отыскивать цвѣты. Мы обѣдали на широкую ногу. Моя жена пригласила всѣхъ своихъ друзей. Я былъ очень веселъ, много Ѳль и пилъ и исполнялъ обязанности хозяина какъ нельзѧ лучше. Вставши изъ-за стола, я остался въ ихъ обществѣ и сѣлъ играть въ карты, вмѣсто того чтобы выйти изъ дома. Они разошлись въ двѣнадцатомъ часу; я былъ въ высшей степени любезенъ и если бы вы знали съ кѣмъ; еслибы вы знали что это за физіономіи, что это за люди, и какой шелъ разговоръ!»

Въ другой разъ дѣвочка спросила у него шопотомъ, почему мать запретила ей напоминать ему, что завтра день ея рожденія. Семейные сцены становились еще болѣе прискорбными, благодаря присутствію веселаго полнаго надеждъ ребенка, машинально смотрѣвшаго своими невинными глазками на трагическую связку любовной связи, превратившейся въ полный горечи раздоръ. Впрочемъ Дидро исполнилъ въ этотъ день свой долгъ и подалъ женѣ букетъ, который былъ принятъ не то чтобы хорошо и не то чтобы дурно. Въ качествѣ хозяина дома онъ предсѣдалъ на обѣдѣ, данномъ въ день ея рожденія. «Если бы вы были тутъ, спрятавшись за занавѣски, вы непремѣнно задали бы себѣ вопросъ, какъ всѣ эти сплетни и вся эта болтовня могутъ совмѣщаться съ некоторыми идеями въ одной и той же головѣ! По правдѣ сказать, я былъ обворожителенъ и удивительно хорошо разыгрывалъ роль глупца»¹⁾.

Среди всѣхъ этихъ большихъ или малыхъ тревогъ, Дидро былъ одержимъ неукротимымъ духомъ предпримчивости. «Я говорю вамъ» — писалъ онъ, — «то же, что говорю всякому: когда вы въ дурномъ расположениіи духа, тотчасъ беритесь за какое нибудь доброе дѣло. Стараясь помочь чужому горю, я забываю мое собственное». Онъ усердно занимался образованіемъ своей дочери, но сѣтовалъ на то, что ея мать уничтожала въ одинъ день то, что онъ насаждалъ въ ея душѣ въ теченіе цѣлаго мѣсяца. Книгопродавцы находили въ немъ самаго любезнаго и самого усерднаго работника. Онъ былъ способенъ работать безъ перерыва цѣлый мѣсяцъ по десяти часовъ въ день надъ просмотромъ корректуръ. Ему случалось не выходить по цѣлымъ недѣлямъ изъ своего кабинета. Онъ утомлялъ свое зрѣніе надъ металлическими досками для гравированія и объяснительными чертежами, не имѣя при этой тяжелой работѣ какой либо ободряющей мысли, кроме убѣжденія, что результатомъ этого будутъ оскорблѣнія, преслѣдованія, нравственные муки и обманъ. Онъ не только проводилъ цѣлые дни надъ своимъ пюпитромъ пока не почувствуетъ, что вся его внутренность въ огнѣ, но работалъ также по ночамъ. Однажды онъ до того усталъ и ослабѣлъ, что заснулъ, положивъ голову на пюпитръ; свѣча упала на его бумаги и онъ, проснувшись, увидѣлъ, что половина книгъ и бумагъ, лежавшихъ на пюпитрѣ, обратилась въ пепель. «Я никому ничего обѣ этомъ не сказалъ», — пишетъ онъ, — «потому что одинъ только намекъ на такое несчастное происшествіе отнялъ бы у моей жены сонъ на всю жизнь»²⁾.

Его любимымъ развлечениемъ по воскреснымъ днямъ была поѣзд-

¹⁾ XIX. 84. См. также 326.

²⁾ XIX. 137, 341, и пр.

ка на дачу Гольбаха въ Грандвалѣ. Начиная съ 1759 г. онъ каждую осень проводилъ тамъ недѣль по шести и болѣе. Тамошній образъ жизни былъ ему по вкусу. Тамъ всякий чувствовалъ себя совершенно свободнымъ, такъ какъ хозяйка дома и сама никому не оказывала церемонныхъ любезностей и ни отъ кого ихъ не требовала. Дидро имѣлъ обыкновеніе вставать между шестью и восемью часами утра и не выходить изъ своей комнаты до часа, проводя время въ чтеніи, письмѣ и размышеніяхъ. Трудно найти человека болѣе чувствительного чѣмъ Дидро къ наслажденію книгами и «тѣми писателями», какъ онъ выражался, «которые увлекаютъ насъ въ насъ самихъ и въ чьи руки природа вложила волшебный жезль, которымъ стоитъ только прикоснуться до насъ, чтобы заставить насъ позабыть все житейскія заботы, сбросить все что есть тяжелаго на нашей душѣ и примириться съ жизнью». ¹⁾ Нашему усердному труженику, точно также какъ и многимъ другимъ, была очень пріятна наклонность къ размыщеніямъ, возбуждаемая книгами, когда мы ихъ читаемъ только ради чтенія, а не для воспроизведенія или непосредственного примѣненія прочитанного, но онъ не былъ въ состояніи довольствоваться такимъ пріятнымъ пре-провожденіемъ времени. Онъ проводилъ утренніе часы за болѣе трудной работой. Окончивъ свои занятія, онъ одѣвался и сходилъ внизъ въ общество своихъ друзей. Затѣмъ наступало время обѣда, который былъ роскошнѣ; и хозяева и гости ёли и пили болѣе, чѣмъ сколько это могло быть полезнымъ для здоровья. Послѣ непродолжительного послѣобѣденного отдыха, часовъ около четырехъ, они брали свои трости и отправлялись бродить по лѣсамъ, вспаханнымъ полямъ, холмамъ и трясинамъ, наслаждаясь природой. Во время прогулки они разсуждали или объ исторіи, или о политикѣ, или о химіи, или о литературѣ, или о естествовѣдѣніи или о нравственности. Когда они возвращались послѣ солнечнаго заката домой, они находили на столахъ свѣчи и карты и садились играть въ пикетъ, который прерывался ужиномъ. Въ половинѣ одиннадцатаго игра кончалась; они проводили еще полчаса въ разговорахъ, а въ половинѣ двѣнадцатаго всѣ они уже были въ постели. ²⁾ Всѣ дни были похожи одинъ на другой,—каждый день были все тѣ же занятія, тоже веселое расположение духа, тотъ же комфортъ, та же умственная дѣятельность, придававшая всѣмъ развлеченіямъ разнообразіе. Тамъ часто бывали и Гриммъ—этотъ немецъ всѣхъ болѣе похожий на француза, и Галіани—этотъ чрезвычайно остроумный человѣкъ и неутомимый рассказчикъ, не имѣвшій себѣ равнаго въ

¹⁾ XVIII. 535.

²⁾ XVIII. 507 и пр.

искусствъ приправлять свои рассказы пантомимами, но вмѣстѣ съ тѣмъ обладавшій самой острой умственной проницательностью, которая постоянно просвѣчивала въ его неаполитанскихъ выходкахъ и буфонадахъ. Гольбахъ интересовался всего болѣе естественными науками. Мармонтель вносилъ въ этотъ кружокъ духъ сантиментальности, а Гельвецій — духъ цинического формализма. Дидро разыгрывалъ изъ себя то Сократа, то Панюрга, то Пантофиля, спрашивалъ, поучалъ, дѣлалъ сопоставленія, изливалъ потоки знанія и новыхъ идей, интересовался всѣмъ, сочувствовалъ всякому душевному настроенію, относился съ одинакимъ увлеченіемъ и къ смѣлой философской выходкѣ и къ забавной остротѣ тещи Гольбаха и къ послѣднимъ новостямъ, сообщеннымъ какимъ нибудь нынѣмъ гостемъ. Въ Грандваль онъ не находилъ, что жизнь тяжела и не говорилъ, что быль бы радъ ея концу. Дѣйствительно, если бы кто нибудь могъ какимъ нибудь чудомъ перенестись на одинъ только день въ шестое десятилѣтіе прошедшаго вѣка, онъ едва ли могъ бы сдѣлать болѣе пріятное употребленіе изъ этого дня, чѣмъ провести его въ средѣ энергическихъ и полныхъ жизни людей, пропутившихся въ послѣобѣденные часы по полямъ и лѣсамъ Грандвalla.

Безстыдная грубость выраженій, которую дозволяли себѣ даже принадлежавшія къ этому обществу дамы, не можетъ быть воспроизведена въ пристойныхъ изданіяхъ нашего времени. Для насъ непонятно, какимъ образомъ Дидро могъ излагать содержаніе нѣкоторыхъ происходившихъ въ Грандваль разговоровъ въ письмахъ, которыя онъ писалъ женщинѣ благовоспитанной и привыкшей держать себя прилично. Самый грубый школьнікъ нашего времени не рѣшился бы произнести такія безстыдныя слова. Но мы впали бы въ ошибку, еслибы позабыли, что тогдашніе обычаи не были похожи на наши. Такъ напримѣръ въ тѣхъ же самыхъ письмахъ Дидро, съ превосходящей всякую мѣру откровенностью, входитъ въ нѣкоторыя подробности касательно состоянія своего здоровья. Онъ разсказываетъ о разстройствѣ своего желудка и о нѣкоторыхъ другихъ еще менѣе годныхъ для описанія препонахъ къ своему благополучию съ такой же нестѣсняемостью, съ какой Цицеронъ разсказывалъ о кровавомъ поносѣ, случившемся съ нимъ послѣ того, какъ онъ, отказавшись за ужиномъ отъ устрицъ и миногъ, не устоялъ отъ соблазна пойти свеклы и мальвы, приготовленныхъ съ зеленью *ut nil posset esse suavius*. Все, что мужчина могъ бы сказать другому мужчинѣ или своему доктору, не считалось въ то время непристойнымъ и для слуха женщины. Слѣдуетъ припомнить, что почти въ ту же самую пору, когда Дидро переписывался съ дѣвицей Воланъ, двоюродная бабка сэра Вальтера Скотта

слышала, какъ сочиненіе г-жи Афары Бенъ читалось вслухъ для забавы многочисленнаго общества, состоявшаго изъ самыхъ высокопоставленныхъ и самыхъ почтенныхъ личностей Лондона. При этомъ намъ приходитъ на память, что въ болѣе раннюю эпоху того же столѣтія Свифтъ вставлялъ въ письма къ Стелль чрезвычайно грубые стихи своего собственнаго издѣлія о Болингброкѣ и имѣлъ обыкновеніе писать изящнымъ дамамъ въ такомъ тонѣ, который показался бы Фальстафу слишкомъ грубымъ даже для Долля Тирсгита. Говоря, что такія грубыя сальности были въ нравахъ того времени, мы вовсе не хотимъ этимъ сказать, что на нихъ не стоитъ обращать вниманія. Но съ нашей стороны было бы напрасной тратой времени, если бы мы занялись критикой такихъ личностей, которыхъ были ничѣмъ инымъ какъ представителями преобладавшаго въ ту пору типа. Для насъ достаточно будетъ указать мимоходомъ на разницу въ нравахъ между настоящимъ и прошедшимъ.

Характеристической особенностью Дидро во время его деревенской жизни была его страсть къ сильнымъ вѣтрамъ. Они приводили его въ восторгъ, и однимъ изъ самыхъ большихъ для него наслажденій было слушать, какъ завываетъ ночью буря, какъ она гнетъ деревья, какъ обливаетъ дождемъ землю и наполняетъ воздухъ звуками своего сиплаго голоса. ¹⁾ Впрочемъ Дидро не принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, у которыхъ любовь къ потрясающимъ явленіямъ природы имѣть въ себѣ какую то дикость. Онъ былъ прежде всего гуманнымъ человѣкомъ, и судьбы человѣчества были главнымъ предметомъ самыхъ сокровенныхъ его думъ. Среди разговоръ безпрестанно слышалось изъ его устъ какое нибудь изящное сужденіе о жизни,—сужденіе самое искреннее, самое правдивое, безъ искусственно исходившее изъ самой глубины его души и изъ не-поддѣльной чувствительности и не запятнанное ни аффектацией ни пошлостью. Нѣкоторыя изъ этихъ сужденій такъ характеристичны, что ихъ нельзя не привести цѣликомъ; въ нихъ такъ мало того, что есть самаго изящнаго въ стилѣ Дидро, что они пострадаютъ отъ перевода на другой языкъ менѣе, чѣмъ произведенія съ болѣе нѣжнымъ колоритомъ и съ болѣе трогательной мелодичностью. Вотъ одинъ изъ такихъ отрывковъ:

„Послѣднія извѣстія, полученные изъ Парижа, встревожили барона, потому что онъ помѣстилъ значительныя суммы въ процентныхъ бумагахъ, выпущенныхъ королевскимъ правительствомъ.... Онъ сказалъ своей женѣ; „послушай, жена, если будетъ такъ продолжаться, я откажусь отъ собственнаго экипажа, куплю тебѣ хо-

рощее пальто и красивый зонтик и мы будемъ всю жизнь благословлять министра за то, что онъ освободилъ нась отъ лошадей, отъ лакеевъ, отъ кучеровъ, отъ горничныхъ, отъ поваровъ, отъ большихъ обѣдовъ, отъ фальшивыхъ друзей, отъ надоѣдливыхъ посѣтителей и отъ всѣхъ остальныхъ привилегій богатства.... « Я, съ своей стороны, подумалъ, что для такого человѣка, у котораго нѣтъ ни жены, ни дѣтей, ни какой либо изъ тѣхъ привязанностей, которая заставляютъ насть желать богатства и не допускаютъ того, чтобы мы жили въ довольствїи,—почти все равно, быть ли бѣднымъ или богатымъ.... Эта парадоксъ есть результатъ моего убѣжденія, что между всѣми житейскими условіями существуетъ равенство и что между благополучіемъ хозяина дома и благополучіемъ его привратника разница не велика.... Если я здоровъ душою и тѣломъ, если я честенъ и совѣсть моя чиста, если я умѣю различать правду отъ лжи, если я избѣгаю дуриаго и дѣлаю добро, если я чувствую мое личное достоинство, если ничто не унижаетъ меня въ моихъ собственныхъ глазахъ, меня могутъ называть какъ хотятъ, словомъ *milord* или словомъ *sirr ah...* Дѣлать добро и любить правду—вотъ что отличаетъ однихъ людей отъ другихъ, а все остальное не имѣтъ значенія. Жизнь коротка, ея насущныя потребности незначительны, а когда насть не станетъ, никому не будетъ дѣла до того, были ли мы чѣмъ нибудь или были ничѣмъ. Вѣдь въ заключеніе всего достаточно будетъ куска грубой матеріи и четырехъ словесъ досокъ.... Съ самаго утра я слышу подъ моимъ окномъ голоса рабочихъ. Лишь только начнетъ разсвѣтать, они съ заступомъ въ рукахъ начинаютъ копать землю и укатывать дорожки сада. Они съѣдаются по куску чернаго хлѣба, утоляютъ жажду въ сосѣднемъ ручейкѣ, въ полдень ложатся уснуть на твердой землѣ и, черезъ часъ, снова принимаются за работу. Они веселы; они поютъ; они обмѣниваются добродушными грубыми шуточками, которые заставляютъ ихъ смѣяться. Вечеромъ, возвратившись домой, они найдутъ полунагихъ дѣтей у покрытаго копотью очага, найдутъ отвратительную грязную крестьянку и постель изъ сухихъ листьевъ, а все таки ихъ участъ не хуже и не лучше моей ... Я вышелъ изъ спальной въ дурномъ расположениіи духа, я услышалъ разговоръ о народной нищетѣ, я безъ аппетита сѣль за роскошный завтракъ; мой желудокъ еще не переварилъ вчерашией пищи; чтобы помочь ему, я взялъ палку и вышелъ погулять; я возвратился для того чтобы сѣсть за карточный столъ и убить время, которое мнѣ было въ тягость. У меня былъ другъ, о которомъ я давно уже не имѣлъ никакихъ извѣстій. Я былъ далеко отъ той женщины, которую хотѣлъ бы видѣть. Непріятности въ деревнѣ, непріятности въ городѣ, непріятности вездѣ. Тотъ, кто не знаетъ что такое душевныя страданія, не принадлежитъ къ числу сыновъ человѣческихъ.... Вѣдь все уравновѣшивается—добро уравновѣшивается зломъ, а зло добромъ, и жизнь обращается въ ничто.

„Завтра вечеромъ или въ понедѣльникъ мы, вѣроятно, пойдемъ на

одинъ день въ городъ; тамъ я увижу ту, о которой я вздыхалъ, тамъ увижу я того молчаливаго друга, отъ котораго не имѣлъ извѣстій. Но на другой же день я съ ними разстанусь и чѣмъ сильнѣе я буду чувствовать удовольствіе при свиданіи съ ними, тѣмъ тяжелѣе будетъ разлука съ ними. Такъ все идетъ на свѣтѣ: какъ ни вертитесь, а всегда найдется какой нибудь загнувшійся листочикъ розы, который причинить вамъ досаду”¹⁾.

Не часто встречается такое сочетаніе сердечной доброты съ философскими идеями, какое мы находимъ въ слѣдующихъ отрывкахъ:

„Ахъ какимъ забавнымъ зрешишемъ быльбы этотъ міръ, если бы мы сами не играли въ немъ никакой роли, еслибы, напримѣръ, мы существовали въ какомъ нибудь пунктѣ пространства, или въ томъ промежуткѣ между небесными тѣлами, гдѣ дремлють боги Эпікура,—если бы мы существовали гдѣ нибудь очень очень далеко; оттуда мы могли бы видѣть тотъ шаръ величиною съ тыкву, на которомъ мы такъ гордо выступаемъ, и оттуда мы могли бы наблюдать съ помощью телескопа за безконечно разнообразными движеніями всѣхъ этихъ двуногихъ насѣкомыхъ, которыхъ называютъ людьми! Я хотѣлъ бы видѣть житейскія сцены не иначе какъ въ сокращенномъ видѣ, такъ чтобы тѣ изъ нихъ, на которыхъ лежить отпечатокъ жестокости, были сокращены до одного дюйма въ пространствѣ и до дѣйствующихъ лицъ вышиной въ полу-линію. А развѣ не странно, что негодованіе возбуждаемое въ насъ несправедливостью, обусловливается пространствомъ и объемомъ? Я прихожу въ сильный гнѣвъ при видѣ того, что большой звѣрь несправедливо нападаетъ на маленькаго. Но я ничего не чувствую при видѣ того, какъ два атома наносятъ одинъ другому раны; какъ сильно вліаютъ наши чувства на нашу нравственность! Вотъ прекрасный текстъ для философскихъ размышленій!”²⁾

„То, что происходитъ каждый день передъ моими глазами, не внушаетъ мнѣ большаго уваженія ни къ медицинѣ, ни къ медикамъ. Родиться на свѣтѣ въ состояніи тупоумія среди страданій и криковъ; быть игрушкой невѣжества, заблужденій, лишеній, болѣзней, злобы и страстей; мало по малу снова возвращаться къ состоянію тупоумія; съ того момента, какъ является способность лепетать до того момента, когда остается лишь способность говорить вздоръ—живь среди плутовъ и шарлатановъ разнаго рода; угасать имѣя подъ себѣ съ одной стороны такого человѣка, который щупаетъ у васъ пульсъ, а съ другой стороны такого человѣка, который приводить въ смущеніе вашу голову; не знать откуда пришелъ, зачѣмъ пришелъ и куда отправляешься: вотъ, что называются самыми дорогими подаркомъ, получаемымъ нами отъ родителей и отъ природы—человѣческою жизнью”³⁾.

¹⁾ 2 ноября 1759; XVIII, 431.

²⁾ XIX. 82.

³⁾ XIX. 139.

Эти мрачные думы не были въ духѣ обычнаго для Дидро настроения ума; они скорѣе были реакцией и облегченiemъ того усиленного напряженія, съ которымъ онъ наблюдалъ за сценой дѣйствія и постоянно задавалъ человѣческой жизни вопросы по мѣрѣ того, какъ ея разноцвѣтныя явленія проходили передъ его глазами. По его безпрестаннымъ грустнымъ напоминаніямъ о ничтожествѣ человѣка и о тщетѣ всего земнаго мы никакъ не могли бы догадаться, до какой степени была бдительна его наблюдательность надъ происшествіями и характерами и съ какимъ вниманіемъ онъ прислушивался ко всякому звуку, въ которомъ сказывалась скорбь, нѣжная эмоція, или печальная превратность судьбы. И все это онъ дѣлалъ не съ суровостью Бальзака и не съ спокойствиемъ или высокомѣриемъ Гете, а съ бывшимъ черезъ край неподѣльнымъ и неудержимымъ состраданіемъ. Онъ былъ сантименталистомъ рационалистического вѣка и притомъ такимъ, у которого вовсе не было сантиментальной мизантропіи, воспламенявшей и ожесточавшей Руссо, а была сантиментальность соціальная, великодушная, многосторонняя и не заботившаяся о премудрыхъ требованіяхъ нравственности. Онъ никогда не оставался ни безчувственнымъ ни нейтральнымъ; напротивъ того, онъ всегда или одобрялъ или порицалъ, но не съ точки зрѣнія учебниковъ нравственности. Казуистика чувствъ всегда въ высшей степени интересовала его, и ему никогда не надоѣдало придумывать такие воображаемые факты, или взвѣшивать такие дѣйствительно случившіеся, въ которыхъ нѣжность чувства береть перевѣсъ надъ узкимъ понятіемъ о долгѣ. Эти факты большею частию такого рода, что изъуваженія къ нравамъ нашего времени мы не считаемъ возможнымъ ихъ излагать; да и немного мы выиграли бы, еслибы изъ святилища человѣческой души съ ея неизмѣримыми радостями и неизмѣримыми горестями мы сдѣлали забавный сюжетъ безполезной діалектики. Гораздо болѣе интересно, а для насъ, англичанъ, даже поучительно посмотрѣть, какъ этотъ полный грэзъ, беспокойный и въ высшей степени изобрѣтательный умъ,—какъ этотъ полу-титанъ, нисшедшій съ небесъ и полу-гномъ, вышедшій изъ-подъ землї,—то съ радостнымъ, то съ горестнымъ чувствомъ увлекается безъискусственной прелестью и естественной нѣжностью по мѣрѣ того, какъ онъ проявляются въ житейскихъ фактахъ и проходятъ передъ его глазами. Ничто не доставляетъ ему такого удовольствія, какъ услышать или самому рассказать какуюнибудь исторію въ родѣ той, где идетъ рѣчь о г-жѣ д'Эпине. Эта дама заплатила одному маленькому мальчику восемнадцать су за одинъ день работы. Онъ возвратился на ночь домой, не имѣя при себѣ ни одной полушки. Когда мать спросила его, неужели ему ничего не заплатили за его работу, онъ отвѣчалъ,

что ничего. Мать полагала, что этого не могло случиться и настоятельно допрашивала его, что онъ сдѣлалъ съ восемнадцатью су. Оказалось, что бѣдный малютка отдалъ ихъ содержателю питьяного дома, въ которомъ его отецъ провелъ цѣлый день въ пьянствѣ; этимъ способомъ онъ хотѣлъ избавить отца отъ непріятной сцены, которую ему сдѣлала бы жена по возвращеніи его домой¹⁾.

Отъ паѳоса юношеской доброты не великъ шагъ и до паѳоса такого возраста, достичь которого всякому было бы желательно. «Я обѣдалъ сегодня съ восхитительной женщиной, которой только восемьдесятъ лѣтъ. Она полна здоровья и привлекательности; ея душа до сихъ порь полна благородства и нѣжности. Она говорить о любви и дружбѣ съ пыломъ и чувствительностью двадцатилѣтней дѣвушки. Насъ было трое мущинъ вмѣстѣ съ ней за столомъ; она сказала, обращаясь къ намъ: «Друзья мои, изящный разговоръ, искренний и страстный взглядъ, слеза, трогательное выраженіе— вотъ что есть хорошаго въ этомъ мірѣ, а обо всемъ остальномъ едвали стоитъ и говорить. Нѣкоторыхъ словъ, которыя были сказаны мнѣ, когда я была молода, я и до сихъ порь не позабыла и каждое изъ этихъ словъ я предпочитаю десяти славнымъ подвигамъ: увѣряю васъ, что еслибы я услышала ихъ даже теперь, мое старое сердце забилось бы сильный обыкновенного». — «Это оттого, что ваше сердце не состарилось». — «Да, сынъ мой, вы правы; оно такъ же молодо какъ и прежде. Я благодарю Бога не за то, что онъ такъ долго сохранялъ мою жизнь, а за то, что онъ до сихъ порь сохранилъ во мнѣ добродушіе, любезность и чувствительность». ²⁾ Все это приходилось Диdro по сердцу и онъ утверждаетъ, что такому разговору онъ придастъ болѣе цѣнны, чѣмъ цѣлымъ часамъ болтовни о политикѣ и философіи, которые онъ провелъ за вѣсоколько дней передъ тѣмъ въ обществѣ своихъ англійскихъ друзей. Отсюда намъ становится понятнымъ, что человѣкъ жившій въ обществѣ способномъ понимать всю прелесть такой сцены, долженъ былъ считать англичанъ за людей суровыхъ, угрюмыхъ и непривлекательныхъ.

Въ его письмахъ намъ безпрестанно попадаются здравыя и полныя фантазіи размышленія. Живши гдѣ то на дачѣ, онъ развлекался разговорами съ однимъ восьмидесятилѣтнимъ старикомъ. «Я люблю дѣтей и старииковъ; на этихъ послѣднихъ я смотрю какъ на какія то странныя существа, которыхъ пощадилъ капризъ судьбы». Въ Лангрѣ онъ повстрѣчался съ однимъ изъ своихъ старыхъ школьнныхъ товарищѣй, тогда какъ почти всѣ остальные уже перемерли:— «Есть только двѣ вещи, которыя напоминаютъ намъ о

¹⁾ XIX. 107.

²⁾ XIX. 181.

неизбѣжности смерти и заставляютъ насъ призадуматься—старыя развалины и короткая жизнь тѣхъ, кто началъ жить въ одно время съ нами». Одинъ изъ его знакомыхъ,—повидимому имѣвшій большое расположение къ такимъ забавамъ,—повелъ его гулять по кучкамъ навоза. «Во всякомъ случаѣ», сказаль онъ, «это не должно оскорблять ничыхъ чувствъ. Для честнаго носа, сохранившаго свою природную невинность, это не козлиный запахъ, а запахъ опрысканной мускусомъ и амбрую женщины, отъ которой дурно пахнетъ».

«Когда я сравниваю наши чувства дружбы съ нашими чувствами антипатіи, я нахожу что первыя легки, слабы и точно будто сдавлены; мы умѣемъ ненавидѣть, но любить мы не умѣемъ».

«Поэтъ, который начинаетъ предаваться лѣни, прекрасно дѣлаеть; онъ долженъ быть увѣренъ, что это происходитъ не отъ недостатка предпріимчивости, а оттого, что его талантъ испарился».

«Помогайте несчастнымъ; только этими способомъ вы можете найти утѣшеніе въ моемъ отсутствії. Когда баронъ лишился своей первой жены и воображалъ, что для него уже не существуетъ счастье въ жизни, я говорилъ ему: «Уходите изъ-дому, бѣгите къ несчастнымъ, помогайте имъ и потомъ посмотримъ, будете-ли вы имѣть достаточно смѣлости, чтобъ жаловаться на вашу судьбу»¹⁾.

«Множество тяготѣющихъ надъ нами мелочей становятся попрергъ дороги между нами и обязанностями, налагаемыми на насъ любовью и дружбой, и мы ничего не дѣлаемъ какъ слѣдуетъ; мы не отаемся вполнѣ ни нашему честолюбію, ни нашимъ наклонностямъ, ни нашимъ страстиамъ и живемъ въ недовольствѣ самими собою. Одно изъ важныхъ неудобствъ общественной жизни заключается въ множествѣ разнообразныхъ занятій и въ особенности въ томъ, что мы съ чрезвычайной легкостью принимаемъ на себя обязательства, отъ которыхъ зависитъ все наше счастье въ будущемъ. Человѣкъ женится и избираетъ какую нибудь профессію; у него есть жена, есть дѣти, а еще нѣтъ здраваго смысла»²⁾.

Послѣ нѣсколькихъ двусмысленныхъ размышленій о поведеніи одной женщины, которая уступила на четверть часа любовнымъ желаніямъ всесильного министра для того, чтобы добиться мѣста для мужа и средствъ существованія для шестерыхъ дѣтей, онъ восклицаетъ:—«По истинѣ, я думаю, что Натура не обращаетъ вниманія ни на добро ни на зло; она вполнѣ погружена въ двѣ цѣли—въ сохраненіе индивидуума и въ распространеніе породы».³⁾ Это вѣр-

¹⁾ XIX. 81.

²⁾ XIX. 149.

³⁾ XIX. 90.

но, но нравственное различие между тѣмъ, что хорошо и тѣмъ, что дурно истекаетъ въ одинаковой мѣрѣ изъ тѣхъ же самыхъ силъ, которыхъ Дидро называетъ здѣсь Натурой.

При умственномъ возбужденіи, въ которомъ онъ живъ, и при энергии, съ которой онъ вызывалъ это возбужденіе, онъ искалъ отдыхновенія или въ спокойствіи или въ томъ, къ чему его влекла чувствительность. Въ одну изъ самыхъ тревожныхъ минутъ своей жизни онъ писалъ: «Сладкій отдыхъ, пріятная книга, прогулка въ какомъ нибудь открытомъ и уединенномъ мѣстѣ, разговоръ, въ которомъ кто нибудь раскрываетъ всю свою душу, сильная эмоція, которая вызываетъ слезы изъ глазъ и заставляетъ сердце биться сильно, все равно вызвана ли она разсказомъ о какомъ нибудь благородномъ поступкѣ или о нѣжномъ чувствѣ, или о здоровье, или о свободѣ или о безопасности—вотъ въ чёмъ заключается истинное счастіе и я никогда не буду знать никакого иного».

Вопросъ, касающійся реторики.—„Около шести часовъ вечера гости разошлись; оставшись вдвоемъ съ Дамилавиллемъ, я сдѣлалъ по поводу представленныхъ въ Академію *Eloges de Descartes* два замѣчанія касательно краснорѣчія, которыя очень понравились ему; впервыхъ я сказалъ, что не должно стараться возбуждать страсти, прежде нежели въ умѣ не будетъ убѣждений и что патетическая выраженія не произведутъ никакого впечатлѣнія, если они не будутъ подготовлены силлогизмами; во вторыхъ я замѣтилъ, что послѣ того какъ ораторъ глубоко растрогалъ меня, я не могу допустить, чтобы онъ прерывалъ это пріятное состояніе моей души чѣмъ нибудь рѣзкимъ, что за патетическими выраженіями должно следовать что нибудь слабое и неопределенное, не требующее съ моей стороны никакого напряженія, и что послѣ сильного возбужденія утомленному оратору столько же нуженъ отдыхъ, сколько и мнѣ“¹⁾.

Впечатлѣнія, которыя произвела Англія на Гольбаха.—„Баронъ возвратился изъ Англіи; онъ отправился туда съ пріятными ожиданіями, но не смотря на то, что встрѣтилъ тамъ самый любезный приемъ и пользовался самымъ лучшимъ здоровьемъ, онъ возвратился оттуда недоволенымъ; онъ недоволенъ и страною, которая вовсе не такъ густо населена и не такъ хорошо воздѣлана, какъ это утверждаютъ, и зданіями, которыя почти безъ исключенія имѣютъ странныя и готическая формы, и садами, въ которыхъ желаніе подражать природѣ болѣе непріятно, чѣмъ искусственная монотонная симметричность, и господствующими вкусами, которые наполняютъ дворцы всѣмъ въ перемѣшку—и изящными произведеніями, и просто хорошими, и дурными, и отвратительными; онъ недоволенъ и общественными развлечениями, которыя похожи на религіозныя перемоніи, и

¹⁾ XIX. 163—4.

людьми, на лицахъ которыхъ никогда не видно ни довѣрія, ни дружбы, ни веселости, ни общительности, но всегда точно будто начертана надпись: „Развѣ есть что нибудь общаго междѹ вами и мной?—недоволенъ вельможами, которые сумрачны, холодны, горды, высокомѣры и тщеславны, и недоволенъ простолюдинами, которые грубы, дерзки и неблаговоспитаны; онъ недоволенъ пріятельскими обѣдами, на которыхъ всѣхъ разсаживаютъ по чинамъ и каждого изъ гостей стѣсняютъ разными формальностями и церемоніями; онъ недоволенъ обѣдами въ гостинницахъ, гдѣ подаютъ все хорошо и скоро, но безъ всякой привѣтливости. Онъ хвалилъ только удобства путешествій; онъ говорить, что даже на проселочныхъ дорогахъ нѣтъ ни одной деревни, гдѣ бы не нашлось готовыхъ къ отѣзду четырехъ или пяти почтовыхъ каретъ и двадцати лошадей.... Тамъ нѣтъ общественного образованія. Ихъ коллегіи—великолѣпныя зданія, похожія на дворцы въ родѣ нашего Тюильрійскаго,—заняты богатыми тунеядцами, которые проводятъ одну часть дня въ томъ, что спятъ или напиваются до пьяна, а другую въ томъ что готовятъ нѣсколькихъ тупоумныхъ воспитанниковъ къ должности пасторовъ.... Въ огромныхъ и роскошныхъ зданіяхъ, воздвигнутыхъ ими для общественныхъ удовольствій, вы могли бы разслышать мышиные шаги. Сотня натянутыхъ и молчаливыхъ женщинъ прогуливается тамъ вокругъ оркестра, который помѣщается по срединѣ и исполняетъ самую прелестную музыку. Баронъ сравниваетъ эти прогулки вокругъ оркестра съ семью процессіями, которыя совершились египтянами вокругъ мавзолея Озириса. Мой пріятель Гаррикъ очень вѣро замѣтилъ, что Лондонъ хорошъ для англичанъ, а Парижъ хорошъ для всѣхъ.... У англичанъ большая страсть къ пропагандѣ своихъ религіозныхъ вѣрованій и къ разсылкѣ миссіонеровъ. Юмъ разсказалъ мнѣ одинъ фактъ, изъ которого вы увидите, что слѣдуетъ думать о мнимомъ обращеніи въ христіанство людоѣдовъ и Гуроновъ. Одинъ изъ миссіонеровъ вообразилъ, что онъ совершилъ въ этомъ отношеніи неподражаемый подвигъ; изъ хвастовства ему вздумалось показать своего новообращеннаго и онъ привезъ его въ Лондонъ. Маленькому Гурону стали задавать вопросы, и онъ отвѣталъ на нихъ какъ нельзѧ лучше. Его повели въ церковь и допустили до пріобщенія св. таинъ, которое, какъ вамъ известно, совершается подъ двумя видами; послѣ пріобщенія пасторъ сказалъ ему: „Сынъ мой, развѣ вы не чувствуете что васъ болѣе обыкновеннаго одушевляетъ любовь къ Богу? Развѣ благодать таинства не дѣйствуетъ внутри васъ? Развѣ ваша душа не согрѣта?“—„Да, отвѣталъ маленький Гуронъ, вино дѣлаетъ мнѣ пользу, но если бы мнѣ вместо него дали водки, я думаю она подействовала бы еще лучше“¹⁾.

Два вопроса совѣсти.—„Священникъ сказалъ, что несчастные любовники всегда увѣряютъ, что они умрутъ отъ любви, но что

¹⁾ 20 сент. 1765; XIX, 179—187.

между ними рѣдко встречаются такие, которые сдерживаютъ свое слово; однако ему случилось видѣть одного влюбленнаго, который сдержалъ слово; это былъ одинъ молодой человѣкъ изъ хорошей семьи по имени *Сульпсъ*. Онъ влюбился въ одну девушку, которая была очень красива и благоразумна, но не имѣла никакого состоянія и принадлежала къ семейству, пользовавшемуся весьма дурной репутацией. Въ то время ея отецъ былъ въ каторжной работѣ за подложную подпись. Эта молодой человѣкъ предвидѣлъ сопротивление со стороны своихъ родителей и всѣ основательные къ тому поводы, и потому старался всѣми силами оторваться отъ предмета своей страсти; но когда онъ убѣдился, что всѣ его усилия напрасны, онъ рѣшился признаться въ этомъ своимъ родителямъ, а когда они стали осыпать его упреками, онъ прервалъ ихъ и сказалъ: „я знаю все, что вы можете мнѣ возразить, и я не въ состояніи опровергнуть тѣ резоны, на которые я самъ бы указалъ моему сыну, если бы я былъ на мѣстѣ моего отца. Но вы должны рѣшить, что пріятѣе для васъ—видѣть меня мертвымъ или вступившимъ въ неравный бракъ, такъ какъ я могу васъ увѣрить, что я умру, если не буду соединенъ съ той, которую люблю.“ Его родители отнеслись къ этимъ словамъ съ надлежащимъ пренебреженіемъ, но это не оказалось никакого вліянія на то, что случилось послѣ. Молодой человѣкъ занемогъ, сталъ чахнуть съ каждымъ днемъ и наконецъ умеръ. Священникъ прибавилъ къ этому: я самъ былъ свидѣтелемъ всего случившагося. Но скажите мнѣ,—замѣтилъ я,—что бы вы сдѣлали на мѣстѣ отца?—Я призвалъ бы къ себѣ моего сына, отвѣчалъ священникъ,—и сказалъ бы ему: *Сульпсъ* было до сихъ поръ вашимъ именемъ; не забывайте, что впредь вы не будете носить его. Выберите себѣ какое хотите другое имя. Вотъ ваша законная доля изъ нашего состоянія. Вступайте въ бракъ съ той, которую вы любите, но уѣзжайте для этого какъ можно дальше, такъ чтобы я не слышалъ ничего объ васъ и да благословить васъ Богъ.—Г-жа д'Эсклевѣль, опасавшаяся, чтобы отвѣтъ священника не произвелъ впечатлѣнія на ея внука, замѣтила, на это, что если бы она была матерью этого молодаго безумца, она поступила-бы точно такъ же какъ поступилъ его отецъ,—оставила бы его умирать. Минѣнія на этотъ счетъ раздѣлились и въ гостинной поднялся страшный шумъ; этотъ шумъ продолжался долго и продолжался бы еще дольше, еслибы священникъ не прервалъ спорющихся разсказомъ другой исторіи въ томъ же родѣ. Одинъ молодой католическій священникъ, недовольный своимъ положеніемъ, бѣжалъ въ Англію, отрекся отъ своей вѣры, женился по закону и прижилъ съ женой дѣтей. По прошествіи некотораго времени онъ соскучился по своей родинѣ и возвратился во Францію вмѣстѣ съ женой и дѣтьми. По прошествіи еще нѣсколькихъ лѣтъ въ его душѣ зародились сожалѣнія; онъ снова перешелъ въ прежнюю свою вѣру, сталъ сомнѣваться въ законности своего брака и задумалъ развестись съ женой; онъ обратился за совѣтомъ къ нашему священнику, но тотъ не зналъ, какъ рѣ-

шить этот трудный вопросъ и не желая братъ что либо на свою ответственность, посовѣтовалъ обратиться къ казуистамъ и юристамъ. Всѣ они рѣшили, что совѣсть не дозволяетъ ему жить вмѣстѣ съ женой. Когда вопросъ о разводѣ, противъ котораго жена протестовала какъ только могла, поступилъ на судебнное разбирательство, супругъ занемогъ и такъ серьезно, что уже болѣе не выздоравливалъ. Тогда онъ послалъ за священникомъ: Другъ мой, сказалъ онъ ему, вамъ извѣстны мои намѣренія; для меня приближается послѣдняя минута; я хочу доказать, что эти намѣренія были искрены. Я хочу публично покаяться, пріобщиться св. таинъ и затѣмъ умереть въ госпиталѣ; прошу васъ, прикажите перенести меня туда.—Нѣтъ, я этого не сдѣляю, возразилъ священникъ; эта женщина невинна. Она вступила съ вами въ бракъ по закону; она не знала, что существуютъ препятствія, недозволяющія ей принять ваше предложеніе. А эти дѣти, какое принимали они участіе въ вашемъ фальшивомъ шагѣ? Виноваты вы одни, а наказаніе падетъ на нихъ! Ваша жена будетъ обезещена, ваши дѣти будутъ признаты незаконными, и какая же будетъ отъ этого польза? Подождемъ, другъ мой, а покуда оставайтесь въ постели той, которую вы называете вашей женой и которая на самомъ дѣлѣ ваша жена; оставайтесь тамъ, гдѣ вы имѣли отъ нея этихъ дѣтей, которыхъ называютъ васъ своимъ отцомъ и которые на самомъ дѣлѣ ваши дѣти.—Священникъ никакъ не хотѣлъ измѣнить своего взгляда. Онъ исповѣдалъ больнаго; а когда болѣзнь еще усилилась, соборовалъ его. Больной кончилъ жизнь, а жена и дѣти сохранили прежнее имя. Мы всѣ одобрили благородуміе священника. Гриммъвелѣль снять съ него портретъ“¹⁾.

Превосходство китайцевъ.—„Касательно этихъ китайцевъ, известно ли вамъ, что у нихъ знаменитость рода восходящая, а не исходящая? У нихъ дѣти дѣлаютъ знаменитыми и облагороживаютъ своихъ предковъ, а не предки облагороживаютъ дѣтей. По совѣсти сказать, это очень разумно. У насъ болѣе великіе поэты, болѣе великіе философы, болѣе великіе ораторы, болѣе великіе архитекторы, болѣе великіе астрономы, болѣе великіе геометры, чѣмъ у китайцевъ; но эти послѣдніе лучше насъ знакомы съ наукой здраваго смысла и добродѣтели и если бы эта наука почему нибудь стала считаться за главную, они бы были бы вправѣ утверждать, что у нихъ по два глаза, у насъ по одному, а всѣ остальные обитатели земли слѣпцы“²⁾.

Почему женщины хорошо пишутъ письма.—„Она пишетъ очень

1) XVIII. 476—8.

2) XVIII. 479. Конть выражаетъ ту же самую мысль, но болѣе серьезно: „Въ теченіи тридцати столѣтій китайская священническая каста, и еще болѣе каста индійская слѣдили за происходившими у насъ на западѣ переворотами; имъ должно казаться, что эти перевороты не болѣе какъ простая агитациѣ, что они такъ же мелочны какъ и шумны, и что нѣтъ ничего, что вносило бы гармонію въ ихъ различные фазы, кроме ихъ притязаній на единство.“—Positive Polity, IV. II. (Въ англійскомъ переводе).

хорошо, даже превосходно. Это оттого, что хороший слогъ истекаетъ изъ сердца; воть почему столькія жеячины, никогда не учившіяся какъ говорить и писать, говорять и пишутъ какъ ангелы, и воть почему столькіе педанты будутъ дурно говорить и дурно писать всю свою жизнь, не смотря на то, что они не переставали учиться,—ничему не научаясь”¹⁾.

„Здѣсь случилось небольшое происшествіе, которое доказываетъ, что всѣ наши прекрасныя проповѣди противъ религіозной нетерпимости еще не принесли большой пользы. Одинъ молодой человѣкъ изъ почтенного семейства,—одни говорятъ, что онъ былъ аптекарскимъ помощникомъ, а другіе говорятъ, что онъ былъ прикащикомъ торговца колоніальными товарами,—вознамѣрился пройти курсъ химіи; его хозяинъ согласился на это съ тѣмъ условіемъ, что онъ будетъ вносить извѣстную плату; молодой человѣкъ на это согласился. По прошествію одной четверти установленного срока, хозяинъ потребовалъ денегъ и ученикъ заплатилъ ихъ. По прошествію еще иѣкотораго времени хозяинъ снова заявилъ денежное требование, на которое ученикъ отвѣчалъ, что онъ долженъ менѣе чѣмъ за одну четверть. Хозяинъ сталъ утверждать, что ему не заплачено и за первую четверть. Дѣло доходитъ до судебнаго разбирательства. Отъ хозяина требуютъ показанія подъ присягою и онъ приноситъ присягу. Но лишь только онъ совершилъ клятвопреступленіе, ученикъ представилъ имѣвшуюся у него квитанцію; и вотъ хозяинъ присуждается къ уплатѣ пени и лишается честнаго имени; это былъ негодяй, который этого стоялъ; но ученикъ былъ по меньшей мѣрѣ вѣтреникъ, которому это дѣло обошлось дороже самой жизни. Онъ получилъ въ уплату за долгъ или инымъ путемъ отъ разнощика по имени Лекюе два экземпляра книги *Christianisme devoile* и продалъ одинъ изъ этихъ экземпляровъ своему хозяину. Этотъ послѣдній донесъ объ этомъ полицейскому чиновнику. И разнощикъ и его жена и ученикъ были арестованы, привязаны къ позорному столбу, наказаны плетьми, съ наложеніемъ клеймъ и осуждены на каторжныя работы: ученикъ на девять лѣтъ, разнощикъ на пять; а жена этого послѣдняго помѣщена на всю жизнь въ гошпиталь.... Но замѣчаете ли вы, къ чему ведутъ подобные приговоры? Разнощикъ приносить мнѣ запрещенное сочиненіе. Если я куплю болѣе одного экземпляра этого сочиненія, меня считаютъ за участника въ запрещенной торговлѣ и подвергаютъ страшному наказанію. Вамъ извѣстно содержаніе книги *l'Homme aux quarante écus*²⁾; вѣдь вы никакъ не угадали бы, почему на нее наложенъ запретъ въ упомянутомъ решеніи суда. Это сдѣлано вслѣдствіе того, что наши повелители до сихъ поръ не могутъ позабыть статьи Тугапъ въ *Философскомъ Лексиконѣ*, которая конечно вамъ извѣстна. Они никогда не простятъ Вольтеру его словъ, что лучше имѣть дѣло съ

¹⁾ XIX. 233.

²⁾ Сатира Вольтера на экономистовъ.

однимъ дикимъ звѣремъ, отъ котораго можно какъ нибудь спастись, нежели съ цѣлой стаей маленькихъ тигровъ исшаго разряда, которые безпрестанно вертятся у васъ подъ ногами.... Возвращаюсь къ тѣмъ двумъ несчастнымъ, которыхъ они осудили на каторжныя работы. По выходѣ оттуда, что съ ними будетъ? Имъ не останется ничего другаго, какъ заняться разбоями на большихъ дорогахъ. Унизительныя наказанія, отнимающія у человѣка всѣ его ресурсы, гораздо хуже наказаній, отнимающихъ у него саму жизнь“¹⁾.

Метода и Геній: аполог.—„Между Гриммомъ и Ле-Руа шелъ разговоръ о геніи, который создаетъ и о методѣ, которая приводить все въ порядокъ. Гриммъ ненавидитъ методу; по его словамъ это ничто иное какъ литературное педантство. Тотъ, кто умѣеть только приводить въ порядокъ, хорошо бы сдѣлалъ, если бы остался въ бездѣйствіи, а тотъ, кто можетъ извлекать просвѣщеніе для своего ума только изъ такихъ предметовъ, которые приведены въ порядокъ, ничего бы не потерялъ отъ того, что оставался бы въ совершенномъ невѣжествѣ. „Какая надобность для очень многихъ людей знать что либо кромѣ своего ремесла?“ Разговаривавшіе высказывали различныя соображенія, которыхъ не считаю нужнымъ повторять, и продолжали бы высказывать до сихъ поръ, если бы аббатъ Галіани не прервалъ ихъ разговора слѣдующими словами:

„Друзья мои, мнѣ приходить на память одна басня, которую прошу васъ выслушать. Вы, можетъ быть, найдете ее немножко длинной, но она вамъ не надоѣсть.

„Въ глубинѣ лѣсовъ возникъ однажды споръ о пѣніи между соловьемъ и кукушкой. Каждая изъ этихъ птицъ восхваляла свой собственный талантъ.—„У которой изъ птицъ, говорила кукушка, пѣніе такъ легко, такъ просто, такъ натурально и такъ мѣрно, какъ у меня?“

„У которой изъ птицъ, говорилъ соловей, пѣніе болѣе пріятно, болѣе разнообразно, болѣе блестяще, болѣе легко и болѣе трогательно чѣмъ у меня?“

Кукушка: „Я говорю мало, но то что я говорю вѣско, порядочно и не позабывается“.

Соловей: „Я люблю говорить, но я всегда новъ и никогда не на-
доѣдаю. Я разливаю по лѣсамъ восторгъ, а кукушка наводить на
нихъ грусть. Она до такой степени придерживается наставлений
своей матери, что не осмѣливается издать какой нибудь звукъ, ко-
торому ее не научили. Что касается до меня, то я никого не при-
знаю за моего наставника. Я смѣюсь надъ правилами. Мною восхи-
щаются всего болѣе именно тогда, когда я ихъ нарушаю. Развѣ
можно сравнивать ея скучную методу съ моими удачными отступле-
ніями отъ правилъ!“

„Кукушка не разъ пробовала заставить соловья замолчать. Но
соловьи, когда поютъ, никого не слушаютъ; это ихъ небольшой по-
ложительный недостатокъ“

1) 8 окт. 1768; XIX. 283.

рокъ. А нашъ соловей, увлекшійся своими музикальными идеями, быстро слѣдила за ними, не обращая вниманія на замѣчанія своего соперника.

„Впрочемъ послѣ непродолжительного спора, они условились подчиниться приговору посредника изъ животныхъ.

„Но гдѣ найти такого посредника, который быль бы достаточно просвѣщенъ и безпристрастенъ въ своеемъ приговорѣ? Вѣдь не легко найти хорошаго судью. И вотъ они стали повсюду искать такого судью.

„Пролетая надъ лугомъ, они примѣтили осла, выступавшаго съ большой серьезностью и важностью. Съ тѣхъ поръ, какъ появилась на свѣтѣ эта порода, еще ни у одного осла не бывало такихъ длинныхъ ушей. „А! воскликнула кукушка, увидѣвшіи эти уши, мы очень счастливы; рѣшеніе нашего спора есть дѣло слуха; вотъ нашъ судья; Богъ создалъ его нарочно для насъ“.

„Оセルъ жевалъ траву. Онъ никакъ не могъ ожидать, что ему когда нибудь придется быть судьею въ музикальномъ вопросѣ. Но Провидѣніе иногда готовить и не такие сюрпризы. Наши двѣ птицы спускаются на землю вблизи отъ него, дѣлаютъ ему комплименты по поводу его серьезности и разсудительности, излагаютъ ему предметъ своего спора и униженно умоляютъ его прослушать ихъ и постановить рѣшеніе.

„Но осель, едва повернувшись къ нимъ свою тяжелую голову и не переставая жевать, выразилъ имъ движениемъ своихъ ушей, что онъ голоденъ и что сегодня у него нѣть судебнаго разбирательства. Птицы настаиваютъ, а осель не перестаетъ быть подножный кормъ. По мѣрѣ того, какъ онъ ёсть, его голодъ утоляется. На окраинѣ луга было нѣсколько деревьевъ. „Хорошо! сказалъ онъ имъ, отправляйтесь туда; я то же туда приду; вы будете пѣть, а я, занимаясь моимъ пищеваренiemъ, буду васъ слушать, и потомъ скажу вамъ, что думаю“.

„Птицы тотчасъ улетаютъ и садятся на вѣткахъ; осель идетъ за ними съ видомъ и съ поступью предсѣдателя суда, направляющагося въ залу засѣданій; подойдя къ нимъ, онъ ложится на землю и говоритъ: „Начинайте, судъ слушаетъ васъ“ А весь судъ состоялъ изъ него одного.

„Кукушка говоритъ: „Многоуважаемый судья, прошу васъ не пропускать безъ вниманія ни одного изъ приводимыхъ мною резоновъ; вникните хорошоенько въ характеръ моего пѣнія и главнымъ образомъ замѣтьте, сколько въ немъ искусства и какая въ немъ метода“. Потомъ, собравшись съ духомъ и безпрестанно взмахивая крыльями, она запѣла: куку, куку, кукуку, кукуку, куку, кукуку“. И сдѣлавши на эту тему всевозможныя вариаціи она замолкла.

„Тогда соловей, безъ всякихъ предварительныхъ объясненій, далъ волю своему голосу, пустился въ самыя смѣлыя модулaciі, въ самыя новыя и самыя изысканныя мелодіи; это были каденцы и триллеры, которымъ не было конца; звуки то ослабѣвали, тихо журча

внутри его глотки, подобно ручейку пробирающемуся промежъ камней, то возвышались и мало по малу усиливались, наполния собою воздухъ и какъ будто сливаясь съ нимъ. Онъ былъ то сладокъ, то игривъ, то блестящъ, то патетиченъ, но его пѣніе не было доступно пониманію каждого.

„Увлекшись своимъ энтузіазмомъ, онъ готовъ быть пѣть безъ конца, но осель, которымъ уже не разъ овладѣвала зѣвота, остановилъ его и сказалъ: „Я предполагаю, что все что вы сейчасъ пропѣли очень изящно, но я въ этомъ ничего не понимаю; мнѣ эта музыка кажется странной, запутанной и безсвязной. Вы можете быть и ученикъ вашего соперника, но онъ болѣе методиченъ, а что касается до меня, то я за методу“.

„Затѣмъ аббатъ, обратившись къ Ле-Руа, и указывая ему на Гrimma, сказалъ: „Вотъ онъ—соловей, вы-кукушка, а я-осель, произносящий приговоръ въ вашу пользу. Прошайте“.

„Разсказы аббата хороши, но они еще много выигрываютъ отъ его манеры рассказывать. Вы не могли бы воздержаться отъ хохота, если бы видѣли, какъ онъ вытягивалъ свою шею и старался придать своему голосу нѣжный тонъ соловья, потомъ надувался и подражалъ рѣзкому голосу кукушки, а потомъ навострилъ свои уши и подражалъ глупой и неуклюжей важности осла; все это онъ дѣлалъ натурально и безъ натяжки. Это оттого, что онъ пантомимъ съ головы до пятокъ“¹⁾.

Разговоръ.— „Странная вещь—разговоръ, въ особенности если общество сколько нибудь многочисленно. Посмотрите, какіе мы дѣлали обходы; мысли человѣка, страдающаго умопомѣшательствомъ, не могли-бы быть болѣе не связны. Однакожъ, точно такъ же какъ яѣтьничего совершенно безсвязного ни въ головѣ человѣка, который видѣть сонь, ни въ головѣ человѣка, который сошелъ съ ума, и въ разговорѣ все имѣеть внутреннюю связь; только иногда бываетъ трудно отыскать едва замѣтныя для глазъ зѣвнья, помошью которыхъ соединено вмѣстѣ столько разнородныхъ идей. Одинъ изъ собесѣдниковъ произносить какое нибудь слово, которое онъ отрываетъ отъ того, что ему предшествовало и что за нимъ слѣдовало въ головѣ; другой дѣлаетъ то же самое, и вотъ никто не можетъ уловить повода къ высказанной мысли. Одного физического свойства бываетъ достаточно для того, чтобы навести заинтересовавшійся умъ на безкочечное множество разнообразныхъ предметовъ. Возьмемъ для примера какой нибудь цвѣтъ,—хоть желтый: золото желто, шелкъ желть, забота желта, желчь желта, солома желта; на сколько новыхъ идей наводятъ эти идеи? Нелѣпости, мечты, непослѣдовательности устной бесѣды происходятъ отъ того, что мы переходимъ отъ одного предмета къ другому чрезъ посредство какого нибудь общаго для нихъ свойства“¹⁾.

1) XVIII. 509.

2) XVIII. 513.

Обращение въ ничто. — „Разговоръ принялъ довольно серьезный оборотъ. Рѣчь зашла объ отвращеніи, съ которымъ мы всѣ относимся къ мысли о томъ, что мы обратимся въ ничто.

„Нѣтъ не всѣ! воскликнулъ патеръ Гуппъ; прошу васъ не включать меня въ это число. Мнѣ все пришлось такъ не по вкусу, что возвращаться къ старому я не желаю. Если бы мнѣ дали блаженное бессмертие за одинъ только день проведенный въ чистилишѣ, я отказался-бы: самое лучшее перестать существовать“.

„Это заставило меня призадуматься и мнѣ показалось, что пока я буду здоровъ, я буду думать такъ же какъ и патеръ Гуппъ, но въ послѣднюю минуту можетъ быть я готовъ буду заплатить за счастье жить еще разъ тысячью, даже десятю тысячами лѣтъ, проведенныхъ въ адѣ. Ахъ! милый другъ, если бы я зналъ, что мы снова сойдемся, что я опять буду любить васъ, я легко убѣдилъ бы себя въ томъ, въ чемъ одна дочь успѣла убѣдить своего умирающаго отца. Это былъ престарѣлый ростовщикъ; одинъ священникъ клятвенно увѣрялъ его, что онъ будетъ осужденъ на вѣчныя мученія, если не возвратить назадъ нажитыхъ денегъ. Старикъ рѣшился на это и, позвавши къ себѣ дочь, сказалъ ей: „Дитя мое, ты надѣялась, что я оставлю тебѣ большое состояніе и действительно ты получила бы его; но вотъ этотъ человѣкъ намѣренъ раззорить тебя; онъ увѣряетъ, что я буду вѣчно горѣть въ адскомъ огнѣ, если умру, не отдавши назадъ того, что пріобрѣлъ. — Вы шутите, отецъ мой, говоря о возвращеніи нажитаго и о вѣчныхъ мукахъ; съ вашимъ характеромъ, вы черезъ десять лѣтъ вѣчныхъ мученій совсѣмъ съ вами свыкнетесь“.

„Онъ нашелъ это мнѣніе основательнымъ и умеръ, ничего не отдавши назадъ.... И за тѣмъ мы пустились въ разговоры о жизни, о смерти, о мірѣ и его предполагаемомъ творцѣ.

„Кто то замѣтилъ, что во всякомъ случаѣ, есть ли Богъ или его нѣтъ, внося это понятіе въ природу или въ какой либо вопросъ, мы только затемняемъ предметъ.

„Другой замѣтилъ, что если какоенибудь предположеніе объясняетъ всѣ явленія природы, изъ этого не слѣдуетъ, что оно основательно: ведь никто не можетъ утверждать что всемирный порядокъ имѣлъ только одну причину. Что же послѣ этого слѣдуетъ думать о такомъ предположеніи, которое, не разрѣшивъ единственного затрудненія, ради котораго его придумали, создаетъ еще безконечное множество другихъ?“

„Въ числѣ этихъ затрудненій есть такое, которое пытались разрѣшать съ тѣхъ поръ какъ міръ сталъ такимъ, каковъ онъ теперь, — а именно: почему люди страдаютъ,ничѣмъ этого не заслуживши. На это еще не было дано отвѣта, потому что и физическое и нравственное зло несомнѣнно съ понятіемъ о вѣчномъ существѣ. Вотъ какъ ставить этотъ вопросъ: съ его стороны это было или безсилие или нежеланіе, безсилие — если онъ хотѣлъ не допускать зла, но не могъ этого сдѣлать; нежеланіе — если онъ могъ не допустить зла, но не захотѣлъ этого сдѣлать.“

„Всякій ребенокъ въ состояніи это понять. Вотъ это и заставило людей выдумать паденіе первого человѣка, первобытный грѣхъ, якозанія и награды въ будущей жизни, воплощеніе, бессмертіе, два принципа Манихеянъ, Оромаза и Аримана персовъ, эманаціи, господство свѣта и ирака, послѣдовательность жизней, переселеніе душъ, оптимизмъ и другія нелѣпости, которыя вкоренились у различныхъ народовъ земного шара, и въ которыхъ вы всегда найдете безсодержательную мечту въ отвѣтъ на фактъ ясный, точный и определенный.

„Какое въ этихъ случаяхъ назначеніе здраваго смысла? То, другъ мой, на которомъ мы остановились: что-бы ни говорили намъ оптимисты, мы имъ возразимъ, что если міръ не можетъ существовать безъ существъ способныхъ чувствовать, а эти существа не могутъ избѣжать страданій, то лучше было бы оставаться въ поковѣ. Вѣдь прошла же цѣлая вѣчность безъ этой глупости.

„Міръ—дѣло глупости! А! другъ мой, какая однако это прекрасная глупость. По мнѣнию некоторыхъ жителей Малабарскихъ острововъ это—одна изъ семидесяти четырехъ комедій, которыми забавляется Превѣчный.

„Основатель оптимизма Лейбницъ, который былъ столько же великъ какъ поэтъ, сколько глубокомысленъ какъ философъ, гдѣ-то разсказываетъ, что въ одномъ изъ храмовъ Мемфиса была высокая пирамида изъ глобусовъ, наложенныхъ одинъ на другой; на вопросъ какого то путешественника, что это за пирамида и что это за глобусы, одинъ священникъ отвѣчалъ, что это міры, которые возможны, и что лучшій изъ нихъ на верхушкѣ; путешественникъ, желая видѣть этотъ лучшій изъ міровъ, взобрался на вершину пирамиды, и первое что онъ увидѣлъ на верхнемъ глобусѣ былъ Тарквиній, насилующій Лукрецію¹).

Почти каждое изъ его писемъ напоминаетъ намъ, что мы находимся на самой вершинѣ такого столѣтія, когда люди всего болѣе занимались спорами, аргументаціей и раціоналистическими идеями. Это было во вкусѣ Дидро точно также, какъ это было во вкусѣ Сократа или докт. Джонсона. Онъ болѣе чѣмъ кто либо другой былъ образцовымъ олицетвореніемъ страсти къ нравоученіямъ, анализу и философствованію,—той страсти, которая была характеристической особенностью вѣка; но и все что его окружало было настроено въ томъ же духѣ. Однажды, возвращаясь въ почтовой каретѣ изъ деревни въ Парижъ, онъдорогой познакомился съ молодой женщиной, которая горячо доказывала ему, что серьозныя страсти теперь были бы смѣшны, что люди ищутъ только удовольствій, и что этимъ способомъ они избѣгаютъ существовавшей въ старое время необходимости нарушать данные клятвы. «Я имѣль смѣлость отвѣтить на это, что

¹⁾ XVIII. 511—3.

я до сихъ поръ остался человѣкомъ стараго времени. «*Тѣмъ хуже для васъ*», возразила она; «*или вы обманываете другихъ или другие васъ обманываютъ, а и то и другое одинаково нехорошо*». ¹⁾ Когда онъ находился въ обществѣ Гrimма и г-жи Эпине, они съ утра до вечера разсуждали объ этикѣ; при этомъ Дидро всегда стоялъ за тѣ мнѣнія, которыя болѣе всѣхъ другихъ воздавали должное благородству и достоинству человѣческой натуры. Онъ разсказываетъ, что во время одной изъ такихъ бесѣдъ Гrimмъ не угодилъ г-жѣ Эпине: «онъ не умѣлъ довольно хорошо опровергнуть замѣчаніе одного общаго знакомаго, утверждавшаго, что мы должны быть безукоризненно честны по отношенію къ нашимъ друзьямъ, но что было бы въ высшей степени нелѣпо относиться къ другимъ лучше, чѣмъ они относятся къ намъ. Я былъ одного съ ней мнѣнія, что слѣдуетъ быть честнымъ и добрымъ со всѣми безъ исключенія» ²⁾.

Вотъ еще описание одного спора съ предположеннымъ ему введеніемъ, которое очень хорошо характеризуетъ нравъ Дидро:

„Этотъ человѣкъ смотритъ на человѣческій родъ только съ мрачной его стороны. Онъ не вѣрить въ добродѣтельныя поступки, онъ старается уменьшить ихъ цѣну; онъ отвергаетъ ихъ: если онъ разсказываетъ о какомъ нибудь фактѣ,—то всегда о чёмъ нибудь отвратительномъ и скандалѣзномъ. Такъ напримѣръ ему случилось говорить съ г-жой Лежандръ о двухъ женщинахъ изъ числа моихъ знакомыхъ; онъ отзывался дурно объ обѣихъ. Конечно у нихъ есть недостатки, но у нихъ есть и хорошія качества. Зачѣмъ умалчивать о хорошихъ свойствахъ и указывать лишь на одни недостатки? Въ этомъ кроется по менѣшай мѣрѣ что то похожее на зависть, которая оскорбляетъ меня, такъ какъ я изучаю людей, какъ изучаютъ писателей, наполняя мою память лишь тѣмъ, что полезно знать и чему полезно подражать. Разговоръ между Сюаромъ и г-жою Лежандръ былъ очень оживленъ. Они старались объяснить, почему чувствительныя сердца, при разсказѣ о какомъ либодѣ хорошей поступкѣ, бываютъ такъ быстро, такъ сильно и такъ пріятно взволнованы. Сюарь полагалъ, что это происходитъ благодаря шестому чувству, которымъ природа одарила насъ для того, чтобы мы могли цѣнить то, что хорошо и увлекательно. Меня спросили, что я обѣ этомъ думаю. Я отвѣчалъ, что это шестое чувство ничто иное какъ химера, что въ насъ все развивается опытомъ, что мы съ ранняго лѣтства узнаемъ, что слѣдуетъ согласно съ нашими инстинктами скрывать или выставлять наружу. Когда мотивы нашихъ дѣйствій, нашихъ сужденій, нашихъ требованій присущи нашему уму, тогда мы имѣемъ то, что называется наукой; если же они не присущи нашему уму, мы имѣемъ лишь то, что называется вкусомъ, инстинк-

1) XIX. 244.

2) XVIII. 459.

томъ, такомъ. Причины, по которымъ мы выказываемъ чувствительность при разсказѣ о прекрасныхъ поступкахъ, неисчислимы: мы разоблачаемъ тѣ качества, которыхъ достойны безконечнаго уваженія; мы обѣщаемъ другимъ наше уваженіе, если они заслужать его какимъ нибудь рѣдкимъ и честнымъ поступкомъ... Независимо отъ всѣхъ этихъ мотивовъ, у насъ есть понятіе о порядкѣ и любовь къ порядку, противъ которыхъ мы не можемъ устоять и которыхъ увлекаютъ насъ противъ нашей воли. Ни одинъ прекрасный поступокъ не обходится безъ какого нибудь пожертвованія, а мы не въ состояніи исклоняться передъ тѣмъ, кто жертвує самимъ собою”— и такъ далѣе все въ томъ же духѣ¹⁾.

Къ сожалѣнію всѣмъ этимъ безконечнымъ спорамъ и разговорамъ недоставало того вдохновенія и той увлекательности, которыми гений Платона умѣлъ украсить самую неважную болтовню между Сократомъ и однимъ изъ софистовъ. «Дидро»,— говорила дѣвица Леспинассъ,— «необыкновенный человѣкъ; онъ въ обществѣ не на своемъ мѣстѣ; онъ созданъ для того, чтобы быть главою какой нибудь секты, или греческимъ философомъ, поучающимъ юношество. Онъ мнѣ очень нравится, но его манера не затрагиваетъ моего сердца»²⁾. И намъ это понятно. Люди спорили въ то время о томъ, что такое добродѣтель, но ихъ споры не были проникнуты тѣмъ неопредѣлимъ духомъ, который заставляетъ нась любить и обожать добродѣтель. Тогда доброту не окружали всѣмъ, что есть прекраснаго на свѣтѣ, не присоединяли къ ней высокаго чувства любви къ ближнему. Поэтому въ сужденіяхъ того времени точно будто не было ни ширины, ни простора, ни воздуха. Впрочемъ эпохи, отличавшіяся болѣе возвышенными рѣчами и болѣе сильнымъ влечениемъ къ духовнымъ предметамъ, не всегда были также же благопріятны для дружбы и житейскихъ привязанностей. Общество того времени не уступитъ никакому другому ни по своей любезности, ни по искренности взаимныхъ симпатій, ни по обязательности взаимныхъ одолженій. Обычныя для того времени нарушенія правилъ нравственности, какъ кажется, хорошо совмѣщались не только съ желаніемъ нравиться, но и съ безкорыстнымъ желаніемъ у служить.

Намъ недостало бы мѣста разсказать все, что намъ известно о добросердечіи Дидро, о его дружелюбіи и неистощимой готовности помочь другимъ. Понятія людей о чувствѣ дружбы такъ же разнохарактерны, какъ и ихъ понятія о другихъ предметахъ. Иные ожидаютъ отъ дружбы совершенного устраненія всякихъ критическихъ замѣчаній и взаимнаго восхищенія другъ-другомъ неограни-

1) XIX. 259.

2) Lettres de Mlle de Lespinasse, VIII., p. 20 (Ed. Asse. 1876).

ченного и безусловного. Другие же ошибочно думаютъ, что дружба даетъ право быть до крайности взыскательнымъ и кстати и не кстати. А Дидро довольствовался тѣмъ, что смотрѣлъ на дружбу какъ на право и обязанность оказывать услуги, не ожидая ни вознагражденія за нихъ ни признательности. Нельзя не сказать, что это рѣдкое явленіе. Трудно бы было найти другаго человѣка, болѣе готоваго посвящать свое время на устройство чужихъ дѣлъ. Онъ по видимому признавалъ за всѣми право пользоваться его временемъ, его кошелькомъ и его дарованіями. Однажды какой то неизнакомецъ пришелъ къ нему съ просьбой написать напыщенное объявление о новой помадѣ. Дидро улыбаясь сѣлъ за письменный столъ и написалъ то, о чемъ его просили. Въ болѣе серьозныхъ пещахъ онъ выказывалъ такую же готовность помочь. Дамилиль лишился одного изъ своихъ дѣтей и его жена была въ отчаяніи. Дидро былъ тотъ, кого просили навѣщать ее, и онъ приходилъ къ ней много дней сряду для того, чтобы утѣшать ее и развлекать. Онъ украсилъ свой разсказъ объ этомъ, напомнивъ читателямъ прекрасныя слова одной убитой горемъ женщины, которая приводятся у Метастазія; когда эту женщину стали утѣшать указаніями на примѣръ Авраама, выражавшаго готовность убить по приказанію божію своего сына, она воскликнула:—Ахъ, Богъ никогда не далъ бы такого приказанія матери!

Аббатъ Ле-Монье писалъ самые плохіе стихи, какіе когда либо приходилось намъ читать; сверхъ того онъ написалъ комедію, которая была тотчасъ признана никуда негодной и сдѣлала переводъ сочиненій Теренція, появившійся на свѣтъ мертворожденнымъ. Но плохіе писатели всегда не церемоняясь отнимаютъ время у хорошихъ критиковъ и мы видимъ, что Дидро любезно проводилъ цѣлые часы надъ рукописями аббата, которые были также плохи какъ и то что было въ нихъ написано, а за тѣмъ проводилъ еще цѣлые часы въ изложеніи критическихъ замѣчаній о такихъ стихахъ, которые были годны лишь на то, чтобы ихъ бросить въ огонь. Аббатъ, уѣхавши изъ Парижа, очутился въ денежныхъ затрудненіяхъ и потому обратился къ Дидро съ просьбой продать принадлежавшій ему энциклопедію. «Я продалъ вашу Энциклопедію», писалъ ему Дидро,—«но получилъ за нее менѣе того, чѣго ожидалъ, потому что намъ повредилъ распущеній за границей этими негодяями—швейцарскими книгопродавцами—слухъ, будто они готовятъ новое дополненное изданіе. Пришлите за принадлежащими вамъ девятью стами пятидесятью ливрами, а если этого недостаточно на ваши расходы, не забывайте, что кромѣ того ящика, въ которомъ лежатъ ваши деньги, есть другой ящикъ, въ которомъ лежать мои деньги.

Я не знаю хорошенъко, сколько ихъ тамъ, но я буду считать, что они всѣ въ вашемъ распоряженіи»¹⁾.

Точно такъ же отнесся онъ къ нѣкоему Жодену,—наемному писателю, работавшему для Энциклопедіи. Жоденъ умеръ, оставилъ безразсудную сумасбродную вдову и упрямую заносчивую дочь. Эта послѣдняя поступила на театральную сцену, и Дидро съ отцовской заботливостью давалъ ей нужные совѣты, искалъ для нея приглашеній, исполнялъ ея порученія, помѣщалъ заработанныя ею деньги и улаживалъ ея отношенія къ роднымъ. Если его совѣты касательно ея ремесла были превосходны, то еще болѣе чѣмъ превосходны были его совѣты касательно поведенія, отличающееся здравымъ смысломъ, искренностью чувства и практической мудростью. И Дидро не ограничивался одними общими фразами. Все, что онъ говорилъ, было реально, опредѣленно и примѣнимо къ обстоятельствамъ и дѣйствующимъ лицамъ. Своенравная девушка, къ которой были обращены эти совѣты, не обнаруживала нетерпѣнія, выслушивая рѣзкія замѣчанія, откровенно высказанныя честныя и искреннія мнѣнія своего доброжелателя. Она, какъ кажется, имѣла достаточно здраваго смысла, чтобы не оскорбляться откровенностью бывшаго начальника ея отца, потому что послѣ того какъ онъ ей сказалъ прямо въ лицѣ, что она заносчива, груба, тщеславна и не всегда правдива, она все таки обращалась къ нему изъ Варшавы, изъ Дрездена, изъ Бордо, съ просьбами купить ей какой то браслетъ, устроить девѣ матери и пріискать хорошее помѣщеніе для двѣнадцати тысячъ франковъ. Когда ея мать впала въ крайнюю бѣдность, Дидро настоятельно требовалъ, чтобы старушка каждый день приходила къ нему обѣдать. И все это онъ дѣлалъ только потому, что эти беспокойные люди случайно были брошены судьбой попрѣгъ его жизненнаго пути и нуждались въ помощи, которую онъ былъ способенъ оказать имъ не безъ нѣкотораго самопожертвованія. Дѣвица Жоденъ едва ли была достойна такой преданной дружбы. Ея родители были протестанты, а такъ какъ она сама перешла въ католическую вѣру, то ей выдавалась ежегодная пенсія почти въ восемь фунт. ст. Не смотря на это, она однажды дозволила себѣ слишкомъ рѣзкія выходки, въ то время какъ несли по улицѣ святые дары, и за это была заключена въ тюрьму; отсюда уже достаточно видно, какая это была ничтожная особа²⁾.

Впрочемъ и мужчины иногда бываютъ такъ же своенравны и непріятны какъ женщины. Мы уже упоминали о нѣкоемъ Ландуа, когда разбирали статью Дидро о *Свободѣ*. Ландуа, какъ ка-

¹⁾ 1 авг. 1769; XIX, 365.

²⁾ (1765—1769) XIX. 381—412. Также стр. 318.

жется, быть образцемъ безразсудства, но онъ былъ бѣдный литераторъ и этого было достаточно для того, чтобы Дидро поддерживалъ съ нимъ знакомство и помогалъ ему. Въ нарушеніе всякихъ причинъ онъ написалъ къ Дидро письмо, наполненное упреками и жалобами на своего благодѣтеля, и хладнокровно требовалъ напечатанія одной рукописи, содержаніе которой могло вызвать серьезную опасность. «Это сочиненіе», — отвѣчалъ ему Дидро, — «могло бы сдѣлаться причиной моей гибели; и послѣ того, какъ вы два раза осыпали меня самыми ужасными и намѣренными оскорблѣніями, вы приглашаете меня просмотрѣть вашу рукопись и напечатать ее! Вы хорошо знаете, что у меня жена и дѣти, что я на замѣчаніи и что вы могли бы вовлечь меня въ положеніе рецидивиста: но вы не обращаете вниманія ни на одно изъ этихъ соображеній; или вы считаете меня за безумца или вы сами безумны; однако вы не безумецъ... Я вижу какіе у людей замыслы и часто изъявляю готовность имъ помочь, не задавая себѣ труда доказывать имъ, что я вовсе не такъ глупъ, какъ они думаютъ. Для этого достаточно, чтобы я видѣлъ въ ихъ проектахъ большую пользу для нихъ самихъ, и не очень большія стѣсненія для меня. Всякій разъ, когда меня принимаютъ за глупца, глупцомъ бываю не я». Затѣмъ Дидро, по видимому, совершенно позабываетъ, что за человѣкъ тотъ, къ которому онъ пишетъ, и изливаетъ свои чувства въ чѣмъ то похожемъ на длинный монологъ о нравственности, о человѣческихъ поступкахъ и о житейской философіи. Онъ утверждаетъ, что человѣкъ, при всей своей высокопарной свободѣ воли, ничто иное какъ крошечное звено въ великой цѣпи событий. Онъ такое существо, которое измѣняется подъ вліяніемъ внѣшнихъ фактовъ; отсюда понятно, какое сильное вліяніе имѣютъ на него примѣръ, обмынь мыслей, воспитаніе, удовольствія, страданія, богатство, нищета. Отсюда зарождается нечто въ родѣ философіи состраданія, которая располагаетъ насть къ добрымъ людямъ и возбуждаетъ въ насть противъ дурныхъ людей неудовольствіе, нисколько не болѣе сильное, чѣмъ то, которое мы испытываемъ, когда выюга засыпаетъ наши глаза пылью. Если вы будете держаться такихъ принциповъ, они примирять васть съ другими и съ самимъ собою; тогда вы не будете ни гордиться тѣмъ, что вы есть, ни укорять себя за это. Никого ни въ чѣмъ не упрекать, и самому ни въ чѣмъ не раскаиваться — вотъ два главныхъ шага на пути къ мудрости; это такая философія, которая примиряетъ насть съ человѣческимъ родомъ и съ жизнью¹⁾.

Въ то время, какъ все его вниманіе было поглощено усиленными занятіями для Энциклопедіи и вызванными ею расприами, онъ

1) Іюнь, 1756; XIX. 433—36.

не былъ въ состояніи отказаться посвятить цѣлые три дня на каторжную работу для составленія отчета объ одномъ важномъ открытии, которое было сдѣлано какимъ-то почтеннымъ господиномъ, вовсе непринадлежавшимъ къ числу его близкихъ знакомыхъ. «Но въ то время какъ я занимался чужими дѣлами, мои собственныя оставались безъ движенія. Я пишу вамъ изъ квартиры Ле-Бретона; передо мною лежитъ масса неисправлѣнныхъ корректуръ и въ моихъ ушахъ раздаются громкія требованія издателя, чтобы яскорѣе покончилъ съ ними. Гrimmъ правъ, утверждая, что время не такая вещь, которой мы можемъ располагать по нашему произволу, что мы обязаны прежде всего и главнымъ образомъ посвящать его нашимъ друзьямъ, нашимъ роднымъ и нашимъ ежедневнымъ обязанностямъ, и что щедро тратить его для тѣхъ, кто намъ равнодушъ, было бы порокомъ.¹⁾ Однако не смотря на самыя благоразумныя увѣщанія со стороны Grimmâ, такая щедрая траты производилась по прежнему.

Былъ только одинъ человѣкъ, съ упрямствомъ и несговорчивостью котораго не могли ужиться дружеская терпѣливость, готовность къ услугамъ и преданность Dидро. Въ моей книжѣ о Руссо²⁾ я уже съ достаточной подробностью говорилъ о ссорѣ между нимъ и Dидро и потому не считаю нужнымъ много распространяться обѣ этомъ предметѣ. Все равно прислушаемся ли мы къ рассказу Руссо или къ рассказу Dидро, наше мнѣніе о случившемся останется неизмѣннымъ. Мы уже видѣли, какая горячая и тѣсная дружба существовала между ними въ тѣ дни, когда Dидро сидѣлъ въ Венсенской тюрьмѣ (1749). Когда Руссо вздумалъ покинуть Парижъ и превратиться въ отшельника (1756), въ группѣ людей собиравшихся у Гольбаха раздались громкія протесты. Ему повторяли то же, что сэръ Вальтеръ Скоттъ сказалъ Баллантину, когда тотъ вздумалъ покинуть Эдинбургъ: «Еслибы самому Спасителю пришлось подвергнуться искушенію, то дьяволъ прежде всего постарался бы увлечь его въ пустыню». Dидро протестовалъ еще громче другихъ друзей Руссо, но отъ этого не произошло ни разрыва, ни даже охлажденія. Мы уже знаемъ, какого рода идеи одиночество вызвало въ мрачномъ умѣ Руссо, а его *Исповѣдь* служить свидѣтельствомъ того, что въ теченіе одного съ половиной года онъ былъ молчаливо погруженъ въ созданія его фантазіей пустяки, а можетъ быть и въ реальныя нелѣпости. Grimmъ, который послѣ дѣвицы Воланъ

¹⁾ Авг. 1762; XIX. 112.

²⁾ Гл. VII.

быть самыи близкимъ другомъ Дидро, презиралъ Руссо, а Руссо ненавидѣлъ Гrimma. «Гrimmъ», — однажды сказалъ Руссо одному изъ своихъ учениковъ, — «единственный человѣкъ, котораго я бытъ способенъ ненавидѣть». Г-жа Эпине должна была ѿхать для своего здоровья въ Женеву и Гrimmu было не трудно убѣдить Дидро, что Руссо обязанъ изъ чувства признательности сопровождать свою благодѣтельницу въ этой поѣздкѣ. Дидро написалъ въ этомъ смыслѣ отшельнику очень внушиительное письмо; это привело Руссо въ ярость. Онъ отклонилъ отъ себя настоятельный увѣщенія, посыпалъ самыи рѣшительнымъ образомъ съ Гrimмомъ, а послѣ раздражительного и несвязаного разговора съ Дидро и съ нимъ прекратилъ всякия сношенія. «Этотъ человѣкъ», — писалъ Дидро вечеромъ того самого дня, когда они видѣлись въ послѣдній разъ, — «отрываетъ меня отъ моей работы; она наполняетъ мою душу волненiemъ, и мнѣ кажется, что точно будто подъ меня витаетъ какой то проклятый духъ. Я хотѣлъ бы не видѣть его никогда болѣе; онъ способенъ заставить меня вѣрить въ чертей и въ адъ»¹⁾. А впослѣдствіи, въ письмѣ къ одному изъ своихъ женевскихъ друзей, онъ напоминалъ о тѣхъ дняхъ, когда изливалъ свою душу въ интимной бесѣдѣ «съ тѣмъ человѣкомъ, который похоронилъ себя въ глубинѣ лѣсовъ, гдѣ душа его ожесточилась, а его природныя нравственные свойства испортились». — «А все таки мнѣ жаль его! Представьте себѣ, что я прежде любилъ его, что я еще не позабылъ тѣхъ старыхъ дней дружбы, и что теперь я вижу его съ преступленiemъ съ одной стороны, съ раскаянiemъ — съ другой и съ тяжелыми бѣдствіями впереди. Онъ еще не одинъ разъ будетъ возбуждать въ моемъ умѣ мучительныя мысли; наши общіе друзья рѣшили, кто изъ насъ правъ; я сохранилъ ихъ всѣхъ, а онъ не сохранилъ ни одного изъ нихъ»²⁾. Дидро не былъ отъ природы злопаматень, и черезъ восемь лѣтъ послѣ того, когда Руссо предпринявший свою несчастную поѣздку въ Англію и въ гористый Дербиширъ, проѣзжалъ Парижъ, Дидро писалъ, что ему доставило бы большое удовольствіе посѣщеніе Руссо. «Ахъ,» — говорилъ онъ, — «я хорошо дѣлаю, что не легко открываю доступъ къ моему сердцу; когда ктонибудь разъ нашелъ тамъ для себя мѣсто, онъ не уйдетъ оттуда безъ того, чтобы оставить послѣ себя болѣе мѣсто; это такія раны, которыхъ никогда нельзя совершенно залечить»³⁾.

Едва ли нужно напоминать безпристрастнымъ читателямъ, что Руссо выражается совершенно такъ-же о своемъ собственномъ сердцѣ. Въ томъ то и заключается самая дурная сторона сантимен-

¹⁾ Дек. 1757, XIX. 446.

²⁾ XIX 449.

³⁾ 20 дек. 1765, XIX. 210.

тальности, что правильное и подобающее человѣку съ сердцемъ сужденіе о другихъ людяхъ она такъ легко замѣняетъ снисходительностью къ самимъ себѣ. Впрочемъ мы охотно допускаемъ, что не Дидро былъ настоящимъ виновникомъ разрыва продолжительной дружеской связи. Онъ могъ бы не безъ основанія сказать: *Еслибы Жанъ-Жакъ былъ правъ, слишкомъ многие честные люди оказались бы не правыми.*

О Гrimmъ я уже говорилъ достаточно подробно въ другомъ мѣстѣ.¹⁾ Его сужденія касательно поведенія и характеровъ были холодны и отчасти слишкомъ строги, но вообще они были основательны. Онъ имѣлъ достаточно проницательности, чтобы видѣть всю пустоту притязаній того общества, въ средѣ которого онъ жилъ. Но главнымъ образомъ у него была свойственная его соотечественникамъ проницательность касательно всего, что входило въ его собственные интересы и касательно того, какую пользу можно извлекать изъ другихъ людей. Самое лучшее, что мы можемъ сказать о немъ, это то, что онъ пріобрѣлъ дружбу Дидро. Привязанность Дидро къ Гrimmu похожа съ виду на тѣ преувеличенія, которыми отличалась эпоха сантиментализма въ Германіи.

Дидро съ такимъ же нетерпѣніемъ ждетъ письма отъ Гrimма, съ какимъ ждалъ писемъ отъ дѣвицы Воланъ. Если Гrimmъ находился въ отѣздѣ въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, то ихъ свиданіе было похоже на сцену изъ какой нибудь мелодрамы. «Съ какимъ пыломъ мы обняли другъ друга. Мое сердце было переполнено. Ни я ни онъ не были въ состояніи сказать ни одного слова. Мы молча обнимались и слезы текли изъ моихъ глазъ. Мы не ожидали его пріѣзда. Мы сидѣли за десертомъ, когда настѣ извѣстили о его прибытіи: *Это Гrimmъ! — Это Гrimmъ!* восклицалъ я, и вставши изъ-за стола побѣжалъ къ нему навстрѣчу и бросился къ нему на шею! Онъ сѣль за столъ, но, какъ кажется, Ѳль неохотно. Что же касается до меня, то я не былъ въ состояніи открыть рта и для Ѣды, ни для разговора. Онъ сидѣлъ подлѣ меня. Я жалъ его руку и смотрѣлъ на него».²⁾ Дѣвица Воланъ иногда сравнивала Дидро съ его другомъ. «Прошу васъ, мой добрый другъ, не дѣлайте никогда сравненія между Гrimmomъ и мною. За его превосходства я вознаграждаю себя тѣмъ, что откровенно сознаю ихъ. Я горжусь побѣдой, которую такимъ образомъ одерживаю надъ мною себѧлюбіемъ и вы не должны отнимать у меня эту маленькую выгоду».³⁾ Но Гrimmъ умѣлъ лучше Дидро соединять нѣмецкую сантиментальность съ неизмѣннымъ себѧлюбіемъ. «Я только что полу-

¹⁾ См. Rousseau, гл. VII.

²⁾ 9 окт. 1759; XVIII. 397.

³⁾ 6 нояб. 1760; XIX. 17.

чилъ отъ Гrimма»—пишетъ добродушный Дидро—«такую записку, которая оскорбляетъ мое слишкомъ чувствительное сердце. Я обѣщалъ ему написать нѣсколько строкъ о выставкѣ картинъ; онъ увѣдомляетъ меня, что если эта замѣтка не будетъ готова завтра, она будетъ вовсе ненужна. Я отомщу за эту неделикатность и отомшу такимъ способомъ, который въ моемъ вкусѣ. Я работалъ вчера цѣлый день и цѣлый день сегодня. Я проработаю всю ночь и весь завтрашній день, а въ девять часовъ вечера онъ получить отъ меня цѣлый томъ исписанный моей рукою». ¹⁾ Едва ли можно предположить, чтобы его нѣмецкій пріятель почувствовалъ всю силу нравоученія, облеченнаго въ такую выгодную для него форму.

Въ то время, какъ Гrimмъ пріятно проводилъ время на дачѣ г-жи Эпине, Дидро работалъ надъ литературной корреспонденціей, которую Гrimмъ обыкновенно посыпалъ въ Петербургъ и къ нѣмецкимъ дворамъ. Въ то время, какъ Гrimмъ гонялся за пенсіями и за почетными титулами въ Саксенъ-Готѣ, или заискывалъ милостей отъ Фридриха Великаго и дожидался въ Потсдамѣ денежныхъ подарковъ, Дидро работалъ какъ поденьщикъ, составляя для него обзоры и хорошихъ и дурныхъ и совершенно неинтересныхъ книгъ, появлявшихся массами на парижскомъ рынке. Когда не было новыхъ книгъ, о которыхъ можно бы было писать отчеты, этотъ изобрѣтательный человѣкъ, обладавший отъ природы всѣми способностями журналиста, сообщалъ извлечения изъ такихъ книгъ, которыхъ не существовало. ²⁾ Зная, что Парижъ былъ центромъ европейской интеллигенціи и литературной дѣятельности, мы можемъ сказать, что эти циркулярные посланія Гrimма и Дидро были тѣмъ механизмомъ, съ помощью котораго свѣтъ разливался изъ Парижа по другимъ менѣе просвѣщеннымъ странамъ. Мы не впадемъ въ преувеличеніе, если скажемъ, что ни о какой другой замѣчательной литературной эпохѣ современники не оставили намъ такихъ интеллигентныхъ, самостоятельныхъ, живыхъ и полныхъ мемуаровъ.

Аббатъ Рейналь, о которомъ намъ придется говорить подробно въ одной изъ слѣдующихъ главъ, первый задумалъ въ 1747 такія обозрѣнія, отчасти похожія на наши журналы, и сталъ разсылать рукописныя съ нихъ копіи по одному разу въ мѣсяцъ вся кому, кто вносилъ за это триста франковъ въ годъ. Въ 1753 это дѣло было передано Рейналемъ Гrimму, который велъ его до 1790,—то есть до такой поры, когда уже прошло двѣнадцать лѣтъ со смерти Вольтера и Руссо и шесть лѣтъ со смерти самаго способнаго, самого оригинального и самаго усерднаго изъ его сотрудниковъ.

¹⁾ 17 сент. 1761; XIX. 47.

²⁾ 17 сент. 1769; XIX. 320.

Интереснымъ эпизодомъ въ жизни Дидро были его непосредственныя сношения съ однимъ изъ тѣхъ двухъ коронованныхъ покровителей революціонной литературы, которые выдавали себя за философовъ, но на самомъ дѣлѣ были представителями абсолютизма. Фридрихъ Великій, который въ своихъ понятіяхъ о литературѣ строго придерживался условнаго французскаго классицизма, никогда не находилъ большаго интереса въ произведеніяхъ Дидро и не питалъ сочувствія къ его личности. Напротивъ того, императрица Екатерина такъ восхищалась Энциклопедіей, что была готова помочь многострадальному творцу этого произведенія. Въ 1765, когда это предпріятіе было въ полномъ ходу, Дидро сильно заботился о томъ, какъ обезпечить будущность своей дочери. Онъ не былъ въ состояніи дать ей какое либо приданое въ томъ случаѣ, если бы кто нибудь сталъ искать ея руки, а на случай своей смерти онъ могъ бы оставить ей лишь очень незначительное наслѣдство. Доходъ отъ недвижимой собственности, доставшейся ему въ наслѣдство отъ отца, весь поступалъ въ руки его жены на домашніе расходы. Его собственные заработка, какъ мы уже замѣтили выше, были не велики. Есть такие литераторы,—писалъ онъ въ 1767,—которые нажили своимъ трудомъ двадцать, тридцать, восемьдесятъ и даже сто тысячъ франковъ. По его мнѣнію его литературныя занятія доставили ему около сорока тысячъ кронъ или около пяти тысячъ фунт. стерл. Онъ съ грустью произнесъ слѣдующія слова, которая можетъ примѣнить къ себѣ всякий, кто принадлежитъ къ пишущей братии: «Нѣтъ возможности надѣять состояніе, но было бы можно пріобрѣсть удобства и комфорта, еслибы заработанныя деньги не получались мало по малу въ теченіе столькихъ лѣтъ, еслибы они не исчезали по мѣрѣ того, какъ они получались и еслибы они не разбрасывались и не издерживались въ ту пору, когда стала приближаться старость, когда нужды стали болѣе многочисленны, когда глаза стали плохо видѣть, а умъ сталъ слабѣть и притупляться.»¹⁾ Онъ самъ былъ именно въ такомъ положеніи. Заработанныя имъ деньги всегда тратились безъ всякой разсчетливости. Онъ не былъ въ состояніи воздержаться отъ покупки понравившейся ему книги или гравюры, хотя на другой же день быть готовъ подарить только что купленную вещь всякому, кто сталъ бы приходить отъ нея въ восторгъ. Онъ бралъ наемную карету въ такихъ случаяхъ, когда всякий другой прошелся бы пѣшкомъ, и не рѣдко случалось, что извозчикъ простаивалъ пол-дня у воротъ дома, въ которомъ его беззаботный сѣдокъ толковалъ объ истинѣ, добродѣтели и изящныхъ искусствахъ, не замѣчая что ча-

¹⁾ Lettres sur le Commerce de la Librairie, XVIII, 47.

сы проходятъ и что плата за карету все растеть. Вотъ почему, когда сбереженія были бы кстати, ихъ не оказалось. Впрочемъ, мы должны братъ человѣка такимъ, каковъ онъ есть, со всѣми его недостатками, а такъ какъ Дидро не былъ бы Дидро, если бы онъ стала копить деньги, то мы и не будемъ дольше останавливаться на этомъ предметѣ.

Въ промежутокъ времени между 1763 и 1765 годами,—когда онъ счелъ своимъ долгомъ обезпечить свою дочь,—онъ рѣшился продать свою библіотеку. Императрица Екатерина узнала отъ Гrimма о затруднительномъ положеніи, въ которомъ находился Дидро. Ея повѣренному было приказано купить библіотеку по той цѣнѣ, какая будетъ назначена ея владѣльцемъ, и Дидро получилъ шестнадцать тысячъ ливровъ, то есть около семисотъ фунт. ст. Императрица присовокупила къ этой сдѣлкѣ щедрую милость. Она пригласила Дидро быть хранителемъ новаго ея пріобрѣтенія съ платою за его трудъ по тысячу ливровъ въ годъ. Это жалованье было выплачено впередъ за пятьдесятъ лѣтъ и такимъ образомъ Дидро разомъ получилъ отъ двухъ до трехъ тысячъ фунт. ст., то есть такую сумму денегъ, которая должна была показаться ему громадной, и которая по сравнительной стоимости денегъ, соответствуетъ въ наше время суммѣ втрое или даже вчетверо большей. Для части литературы намъ было-бы пріятнѣе, еслибы Дидро сохранилъ свою независимость. Но назначеніе пенсій было въ то время въ обычай. Вольтеръ хотя и былъ человѣкъ съ хорошимъ состояніемъ, однако не пренебрегалъ пенсіей, которая была ему назначена Фридрихомъ Великимъ, и громко жаловался на неакуратность ея уплаты въ то самое время, когда онъ зналъ, что нужда въ деньгахъ заставила Фридриха обратить свою серебряную посуду въ звонкую монету. Д'Аламберъ также получалъ пенсію изъ Берлина, а Гrimмъ, какъ мы уже прежде замѣтили, собиралъ всякия крохи при дворахъ съверныхъ государей. Фридрихъ предлагалъ пенсію и Руссо, но этотъ странный человѣкъ, соединявшій въ себѣ столько простоты, чувствительности и возвышенности съ отвратительными недостатками, не захотѣлъ налагать новое бремя на пришедшіе въ разстройство королевские финансы ¹⁾.

Авторская дѣятельность и характеры знаменитыхъ людей освѣтились бы для насъ поучительнымъ свѣтомъ, еслибы мы всегда были въ состояніи знать, какого рода отношенія существовали между писателемъ и его книгопродающимъ. Точка зреенія Дидро на всѣ уловки и приемы, которыми сопровождались въ его время изданіе и продажа книгъ, всегда была и въ теоріи и на практикѣ такая,

1) См. Rousseau, гл. XI.

какая прилична человѣку съ здравымъ смысломъ и съ непоколебимой честностью. Изъ предыдущей главы мы уже познакомились съ нѣкоторыми изъ тѣхъ затрудненій, съ которыми должна была въ ту пору бороться книжная торговля. Книгопродавцы составляли замкнутый цехъ изъ трехъ сотъ шестидесяти членовъ, а число содержателей типографій было ограничено тридцатью шестью. Ихъ привилегіи не доставляли имъ большихъ выгодъ. Ихъ кредитъ и ихъ репутація были самые жалкие, и большинство изъ нихъ едва ли было лучше уличныхъ нищихъ. Говорили, будто въ числѣ трехъ сотъ шестидесяти не было и дюжины такихъ, которые имѣли что нибудь кромѣ того платья, которое было у нихъ на плечахъ. Они были связаны по рукамъ и по ногамъ стѣснительными постановленіями, а ихъ торговлю постоянно разоряла кучка людей, которыхъ они ненавидѣли какъ контрабандистовъ, но которыхъ публика имѣла нѣкоторые резоны благословлять. Ни одинъ книгопродавецъ и ни одинъ содержатель типографіи не могъ открывать заведенія въ университетскаго квартала или на сѣверной сторонѣ мостовъ ведущихъ черезъ Сену. Это ограниченіе, столь же древнее какъ и введеніе во Франціи книгопечатанія, возникло въ ту пору, когда королевскіе надсмотрщики безпрестанно и тщательно осматривали типографіи и книжныя лавки; благодаря ему чиновники не тратили напрасно времени на разыѣзы, такъ какъ всѣ заведенія, которая имъ приходилось посѣщать, были сосредоточены въ одномъ пунктѣ. А такъ какъ всякий нуждался въ книгахъ, но не всякий былъ расположенъ предпринимать утомительное путешествіе въ кварталъ книжныхъ лавокъ, то возникла профессія продажи книгъ въ разносъ. Разнощики покупали или брали въ кредитъ у книгопродавцевъ книги, и переносили ихъ въ повѣшенной на шеѣ сумкѣ въ дома покупателей, точно такъ какъ въ наше время носятъ по деревнямъ тесемки и каленкоръ, дешевыя шелковыя матеріи и фальшивые брилліанты. Даже бѣдныя женщины накладывали въ свои передники нѣсколько книгъ, переносили ихъ по ту сторону мостовъ и потомъ стучались въ двери зажиточныхъ людей съ предложеніями. Все это было бы выгодно для членовъ цеха, еслибы разнощики довольствовались покупкою книгъ у патентованныхъ книгопродавцевъ, Но разнощики сами стали втайне заниматься издательскимъ дѣломъ на свой собственный счетъ. Какъ это всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ, въ замѣнъ свободной торговли возникла контрабанда. Контрабандисты стали издавать книги безъ разрѣшенія авторовъ и сдѣлались главными покупателями и распространителями тѣхъ воровскихъ изданій, которая доставлялись громадными кипами изъ Швейцаріи, изъ Голландіи и изъ Авиньона, находившагося въ то время во владѣніи папы. Благодаря ихъ ловкости и смѣло-

сти, публика могла пріобрѣтать сочиненія, запрещенныя правительствомъ. *Персидскія письма* Монтецкіе были запрещенной книгой, но, не смотря на это запрещеніе, существовало до сихъ изданій за двадцать лѣтъ до того, какъ она была дозволена, и всякий школьнікъ могъ купить ее на набережной Сены за дюжину полупенсовъ. Во всѣхъ какъ публичныхъ такъ и частныхъ библіотекахъ можно было найти и *Размышленія о кометѣ Бэйля*, и *Эмиля* и *Элоизу* Руссо и *D'e l'esprit* Гельвеція и тысячи другихъ запрещенныхъ книгъ. *Общественный Договоръ*, который печатался и перепечатывался въ безконечномъ числѣ изданій, продавался за одинъ шиллингъ у самаго подъѣзда къ королевскому дворцу. Когда полиція выказывала усердіе, разнощикъ подвергался страшному риску,—какъ обѣ этомъ было говорено на одной изъ предыдущихъ страницъ,—но онъ вознаграждалъ себя за этотъ рискъ высокими цѣнами. Правительственное запрещеніе иногда въ теченіе двадцати четырехъ часовъ возвышало цѣну книги съ полукроны на пару гидоровъ. Подобныя мѣры възвуждали въ публикѣ любопытство, усиливали спросъ, вызывали тайные перепечатки и способствовали распространению книги, которая считалась въ числѣ уничтоженныхъ. Когда на улицахъ объявлялось во всеуслышаніе о запрещеніи какой либо книги, авторъ ея говорилъ самъ себѣ: «Хорошо, значитъ потребуется второе изданіе!» Никому неизвѣстный писатель не могъ бы просить у правительства болѣе цѣнной для себя милости, чѣмъ изданіе декрета, который осуждалъ бы его сочиненіе на уничтоженіе и на сожженіе внизу главной лѣстницы, ведущей въ судебнную палату¹⁾.

Эта практическая невозможность уничтожить запрещенную книгу затрагивала интересы цеха издателей и въ тоже время ослабляла силу правительственныхъ распоряженій касательно книжной торговли. Издатели постоянно вводились въ хлопоты, въ денежныя потери, а иногда и совершенно раззорялись вслѣдствіе систематического грабежа и нарушенія ихъ законныхъ правъ. Правительство, съ своей стороны, не могло не сожалѣть, что книги, проникавшія въ королевство изъ-за границы, не доставляли никакихъ денежныхъ выгодъ мануфактурной промышленности королевства,—не доставляли заработковъ ни наборщикамъ, ни типографщикамъ, ни литейщикамъ, ни писчебумажнымъ фабрикантамъ, ни тѣмъ, кто дѣлалъ сафьянъ и веленевую бумагу, ни тѣмъ, кто дѣлалъ машины и ручные инструменты. Когда вышелъ въ свѣтъ *Лексиконъ Бэйля*, на него съ жадностью набросилась вся Европа. Сотни экземпляровъ этого знаменитаго

¹⁾ Lettre sur le Commerce de la Librairie (1767). Oeuv. XVIII.

произведенія нашли себѣ путь внутрь Франціи и оплачивались французскими деньгами. Книгопродавцы обратились съ адресомъ къ министру и безъ труда убѣдили его въ разницѣ, существовавшей, по экономическимъ понятіямъ того времени, между обмѣномъ денегъ на бумагу, и обмѣномъ бумаги на бумагу. Министръ отвѣчалъ, что это соображеніе основательно, но что все таки никогда ни одному экземпляру сочиненій Байля не будетъ открыть доступъ внутрь королевства. «Самое лучшее, что можно бы было сдѣлать», — сказалъ онъ, — «это — напечатать его книгу здѣсь». И третье изданіе Байля было напечатано во Франціи къ великому удовольствію французскихъ типографщиковъ, переплетчиковъ и книгопродавцевъ.

Въ 1761 книгопродавцевъ постигла новая бѣда. Иностранные хищники и домашніе разнощики уже причиняли имъ не мало вреда, но въ этомъ году правительство нанесло ударъ самому принципу литературной собственности. Королевскій Совѣтъ предоставилъ потомкамъ Ляфонтена исключительное право на изданіе произведеній ихъ предка, — другими словами Совѣтъ отнялъ у издателей сочиненій Ляфонтена безъ всяаго вознагражденія то право, за которое они заплатили звонкой монетой. Вся корпорація, натурально, возстала противъ такого распоряженія и директору полиціи было приказано серьозно вникнуть въ это дѣло и доставить свои соображенія о томъ: слѣдуетъ ли сохранить цехъ издателей, слѣдуетъ ли считать королевскую привилегію на изданіе какой либо книги за твердое и неприосновенное право собственности на это изданіе; не слѣдуетъ ли давать безъ всякихъ стѣсненій и даже безъ всякихъ ограниченій молчаливое разрѣшеніе печатать то, что было бы неудобно разрѣшать особыми королевскими декретами, и слѣдуетъ ли оставить въ силѣ прежнее распоряженіе, недозволявшее книгопродавцамъ открывать лавки въ указанного имъ квартала. Г. де Сартинъ поручилъ Дидро составить записку по этому предмету и былъ непріятно удивленъ, узнавши изъ записки, что Дидро рѣшительно вступается за книгопродавцевъ (1767). Дѣйствительно, Дидро не скрываетъ, что онъ желалъ бы уничтоженія всякихъ стѣсненій, а покуда настаиваетъ на томъ, чтобы было сдѣлано все, что только можетъ сдѣлать система регламентациі, какъ діаметрально противоположная системѣ свободы, для того, чтобы изданіе книгъ сдѣлалось источникомъ благосостоянія для книгопродавцевъ и доставило покупателямъ возможность приобрѣтать книги недорогой цѣнѣ. Но главнымъ образомъ Дидро рѣшительно требуетъ признанія литературной собственности и протестуетъ противъ такихъ ея нарушеній, какія мы видѣли въ дѣлѣ наследниковъ Ляфонтена. Онъ не имѣлъ никакого основанія быть особенно доброжелательнымъ къ книгопродавцамъ, но онъ по-

нималъ, что уничтожить или ограничить право литературной собственности значило затруднить для писателей продажу ихъ произведеній и тѣмъ нанести имъ очень большой вредъ. Съ другой стороны, у Дидро было достаточно беспристрастія и здраваго смысла, чтобы понимать, что преувеличенное понятіе о достоинствѣ литературы и о ея нравственной силѣ нисколько не умаляетъ того факта, что книга есть предметъ купли и продажи и что люди, занимающіеся такой торговлей, имѣютъ такое-же право на уваженіе къ заключеннымъ ими контрактамъ, какъ и тѣ, которые торгуютъ какимъ либо другимъ товаромъ¹⁾.

Яркой иллюстраціей этихъ неожиданныхъ дѣловыхъ способностей Дидро служитъ разговоръ, который онъ однажды имѣлъ съ д'Аламберомъ. Этотъ разговоръ долженъ показаться интереснымъ всякому, кто желаетъ ближе ознакомиться съ характерами двухъ знаменитыхъ людей. Онъ происходилъ въ 1759, въ то время, когда д'Аламбера надобла Энциклопедія и когда онъ соглашался снова приняться за дѣло на очень стѣснительныхъ для издателей условіяхъ. «Если бы вы предложили эти условія», — сказалъ ему Дидро, — «шесть мѣсяцевъ тому назадъ, когда мы собирались для совѣщаній о продолженіи предприятия, книгопродавцы тотчасъ согласились бы на нихъ, но теперь, когда у нихъ есть самыя основательные резоны, чтобы не желать вамъ угодить, совсѣмъ другое дѣло».

„Скажите, какие резоны?“

„Вы требуете, чтобы я вамъ указалъ ихъ?“

„Конечно.“

1) Кто интересуется авторской дѣятельностью, тотъ вѣроятно захочетъ знать, чѣмъ все это кончилось. Литературная собственность не принадлежитъ къ числу нововведеній нового времени: вѣчное право авторовъ или тѣхъ лицъ, которымъ они его уступили, признавалось во Франціи въ теченіе всего семнадцатаго столѣтія и въ теченіе первыхъ трехъ четвертей восемнадцатаго столѣтія. Вѣчность этого права создала литературную собственность, достигавшую иногда до значительной цѣнности; такъ напримѣръ Диксіонеръ Було былъ проданъ душеприкащиками автора за 24,000 ливровъ; карманный Диксіонеръ и два диксіонера Прево были проданы за 115,000 ливровъ. Но въ 1777, — черезъ десять лѣтъ послѣ вмѣшательства Дидро въ это дѣло, — королевскій Советъ декретировалъ, что литературная собственность есть привилегія, и что пользоваться ею можно не иначе какъ съ разрѣшеніемъ Короля. Такое превращеніе авторскаго права изъ собственности, которую можно передавать другимъ, въ срочную привилегію, какъ кажется, было вызвано слѣдующими мотивами: во первыхъ общей манией того времени соединять въ рукахъ администраціи всѣ нити національной жизни, во вторыхъ наложкой, что тарифъ на выдачу привилегій будетъ источникомъ доходовъ. Учредительное Собрание отнеслось къ этому предмету и неразумно и невнимательно, но Конвентъ издалъ законъ, признававшій за авторомъ исключительное право въ теченіе всей его жизни, и предоставившій право собственности въ теченіе десяти лѣтъ послѣ его смерти его наследникамъ или его *cessio naipes*. Вся исторія этого вопроса подробно изложена въ сборникеъ документовъ, носящемъ слѣдующее заглавіе: *La grorgie et litteraire au 18-eme siecle* (Hachette, 1859).

„Въ такомъ случаѣ я вамъ ихъ укажу. Вы заключили условіе съ книгопродавцами; тамъ обозначенъ размѣръ слѣдующаго вамъ денежнаго вознагражденія и вы не въ правѣ чего либо требовать сверхъ того. Если вы работали болѣе, чѣмъ сколько вы были обязаны работать, вы дѣлали это изъ сочувствія къ предприятію, изъ дружбы ко мнѣ и изъ уваженія къ самимъ себѣ: за такие мотивы не платить деньгами. Впрочемъ при выходѣ въ свѣтъ каждого тома, они присыпали вамъ по двадцати луидоровъ; значить, вы получили сто сорокъ луидоровъ, которые не входили въ число должной вамъ по условію суммы. Вы задумали сѣзжать въ Вѣзель (въ 1752 для свиданія съ Фридрихомъ Пруссікимъ) въ такое время, когда ваше присутствіе было всего болѣе нужно книгопродавцамъ; они васъ не удерживали, а напротивъ предложили вамъ денегъ, зная что вы нуждаетесь въ нихъ. Вы приняли отъ нихъ двѣсти луидоровъ и не вспомнили объ этомъ долгѣ въ теченіи двухъ или трехъ лѣтъ. По прошествію этого времени, вы наконецъ захотѣли расплатиться. Что тогда они сдѣлали? Они возвратили вамъ разорваннымъ вашъ чекъ и повидимому очень были довольны тѣмъ, что нашли случай услугить вамъ. Тѣмъ не менѣе вы отказались отъ участія въ предприятіи, на которое они рисковали всѣмъ своимъ состояніемъ; должно быть въ глазахъ такого философа какъ вы двухъ-милліонное дѣло—незаслуживающая вниманія бездѣлица... И это еще не все. Вамъ приходитъ фантазія собрать въ одно цѣлое нѣкоторыя статьи, разбросанныя по всей Энциклопедіи; ничто не могло быть болѣе противно ихъ интересамъ; они вамъ объясняютъ это; вы настаиваете, изданіе выходить въ свѣтъ на ихъ счетъ и съ предоставленіемъ вамъ доли въ барышахъ. Казалось бы, что заплативши за вашъ трудъ два раза, они были въ правѣ считать его своей собственностью. Но вы отыскиваете другаго изданія, которому продаете то, чтобъ вамъ не принадлежитъ.“

„Они причинили мнѣ тысячу непріятностей.“

Quelle dѣfaite! Между друзьями не можетъ быть ничего такого, на что не стоило бы обращать вниманія; все слѣдуетъ взвѣшивать, потому что дружба требуетъ искренности и деликатности во взаимныхъ отношеніяхъ; но развѣ книгопродавцы принадлежатъ къ числу вашихъ друзей? Если да, то ваше обхожденіе съ ними отвратительно, если нѣть, то вы не имѣете никакого права въ чемъ либо винить ихъ. Если бы публикѣ предоставлено было решить, кто изъ васъ правъ, вы бы были бы покрыты позоромъ.“ — „Какъ, неужели вы, Дидро, берете сторону книгопродавцевъ?“ „Ихъ вины передо мной не мѣшаєтъ мнѣ видѣть вашу вину передъ вами. Признайтесь, что послѣ всѣхъ вашихъ высокомѣрныхъ вспышекъ, роль, которую вы теперь играете, очень жалка.“¹⁾

Во всемъ этомъ видѣнъ здравый смыслъ и мы не имѣемъ никакихъ указаній на то, чтобы Дидро когда либо уклонился въ своихъ

1) 11 окт. 1579; XVIII. 401.

личныхъ сношенияхъ съ книгопродавцами отъ этой правильной и благородной точки зрења. Однако въ тѣхъ случаяхъ, когда они забывались, онъ былъ способенъ дать имъ решительный отпоръ. Однажды пріѣхалъ къ нему Панкукъ — одинъ изъ главныхъ издателей того времени. «Онъ былъ напыщенъ свойственнымъ вѣмъ высокомѣріемъ и воображая, что онъ можетъ обходиться со мною точно такъ же, какъ онъ обходится съ тѣми бѣдняками, которые работаютъ на него изъ за куска черстваго хлѣба, онъ позволилъ себѣ вспылить; но этимъ онъ не достигъ своей цѣли. Я сначала не мѣшалъ ему говорить все, что онъ хотѣлъ; потомъ я вдругъ всталъ съ мѣста, взялъ его за руку и сказалъ ему: «г-нъ Панкукъ, гдѣ бы вы ни находились, на улицѣ-ли, въ церкви-ли, въ непристойномъ-ли домѣ, и къ кому бы вы ни обращались, вы обязаны выражаться прилично. Но это еще болѣе необходимо, когда вы обращаетесь къ человѣку, у котораго такъ мало терпѣнія какъ у меня, да притомъ еще въ его собственномъ домѣ. Убирайтесь къ чорту вмѣстѣ съ вашимъ предпріятіемъ. Если бы вы предложили мнѣ двадцать тысячъ луидоровъ и если бы я могъ исполнить вашъ заказъ въ одно мгновеніе, я не пошевельнулъ бы для васъ ни однимъ пальцемъ. Прошу васъ выйти вонъ.»¹⁾

Прежде чѣмъ снова перейти отъ самаго автора къ его произведеніямъ, мы считаемъ не лишнимъ послушать, какъ отзывались въ ту пору о немъ и о близкихъ его друзьяхъ люди, вовсе не принадлежавшіе къ числу этихъ послѣднихъ. Такъ напримѣръ Гиббонъ, посѣтившій Парижъ весной 1763, сказалъ: «Я удачно выбралъ время для моей поѣздки. Всегдѣ за окончаніемъ удачной войны британское имя уважалось на континентѣ; *clarum est uenerabile nomen gentibus.* Наши мнѣнія, наши моды и даже наши игры были приняты во Франціи; лучъ национальной славы заряжалъ каждого изъ насъ и на каждого англичанина смотрѣли какъ на такого человѣка, который патріотъ и философъ отъ рожденія». Въ числѣ литераторовъ, съ которыми онъ видѣлся, онъ называется д'Аламбера и Дидро, которые «стояли въ первомъ ряду по достоинству или по менышей мѣрѣ по репутациі. ²⁾

Горасъ Вальполь часто посѣщалъ Парижъ и часто бывалъ въ кружкѣ философовъ, но этотъ кружекъ былъ не подъ стать къ его надмѣнному характеру.

„Въ Парижѣ не было ни души кроме философовъ, которыхъ я желаалъ-бы отправить на небеса, хотя сами они туда не стремятся. Они такъ высокомѣрны и дурно воспитаны... Я иногда посѣщаю барона Гольбаха, но я пересталъ бывать на его обѣдахъ, такъ какъ

¹⁾ XIX 319—20.

²⁾ Miscellaneous Works p. 73.

мнѣ невыносимы авторы, философы и ученые, которыми домъ его наполненъ какъ голубятникъ. Они тотчасъ вскружили мнѣ голову системой допотопныхъ потоповъ, которую они придумали для того, чтобы доказать вѣчность матеріи... Однимъ словомъ, если дѣло пошло на то, чтобы слушать нелѣпости, іезуиты мнѣ болѣе по вкусу чѣмъ философы.”¹⁾

Юль, находилъ, что «литераторы очень пріятные люди, что все они люди свѣтскіе, живущіе въ полномъ или почти въ полномъ согласіи между собою и почти безупречные по своей нравственности». Онъ относилъ Дидро къ числу тѣхъ, чья личность и бесѣда ему всего болѣе нравились.

Всѣмъ известно, какъ было велико въ восемнадцатомъ столѣтіи влияніе свѣтскихъ салоновъ; что интеллектуальные интересы того времени воплощались въ нравахъ,—этому служить яснымъ доказательствомъ тотъ фактъ, что въ то время образовалось множество группъ, состоявшихъ изъ мужчинъ и женщинъ и что эти группы собирались разъ въ недѣлю для бесѣды о новыхъ книгахъ и новыхъ драматическихъ произведеніяхъ, о новыхъ принципахъ и идеяхъ, возникавшихъ благодаря свойственной той эпохѣ непрестанной дѣятельности умовъ. Салоны восемнадцатаго столѣтія подвергались различнымъ видоизмѣненіямъ; ихъ характеръ мѣнялся сообразно съ настроениемъ умовъ господствовавшимъ въ данную минуту, но они никогда не переставали быть собраніями, въ которыхъ женщины играли такую важную роль, какая никогда не выпадала на ихъ долю ни въ какомъ обществѣ въ Франціи. Здѣсь не мѣсто разслѣдовать причины этого явленія; намъ достаточно будетъ замѣтить, что Дидро чувствовалъ себя стѣсненнымъ въ дамскомъ обществѣ, что хотя онъ и бывалъ у г-жи Жоффренъ и у дѣвицы Леспинассъ, но рѣдко показывался на тѣхъ славившихся въ ту пору собраніяхъ, где женщины умѣли присвоить себѣ главную роль. Кто читалъ мемуары г-жи Эпине, тотъ знаетъ, какая усилия употребляла эта дама, чтобы пріохотить Дидро къ свѣтской жизни. «Какъ жаль»,—восклицаетъ она,—«что люди съ такимъ умомъ и съ такими высокими достоинствами какъ Дидро, до того погружаются въ свои философскія идеи, что пренебрегаютъ изъявленіями уваженія, которыя были бы оказаны имъ во всякомъ обществѣ, которое они захотѣли бы почтить своимъ присутствіемъ».²⁾

Дюкло, безъ сомнѣнія, принадлежитъ къ числу самыхъ проницательныхъ наблюдателей наѣдь нравами того времени. Его *Размышленія о нравахъ вѣка*, вышедшія въ 1751, представ-

1) Вальполь къ Сельвину. 1765. Сельвинъ Іессе, II. 9. См. также письмо Вальполя къ Манну, IV. 283.

2) Эпине, II, 4; 138, 153 и пр.

ляютъ множество превосходныхъ критическихъ замѣчаній. Двумя изъ этихъ замѣчаній мы и закончимъ настоящую главу. «Испорченность нравовъ нисколько не мѣшаетъ людямъ громко превозносить честь и добродѣтель; тѣ, у кого всего менѣе и той и другой, очень хорошо понимаютъ, что для ихъ собственной пользы нужно, чтобы у другихъ людей были и та и другая.» Въ другомъ мѣстѣ читаемъ: «Французы—единственный народъ, который при нравственной испорченности способенъ сохранить неиспорченное сердце и неослабѣвающее мужество».

ГЛАВА VII.

Театръ.

Отзывы нѣкоторыхъ писателей о Дидро, какъ о величайшемъ геніи восемнадцатаго вѣка, должны показаться на первый взглядъ, совершенно неосновательными; да и вообще подобныя преувеличенныя похвалы выдающихся людей едвали когда нибудь послужили имъ въ пользу. Эти незнающіе никакой мѣры панегиристы хотѣли сказать, что Дидро сталъ на такую точку зрѣнія, съ которой онъ яснѣе, чѣмъ съ какой либо другой, могъ различать всѣ теченія, разнообразныя проявленія, многоразличныя стороны и широкія развѣтвленія того громаднаго умственнаго движения, которое происходило въ его время. Онъ слѣдилъ шагъ за шагомъ за совершившимся перерожденіемъ и захватывалъ въ свои руки всѣ нити, которыхъ впослѣдствіи были сплетены въ ткань, служащую образцемъ для но-ваго времени.

Дидро имѣлъ тысячи недостатковъ и какъ человѣкъ и какъ писатель. Тѣмъ не менѣе невозможно отрицать того, что за что онъ ни брался, онъ всегда умѣлъ уловить лучи восходящаго солнца, умѣлъ проникнуться духомъ завтрашняго дня. Это было не сіяніе, обильно изливающее свѣтъ, а былъ лишь лучъ зари. Этимъ объясняется, почему все, что онъ говорилъ о двухъ великихъ сферахъ искусства—живописи и драмѣ, хотя и было отрывочно и неудовлетворительно, однако наводило на тѣ пути, которыхъ впослѣдствіи придерживались лучшіе умы западной Европы. Если бы онъ захотѣлъ выражаться старымъ метафизическимъ языкомъ, онъ могъ бы назвать это направление « обращеніемъ къ природѣ », но если мы захотимъ выразить эту мысль въ болѣе положительныхъ терминахъ, мы скажемъ, что его теорія драмы была превознесеніемъ граждан-

скихъ добродѣтелей и семейной жизни, подобно тому какъ мы сказали, что Энциклопедія была превознесеніемъ миролюбиваго трудолюбія и общественной справедливости. А рѣшительный перевѣсъ общественной справедливости и предпримчивости надъ феодальными привилегіями и военнымъ ремесломъ и возведеніе семейныхъ добродѣтелей на то мѣсто, которое прежде того было занято патріотической преданностью, — это были двѣ главныя стороны одного и того же движенія умовъ.¹⁾ Не подлежитъ сомнѣнію, что до Дидро и до французовъ того времени дошелъ лишь слабый лучъ изъ обѣтованной земли искусства и поэзіи. Вся нравственная энергія следовавшаго за Дидро поколѣнія была неизбѣжно поглощаема сильнымъ потокомъ соціальныхъ идей. Только что зажегшійся факель драматического искусства былъ въ то время перенесенъ почти на полстолѣтія на родину Лессинга и Гёте.

Употребляя отвлеченные выраженія, мы подвергаемся опасности, что некоторые изъ нихъ вовлекутъ читателя въ заблужденіе, будто мы приписываемъ Дидро сознательное и систематическое руководительство всѣмъ умственнымъ движениемъ того времени и сознательное намѣреніе содѣйствовать ему всѣми способами. Но было бы ошибочно предполагать, что онъ постоянно имѣлъ въ виду это движение во всемъ его объемѣ. Его умъ постоянно искалъ объясненій всего, но никогда не былъ пассивнымъ приемникомъ чужихъ идей. Драма возбуждала его любознательность столько же, сколько и все другое. Онъ размышлялъ о ней точно такъ же, какъ и о всемъ другомъ — самостоятельно, то есть искренно и въ реальномъ духѣ.²⁾ Всякій, кто постараится изслѣдовать сущность его направленія съ яснымъ на него взглядомъ и съ надлежащею проницательностью, усмотритъ въ этомъ направленіи сильная теченія свойственные той эпохѣ, хотя и не будетъ въ состояніи сознательно соединить ихъ въ одно общее и отвлеченное выраженіе.

По словамъ Лессинга, со временемъ Аристотеля никто изъ людей, писавшихъ о театрѣ, не обладалъ болѣе философскимъ умомъ, чѣмъ Дидро. Самъ Лессингъ перевѣлъ двѣ комедіи Дидро и его очеркъ драматической поэзіи, и не разъ утверждалъ, что не будь того импульса, который дали ему принципы и комментаріи Дидро, его собственные идеи приняли бы иное направление. Въ качествѣ драматического писателя, авторъ *Мисс Сары Сампсонъ*, *Эмилии Галотти* и главнымъ образомъ той возвышенной драматической поэмы, которая носитъ название *Натанъ Мудрый*, едва ли бы

¹⁾ См. *Положительную политику* Конта, т. III.

²⁾ „Это свойство самостоятельности, за которымъ такъ гоняются люди, не есть любовь къ новизнѣ, какъ они воображаютъ (въ немъ нѣтъ ничего нового); это ничто иное какъ искренность.“ — Ruskin.

многимъ обязанъ автору такихъ бѣдныхъ содѣржаніемъ произведеній какъ *Le fils Naturel* и *Le r  ge de famille*. У Лессинга былъ драматический пыль, была изобрѣтательность и неподдѣльная возвышенность идей; въ какой-то мѣрѣ, хотя и не въ очень широкой, у него были поэтические импульсы. Дидро не обладалъ ни однимъ изъ этихъ качествъ, но у него была проницательность критика— философа. Стойте прочесть критическую статью Лессинга о драмѣ, чтобы убѣдиться, что онъ нисколько не преувеличивалъ того, чѣмъ онъ былъ обязанъ своему французскому современному. ¹⁾ На нелѣпый упрекъ, будто французы ничего не создали, кто то возразилъ, что по меньшей мѣрѣ можно указать на Декарта какъ на творца немецкой философии. Еще болѣе несомнѣна та истина, что Дидро создалъ немецкую критику.

Мысли Дидро о театрѣ выражены въ его законченныхъ комедіяхъ, въ нѣсколькихъ отрывочныхъ сценахъ, а главнымъ образомъ въ его коротенькомъ трактатѣ о драматической поэзіи *Ragadoxe sur le Com  dien* и въ трехъ діалогахъ, приложенныхъ къ комедіи *Незаконный Сынъ*. Наше мнѣніе о достоинствѣ его драматическихъ произведеній можетъ быть высказано въ немногихъ словахъ. *Незаконный Сынъ*, по моему мнѣнію, долженъ быть отнесенъ къ числу самыхъ безцѣнныхъ произведеній, какія только представляетъ намъ исторія драмы. Даже Лессингъ, не смотря на нежеланіе что либо сказать въ осужденіе такого писателя, отъ котораго онъ столь многому научился, былъ слишкомъ хорошимъ критикомъ, чтобы не замѣтить монотонности въ характерахъ, натянутости и жеманства въ разговорахъ и педантизма въ сентенціяхъ новоизобрѣтенной философіи. ²⁾ Даже въ тѣхъ трехъ діалогахъ, которые Дидро приложилъ къ своей комедіи, Лессингъ не могъ не замѣтить смыщенія поверхностныхъ взглядовъ съ напыщенными претензіями. Правда, Розенкранцъ находитъ, что эта комедія богата прекрасными сентенціями и эффектными сценами, въ которыхъ идеи Дидро о нравственности выражены съ пылкимъ краснорѣчіемъ. Но и онъ допускаетъ, что слуга героя драмы не былъ совершенно неправъ, когда восклицалъ: «Il semble que le bon sens se soit enfui de cette maison»; къ этому Розенкранцъ прибавляеть, что вся атмосфера пьесы заражена сознаніемъ собственной добродѣтели. ³⁾ Мы съ своей стороны даже готовы

¹⁾ Лессингъ: 1729—81. Дидро: 1713—84. По словамъ Де-Кинсе, о Лессингѣ можно сказать, что онъ началъ свою карьеру въ самой половинѣ прошедшаго столѣтія.

²⁾ Гамбургская Драматургія § 85. Полное собраніе сочиненій, VI. 381. (Изд. 1873).

³⁾ Жизнь Дидро, I. 274, 277.

согласиться съ наемнымъ писателемъ реакционеровъ Палиссо, когда онъ говоритъ, что въ *Незаконномъ Сынѣ* нѣтъ ни изобрѣтательности, ни стиля, ни характеровъ, ни какого либо другаго отличительного свойства настоящихъ драматическихъ произведеній. Читатель, который захотѣлъ бы убѣдиться до какого ничтожества дошелъ подъ перомъ Дидро такъ называемый *genre sériels*, долженъ обратиться отъ *Незаконного Сына* къ комедіи Гольдони *Истинный Другъ*, отъ которой Дидро заимствовалъ вицшній складъ своей собственной комедіи и которой онъ придерживался такъ близко, какъ только могъ, до самаго конца третьяго акта. Не часто случается, чтобы передѣлка превратила блестящее произведеніе въ вѣчно столь же безцвѣтное и безвкусное. Не смотря на апплодисменты философскихъ клакеровъ, руководимыхъ Гриммомъ,¹⁾ потомство одобрило ту холодность, съ которой отнеслись къ пьесѣ современники. *Незаконный Сынъ* былъ написанъ въ 1757, но не прежде какъ въ 1771 директоры *Французской Комедіи* согласились поставить его на сцену. Актеры чувствовали отвращеніе къ своимъ ролямъ и исполняли ихъ неохотно, не потрудившись даже хорошоенько ихъ заучить.²⁾ Публика также мало интересовалась пьесой, какъ и актеры, и послѣ одного представленія комедія была отложена въ сторону. Злые критики сравнивали комедію Дидро съ оперой Руссо; они утверждали, что *Незаконный Сынъ* и *Деревенскій Предсказатель* — два памятника самонадѣянной несостоятельности энциклопедистовъ. *Незаконный Сынъ* потерпѣлъ фiasco въ качествѣ драматического произведенія, послѣ того какъ онъ имѣлъ значительный успѣхъ въ качествѣ произведенія литературнаго,—такъ какъ въ теченіе четырнадцати лѣтъ его охотно читали. Нѣтъ возможностей объяснить этотъ успѣхъ иначе какъ пристрастной поддержаній со стороны людей изъ того литературнаго лагеря, къ которому принадлежалъ Дидро.

Какъ любили въ ту пору и кстати и не кстати ссылаться на нравственные принципы видно изъ того, что именно та сцена, которую насмѣшники того времени находили въ высшей степени нехѣлпой и неумѣстной, превозносилась приверженцами партіи какъ самая восхитительная, потому только, что въ ней было нѣсколько напыщенныхъ нравственныхъ изречений. Молодая и примѣрно-разсудительная вдова Констанція старается отклонить Дорвала отъ его намѣренія не вступать въ бракъ, послѣ того какъ онъ признался ей въ любви и послѣ того какъ было рѣшено, что онъ женится на ней. «Нѣтъ», восклицаетъ онъ, «человѣкъ съ моимъ характеромъ

¹⁾ Corr. Lit. II. 103.

²⁾ См. разсказъ Гримма о представлениіи пьесы Corr. Lit., VII 313.

ромъ не такой мужъ, какой годенъ для Констанція.» Констанція просить его успокоиться; она увѣряетъ его, что онъ ошибается, что для того, чтобы наслаждаться душевнымъ спокойствиемъ надо, чтобы мы находили одобреніе въ своемъ собственномъ сердцѣ и можетъ быть также въ сердцахъ другихъ людей, но нельзя достигнуть ни того ни другаго, если человѣкъ не будетъ вѣренъ своему назначению; только дурные люди способны выносить одиночество; добрая душа не можетъ относиться къ одареннымъ чувствами существамъ безъ сильнаго желанія способствовать ихъ благополучию. Дорваль, который разыгрываетъ въ этой сценѣ очень печальную роль, восклицаетъ: «Но вѣдь у Дорвала будутъ дѣти! Когда я вспомню, что мы съ самого рожденія погружаемся въ хаосъ предразсудковъ, нелѣпостей, пороковъ и бѣдствій, эта мысль приводить меня въ со дроганіе!» — «Дорваль, вы тревожитесь призраками и я не удивляюсь этому. Исторія жизни такъ мало намъ известна, тогда какъ существующее въ мірѣ зло такъ очевидно для наасъ.... Дорваль, ваши дочери будутъ честны и скромны, ваши сыновья будутъ благородны и горды; всѣ ваши дѣти будутъ прелестны.... Я увѣрена, что жестокое существо не можетъ зародиться во мнѣ отъ васъ». ¹⁾

Едва ли можно удивляться тому, что актеры чувствовали въ пьесѣ отвращеніе, а критики отзывались о ней съ самыми рѣзкими насмѣшками. Той сценѣ, когда Констанція убѣждаетъ Дорвала, что въ одномъ отношеніи они будутъ очень счастливы, соответствуетъ та сцена, когда Дорваль доказываетъ, что въ другомъ отношеніи они будутъ очень несчастливы. Положеніе дѣйствующихъ лицъ могло бы вызвать съ нашей стороны одобреніе съ точки зрѣнія нравственности, но конечно никакъ не возбуждаетъ въ насъ сочувствія съ точки зрѣнія драматической. Когда женщина доказываетъ мужчинѣ въ изысканныхъ поучительныхъ выраженіяхъ, какъ бы онъ хорошо сдѣлалъ, если бы женился на ней,— это такая сцена, которую нельзя назвать не согласной съ здравымъ смысломъ, но она не можетъ производить пріятнаго впечатлѣнія. Когда мужчина объясняетъ женщинѣ, что хотя любовь влечетъ его въ одну сторону, чувство долга влечетъ его въ другую, мы можемъ удивляться его благоразумію, но мы очень рады, когда такой деликатный вопросъ окончательно рѣшается. Въ *Незаконномъ Сынѣ* послѣдняя сцена, хотя и очень длинна, все таки не такъ непріятна, какъ предшествующая. Подобно тому, какъ на самыхъ многорѣчивыхъ и на самыхъ скучныхъ страницахъ у Дидро попадаются то какаянибудь фраза, то какойнибудь эпитетъ, то какоенибудь поучительное изреченіе, которые по своей свѣжести, силѣ или смѣ-

¹⁾ Актъ IV, сцена 3.

лости обнаруживаются руку гениального писателя,— и въ этой сценѣ попадается нѣсколько строкъ, напоминающихъ намъ своей энергией, что мы имѣемъ дѣло не съ какимъ нибудь дюжиннымъ драматическимъ писателемъ, произведенія которого давно уже слѣдовало бы отдать на същеніе мышамъ или бросить въ огонь. Эти строки служать предостереженіемъ отъ искушенія, которое сдѣлалось столь обычнымъ для всѣхъ вѣковъ съ тѣхъ поръ какъ Парижъ побывалъ въ гостяхъ у Менелая, — отъ искушенія все принести въ жертву любовной страсти, и позабыть что кромѣ нея есть что либо иное въ этомъ мірѣ. «Быть дурнымъ человѣкомъ», — говоритъ Дорваль, — «значитъ обрѣть себя на жизнь съ дурными людьми и находить въ ней удовольствіе, это значитъ вести измѣнчивую и тревожную жизнь среди постоянной фальши, краснѣя хвалить добродѣтель, отъ которой отказались, слышать изъ устъ другихъ людей порицаніе нашихъ поступковъ, искать хоть небольшаго успокоенія въ такихъ софизмахъ, которые распадаются въ прахъ отъ одного дуновенія добродѣтельного человѣка, навсегда закрыть для себя источникъ истинныхъ радостей — единственныхъ радостей, которыхъ честны, безукоризнены и возвышенны, и предаваться, — только для того чтобы бѣжать отъ самого себя, — скучѣ тѣхъ пустыхъ разлеченій, въ которыхъ мы проводимъ дни въ самозабвеніи, а жизнь ускользаетъ отъ насъ и теряется безъ пользы.»¹⁾ Конечно это — очень старая исторія, но она натуральна, вѣрна и на свое мѣсто.

Комедія кажется еще болѣе безцвѣтной благодаря тому, что Дидро внесъ въ нее сознательно принятый имъ принципъ, — мы разумѣемъ подробное изложеніе того, какъ должны держать себя на сценѣ актеры. Каждое движеніе, каждый жестъ, каждая молчаливая пауза — все это описано и производитъ такое впечатлѣніе, что будто мы читаемъ не комедію, а какой то странный неизящный романъ. Въ господствовавшей въ ту пору на французской сценѣ манерѣ декламировать стихи не было мѣста для натуральныхъ движений, и ничего не выражалось перемѣнной положенія, движеніями безъ словъ или какимъ нибудь другимъ способомъ помимо устной рѣчи. Дидро отложилъ въ сторону условныя правила драматического искусства и принимая въ соображеніе естественность или реальность, пришелъ къ тому убѣждѣнію, что въ жизни бываетъ много такихъ сценъ, когда въ дѣйствующемъ лицѣ болѣе естественно движеніе, чѣмъ выраженіе чувствъ словами, когда двигаться было бы натурально, а говорить — ненатурально. Если такъ бываетъ въ дѣйствительной жизни, говорить онъ, то такъ должно быть и на сценѣ, потому что въ мірѣ не происходитъ ничего такого, что не

¹⁾ Актъ V, сцена 3.

могло бы происходить и въ театрѣ; а такъ какъ пантомима,—или выраженіе душевныхъ эмоцій, чувствъ, намѣреній безъ употребленія словъ,—играетъ весьма важную роль въ жизни, то и драматические писатели, сочиняя пьесы для сцены, должны безпрестанно пользоваться пантомимой. Однако они не должны полагаться въ этомъ отношеніи на изобрѣтательность актеровъ и на ихъ собственное пониманіе того, какъ слѣдуетъ держать себя въ данную минуту на сценѣ. Они должны указать, какая должна быть пантомима всякой разъ, когда она можетъ придать разговору болѣе энергіи и ясности, или когда она должна служить связью между двумя частями одного и того же разговора, или когда нужно выразить какую нибудь не легко уловимую мысль,—и все это они должны излагать письменно въ началѣ каждой сцены. Тотъ, кто нашелъ бы это излишнимъ, пусть самъ попробуетъ сочинить какую нибудь комедію и изложить правила пантомимы въ концѣ; тогда онъ тотчасъ пойметъ, какую онъ дѣлаетъ нелѣпость.¹⁾

Все равно, было ли практически или непрактично записываніе не только словъ, но и движений актера, теперь уже никто не будетъ отрицать основательности мнѣнія Диdro о той роли, какую играетъ пантомима при хорошемъ сценическомъ исполненіи драматическихъ произведеній. Мы не можемъ не сочувствовать его жалобамъ на то, что нѣть и не можетъ быть такого языка, на которомъ всегда можно прискать вполнѣ удовлетворительное и приличное выраженіе.²⁾ «Дорогой мой наставникъ»,—писалъ онъ Вольтеру по поводу представления *Танкреда*,—«если бы вы видѣли, какъ Клеронъ проходила по сценѣ, какъ подъ ней сгибались колѣни, какъ закрывались глаза, какъ руки ея падали, точно будто въ нихъ уже нѣть жизни, если бы вы слышали, какой испустила она крикъ при видѣ Танкреда, вы еще болѣе прежняго убѣдились бы, что въ молчаніи и въ пантомимѣ бываетъ иногда такой паѳосъ, какого никогда не можетъ достигать устная рѣчъ.»³⁾ Мы не будемъ удивляться усиливамъ, которыя онъ дѣлаетъ съ цѣлію доказать то, что теперь уже для всякаго очевидно, если мы вспомнимъ, что это вовсе не было очевидно для тѣхъ, кто привыкъ замѣнять натянутой и мѣрной декламацией безконечное разнообразіе и многообразныя выраженія страстей и мнѣній, взятыхъ изъ обыденной человѣческой жизни.

Мы уже видѣли, что еще въ то время, когда Диdro писалъ *Письмо о глухихъ и нѣмыхъ*, его умъ былъ занятъ вопросомъ о жестахъ, какъ о дополненіи къ устной рѣчи. Въ этомъ письмѣ онъ

¹⁾ *De la Poésie Dramatique*, гл. XXI.

²⁾ VII. 107.

³⁾ 28 нояб. 1760; XIX. 457.

рассказываетъ о странныхъ экспериментахъ, которые онъ часто дѣлалъ въ театрахъ. Онъ обыкновенно садился на самое высокое мѣсто, затыкалъ пальцами свои уши и, къ удивленію своихъ со-сѣдей, слѣдилъ за исполненіемъ съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ. Будучи постояннымъ посѣтителемъ театровъ, онъ зналъ на память слова пьесы и старался слѣдить лишь за жестами актеровъ съ цѣллю извлечь изъ нихъ наслажденіе и оценить ихъ по достоинству отдельно отъ словъ. Онъ держалъ пальцы въ ушахъ, пока игра актеровъ согласовалась съ сохранившимися въ его памяти словами и начинала слушать только тогда, когда ему казалось, что жесты актеровъ стали для него непонятны, потому что онъ позабылъ слова. Его со-сѣди приходили все въ большее и большее удивленіе видя, что не смотря на то, что онъ заткнулъ себѣ уши, онъ проливаетъ въ самыхъ патетическихъ мѣстахъ обильные слёзы. «Они не могли воздержаться отъ обращенія ко мнѣ съ вопросами, на которые я спокойно отвѣчалъ, что у всякаго своя манера слушать и что моя манера заключается въ томъ, что я затыкаю себѣ уши, для того чтобы лучше понимать то, что происходитъ передъ моими глазами; меня очень смѣшили толки, вызванные моей оригинальностью и еще болѣе смѣшила наивность нѣкоторыхъ молодыхъ людей, которые также затыкали себѣ пальцами уши и очень удивлялись тому, что это не повело ни къ чему.»¹⁾ Это былъ очень странный способъ примѣнять на дѣлѣ глубоко вкоренившееся въ умѣ Дидро увѣжденіе, что устная рѣчь есть весьма слабое, невѣрное и крайне неудовлетворительное орудіе для выраженія того, что намъ желательно выразить и чего она на самомъ дѣлѣ не выражаетъ. Руссо выразилъ такого же рода мысль, когда сказалъ, что опредѣленія были бы хорошая вещь, если бы для составленія ихъ мы не приѣгали къ словамъ.

Стоитъ упомянуть объ одномъ странномъ обстоятельствѣ, находящемся въ связи съ тремя *Діалогами*, приложенными къ *Незаконному Сыну*. Дидро извѣщаетъ своихъ читателей, что факты изложенные въ этой комедіи взяты изъ дѣйствительной жизни и что онъ знаетъ именно съ кѣмъ они случились. Въ *Діалогахъ* намекается на то, что комедія написана самимъ героемъ происшествія, и что этотъ герой главное дѣйствующее въ ней лицо. Но не сказано ни одного слова, изъ которого читатель могъ бы догадаться, что Дидро заимствовалъ отъ Гольдони плаять комедіи и содержаніе тѣхъ сценъ, которыхъ менѣе всѣхъ другихъ нелѣпы. Насъ не можетъ удивлять то, что иные обвиняли Дидро въ литературномъ воровствѣ. Но во всякомъ случаѣ мы можемъ быть увѣрены, что это не было

¹⁾ Lettre sur les Sourds et les Muets, I. 359.

сознательное воровство. Когда какая нибудь мысль сильно заинтересовывала Дидро, внѣшнія обстоятельства точно будто совсѣмъ переставали существовать для него. Тогда онъ уносился въ заоблачный міръ. «Дидро хороший и достойный человѣкъ», — писала г-жа Жоффренъ польскому королю, — «но у него такая плохая голова и онъ такъ странно созданъ, что онъ точно будто не видить и не слышитъ того, что на самомъ дѣлѣ и видить и слышать; онъ постоянно напоминаетъ собою человѣка, погрузившагося въ сонъ и воображающаго, что все, что онъ видитъ во снѣ, происходитъ на яву.»¹⁾

Комедія *Отецъ Семейства*, написанная въ 1758 и въ первый разъ поставленная на сцену въ 1761, гораздо выше достоинствъ, чѣмъ *Незаконный Сынъ*; она даже была въ нѣкоторой степени популярна. Въ Германіи она постоянно пользовалась расположениемъ публики, а въ Италии она уступала въ популярности лишь пьесамъ Гольдони. Впрочемъ, удовлетворить французовъ было не такъ легко. Въ 1761 къ ней относились съ явнымъ сочувствiemъ и она давалась въ теченіе нѣсколькихъ недѣль. Въ 1769 она была вновь поставлена на сцену и, по словамъ самого Дидро, была принята съ восторгомъ. «Было страшное стеченіе публики», говорить онъ, «и никто не помнилъ подобного успѣха. Я самъ былъ имъ удивленъ. Мои друзья были въ восторгѣ. Моя дочь, возвратившись домой, была вѣдь себя отъ удивленія и отъ радости.» Даже самой г-жѣ Дидро наконецъ стало совсѣмъ, что она еще ни разу не была свидѣтельницей торжества своего супруга: она превозмогла отвращеніе къ театру и была такъ же глубоко растрогана пьесой, какъ и остальная публика.²⁾

Не смотря на этотъ значительный успѣхъ и не смотря на то, что пьеса исполнялась на сценѣ даже въ 1835, она не пустила глубокихъ корней во Франціи. Въ ней нѣть никакихъ существенныхъ достоинствъ или выдающихся особенностей. По словамъ г-жи Сталь «Дидро въ своихъ комедіяхъ замѣнилъ бывшее въ обычай жеманство жеманнымъ подражаніемъ природѣ.»³⁾ Но это послѣднее производить еще болѣе непріятное впечатлѣніе, чѣмъ первое. *Отецъ Семейства* болѣе сносенъ, чѣмъ *Незаконный Сынъ*, благодаря нѣкоторой быстротѣ и оживленности въ ходѣ дѣйствія и благодаря нѣкоторой энергичности въ характерахъ запальчиваго сына (Сентъ-

¹⁾ Correspond. du roi Stanislas-Auguste et de M-dme Geoffrin, p. 466.

²⁾ Авг. 1769, XIX. 314—23.

³⁾ Цитировано въ превосходномъ сочиненіи Сима Жизнь Лессинга (Трюбнеръ и К°. 1877), стр. 230.

Альбена) и завистливаго зятя (Командора). Но разговоръ бѣденъ и личность самого отца семейства отличается неестественностью и приторностью, которая всегда бываютъ результатомъ сочетанія прекрасныхъ намѣреній съ слабостью основной идеи. Мы остаемся равнодушными къ горестямъ этого наводящаго уныніе отца, потому что онъ выражаются въ сентиментальныхъ фразахъ, въ которыхъ нѣтъ ни капли неподдельного паѳоса. Въ языкѣ пьесы вовсе нѣтъ изысканной граціи и гибкости, которая придаютъ такую увлекательность хорошимъ французскимъ комедіямъ нашего времени,— пьесамъ Ожье, Сандо, Фелье, Сарду. Дидро былъ правъ, когда утверждалъ, что нѣтъ никакого основанія писать комедіи стихами; однажды и въ прозѣ театральной пьесы должны быть соль, изящество и тщательная отдѣлка, благодаря которымъ мы чувствуемъ, что передъ нами хотя и не произведение поэзіи, но во всякомъ случаѣ произведеніе искусства. Дидро не только не писалъ свои комедіи въ подобномъ стилѣ, но даже повидимому не сознавалъ, что существуетъ какое либо различіе между однимъ родомъ прозы и другимъ. На сценѣ рѣшительно невыносимы необдѣланныя фразы и краткія сентенціи, которая Дидро считалъ натуральными, то есть прямо взятыми изъ дѣйствительной жизни. Впрочемъ даже онъ самъ сознавалъ это; это видно изъ того, что хотя изображаемыя имъ личности выражаются въ лишенныхъ остроумія и законченности фразахъ, однако вялость и безцвѣтность этихъ фразъ не похожи на ту вялость и безцвѣтность, которая не рѣдко слышится въ обыденныхъ разговорахъ. Въ нихъ есть своего рода искусственность, хотя и крайне безвкусная.

Сверхъ того, хотя Дидро можетъ быть и правъ, когда онъ утверждаетъ, что существуетъ серьезный родъ комедіи въ отличіе отъ той веселой комедіи, которая близко подходитъ къ фарсѣ, но онъ безъ сомнѣнія не правъ, когда воображаетъ, что публика способна съ удовольствиемъ прослушать пять актовъ такой серьезной комедіи, въ которой нѣтъ ни одной развеселяющей ее юмористической выходки. Когда всѣ изображаемыя личности реальны и заурядны, нась не можетъ удовлетворять лишь контрастъ между ихъ характерами. Намъ нуженъ контрастъ съ драматической точки зрѣнія. Мы ждемъ перемѣнъ въ душевномъ настроеніи дѣйствующихъ лицъ. Понятно, что серьезная комедія можетъ иногда вызывать на нашихъ глазахъ слезы состраданія, но мы не можемъ быть довольны, если она ни разу не вызоветъ улыбки на нашихъ устахъ. Результатомъ методы Дидро было то, что зритель или читатель тотчасъ понималъ, что онъ имѣетъ передъ глазами такое произведеніе, въ которомъ драматическая полнота и разнообразіе замѣнены безцвѣтнымъ однообразіемъ церковной проповѣди или ученаго трактата. Было бы

трудно доказать, что нѣтъ настоящей комедіи безъ сценъ возбуждающихъ смѣхъ, (укажемъ для примѣра на комедію Теренція *Теща*,) но Дидро даже не сознавалъ той истины, которая была вполнѣ очевидна для Лессинга и для большинства остальныхъ критиковъ, что съ помощью кстати возбужденного смѣхъ всего легче руководить нравственными симпатіями слушателей,—а этого то и искалъ Дидро съ самыми напряженными усилиями.

Мы потратили бы наше время безъ всякой пользы, еслибы стали разбирать всѣ комедіи Дидро или различные очерки, наброски и отрывочные сцены, которые служили забавой для его незначительного драматического таланта. Если мы желаемъ познакомиться съ образцовыми произведеніями французской комедіи въ восемнадцатомъ столѣтіи, мы должны тотчасъ закрыть волюмы сочиненій Дидро и обратиться къ бойкой и нѣжно грациозной комедіи Мариво *Игра любви и случайности*, къ полной энергическихъ поученій комедіи Пирона *La Métromanie* и къ полной соли и сильного аромата комедіи Лесажа *Тигсагет*. Сверхъ того Грессе и Детушъ написали по нѣсколько комедій, которые были действительно годны для сцены и которыхъ можно съ удовольствиемъ читать даже въ наше время. Но ни одного изъ названныхъ достоинствъ нѣть ни въ комедіи *Незаконный Сынъ*, ни въ комедіи *Отецъ Семейства*. На эти произведенія слѣдуетъ смотрѣть какъ на эскизы, набросанные съ цѣллю объяснить любимую теорію, или какъ на небрежные рисунки, сдѣянные профессоромъ изящныхъ искусствъ для объясненія его лекціи о живописи.

Одна существенная часть драматической теоріи Дидро рѣшительно отвергается новѣйшей критикой—а это именно та часть, примѣнение которой на практикѣ Дидро имѣлъ главнымъ образомъ въ виду при сочиненіи своихъ комедій. «Всякий писатель,»—говорить онъ,— «долженъ имѣть въ виду добродѣтель и добродѣтельныхъ людей. Ахъ, какъ было бы полезно для человѣчества, еслибы всѣ искусства, основанныя на подражаніи, задались одной общей цѣллю и подчинились одному общему правилу внушать намъ любовь къ добродѣтели и ненависть къ пороку. На философѣ лежитъ обязанность обратиться къ поэтамъ, живописцамъ, музыкантамъ и сказать имъ со всей энергией, къ какой онъ способенъ: *Гениальные люди, для какой цѣли небо ниспослало вамъ дарования?* Если они послушаются его, то тотчасъ исчезнутъ со стѣнъ нашихъ дворцовъ картины разврата, наши пороки уже не будутъ служить орудіями для преступлений, а наши вкусы и наши нравы очистятся. Развѣ изображеніе того, какъ два старыхъ слѣпыхъ существа—мужъ и жена ищутъ другъ друга, и съ слезами на глазахъ хватаютъ другъ друга за руку, обмѣниваясь ласками на краю гроба, — развѣ такое

изображение требуетъ менѣе таланта и развѣ оно не будетъ интересовать меня гораздо болѣе, чѣмъ изображеніе тѣхъ страстныхъ наслажденій, которыми они упивались въ первыѣ годы своей юности?»¹⁾.

Моралисты одной школы съ Дидро никогда не умѣли понять того, что можно сдѣлать добродѣтель привлекательной, не дергая читателя или слушателя за рукавъ и не выкрикивая громко ему въ уши похвалы добродѣтели. Когда вышла въ свѣтъ (1818) новелла Вальтера Скотта *The Heart of Midlothian* (*Сердце Мидл-Лотиена*), одна дама писала по поводу этого произведенія слѣдующее: «Въ послѣднее время и въ особенности съ тѣхъ поръ какъ вошло въ моду писать нравственные и даже религіозные разсказы, о благоразумныхъ и добрыхъ герояхъ этихъ разсказовъ можно сказать тоже, что сказала одна умная дѣвочка о своей благонамѣренной теткѣ: «по истинѣ достаточно ея общества, чтобы сдѣлаться негоднымъ человѣкомъ». Еслибъ названный разсказъ былъ написанъ зауряднымъ писателемъ, Эффи сосредоточила бы на себѣ все наше вниманіе и всѣ наши симпатіи, а къ Жени мы отнеслись бы лишь съ хладнокровнымъ одобреніемъ. А между тѣмъ, несмотря на то, что у Жени нѣтъ ни молодости, ни красоты, ни геніальности, ни пылкихъ страстей, ни какихъ либо другихъ выдающихся свойствъ, ея личность приковываетъ къ себѣ наше вниманіе съ начала и до конца разсказа. Здѣсь «наши симпатіи привлекаются на сторону добродѣтели вдесятеро сильнѣе даже чѣмъ у Ричардсона; какъ ни достойны уваженія описываемые имъ педанты мужескаго и женскаго пола, я и на половину не чувствовала къ нимъ такого расположенія, какое я почувствовала къ Жени, прежде чѣмъ дошелъ до конца первой части»²⁾.

Другими словами—вы должны стараться возбудить въ насъ сочувствіе, а не заявлять формальныхъ притязаній на наше нравственное одобреніе. Чтобы возбудить въ насъ сочувствіе, описываемая вами личность должна быть интересна, должна вызывать въ насъ или состраданіе, или удивленіе, или одинакія съ ней чувства, или сознаніе ея нравственныхъ достоинствъ, которое не имѣеть ничего общаго съ обращеннымъ къ нашему уму объясненіемъ различія между тѣмъ, что хорошо и тѣмъ, что дурно. Непосредственный поученія не возбуждаютъ въ насъ сочувствія къ тому, кто поучаетъ. Глубоко вдумываться въ вопросы о нравственности вовсе не то, что произносить поучительныя проповѣди. Но *Отець Семейства* въ точности осуществлялъ понятіе Дидро о цѣляхъ, и пользѣ драмы,

1) *De la Poésie Dramatique*, § II. VII. 313.

2) *Локарта Жизнь Скотта*, IV. 177 (изд. 1837).

когда обращался къ своей дочери съ слѣдующими словами: «Бракъ, дочь моя, есть такое призваніе, которое установлено природой.... Кто надѣется найти благополучіе безъ всякой примѣси, тотъ не знакомъ ни съ человѣческой жизнью, ни съ предназначеніями Прорицанія. Если бракъ и подвергаетъ насъ тяжелымъ испытаніямъ, за то онъ служить также источникомъ самыхъ сладкихъ радостей. Гдѣ же какъ не въ супружествѣ можно найти примѣры чистой и глубокой привязанности, неподдельной искренности, самого искренняго довѣрія, взаимной услугливости, готовности дѣлить горе и плакать вмѣстѣ? Развѣ для добродѣтельного человѣка жена не дороже всего въ мірѣ? Развѣ отецъ можетъ любить кого нибудь болѣе горячо чѣмъ своихъ дѣтей? О священный союзъ, когда я думаю о тебѣ, душа моя согрѣвается и возвышается! »¹⁾.

Но эти добродѣтельные словоизверженія не согрѣваютъ и не возвышаютъ насъ. Въ этихъ случаяхъ слова ничего не стоять. Зрителя трогаетъ дѣйствительное изображеніе прекраснаго характера, а не разсказъ о немъ. Только сочетаніе интереснаго дѣйствія съ прекраснымъ характеромъ можетъ возбудить въ нашей душѣ тѣ лучшія чувства, на какія она способна. Диодро, точно также какъ и многіе изъ жившихъ прежде и послѣ него писателей, хотѣлъ обратить театръ въ великаго проповѣдника нравственности. Что театръ можетъ со временемъ получить именно такое назначеніе, объ этомъ нельзя спорить, но во всякомъ случаѣ этого нельзя достигнуть путемъ подражанія церковнымъ проповѣдникамъ. Устныя поученія всегда были и всегда будутъ самыми слабыми оплотомъ, какой когда либо былъ придуманъ добродѣтелью противъ бурнаго потока страстей и для пользы дѣла рѣшительно все равно, будуть ли увѣщанія вложены въ уста сына Сэувелля, г-на Токатива, или въ уста плаксиваго и простоватаго отца семейства.

Впрочемъ намъ становится какъ будто стыдно, когда мы позволяемъ себѣ такъ рѣзко отзываться о Диодро. Вѣдь онъ самъ такъ скромно отзывался о своемъ произведеніи, быть такъ простъ и непрятязателенъ, такъ чуждъ беспокойнаго честолюбія, такъ великодушенъ въ своихъ сужденіяхъ о другихъ. Онъ самъ былъ не высокаго мнѣнія о своихъ собственныхъ драматическихъ экспериментахъ и никогда не унижался до отвратительной привычки юдко нападать на живыхъ или на мертвыхъ соперниковъ. Онъ сознавалъ, что онъ самъ не мастеръ, но онъ былъ достаточно благороденъ, чтобы восхищаться всякимъ, кто былъ ближе его мастерству. Онъ пришелъ въ неподдельный восторгъ, когда прочиталъ забавную маленькую комедію Седэна *Философъ* безъ собственного вѣдома; она была про-

1) *Père de Famille*, актъ II. сц. II. стр. 211.

ста безъ жеманства и краснорѣчива безъ всякихъ со стороны автора усилий или реторическихъ пріемовъ. Дидро тотчасъ побѣжалъ къ автору, и бросился къ нему на шею, проливая слезы радостнаго сочувствія и признательности. Точно такъ какъ и Лилло — авторъ любимой комедіи Дидро *Жоржъ Барнвель*, — Седэнъ былъ настоящій ремесленникъ и успѣхъ тѣхъ либретто, которыя были имъ написаны для комическихъ оперъ, нисколько не измѣнили его направлѣнія. Обращаясь къ своему растроганному поклоннику, онъ не нашелъ болѣе сочувственаго выраженія чѣмъ слѣдующее: «A h, monsieur Diderot, que vous êtes beau!»¹⁾ Дидро точно также восхищался оригинальностью и напоминавшей произведенія Аристофана веселостью блестящей комедіи Коллэ *La v e r i t é dans le vin*, несмотря на то, что Коллэ ненавидѣлъ всѣхъ философовъ, начиная съ Вольтера, и написалъ желчно презрительный разборъ *Незаконнаго Сына*²⁾.

Но изъ всѣхъ сочинителей комедій любимцемъ Дидро былъ авторъ *Andrіи и Неautontimogimes*, — а поддюжини страницъ о Теренціи, набросанныхъ имъ въ то время какъ типографскій ученикъ дожидался его въ залѣ (1762), составляютъ одинъ изъ самыхъ полныхъ по содержанію и самыхъ привлекательныхъ между оставленными имъ отрывками; здѣсь дѣлается оцѣнка нѣжности и такта Теренція, основательности и проницательности его сужденій, его разборчивости и выдержанности. Дидро допускаетъ, что Теренцію не достаетъ огня, поэтому онъ совѣтуетъ молодымъ поэтамъ обращаться къ Мольеру или къ Аристофану, но такъ какъ огнь было именно то, чего всего болѣе недоставало самому Дидро, то онъ охотно извиняетъ этотъ недостатокъ у Теренція и полагаетъ, что онъ возмѣщается съ избыткомъ умѣренностью, правдивостью и изяществомъ вкуса. Онъ хвалитъ Кольмана за переводъ Теренція, потому что изъ сочиненій этого писателя соотечественники Кольмана могутъ извлечь именно тѣ поученія, въ которыхъ они всего болѣе нуждаются. Онъ находитъ, что у англійскихъ комиковъ болѣе огня чѣмъ вкуса. «Ванбругъ, Вичерлей, Конгревъ и некоторые другие умѣли наглядно изображать пороки и смѣшныя стороны людей; имъ недостаетъ не изобрѣтательности, не теплоты, не веселости, не силы, а того единства картины, той опредѣленности очертаній и той вѣрности колорита, которыми портретъ отличается отъ карикатуры. Имъ въ особенности недостаетъ умѣнья различать и схватывать тѣ наивныя, простыя, но вмѣстѣ съ тѣмъ оригинальныя душевныя движения, которыя всегда нравятся и поражаютъ, и

¹⁾ Paradoxe sur le Comedien, p. 383.

²⁾ Journals, II. 331. Так же VI. 248; VII. 9.

благодаря которымъ подражаніе становится вѣрнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ пикантнымъ»¹⁾. Критика не имѣть ничего прибавить къ этимъ немногимъ строкамъ, и еслибы Дидро прочелъ въ послѣдніе годы своей жизни *Школу Злословія* или *Соперниковъ*, онъ не нашелъ бы основанія измѣнять свое мнѣніе.

Одна англійская комедія имѣла честь быть переведенной Дидро; то былъ *Ирокъ*—не *Ирокъ Ширлея* или Гаррика, а *Ирокъ Эдварда Мура* (1753). Это хороший образчикъ той буржуазной трагедіи или семейной драмы, которую Дидро такъ желалъ ввести на французскую сцену. Ослѣпленіе Беверлея, слезы и добродѣтель г-жи Беверлей, благоразуміе Шарлотты и разумная преданность ея возлюбленного, симпатическое раскаяніе Бетса и даже отчаяніе Стекли—все это представляло такую картину семейныхъ несчастій и нравственныхъ чувствъ, которая непремѣнно должна была привести Дидро въ восторгъ. Дидро еще болѣе любилъ драму Лилло *Жоржъ Барнвельль* за ея прямыя и настоятельный нравственный поученія, и сравнивалъ сцену въ тюрьмѣ между Маріей и Барнвельлемъ съ той сценой въ *Філоктетъ Софокла*, когда слышно, какъ герой драмы испускаетъ пронзительные крики у входа въ свою пещеру;²⁾ точно такъ и одинъ изъ позднѣйшихъ критиковъ находилъ другую комедію Лилло *Папубное любопытство достойной сравненія съ Тиранномъ Эдипомъ*.

Мнѣнія Дидро о Шекспирѣ, какъ кажется, были именно такія, какихъ слѣдовало ожидать отъ человѣка съ его характеромъ. Ему всего болѣе нравилась та наводящая ужасъ сцена, когда лэди Макбетъ молча проходитъ по сценѣ съ закрытыми глазами и точно будто моетъ свои руки, выражая удивленіе, что «въ старики было такъ много крови». «Я не знаю»,—восклицаетъ онъ,—«ни одного устнаго выраженія, которое было бы такъ же патетично, какъ молчаніе этой женщины и движенія ея рукъ. Какая картина угрозъ и совѣсти!»³⁾

Отъ Дидро, конечно, нельзя было ожидать тѣхъ неразборчивыхъ похвалъ, которыми осыпали Шекспира его соотечественники. Однако онъ достаточно хорошо зналъ, что такое Шекспиръ, чтобы понимать, что онъ имѣть дѣло съ гигантомъ. «Я не буду сравнивать Шекспира»,—говорить онъ,—«ни съ Аполлономъ Бельведерскимъ, ни съ Гладіаторомъ, ни съ Антиоемъ» (вѣдь онъ сравнивалъ же Теренція

¹⁾ Réflexions sur Théâtre, V. 228—238. Въ другомъ мѣстѣ (De la Poésie Dram. 370) онъ говорить: «У насъ есть настоящія комедіи. У Англичанъ есть только сатиры, которые полны силы и веселости, но въ которыхъ нѣтъ ни изображенія нравовъ, ни вкуса. Итальянцы же приуждены довольно-становаться комическими фарсами».

²⁾ VII. 95.

³⁾ Lettre sur les Sourds et les Muets, I. 355.

съ Венерой Медицейской), «а сравню его съ находящимся въ соборѣ Богоматери св. Христофоромъ—этимъ безобразнымъ грубо выточеннымъ колоссомъ, между ногъ которого всѣ мы могли бы пройти, не задѣвши за него головами»¹⁾). Этотъ отзывъ едва ли можно назвать вполнѣ основательнымъ, но сравненіе съ св. Христофоромъ все таки лучше, чѣмъ сдѣланное Вольтеромъ сравненіе съ пьянымъ дикаремъ.

Не всѣ драматурги относятся къ искусству театрального исполненія съ такимъ же серьезнымъ вниманіемъ, какъ и къ искусству композиціи. Великій авторъ *Вильгельма Мейстера* представляетъ самое замѣчательное исключение изъ этого правила, а Лессингъ занимаетъ лишь второе послѣ него мѣсто. Тотъ, кто не изучилъ серьезно правила, цѣлый и условій сценическаго представленія, тотъ едва ли способенъ сдѣлаться великимъ драматургомъ и никогда не можетъ сдѣлаться первостепеннымъ драматическимъ критикомъ. Такъ напримѣръ Газлиттъ написалъ нѣсколько прекрасныхъ страницъ о поэзіи, о творчествѣ фантазіи, о языке, о пьесахъ Шекспира, но не могъ идти далѣе и впасть въ заблужденіе, когда сталъ утверждать, что *Король Лиръ*—такая благородная драма, что онъ не можетъ выполнить ея исполненія на сценѣ. Точно будто есть возможность вполиѣ опѣнить какую бы то ни было драму, если не будетъ принята въ соображеніе цѣль, для которой она написана. Театральную пьесу слѣдуетъ рассматривать не только какъ поэтическое произведеніе, но и какъ произведеніе предназначеннѣе для театра. Все построеніе пьесы находится въ зависимости отъ того факта, что она должна быть разыграна; самая эффектная въ ней мѣста должны быть не только прекрасны въ поэтическомъ отношеніи, но и въ высшей степени драматичны. Они должны быть настроены на тотъ высокий камертонъ, благодаря которому впечатлѣніе производимое дѣйствиемъ болѣе сильно, чѣмъ впечатлѣніе производимое словами. Этотъ высокій камертонъ можетъ измѣняться почти до безконечности сообразно съ мастерствомъ актера.

Дидро, умѣвшій такъ глубоко проникать въ самую суть всякаго предмета, на которомъ онъ останавливалъ свое вниманіе, оставилъ намъ нѣсколько очень вѣрныхъ замѣчаній о комедіяхъ. Въ этомъ случаѣ руководствомъ для него служилъ его всегдашній лозунгъ: *Наблюдайте за природой и слѣдуйте за ея простыми и безъ искусственными указаниями*. *Ragadoxe sur le Comédien* есть одно изъ числа очень немногихъ произведеній Дидро, о кото-

¹⁾ *Ragadoxe*, VIII. 384. Критика отвратительного исполненія роли Гамлета актеромъ Дюси (VIII. 471) способна внушить сомнѣніе, былъ ли Дидро хорошо знакомъ съ произведеніями Шекспира.

рыхъ можно сказать, что они отличаются не только силою мысли, но и законченностью своей литературной формы. Здѣсь нѣтъ ни безцвѣтнаго слога, ни тяжеловѣсныхъ сужденій, ни излишней растянутости, придающихъ какой то отпечатокъ пошловатости столькимъ изъ его самыхъ тщательно обѣланныхъ статей. Въ *Парадоксъ* мысли повидимому изливаются съ быстротой и всегда умѣстны; онъ непосредственно касаются обсужденаго предмета и не обременены условными оговорками; ихъ ясное теченіе не прерывается множествомъ постороннихъ и случайныхъ словоизверженій. Дидро обыкновенно пишетъ такъ, что читателю кажется, будто онъ не желаетъ выскажать свою мысль, не желаетъ довести параграфъ до конца. А здѣсь, напротивъ того, онъ высказываетъ мысль вполнѣ и безъ всякихъ колебаній переходить къ изложенію того что слѣдуетъ. Впрочемъ и здѣсь онъ не выдерживаетъ до конца, такъ какъ послѣднія пол-дюжины страницъ отличаются обычнымъ для ихъ автора неуклюжимъ жеманствомъ.

Что выражено въ *Парадоксъ*? Что у первокласснаго актера должно быть много ума, самообладанія и проницательности, но не должно быть чувствительности. Актеръ, не обладающій ничѣмъ кромѣ здраваго смысла и ума, можетъ быть холоденъ, но актеръ, не обладающій ничѣмъ кромѣ жара и чувствительности, будетъ слабъ. Только благодаря сочетанію здраваго смысла съ жаромъ актеръ можетъ быть восхитителенъ¹⁾. Почему долженъ онъ отличаться отъ поэта, отъ живописца, отъ оратора, отъ музыканта? У всѣхъ этихъ художниковъ характеристическая проявленія таланта случаются не въ пылу первого увлеченія, а благодаря неожиданно нисшедшему на нихъ вдохновенію въ такие моменты, когда они спокойны и холодны²⁾. Хладнокровіе—вотъ что должно умѣрять горячку энтузіазма. Вліять на насть можетъ не пылкій человѣкъ, выходящій изъ себя; это преимущество принадлежитъ тому, кто умѣеть владѣть самимъ собою. Великіе поэты, великіе актеры и можетъ быть вообще всѣ великие подражатели природѣ одарены изящной фантазіей, большимъ умомъ, утонченнымъ тактомъ, вѣрнымъ вкусомъ, но у нихъ всѣхъ очень мало чувствительности. Они одинаково способны на слишкомъ разнообразныя вещи; они до того заняты разсмотриваніемъ, анализированіемъ и подражаніемъ, что не могутъ быть затронуты до глубины души. Чувствительность едва ли можетъ быть свойствомъ великаго генія. Онъ будетъ стремиться къ правдѣ, но онъ будетъ

¹⁾ Письмо къ дѣвице Жоденъ, XIX. 387.

²⁾ Джонсонъ однажды обратился къ Джону Кемблю съ вопросомъ: „принадлежите ли вы къ числу тѣхъ энтузіастовъ, которые воображаютъ, что они представляютъ ту личность, которую представляютъ?“—Кемблъ отвѣчалъ, что вратились въ ту личность, которую представляютъ?—Кемблъ отвѣчалъ, что онъ самъ никогда не чувствовалъ такого глубокаго убѣжденія.—Бозель, гл. 77.

придерживаться ея на дѣлѣ, не наслаждаясь всей ея прелестью. Все это есть дѣло его головы, а не его сердца. Вотъ почему я утверждаю, говоритъ Дидро, что чрезмѣрная чувствительность производить посредственныхъ актеровъ, посредственная чувствительность производитъ дурныхъ актеровъ, а совершенное отсутствие чувствительности подготовляетъ такихъ актеровъ, которые будутъ неподражаемы¹⁾.

Все это изложено съ большой ясностью и точностью, а нѣкоторые изъ примѣровъ, которые Дидро приводить для объясненія діалога, очень интересны. Для настъ—англичанъ едва ли не самый интересный изъ этихъ примѣровъ, тотъ въ которомъ идетъ рѣчь о Гаррикѣ, съ которымъ Дидро познакомился въ концѣ 1765. Онъ разсказываетъ, что онъ видѣлъ, какъ Гаррикъ просунулъ свою голову въ полуоткрытую дверь и какъ въ теченіе нѣсколькихъ секундъ выраженіе его лица поперемѣнно переходило отъ безумной радости къ умѣренной радости, отъ этой послѣдней къ спокойствію, отъ спокойствія къ изумленію, отъ изумленія къ удивленію, отъ удивленія къ унынію, отъ унынія къ совершенному упадку духомъ, отъ совершенного упадка духомъ къ страху, отъ страха къ ужасу, отъ ужаса къ отчаянію,—а потомъ съ такой же постепенностью возвратилось къ точкѣ исхода²⁾. Не подлежитъ сомнѣнію, что его душа не чувствовала ни одной изъ всѣхъ этихъ эмоцій. «Если бы вы попросили этого знаменитаго артиста,—который стоялъ того, чтобы сѣѣздить въ Англію единственно съ цѣллю его видѣть, точно такъ же какъ стоитъ того сѣѣздить въ Италію чтобъ посмотретьъ чудеса Рима,—если бы вы попросили его сыграть сцену изъ *The Little Baker's Boy*,

1) Лессингъ дѣлаетъ изъ этой мысли исходную точку своихъ критическихъ замѣчаній о сценическомъ искусствѣ, хотя и принимаетъ ее не въ такомъ абсолютномъ значеніи какъ Дидро. Намѣрѣ. *Dramaturgie*, § 3, т. VI. 19.

2) Въ *Письмахъ изъ Англіи* Лихтенберга (1776) есть чрезвычайно дѣльная критическая замѣчанія о Гаррикѣ. Морізъ Литтонъ сообщилъ объ нихъ англійскимъ читателямъ въ *Fortnightly Review* (февр. 1871). Слѣдующій отрывокъ подтверждаетъ мнѣнія Дидро:

«Вы безъ сомнѣнія много разъ слышали о его необыкновенной способности измѣнять выраженіе своего лица. Вотъ вамъ одинъ примѣръ этой способности. Когда онъ исполнялъ роль сэра-Джона Брута, я стоялъ близко къ сценѣ и могъ хорошо наблюдать за нимъ. Когда онъ вошелъ на сцену, края его рта до того отвисли, что придавали его лицу выраженіе тугоумія и распутства. Эту искусственную форму рта онъ сохранилъ безъ измѣненій съ начала и до конца пьесы съ тѣмъ только исключеніемъ, что губы все болѣе и болѣе раскрывались и становились отвислыми по мѣрѣ того, какъ изображаемая имъ личность все болѣе и болѣе впадала въ опьяненіе. Такая искусственно созданная физіономія была продуктомъ не усилій, дѣлаемыхъ на сценѣ, а сжиманія мускуловъ; и Гаррикъ до такой степени отождествилъ себя съ личностью сэра Джона Брута, что могъ мгновенно преобразиться въ эту личность всякий разъ, когда ему приходилось представлять ее на сценѣ; иначе было бы совершенно непонятно, какъ могъ онъ сохранять на себѣ эту маску, ни разу не забывшиесь отъ усталости или случайно даже въ самые оживленные моменты представлений»⁴⁾.

онъ исполнилъ бы ваше желаніе; если бы вы тотчасъ вслѣдъ за тѣмъ попросили его сыграть сцену изъ Гамлета, онъ также исполнилъ бы ваше желаніе съ одинаковой готовностью рыдать надъ разсыпавшимися пирожками и слѣдить глазами за взмахами шпаги»¹⁾.

Кромѣ изложенія своей основной мысли, Дидро дѣлаетъ нѣсколько дѣльныхъ замѣчаній, изъ которыхъ всего яснѣ обнаруживаются его способности къ критикѣ. Такъ напримѣръ онъ задается вопросомъ, что такое сценическая истина? Заключается ли она въ томъ, чтобы изображать предметы именно такими, какими мы ихъ видимъ въ природѣ? Вовсе нѣтъ. Истина въ этомъ смыслѣ слова была бы ничто иное, какъ пошлость. Настоящая истина заключается въ сообразованіи дѣйствій, словъ, наружности, голоса, движеній, жестовъ съ идеаломъ, который созданъ воображеніемъ поэта и не рѣдко преувеличивается актеромъ. Этимъ идеаломъ опредѣляется не только тонъ, но и манера себя держать и даже поступь актера. А какая цѣль многократныхъ репетицій? Установить равновѣсіе между различными талантами актеровъ. Превосходство игры одного актера не можетъ вознаградить васъ за посредственность другихъ, которая непріятно бросается въ глаза именно благодаря тому превосходству. Сверхъ того подражать звукамъ голоса легче чѣмъ подражать движеніямъ, а между тѣмъ движенія дѣйствуютъ на насъ съ большою силой. Отсюда правило, недопускающее исключеній,—что если вы не хотите оставлять слушателей холодными, вы должны выразить вашу развязку въ дѣйствіи, а не въ разсказѣ²⁾.

Одной изъ главныхъ смѣшныхъ сторонъ господствовавшаго въ ту пору драматического стиля Дидро считалъ то, что актеръ нуждался въ зеркалѣ. Чѣмъ меньше жестовъ, говорилъ онъ, тѣмъ лучше; безпрестанная жестикуляція ослабляетъ энергию и несовмѣстима съ благородствомъ движений. Должны двигаться не руки, а физіономія, глаза и все тѣло³⁾. Поэты всего легче забываютъ то основное правило, что сильныя страсти нѣмы. Отъ актера зависитъ произвести молчаніемъ болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ то, которое могъ бы произвести поэтъ всѣми своими изысканными фразами⁴⁾. Актеръ долженъ всего болѣе работать надъ спокойными сценами, такъ какъ

¹⁾ VIII. 382.

²⁾ VIII. 373, 376, и пр.

³⁾ Такъ выражается и Гамлетъ, обращаясь къ актеру: «Не пили слишкомъ усердно воздуха руками, будь умѣреніе. Среди потопа, бури и, такъ сказать, водоворота твоей страсти, ты долженъ сохранить умѣренность, которая смягчитъ ихъ раззостъ».

⁴⁾ Къ г.-жѣ Жодену, XIX. 382. «Point de hoquets, point de cris, de la dignit  vraie, un jeu ferme, sens , raisonn , juste, m le; la plus grande sobri t  de gestes. C'est de la contenance, c'est du maintien, qu'il faut d clamer les trois quarts du temps.»—Page 390.

онъ самыя трудныя. Дидро совѣтуеть одной молодой актрисѣ каждый день вмѣсто утренней молитвы исполнять сцену Аталии съ Иоасомъ, вмѣсто вечерней молитвы исполнять какія нибудь сцены между Агриппиной и Нерономъ, а вмѣсто *Benedicite* исполнять первую сцену Федры съ ея подругой. Въ особенности не слѣдуетъ впадать въ высокопарность,—(предостереженіе которое могло бы быть очень полезно для девяноста-девяти англійскихъ ораторовъ изъ ста),—такъ какъ высокопарность едва ли можетъ быть когда либо натуральной; это ничто иное, какъ натянутое подражаніе природѣ¹⁾.

Дидро очень скоро пришелъ къ убѣждѣнію, что увлеченіе, съ которымъ его соотечественники относились къ национальному театру, безразсудно. Онъ не допускалъ, чтобы можно было сравнивать искусственный классицизмъ французской сцены съ греческими драматическими произведеніями. Онъ утверждалъ, что у греческихъ писателей сюжеты благородны, хорошо выбраны и интересны, что у нихъ дѣйствіе развивается повидимому безъ принужденія, что у нихъ разговоры просты и очень близки къ тому, что натурально, что у нихъ развязка не бываетъ натянута, что у нихъ эпизоды не ослабляютъ интереса пьесы и не усложняютъ хода дѣйствія. Въ произведеніяхъ французского классицизма онъ не находилъ ни одного изъ этихъ достоинствъ. Онъ не находилъ въ нихъ той правдивости, которая есть единственное средство нравиться намъ и увлекать нась, не находилъ ни одного изъ тѣхъ простыхъ и натуральныхъ пріемовъ, которые одни только и способны вводить нась въ полную и не-прерывную иллюзію. Въ нихъ всѣ разговоры высокопарны, замысловаты, блестящи и далеки на тысячу лѣ отъ природы. Вмѣсто того чтобы на каждомъ шагу искусственно придавать дѣйствующимъ лицамъ то, что французы называютъ словомъ *esprit*, поэты должны бы были ставить дѣйствующія лица въ такія положенія, которыя придаютъ имъ этотъ *esprit*. Развѣ есть такая страна, где мужчины и женщины говорятъ такъ, какъ мы декламируемъ? Почему принцы и короли должны ходить не такъ, какъ всѣ другіе люди, умѣющіе хорошо ходить? Развѣ они жестикулируютъ, какъ пришедши въ ярость сумасшедши? Развѣ принцессы, когда говорятъ, испускаютъ такие рѣзкие звуки? Всѣ воображаютъ, будто мы довели трагедію до высшей степени совершенства. Но это мнѣніе ошибочно. Изъ всѣхъ родовъ литературы это самый несовершенный²⁾.

Тѣ же самыя идеи, которыя безсвязно проглядывали въ рассказахъ, написанныхъ Дидро въ 1748, снова высказываются въ статьяхъ о драмѣ, написанныхъ имъ въ 1757 и 1758. Мы сдѣлали, го-

¹⁾ Page 395.

²⁾ *Bijouts Indiscrets*, гл. XXXVIII.

ворить онъ, все что отъ насъ зависѣло, чтобы испортить драматической стилъ. Мы сохранили отъ древнихъ ту высокопарность версификаціи, которая была такъ хорошо приспособлена къ языкамъ съ сильною выразительностью и рѣзкими удареніями, къ обширнымъ театрамъ и къ такой декламаціи, которая сопровождалась инструментальнымъ аккомпаньементомъ; но мы отложили въ сторону простоту интриги и разговора и естественность положеній¹⁾). Почти за пятьдесятъ лѣтъ передъ тѣмъ Ла-Моттъ сталъ нападать на псевдо-классическую драму. Онъ возставалъ противъ трехъ единствъ, противъ длинныхъ монологовъ, противъ необходимости въ наперсникахъ и противъ стихотворной формы. Его нападки, въ которыхъ ему оказывалъ мощное содѣйствіе Фонтенель, были эпизодомъ той борьбы между Новыми и Древними, которою началась литературная дѣятельность вѣка. Блестящій успѣхъ трагедіи Вольтера возстановилъ репутацію искусственной драмы, хотя Вольтеръ и ввелъ въ нее романтический элементъ подъ прикрытиемъ старыхъ строгихъ формъ. Но въ *Зашрь* драма стала еще менѣе походить на произведенія Софокла и Еврипида, чѣмъ въ *Федрѣ* или *Ифигеніи*. Вольтеръ намѣревался, создать для французской драмы самостоятельную форму. Онъ заранѣе зналъ, что никто не будетъ сравнивать его съ Софокломъ и не воздерживался отъ рѣзкихъ нападокъ на Еврипида, отзывавшихся какою то странной связностью. Греческія сценическія произведенія не могли удовлетворять его, потому что ихъ тонъ иногда слишкомъ сильно походилъ на ярмарочный; сверхъ того въ нихъ было слишкомъ много фамильярности и слишкомъ много болтовни, для того чтобы они могли нравиться тому, чей вкусъ сдѣлался слишкомъ прихотливъ подъ вліяніемъ пьесъ, разыгравшихся при дворѣ Лудовика XIV. Дидро не впадалъ въ такія ошибочные сужденія потому что понималъ, что греческая драма была вѣрна понятіямъ того вѣка, который породилъ ее, но что французская драма,—если не подъ первомъ Расина, то подъ первомъ Вольтера и еще болѣе подъ первомъ такихъ людей, какъ Лагранжъ-Шансель и Кребильонъ старшій,—не была вѣрна никакимъ понятіямъ, кроме чисто литературныхъ, искусственныхъ и непроизводительныхъ. Онъ настоятельно утверждалъ, что для сцены нѣть никакой будущности, если люди не будутъ во всѣхъ отношеніяхъ готовы возвратиться къ природѣ. Мы уже видѣли, въ чѣмъ заключались его совѣты актерамъ. Онъ въ томъ же самомъ тонѣ читаетъ наставленія сценическимъ декораторамъ и костюмѣрамъ. По его мнѣнію, декораціи должны быть гораздо болѣе вѣрны, чѣмъ какой либо другой видъ живописи. Стა-

1) VII. 121. Лессингъ высказываетъ ту же мысль съ большою силой. На т. в. Dram. VI. 261.

раясь произвести именно то впечатлѣніе, котораго хотѣлъ поэтъ, не слѣдуетъ ни сбиваться съ этого пути, ни поддаваться постороннимъ вѣнченіямъ. Нужно-ли вамъ изобразить салонъ? Сдѣлайте его такимъ, какимъ онъ бываетъ у людей со вкусомъ, но никакъ не болѣе; тутъ не должно быть ни пышности, ни позолоты, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда положеніе дѣйствующихъ лицъ непремѣнно этого требуетъ.

Относительно костюмовъ слѣдуетъ придерживаться того-же самаго правила. По платью, на которомъ слишкомъ много золотыхъ нашивокъ, мы узнаемъ богатаго человѣка, а мы желаемъ видѣть просто человѣка. Намъ нужно не множество мишуры и нашивокъ, а платье въ строгомъ вкусѣ съ красиво и просто падающими складками. «Недавно одна смѣлая актриса не надѣла фижмъ и никто не нашелъ, чтобы она стала оттого хуже. Ахъ, еслибы она имѣла смѣлость выйти на сцену въ такомъ благородномъ и простомъ костюмѣ, который соотвѣтствовалъ бы ея роли; въ тѣ моменты, когда она впадала бы въ отчаяніе вслѣдствіе смерти мужа, потери сына или какогонибудь другаго трагического происшествія, какъ было бы странно видѣть рядомъ съ ея растрепанной головой всѣ эти напудренныя, завитыя и тщательно убранныя головы? Рано или поздно всѣмъ имѣлося бы настроить себя на одинъ тонъ. О натура, натура! Мы никогда не должны идти ей наперекоръ»¹⁾.

Отъ всѣхъ этихъ разсужденій мы должны на короткое время и не очень охотно перейти къ той путаницѣ драматическихъ правилъ и метафизическихъ понятій о драмѣ, которая была придумана Сербониемъ. Въ литературѣ нѣтъ такого сюжета,—даже не исключая толкованій Апокалипсиса,—который породилъ бы столько пендантическихъ, скучныхъ и мелочныхъ споровъ. Для человѣческой интелигенціи всегда будутъ позоромъ и уродливымъ памятникомъ умствен-наго безплодія тѣ нескончаемые споры, которые велись въ книгахъ, въ памфлетахъ, газетахъ и отдѣльныхъ статьяхъ, большою частію написанныхъ на немецкомъ языке, касательно того, что хотѣть выразить Аристотель знаменитыми словами въ шестой главѣ своей *Птичики*,—что трагедія очищаетъ въ насъ чувства состраданія и сочувственнаго страха. Главнымъ корнемъ заблужденія и тогда была и до сихъ поръ остается привычка приписывать драматургамъ этическія или соціальные цѣли и привычка требовать отъ драмы эфектовъ этическихъ или соціальныхъ. Со временемъ великаго Аристотеля еще не было ни одного критика, который не заразился бы этимъ пагубнымъ заблужденіемъ,—а Дидро, какъ мы видѣли, былъ зараженъ имъ еще болѣе всѣхъ другихъ. Но то негодованіе, которое

¹⁾ Poésie Dramatique, §§ 20, 21.

возбуждаютъ въ насть посредственные критики, Дидро смягчаетъ тѣмъ, что въ заключеніе всего дѣлаетъ слѣдующую прекрасную уступку: «Главнымъ образомъ не забывайте, что *ильтъ общю принципа*; изъ всѣхъ указанныхъ мною принциповъ я не знаю ни одного, котораго не могъ бы съ успѣхомъ нарушить гениальный человѣкъ». ¹⁾ Въ этихъ словахъ слышится голосъ настоящаго Дидро; а потому намъ и не представляется надобности долго останавливать наше вниманіе на изложенныхъ имъ ранѣе того мнѣніяхъ о томъ, что въ одномъ и томъ же произведеніи не должно быть оттѣнковъ и комического стиля и драматического, что движенія вредятъ достоинству и что потому изъ главнаго дѣйствующаго лица не слѣдуетъ дѣлать *машиниста* пьесы, что эпизодическая личности неумѣстны—и т. п. Каково бы ни было внутреннее достоинство этихъ мнѣній, мы считаемъ нужнымъ сдѣлать по поводу ихъ только одно замѣченіе,—что Дидро, какъ настоящій философъ, дѣлалъ общіе выводы изъ явленій природы и искусства. Онъ не придерживался общеупотребительной критической методы вкладывать свои собственные идеи въ произведеніе искусства и потомъ снова извлекать ихъ оттуда въ болѣе внушительной формѣ выводовъ изъ самаго произведенія.

Самъ Дидро полагалъ, что онъ сдѣлалъ одно существенно важное дѣло, — что онъ создалъ новую специальность въ обширной сферѣ драматического искусства. Всякій знаетъ, сказалъ онъ, что существуетъ трагедія и что существуетъ комедія, но въ природѣ и въ сценическомъ искусствѣ есть еще мѣсто для треть资料а, а именно для *genre sГrieux*, то есть для такого рода комедіи, который имѣеть предметомъ добродѣтель и человѣческія обязанности. Почему авторъ комедій долженъ ограничиваться тѣмъ, что есть въ людяхъ порочнаго и смѣшнаго? Почему исполненіе долга не можетъ доставлять драматургу такого же обильного материала, какъ и человѣческіе пороки? *Genre honnête et sérieux* имѣеть конечно не менѣе важную цѣль, чѣмъ веселая комедія. Въ немъ характеры столько же разнообразны, сколько оригинальны, страсти будутъ еще болѣе сильны, благодаря тому что интересъ юми возбуждаемый будетъ болѣе силенъ, стиль будетъ болѣе серьезенъ, болѣе возвышенъ, болѣе силенъ, болѣе доступенъ тому, что мы называемъ чувствомъ, а чувство — такое свойство, безъ котораго никакой стиль не можетъ говорить нашему сердцу. Въ смѣшномъ также не будетъ недостатка, потому что и въ людяхъ и въ жизни насть смѣшить безразсудство дѣйствій и словъ, происходящее отъ непониманія нашихъ интересовъ или отъ увлеченія страстями. ²⁾

¹⁾ 3-е Entretien, VII. 138.

²⁾ Poés. Dram. § 2. Касательно шитки въ *Genre SГrieux* см. VII.

Кромъ своихъ собственныхъ двухъ пьесъ, Дидро могъ бы указать на Теренція, какъ на такого автора, который всего ближе подходитъ къ *genre sérié* ихъ. Если бы въ плохой Гётевой комедіи *Stella* развязка осталась въ томъ видѣ, какъ она была первоначально написана,—если бы въ послѣдней ея сценѣ двоеженецъ Фернандо выражалъ свою радость по поводу того, что обѣ его жены и его дочь изъ преданности къ нему рѣшились жить всѣ вмѣстѣ въ добромъ согласіи, — это вѣроятно была бы настоящая комедія въ *серьезномъ жанрѣ* съ объясненіемъ, какъ можно съ удобствомъ согласовать человѣческія обязанности съ обстоятельствами.

Теорія *серьезного жанра* не привела къ образованію школы писателей, которые примѣняли бы ее на практикѣ, и не вызвала появленія какого либо образцового произведенія, которое было бы также выдержано до конца, какъ нѣкоторыя произведенія принадлежащія къ сферѣ трагедіи, комедіи и фарсы. Бомарше, въ концѣ концовъ достигшій такого совершенства въ своемъ образцовомъ драматическомъ произведеніи, началъ свою карьеру драматического писателя тѣмъ, что сталъ придерживаться того же направленія, какое сказалось въ *Отцѣ Семейства*; но хотя *Свадьба Фигаро* и носитъ на себѣ ясные слѣды усиленнаго примѣненія понятій Дидро, по своей структурѣ и по своей композиціи это скорѣе испанско-французское произведеніе. Розенкранцъ очень вѣрно замѣтилъ, что въ наше время на французской сценѣ господствуетъ такое направленіе, которое болѣе всего благопріятно для буржуазной романтической комедіи, написанной въ прозѣ.¹⁾ Но господствующій въ такихъ комедіяхъ романтическій элементъ такъ же мало удовлетворилъ бы влеченіе Дидро къ реалистическимъ нравоученіямъ, какъ и строго-классическая трагедія, исполнявшаяся при дворѣ Лудовика XIV. Въ большей части изъ нихъ фабула вертится на прелюбодѣяніи, а этотъ сюжетъ несовмѣстимъ съ теоріей *серьезного жанра*, какъ понималъ ее Дидро. Можетъ быть и найдется пол-дюжины комедій, въ родѣ комедіи Дюма *Les Idées de M-me Aubray*, которыя могутъ быть отнесены къ *серьезному жанру*, но ихъ не такъ много, чтобы изъ нихъ могла составиться настоящая школа во вѣтвѣ Дидро. Поэтому намъ не представляется надобности много распространяться обѣ этой теоріи и достаточно будетъ, если мы по этому поводу замѣтимъ, что хотя драма есть подражательное искусство, все таки для того, чтобы она производила впечатлѣніе, надо чтобы, кромѣ подражанія въ ней была иллюзія. Какъ! восклицаетъ Дидро, вы не понимаете, какое впечатлѣніе можетъ производить на васъ реальная сцена, съ реальными костюмами, съ выраженіями;

¹⁾ I. 316.

строго соответствующими действию, съ действиями, которыхъ безъискусственны, съ изображеніемъ тѣхъ самыхъ опасностей, которыхъ возбуждали въ васъ страхъ за вашихъ родственниковъ, за вашихъ друзей, за васъ самихъ? Мы отвѣчаемъ, что нѣтъ, потому что воспроизведеніе того что реально не расшевеливаетъ насть такъ сильно, какъ какое нибудь мощное произведеніе фантазіи. По замѣчанію Бурке,— «можно бы было точно также утверждать, что при возведеніи зданій слѣдуетъ класть камни, песокъ, глину и металлы точно въ такомъ же видѣ, въ какомъ они лежать въ нѣдрахъ земли, и что можно писать, сообразуясь съ случайнымъ натуральнымъ настроениемъ действующихъ лицъ». ¹⁾ Насъ не трогаютъ обыкновенныя опасности; только изображеніе опасности въ какой нибудь необычайной формѣ, въ какой нибудь новой комбинаціи, въ какомъ нибудь новомъ столкновеніи побужденій и страстей, способно возбудить въ насть тотъ сочувственный страхъ и то состраданіе, которые служатъ конечною цѣлью для сценическаго представленія. А если это такъ, то мы должны сдѣлать еще одно замѣчаніе. Если насть сознательно заключать въ атмосферу обязанностей, иллюзія сдѣлается неумѣстной. Постоянное присутствіе строгой и надъ всѣмъ господствующей фигуры, которую называютъ «Грозной дщерью воли божіей», сдерживаетъ натуральную необузданность фантазіи, препятствуетъ плодовитости мечтаній и ставить строгія ограниченія для изобрѣтательности. Дидро допускалъ, что *genre ségier* займетъ подобающее ему мѣсто только въ томъ случаѣ, если за него возьмется человѣкъ съ большимъ драматическимъ гeniemъ. Этого никогда не случалось единственно потому, что вся структура и всѣ правила этого жанра несовмѣстимы съ способностями драматического гenia.

Дидро утверждалъ, что кромѣ усовершенствованія *genre ségier*, еще нужно выполнить слѣдующія условія для того, чтобы театральная сцена достигла одинаково съ другими искусствами блеска. Во первыхъ, нужно создать семейную или буржуазную трагедію. Во вторыхъ, нужно замѣнить изображеніе индивидуальныхъ характеровъ изображеніемъ условій, среди которыхъ живеть человѣкъ, его дѣятельности, его положенія и типа цѣлыхъ классовъ. Въ третьихъ, реальная трагедія должна быть введена въ лирическія театральные представленія. Наконецъ, танцы должны быть приданы формы настоящей поэмы.

По поводу этихъ предположеній слѣдуетъ сдѣлать только одно замѣчаніе, касающееся ихъ второй статьи. Требованіе замѣны индивидуальныхъ характеровъ типами классовъ было самымъ вѣрнымъ сред-

¹⁾ *Hints for an Essay on the Drama*, p. 155.

ствомъ, какое только можно было придумать, для того чтобы установить искусственные формы псевдо-классической драмы. Существеннымъ отличиемъ этой драмы было то, что она вводила на сцену типы вмѣсто рѣзко выдающихся личностей. Какая же была бы польза отъ того, что со сцены изгнали бы типического короля для того только, чтобы очистить мѣсто для обобщенія лавочника? Это не тотъ путь, который привелъ къ романтизму, къ появленію Андрэ Шенье, Де-Вини, Ламартина, Виктора Гюго. Теофиль Готье рассказалъ намъ, что пылкіе вожаки романтической школы, внезапно завладѣвшіе Франціей въ послѣдніе годы Реставраціи, раздѣляли всѣхъ людей на *flamboyants* и *grisâtres* — на блестательныхъ и съроватыхъ. Въ предшествовавшей имъ литературѣ они относили Вольтера къ числу людей *съроватыхъ*, а Дидро къ числу людей *блестательныхъ*.¹⁾ Если возраженіе со стороны иностранца не будетъ признано за доказательство излишней самоувѣренности съ его стороны, мы скажемъ, что это мнѣніе было ошибочно, такъ какъ трудно бы было указать что либо во всѣхъ отношеніяхъ болѣе неподходящее къ драматическому плану Дидро, чѣмъ *Faust*, *Götz von Berlichingen* или *Hegnani*.

Дѣло въ томъ, что въ умѣ энциклопедиста не могло возникнуть настоящей вражды къ классической школѣ по той причинѣ, что энциклопедисты ненавидѣли и игнорировали то, что они называли вѣками мрака. А именно отъ этихъ вѣковъ мрака великое возрожденіе романтизма и получило самое дыханіе жизни. «Въ восемнадцатомъ столѣтіи», — по выраженію одного писателя, — «въ обновленной жизни Европы сказалось ничто иное какъ воспоминаніе о духѣ классицизма и этотъ духъ сдѣлался господствующимъ». ²⁾ Въ историческомъ отношеніи эти слова отчасти примѣнимы къ политическимъ сочиненіямъ Руссо и можетъ быть къ рационализму Вольтера. Если подъ словомъ классицизмъ мы будемъ разумѣть стремленіе сдѣлать изъ человѣка центръ вселенной, то эти слова будутъ въ какой-то мѣрѣ примѣнимы и къ самому Дидро, не смотря на то, что у него по временамъ проглядываетъ наклонность къ мистицизму. Классицизмъ относится къ человѣку, какъ къ существу достойному и великому, проводящему свою жизнь среди холодныхъ и нейтральныхъ силъ природы. Этотъ взглядъ совершенно противоположенъ обычному понятію о грѣховности, несовершенствѣ и ничтожествѣ человѣка и свойственному среднимъ вѣкамъ понятію о постоянномъ присутствіи въ средѣ людей цѣлой іерархіи суевѣли-

¹⁾ Hist. du Romantisme, p. 93.

²⁾ Der Gegensatz des Classischen und des Romantischen, etc. Конрада Германна, стр. 66.

выхъ сверхъестественныхъ агентовъ. Впрочемъ нельзя не замѣтить, что Дидро искалъ такихъ драматическихъ формъ и сюжетовъ, которые были бы въ одно и тоже время и не классичны и не романтичны. Онъ не нашелъ чего искалъ. Въ его время появилась лишь одна комедія, которая не будучи ни классичной, ни романтичной, самостоятельно выразила самыя искреннія и самыя лучшія влеченія всего восемнадцатаго столѣтія въ своей собственной формѣ и своимъ собственнымъ языкомъ. Эта комедія—*Натали Мудрый*.

ГЛАВА VIII.

Племянник г-на Рамо.

Одинъ писатель сказалъ, что если въ минуту мрачнаго душевнаго настроенія мы взглянемъ на этотъ міръ съ его эстетической стороны, онъ покажется намъ собраніемъ карикатуръ, если взглянемъ на него со стороны интеллектуальной, онъ покажется намъ домомъ сумасшедшихъ, если же посмотримъ на него съ нравственной стороны, мы найдемъ, что онъ ничто иное какъ убѣжище для мошенниковъ. ¹⁾ Я полагаю, что эта мысль вѣрна не по отношенію лишь къ тѣмъ, кто впадъ въ ипохондрию, и что всякому изъ числа немногихъ глубокихъ и настоящихъ наблюдателей надъ человѣческой жизнью нерѣдко случалось приходить къ тому странному убѣждѣнію, что онъ живеть въ какомъ то уродливомъ мірѣ сумасшедшихъ плутовъ и шутовъ. Въ такое умственное настроеніе неизбѣжно впадаетъ всякий, кто осмысливается встряхнуть калейдоскопъ такъ сильно, чтобы въ немъ измѣнилось условное и всѣми принятое размѣщеніе составныхъ его частей. Кому не приходять при этомъ на память глубокіе слѣды точно такого настроенія у Платона, Шекспира, Паскаля, Гёте? Дидро, который былъ такъ недалекъ отъ того, чтобы обладать нѣкоторыми внутренними свойствами этихъ великихъ умовъ, также не избѣжалъ посвѣщений мизантропического привидѣнія. Великие умы отличаются именно тѣмъ, что не впадаютъ въ искушеніе постоянно жить въ сообществѣ съ этимъ привидѣніемъ, какъ впадаютъ въ это искушеніе богословы — изъ желанія доказать необходимость благодати и другаго міра, или циники — изъ желанія доказать, что въ этомъ мірѣ благоразуміе велитъ быть это-

¹⁾ Этика Шопенгауера, 199.

истами. Великие умы берутъ самыя дурныя стороны характеровъ за то, чего онъ стоять и надлежащимъ образомъ освѣщають ихъ вмѣстѣ съ другими менѣе дурными сторонами. Они и не надѣются избѣжать всѣхъ затрудненій и доискаться разрѣшенія всѣхъ нравственныхъ загадокъ. Тѣмъ не менѣе какое то неотразимое обаяніе постоянно влечетъ ихъ къ стопамъ великаго Сфинкса—человѣческаго общества. Этотъ Сфинксъ смущаетъ ихъ такими вопросами, которые никогда не доходятъ до слуха обыкновенныхъ смертныхъ, и терзаетъ ихъ такими обольщеніями, которыхъ не можетъ замѣтить глазъ дюжиннаго наблюдателя. Люди энергичные, какъ Сократъ, какъ Дидро, не въ состояніи довольствоваться однимъ запомина-
ніемъ его постоянныхъ загадочныхъ требованій, и еще менѣе могутъ довольствоваться переписываніемъ уже данныхъ имъ отвѣтовъ. Они непремѣнно хотятъ снова разслѣдовать явленія нравственнаго міра, они разлагаютъ напыщенные выраженія абстрактной этики на мелкие реальные факты, отъ которыхъ она вѣдетъ свое начало, они нарушаютъ пріятное спокойствіе мнѣній и обычаевъ своей рѣзкой ироніей. «Опредѣленія нравственныхъ существъ»,—сказалъ Дидро,— «всегда дѣлаются на основаніи того, какими должны быть эти су-
щества, а не на основаніи того, каковы они на самомъ дѣлѣ. Люди постоянно смѣшиваютъ то, что должно быть, съ тѣмъ, что есть.»¹⁾ Мы перейдемъ теперь къ краткому разбору нѣсколь-
кихъ діалоговъ, въ которыхъ Дидро старается выставить наружу такую запутанность понятій.

Самый замѣчательный изъ этихъ діалоговъ — *Le neveu de Rameau*. Судьба этого странного произведенія едва ли не единственная въ исторіи литературы. Въ 1804 году Шиллеръ передалъ Гёте рукопись одной пьесы написанной Дидро и выразилъ желаніе, чтобы Гёте перевѣль ее на нѣмецкій языкъ. «Такъ какъ я давно питалъ большое уваженіе къ этому писателю»,—говорить Гёте,— «то я, просмотрѣвши рукопись, охотно взялъ на себя этотъ трудъ. Всякій, надѣюсь, убѣдится въ томъ, что я вложилъ въ него всю мою душу.»²⁾ Окончивъ переводъ, онъ возвратилъ Шиллеру рукопись. Почти немедленно вслѣдъ за тѣмъ (въ маѣ 1805) Шиллеръ умеръ и таинственная рукопись исчезла. Гёте никогда не могъ узнать ни того, откуда она была получена, ни того, куда она дѣлась. Онъ подозрѣвалъ, что собственноручный оригиналъ былъ ото-
сланъ къ императрицѣ Екатеринѣ въ Петербургъ, и что рукопись, находившаяся въ рукахъ Шиллера, была копіей съ того оригинала. Хотя Гёте сдѣлалъ переводъ, по его собственному выраженію, «не

¹⁾ *Oeuvres*, IV. 29.

²⁾ *Werke*, XXX. 291.

только охотно, но даже съ увлечениемъ», *Племянникъ г-на Рамо* не могъ сдѣлаться популярнымъ по причинѣ сильной и весьма основательной ненависти, съ которой относились въ ту пору въ Германии къ Франціи и ко всему, что исходило изъ этой страны. Понятно, что не задолго до битвъ при Аустерлицѣ и Іенѣ не могло быть большаго сочувствія къ сатирѣ, переведенной съ французскаго языка.

Черезъ тринадцать лѣтъ послѣ того, въ Парижѣ вышло изданіе сочиненій Дидро (изданіе Белина 1818 года), но что касается *Племянника г-на Рамо* издатели принуждены были довольствоваться *Анализомъ* гётеvскаго перевода. Въ 1821 произвело сильную сенсацію появленіе въ печати того, что выдавалось за оригиналъ текстъ пропавшаго *Діалога*. Въ сущности это было ничто иное какъ обратный переводъ на французскій языкъ съ гётеvскаго перевода. Подлогъ оставался не обнаруженнымъ до 1823 г., когда Бріеръ объявилъ, что въ предпринимаемомъ имъ изданіи произведеній Дидро будетъ напечатанъ подлинный оригиналъ *Племянника г-на Рамо*. Этотъ оригиналъ онъ получилъ отъ находившейся еще въ живыхъ дочери Дидро, г-жи Вандель. Она утверждала, что это—копія, сдѣланная въ 1760 подъ наблюденіемъ самого автора, и это—весьма правдоподобно, хотя и есть нѣкоторыя основанія думать, что эта копія была пересмотрѣна послѣ 1773. Два молодыхъ человѣка, попытавшіеся выдать свой обратный переводъ съ гётеvскаго перевода за подлинный текстъ самого Дидро, имѣли дерзость обвинить Бріера и дочь Дидро въ такомъ подлогѣ, который былъ совершенъ ими самими. Вслѣдъ за тѣмъ возникъ горячій споръ между оскорблѣннымъ издателемъ и безстыдными клеветниками. Въ концѣ концовъ Бріеръ предоставилъ это дѣло на рѣшеніе верховнаго суды, жившаго въ Веймарѣ. Гете выразилъ свое полное убѣжденіе, что текстъ, напечатанный Бріеромъ, есть истинный текстъ оригинала и съ тѣхъ поръ этотъ вопросъ считался окончательно рѣшеннымъ. Однако ручательство Гете, что этотъ текстъ согласенъ съ копіей полученной имъ отъ Шиллера, не можетъ считаться вполнѣ убѣдительное доказательство. Гете сознается, что онъ дѣжалъ переводъ съ большой поспѣшностью и не имѣлъ времени хорощенько свѣрить его съ французскимъ подлинникомъ. Сдѣланную по прошестії почти двадцати лѣтъ провѣрку сходства въ выраженияхъ и мелкихъ подробностяхъ едва ли можно считать за первостепенное доказательство, когда рѣчь идетъ о такомъ произведеніи, которое было въ его рукахъ, лишь очень недолгое время. Вотъ какимъ образомъ возникъ тотъ странный фактъ, что въ теченіе долгаго времени, почти вплоть до послѣдняго десятилѣтія, текстъ образцового произведенія знаменитаго человѣка, умершаго такъ еще

недавно — въ 1784 г., сохранился только въ одной рукописи, и что подлинность этой рукописи нельзя назвать неоспоримой.¹⁾

Критики совершенно расходятся въ своихъ мнѣніяхъ о томъ, какую цѣль имѣлъ въ виду Дидро, когда писалъ эту странную «забавную трагедію». Одни изъ нихъ находятъ, что это ничто иное какъ сатирическое изображеніе современныхъ нравовъ. Другіе утверждаютъ, что цѣлью Дидро было ироническое *reductio ad absurdum* теоріи эгоизма и что онъ хотѣлъ достигнуть этой цѣли путемъ конкретнаго изображенія, какъ эта теорія примѣняется на практикѣ во всей своей грубости. Третыи полагаютъ, что этотъ *Діалогъ* былъ написанъ въ отвѣтъ на появившуюся въ 1760 г. комедію Палиссо (*Les Philosophes*), въ которой вожаки рационалистической школы были выведены на сцену и выставлены врачами человѣческаго рода. Четвертыи предполагаютъ, что личныя и драматическія части *Діалога* служатъ лишь рамкой для оцѣнки сравнительныхъ достоинствъ музыкальныхъ школъ французской и итальянской. На самомъ дѣлѣ все сказанное есть въ *Діалогѣ*, но онъ не имѣлъ въ виду исключительно которой либо изъ указанныхъ цѣлей. Это ни болѣе ни менѣе какъ живое изображеніе оригинальной личности, сдѣланное геніальнымъ человѣкомъ, который привыкъ смотрѣть на человѣческую природу и на человѣческое общество открытыми не прищуренными глазами и вдумываться въ нихъ глубоко и съ желаніемъ доискаться истины. Дидро относится къ Рамо почти такъ же, какъ Шекспиръ къ Фальстафу. Онъ — артистъ, воспроизводящій съ артистическимъ разнообразіемъ и совершенствомъ причудливую личность, которая поразила его фантазію и пробудила въ немъ импульсы къ творчеству. Въ этомъ *Діалогѣ* можно найти и этику и эстетику и описание нравовъ и сатири, но все это не болѣе какъ дополненія къ центральной фігурѣ очерка, къ отличительнымъ чертамъ паразита. Дидро не имѣлъ особаго расположенія къ оригиналамъ такого рода, однако онъ ясно и вѣрно понималъ все, что ихъ касалось. «Ихъ характеръ рѣзко отличается отъ характера другихъ людей; они нарушаютъ скучное однообразіе, порождаемое нашимъ воспитаніемъ, условіями общественной жизни и вошедшими въ обычай приличіями. Когда одинъ изъ нихъ появляется въ обществѣ, онъ бываетъ похожъ на дрожжи,

1) Оригиналь текста, напечатанного въ изданіи Ассеза полномъ собраний сочиненій Дидро, взять изъ рукописи, которая была найдена вмѣстѣ съ другими заброшенными вещами прошедшаго столѣтія въ сундуке, принадлежавшемъ Страсбургскимъ издателямъ Вюртелю и Трѣйду. Его подлинность подтверждается слѣдующимъ фактомъ: въ тѣхъ мѣстахъ, где у Гете обозначены пропуски, мы находимъ такие разсказы или такія выраженія, изъ которыхъ ясно видно, почему Гете не хотѣлъ воспроизвести ихъ.

которыя, прия въ броженіе, каждому возвращаютъ нѣкоторую долю его природной индивидуальности. Онъ расшевеливаетъ, онъ возбуждаетъ, онъ заставляетъ одобрять или порицать; онъ обнаруживаетъ истину, онъ доставляетъ возможность распознавать честныхъ людей и снимаетъ маску съ плутовъ»¹⁾.

Образованному читателю, узнавшему, что сюжетомъ для *Діалога* служить паразитъ, натурально должна придти на умъ та безпощадная сатира, въ которой Ювенальъ разсказываетъ, какимъ униженіемъ Вирро подвергалъ Требія: какъ жалкій компаньонъ долженъ былъ пить горячій напитокъ изъ разбитой глиняной посуды, тогда какъ самъ патронъ пилъ большими глотками изъ дорогихъ роскошныхъ чашъ, сдѣланныхъ изъ амбры и украшенныхъ драгоценными каменями, какъ хозяину дома подавали самое лучшее оливковое масло изъ Венафрума, тогда какъ гостю приходилось жевать мякоть осѣвшуюся въ протухшемъ ламповомъ маслѣ, какъ одинъ услаждаетъ себя головлями и миногами, тогда какъ съ другимъ дѣлалась тошнота, оттого что онъ былъ угремъ длиннаго какъ змѣя, и вздувшагося оттого, что жилъ въ грязныхъ потокахъ водосточной трубы; Вирро єсть яблоки, которыя точно будто созрѣли въ садахъ Гесперидъ, тогда какъ Требій гладаетъ такую прокислую дрянь, какую бросаютъ обезьяны, выдѣлывающей разныя штуки. Но существуетъ неизмѣримое разстояніе между безпощадностью Ювенала и полу-иронической, полу-серезной снисходительностью Дидро. Ювенальъ знаетъ, что Требій, злое и отвратительное существо; онъ говоритъ Требію, каковъ онъ есть и своими словами совсѣмъ уничтожаетъ его. Дидро знаетъ, что и Рамо золъ и отвратителенъ, но ему такъ не хочется оставаться въ пошломъ и спокойномъ раѣ условныхъ понятій, что онъ все время точно будто бесѣдуетъ самъ съ собою о томъ, въ какой мѣрѣ эта геній грубости, парадокса и скотского софизма выкроенъ по образцу очень многихъ людей, отличаясь отъ нихъ лишь тѣмъ, что сбросилъ съ своего лица маску. Онъ точно будто мысленно погрузился въ разрѣшеніе вопроса, правда ли, что если кто нибудь сбросить съ себя хоть одну часть прикрывающей его красивой внѣшней оболочки приличій, то передъ нами откроется не что либо привлекательное, а возбуждающія отвращеніе кости скелета и черви. Онъ воздерживается отъ ожесточенія при видѣ блестящаго безстыдства своего героя, точно такъ какъ анатомъ заглушаетъ въ себѣ чувство отвращенія при видѣ какой нибудь патологической уродливости или какого нибудь поразительнаго уклоненія отъ общихъ правилъ, въ которомъ онъ надѣется уловить какую нибудь жизненную тайну. Авторъ не анализ-

1) V. 389.

зирауеть Рамо какъ отвратительный типъ, а рассматриваетъ его какъ образчикъ въ громадномъ размѣрѣ тѣхъ элементовъ характера, которые кроются въ глубинѣ характеровъ, не принадлежащихъ къ числу внушающихъ отвращеніе. Дидро точно будто заранѣе одобрялъ слѣдующую ужасную и приводящую въ отчаяніе мысль: *Въ каждой женщинѣ и въ каждой женщинѣ есть что то такое, что заставило бы васъ ненавидѣть ихъ, еслибы спѣлалось вамъ извѣстнымъ.* Рамо не только паразитъ, онъ также и вашъ и мой братъ; это—продуктъ однихъ и тѣхъ же первоначальныхъ факторовъ умственного склада, это—фигура, вылитая точно такъ же какъ и наша собственная въ одной изъ безчисленныхъ формъ громадной соціальной плавильни.

Такова научная точка зрењія на человѣческій характеръ. Она не филантропична и не основана на состраданіи: тотъ фактъ, что существуютъ злые люди и что причины ихъ существованія могутъ быть понятны, не есть основаніе для того, чтобы мы не старались анализировать ихъ и искоренить. Эта научная точка зрењія, этаъть переходъ отъ простой похвалы или простаго порицанія къ анализу, это убѣжденіе, что нельзя ограничиваться однимъ чувствомъ отвращенія,—все это признаки новаго времени. Кромѣ Ювенала есть еще одинъ геніальный писатель, изобразившій намъ паразита въ древнемъ обществѣ. Лукіанъ, который по своей плодовитости, по своему остроумію, изобрѣтательности, насмѣшливости, умственной свѣжести и честной ненависти къ ложнымъ богамъ, заслуживаетъ названія Вольтера втораго столѣтія, оставилъ намъ не одно описание паразита, нарисованное, со всей его природной веселостью. Существо, созданное великимъ писателемъ въ Римѣ, выносить такой же длинный рядъ оскорблений и униженій, какъ и существо, созданное шестнадцатью столѣтіями позднѣе великимъ писателемъ въ Парижѣ, начиная съ страданій испорченаго желудка, — такъ какъ самые лучшіе куски дичи или кабана достаются болѣе важнымъ гостямъ,—и кончая мученіями нравственными, такъ какъ онъ видитъ, что ему предпочитаются болѣе ловкаго соперника, который лучше его сочиняетъ стихи и искуснѣе его даясничаетъ. Разговоръ,—въ которомъ Лукіанъ иронически доказываетъ, что тунеядство или почтенная способность блудолизничанья носить на себѣ такие же признаки настоящаго искусства, какъ риторика, гимнастика, музыка, — есть остроумная пародія на нравоученія Сократа и на манерность Платона. Симонъ доказываетъ Тихіаду, такъ же остроумно какъ Рамо доказываетъ Дидро, что жизнь блудолиза самая пріятная и что онъ гораздо болѣе разумная и цѣльная личность, чѣмъ ораторъ или философъ¹⁾.

¹⁾ Лукіанъ, Пері Царасітоу. и Пері тифу єпі місѳ ѿсѹщі.

Сатира Лукіана жива, блестяща и забавна. Однако всякий замѣтить, что произведение Дидро при одинаковой живости отличается глубиною мысли, что оно выросло на почвѣ, которая была взрыта съ большою нестѣсненностью и что оно обогащено болѣе обильною опытностью. Древніе писатели разражались противъ этихъ образчиковъ разврата вспышками негодованія, а новые смотрятъ на нихъ съ нѣкоторой нравственной снисходительностью и даже съ какимъ то страннымъ участіемъ, похожимъ на ту симпатію, которую питаетъ охотникъ къ преслѣдуемому имъ звѣрю.

Описанный въ *Діалогъ* Рамо былъ реальною личностью и до сихъ поръ еще остается нерѣшеннымъ, не представилъ ли его Дидро въ худшемъ видѣ, чѣмъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ. По меньшей мѣрѣ есть полное основаніе полагать, что эта была личность съ оригинальнымъ характеромъ и что онъ велъ жизнь безпорядочную и полную превратностей. Правдивость, которая была вообще въ характерѣ Дидро, заставляетъ насъ думать, что его характеристика вѣрна съ подлинникомъ, но и въ противномъ случаѣ *Діалогъ* нисколько не утратилъ бы своего интереса. Вѣдь и достоинства пятой сатиры Ювенала не увеличиваются и не уменьшаются, сколько бы ни было вымысла въ томъ, что говорится о Требѣ.

„Рамо—одинъ изъ самыхъ оригинальныхъ людей, которыми Богъ не обდѣлилъ эту страну. Это какая то смѣсь высокомѣрія съ низостью, здраваго смысла съ безразсудствомъ; надо полагать, что въ головѣ этого человѣка страннымъ образомъ перепутались понятія о томъ, что честно и что безчестно, такъ какъ хорошія качества, которая дала ему природа, онъ выказываетъ безъ хвастовства, а дурныя—безъ застѣничности. При этомъ онъ одаренъ сильнымъ сложеніемъ, замѣчательно пылкимъ воображеніемъ и необычайно здоровыми легкими. Если вамъ когданибудь случится повстрѣчаться съ нимъ и если онъ васъ не оттолкнетъ отъ себя своей оригинальностью, вамъ придется или заткнуть себѣ пальцами уши или спасаться бѣгствомъ. О Боже, какія у него ужасныя легкія! Нѣтъ ничего такъ мало на него похожаго, какъ онъ самъ. Иногда онъ худъ и блѣденъ, точно больной при послѣднемъ градусѣ чахотки; тогда можно сосчитать сквозь его щеки сколько у него зубовъ, и можно бы было подумать, что онъ нѣсколько дней ничего неѣлъ или что онъ только что вышелъ изъ *La Tарре*. Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ онъ жиренъ и тучеянъ, точно будто онъ не вставалъ изъ-за стола какого нибудь крупнаго капиталиста или былъ заключенъ въ монастырѣ Бернардинцевъ. Сегодня онъ въ грязномъ бѣлѣ, въ разорванныхъ панталонахъ, весь въ лохмотьяхъ, и почти безъ башмаковъ; ходитъ онъ понуривъ голову и избѣгаєтъ встрѣчъ съ знакомыми; вы готовы подозревать его къ себѣ, чтобы дать ему милостыню. Завтра онъ напуренъ, обутъ, завитъ, хорошо одѣтъ, ходитъ поднявши голову вверхъ, рисуетъ

ся, и вы готовы принять его за порядочного человѣка. Онъ живетъ со дня на день и бываетъ то грустенъ то весель, смотря по обстоятельствамъ. Утромъ, лишь только онъ всталъ съ постели, его первая забота о томъ, где ему удастся пообѣдать; послѣ обѣда онъ думаетъ о томъ, куда бы пойти поужинать. Ночь также приноситъ съ собой свои заботы: или онъ возвращается пѣшкомъ на узенький чердакъ, который служить ему мѣстопребываніемъ, если хозяйка дома, выведенная изъ терпѣнія напраснымъ ожиданіемъ квартирной платы, не отобрала у него ключа отъ входной двери; или-же онъ направляется въ одинъ изъ загородныхъ трактиръ, где дожидается разсвѣта за кускомъ хлѣба и кружкой пива. Если же у него нѣтъ шести су въ карманѣ, — что иногда съ нимъ случается, — онъ или ищетъ убѣжища въ наемной каретѣ какогонибудь пріятеля или прибѣгаешь къ покровительству какогонибудь кучера знатнаго барина, чтобы получить позволеніе уснуть на соломѣ рядомъ съ его лошадьми. Утромъ еще бываютъ видны въ его волосахъ клочки отъ его матраца. Если погода хороша, онъ всю ночь ходить взадъ и впередъ по Елисейскимъ полямъ. Съ разсвѣтомъ онъ снова появляется въ городѣ одѣтымъ наканунѣ для завтрашняго дня, а иногда одѣтымъ съ завтрашняго дня на всѣ остальные дни недѣли».

Однажды, въ то время какъ Дидро сидѣлъ на скамейкѣ передъ кофейной *de la Régence* въ Пале-Рояль, — это странное существо подошло къ нему и вступило съ нимъ въ разговоръ. Они разговаривали натурально и просто на манеръ собесѣдниковъ въ какомънибудь изъ Платоновыхъ діалоговъ. Мы не впадемъ въ преувеличеніе, если скажемъ, что *Племянникъ Рамо* есть самое удачное и самое мастерское со временемъ Платона примѣненіе этой формы обмѣна мыслей. Конечно, реализмъ Дидро рѣзко противорѣчитъ поэтическому и идеалистическому направлению Платона. Однако и у него попадаются проблески фантазіи, которые смягчаютъ несимпатичность сюжета и придаютъ художественность тому, что грязно и отвратительно. Приведу одинъ примѣръ. «Время протекло», — говорить Рамо, — «а это тоже что прибыль».

Я. Вы хотите сказать — убытокъ.

Онъ. Нѣтъ, нѣтъ — прибыль. Человѣкъ съ каждой минутой богатѣеть: вѣдь жить однимъ днемъ меныше или пріобрѣсть лишній эку — одно и то-же... Въ послѣдній моментъ всѣ одинаково богаты — и Самуилъ Бернаръ, который благодаря кражамъ, грабительствамъ и банкротствамъ, оставляетъ послѣ себя двадцать семь миллионовъ золотой монетой, и Рамо, послѣ котораго не останется ничего и которому благотворительность доставить кусокъ холста, въ который обернуть его трупъ. Мертвый не слышитъ звона колоколовъ: напрасно сто священниковъ дерутъ себѣ горло изъ-за него, напрасно впереди и сзади двигается длинный рядъ зажженыхъ факеловъ, —

его душа не идетъ рядомъ съ церемоніймейстеромъ погребальной процессіи. Сгнить подъ мраморной доской или сгнить подъ землей— все таки сгнить. Развѣ не все равно, что подлѣ гроба будуть стоять дѣти одѣтые въ красныя платья, или дѣти одѣтые въ синія платья, или никто не будетъ стоять“.

Это лучи того *mens-divinior*, который ослабляетъ непріятное впечатлѣніе, производимое нравственной грязью изображаемой личности. Отсюда мы также выносимъ грустное убѣженіе, что мысль, которая возвышена и свята въ глазахъ благородного человѣка, можетъ служить выражениемъ циническихъ выходокъ со стороны человѣка неблагородного.

Сверхъ того, есть что то фантастическое въ томъ похожемъ на ужасъ чувствѣ, которое внушается намъ цѣльностью характера. Дѣйствительно наскъ охватываетъ нѣчто похожее на ужасъ, когда мы выслушиваемъ натянутые парадоксы этой пестрой личности. Рамо—это грязный, одѣтый въ ру比ще сатана восемнадцатого столѣтія. Это—Мефистофель съ голыми локтями, это—Люциферъ въ жалкомъ положеніи, который все-таки сохранилъ свои дьявольскія свойства и у которого все-таки блещутъ изъ глазъ искры. Отвращеніе, которое онъ внушаетъ, переходитъ въ ужасъ и страхъ вслѣдствіе его рѣзкой самоувѣренности, отважной цѣльности и послѣдовательности его діалектики, язвительной насмѣшливости, грязной проницательности. Онъ анализируетъ отвратительный поступокъ или ужасное злодѣяніе точно такъ, какъ художникъ анализируетъ статую или картину. Онъ обладаетъ тѣмъ рѣдкимъ мужествомъ, благодаря которому порочные люди не боятся называть людей и человѣческие поступки ихъ настоящими именами. Это одинъ изъ Свифтовскихъ дикарей, не боящийся говорить, что думаетъ. Онъ точно будто объясняетъ, почему каждый человѣкъ долженъ ненавидѣть и бояться самого себя. Все это производить смѣшанное впечатлѣніе страха и обаянія, похожее на то, которое производить чародѣй, показывающій вамъ сквозь свое чудесное стекло, какими вы будете черезъ двадцать лѣтъ, или хирургъ, объясняющій, какія страданія втихомолку готовить вамъ происходящее внутри васъ физическое разстройство.

Изъ сказаннаго ясно, что діалогъ, о которомъ идетъ рѣчь, не можетъ служить умственной пищей «ни для высшаго класса, ни для глупцовъ». Мѣстами онъ возмущаетъ наскъ грубыми непристойностями. Даже Гёте при всемъ своемъ самообладаніи не могъ выносить ихъ. Тѣмъ не менѣе этихъ подробностей не долженъ упускать изъ виду тотъ, кто считаетъ развращенность старого общества во Франціи за важное историческое явленіе. Раскрываемая передъ нашими глазами картина напоминаетъ намъ развращенность старого общества

въ Римѣ. Мы видимъ здѣсь тотъ гнилой матеріаълъ, который вскорѣ былъ быстро уничтоженъ очистительнымъ огнемъ якобинства. Мы имѣемъ передъ глазами тѣ самые классы общества, отъ которыхъ,— какъ въ этомъ насы столько разъ увѣряли,—Франція получила бы свое возрожденіе, еслибы не вмѣшались въ дѣло демагоги и чернь. Въ стилѣ нѣть игривости и не слышится того смѣха, благодаря которому картина современныхъ нравовъ такъ наивна, вѣрна природѣ и даже забавна въ комедіи Коллэ *La verit  dans le vin*. Рамо производить на читателя тяжелое впечатлѣніе чего-то выдохшагося.

Такъ какъ этотъ діалогъ не у всякаго подъ рукой—да и едва ли кто либо пожелалъ бы имѣть его у себя,—то я счѣль не лишнимъ напечатать въ видѣ приложенія значительную его часть въ переводѣ. Карлейль давно уже твердилъ намъ, что необходимо его перевести, и хотя эта работа вовсе не такъ легка, какъ кажется, я все-таки счѣль нужнымъ доставить читателю возможность самостоительно оценить букетъ самого характеристического изъ всѣхъ произведеній Дидро. Но пусть не читаетъ этого перевода тотъ, кто имѣть не-преодолимое отвращеніе къ запаху *несвѣжей дичи*, о которомъ Гёте сказалъ, что въ немъ заключается весь секретъ нѣкоторыхъ художественныхъ произведеній:

*Dixeris haec inter varicosos centuriones,
Continuo crassum ridet Pulfenius ingens
Et centum Graecos curto centusse licebit.*

Какъ я уже замѣтилъ выше, на это произведеніе слѣдуетъ смотрѣть какъ на нѣчто болѣе серьезное, чѣмъ простой литературный очеркъ. «Вы не подозрѣваете, господинъ философъ», говорить Рамо, «что въ настоящую минуту я представитель самыхъ выдающихся людей изъ числа тѣхъ, которые живутъ въ городѣ и при дворѣ». По словамъ самого автора, Рамо сознавался въ тѣхъ порокахъ, которые были у него и которые встрѣчаются у большинства окружающихъ насы людей, но онъ не былъ лицемѣромъ. Онъ не былъ ни болѣе ни менѣе отвратителенъ, чѣмъ другіе, только его безнравственность была болѣе откровенна, болѣе систематична и болѣе глубока. Въ этомъ и заключается соціальное значеніе діалога. Благодаря этому и независимо отъ другихъ соображеній, *Племянникъ г-на Рамо* есть болѣе цѣнное руководство къ пониманію нравственныхъ влеченій этого времени, чѣмъ произведенія, отличающіяся лишь одними непристойностями въ родѣ произведеній Луве или Лавло. Оно въ высшей степени поучительно для тѣхъ, кто занимается изслѣдованіемъ условий, подготовившихъ революцію. Рамо—не фаблостъ Аристотеля, и не созданіе апостола, описанное Феофрастомъ; это та-

кой человѣкъ, котораго отвергаетъ общество, потому что онъ отъ природы ни къ чему не способенъ, или который сдѣлался негодяемъ случайно. Въ немъ олицетворялись придворные, финансисты, торговцы, лавочники, которые были безнравственны по данному образцу и развращены по принципу. У нихъ порочность была возведена въ теорію, а низость безчестной жизни—въ философскую систему. Всякий, кто пойметъ въ какой мѣрѣ все это разъѣдало высшіе классы во Франціи, придетъ къ тому убѣждѣнію, что бѣшеный потокъ социальной энергіи, въ которомъ якобинцы затопили Францію, былъ столько же необходимъ для нея, сколько потокъ варваровъ былъ необходимъ для перерожденія римской имперіи.

Промежъ серьезныхъ частей діалога разбросано нѣсколько очень удачныхъ саркастическихъ выходокъ, направленныхъ противъ Палиссо и нѣсколькихъ другихъ писателей, нападавшихъ на новую либеральную школу. Палиссо—такая личность, которая существовала и въ старыя времена. Порода этихъ людей существовала всегда; она никогда не вымираетъ и уживаются со всѣми климатами. Во всякомъ обществѣ существуютъ литературные проныры, посѣщающіе дома зажиточныхъ людей и исполняющіе обязанности поставщиковъ для удовлетворенія модныхъ предразсудковъ. И нельзя сказать, чтобы они всегда были раболѣпны. Читатель, полагаю, не позабылъ того despotickego тунеядца, который изображенъ у Лабрюэира въ лицѣ оригинала Троила. Палиссо восемнадцатаго или девятнадцатаго столѣтія нерѣдко походитъ на Троила; онъ въ одно и то же время и тунеядецъ и тиранъ. Нерѣдко случается, что онъ вступаетъ въ жизнь съ самостоятельными хорошими влечениями, и съ искреннею преданностью задуманной цѣли; но когда посредственность его дарованій оказывается слишкомъ слабой для того, чтобы нести бремя его честолюбія, воспоминаніе о благородныхъ мечтахъ юности только отравляетъ годы старости.

Bel esprit abhorré de tous les bons esprits,
Il pense par la haine échapper au mépris.
A force d'attentats il se croit illustré;
Et s'il n'était méchant, il serait ignoré.

Палиссо началъ съ того, что написалъ трагедію. Затѣмъ онъ написалъ жалчный памфлѣтъ противъ энциклопедистовъ и противъ страсти къ нововведеніямъ. Послѣ того онъ попалъ въ большой почетъ у знатныхъ дамъ, епископовъ и легкомысленныхъ свѣтскихъ людей, благодаря написанной имъ комедіи, въ которой онъ выставилъ Дидро, д'Аламбера и нѣкоторыхъ другихъ писателей въ такомъ свѣтѣ, что они возбуждали презрѣніе и смѣхъ. Въ концѣ концовъ онъ сталъ считать себя за серьезнаго человѣка и исчезъ въ омутѣ презрѣнія.

и отвращенія, которые къ счастію ожидаютъ всѣхъ жалкихъ Палиссо и всѣ ихъ произведенія. Память о немъ сохранилась только въ связи съ воспоминаніями о тѣхъ людяхъ, которыхъ онъ поносилъ. Онъ дожилъ до старости и былъ также долговѣченъ, какъ-къ несчастію бываетъ долговѣчна злоба. Въ эпоху Террора онъ едва не погибъ, такъ какъ онъ былъ въ числѣ тѣхъ, кто былъ приведенъ на допросъ къ Шометту. Шометтъ обратился съ рѣзкими словами къ тому, кто нападалъ на Руссо и на Дидро, но не послалъ его на гильотину. Въ этомъ случаѣ практическій ученикъ лишь подражалъ великодушію своихъ теоретическихъ наставниковъ. Вѣдь Руссо не хотѣлъ воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобы отплатить Палиссо за его дерзости, а Дидро отмстилъ ему только тѣмъ, что сдѣлалъ презрительный намекъ на него въ такомъ діалогѣ, который онъ едвали имѣлъ намѣреніе издать въ свѣтъ.

Въ *Племянникъ и-на Рамо* идетъ рѣчь еще объ одномъ предметѣ, представляющемъ интересъ благодаря своей связи съ умственной дѣятельностью Парижа въ восемнадцатомъ столѣтіи. Музыка была въ то время поприщемъ такой же страстной полемики, какую возбуждали теология и философія. Даже булла *U nigenitus* не возбудила болѣе оживленныхъ споровъ или болѣе яростной вражды, чѣмъ столкновеніе между приверженцами французской музыки и приверженцами музыки итальянской. Отвращеніе, которое Янсенисты питали къ Молинистамъ, не было сильнѣе того отвращенія, которое Люллисты питали къ Юнистамъ, а впослѣдствіи Глюкісты къ Пиччинистамъ¹⁾). Люлли и Рамо (дядя нашего тунеядца) безспорно господствовали въ Парижѣ до прибытія въ 1752 компаніи итальянскихъ пѣвцевъ. Тогда внезапно вспыхнулъ раздоръ по поводу того, какая метода болѣе правильна и какое настоящее назначеніе музыкального творчества. Слѣдуетъ ли признавать музыку за самостоятельное искусство, обращающееся къ какому либо специальному чувству, или же она должна служить специальнymъ болѣе сильнымъ способомъ выраженія для нашихъ душевныхъ влеченій? Итальянцы искали въ ней лишь прелестной гармоніи и увлекательныхъ мелодій; а французы утверждали, что и гармонію и мелодію слѣдуетъ подчинять произведенію поэта. Первые довольствовались получаемымъ наслажденіемъ, а вторые требовали смысла. Одни утверждали, что итальянская музыка есть ничто иное какъ безсмысленное щекотаніе слуха, а другіе, что увертиюра къ французской оперѣ похожа на прелюдію къ исполняемому въ церквахъ *Mise g e g e*. Въ 1772—73 г. знаменитый Глюкъ прибылъ въ Парижъ. Тогда полагали, что его искусство примирить обѣ школы, такъ какъ у него болѣе мелодій,

¹⁾ Гrimmъ, IX, 349.

чѣмъ въ старомъ французскомъ стилѣ и болѣе строгости и смысла чѣмъ въ чисто итальянскомъ стилѣ. Такимъ путемъ можно бы было поддержать достоинство французскихъ музыкальныхъ произведеній. Но продолжавшаяся двадцать лѣтъ старая борьба скоро вспыхнула съ болѣшею яростью чѣмъ когда либо. Неаполитанскій посланникъ пригласилъ Пиччини прѣѣхать въ Парижъ. Старые крики стали раздаваться еще съ болѣшею пронзительностью. Въ Парижѣ стали сыпаться со всѣхъ сторонъ памфлеты, статьи и сарказмы. Должна ли музыка льстить слуху, или же она должна изображать страсти со всей ихъ энергией, надрывать сердце, усиливать въ людяхъ мужество, создавать гражданъ и героеvъ? Въ кофейныхъ стала господствовать страшная смута, а въ литературныхъ кружкахъ возникли гибельные раздоры. Даже на званыхъ обѣдахъ всякий чувствовалъ на себѣ какой то гнетъ и относился ко всѣмъ съ недовѣріемъ; прекратились даже такія интимныя отношенія, которыхъ поддерживались въ теченіе всей жизни. *Племянникъ г-на Рамо* былъ написанъ въ началѣ этой борьбы, длившейся цѣлую четверть вѣка, и какъ кажется былъ пересмотрѣнъ авторомъ во время ея втораго великаго эпизода. Дидро возстаетъ противъ школы Рамо и Люлли. Эта точка зрѣнія была совершенно въ томъ же духѣ, какъ и его постоянныя усиленія замѣнить прежнюю искусственность и натянутость тѣмъ, что онъ называлъ естественностью. Но Гете указалъ на то, что симпатіи Дидро къ менѣе выразительному роду музыки несомнѣстимы съ его обычнымъ сильнымъ сочувствіемъ къ выразительности въ искусствѣ. Причиной этого сочувствія,—какъ онъ основательно замѣтилъ,—была надежда, что новизна и общее одушевленіе положить конецъ устарѣлымъ, неподвижнымъ и ненавистнымъ для него старымъ формамъ искусства и заново расчистить почву для иной работы¹⁾.

¹⁾ *Apmerkungen, Rameau's Neffe; Werke, XXV.*

Г Л А В А IX.

Другіе діалоги.

Мы перейдемъ къ такимъ произведеніямъ Дидро, которыхъ касаются житейскихъ предметовъ. *Разговоръ отца съ своими дѣтьми* (*Entretien d'un r ge avec ses enfants*) напечатанный въ 1773 г., представляетъ намъ краткій но очаровательный образчикъ того, какъ любилъ Дидро облекать вопросы касательно нравственности въ форму интересныхъ разсказовъ. Этаотъ коротенький діалогъ превосходенъ и по простотѣ своего реализма и по своей формѣ. Сюжетомъ для него служить та мысль, что очень опасно ставить выше мѣстныхъ законовъ собственное свое мнѣніе о какомъ либо разрядѣ житейскихъ фактovъ. Почтенный и всѣми любимый отецъ Дидро сидитъ въ своихъ креслахъ передъ каминомъ. Онъ начинаетъ разговоръ съ того, что разсказываетъ своимъ сыновьямъ и своей дочери, которые ухаживаютъ за нимъ съ благоговѣйной заботливостью, какъ однажды онъ едва не лишилъ ихъ наслѣдства. Одинъ престарѣлый священникъ умеръ, оставивъ послѣ себя значительное состояніе. Всѣ думали, что онъ не сдѣлалъ завѣщанія, а ближайшіе его родственники были бѣдные люди, которые были бы на всю жизнь спасены отъ нищеты благодаря оставшемуся отъ умершаго наслѣдству. Они поручили старику Дидро охранять ихъ интересы и произвести раздѣлъ наслѣдства. На днѣ старого сундука, наполненнаго старыми письмами, росписками и другими ненужными бумагами, онъ нашелъ завѣщаніе, написанное за много лѣтъ передъ тѣмъ и предоставляющее все состояніе умершаго одному очень богатому парижскому книгопродаивцу. Было полное основаніе предполагать, что старый священникъ позабылъ о существованіи этого завѣщанія, которое сверхъ то旇 было возвѣтительно несправедливо по своему содержанію. Не-

исполнилъ-ли бы Дидро истинныя намѣренія покойнаго, еслибы бросить въ огонь этотъ нехестати отыскавшійся документъ?

Въ этомъ пункѣ діалога докторъ входить въ комнату и прерываетъ разсказъ. Онъ, какъ оказывается, только что наѣстиль одного преступника, приговореннаго къ висѣлицѣ. Дидро—младшій упрекаетъ его за то, что онъ старается сохранить жизнь для такого негодяя, который хорошо бы сдѣлать, если бы какъ можно скорѣе покинулъ этотъ міръ. По его мнѣнію докторъ обязанъ быть сказанъ такому отвратительному пациенту: «я не хочу заботиться о выздоровленіи такого существа, которое я не хочу видѣть въ живыхъ и по естественному чувству справедливости и въ видахъ общественнаго блага и изъ желанія добра другимъ людямъ. Умри и пусть никто не имѣтъ права сказать, что, благодаря моему искусству, на землѣ стало однимъ чудовищемъ больше!» Докторъ довольно ловко возражаетъ на эту энергическую декламацию. «Мое дѣло лечить, а не произносить приговоры; я долженъ лечить его, потому что это мое ремесло, а потомъ пусть судья прикажетъ повѣсить его, потому что это его специальность». По окончаніи этого эпизода, старикъ продолжаетъ свой разсказъ о завѣщаніи. Когда онъ готовъ быть уничтожить завѣщаніе, въ немъ зародилось сомнѣніе и онъ послѣдний обратиться за совѣтомъ къ одному священнику, который былъ очень свѣдущъ въ этихъ дѣлахъ. Считаемъ не лишнимъ привести эту сцену цѣликомъ, такъ какъ въ Англіи нерѣдко случается, что представители закона берутъ на себя ту самую роль самовольныхъ благотворителей, которую хотѣль взять на себя старикъ Дидро:

„Милостивый государь, ничто не можетъ быть болѣе достойно похвалы, чѣмъ то чувство состраданія, которое вы питаете къ этимъ несчастнымъ наслѣдникамъ. Уничтожьте завѣщаніе, помогите имъ, но съ условіемъ, чтобы тотъ, въ чью пользу написано завѣщаніе, получилъ ни болѣе ни менѣе какъ именно ту сумму, которой вы могли бы лишить его... Кто далъ вамъ право придавать санкцію документамъ или отнимать ее у нихъ?.. Кто далъ вамъ право истолковывать намѣреніе покойнаго?

„Но, отецъ Буенъ, а старый сундукъ?

„Кто далъ вамъ право рѣшать, было ли это завѣщаніе сознательно отмѣнено, или же оно затерялось случайно? Развѣ съ вами никогда не случалось отыскать на днѣ сундука драгоценный документъ, брошенный вами туда по разсѣянности?“

„Но, отецъ Буенъ, а число, которымъ помѣченъ этотъ документъ, и его несправедливость?

„Кто-же далъ вамъ право рѣшать, согласенъ или не согласенъ съ справедливостью этотъ документъ, и считать завѣщанное за про-

тивозаконный даръ, а не за уплату долга или за какое нибудь другое законное распоряжение.

„Но, отецъ Буенъ, а эти ближайшие наследники, которые бѣды, и этотъ дальний родственникъ, который богатъ?

„Кто-же далъ вамъ право взвѣшивать обязанности покойнаго по отношенію къ его роднымъ, которыхъ сверхъ того вы не знаете въ лицѣ?

„Но, отецъ Буенъ, а эта масса писемъ отъ того, въ чью пользу написано завѣщаніе,—письма, которыхъ покойный даже не потрудился открыть?

„Къ чему, сказалъ отецъ Буенъ, вести рѣчь о сундукахъ, о чистѣ, которымъ помѣченъ документъ, о письмахъ, къ чему эти „если“, „но“, „въ случаѣ“; никому не дозволяется нарушать законы, разбирать намѣренія умершихъ, и распоряжаться чужимъ добромъ; такъ какъ въ той случайности, благодаря которой завѣщаніе не пропало, выразилась воля провидѣнія покарать наследника, или того въ чью пользу сдѣлано завѣщаніе, или покойнаго,—неизвѣстно, кого изъ нихъ,—то это завѣщаніе должно оставаться въ силѣ“¹⁾.

Дидро—младший возстаетъ противъ этого мнѣнія съ своей обычной горячностью, а его братъ—аббатъ вступается за законъ, ссылаясь на самые основательные доводы,—а именно на то, что уклоняться отъ исполненія закона или открыто нарушать его значило бы поощрять крючкотворства со стороны негодяевъ. Въ эту минуту входитъ одинъ изъ жившихъ въ сосѣдствѣ поденщиковъ и проситъ разрѣшить новый вопросъ совѣсти. Его жена умерла послѣ двадцатилѣтней болѣзни; въ теченіе этихъ двадцати лѣтъ расходы на лечение поглотили все, что онъ могъ-бы накопить на старость. Между тѣмъ ея приданое осталось нетронутымъ. По закону оно должно перейти въ руки ея родственниковъ. Однакоказалось бы, что онъ въ правѣ взять изъ него такую часть, которая равна той суммѣ, которую онъ могъ-бы сберечь на старость. Онъ просить совѣта у всѣхъ, кто былъ въ комнатѣ. Одинъ говорить ему, что онъ долженъ удержать эти деньги, другой говорить, что онъ не долженъ дѣлать этого, третій полагаетъ, что онъ въ правѣ вознаградить себя за издержки на лечение жены. Тогда стариkъ Дидро воскликнуетъ, что такъ какъ по его собственнымъ словамъ, удержаніе наследства не доставило ему комфорта, то онъ лучше сдѣлаетъ, если отдастъ его назадъ какъ можно скорѣе и будетъ Ѣсть, пить, синать и довольствоваться тѣмъ, что имѣеться.

„Нѣтъ“,—рѣзко возразилъ на это поденщикъ,—„я этого не сдѣлалъ и отправлюсь въ Женеву“.

„Не воображаешь ли ты, что ты оставилъ здѣсь угрызенія совѣсти?“

¹⁾ О e n v r e s, V. 289.

„Не знаю, но я во всякомъ случаѣ отправлюсь въ Женеву.

„Куда бы ты ни отправился, ты повсюду найдешь твою совѣсть.“

Поденщикъ уѣхалъ, и его странный отвѣтъ сдѣлался сюжетомъ разговора. Всѣ соглашались въ томъ, что разстоянія и время болѣе или менѣе ослабляютъ всѣ чувства и заглушаютъ голосъ совѣсти даже въ случаяхъ преступленія. Убійца, высадившійся на берегахъ Китая, не можетъ видѣть того трупа, который онъ оставилъ окровавленнымъ на берегахъ Сены. Раскаяніе проистекаетъ можетъ быть не столько изъ отвращенія къ самому себѣ, сколько изъ страха передъ другими людьми, не столько изъ того что преступникъ стыдится совершенаго имъ дѣянія, сколько изъ опасенія, что въ случаѣ, если это дѣяніе будетъ обнаружено, его постигнетъ осужденіе и наказаніе. Какой никѣмъ не открытый преступникъ можетъ жить спокойно въ неизвѣстности безъ опасеній, что его преступство какое нибудь непредвидѣяное обстоятельство или какое нибудь необдуманное выраженіе? Развѣ онъ можетъ быть увѣренъ, что онъ не выдастъ самъ себя въ бреду горячки или во время сна? Его слова могли бы быть поняты тѣми, кто находится на мѣстѣ дѣйствія, но они не будутъ поняты тѣми, кто будетъ окружать его въ Китаѣ“¹⁾.

Потомъ возникаютъ еще два вопроса. Нарушеніе обѣта супружеской вѣрности мужемъ или женою освобождаетъ ли отъ клятвы того изъ супруговъ, который не нарушалъ этого обѣта? Дидро отвѣчалъ на этотъ вопросъ утвердительно. Второй вопросъ возникъ по поводу повѣсти, которую читалъ аббатъ. Одинъ честный мессинскій мастеровой видѣлъ, что въ его отечествѣ безпрестанно совершаются беззаконія. Не проходило дня безъ какого нибудь преступленія. Отъявленные убійцы издѣвались надъ всеобщимъ негодованіемъ. Родители не могли оградить своихъ дочерей отъ безчестія, промышленники не могли уберечь плодовъ своего труда, которые расхищались монополистами или сборщиками податей. Суды брали взятки, невинные люди страдали, а виновные оставались безнаказанными. Мастеровой, размыслия объ этихъ безобразіяхъ, придумалъ оригиналійный способъ отмщенія. Онъ учредилъ въ своей лавкѣ тайное судилище; онъ выслушивалъ показанія свидѣтелей, постановлялъ рѣшенія, произносилъ смертные приговоры и спрятавши ружье подъ своимъ плащемъ выходилъ изъ дома для приведенія этихъ приговоровъ въ исполненіе. Совершивъ расправу, онъ возвращался въ свою лавку довольный самъ собою, точно будто онъ убилъ не человѣка, а бѣшеную собаку. Послѣ того, какъ эта участъ постигла до пятидесяти преступниковъ, вице-король предложилъ тысячу франковъ тому, кто уважеть убійцу и поклялся на алтарѣ, что

1) V. 295—6.

убийца будетъ прощенъ, если выдастъ самъ себя. Мастеровой явился на этотъ вызовъ и сказалъ слѣдующее: «Я исполнялъ вашу обязанность. Я тотъ, кто осуждалъ на смерть и убивалъ тѣхъ злодѣевъ, которыхъ вы должны бы были казнить. Разсмотрите доказательства ихъ преступлений. Тогда вы увидите, какой судебной процедуры я придерживался. Я хотѣло начать съ васъ самихъ, но я уважилъ въ вашемъ лицѣ августѣйшаго государя, котораго вы замѣняете. Моя жизнь въ вашихъ рукахъ; располагайте ею, какъ вамъ заблагоразсудится». Что-же, воскликнулъ аббатъ, вѣдь этотъ мастеровой былъ ничто иное какъ убийца, не смотря на свое усердное стараніе отстаивать справедливость. Дидро протестовалъ противъ этого мнѣнія, но его отецъ рѣшилъ, что аббатъ былъ правъ и что мастеровой былъ убийца.

Только прочитавши весь этотъ интересный діалогъ можно составить себѣ вѣрное понятіе о его драматической связности, о разнообразіи его содержанія, нисколько не нарушающемъ единства сюжета, о естественности въ немъ переходовъ и о пріятной легкости его тона. Въ концѣ діалога старикъ посыпаетъ за своимъ ночнымъ колпакомъ; Дидро обнимаетъ его и пожелавъ ему доброй ночи шепчетъ ему на ухо: «Въ строгомъ смыслѣ слова, батюшка, для мудреца нѣтъ законовъ. Такъ какъ нѣтъ правиль безъ исключений, то онъ вправѣ рѣшать, когда слѣдуетъ подчиняться законамъ и когда не слѣдуетъ обращать на нихъ вниманія». Отецъ отвѣчалъ ему на это: «Я не огорчился бы тѣмъ, что въ городѣ есть одинъ или два гражданина такихъ какъ ты; но я ни за что не согласился бы тамъ жить, если бы все были такого же мнѣнія». Это заключеніе правильно, и самъ Дидро могъ-бы убѣдиться въ его основательности, если бы захотѣлъ вникнуть въ то положеніе, въ которомъ находилось въ ту пору высшее общество во Франціи. Не подлежитъ сомнѣнію, что причиной нравственной испорченности Франціи въ послѣдніе годы старого режима были тѣ вольныя и увертливыя толкованія, съ помощью которыхъ руководители общества—іезуиты смягчали строгость общихъ нравственныхъ принципіовъ. Конечно должны пройти многія поколѣнія, прежде чѣмъ привычка не стѣсняясь откладывать въ сторону принципы въ каждомъ отдельномъ случаѣ породить всеобщую деморализацію, но этотъ результатъ неизбѣженъ и онъ обнаружится тѣмъ скорѣе, чѣмъ разумѣе были тѣ принципы. Казуисты создали на практикѣ такую систему, при которой соблюденіе какъ положительныхъ законовъ такъ и нравственныхъ правилъ становилось уклончивымъ и условнымъ. На эту же точку зрѣнія становится и Дидро въ діалогѣ, о которомъ идетъ рѣчь, но онъ любезно предоставляетъ своему разсудительному и доброму отцу доказать ея негодность.

II. Теперь мы увидимъ, что Дидро позволялъ себѣ высказывать рѣшительное недовѣріе даже къ нѣкоторымъ изъ самыхъ глубоко вкоренившихся принциповъ новѣйшаго общества. Но прежде всего мы мимоходомъ обратимъ вниманіе читателя на одинъ полный рѣзкой ироніи очеркъ, который появился на свѣтѣ лишь черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти Дидро (1798) и который получилъ отъ него или отъ кого-то другаго слѣдующее заглавіе: *Sur l'incidence du jugement public de nos actions particulières.* Эта очеркъ написанъ также въ формѣ діалога; вотъ его содержаніе. Дерошъ, бывшій сначала аббатомъ, потомъ юристомъ и поступившій наконецъ въ военную службу, уговариваетъ одну богатую и красивую вдову выйти за него замужъ. Ей известны его прежнія любовныя похожденія; поэтому она предупреждаетъ его въ самыхъ драматическихъ выраженіяхъ, что если онъ хоть разъ оскорбитъ ее нарушеніемъ супружеской вѣрности, она запрется въ своемъ домѣ и скоро умретъ отъ огорченія. Онъ даетъ ей такія обѣщанія, какія обыкновенно даются мужчинами въ подобныхъ случаяхъ; онъ съ жаромъ прижимаетъ къ своимъ губамъ ея руки, орошаетъ ихъ своими слезами и возбуждаетъ во всѣхъ присутствующихъ сочувствіе къ своему душевному волненію. Эта сцена нелѣпа или по крайней мѣрѣ должна казаться нелѣпой всякому изъ наскъ, такъ какъ мы привыкли ко всему относиться флегматически. Но даже въ нашихъ глазахъ Дидро выкупаетъ этотъ недостатокъ слѣдующимъ прекраснымъ замѣчаніемъ: «Особенность всего что прекрасно и добродѣтельно и заключается именно въ томъ, что оно внушаетъ многочисленному собранію людей одну мысль и одно чувство. Какъ въ эти минуты все уважаютъ другъ друга, какъ все другъ друга любятъ! Какъ прекрасно тогда человѣчество! Ахъ, зачѣмъ мы такъ скоро разстаемся? Люди такъ хороши, такъ счастливы, когда что либо прекрасное встрѣчаетъ между ними общее одобрение, соединяетъ ихъ вмѣстѣ, дѣлаетъ изъ нихъ одно цѣлое». ¹⁾ Сначала все шло какъ нельзя лучше и наша парочка была самая счастливая изъ всѣхъ. Но вслѣдствіи на вѣрность Дероша было сдѣлано нѣсколько покушеній; онъ отражалъ ихъ, пока желаніе услужить одному приятелю не заставило его заискивать добрая расположенія одной дамы, за которой онъ ухаживалъ въ то время, когда еще вѣль безнравственную жизнь. Старая любовная связь возобновилась. Письма съ неопровергнутыми доказательствами его виновности случайно попали въ руки его жены. Она собрала своихъ друзей, уличила при нихъ преступника, и затѣмъ перебѣхала въ домъ своей престарѣлой матери. Искреннее раскаяніе Дероша было оставлено безъ вниманія, его письма воз-

¹⁾ Oeuvres, V. 342.

вращались ему нераспечатанными, лвери дома гдѣ жила его жена, были для него заперты. Между тѣмъ престарѣлая мать умираетъ; вслѣдъ за ней умираетъ ребенокъ, а наконецъ и сама жена. Теперь, говоритъ Дидро обращаясь къ своимъ собесѣдникамъ, я прошу васъ обратить ваши взоры на публику — на эту безтолковую толпу, которая произноситъ надъ нами приговоры, которая распоряжается нашою честью, которая возноситъ насъ до облаковъ или забрасываетъ насъ грязью. Касательно Дороша общественное мнѣніе проходило всевозможныя фазы. Мѣркой для одобренія или порицанія служили для него случайные факты. Вина, которую всѣ считали простительной, мало по малу стала казаться болѣе тяжкой благодаря цѣлому ряду случайностей, которыхъ Дорошъ не могъ ни предвидѣть, ни предотвратить. Сначала общественное мнѣніе было на его сторонѣ и всѣ находили, что его жена была не въ мѣру взыскательна. А когда она занемогла, когда умеръ ея ребенокъ и ея мать скончалась отъ старости, его стали считать виновникомъ всѣхъ этихъ несчастій. Почему Дорошъ не объяснился письменно съ своей женой, почему онъ не стучался къ ней въ дверь, почему онъ не подстерегъ ее въ то время, какъ она ходила въ церковь? На самомъ дѣлѣ онъ дѣлалъ все это, но публика этого не знала. Для нея главное — поводъ для пересудовъ, а не раскрытие истины. Затѣмъ братъ его жены занялъ въ полку мѣсто Дороша и былъ убитъ. Это происшествіе вызвало новые возгласы о томъ, какое несчастіе быть въ родствѣ съ такимъ человѣкомъ. Но развѣ на Дорошѣ можетъ лежать ответственность за смерть его тещи, которая уже была очень стара? Развѣ онъ могъ предвидѣть, что вражеская пуля пронзитъ его зятя въ его первомъ походѣ? А по отношенію къ своей женѣ? Онъ былъ варваръ, онъ былъ чудовище, которое мало по малу выкало кинжалъ въ грудь божественной женщины, своей жены, своей благодѣтельницы, и потомъ оставило ее умирать, не обнаруживши ни малѣйшихъ признаковъ участія или привязанности. И все это, восклицаетъ Дидро, только потому, что онъ не зналъ того, что было скрыто отъ его глазъ и чего не знали и не подозревали даже тѣ люди, которые ежеминутно были подле нея? Какая самонадѣянность, какая фальшивая логика, какая непослѣдовательность, какія неосновательныя перемѣны и колебанія во всѣхъ этихъ приговорахъ общественного мнѣнія съ самого начала и до конца!

Однако мы не можемъ не замѣтить, что пылкое негодованіе Дидро не попало въ самый корень обсуждаемаго имъ предмета. Дидро превосходно берется за свой сюжетъ, освѣщаєтъ его новымъ свѣтомъ, метко иллюстрируетъ его и совершенно очищаетъ отъ народа искусственныхъ условій, въ средѣ которыхъ онъ оставался не-

подвижнымъ, — но онъ не оставляетъ поднятый имъ вопросъ разрѣшеннымъ съ болѣе правильной точки зрѣнія. Его умъ не былъ изъ числа тѣхъ, которые въ случаѣ невозможности что либо объяснить не впадаютъ въ сѣтованія и которые не прекращаютъ спора безъ того, чтобы сдѣлать спокойно и систематически обзоръ тѣхъ условій, которыхъ вызвали новое проявленіе человѣческаго безразсудства, недальновидности или несправедливости. На основаніи строгой логики не было никакой возможности поддерживать порицаніе Дороша за такія послѣдствія, которыхъ вовсе не истекали изъ его вины. Но у людей кромѣ разсудка, есть и воображеніе; у большинства изъ нихъ воображеніе даже сильнѣе разсудка, а воображеніе публики было возбуждено рядомъ несчастій, слѣдовавшихъ за тѣмъ, какъ г-жа Дорошъ покинула своего мужа. Вѣдь публика не судебное мѣсто; она не принимаетъ въ оправданіе обвиняемаго того соображенія, что между дѣяніемъ и приписываемыми этому дѣянію вредными послѣдствіями протекло не мало времени. Не трудно понять, путемъ какихъ ложныхъ умозаключеній на мужа взвалили ответственность за такія несчастія, въ которыхъ онъ на самомъ дѣлѣ былъ несовиненъ. Если бы мы захотѣли составить себѣ ясное понятіе о поведеніи публики въ подобныхъ случаяхъ, мы, можетъ быть, пришли бы къ тому убѣждѣнію, что публика и не имѣла намѣренія произносить судебній приговоръ, а только хотѣла выразить, что сношенія съ такимъ то индивидуумомъ она находитъ непріятными и внушающими опасенія. Можетъ быть публика и сочла бы не лишнимъ привести резоны въ оправданіе своего отвращенія и тѣмъ доказать основательность весьма жидкаго опредѣленія, — что *homœo-animal rationale*; но настоящая причина всего заключается въ томъ, что присутствіе Дороша нарушило комфорть, напоминая спорные и непріятные факты. Не подлежитъ сомнѣнію, что такой эгоистической и грубый методъ нерѣдко бываетъ причиной жестокихъ страданій для того, къ кому онъ примѣняется, и что его не будетъ придерживаться тотъ, кто серьзно и глубоко всматривается въ мотивы человѣческихъ дѣяній. Всякій здравомыслящій человѣкъ знаетъ, какъ трудно произносить основательные приговоры надъ этими дѣяніями, въ особенности если они принадлежать къ сферѣ сложныхъ и покрытыхъ тайной отношеній между женщиной и женщиной; однако онъ никогда не будетъ ниспровергать ради данного случая то, что служить для этихъ отношеній охраной отъ вмѣшательства извнѣ. Тюрго сказалъ о себѣ самому: *Я большой врагъ равнодушія и большой другъ снисходительности*; полагаю, что всякий изъ насъ долженъ бы быть поступать такъ, чтобы имѣть право сказать о себѣ самому то-же самое.

Сверхъ того, хотя все эти ироническія указанія на пошлость,

опрометчивость и непослѣдовательность народныхъ приговоровъ находятъ въ извѣстной мѣрѣ подтвержденіе во всякомъ обществѣ, однако нѣкоторые изъ величайшихъ французскихъ писателей и прежде впадали и до сихъ поръ еще впадаютъ въ то заблужденіе, что они ожидаютъ отъ подобныхъ указаний такого плода, какого они дать не могутъ. Въ концѣ концовъ и многіе мушкины и многія женщины дѣлаются лучшими не столько потому, что общіе всѣмъ имъ недостатки подвергались всеобщему порицанію, сколько потому, что общественное мнѣніе стало относиться къ каждому мужчинѣ и къ каждой женщинѣ какъ къ отдѣльной личности и въ своихъ приговорахъ стало руководствоваться болѣе широкой точкой зренія, болѣе возвышенными мотивами и болѣе здравыми понятіями. Гораздо болѣе пользы отъ того, что въ каждомъ индивидуумѣ стараются пробудить сознаніе своей отвѣтственности за свои собственные дѣянія, нежели отъ того, что путемъ блестящихъ похвалъ или путемъ язвительныхъ сатирическихъ нападокъ внушаютъ ему мысль о виновности всего общества. Вѣдь подъ словомъ общество мы обыкновенно разумѣемъ другихъ людей. Можно бы было извлечь очень поучительные результаты изъ сравненія двухъ противоположныхъ методовъ: метода геніальныхъ французскихъ писателей,—начиная съ Дидро и кончая великимъ поэтомъ нашего времени Викторомъ Гюго,—заключающагося въ томъ, чтобы изливать на все общество самая грозная обвиненія, и метода лучшихъ англійскихъ писателей,—начиная съ Мильтона и кончая Миллемъ,—заключающагося въ томъ, чтобы внушать индивидуумамъ новыя идеи и заставлять ихъ давать чисто-личный отвѣтъ на всякий вопросъ изъ сферы нравственной или духовной.

Считаемъ не лишнимъ сдѣлать еще одно замѣченіе. До какой степени было сильно въ восемнадцатомъ столѣтіи сознаніе общественныхъ связей видно изъ того, что когда Дерошъ сидѣлъ въ одиночествѣ въ публичной залѣ, когда никто не хотѣлъ отвѣтить на его вопросы, никто изъ окружающихъ не заговоривъ съ нимъ, всѣ избѣгали его и равнодушно смотрѣли на него какъ на человѣка нравственно отвергнутаго обществомъ, Дидро ни разу не подумалъ о томъ, что несчастный могъ бы найти искусственное утѣшеніе въ подражаніи стоякамъ. Ему ни разу не пришло на умъ, что въ исключеніи изъ общества друзей можно не видѣть непріятности истиннаго наказанія и настоящаго несчастія. Никто не зналъ лучше самого Дидро, что мушкіна долженъ пріучать себя противостоять общему неодобрѣнію, гордо поднявъ голову и не потупляя взоровъ; но онъ также зналъ, что поступать такъ не легко, да и не стоитъ иначе какъ изъ за ясныхъ и широкихъ цѣлей. Жизнь была для Дидро реальна не въ новѣйшемъ извращенномъ смыслѣ

этого слова,— не въ томъ смыслѣ что ея цѣль—нажить сто ты-
сячъ фунт. ст., а въ томъ смыслѣ, что она служитъ бурной сце-
ной для страстей, интересовъ, симпатій, борьбы, радостей и горе-
стей,—такой сценой, на которой пріятныя аскетическая идеи писа-
теля или проповѣдника почти никакъ не затрагиваются дѣйстви-
тельныхъ условій человѣческаго существованія и не ослабляютъ
горечи несчастій, неудачъ, ошибокъ и заблужденій точно такъ какъ
сладкое пѣніе птицъ летающихъ въ воздухѣ надъ полемъ сраженія
не уменьшаетъ ярости и ужаса, господствующихъ въ равнинѣ.
Одинъ хороіъ человѣкъ высказалъ слѣдующую мысль, безъ сом-
нѣнія привѣренную имъ на опытѣ: «Speciosa quidem ista sunt,
oblitaque rhetoricae ei musicae melle dulcedinis; tum tantum
cum audiuntur oblectant. Sed miseris malorum altior sensus
est. Itaque qnum haec auribus insonare desierint, insitus
animum moeror praegravat». ¹⁾)

III. Мы можемъ закончить эту главу краткимъ разборомъ *Допол-
ненія къ путешествію Бугенвилля* (*Supplément au voyage
de Bougainville*), которое было написано въ 1772 и опуб-
ликовано лишь черезъ двадцать четыре года послѣ того. Это *До-
полненіе* имѣетъ еще другое заглавіе: *Dialogue entre A et
B sur l'inconvénient d'attacher des idées morales
à certaines actions physiques, qui n'en comportent
pas.* Кто полагаетъ, что общепринятые понятія о супружествѣ
заключаются въ себѣ послѣднее слово всего, что можетъ быть ска-
зано о взаимныхъ отношеніяхъ между мужчинами и женщинами,
тотъ отвернется отъ этого діалога съ нѣкоторымъ чувствомъ не-
годованія. Кто, напротивъ того, полагаетъ, что теперешняя систе-
ма не есть болѣе неизмѣнное выраженіе коренныхъ законовъ че-
ловѣческой природы, не болѣе нравственно законченна, не болѣе не-
доступна улучшенію, не болѣе священна и не болѣе безспорно удач-
на, чѣмъ всякий другой разрядъ соціальныхъ соглашеній и соот-
вѣтствующихъ этимъ послѣднимъ нравственныхъ понятій, тотъ про-
читъ его не безъ интереса, хотя, какъ я думаю, и не извлечетъ
изъ него много поучительнаго. Бугенвилль былъ первый французъ,
совершившій кругосвѣтное плаваніе. Онъ умеръ въ 1766—69 почти
въ одно время съ капитаномъ Куокомъ. Описаніе его экспедиціи
вышло въ свѣтъ въ 1771 и Дидро такъ сильно увлекся описанія-
ми образа жизни первобытныхъ народовъ, живущихъ на берегахъ
южнаго океана, какъ этого можно бы было ожидать лишь отъ
Руссо. Какъ уже не разъ было нами замѣчено, развращенность и
искусственность парижскаго общества придавали изображенію перво-

1) Боецій.

бытного общества райскую привлекательность. Дидро более чѣмъ кто либо изъ его современниковъ быъ недоступенъ для такого заблужденія. Онъ никогда не раздѣлялъ мечты Вольтера, что Китай—страна философовъ.¹⁾ Но онъ никогда не вникалъ критически въ реальные условія жизни на ея первобытныхъ ступеняхъ развитія и въ настоящемъ случаѣ онъ впалъ въ соціологической анахронизмъ, сдѣлавши изъ бѣдныхъ жителей Отаити разсудительныхъ и добрыхъ патріотовъ и здравыхъ мыслителей. Литературные достоинства этого діалога по меньшей мѣрѣ такъ же ярко выступаютъ наружу, какъ и достоинства тѣхъ произведеній, о которыхъ было говорено ранѣе. Реализмъ сценъ между корабельнымъ капелланомъ, его приятелемъ—дикаремъ, слишкомъ любезной женой этого послѣдняго и такими же любезными двумя ихъ дочерьми, полонъ привлекательности, простоты и чего то похожаго на паѳосъ. Правда Дидро вводить въ эту діалогъ между прочимъ и такой сюжетъ, который покажется инымъ непристойнымъ и о которомъ онъ дѣйствительно иногда выражался въ очень непристойной формѣ,—но онъ вводить этотъ сюжетъ съ такой идеальной грацией, которая едва ли покажется грязной тому, кто самъ нравственно чистъ. Никогда не слѣдуетъ забывать того, что Дидро писалъ для людей зрѣлыхъ лѣтъ, точно такъ же какъ для людей этого возраста писались всѣ тѣ книги, въ которыхъ идетъ рѣчь необъ однихъ только поверхностныхъ результатахъ человѣческаго опыта. Въ Англіи принято за правило исключать изъ литературы такие сюжеты и такія размышленія, которые считаются неприличными для мальчиковъ и дѣвочекъ; въ этомъ правилѣ есть своя хорошая сторона, но оно безспорно приводить къ нѣкоторой узкости и жидкости содержанія и къ отвратительному лицемѣрію. Очевидно, что не всякий сюжетъ можетъ быть обсуждаемъ всѣми и каждымъ, а въ результатѣ этого оказывается то, что нѣкоторые изъ самыхъ важныхъ сюжетовъ вовсе не обсуждаются.

Точка зрења, на которую становится Дидро въ настоящемъ діалогѣ, можетъ быть выяснена изъ слѣдующаго извлечения. Корабельный капелланъ объясняетъ удивленному Отаитянину, что въ Европѣ строго придерживаются единобрачія, которое считается за учреждѣніе установленное Творцемъ вселенной и тщательно охраняется духовенствомъ и судьями. На это Ору возражаетъ такъ:

„Я нахожу, что эти странные принципы противорѣчать природѣ и не согласны съ здравымъ смысломъ.... Они противорѣчать природѣ, потому что допускаютъ, чтобы существо мыслящее, чувствующее и свободное могло дѣлаться собственностью подобного ему существа.... Развѣ ты не видишь, что въ твоей странѣ смѣшиваются

¹⁾ См. выше стр. 189.

предметъ, у которого нѣтъ ни чувствъ, ни мыслей, ни желаній, ни воли, который можно бросать, брать, хранить, мѣнять не причиняя ему страданій и не вызывая съ его стороны жалобъ,—смѣшиваются съ такимъ предметомъ, которого нельзя пускать въ обмѣнъ и пріобрѣтать, у которого есть свобода, воля, желанія, который можетъ на минуту отдавать себя или отвѣтчикъ отказомъ, который жалуется и страдаетъ, и изъ которого можно сдѣлать предметъ торговли только въ томъ случаѣ, если забудутъ его характеръ и учинятъ насилие надъ его природой? Они не согласны съ общими законами вещей. Дѣйствительно, развѣ есть что либо болѣе безразсудное, чѣмъ тотъ принципъ, который воспрещаетъ происходящія внутри насъ перемѣны, который предписываетъ постоянство невозможное для насъ, и нарушає свободу мужчины и женщины, приковывая ихъ навсегда одного къ другому.... развѣ есть что либо болѣе безразсудное, чѣмъ клятва неизмѣняемости, давная двумя существами, состоящими изъ плоти, передъ такимъ небомъ, которое не остается ни одной минуты неизмѣннымъ, подъ такими сводами, которые грозятъ разрушениемъ, у подножія такого утеса, который разсыпается въ прахъ, подъ такимъ деревомъ, въ которомъ образовались трещины?.... Ты можешь предписывать то, что противорѣчитъ природѣ, но тебѣ не будутъ повиноваться. Ты умножишь число преступниковъ и несчастныхъ угрозами, наказаніями и угрызеніями совѣсти; ты развратишь у людей совѣсть, ты введешь въ заблужденіе ихъ умъ и они утратятъ способность понимать, какъ слѣдуетъ поступать и чего слѣдуетъ избѣгать". (225).

Всѣдѣ за этой декламацией, Ору задаетъ смущенному капеллану нѣкоторые практическіе вопросы. Всегда ли молодые люди возвращены во Францію, всегда ли тамъ вѣрны жены, не случается ли тамъ, что мужья заводятъ любовныя связи? Изъ отвѣтовъ капеляна прозорливый Ору угадываетъ настоящее положеніе вещей:

„Какое безобразное сочетаніе недѣностей ты раскрываешь передо мною! И ты еще не все рассказалъ мнѣ: вѣдь когда люди позволили себѣ располагать по своему произволу понятіями о томъ, что справедливо и позволительно, придавать вещамъ произвольный характеръ, и относить человѣческие поступки къ числу хорошихъ или дурныхъ, руководствуясь одною прихотью,—тогда возникаютъ порицанія, обвиненія, подозрѣнія, тирannія, зависть, ревность, обманъ, огорченія, укрывательство, притворство, шпionство, неожиданные разоблаченія, скоры, ложь; тогда девушки будутъ обманывать родителей, мужья—жену, жены—мужей; девушки,—я въ этомъ увѣренъ,—будутъ душить своихъ дѣтей; подозрительные мужья будутъ относиться съ презрѣніемъ и съ пренебреженіемъ къ своимъ дѣтямъ, матери будутъ покидать дѣтей и предоставять ихъ на произволъ судьбы, преступленіе и развратъ будутъ проявляться въ самыхъ разнообразныхъ формахъ. Я все это знаю, точно будто я жилъ среди васъ. Это такъ, потому что такъ должно быть, а ваше общество,

которое такъ расхваливаетъ вамъ вашъ начальникъ за господствующій въ немъ прекрасный порядокъ, есть ничто иное какъ сборище лицемѣровъ, которые втайне попираютъ своими ногами законы, или сборище несчастныхъ людей, которые сами дѣлаютъ изъ себя орудіе для своего наказанія, потому что подчиняются такимъ законамъ, или сборище глупцевъ, въ которыхъ предразсудки совершенно заглушили голосъ природы". (227).

Капелянъ имѣетъ достаточно присутствія ума, чтобы сослаться на радикальное неудобство тѣхъ разрѣшений проблемы семейнаго союза, которая практикуются Отaitянами или проповѣдуются парижскими философами или нерѣшительно предлагаются въ наше время въ странной формѣ браковъ, заключаемыхъ на извѣстное число лѣтъ съ правомъ возобновлять договоръ. Это неудобство заключается въ томъ, какъ устроить участъ дѣтей, происходящихъ отъ подобныхъ брачныхъ союзовъ. Ору возражаетъ на этотъ аргументъ очень краснорѣчивымъ разсказомъ о томъ, какъ уважаютъ, берегутъ и высоко цѣнятъ ту женщину, которая, народила множество дѣтей. Его отвращеніе къ европейскимъ порядкамъ еще усиливается, когда ему сообщаютъ, что рожденіе ребенка у большей части народовъ, живущихъ на западѣ, вызываетъ скорѣе заботы, затрудненія и огорченія, чѣмъ радость и удовольствіе.

Для читателя должно быть ясно, что въ настоящемъ діалогѣ Дидро относится критически къ самому основному и сложному учрежденію нашего западнаго общества съ точки зрѣнія произвольнаго и совершенно фантастического натурализма. Даже Руссо не написалъ ничего болѣе картинааго, болѣе опаснаго, болѣе анархическаго и болѣе поверхностно обдуманнаго. Впрочемъ и самъ Дидро спѣшить заявить въ концѣ разговора, что когда мы нападаемъ на безмысленные законы, мы все таки обязаны исполнять ихъ, пока не добьемся ихъ отмѣны. «Его нарушаетъ дурной законъ по своему личному произволу, тотъ даетъ всякому другому право не исполнять хорошихъ законовъ. Гораздо менѣе вреда отъ того, что мы будемъ глупы съ глупцами, нежели отъ того, что мы будемъ умны въ одиночествѣ. Мы можемъ говорить самимъ себѣ и даже громко утверждать, что люди считаютъ постыдными, достойными наказанія и унизительными такія дѣянія, которые сами по себѣ невинны; но мы должны воздерживаться отъ этихъ дѣяній, потому что стыдъ, наказаніе и униженіе — величайшее несчастіе». Да-льѣ Дидро говорить съ свойственной ему искренностью: «Главнымъ образомъ мы должны быть честны и добросовѣстны въ нашихъ отношеніяхъ къ тому слабому существу, которое, уступая нашимъ желаніямъ, вмѣстѣ съ тѣмъ отказывается отъ того, что всего болѣе цѣнится въ обществѣ».¹⁾

Впрочемъ философское содержаніе діалога не дѣлается удовлетворительнымъ благодаря всѣмъ этимъ оговоркамъ. Какія бы ни произошли съ теченіемъ времени измѣненія въ отношеніяхъ между мужчинами и женщинами, мы можемъ быть увѣрены, что эти измѣненія произойдутъ въ такомъ направлении, которое еще болѣе чѣмъ теперешняя условія брака, отклонится въ сторону отъ всего, что походитъ на натурализмъ Дидро и на теорію школы восемнадцаго столѣтія. Даже еслибы случилось нечто такое, что въ настоящую минуту мало вѣроятно,—если бы понятія о семействѣ и находящіяся съ ними въ связи понятія о личной собственности дѣйствительно были замѣнены той формой коммунизма, которую мы видимъ въ Oneida Creekъ, все таки дисциплина половыхъ влечений при такой системѣ относилась бы къ натурѣ не менѣе а болѣе строго, чѣмъ при учрежденіяхъ, преобладающихъ на западѣ.¹⁾ Ору было бы въ тысячу разъ болѣе несчастливъ среди Перфекционистовъ, руководимыхъ г-номъ Нойе, нежели въ Парижѣ или Лондонѣ. Мы вовсе не намѣрены обсуждать множества важныхъ вопросовъ, относящихся къ этому предмету, но мы позволимъ себѣ сдѣлать нѣсколько замѣчаній. Есть причина, почему всякий шагъ впередъ можетъ быть сдѣланъ не иначе какъ съ цѣлью болѣе строгаго контроля надъ чувственными влечениями; эта причина заключается въ томъ, что, какъ видно изъ опыта, положеніе и нравственное достоинство женщины обусловливаются той степенью самообладанія, которая проявляется въ мужчинѣ. Никто не сомнѣвается въ томъ, что мужчина по своимъ инстинктамъ склоненъ къ многочисленству. Но отъ того, заглушить ли въ себѣ мужчина эти бродяжнические инстинкты, зависитъ и достоинство женщины, и ея чувство самоуваженія, а стало быть и все ея нравственное развитіе. Въ исторіи цивилизаций нѣтъ болѣе важной главы чѣмъ та, которая объясняетъ намъ, какъ неистовство этихъ инстинктовъ мало по малу ослаблялось.

Въ этомъ вопросѣ есть еще другая сторона. Домашній очагъ, о которомъ такъ часто толкуютъ сантиментальные философы, нерѣдко бываетъ свидѣтелемъ страшнаго горя. Супружескій союзъ, который такъ нѣженъ и возвышенъ въ своемъ идеалѣ, бываетъ гораздо чаще, чѣмъ мы въ этомъ сознаемся, самыми тяжелыми оковами для женщины, и самымъ мучительнымъ, самымъ убийственнымъ и доводящимъ до отчаянія бременемъ для мужчины. Какъ ни привлекатель-

¹⁾ См. Нордгофа *Коммунистическое общество въ Соединенныхъ Штатахъ* (Лондонъ, Маррей, 1875), стр. 259—93. Эта серьезная и въ высшей степени поучительная книга объясняетъ намъ, въ какой мѣрѣ доступны измѣненіямъ нѣкоторая изъ тѣхъ сторонъ человѣческаго характера, которыхъ обыкновенно считаются окончательно сложившимися и неискоренимыми.

на и какъ ни цѣнна нравственная чистота семьи, однако она до сихъ поръ обезпечивалась лишь благодаря прискорбному существованію громадной толпы отверженныхъ обществомъ женщинъ. Когда мы слышимъ похвалы католицизму за то, что онъ возвысилъ достоинство женщины и семьи, мы могли бы противопоставить принесенной имъ пользѣ страшное размноженіе тѣхъ жалкихъ существъ женского пола, на голову которыхъ, какъ на козла отпущенія у евреевъ, мы возлагаемъ отвѣтственность за всѣ безпутства нашихъ сыновей, и которыхъ мы преслѣдуемъ нашими проблѣтіями.

По этому поводу можно было высказать много здравыхъ идей, которые были бы очень умѣстны при окружающей нась общественной безнравственности. Но Дидро не оказываетъ намъ въ этомъ содѣйствія. Какая же была бы польза, еслибы взаимное влечение лицъ различного пола было низведено до своихъ чисто физическихъ началь, еслибы оно было очищено отъ всѣхъ нравственныхъ идей, которая мало по малу срослись съ нимъ и пріобрѣли такую силу, что у самыхъ высшихъ типовъ человѣческаго рода они нерѣдко оттѣсняютъ физического фактора на второе мѣсто? Такое возвращеніе къ наготѣ дикихъ животныхъ было бы шагомъ назадъ, а не впередъ. Но Дидро преимущественно передъ всѣми другими писателями всегда превозносилъ сладость семейныхъ чувствъ. Никто не понималъ такъ хорошо какъ онъ всю цѣну семейныхъ узъ, когда они скрѣплены сердечной привязанностью. Только въ минуту особыго влечения къ напыщеннымъ парадоксамъ онъ могъ вложить въ уста одного изъ собесѣдниковъ въ діалогѣ о Бугенвилль слѣдующія мнѣнія: *Постоянство* есть «жалкое самообольщеніе двухъ дѣтей, которая не знаютъ самихъ себя и которая до того ослѣплены минутнымъ упоеніемъ, что не примѣчаютъ, какъ все вокругъ нихъ непостоянно»; *Вѣрность* есть «упорство честнаго мужчины и честной женщины и вмѣсть съ тѣмъ ихъ кара»; *Ревность*—есть страсть свойственная несчастнымъ людямъ; это—несправедливое чувство въ мужчинѣ, это—результатъ нашихъ фальшивыхъ нравовъ и права собственности, простирающагося на свободные существа, которыхъ способны чувствовать, хотѣть и мыслить». ¹⁾

До какой степени реакція противъ преувеличеній аскетической доктрины ослѣпляла людей восемнадцатаго столѣтія видно изъ того факта, что Дидро не замѣчалъ противорѣчія между приведенными софизмами и тѣми семейными добродѣтелями, которая всегда казались ему столь привлекательными. Странно съ его стороны и не пониманіе того, что было бы невозможно возвести постоянство на степень добродѣтели во-первыхъ, еслибы оно не отвѣчало на какой

¹⁾ Оенигес, II. 243.

нибудь внутренний спросъ человѣческаго сердца и во-вторыхъ, если бы оно не было пригодно при данныхъ условіяхъ общественной жизни.

Какъ могло случиться, говорить одинъ изъ собесѣдниковъ, что самое сильное, самое сладкое, самое невинное изъ наслажденій обратилось въ самый обильный источникъ разврата и бѣствий? Дѣйствительно это такой вопросъ, надъ которымъ стоять задуматься. Отвѣтъ на него, Дидро опирается на слѣдующіе сравнительно разумные доводы, которые производятъ приятное впечатлѣніе на читателя, выдвигаясь впередъ вслѣдъ за анархіей господствовавшей въ предшествовавшихъ частяхъ діалога. Упомянутыя вредныя послѣдствія, по словамъ Дидро, были порождены: тиранніей мушки, обратившаго обладаніе женщиной въ собственность; нравами и обычаями, наложившими на супружеский союзъ вовсе ненужныя условія; гражданскими законами, подчинившими заключеніе браковъ исполненію безконечныхъ формальностей; религіозными учрежденіями, давшими название пороковъ или добродѣтелей такимъ дѣяніямъ, въ которыхъ нравственность не играетъ никакой роли. Если этими словами Дидро хотѣлъ сказать, что человѣчество будетъ болѣе счастливо, когда положеніе жены по отношенію къ собственности будетъ болѣе независимо, когда общественное мнѣніе будетъ считать разводъ за такую сдѣлку, которая сама по себѣ совершенно естественна и не заслуживаетъ порицанія, а нерѣдко даже не только похвальна, но и обязательна, и когда будетъ отмѣнена та варварская несправедливость и гнусность, которая называется возстановленіемъ супружескихъ правъ,—то авторъ указываетъ именно на то, на что и мы указывали, какъ на предстоящий великий шагъ въ дѣлѣ общественного прогресса. Если же Дидро хотѣлъ сказать, что мы напрасно облекаемъ въ самыя наглядныя, серьозныя и ясно распознаваемыя формальности такой актъ, который ведеть къ произведенію на свѣтъ человѣческихъ существъ съ неисчислимыми послѣдствіями и для этихъ существъ и для другихъ людей, также какъ они неотвѣтственныхъ за ихъ появленіе на свѣтъ, — то основная мысль автора опрометчиво безнравственна и сверхъ того совершиенно несогласна съ болѣе здравыми идеями, которыя высказывались самимъ Дидро.

ГЛАВА X.

Р о м а н ь.

Президентъ де-Брессъ, посѣтившій Парижъ въ 1754, непремѣнно хотѣлъ познакомиться съ «неистовыимъ метафизикомъ», — какъ онъ называлъ Дидро. Бюффонъ ввелъ его въ домъ Дидро. «Онъ добрый малый», — сказалъ президентъ, «онъ очень пріятенъ въ общество, очень любезенъ, замѣчательенъ какъ философъ и какъ строгий логикъ, но безпрестанно вовлекается въ отступленія. Вчера въ моей комнатѣ онъ сдѣлалъ двадцать пять отступленій въ промежутокъ времени отъ девяти часовъ до часа.» Точно такъ и критикъ, вознамѣрившійся сдѣлать очеркъ дѣятельности Дидро, долженъ постоянно переходить отъ одного отступленія къ другому сквозь цѣлый рядъ самыхъ разнообразныхъ сюжетовъ. Тѣмъ не менѣе во всѣхъ этихъ отступленіяхъ вы всегда видите личность Дидро съ ея пылкимъ энтузіазмомъ, съ ея искренними симпатіями, съ ея широкимъ умственнымъ гостепріимствомъ. Вы также постоянно видите, что во всѣхъ идеяхъ, системахъ, артистическихъ формахъ онъ ищетъ сложныхъ реальныхъ условій жизни, а къ этимъ реальнымъ условіямъ относится съ сочувственной эмоціей.

Понятно, что авторъ *Клариссы* неизбѣжно долженъ быть сдѣлаться идоломъ для Дидро. Духъ реакціи противъ искусственности псевдо-классической драмы, внушившій Дидро желаніе проложить дорогу для драмы изъ реальной жизни средняго сословія, заставилъ его приходить въ восторгъ отъ изобрѣтеннаго Ричардсономъ романа изъ обыкновенной домашней жизни. Что современный намъ романъ зародился въ Англіи — было не простой случайностью, а результатомъ соціальныхъ мотивовъ. Новѣйший романъ по существу своему держится на интересѣ, возбуждаемомъ домашней жизнью обыкновенныхъ мужчинъ и женщинъ. Но такой интересъ быть возможенъ

лишь при томъ условіи, чтобы быть нанесенъ смертельный ударъ духу феодализма и аристократизма, а этотъ переворотъ совершился въ одной Англіи и то не вполнѣ. До сихъ поръ въ одной только Англіи средній классъ отвоевалъ себѣ такое положеніе, въ которомъ онъ пользуется уваженіемъ, равенствомъ и независимостью. Въ одной только Англіи каждый могъ дѣлать изъ своихъ личныхъ способностей такое употребленіе, какое хотѣлъ, и могъ устроивъ свою судьбу по своему личному усмотрѣнію и желанію.¹⁾ Величайшій изъ преемниковъ Ричардсона въ исторіи англійскихъ произведеній фантазіи подтверждаетъ это объясненіе. «Тому», — говорить сэръ Вальтеръ Скоттъ, — «кто съ терпѣніемъ читалъ чушь и громкія фразы въ фоліантахъ Скюдери, не могли наскучить природа, здравый смыслъ и геніальность въ произведеніяхъ Ричардсона». Старые французскіе романы, въ которыхъ Европа находила для себя жалкое развлеченіе, были рассказами о принцахъ и принцессахъ. А въ той странѣ, где принцы и принцессы впервые утратили свою божественность и стали возводиться въ это званіе парламентскими рѣшеніями, и фантазія писателей, — какъ и слѣдовало ожидать, — впервые стала заимствовать изъ семейной жизни заурядныхъ личностей серьозныя страсти, реальные интересы и всѣ материали, пригодные для паѳоса и для трагедіи. Правда, авторъ *Маріанны* — Мариво принадлежалъ къ школѣ Ричардсона въ то время, когда Ричардсонъ еще не написалъ ни одной строчки. Но это было изолированное явленіе, а не начало новаго направленія. Начало новой эры ознаменовалось популярностью Ричардсона. Когда вся Англія стала приходить въ восторгъ отъ испытаній, добродѣтелей и торжества простой крестьянки, это было сигналомъ столько же для великаго соціального, сколько для великаго литературнаго переворота.

Въ литературныхъ кружкахъ Франціи энтузіазмъ къ Ричардсону былъ почти такъ же великъ, какъ въ Англіи. Въ первой изъ этихъ двухъ странъ онъ былъ однимъ изъ признаковъ приближенія того перехода, который уже совершился въ Англіи, — а именно перехода отъ феодализма къ промышленной демократіи. Иные пожалуй назовутъ парадоксальнымъ мнѣніе, что страсть къ Ричардсону была символомъ того, что люди вполнѣ прониклись духомъ политического переворота. Однако это мнѣніе вѣрно. Вольтеръ возставалъ противъ суевѣрій и тиранній церкви, но онъ никогда не отбрасывалъ отъ себя монархическихъ традицій своей юности; онъ всегда былъ въ дружбѣ съ высшимъ дворянствомъ; онъ не сознавалъ необходимости соціального переворота и не имѣлъ ни малѣйшей склонности въ

1) *Исторія Литературы* Геттнера. I. 462.

нему. Вотъ что онъ сказаъ о Клариссе: «Для такого человѣка какъ я очень тяжело прочесть цѣлыхъ девять томовъ, въ которыхъ не найдешь ровно ничего. Я говорю, что если бы даже всѣ эти люди были мои родственники и друзья, я не могъ бы принимать въ нихъ участія. Я вижу въ авторѣ лишь ловкаго человѣка, который знаетъ какъ любопытенъ человѣческий родъ и постоянно въ каждомъ волюмѣ что нибудь обѣщаетъ читателямъ съ цѣллю скорѣе распродать свою книгу». Точно такъ же и по тѣмъ же самымъ причинамъ ему всегда было непонятенъ энтузіазмъ къ Новой Элоизѣ, этому замѣчательнѣйшему изъ всѣхъ романовъ, написанныхъ по образцу, созданному Ричардсономъ. Онъ не имѣлъ никакого понятія о тѣхъ странныхъ соціальныхъ стремленіяхъ, которыя молчаливо гнѣздились въ глубинѣ души его современниковъ. Дидро былъ полусознательнымъ оракуломъ и непризнаннымъ пророкомъ этихъ стремлений во всей ихъ глубинѣ и во всемъ ихъ значеніи,—и это не было съ его стороны дѣломъ обдуманного философскаго разсчета, а было результатомъ неподдѣльного импульса, исходившаго изъ его гenia и темперамента. Онъ не былъ сознательнымъ политическимъ преобразователемъ, но его душа была открыта для всѣхъ чувствъ, для всѣхъ идеаловъ семейной жизни и для всѣхъ естественныхъ привязанностей, которыя не могли уживаться съ старыми феодальными узами и быстро подготавливали соціальный кризисъ. Такимъ образомъ, его энтузіазмъ къ Ричардсону былъ въ своемъ корнѣ лишь другой стороной той любви къ мирной трудолюбивой жизни, которая была самой благородной отличительной чертой Энциклопедии.

Дидро выразилъ этотъ энтузіазмъ на пол-дюжинѣ страницъ, которыхъ принадлежать къ числу образцовыхъ его произведеній. Ричардсонъ умеръ въ 1761 и Дидро написалъ въ память о немъ статью, въ которой нѣть ни порядка, ни послѣдовательности; но именно благодаря этимъ недостаткамъ она была, по его собственному выражению, отголоскомъ той сумятицы, которая происходила въ его душѣ. Въ этомъ случаѣ онъ по истинѣ выказалъ себя достойнымъ похвального отзыва Теофилия Готье, и былъ такъ «flamboyant» какъ только можно желать. Чтобы понять ходъ идей во французской литературѣ и чтобы измѣрить успѣхи сдѣланные французской критикой, нужно только сравнить панегирикъ Ричардсону, написанный Дидро, съ панегирикомъ Данже или Лейбничу, написаннымъ Фонтенелемъ. Преувеличенность выражений, невоздержанность чувствъ и отрывочность возгласовъ придаютъ панегирику Дидро непріятный тонъ декламаціи. Многіе изъ настѣ предложили бы умѣренность, утонченность, и пріятную разборчивость критиковъ изъ противоположной школы. Тѣмъ не менѣе мы доказали бы узкость на-

шего взгляда и нашу недальновидность, еслибы подъ этимъ изоби-
лемъ яркихъ красокъ мы не примѣтили искренности автора, его
внутренняго возбужденія и настоящаго смысла его словъ.

„О Ричардсонъ, Ричардсонъ,—человѣкъ единственный въ моихъ
глазахъ, ты во всякое время будешь моимъ любимымъ чтенiemъ!
Если меня будетъ тяготить нужда, если кто нибудь изъ моихъ дру-
зей впадетъ въ нищету, если мои скромныя средства окажутся нед-
остаточными для того, чтобы дать монимъ дѣтямъ приличное обра-
зованіе, я продамъ мои книги, но ты останешься со мною, ты
останешься на одной полкѣ съ Моисеемъ, Гомеромъ, Еврипидомъ, и
Софокломъ!...“

„О Ричардсонъ, я позволю себѣ сказать, что самая достовѣрная
изъ исторій наполнена вымыслами, а твои романы полны истины.
Исторія изображаетъ нѣсколькихъ индивидуумовъ, а ты изобража-
ешь человѣческій родъ; исторія приписываетъ нѣсколькимъ инди-
видуумамъ то, чего они не говорили и не дѣлали, а все, что ты
приписываешь человѣку, онъ и говорилъ и дѣлалъ... Я осмѣлюсь
сказать, что исторія нерѣдко бываетъ похожа на дурной романъ,
а романъ въ томъ видѣ, какъ ты его создалъ, есть хорошая исто-
рія. О живописецъ природы! ты тотъ, кто никогда не лжешь!“

„Вы обвиняете Ричардсона въ растянутости! Значить, вы забы-
ли, какъ много нужно заботъ, хлопотъ и усилий, чтобы съ успѣ-
хомъ довести до конца самое скромное предпріятіе, чтобы окон-
чить процессъ, устроить бракосочетаніе, примирить поссоривших-
ся. Вы можете думать объ этихъ подробностяхъ все что вамъ угод-
но, но для меня онѣ всегда будутъ интересны, если онѣ истины,
если онѣ вызываютъ наружу страсти, если онѣ изображаютъ ха-
рактеры. Вы говорите что онѣ постоянно повторяются и что ихъ
можно видѣть каждый день! Вы ошибаетесь; это именно то, что
происходитъ каждый день передъ вашими глазами, но чего вы ни-
когда не примѣчаете.“

Въ романѣ Ричардсона, говорить онъ, точно такъ какъ и въ
свѣтѣ, люди дѣлятся на два класса,—на тѣхъ, кто блаженствуетъ,
и на тѣхъ, кто страдаетъ, но на этихъ послѣднихъ Ричардсонъ
всегда сосредоточиваетъ вниманіе читателя. Я обязанъ Ричардсо-
ну,—восклицаетъ онъ,—тѣмъ, что «я стала сильнѣе любить мо-
ихъ собратьевъ и охотнѣе исполнять мои обязанности, что дурные
люди никогда не возбуждали во мнѣ иного чувства кромѣ жалости,
что я стала питать болѣе глубокое состраданіе къ несчастнымъ и
болѣеуваженія къ добрымъ людямъ, что я стала болѣе воздержанъ
въ пользованіи тѣмъ что имѣю и болѣе равнодушна къ тому что
будетъ, что я стала болѣе прежнаго пренебрегать жизнью и любить
добротѣль.» Произведенія Ричардсона были для него пробнымъ
камнемъ; кто не восхищался ими, тотъ, по его мнѣнію, былъ отпѣ-
тый человѣкъ. Однако, не смотря на свой безграничный восторгъ,

Дидро сознавался, что число читателей, которые будут въ состояніи оцѣнить всѣ достоинства этихъ произведеній, никогда не будетъ велико, такъ какъ для этого нуженъ слишкомъ строгій вкусъ, а также потому, что тамъ событія слишкомъ разнообразны, взаимныя отношенія слишкомъ запутаны, ихъ развитіе слишкомъ сложно, многое искусственно приложено, и слишкомъ много дѣйствующихъ лицъ! «О Ричардсонъ, хотя въ теченіи твоей жизни ты не пользовался той славой, которой ты достоинъ, какъ будешь ты великъ въ глазахъ нашихъ внуковъ, когда они будутъ смотрѣть на тебя на такомъ же разстояніи, на какомъ мы смотримъ теперь на Гомера! У кого найдется тогда достаточно смѣлости, чтобы выбросить хоть одну строчку изъ твоего великаго произведенія?»¹⁾ Однако изъ числа немногихъ людей нашего времени, читавшихъ *Клариссу*, большинство познакомилось съ этимъ романомъ изъ сокращенного его изданія въ трехъ томахъ, появившагося нѣсколько лѣтъ тому назадъ.

Докторъ Джонсонъ сдѣлалъ очень вѣрную критическую оцѣнку этого романа въ отвѣтъ на чье то замѣчаніе, что Ричардсонъ утомителенъ. «Если вы будете читать Ричардсона», — сказалъ онъ, — «ради интереса разсказа, ваше нетерпѣніе дойдетъ до того, что вы будете готовы повѣситься; но вы должны читать его ради описанныхъ въ немъ чувствъ и должны видѣть въ разсказѣ лишь подводъ для описанія чувствъ». Именно такъ и поступали всѣ въ половинѣ восемнадцатаго столѣтія,—и самъ Дидро и парижане. Ихъ трогали и восхищали въ *Клариссе* чувства, точно такъ же какъ чувства были причиной успѣха написаннаго на ихъ собственномъ языкѣ великаго романа, который былъ внушенъ *Клариссой*, и однакожъ былъ такъ съ нею несходъ. Руссо вложилъ въ *Новую Элоизу* такую пламенную страсть, къ какой былъ неспособенъ лондонскій писатель, и прибавилъ къ этому такую красоту окружающаго ландшафта и такое сильное увлеченіе картинами дикой природы, которая не имѣли никакого сходства съ впечатлѣніями, производимыми на читателя описаніемъ внутренности дома въ Гампстедѣ и тамошней аллеи. Но и въ томъ и въ другомъ романѣ было одно и тоже чувство, одно и тоже обожаніе *прекрасной души*; именно эта *belle âme* очаровывала то странное общество, въ которомъ неумолимая логика и сухая антирелигіозная діалектика шли рука объ руку съ самой нѣжной и восторженной чувствительностью.²⁾ Странно, что Дидро ничего не говорить о знаменитомъ

¹⁾ *Eloge de Richardson*, V. 212—227.

²⁾ Отъ выраженія *belle âme* произошло выраженіе *Schönes Seelen*, играющее такую роль въ немецкой литературѣ и жизни. Читатель найдетъ

романѣ Руссо; мы можемъ объяснить это умоляю толькъ тѣмъ, что Дидро относился съ презрѣніемъ къ личной нравственной испорченности и къ кажущейся неискренности автора *Новой Элоизы*.

И самъ Дидро написалъ романъ, изъ котораго видно, что на него повлиялъ Ричардсоновъ мелочной реализмъ и плаксивый паѳосъ. *Монахиня* (*La Religieuse*) вышла въ свѣтъ лишь въ 1796,— черезъ двѣнадцать лѣтъ послѣ смерти ея автора. Впослѣдствіи она была воспроизведена въ безчисленномъ множествѣ изданій во Франціи и въ Бельгіи и была переведена на англійскій, испанскій и пѣмецкій языки. Она попала въ тонъ господствовавшаго въ ту пору въ умахъ негодованія на нѣкоторые вредные для общества обычай католической церкви. Мы едва ли ошибемся, если скажемъ, что отвратительное изображеніе безнравственной игумены имѣло также нѣкоторую долю вліянія на то, что романъ былъ привлекателенъ для публики.

До какой степени мечтательность и небрежность были въ характерѣ Дидро, до какой степени онъ интересовался дѣломъ ради самого дѣла и былъ равнодушенъ къ тому, что скажутъ, видно изъ того, что его романъ, подобно многимъ другимъ его сочиненіямъ, не выходилъ изъ ящика его письменного стола или по большей мѣрѣ тайно ходилъ по рукамъ между тремя или четырьмя самыми близкими его друзьями. Онъ былъ написанъ около 1760 г. и нѣкоторые остроумные историки усмотрѣли въ немъ сигналъ для великаго крестового похода противъ церкви. А на самомъ дѣлѣ это произведеніе имѣло чисто приватный характеръ и не могло служить сигналомъ для какого либо народнаго движенія. *La Religieuse* безспорно была выраженіемъ отвращенія, которое питала школа Энциклопедистовъ къ безбрачію, къ отреченію отъ свѣта и къ тому, что мушины и женщины заживо погребали себя въ монастыряхъ.

Обстоятельства, при которыхъ былъ написанъ этотъ разсказъ, стоятъ того, чтобы мы сказали о нихъ нѣсколько словъ. Въ числѣ друзей г-жи Эпине, Гrimма и Дидро былъ нѣкій маркизъ де-Круамаръ. Онъ удалился изъ этого кружка и поселился въ своемъ имѣніи въ Нормандіи. Одному изъ покинутыхъ имъ друзей пришла въ голову мысль прибѣгнуть къ забавной хитрости, чтобы заставить его возвратиться въ Парижъ,—именно: увѣрить его, что одна особа женского пола заперта противъ своей воли въ монастырѣ и чтобы спастись оттуда обращается за помощью къ маркизу де-Круамару, мужество и великодушіе котораго всѣмъ известны. Одно приключеніе, случившееся не задолго передъ тѣмъ съ маркизомъ, внушило этотъ планъ дѣйствія и заставляло предполагать, что обманъ удастся.

Дидро сочинилъ письмо отъ воображаемой монахини и заговорщики очень смеялись, читая письма, присланныя въ отвѣтъ благороднымъ и ничего не подозрѣвавшимъ маркизомъ. Наконецъ маркизъ до такой степени заинтересовался монахиней, что было рѣшено не мучить его дольше и извѣстить, что монахиня умерла. Когда маркизъ возвратился въ Парижъ, ему признались, что онъ былъ жертвой мистификаціи; онъ смеялся надъ этой шуткой и дружба его къ членамъ кружка по видимому стала еще болѣе прочной благодаря общей всѣмъ имъ печали о судьбѣ умершей сестры. Но Дидро попался въ разставленную имъ самимъ западню. Его воображеніе, которое онъ расшевелилъ ради шутки, не могло оторваться отъ личности и положенія несчастной монахини. Однажды, когда онъ работалъ надъ этимъ разсказомъ, одинъ изъ его пріятелей, пришедши навѣстить его, засталъ его грустнымъ и въ слезахъ. «Что съ вами случилось?» воскликнулъ пріятель. «Ничего не случилось,» отвѣчалъ Дидро дрожащимъ голосомъ; «я разстроенъ той исторіей, которую описываютъ!» Эта способность интересоваться воображаемыми личностями такъ, какъ мы интересуемся самыми близкими друзьями живущими въ близкомъ отъ насъ сосѣдствѣ; усилилась въ немъ благодаря чтенію Ричардсона. Если бы его знакомые, замѣтивъ на его лицѣ признаки беспокойства и заботливости, спросили его, не боленъ ли онъ или не случилось ли какого нибудь несчастія съ его друзьями, съ его семействомъ, съ его денежными дѣлами, «О друзья мои», отвѣтилъ бы онъ, «вѣдь, Памела, Клариса, Грандисонъ...!» Когда онъ впадалъ въ такое мечтательное настроеніе, онъ на самомъ дѣлѣ жилъ не въ улицѣ Тараннъ, а въ той сфере, гдѣ жили названные герои романовъ. А когда онъ писалъ *La Religieuse* и сестра Сюзанна и сестра Тереза, и игуменья въ Лоншанѣ и вѣтреная игуменья въ Сенъ-Евтропіѣ были въ его глазахъ живыми существами, точно такъ же какъ Кларисса была живымъ существомъ для тѣхъ корреспондентовъ, которые упрашивали Ричардсона пощадить ея честь, не доводить ее до смерти, заставить Ловеласа жениться на ней или никакимъ образомъ не дозволять Ловеласу сдѣлаться ея мужемъ.

Монахиня—это исторія одной молодой женщины, которую родные заставили вступить въ монастырь и которая описывается—съ такой энергіей и съ такой реальностью, какія едва ли можно найти въ другихъ произведеніяхъ Дидро,—отвратительныя стороны монастырской жизни и различные типы суевѣрія, тиранніи и безнравственности, порождаемые монашеской жизнью. Однако у Дидро было такъ много генія, что онъ не былъ способенъ властъ преувеличенія, свойственные болѣе вульгарнымъ писателямъ, нападавшимъ на мужские и женские монастыри. Если онъ и началъ писать свой романъ съ цѣллю напастъ на вредную и основанную на суевѣріи систему,

которая уродовала человѣческую жизнь, все таки не подлежитъ сомнѣнію, что онъ продолжалъ писать только потому, что заинтересовался созданными имъ личностями. Дидро сдѣлался соціальнымъ реформаторомъ случайно, а по своимъ впечатлѣніямъ онъ былъ настоящій ученый моралистъ, проникнутый духомъ наблюдательности и изслѣдований на опытѣ; онъ не останавливался ни передъ какимъ разоблаченіемъ истины, и не находилъ въ человѣческой патологіи ничего столь отталкивающаго, что могло бы заставить его отказаться отъ изслѣдованія. Впрочемъ въ *Монахинѣ* вовсе нѣтъ искусственныхъ бурныхъ сценъ, встрѣчающихся у писателей новѣйшей французской школы, которая любить нравственные болѣзни ради ихъ самихъ. Въ дѣйствіи у него нѣтъ ничего невозможнаго, и всѣ типы достаточно человѣчны и правдоподобны. Рѣзкие реалистические штрихи происходятъ отъ сильной иллюзіи самого автора и естественно сообщаютъ уму читателя нѣкоторую долю той же самой иллюзіи.

Теченіе жизни въ этихъ оригиналныхъ обществахъ изображено вполнѣ вѣрно съ своей скучой, съ своими мелочными заботами, съ своей постоянной ходьбой взадъ и впередъ, съ своими раздорами, и съ своимъ чисто механическимъ исполненіемъ всего, что относится къ сферѣ духовной.

Первые минуты прошли во взаимныхъ любезностяхъ, въ распросахъ о домѣ, который я покинула, въ стараніяхъ узнать мой характеръ, мои наклонности, мои вкусы и мой умственный способности; васъ изслѣдуютъ со всѣхъ сторонъ; это—цѣлый рядъ маленькихъ ловушекъ, которыхъ разставляютъ передъ вами и при помощи которыхъ дѣлаются самые основательные выводы. Напримѣръ, скажутъ какое нибудь не совсѣмъ приличное слово и смотрятъ на васъ; начнутъ рассказывать какую нибудь исторію и ждутъ, будете ли вы просить продолженія разсказа, или останетесь равнодушны; если вы выскажете какую нибудь самую простую мысль, ее найдутъ прелестной, хотя и очень хорошо знаютъ, что она не стоитъ такой похвалы; васъ хвалятъ или хулятъ съ задней мыслию; стараются добраться до вашихъ самыхъ сокровенныхъ мыслей; васъ спрашиваютъ, что вы читали; вамъ предлагаются книги и священнаго и мірскаго содержанія и наблюдаютъ, что вы выберете; васъ вовлекаютъ въ легкія нарушенія установленныхъ правилъ; васъ посвящаютъ въ тайны и слегка намекаютъ на слабости настоятельницы; всякое ваше слово запоминается и пересказывается; то оставляютъ васъ въ покоѣ, то снова ищутъ вашего общества; стараются разузнать, что вы думаете о нравственности, о благочестіи, о свѣтѣ, о религіи, о монашеской жизни, однимъ словомъ обо всемъ. Въ результатѣ этихъ безпрестанно возобновляемыхъ изслѣдованій является эпитетъ, который характеризуетъ васъ и который прибавляютъ

въ видѣ прозвища къ тому имени, которое вы носите; такъ напри-
мѣръ меня прозвали святой Сюзанной Сдержанной“¹⁾.

Всѣ эти личности кажутся читателю живыми. Самая выдающая-
ся между ними безспорно та, которая самая непріятная, самая от-
вратительная и пожалуй даже самая гнусная. Мы выносимъ ее
только по неволѣ, точно такъ какъ при посѣщеніи больницы для
умалишенныхъ мы по неволѣ проходимъ черезъ комнату, гдѣ помѣ-
щаются страждущіе падучей болѣзни. Она внушаетъ вамъ страхъ,
она наводитъ на васъ ужасъ, она преслѣдуєтъ васъ и днемъ и
ночью, она оставляетъ что то въ родѣ грязнаго пятна на вашей
памяти. Человѣку здоровому, человѣку нравственно чистому, человѣ-
ку мало размышляющему никогда и не снилось, что могутъ су-
ществовать такие характеры. Эта портретъ—не произведение искус-
ства, а копія съ натуры; но онъ—плодъ знанія, и это освобождаетъ
критика отъ необходимости отыскивать въ своемъ словарѣ высокопарные
выраженія для порицанія его нравственныхъ сторонъ. Епро-
чемъ все равно, будь это произведение искусства, или плодъ знанія,
нельзя не задаться вопросомъ, почему Дидро взялся за такую тя-
желую работу. На это есть только одинъ отвѣтъ: потому что для
его любознательнаго ума были неотразимо привлекательны порочныя
стороны человѣческой натуры,—тѣ самыя постыдныя ея стороны,
которые устояли въ нѣкоторыхъ характерахъ противъ давленія,
слаживавшаго ихъ въ цивилизованныхъ обществахъ въ теченіи мно-
гихъ поколѣній. Весь разсказъ обнаруживаетъ даровитость автора;
въ немъ много фразъ, носящихъ на себѣ отпечатокъ гениальности;
а благодарядержанной горячности онъ кажется еще болѣе энер-
гичнымъ. Но въ немъ, къ сожалѣнію, нѣть элементовъ нѣжности,
красоты и симпатіи. Если кому случится на секунду заинтересо-
ваться имъ, тотъ не оторвется отъ него; но никто не пожелаетъ
его перечесть и не будетъ имѣть къ нему сочувствія.

Если Ричардсонъ создалъ цѣлую школу во Франціи, то Стернъ
создалъ другую школу. Самъ авторъ *Тристрама Шэнди* былъ ни-
чѣмъ инымъ какъ послѣдователемъ одного изъ величайшихъ фран-
цузскихъ самобытныхъ писателей,—и при томъ послѣдователемъ послѣ
большаго промежутка времени. Даже тѣ, которые всего болѣе восхи-
щаются «игривостью, пріятностью и фантастичностью произведеній,
написанныхъ въ одномъ жанрѣ съ Тристрамомъ Шэнди», не могутъ
не сознаться, что произведенія Рабелэ гораздо выше плодовитостью
идей, силой, разнообразiemъ нелѣпыхъ выдумокъ, живостью красокъ
и богатствомъ содержанія. Однако они могутъ съ основаніемъ утвер-

¹⁾ La Religieuse. Оeuv. V. 110.

ждать, что у Стерна были другія менѣе крупныя достоинства,—а именно простота, нѣжность, ясность и изящество. Именно эти-то качества и пришлись французамъ по-вкусу. Стернъ посѣтилъ Парижъ въ 1762; онъ нашолъ, что *Тристрамъ Шэнди* былъ тамъ такъ же хорошо известенъ какъ въ Лондонѣ и тотчасъ былъ заваленъ приглашеніями на обѣды и ужины. Между прочимъ онъ бывалъ на обѣдахъ и ужинахъ у Гольбаха; тамъ онъ познакомился съ Дидро и вѣроятно тамъ-же пришелъ къ убѣждению, что «хотя французы много шумятъ по поводу слова *чувство*, но не имѣютъ яснаго понятія о томъ, что оно значитъ»¹⁾. *Сентиментальная поездка по Франціи и Италии* вышла въ свѣтъ въ 1768 и была тотчасъ признана критиками обѣихъ странъ за неподражаемое произведеніе. Въ томъ нѣть ничего удивительнаго, что французамъ восемнадцатаго столѣтія пришлся по-сердцу очеркъ, который былъ написанъ такимъ изящнымъ языккомъ, и въ которомъ сверхъ того было столько добродушія, простоты, гуманности и нѣжности чувствъ. «Я писалъ его»,—сказалъ Стернъ,—«съ цѣллю внушить людямъ болѣе сильную любовь къ свѣту и къ ихъ собратьямъ, оттого-то онъ и вертится на такихъ нѣжныхъ чувствахъ и привязанностяхъ, которыя способствуютъ усиленію этой любви»²⁾. Это направление вполнѣ согласовалось съ господствовавшими въ Парижѣ вкусами и въ особенности съ личными чувствами самого Дидро. Во Франціи было много подражаній *Сентиментальной поездкѣ*³⁾, но изъ нихъ только одно не умерло въ общемъ мнѣніи,—если дѣйствительно можно сказать, что оно не умерло подобно всѣмъ другимъ,—а именно произведеніе Дидро *Jacques le Fataliste*.

Этотъ романъ былъ написанъ, какъ кажется, около того времени (1773), когда Дидро предпринялъ поѣздку въ Голландію и въ С. Петербургъ, о которой мы будемъ говорить подробно въ одной изъ слѣдующихъ главъ. Его исторія почти такая же странная, какъ и исторія *Племянника г-на Рамо*: Одинъ изъ современниковъ Дидро говоритъ о нѣсколькихъ копіяхъ, находившихся въ различныхъ частяхъ Германіи и мы можемъ предположить, что эти копіи проникли туда отъ друзей, которыхъ пріобрѣлъ себѣ въ Голландіи Дидро, а нѣкоторыя изъ нихъ безъ сомнѣнія послалъ туда Гrimmъ своимъ подписчикамъ. Первый отрывокъ этого романа, появившійся въ печати, былъ переводъ одного изъ самыхъ выдающихся въ немъ эпизодовъ, сдѣланный въ 1785 г. Шиллеромъ. Это служитъ новымъ доказательствомъ того, какъ лучшіе умы Германіи спѣшили изучать

¹⁾ Письма Стерна 23 мая 1765.

²⁾ 12 нояб. 1767.

³⁾ Напримѣръ *Le Voyageur Sentimental* Верна (Гrimma Согг. Lit. XIII. 227).

и распространять самые оригинальные продукты французской интелигенции и французской неустрешимости. Дидро вмѣстѣ съ Руссо, а также вмѣстѣ съ Ричардсономъ, Стерномъ и Гольдсмитомъ, стоялъ въ передовыхъ рядахъ тѣхъ, кто раздулъ въ Германіи пламя сентиментализма и въ хорошихъ и въ дурныхъ его формахъ. Именно въ Германіи появился въ печати въ 1792 г. первый полный текстъ всего романа *Jacques le Fataliste*. Только черезъ четыре года послѣ того французы достали копію съ оригинала. Они были эдакъ обязаны великолѣпію принца Генриха Пруссаго, брата Фридриха Великаго; онъ подарилъ эту копію *Институту*.

«Здѣсь ходить по рукамъ», — писалъ Гёте въ 1780, въ то время какъ Дидро еще былъ живъ, — «рукопись Дидро, озаглавленная *Jacques le Fataliste et son Maître*, которая по истинѣ первоклассное произведеніе; это — очень тонкое и изящное кушанье, приготовленное и положенное на блюдо съ большимъ искусствомъ, точно будто оно предназначено для какого нибудь идола. Я самъ занялъ мѣсто этого идола и въ теченіи шести часовъ безъ перерыва глоталъ всѣ кушанья въ томъ порядкѣ и согласно съ тѣми цѣлями, какія указалъ этотъ превосходный поваръ и *maître d'hotel*»¹⁾). Даѣтъ Гёте говорить, что когда приходившіе къ нему читали этотъ романъ, однимъ нравился въ немъ всего болѣе одинъ разсказъ, а другимъ — другой. Вообще мы склонны думать, что между современными намъ читателями не много найдется такихъ, у которыхъ аппетитъ такъ же неразборчивъ, какъ у Гёте. Читая этотъ романъ, невольно вспоминаешь о блестящемъ, неистощимомъ остроуміи, о живости и лукавой заманчивости *Кандида*, и жалѣешь, что у автора нѣтъ той непринужденности, той простоты и той легкости штриха, которыми отличается *Сентиментальная поездка*. У Дидро была немецкая тяжеловатость. Можетъ быть это происходило отъ того, что у него было слишкомъ много честности и что онъ, вдумываясь слишкомъ глубоко, чувствовалъ на себѣ тяжелое бремя мировыхъ проблемъ. Онъ не былъ въ состояніи достаточно эманципироваться отъ волненія, въ которое вовлекался своими собственными симпатіями. При чтеніи иныхъ страницъ романа *Jacques le Fataliste* и другихъ его произведеній, намъ невольно приходитъ на память собственное утвержденіе ихъ автора, что избытокъ чувствительности дѣлаетъ посредственного актера. То же правило вполнѣ примѣнено и къ артистамъ. Дидро никогда не писалъ такъ, чтобы можно было считать его умъ вполнѣ свободнымъ — и можетъ быть действительно его умъ никогда не былъ свободенъ. Для того, чтобы мы находили наслажденіе въ подобной смѣлой выставкѣ всего, что

1) Цитировано у Розенкранца, II. 326.

странно и фантастично, и въ подобномъ пренебреженіи ко всему, что здраво, посльдовательно и рационально, надо чтобы мы не чувствовали никакого стыдненія, надо чтобы мы не сознавали даже возможности того, чтобы автору указаны были какія либо границы или чтобы на него была наложена сдерживающая узда. Надо, чтобы читателю казалось, что напитокъ, который онъ пьетъ, течеть изъ неистощимаго источника неудержимаго смѣха, ироніи и причудливости. Цѣльность ироническихъ выходокъ есть такое рѣдкое искусство, что въ исторіи литературы едва ли найдется пол-дюжины писателей, обладавшихъ имъ вполнѣ, — едва ли найдется кто нибудь кромѣ Аристофана, Рабелэ и Шекспира. Какъ ни превосходно написанъ *Кандидъ*, въ немъ нерѣдко проглядываетъ чувство злобы и какъ ни превосходно написанъ *Тристрамъ Шэнди*, въ немъ все таки есть проблески самосознанія; но ни злоба, ни самосознаніе не принадлежать къ числу главныхъ боговъ шутливой ироніи. У Сервантеса и Мольера, этихъ великихъ геніевъ самого тонкаго закала, вовсе неѣтъ смѣлаго шутовства такихъ сценъ, какъ сцена между принцемъ Генрихомъ и зубнымъ врачомъ или какъ нелѣпая сумасбродства *Веселыхъ виндзорскихъ женищинъ*; у нихъ еще менѣе того бѣшеваго сумасбродства, которое находимъ въ комедіи *Птицы* или въ комедіи *Миръ*. Они пишутъ совсѣмъ не въ томъ тонѣ, въ какомъ былъ описанъ Пантагрюэль. Слѣдуетъ также замѣтить, что большинство критиковъ вѣроятно найдетъ, что въ произведеніяхъ Свифта замѣтно то скрытое, то явное ожесточеніе, которое лишаетъ его права стоять въ рядахъ великихъ мастеровъ вольной ничѣмъ не стѣсняемой фарсы. А Дидро, во всякомъ случаѣ, долженъ быть причисленъ ко второму разряду тѣхъ, кто пытался установить мѣру для причудливыхъ зигзаговъ буфонады. Искренній сантименталистъ не способенъ предаваться дикому разгулу своей фантазіи.

Мы уже замѣтили, что Дидро подражалъ двумъ знаменитымъ англійскимъ писателямъ, — и это замѣчаніе въ нѣкоторомъ смыслѣ вполнѣ вѣрно. Въ романѣ *Jacques le Fataliste* цѣлые сен-тенции выписаны слово въ слово изъ *Тристрама Шэнди*. Однако слово подражаніе не вполнѣ отвѣчаетъ тому способу, которымъ Дидро обнаруживалъ впечатлѣніе, произведенное на него какимъ либо писателемъ. *Монахиня* не была бы написана, если бы не было Ричардсона, и *Jacques le Fataliste* не былъ бы написанъ, еслибы не было Стерна; тѣмъ не менѣе романъ Дидро не имѣеть существеннаго сходства съ романами этихъ двухъ знаменитыхъ его современниковъ. Они навели его на мысль о способѣ изложенія и внушили ему то чувство, которое послужило для него точкой отправленія, а онъ вдумывался во все это до тѣхъ поръ, пока изъ

сгустившагося тумана его фантазіи не стали показываться фигуры его собственного созданія и пока онъ не стали двигаться въ томъ направлениі, которое было указано имъ самимъ. Точно такимъ путемъ онъ подражалъ Гольдони, когда писалъ *Незаконного Сына*. Во всякомъ случаѣ можно положительно утверждать, что ничто прошедшее сквозь его умъ не пріобрѣтало отпечатка веселости. Въ немъ была такъ сильна склонность къ роли проповѣдника, что онъ не могъ быть настоящимъ юмористомъ.

Въ романѣ *Jacques le Fataliste* вовсе не замѣтно того дара истиннаго творчества, который создалъ такія личности, какъ Тримъ, какъ дядя Тоби, какъ Шэнди. Хозяинъ Жака ничто иное какъ манекентъ, а самъ Жакъ, однообразно начинающій всякий разговоръ фразой «*Il était écrit là haut*, не похожъ на реальную личность; у него вовсе нѣтъ той естественности, которая такъ привлекательна въ капралѣ Тримѣ; въ немъ еще труднѣе отыскать какую либо черту того глубокаго юмора, которымъ отличался бессмертный Санхо. Этотъ романъ есть рядъ разказовъ, а вовсе не та изящная смѣсь паѳоса, приятной ироніи и непринужденного буфонства, которую находимъ у Стерна; а самые разказы большею частию или пошли или непристойны. Между ними есть только одно исключение. Самый длинный и самый обработанный изъ нихъ,— тотъ самый, который былъ переведенъ Шиллеромъ,—скорѣе похожъ на одинъ изъ новѣйшихъ французскихъ разказовъ, нежели на какое либо произведение восемнадцатаго столѣтія. Въ описаніи похожденій г-жи де-Поммерэ и маркиза д'Арси есть грубые зачатки того жанра, который довели до совершенства Федо и Флоберъ. Маркизъ былъ любовникомъ г-жи де-Поммерэ; она надѣла ему и скоро имѣла случай убѣдиться въ этой горькой истинѣ. Покорность своей судьбы не была въ числѣ ея добродѣтелей; отъ гибѣва и отъ тоски она придумала сложный планъ отмщенія, который и привела въ исполненіе съ замѣчательными упорствомъ и смѣлостью. Этотъ планъ заключался въ томъ, чтобы съ помощью искусствъ подстрекательствъ склонить его къ вступленію въ бракъ съ такой женщиной, которую онъ считалъ ангеломъ невинности; а на другой день послѣ его свадьбы г-жа де-Поммерэ съ торжествомъ доказала ему, что онъ женился на такой особѣ, прошедшая жизнь которой была открыто распутная. Эта грустная исторія, изъ которой Бальзакъ сдѣлалъ бы образцовое произведение, разсказана довольно завлекательно, а юмористическая сторона разказа скучна менѣе обыкновеннаго. Въ этомъ разказѣ по крайней мѣрѣ есть смыслъ, есть цѣль, есть особый характеръ. Нельзя сказать, чтобы это была путаница безъ всякаго аромата и безъ соли, и нельзя сказать чтобы здѣсь была такая же прогоркость и такая же грубоватость, какъ на полу-

вийнъ страницъ романа. Дидро дѣлаетъ предположеніе, что кто то обратился къ нему съ слѣдующими словами: «Вашъ Жакъ ничто иное какъ безвкусный наборъ фактовъ, частію реальныхъ, частію вымышенныхъ, изложенныхъ безъ всякаго изящества, и разбросанныхъ безъ всякаго порядка. Какимъ образомъ человѣкъ съ умомъ и правилами, гордящійся своей философіей, можетъ находить удовольствіе въ придумываніи такихъ сальныхъ исторій?»¹⁾ Это именно тотъ вопросъ, который должна дѣлать новѣйшая критика. У Рабелэ по меньшей мѣрѣ есть могучій смѣхъ; у Монтэня, когда онъ берется за подобные сюжеты, есть наивность. А Дидро точно будто даже самъ не находилъ удовольствія въ описываемыхъ имъ грубыхъ сценахъ; эти сцены не имѣютъ даже того плохаго оправданія, что онѣ писались по вдохновенію и выливались изъ полноты сердца автора. «Читатель», — говоритъ онъ, — «я забавляюсь описывая совершаемыя вами безразсудства; ваши безразсудства возбуждаютъ во мнѣ смѣхъ, а моя книга вліяетъ на ваше расположение духа. Говоря откровенно, я полагаю что изъ насъ двоихъ не я — самый порочный человѣкъ». Къ несчастію онъ не производитъ веселаго впечатлѣнія на своихъ читателей, и если его книга вліяетъ на наше расположение духа, она вліяетъ не сатирой на человѣческий родъ, а отсутствиемъ мѣткости и отсутствиемъ какъ нравственного такъ и эстетического смысла. Немногіе мастера этого жанра умѣли соединять разнородные элементы въ одно цѣлое, если не благодаря какой нибудь глубоко положенной въ основу мысли, то по меньшей мѣрѣ благодаря постоянному приливу нѣжной чувствительности. Но въ романѣ *Jacques le Fataliste* нѣтъ ни того ни другаго.

Критикъ, отзывающійся неодобрительно объ этомъ романѣ, натурально долженъ приходить въ недоумѣніе въ виду того факта, что романъ читался съ наслажденіемъ такими людьми, какъ Гёте и Шиллеръ. Но въ сущности вовсе не трудно понять, какая была тому причина. Въ романѣ Дидро, точно также какъ и во всѣхъ другихъ его произведеніяхъ, рѣшительно отвергается тотъ безжизненный формализмъ, который долго лежалъ тяжелымъ бременемъ и на искусство и на образъ жизни. Смѣлость и даже нѣкоторыя вольности автора, его презрѣніе къ искусственнымъ правиламъ, тотъ фактъ, что онъ описывалъ обыкновенные личности, грубая влеченія и грубый образъ жизни, — все это дѣлало изъ его романа орудіе для уничтоженія тѣхъ жидкихъ и тупоумныхъ правилъ, которыхъ на всѣхъ налагали мучительныя стѣсненія и не дозволяли артисту или философу изображать реальную жизнь человѣка на землѣ. Когда мы вспоминаемъ, какова была въ ту пору европейская литература,

¹⁾ VI. 221—2.

мы перестаемъ удивляться тому, что Гете въ теченіе цѣлыхъ шести часовъ не могъ оторваться отъ книги, которую въ наше время прочтеть до конца только тотъ, кого принудить къ этому необходимость. Грубость романа не оставляла пятенъ на людяхъ съ обширнымъ и здравымъ умомъ, а интересъ, который возбуждали оригинальности Дидро, служилъ стимуломъ для болѣе удачной оригинальности въ людяхъ съ болѣе дисциплинированными дарованіями, и—позволимъ себѣ прибавить—съ болѣе поэтическими дарованіями. Отсутствіе поэзіи въ *Жакѣ* и было причиной того, что содержащаяся въ немъ иронія такъ тяжеловата. Мы безропотно дозволяемъ увлекать насъ въ преисподнюю только тому, кто также способенъ и возносить насъ къ небесамъ на крыльяхъ увлекательной фантазіи. Даже у Рабелля есть поэтические моменты, напримѣръ когда онъ описываетъ Купидона сложившаго свое оружіе передъ трудолюбивыми и невозмутимо спокойными Музами. Достаточно одной увлекательной картины,—какъ напримѣръ генія воспоминаній у Стерна, —чтобъ заставить насъ примириться съ многими грязными страницами. Но въ романѣ *Jacques le Fataliste* Дидро никогда ни на одну минуту не возводить взоровъ къ небесамъ, а его уши никогда не прислушиваются къ отголоскамъ ни страха, ни надежды, ни даже благороднаго отчаянія. Онъ съ грубымъ чувствомъ самодовольства ни на минуту не отрываетъ читателя отъ сферы грязной чувственности. Старая французская *fatrasie* занимаетъ свое мѣсто въ литературѣ, но къ ней невозможно возвращаться въ такія эпохи, когда масса нравственныхъ заботъ стала осаждать человѣческую душу. То, что ново, всегда находитъ радушный приемъ у любителей изящнаго, но при томъ условіи, чтобы оно приносило съ собою свое оправданіе. *Jacques* обладаетъ достоинствомъ новизны; это, по выражению Гете, оригинально приготовленное кушанье, но въ немъ недос таетъ щепотки соли и горсточки ароматическихъ травъ.

ГЛАВА XI.

И с к у с с т в о .

Въ 1759 г. Дидро написалъ для Гримма свою первую критическую статью о картинахъ такъ называемаго *Salon*—художественной выставки. Въ началѣ царствованія Лудовика XV эти выставки устраивались ежегодно, точно такъ какъ и въ наше время. Но съ 1751 онъ устраивались только одинъ разъ въ каждые два года. Дидро оставилъ намъ свои замѣтки о каждомъ *Салонѣ* съ 1759 по 1781, за исключеніемъ лишь выставки происходившей въ 1773, въ то время какъ онъ совершалъ свою поѣзду въ Голландію и Россію.

Мы уже видѣли, какъ Гриммъ заставлялъ Дидро работать вмѣсто себя. Девять *Salons* были однимъ изъ результатовъ этой добровольно принятой на себя обязанности и едва-ли не единственою частью произведеній Дидро, пользовавшеюся въ нѣкоторой мѣрѣ общею популярностью. Карлейль отзываетъся о нихъ съ большими восторгомъ: «Благодаря своей неподражаемой ясности, они заново рисуютъ для настѣ картину такъ, что мы можемъ видѣть ее и можемъ судить о ней; благодаря ихъ пылкой увлекательности, изобрѣтательности и настоящей артистической геніальности, для которыхъ нужна лишь пишущая рука, они,—за немногими исключеніями на нѣмецкомъ языкѣ,—представляютъ единственную извѣстную намъ критику произведеній живописи, которую стоитъ читать»¹⁾. Я люблю живопись только въ поэзіи, сказала обращаясь къ Дидро г-жа Неккеръ, и именно въ поэзіи вы отыскали секретъ, какъ слѣдуетъ описывать даже самыя посредственные произведения нашихъ новѣйшихъ живописцевъ: То была бы по истинѣ царская роскошь, писалъ А. В.

¹⁾ *Essays*, IV. 303. (Изд. 1869).

Шлегель, еслибы у кого нибудь была коллекція картинъ и при ней описание этихъ картинъ, сдѣланное рукою Дидро.

Въ манерѣ Дидро относиться къ данному сюжету есть новизна, живость, рвение, искренность и проницательность, едва ли не единственная въ своемъ родѣ во всей исторіи критики. Когда онъ берется за дѣло, онъ точно будто всей душой и безъ всякаго принужденія приступаетъ къ самой веселой и привлекательной работѣ. Вся его личность погружается въ эту работу, которая, повидимому, есть неистощимый источникъ радостей,—а его радости заразительны. Его критика пробуждаетъ въ читателѣ фантазію. Мы не только видимъ передъ собой картину, но и слышимъ собственный голосъ Дидро въ восторженныхъ похвалахъ и въ взрывахъ пылкаго гнѣва. Въ его критическихъ статьяхъ есть законченность и почти вовсе неѣть свойственной мелкимъ знатокамъ искусства нерѣшительности и склонности къ насмѣшкамъ. По легкости языка, по одушевленію, по плодовитости идей, и по изяществу импровизаций эти статьи по истинѣ не имѣютъ себѣ равныхъ. Въ нихъ есть *interpretus animi et quaedam artis libido*. Ихъ увлекательность и развязность можетъ быть отчасти были результатомъ того, что онъ писалъ ихъ не для публики. Его слогъ не примѣнялся къ вкусамъ многочисленныхъ неизвѣстныхъ ему читателей,—чѣмъ и объясняется отсутствіе всякой натяжки въ его литературныхъ приемахъ. Но положительными причинами успѣха были особенности личного характера Дидро. И скептицизмъ, и догматизмъ, и дialectika и всѣ другія стороны многообразной философской дѣятельности, къ которымъ чувствовалъ влеченіе Дидро, или совершенно откладывались въ сторону или отодвигались на второй планъ и онъ, ничѣмъ не стѣсняясь, предавался наслажденію тѣми произведеніями фантазіи, какія доставляло ему современное искусство. Дидро былъ въ ту пору едва ли не единственный писатель, способный при случаѣ возвышаться надъ господствующимъ духомъ эпохи и на время забывать о великой борбѣ между философами и церковью. Никто кромѣ Дидро не былъ способенъ до того увлечься картиной, чтобы сдѣлать слѣдующее признаніе:

„Нельзіе ригористы не понимаютъ, какое впечатлѣніе производить на народъ вѣшнія церковныя церемоніи; они вѣроятно никогда не видали, какъ силенъ восторгъ толпы при видѣ процессій въ день праздника *Fête Dieu*,—восторгъ, который иногда овладѣваетъ и мною. Я никогда не могъ видѣть этого ддяяного ряда священниковъ въ ихъ облаченіяхъ, этихъ юныхъ церковныхъ прислужниковъ въ бѣлыхъ одѣяніяхъ съ широкими синими поясами, разбрасывающіхъ по землѣ цветы передъ Св. Дарами, этой толпы идущей спреди и сзади духовенства, погруженной въ религіозное молчаніе и

почтительно преклоняющей внизъ голову; я никогда не могъ слышать этого серьознаго и трогательнаго пѣнія, которое начинается духовенствомъ и которому горячо вторятъ безчисленные голоса мушинъ, женшинъ, дѣвочекъ и лѣтей, — не будучи растроганнымъ до глубины сердца и безъ слезъ на глазахъ. Во всемъ этомъ есть что-то величественное, торжественное, мрачное и грустное”.

Такимъ образомъ, открывая въ авторѣ романа *Jacques le Fataliste* и въ самомъ центрѣ атеистической группы зачатки религіозной реакціи, мы завершаемъ рядъ фактovъ, свидѣтельствующихъ о томъ, въ какой мѣрѣ шаткость была въ характерѣ Дидро. А читая его разсказъ о томъ, какъ онъ впалъ въ такое душевное настроение, мы понимаемъ, почему онъ былъ такимъ великимъ и такимъ поэтическимъ критикомъ, потому что видимъ съ какой искренностью, съ какой живостью, съ какимъ глубокимъ увлечениемъ онъ воспринималъ впечатлѣнія цвѣтовъ, звуковъ, паѳоса человѣческихъ влеченій и торжественныхъ народныхъ сборищъ.

Франція долго господствовала надъ сферой критики въ ея литературномъ смыслѣ. Въ этой сфере у ней никогда не было и до сихъ поръ нѣтъ серьозныхъ соперниковъ. Въ области исторической критики Германія обнаружила великія, свойственные ей одной, оригинальныя дарованія. Въ критикѣ искусствъ она можетъ назвать по меньшей мѣрѣ трехъ выдающихся людей; но помимо того, что касается исторіи, большинство новѣйшихъ германскихъ эстетиковъ до такой степени погрузилось въ туманъ метафизическихъ теорій, что мракъ окружавшій всѣ эти предметы остается такимъ же густымъ, какимъ былъ прежде. Во Франції зачатки художественной критики были скорѣе литературные, нежели философскіе, и за исключеніемъ ничего нестоющаго краснорѣчія Кузена, и за исключеніемъ писателей, философія которыхъ вдохновлялась Кузеномъ, и за исключеніемъ остроумныхъ парадоксовъ Тэна, Дидро — единственный писатель, сознательно внесшій живой духъ и философскую оцѣнку въ споры о формахъ Прекраснаго, какъ такого предмета, который достоинъ серьезнаго изученія. Если мы возвратимся назадъ къ эпохѣ англійской реставраціи, мы найдемъ что Дюфренсуа написалъ на плохомъ латинскомъ языкѣ поэму объ искусствѣ живописи, которая имѣла честь быть переведенной на хороший англійский языкъ такимъ замѣчательнымъ знатокомъ этого послѣдняго, какъ Драйденъ, и потому была снова переведена Масономъ, другомъ Рейнольда и Грея. Подражанія безсмертному *Посланію къ Пизонамъ* въ примѣненіи къ искусству живописи слѣдовали въ восемнадцатомъ столѣтіи во Франціи одно за другимъ¹⁾). Но это были произведенія ли-

¹⁾ Поэма Ватле *Sur l'Art de peindre*, 1760; — Ле-Мирра *Sur la*

тературный и очень плохія въ литературномъ отношеніи. Аббать Дюбо издалъ въ 1719 г. одинъ томъ *Критическихъ размышилений о Поэзіи и Живописи* и включилъ сюда нѣкоторыя замѣчанія касательно отношенія этихъ искусствъ къ музыке. Лессингъ, какъ известно, пользовался этой книгой, когда писалъ свой *Лаоконъ*, а Дидро включилъ ее въ число тѣхъ произведений, которыхъ рекомендовалъ въ своемъ *Планѣ Университета*¹⁾. Это было самое раннее и, какъ кажется, самое лучшее изъ всѣхъ произведеній по части эстетики, вышедшихъ въ свѣтъ до Лессинга и Дидро. Англійскій пріятель Рафаэля Менгса, Даніэль Веббъ издалъ изслѣдованіе о *Красотахъ Живописи* (1760), по поводу которого Дидро написалъ статью²⁾, но которое, какъ кажется, не имѣло на его умъ никакого вліянія. Іезуитскій патеръ Андрэ написалъ *Очеркъ о Прекрасномъ* (1741), въ которомъ всѣ роды искусства съ точностью распредѣлилъ по отдѣламъ, но позабылъ объяснить, въ чёмъ состоится Прекрасное. Аббать Баттѣ написалъ одинъ томъ, въ которомъ возводилъ всѣ изящныя искусства къ одному принципу и другой томъ, въ которомъ пытался сдѣлать ихъ систематическую классификацію. Первый изъ этихъ двухъ томовъ послужилъ поводомъ для письма Дидро о глухо-нѣмыхъ, и Дидро описываетъ ихъ автора, какъ недурнаго литератора, но какъ человѣка, у которого нѣть ни вкуса, ни критики, ни философіи; *à ces bagatelles près, le plus joli garçon du monde*³⁾.

Образованные путешественники, посѣщавшіе ту страну, гдѣ критика искусства была такъ ничтожна, а произведенія искусства такъ благородны, такъ обильны, такъ великолѣпны, имѣли обыкновеніе описывать то, что видѣли въ Италии. Г-жа Помпадуръ, намѣреваясь сдѣлать своего брата главнымъ директоромъ изящныхъ искусствъ, пригласила знаменитаго въ то время гравера Кошена сопровождать его въ поѣздкѣ въ обѣтованную землю искусствъ, предпринятой съ

Р e i n t u r e, 1769; — Марси Р i c t u r a С a g m e n, 1736. См. сочиненія Дидро. XIII, 17 и пр.

¹⁾ О e c u g e s, III. 486. Гурауеръ, II. 15. См. также превосходное изданіе *Лаокона* Блюмнеромъ, стр. 173.

²⁾ XIII. 33.

³⁾ Гrimma С o g g. Lit. IV. 136. Въ другомъ мѣстѣ той же корреспонденціи, Гrimmъ или Дидро цитируетъ касательно Батте замѣчаніе, которое будеть не лишнимъ цитировать въ виду того, что даже въ наше время появляются официальные поборники ортодоксальныхъ католическихъ понятій. Аббать написалъ книгу о конечныхъ причинахъ. «Я позволю себѣ замѣтить аббату Батте, что когда человѣкъ облекся въ этомъ мѣрѣ въ красный или черный костюмъ съ двумя отворотами или съ жабо, онъ долженъ навсегда отказаться отъ всякихъ философскихъ разсужденій, потому что онъ не можетъ говорить по своему убѣжденію и по своей совѣсти; а писатель недобросовѣстный гдѣмъ болѣе отвратителенъ, что ничто не заставляетъ его прерывать молчаніе». Ibid. VI. 120.

ученой цѣлью. Кошень бытъ въ отсутствіи около двухъ лѣтъ и по возвращенію во Францію издалъ три маленькихъ тома (1758), въ которыхъ наносилъ такие удары нѣкоторымъ знаменитостямъ, что не мало раздражилъ ихъ поклонниковъ. Аббатъ Ришаръ (1766) издалъ шесть очень пошлыхъ томовъ объ Италии; такая критика искусства, какую мы тамъ находимъ, даже не стоитъ, чтобы къ ней относились серьозно. Президентъ де-Броссъ провелъ одинъ годъ въ Италии (1739—40) и писалъ оттуда письма къ друзьямъ, которыхъ и теперь можно читать съ интересомъ и съ удовольствиемъ, благодаря живой характеристикѣ итальянского общества; но заключающіеся въ нихъ критические отзывы о великихъ произведеніяхъ искусства скорѣе приличны образованному свѣтскому человѣку, который принимаетъ многое за неоспоримую истину, нежели философскому критику, который усиленно работаетъ своимъ собственнымъ умомъ. Его книга напоминаетъ намъ, какъ вѣрно было само себѣ восемнадцатое столѣтіе, ненавидя готическую архитектуру,—этотъ символъ и спутникъ мистицизма и того вѣка, который восемнадцатое столѣтіе слѣпо ненавидѣло какъ источникъ всѣхъ тиранническихъ законовъ и жестокихъ суевѣрій, еще лежавшихъ такимъ тяжелымъ гнетомъ на человѣчествѣ. «Вы конечно видѣли церковь св. Марка въ Венеціи», говоритъ де-Броссъ: «*c'est un vilain monsieur, s'il eu fut jamais, massif, sombre et gothique, du plus méchant goût!*»¹⁾.

Дюпати, который былъ такимъ же замѣчательнымъ юристомъ какъ де-Броссъ, который вель знакомство съ Дидро и былъ съ ранней молодости въ дружескихъ сношеніяхъ съ выдающейся личностью позднѣйшаго времени,—несчастнымъ Верньо, путешествовалъ по Италии почти передъ самымъ началомъ революціи (1785) и его письма, — если ихъ читать вслѣдъ за письмами де-Босса, — служить любопытной иллюстраціей той перемѣны, которая произошла въ умахъ людей въ этотъ промежутокъ времени. Онъ уходитъ изъ картинной галлереи, помѣщающейся во Флоренціи во дворцѣ Питти, для того, чтобы погрузиться въ размышленія въ знаменитыхъ садахъ прилегающихъ къ этому дворцу, для того чтобы наслаждаться прелестью свѣта и воздуха, зеленою растеній и пѣніемъ птицъ, и для того чтобы въ концѣ концовъ выразить всѣ вынесенные оттуда впечатлѣнія въ одномъ восторженномъ восклицаніи о громадномъ превосходствѣ природы надъ искусствомъ²⁾.

1) *Lettres Familieres*, I. 174 (Изд. 1869).

2) Дюпати *Lettres sur l'Italie* № 40. Говоря о Римѣ, онъ жалуется, совершенно въ духѣ Дидро, на отсутствие того, что онъ называетъ *le beau et moral*. «On ne trouve ici dans les mœurs ni des hommes privés, ni des hom-

Зная, какое глубокое впечатлѣніе производили на Дидро первоклассныя произведенія живописи и скульптуры, нельзѧ не пожалѣть, что онъ имѣлъ случай видѣть такъ мало образцовыхъ произведеній и нельзѧ не сказать, что это было огромной потерей для литературы. Онъ никогда не совершалъ великаго странствованія въ обѣтованную землю. Онъ никогда не былъ ни въ Венеціи, ни во Флоренціи, ни въ Парижѣ, ни въ Римѣ. Однажды былъ задуманъ планъ поѣздки въ Италию вмѣстѣ съ Гриммомъ и Руссо¹⁾), но онъ не былъ приведенъ въ исполненіе и самые талантливые критики искусства, какихъ когда либо производила Франція, никогда не видали самыхъ великихъ произведеній искусства. Еслибы Дидро посѣтилъ Флоренцію и Римъ, то даже такие великие живописцы, какъ тотъ, который изобразилъ *Послѣдній Судъ* и какъ тотъ, который создалъ великолѣпныя фигуры въ новой ризницѣ въ Санъ-Лоренцо, нашли бы достойного себѣ цѣнителя. Но этому не было суждено случиться. «Рѣдко случается», писалъ Дидро, «чтобъ могъ достигнуть совершенства такой артистъ, который не видалъ Италии, точно такъ-же какъ рѣдко случается, чтобъ кто нибудь сдѣлался великимъ писателемъ или человѣкомъ съ изысканнымъ вѣусомъ, не занявшиись предварительно серьознымъ изученiemъ древнихъ писателей»²⁾). Дидро, какъ видно, въ концѣ концовъ понялъ, чего ему недоставало.

Въ ту пору,—какъ это обыкновенно случается,—французское искусство было отраженiemъ эпохи, воспроизведившимъ всѣ фантастичeskя влечения, какія только возникали въ обществѣ. Когда наступили времена Республики и Имперіи, и два десятилѣтія, проведенные въ битвахъ и осадахъ, искусство предшествовавшаго поколѣнія впало въ такое пренебреженіе, которому едва ли найдется подобное. Картины, доставлявшія наслажденіе всему городскому населенію и обогатившія тѣхъ кто ихъ рисовалъ, гнили на набережныхъ или продавались съ аукціона за нѣсколько су. Фрагонаръ, бывшій любимцемъ своего времени, умеръ въ пренебреженіи и въ нищетѣ. Давидъ и его отвратительное искусство временъ имперіи совершенно затмили то, что приводило въ восторгъ современниковъ Дидро.³⁾ Всякому извѣстно все, въ чёмъ можно упрекнуть французскія произведенія живописи временъ Дидро. Они исполнялись на скорую руку и

mes publics cette moralit , cette biens ance, dont les moeurs fran aises sont pleines. Le beau moral est absolument inconnu. Or, c'est pour atteindre   ce beau moral dans tous les genres que la sensibilit  est la plus tourment e; qu'elle est en proie aux contentions de l' sprit, aux  mulations de l' me... qu'elle pare avec tant de raffinement et de peine, les  crits, les discours, les p ansions, enfin toute la vie publique et priv e».

¹⁾ X. 514., прим.

²⁾ XI 241.

³⁾ Гонкура L'Art au 18- me Si cle, I.

на авось; въ нихъ множество техническихъ недостатковъ въ краскахъ, въ рисункѣ, въ композиції; въ нихъ мысль поверхностна и безсодержательна. Ватто умеръ въ 1721 г., такъ же рано какъ и Рафаэль, но въ теченіе всего восемнадцатаго столѣтія его духъ царилъ надъ французскимъ искусствомъ. Конечно многіе артисты отправлялись въ Римъ, но они мѣняли только небо, а не свое направлѣніе. Ученики академіи возвращались оттуда съ портфелями, наполненными рисунками, въ которыхъ не было ничего, что напоминало бы объ «одинокой матери умершихъ царствъ», ничего, что напоминало бы объ обширныхъ развалинахъ и о великой, мрачной, пустынной Кампани; они привозили съ собой только такие рисунки, въ которыхъ Римъ превращался въ декорацию для театральной сцены или въ панель для будуара. Олимпъ Гомера и Виргilia,— какъ вѣрно было замѣчено,—дѣлается Олимпомъ Овидія. Исчезли сила, величественность и даже благородство, за исключеніемъ ландшафтovъ Вернэ, за которыми пожалуй можно признать въ нѣкоторой мѣрѣ первыя два достоинства. Не только красота замѣнилась чопорностью, но и чопорность нерѣдко бывала неумѣстна. Дидро приказалъ вошедшую въ обыкновеніе манеру вносить духъ изящества и литературы въ произведенія пастушеской поэзіи, и называлъ такія произведенія смѣсью Фонтенеля съ Теокритомъ. Мы не знаемъ, какъ прозвать бы онъ то еще болѣе странное извращеніе вкуса, которое заставило одного издателя украсить трактатъ о дифференциальныхъ и интегральныхъ вычисленіяхъ забавными гравюрами Кошена, а объясненіе свойствъ кругообразной линіи изящными маленькими виньетками.

Есть одинъ достовѣрный фактъ, очень хорошо объясняющій намъ, какой духъ господствовалъ въ ту странную эпоху въ сферѣ французского искусства. Когда г-жа Помпадуръ задумала взять на себя роль сводницы для удовлетворенія чувствѣльныхъ вожденій короля, она обратила вниманіе на одну славившуюся своей красотой женщину, которая и послужила моделью для *Святаго Семейства*, предназначенаго для частной капеллы королевы. Портретъ этой женщины исполнилъ свое назначеніе; онъ возбудилъ въ короля желаніе видѣть оригиналъ, который и былъ приглашенъ въ *Rag s a u x Cerfs*.¹⁾ Это было типическое выраженіе тѣхъ услугъ, которыхъ ожидало отъ живописи общество, восхищавшееся ею и оплачивавшее ее. «Въ ней все изящно, все нѣжно ласкаетъ нѣжныя чувства, даже внѣшняя обстановка жизни, даже извилистыя линіи, даже роскошная внѣшность, даже утонченныя удобства комнатъ и меблировки. Въ такомъ мѣстѣ и въ такомъ обществѣ достаточно

1) Ibid., I. 213.

быть вмѣстѣ, чтобъ чувствовать себя довольнымъ. Праздность имъ не въ тягость; жизнь для нихъ забава.»¹⁾

Однако, при всемъ серьезномъ уваженіи, которое мы питаемъ въ Тиціану, Рембранду, Рафаэлю и прочимъ богамъ и полубогамъ искусства, мы все таки не можемъ не признать и за этими легкими и грациозными произведеніями нѣкоторой доли исторического значенія. Бушэ, восхищавшій современниковъ своими причудливыми грёзами, сказалъ по возвращеніи изъ Рима: «Рафаэль—женщина, Микель Анджело—чудовище; первый изъ нихъ—рай, второй—адъ; это—живописцы не здѣшняго міра; это—мертвый язысь, на которомъ уже никто не говорить въ наше время. А мы—живописцы нашего собственного времени: у насъ нѣть здраваго смысла, но мы очаровательны». Этотъ взглядъ на живописцевъ того времени не былъ ошибоченъ. Они занимали промежуточное пространство между грандіозной пышностью Ле-Брёна и мрачнымъ псевдо-антічнымъ жанромъ Давида, точно такъ какъ неподражаемая грація и блескъ легкихъ стиховъ Вольтера наполняли въ литературѣ промежуточное пространство между Расиномъ и Шенье. У нихъ была своя собственная поэзія; они пріятны, игравы, фантастичны и настроены совершенно въ тонъ общепринятыхъ правилъ общежитія. Во всякомъ случаѣ произведенія даже самыхъ причудливыхъ изъ нихъ гораздо менѣе неуклюжи и унизительны, чѣмъ тѣ изображенія мученичества, крайнаго изнуренія, самораспинанія и притворного благочестія, благодаря которымъ нѣкоторыя картины галлереи внушаютъ болѣе сильное отвращеніе, чѣмъ лазаретъ, наполненный про-какенными.²⁾

Даже о Ватто, который былъ божествомъ для своего вѣка, Дидро отзывался съ пренебреженіемъ. «Я даль-бы»—сказалъ онъ, «десять картинъ Ватто за одну картину Теньера.» Такой отзывъ со стороны Дидро былъ точно такъ же естественъ, какъ было естественно противоположное мнѣніе Лудовика XIV: когда ему принесли показать нѣсколько картинъ Теньера, онъ повелительнымъ голосомъ сказалъ: вынесите отсюда *ses magots là*, чтобы я ихъ больше не видѣть.

Изъ всѣхъ живописцевъ своего времени Дидро любилъ болѣе всѣхъ Грёза (р. 1725—ум. 1805). Дидро вовсе не былъ слѣпъ къ недостаткамъ Грёза, къ его привычкѣ повторяться, къ нерѣдко встрѣчающимся у него ошибкамъ въ размѣрахъ и объемѣ, къ из-

1) *Téna Ainsi en Régime*, p. 186.

2) *Si tous les tableaux de martyrs que nos grands peintres ont si sublimement peints, passaient à une posterité reculée, pour qui nous prendrait-elle? Pour des bêtes féroces ou des antropophages.—Pensées sur la Peinture* Дидро.

бытку съраго и фиолетового цветовъ въ его колоритѣ. Но все это позабывалось въ пылу сочувствія къ его направленію. Если мы посмотримъ на списокъ сюжетовъ въ картинахъ Грёза, мы тотчасъ замѣтимъ, что мы попали въ сферу семейнаго, нравственнаго, честнаго (*l'honnête*) и наивнаго простонароднаго паѳоса: смерть отца оплакиваемаго дѣтьми; смерть жестокосердаго отца, покинутаго своими дѣтьми; дѣти, ласкающія мать; дитя, плачущее надъ умершой птичкой; родственники ухаживающіе за старикомъ, разбитымъ параличомъ или плоды хорошаго воспитанія. Дидро былъ въ восторгѣ отъ такого выбора сюжетовъ. На послѣднюю изъ названныхъ картинъ онъ указываетъ какъ на доказательство того, что произведенія этого рода могутъ дѣлать честь какъ дарованіямъ, такъ и чувствамъ артиста.¹⁾ *Дѣвочка, оплакивающая свою умершую птичку* приводить его въ восхищеніе. «Какая прелестная элегія!» — восклицаетъ онъ, — «какая очаровательная поэма! Какая привлекательная идилія!» Онъ продолжаетъ все въ томъ же тонѣ, и въ концѣ концовъ разражается на четырехъ или пяти страницахъ взрывомъ лирическаго соболѣзвованія, обращеннаго къ плачущему ребенку.²⁾

Ни одно произведеніе живописи не возбуждало въ восемнадцатомъ столѣтіи болѣе сильнаго энтузіазма, чѣмъ картина Грёза *Ассоցідѣ де Віллаж*, представленная на выставку въ 1761 г. Въ ней повидимому разсказана цѣлая исторія и потому несмотря на ея потускнѣвшія краски, она даже въ наше время останавливаетъ на себѣ вниманіе посѣтителей одной изъ самыхъ рѣдко посѣщаемыхъ залъ Лувра.³⁾ Парижане, которымъ успѣла надоѣсть миѳологія и которые пресытились граціозными непристойностями, были очарованы простотой изображенаго Грёзомъ происшествія изъ жизни поселань. «On se sent gagné d'une émotion douce en le regardant — сказалъ Дидро, и эта пріятная эмоція приходила въ ту пору по вкусу образованнѣмъ классамъ французскаго общества. Это было годъ появленія *Новой Элоизы*.

Сюжетъ картины чрезвычайно простъ: крестьянинъ выдаетъ приданое своей дочери. Вотъ какъ самъ Дидро разсказываетъ этотъ сюжетъ: «Отецъ сидитъ посреди окружающихъ его членовъ семейства. Его зять стоитъ передъ нимъ, держа въ лѣвой рукѣ сумку съ деньгами. Невѣста также стоитъ, граціозно положивъ одну руку на руку своего жениха; а другую ея руку держитъ мать, сидящая подъ. Между матерью и невѣстой стоять меньшая сестра, наклонившись въпередъ, чтобы лучше видѣть происходящее.

¹⁾ X. 143.

²⁾ X. 343.

³⁾ № 260 Французской школы.

нившись къ невѣстѣ и положивъ руку на ея плечо. Позади этой группы ребенокъ стоитъ на цыпочкахъ, стараясь разсмотретьъ чѣмъ происходитъ. Вдали вѣво отъ группы на заднемъ планѣ картины двѣ служанки смотрятъ на эту сцену. На правой сторонѣ шкафъ для посуды—въ комнатѣ все безукоризненно чисто.... Деревянная лѣстница ведеть въ верхній этажъ. На переднемъ планѣ картины, у ногъ матери, курица съ своими цыплятами, которыми маленькая дѣвочка бросаетъ крошки хлѣба, и наполненный водою сосудъ, къ которому одинъ изъ цыплятъ протягиваетъ свой клювъ чтобы достать воды.» Затѣмъ Дидро разбираетъ картину въ подробности. Онъ разсказываетъ намъ, что ему какъ будто слышится какія именно слова отецъ говоритъ жениху, и прибавляетъ къ этому разсказу одно замѣчаніе, доказывающее, какъ онъ интересовался всѣмъ, въ чемъ выражалась наблюдательность надъ природой; онъ замѣчаетъ, что та рука старика, которая изображена съ ея задней стороной, кажется загорѣлой и смуглой, а другая рука, обращенная къ намъ ладонью, бѣла. «Невѣстѣ живописецъ придалъ наружность привлекательную, граціозную и скромную. Одѣта она именно такъ какъ слѣдуетъ. Ея передникъ изъ бѣлой матеріи не могъ бы быть лучше; въ надѣтыхъ на нее украшеніяхъ есть нѣкоторая роскошь, но вѣдь это день свадьбы. Замѣтьте, какъ натуральны морщины и складки на ея платьѣ и на платьѣ всѣхъ остальныхъ. Прелестная дѣвушка не стоитъ совершенно прямо. Вся ея фигура и всѣ члены ея тѣла слегка наклонены въ одну сторону, а это придаетъ ей особенную граціозность и естественность. Она по истинѣ красива и очень красива. Если бы она наклонилась къ своему жениху, это было бы неумѣстно, если бы она наклонилась къ матери и къ отцу, она была бы ненатуральна. Ея рука до половины лежитъ на рукѣ будущаго мужа, и кончики ея пальцевъ покоятся на его рукѣ; это единственный знакъ нѣжности, который она ему оказываетъ и повидимому дѣлаетъ это безсознательно: здѣсь живописецъ изящно выразилъ свою мысль.»¹⁾

«Смѣлый, мой добрый Грѣзъ»,—восклицаетъ онъ,—«*fais de la morale en peinture.* Развѣ кисть живописцевъ не посвящалась достаточно долго и даже слишкомъ долго разврату и пороку? Развѣ мы не должны радоваться тому, что она вступила наконецъ въ союзъ съ драматической поэзіей для того, чтобы поучать насть, исправлять насть и внушать намъ любовь къ добродѣти?»²⁾ Иные

¹⁾ X. 151—6. Дѣр Ваагенъ находитъ, что эта картина есть вѣрное выражение того, что онъ называетъ *das National franzöische*, точно такъ какъ картины Вилки выражаютъ *das Englische*. См. его *Kunstwerke und Künstler in Paris*, p. 675.

²⁾ X. 208.

утверждали, что Дидро пришелъ бы въ восторгъ отъ картинъ Гогарта, и мы съ своей стороны допускаемъ, что онъ сочувствовалъ бы такимъ нравоучительнымъ сюжетамъ, какъ *Ученикъ льнивый* и *Ученикъ трудолюбивый*, какъ *Продлѣки распутника* и *Бракъ по модѣ*. Энергія и могущество этого наводящаго ужасъ геніального художника несомнѣнно обнаружили бы надъ Дидро свою притягательную силу, но Дидро навѣрно былъ бы возмущенъ выходками Гогартовой безжалостной ироніи. Такія сцены, какъ посѣщеніе лордомъ Сквандерфильдомъ шарлатана-доктора или какъ распутства Река внушили бы Дидро непреодолимое отвращеніе. Онъ никогда не простишь бы артисту того, что, изображая какъ маленький ребенокъ тянется изъ рукъ кормилицы къ умирающей матери, онъ былъ въ состояніи изобразить на лицѣ этого ребенка темные пятна, обличающія присутствіе въ немъ отвратительного недуга. Онъ отвернулся бы съ ужасомъ отъ страшныхъ сценъ убийствъ, пытки, безумія, скотскаго опьяненія, жадности, свирѣпости—отъ изображеній золотушныхъ, пораженныхъ параличомъ, отъ изображенія человѣческихъ внутренностей, савана и могильныхъ червей. Способъ, которымъ Дидро хотѣлъ сдѣлать людей лучшими, заключался не въ томъ, чтобы заставлять ихъ кровь стынуть въ жилахъ отъ ужаса, а въ томъ, чтобы усиливать и смягчать семейныя привязанности.

Какъ критикъ, Дидро повидимому никогда не позабывалъ шутливаго замѣчанія, съ которымъ однажды обратился на художественной выставкѣ къ нему и Гримму почтенный Чарденъ: «Поосторожнѣе, друзья мои, поосторожнѣе! Изъ всѣхъ находящихся здѣсь картинъ выберите самую плохую и знайте, что двѣ тысячи несчастныхъ тружениковъ зубами раскусили пополамъ свои кисти съ отчаянія, что они никогда не будутъ въ состояніи нарисовать даже такой плохой картины. Парросель, котораго вы называете пачкуномъ и который въ самомъ дѣлѣ пачкунъ въ сравненіи съ Вернэ, однако можетъ считаться за человѣка съ рѣдкимъ талантомъ въ сравненіи съ толпой людей, отказавшихся отъ той карьеры, въ которую они вступили вмѣстѣ съ нимъ.» И затѣмъ этотъ артистъ указываетъ на громадныя усиія, на цѣлые годы труда, на безграничное терпѣніе, вниманіе, упорство, безъ которыхъ невозможно достигнуть даже самого посредственнаго мастерства. При этомъ намъ невольно приходитъ на память та сцена въ знаменитомъ произведении искусства нашего времени, когда Клесмеръ приглашаетъ миссъ Гвендоленъ Гарлетъ размыслить о томъ, что только одно умѣніе стоять или ходить на сценѣ есть искусство, требующее продолжительного упражненія. «*O le triste et plat m tier que celui de critique!*» Самъ Дидро однажды воскликнулъ: «*Il est si difficile de produire une chose t m me*»

diocre; il est si facile de sentir la médiocrité.»¹⁾ Не подлежитъ сомнѣнію, что по мѣрѣ того, какъ увеличивается наша опытность и наша личная отвѣтственность, мы на-учаемся яснѣе понимать, какъ во всѣхъ сферахъ дѣятельности трудно достигнуть даже дюжинного мастерства. Кто благоразуменъ, тотъ будетъ доволенъ и тѣмъ, что человѣкъ что нибудь сдѣлаетъ и не будетъ колоть его тѣмъ, что есть нѣчто такое, чего онъ не въ состояніи сдѣлать.

Впрочемъ Дидро хорошо понималъ, что снисходительность Чардена могла бы завести его слишкомъ далеко. Вообще, говорилъ онъ, критика мнѣ не нравится; она требуетъ такъ мало таланта. «Какое глупое занятіе—постоянно не дозволять себѣ находить наслажденіе или же постоянно краснѣть за то, что находишь наслажденіе. А вѣдь въ этомъ и заключается занятіе критика!»²⁾ Однако ему случилось написать на двадцати страницахъ діалогъ, въ которомъ главный собесѣдникъ—живописецъ, старающійся отмстить за свой собственный неуспѣхъ тѣмъ, что горячо нападаетъ на произведенія болѣе счастливыхъ соперниковъ. А говоря отъ своего собственнаго лица, Дидро знаетъ какъ разоблачать некомпетентность артистовъ меткими словами, иногда полными гнѣва, а большею частію выражавшими добродушный укорь. Плохимъ живописцамъ, какъ Парросель и Брене, отъ него достается такъ, какъ они того заслуживаютъ. Онъ замѣчаетъ, что положеніе плохаго живописца и плохаго актера гораздо непріятнѣе, чѣмъ положеніе плохаго литератора: живописецъ слышитъ своими собственными ушами выраженія презрѣнія къ его таланту, а шиканье публики раздается у самыхъ ушей актера, тогда какъ авторъ можетъ сойти въ могилу не подозрѣвая, что вы надѣйкой страницей его произведенія вскрикивали: «Глупецъ, животное, негодяй» и наконецъ бросали книгу въ уголь. Самый плохой писатель, сидя въ одиночествѣ въ своемъ кабинетѣ и перечитывая свои произведенія, можетъ безъ всялаго протеста съ чьей либо стороны, воображать, что ему первому пришло въ голову множество самыхъ новыхъ и самыхъ счастливыхъ идей.³⁾

Дидро никогда не щадилъ только одного живописца—Буше, который былъ идоломъ своего времени и благодаря своей популярности зарабатывалъ ежегодно по пятидесяти тысячъ ливровъ. Онъ насмѣхается надѣйкой Буше, какъ надѣйкой живописцемъ, который только способенъ разрисовывать вѣера и у котораго на палитрѣ

¹⁾ X. 177.

²⁾ XII. 8, 79.

³⁾ XI. 149.

нѣть другихъ цвѣтовъ кромѣ бѣлого и краснаго. Онъ допускаеть, что у Буша есть плодовитость, есть *fourgue*, есть непринужденность точно такъ какъ Рейнольдсъ допускаеть, что у него есть грація, красота и искусство композиції.¹⁾ По словамъ Дидро, Буша въ живописи то-же что Аристо въ поэзіи и тотъ, кто восхищается однимъ изъ нихъ, былъ бы непослѣдователенъ, еслибы не восхищался другимъ. Онъ находитъ, что Буша не достаетъ дисциплинированнаго вкуса, разнообразія и строгости. Однако онъ признается, что у Буша есть одна картина, которую онъ очень желалъ бы имѣть у себя. Всякій разъ, говорить онъ, какъ вы посмотрите на нее, вы найдете что въ ней есть недостатки, но тѣмъ не менѣе вы все будете смотрѣть на нее.²⁾ Съ этимъ мнѣніемъ, полагаю, согласится въ глубинѣ своей души и всякий изъ современныхъ намъ взыскательныхъ любителей искусства, безопасно прогуливающихся по заламъ, гдѣ выставлены картины французской школы.

Фрагонаръ, который въ свое время производилъ сильное впечатлѣніе своей картиной *Корезъ и Каллироэ*, и до сихъ поръ еще обращающей на себя вниманіе посѣтителей залъ французской школы, не былъ въ числѣ любимцевъ Дидро. Названная картина вызвала съ его стороны тщательную, но не очень удачную критику. Впослѣдствіи Фрагонаръ измѣнилъ свой стиль въ направленіи къ Бушу, и удаляясь какъ можно болѣе отъ *l'honnête et le beau et moral*; тогда Дидро отвернулся отъ него и, описывая картину овальной формы, изображающую группу дѣтей на небесахъ, говорить, что это—*une belle et grande omelette d'enfants*, что это—головы, ноги, бедра, руки, тѣла перепутанныя между собою среди желтоватыхъ облаковъ, что это—«*bien omelette, bien douillette, bien jaune, et bien brulee*.³⁾

Вообще мы не можемъ удивляться ни тому, что живописцы придаютъ такъ мало цѣны литературнымъ толкамъ объ ихъ трудномъ и сложномъ искусствѣ, ни тому, что публика цѣнитъ эти толки гораздо выше того, чего они стоятъ. Въ публикѣ они будятъ лживую фантазію и помогаютъ ей составить себѣ сколько нибудь толковое мнѣніе объ артистѣ, между тѣмъ какъ настоящія трудности, которыхъ преодолѣть артистъ и настоящія его достоинства нерѣдко остаются незамѣченными невѣжественной критикой. Но Дидро не былъ похожъ на большинство позднѣйшихъ критиковъ; онъ тщательно изучалъ условія, при которыхъ живописецъ долженъ обращаться

¹⁾ См. *Девънадцатую бесѣду* Рейнольдса, стр. 106.

²⁾ X. 102.

³⁾ XI. 296. Касательно Каллироэ см. X. 397.

ботывать свой сюжетъ. Хотя онъ и былъ мастеромъ въ литературной критикѣ искусства, онъ изъ любви къ знанію пользовался тѣмъ, что въ числѣ его близкихъ друзей были артисты, чтобы выпытывать отъ нихъ секреты техники, точно такъ какъ онъ выпытывалъ отъ ткачей и отъ красильщиковъ секреты ихъ ремесла. Онъ не выставлялъ на показъ этихъ специальныхъ познаній, но они всегда присущи въ его сужденіяхъ, придавая имъ основательность и аккуратность, безъ которыхъ они были бы похожи на вольное лирическое выраженіе чувствъ, возбужденныхъ картиной, а не серьезнымъ ея анализомъ. Онъ особенно хорошо умѣлъ дѣлать изъ ученої критики нечто такое, что имѣло литературную привлекательность. Прочтите, напримѣръ, отзывъ объ одной изъ картинъ Вина:

Психея съ лампой въ руки подходитъ къ спящему Амуру, чтобы посмотретьъ на него. Обѣ фигуры точно живыя, но въ нихъ нѣтъ ни изящества, ни граціи, ни деликатности, которыхъ требуетъ такой сюжетъ. Амуръ точно будто дѣлаетъ гримасу. Психея нисколько не похожа на женщину, которая съ трепетомъ подкрадывается къ спящему; я не вижу на ея лицѣ того смѣшнаго страха съ любовью, пылкимъ влечениемъ и восхищеніемъ, какого я ожидалъ найти. Мне недостаточно того, что я читаю на лицѣ Психеи желаніе посмотретьть на Амура; надо также, чтобы я читалъ на немъ опасеніе разбудить спящаго. Она должна бы была имѣть полуоткрытый ротъ и какъ будто удерживать свое дыханіе. Вѣдь она видитъ своего возлюбленнаго, видѣть его въ первый разъ съ опасностью потерять его. Какъ она должна быть рада видѣть его и къ тому же такимъ красивымъ! Ахъ! какъ мало пониманія у нашихъ живописцевъ! Какъ мало они знакомы съ натурой! Голова Психеи должна быть наклонена къ Амуру; остальная часть ея тѣла должна быть наклонена назадъ, какъ это всегда бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда ктонибудь приближается къ такому мѣсту, къ которому боится подойти и отъ которого готовъ бѣжать; одна нога должна стоять твердо, а другая должна едва касаться земли. А лампу развѣ Психея должна была держать такъ, чтобы свѣтъ падалъ на глаза Амура? Развѣ она не должна была держать ее въ сторонѣ и заслонять ее рукой, чтобы ослабить ея свѣтъ? Сверхъ того, это дало бы возможность освѣтить картину очень оригинальнымъ образомъ. Эти люди точно будто не знаютъ, что наши вѣки въ известной мѣрѣ прозрачны; они должно быть никогда не видали, какъ мать подходить съ лампой въ руки къ колыбели ребенка и старавшися не разбудить его.

Впослѣдствіи дѣлалось не мало попытокъ подражать этой манерѣ Дидро. Ей пытался подражать даже Тьеръ, въ то время какъ онъ, въ началѣ своей литературной карьеры, долженъ былъ описать для одной газеты художественную выставку 1822 года. Это вполнѣ удалось одному блестящему поэту, разскажику, путешественнику и

критику: умънъе Дидро анализировать произведенія искусства едва ли не было превзойдено Теофилемъ Готье въ его статьяхъ о находящихся въ Венеції картинахъ: Тиціанової *Assunta*, Беллиниевской *Мадоннѣ*, или о находящейся въ Севильи картинѣ Мурillo *Святой Антоній Падуанскій*¹).

Точно такъ же какъ въ своихъ статьяхъ для Энциклопедіи и здѣсь Дидро очень часто отклоняется отъ своего сюжета ради нравоученій. Даже современный намъ читатель извинитъ ему тѣ возгласы, съ которыми онъ обращается къ судьямъ несчастнаго Каласа,—извинить ему полу-лирическіе нападки на жестокость, возбудившую такое сильное негодованіе въ сердцахъ всѣхъ приверженцевъ Энциклопедії²). Но поводомъ для отступленій обыкновенно служать для Дидро менѣе трагическіе сюжеты. Напримѣрь одна картина Михаила Ванъ-Лоо напоминаетъ ему, что у Ванъ-Лоо когда то былъ другъ въ Испаніи. Этому другу пришло въ голову снарядить корабль для торговой экспедиціи; Ванъ-Лоо употребилъ все свое состояніе на это предпріятіе. Корабль погибъ отъ бури, потраченныя на него деньги пропали, и самъ хозяинъ корабля утонулъ. Когда Ванъ-Лоо узналъ объ этомъ несчастіи, первыя сказанныя имъ слова были слѣдующія: *Я лишился хорошаго друга.* И по поводу этого Дидро дѣлаетъ отступленіе съ цѣллю изслѣдоватъ мотивы хвалы и порицанія.

Вотъ нѣсколько примѣровъ подобныхъ отступленій съ нравоучительной цѣлію.

Странное вліяніе имѣеть наша меланхолія на окружающихъ. Не случалось-ли вамъ замѣтить, какъ птицы внезапно умолкаютъ, если въ ясную погоду вдругъ набѣжитъ туча надъ тѣмъ мѣстомъ, где раздавалось ихъ пѣвіе? Глубокое траурное платье производить въ обществѣ такое же впечатлѣніе, какъ и облако, заставившее птицъ замолкнуть. Облако пройдетъ далѣе и пѣніе возобновится.

„Всякую націю можно раздѣлить на три класса: на массу населения, которая создаетъ нравы и национальные вкусы, на тѣхъ, кто возвышается надъ этой массой и кого называютъ глупцами, странными людьми и оригиналами, и на тѣхъ, кто стоитъ ниже массы и принадлежитъ къ числу простаковъ,—людей нисшей породы. Успѣхи человѣческаго ума у иныхъ народовъ измѣняютъ это распределеніе и потому случается, что иной человѣкъ переживаетъ приобрѣтенню имъ репутацію... Кто опередилъ свой вѣкъ, кто возвышается надъ общимъ уровнемъ народныхъ понятій, не долженъ ожидать общаго одобренія; онъ долженъ быть радъ, если забвеніе спасетъ его отъ преслѣдованій. А тѣ, которые возвышаются

¹⁾ *Voyage en Italie*, 230. *Voyage en Espagne*, 330. См. того-же критика *A b阦c e daire du Salop d'e* 1861.

²⁾ XI. 309.

надъ общимъ уровнемъ слишкомъ высоко, остаются незамѣченны-
ми; они спокойно умираютъ въ забвениі или подобно всѣмъ или
далеко отъ всѣхъ. Вотъ мой девизъ“ ¹⁾.

„Но Вернэ все таки всегда будетъ ничто иное какъ человѣкъ“.—
„По этой то причинѣ онъ еще болѣе будетъ достоинъ удивленія, а
его произведенія будутъ еще болѣе достойны похвалы; конечно
этотъ міръ—великолѣпная вещь; но если я сравню его съ энергией
творческой силы, то я буду удивляться тому, что твореніе этой
силы не болѣе прекрасно и не болѣе совершенno. Но я приду къ
противоложному заключенію, когда подумаю, какъ слабъ человѣкъ,
какъ ничтожны его средства, какъ коротка его жизнь и сколько
она даетъ ему заботъ, а затѣмъ припомню, какія предпріятія
онъ замышлялъ и приводилъ въ исполненіе“ ²⁾.

Такія отступленія придаютъ особую привлекательность критиче-
скимъ статьямъ Дидро. Они придаютъ имъ непринужденность и
естественность, потому что воспроизводятъ рождающіяся въ его
умѣ идеи въ томъ видѣ, каковы онѣ на самомъ дѣлѣ, а не въ
томъ видѣ, въ какомъ ихъ могъ бы желать выразить писатель, за-
ботящійся о поддержаніи своего авторскаго достоинства. Въ нихъ,
какъ мы уже прежде замѣтили, нѣть натянутости, не замѣтно
гнета литературныхъ условій, а въ тоже самое время въ нихъ по-
чти нѣть ничего небрежнаго, отрывочнаго, *d e c o u s i*. Отступ-
леніе живо вытекаетъ изъ главнаго источника и опять возвращается
въ него, оставляя за собою какое нибудь пріятное впечатлѣніе
или оригиналную мысль. Напримѣръ у Дидро вдругъ является же-
ланіе выяснить, нестолько ли же огня въ первой сценѣ Теренція и
въ Антиноѣ, сколько во всякой сценѣ Мольера или въ какомъ либо
изъ произведеній Микеля Анджело? «Я уже прежде отвѣтилъ на
этотъ вопросъ, но слишкомъ слегка. Я на каждомъ шагу способенъ
впадать въ ошибки, оттого что языкъ не тотчасъ даетъ мнѣ на-
стоящее выраженіе для истины. Я отказываюсь отъ моего тезиса
вслѣдствіе недостатка словъ для изложенія моихъ доводовъ. Въ глуби-
нѣ моей души одно, а я высказываю другое. Жизнь въ удале-
ніи отъ людей и въ уединеніи имѣть свою хорошую сторону. Тамъ
человѣкъ говорить съ самимъ собою, задаетъ самому себѣ вопросы,
выслушиваетъ самого себѣ и выслушиваетъ въ молчаніи. Его
сокровенные идеи развиваются сами собою мало по малу.» А когда
Дидро собирается высказать свое мнѣніе объ одной изъ картинъ
Грёза, онъ вспоминаетъ о тиеславіи Грёза и это вызываетъ его
на такія размыщенія, которыхъ долженъ бы быть твердо хранить
въ памяти всякий критикъ,—какъ критикъ общественной жизни

¹⁾ XI. 294.

²⁾ XI. 102.

такъ и критикъ частной жизни. «Если вы отнимете у Грёза его тщеславіе, вы отнимете у него весь пыль, вы потушите въ немъ пламя, его гений затмится. *Nos qualités tiennent de pr s   nos d fauts*». И за тѣмъ Дидро приводить дюжину примѣровъ, которые наглядно подтверждаютъ эту истину, служащую основой для благоразумной снисходительности¹⁾.

Композиторъ Гретри въ минуты затрудненій нѣсколько разъ обращался къ Дидро за советами. Не всегда, говорить онъ, можно было безопасно слѣдовать указаніямъ этого пылкаго человѣка, если онъ увлекался своимъ воображеніемъ, но первый его порывъ всегда носилъ на себѣ печать вдохновенія свыше²⁾. Живописцы, точно такъ же, какъ и музыканты, находили, что идеи которыхъ онъ имъ внушалъ, столько же полны жизни сколько обильны содержаніемъ. Онъ былъ въ восторгѣ, когда могъ указать артисту, какъ сдѣлать изъ его плохой картины хорошую³⁾. «Шарденъ, Ла-Гренэ, Грёзъ и другіе», — говоритъ Дидро, — «увѣряли меня (а вѣдь у артистовъ нѣть склонности льстить литераторамъ), что я почти единственный человѣкъ, чьи созданія фантазіи можно было переводить на полотно почти такими, какими они возникали въ моей головѣ». И за тѣмъ онъ разсказываетъ въ доказательство сказанного, какъ онъ мгновенно придумалъ для Ла-Гренэ сюжетъ для изображенія Мира, какъ онъ далъ Грёзу мысль внести въ одну изъ его картинъ голую фигуру, не оскорбляя скромности зрителей, какъ онъ доставилъ еще одному живописцу исторический сюжетъ.⁴⁾ Первый изъ этихъ трехъ случаевъ служитъ свидѣтельствомъ того, какъ даже для такого геніального человѣка какъ Дидро было трудно сбросить съ себя искусственная традиціи. Чтобы изобразить Миръ, сказалъ онъ, обращаясь къ Ла-Гренэ, изобразите мнѣ Марса съ его латами, съ опоясывающимъ его мечемъ, съ его благороднымъ полнымъ энергіи лицемъ. Рядомъ съ нимъ изобразите Венеру во всей ея красѣ божественной, сладострастной, и обращающейся къ нему съ обворожительной улыбкой; пусть она указываетъ ему на его шлемъ, изъ котораго ея голуби сдѣлали для себя гнѣздо. Развѣ не странно, что даже Дидро иногда позабывалъ, что Марсъ и Венера давно умерли, что они уже не могутъ быть источникомъ свѣжаго и натуральнаго вдохновенія и что ни артистовъ ни зрителей нельзя расшевелить холдными и выдохшимися аллегоріями на мертвомъ языке? Если бы Дидро могъ увидѣть, какъ тотъ сюжетъ, за который

¹⁾ X. 342. Въ другомъ мѣстѣ (XVIII. 247) онъ говоритъ, что Грэзъ — *un excellent artiste, mais une bien mauvaise t te.*

²⁾ Цитировано въ *Oeuvres* Дидро, V. 460., пр.

³⁾ *Oeuvres*, XI. 258.

⁴⁾ XI. 74.

взялся Ла-Гренэ, изображенъ Ландсиромъ въ картинѣ *Mirъ* и какъ тамъ представлены дѣти, забавляющіеся играми у самаго дула неупотребляемой въ дѣло пушки, онъ первый воскликнулъ бы, что эта картина болѣе подходяща къ духу его собственныхъ эстетическихъ теорій, чѣмъ гордая осанка Марса и красота Венеры. Онъ былъ болѣе вѣренъ самому себѣ, когда рекомендовалъ Грэзу сюжетъ, упомянутый во второмъ изъ приведенныхъ выше случаевъ. Онъ посовѣтовалъ Грэзу нарисовать *Честную Натурщицу* — дѣвушку, которая въ первый разъ сѣла въ качествѣ натурщицы передъ артистомъ, сложивъ подлѣ себѣ на полъ свою бѣдную одежду; ея голова покоится на одной изъ ея рукъ, а по ея щекамъ текутъ слѣзы. Подлѣ нея стоитъ ея мать, одѣтая въ лохмотья, изобличающія ея крайнюю нищету и прикрываетъ себѣ лицо обѣими руками и одной изъ рукъ дочери. Живописецъ растроганъ при видѣ этой сцены, и палитра или кисть выпадаетъ изъ его рукъ. Грэзъ тотчасъ воскликнулъ, что ему случилось видѣть главное дѣйствующее лицо такой картины, а мы съ своей стороны согласны съ тѣмъ, что такая дюжинная сантиментальная идея болѣе въ духѣ Дидро, чѣмъ изображеніе языческихъ боговъ и богинь.

Но Дидро бываетъ всего болѣе вѣренъ самому себѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ берется за сюжетъ какой нибудь картины, находящейся у него передъ глазами и старается доказать, что этотъ сюжетъ можно бы было изобразить гораздо лучше. Вотъ примѣръ:

Благство въ Египетѣ изображено пикантнымъ и новымъ способомъ; но живописецъ не умѣлъ хорошо выразить свою идею. Св. Дѣва представлена на заднемъ планѣ картины несущей на рукахъ младенца Иисуса. За ней стѣдуютъ Іосифъ и осель, на которомъ навьюченъ багажъ. На переднемъ планѣ изображены пастухи, которые стоя на колѣняхъ протягиваютъ къ ней руки и желаютъ ей счастливаго пути. Картина была бы прекрасна, еслибы живописецъ изобразилъ горы, у подножія которыхъ идетъ св. Дѣва, еслибы онъ представилъ эти горы отвѣсными, крутыми и величественными, если бы онъ покрылъ ихъ мхомъ и дикими растеніями, еслибы онъ придалъ св. Дѣвѣ простоту, красоту, величие и благородство, еслибы путь по которому она идетъ, велъ ее узкою тропою въ уединенную рощу, еслибы все это было представлено въ моментъ разсвѣта или солнечнаго заката!“¹⁾)

Св. Бенедиктъ — картина Дешэ, котораго Дидро считалъ одно время первымъ французскимъ живописцемъ, — также возбуждаетъ въ немъ желаніе указать замѣченные имъ недостатки. Дидро находитъ, что не смотря на блѣдность лица умирающаго святаго, можно бы было подумать, что ему предстоитъ прожить еще нѣсколько лѣтъ.

„Я спрашиваю, развѣ не лучше было бы, еслибъ онъ не былъ въ состояніи держаться на ногахъ, если бы его руки были распостерты, голова была откинута назадъ, съ смертью на устахъ и съ радостнымъ восторгомъ на лицѣ. Еслибы живописецъ придалъ изображеному имъ святому именно такое сильное выраженіе, посмотрите, другъ мой, чтосталось бы со всѣмъ остальнымъ! Это небольшое измѣненіе въ главной фигурѣ повліяло бы на всѣ остальные. Духовное лицо, совершающее обрядъ богослуженія, вместо того чтобы держаться прямо, приняло бы отъ состраданія болѣе наклонную позу; страданіе и горесть были бы болѣе сильны у всѣхъ присутствующихъ. Вотъ на этой картинѣ можно бы было объяснить молодымъ ученикамъ, какимъ образомъ измѣнія что либо приходится измѣнить все остальное, если живописецъ хочетъ оставаться вѣрнымъ истинѣ. По этому поводу можно бы было дать имъ хороший урокъ касательно силы единства: надобно бы было сохранить тоже распределеніе и тѣ же фигуры и предложить имъ нарисовать ту же картину сообразно съ различными измѣненіями, которыя будутъ сдѣланы въ фигурѣ лица, пріобщающагося св. тайнѣ“¹⁾).

Дѣятельность Дидро по части эстетической критики не ограничивалась превосходными статьями о художественныхъ выставкахъ. Онъ не могъ довольствоваться краснорѣчивымъ воспроизведеніемъ на бумагѣ различныхъ комбинацій цветовъ и формъ, встречающихся въ живописи. Никто не былъ менѣе его расположенья вдаваться въ изложеніе неопределенныхъ и вялыхъ соображеній. Онъ безпрестанно возвращается къ проницательной и строгой критикѣ принциповъ, методовъ, особенностей изящныхъ искусствъ, и хотя нерѣдко обнаруживается въ себѣ сентименталиста и декламатора, однако, когда нужно, умѣеть тщательно анализировать идеи и фразы, умѣеть находить причины и противорѣчія, умѣеть открывать въ искусствѣ новые виды и новые классы и умѣеть опредѣлять, какія условія необходимы для каждого изъ нихъ. Короче сказать, его способность краснорѣчиво и увлекательно критиковатъ произведенія живописи, не помѣшала ему вдумываться въ отвлеченные законы искусства съ свойственной философамъ способностью анализировать, сравнивать и распределять по классамъ. Кто читалъ діалоги, написанные по поводу ландшафтовъ Вернэ на выставкѣ 1767 года, развѣ въ состояніи позабыть ихъ? ²⁾) Критикъ предполагаетъ, что онъ лишьъ возможности посѣтить выставку этого года и что онъ находится въ прелестной деревнѣ на берегу моря среди изящныхъ пейзажей. Онъ описываетъ свои прогулки по этой живописной мѣстности, странныя и разнообразныя вариаціи свѣта и колорита, и

¹⁾ X. 125.

²⁾ XI. 98—149.

всѣ движенія, которыя онъ замѣчаетъ на небѣ и въ океанѣ; въ эти описанія онъ вплетаетъ рядъ своихъ разговоровъ съ однимъ аббатомъ, занимающимъ воспитаніемъ дѣтей хозяина дома,—разговоровъ объ искусствѣ, о пейзажахъ и о міровыхъ движеніяхъ. Трудно представить себѣ что либо болѣе изящное и болѣе полное жизни; только въ самомъ концѣ разсказа онъ признается, что все это—продуктъ фантазіи, внушенный ему не настоящими пейзажемъ, а морскими видами, присланными Вернэ на выставку.

Отсюда видно, какъ разнообразны были приемы, благодаря которымъ Дидро былъ такимъ интереснымъ и освѣжающимъ критикомъ. Онъ никогда не берется за свой предметъ машинально; доказательствомъ этого служить то, что его умъ, погружаясь въ находящуюся передъ его глазами картину, все таки относится самостоятельно къ вѣнчайшей сторонѣ этой картины и постоянно доступенъ для общихъ соображеній, хотя и слѣдитъ съ большою точностью за всѣми особенностями находящагося передъ нимъ предмета¹⁾.

Съ точки зрењія новѣйшихъ понятій о философіи изящныхъ искусствъ, Дидро не можетъ считаться авторитетомъ, такъ какъ у него слишкомъ ясно замѣтно отсутствіе какой либо системы. Но, какъ выразился Гёте въ одной статьѣ, гдѣ онъ рѣшительно расходится въ мнѣніяхъ съ Дидро, *die höchste Wirkung des Geistes ist, den Geist hervorzurufen*—высшее вліяніе ума заключается въ томъ, чтобы пробуждать умъ. Въ этомъ стимулирующемъ возбужденіи интеллигенціи и заключалась главная способность Дидро. Ради этого можно извинять всѣ преувеличенія и не обращать вниманія на многочисленныя нарушенія законовъ мѣры. Съ этой точки зрењія можно найти много поучительного въ Гётовой статьѣ, по поводу *Essai sur la Peinture*, (написанного Дидро въ 1775, но вышедшаго въ свѣтъ лишь въ 1796). «Статья Дидро»,—писалъ онъ Шиллеру,—«великолѣпное произведеніе; она еще болѣе поучительна для поэта, чѣмъ для живописца, хотя и для живописца она служить могущественнымъ источникомъ свѣта». Однако принципъ критики въ этой статьѣ Дидро совершенно противоположенъ принципу Гёте, и когда Гёте перевелъ изъ нея нѣкоторыя мѣста, онъ нашелся вынужденнымъ присовокупить къ переводу замѣтки съ выражениемъ самого энергического протеста. Дидро, по своему обыкновенію, энергически превозносить природу, какъ единственный источникъ и родникъ настоящаго артистического вдохновенія. Онъ утверждаетъ, что даже тогда когда природа кажется намъ несовершенной и уродливой, она не бываетъ неправильна. Если она

¹⁾ XI. 223.

даетъ индивидууму какія нибудь необычайныя формы, она всегда приводить и другія части организма въ соотвѣтствіе и такъ сказать въ гармонію съ ненормальнымъ элементомъ. Мы говоримъ о человѣкѣ, который проходитъ мимо на съ улицѣ, что онъ хорошо сложенъ. Это вѣрно съ точки зрѣнія нашихъ жалкихъ правиль, но съ точки зрѣнія природы совсѣмъ другое дѣло. Мы говоримъ о статуѣ, что въ ней размѣры изящны: это вѣрно съ точки зрѣнія нашихъ жалкихъ правиль; но вѣрно ли это съ точки зрѣнія природы¹⁾?

Въ томъ же духѣ онъ нападаетъ на обыкновеніе рисовать съ академическихъ моделей. Всѣ эти академическая позы жеманны, натянуты, искусственны; всѣ эти положенія холодно и неуклюже выражены какимъ нибудь жалкимъ бѣднякомъ, и всегда однимъ и тѣмъ же жалкимъ бѣднякомъ, который нанять для того чтобы приходить три раза въ недѣлю, снимать съ себя одежду, и разыгрывать роль куклы въ рукахъ профессора; а развѣ это имѣеть что либо общаго съ позами и положеніями натуральными? Что есть общаго между человѣкомъ, который достаетъ у васъ на дворѣ воду изъ колодца и тѣмъ человѣкомъ, который подражаетъ ему стоя на подмосткахъ въ школѣ живописи? Если Дидро считалъ потерянными тѣ семь лѣтъ, которые проходять въ рисованіи съ натурщиками, то онъ не былъ болѣе снисходителенъ и къ изученію въ подробностяхъ анатоміи человѣческаго тѣла. Онъ находилъ что артистъ будетъ тщеславиться своими научными познаніями, что его взглядъ сдѣлается неправильнымъ, что онъ будетъ стараться изображать то, что кроется подъ вѣнчностью и позабудетъ, что его дѣло—изображать одну вѣнчность. Этотъ практическій приемъ введенъ для того, чтобы знакомить учащагося съ природой, а большею частью онъ ведеть къ тому, что учащійся видѣтъ природу не такой, какова она на самомъ дѣлѣ. Однимъ словомъ Дидро полагаетъ, что жеманство исчезло бы и изъ рисунковъ и изъ колорита, еслибы живописцы строго подражали природѣ, и что оно исходить отъ наставниковъ, отъ академіи, отъ школы и даже отъ подражанія древнимъ.²⁾

Не трудно представить себѣ, сколько заблужденій отыскаль въ этихъ поученіяхъ авторъ *Ифигеніи* и страстный поклонникъ древнихъ скъльптурныхъ произведений. Главная ошибка Дидро,—сказалъ Гёте,—заключается въ томъ, что онъ смѣшиваетъ природу съ искусствомъ, и совершенно соединяетъ первую съ послѣднимъ. «Но

¹⁾ X. 461—2.

²⁾ X. 467. Болѣе почтительные отзывы о древнихъ образцовыхъ произведенияхъ и о точкѣ зрѣнія Винкельмана можно найти въ *Salon de 1765*. X. 418.

природа производить живое, холодное существо, а артистъ нерѣдко воспроизводитъ существо мертвое, но полное значенія; натура производить нечто реальное, а артистъ воспроизводить нечто кажущееся. Въ произведениія природы зрителъ долженъ вносить смыслъ, мысль, эффектъ, реальность, а въ произведеніи искусства онъ желаетъ и долженъ находить все это готовымъ. Полное подражаніе природѣ невозможно ни въ какомъ смыслѣ; призваніе артиста заключается только въ томъ, чтобы изображать внѣшнюю сторону призрака. Назначеніе артиста — изображать внѣшнюю сторону предмета, его назначеніе — изображать все что живо, что говоритъ всѣмъ влечениемъ нашего ума и нашихъ чувствъ, что возбуждаетъ въ насъ желанія и возвышаетъ нашу интеллекцію; его назначеніе изображать живую, мощную, законченную красоту, обладаніе которой сдѣлало бы насъ счастливыми». Другими словами, искусство имѣеть свои собственные законы и свои собственные цѣли, а у природы иные законы и иные цѣли. Пренебрегать установленными правилами значитъ уничтожать тѣ условия, благодаря которымъ возможно нарисовать картину или изваять статую. Требовать, чтобы ученикъ отвернулся отъ модели и шелъ учиться на улицу, въ тюрьму, въ церковь, — это тоже, что отослать его изъ школы, не научивши его именно тому, чего онъ тамъ искалъ. Пренебрегать изученіемъ анатоміи тоже, что оправдывать композитора позабывающаго въ своемъ энтузиазмѣ о низкихъ басовыхъ нотахъ, или поэта, позабывающаго въ своемъ энтузиазмѣ о томъ, сколько должно быть слоговъ въ его стихахъ. Сверхъ того, хотя вольный и широкій методъ и могъ бы принести пользу искусству, однако все артистическое достоинство произведенія зависитъ отъ мѣры. Красота — небольшой кругъ, въ которомъ можно вращаться лишь въ извѣстной мѣрѣ. А хранители и преподователи этой извѣстной мѣры — академія, школа, наставникъ и главнымъ образомъ древніе образцы¹⁾.

Я не нахожу надобности подробно разслѣдовать всѣ разномыслія между этими двумя великими мастерами въ дѣлѣ критики. Мы должны сознаться, что Гёте произнесъ послѣднее разумное слово, выразившее большую часть той истины, какая можетъ быть высказана по этому предмету. И это слово было сказано съ такой искренностью и съ такимъ благородствомъ, которыхъ никто не могъ бы опѣнить болѣе высоко чѣмъ прямодушный Дидро. Въ сущности выраженія Гёте были направлены на тотъ тезисъ, который изложенъ у Дидро въ его *Ragadoxe sur le Comédien*. Но положеніе живописи во Франціи, какъ съ этимъ соглашается и Гёте, было таково, что требовало критики, которая была бы преувеличеніемъ

¹⁾ Versuch über die Malerei Гейгера. Werke Гёте, XXV. 309 etc.

тѣхъ идей, которыя Дидро высказывалъ бы въ болѣе умѣренной формѣ¹⁾, еслибы находился въ такомъ же нейтральномъ положеніи какъ Гёте.

Въ одной изъ критическихъ статей Дидро о выставкѣ картинъ есть одно мѣсто, бросающее яркій свѣтъ на различіе между этими двумя геніальными людьми. Развличіе между простымъ знатокомъ искусства и глубокомысленнымъ критикомъ заключается въ томъ, что у этого послѣднаго изъ-за идей объ искусствѣ проглядываетъ широкій взглядъ на жизнь. А у Дидро, не менѣе чѣмъ у Гёте, искусство всегда оказывается тѣсно связаннымъ съ характеромъ, влече-ніями, условіями благополучія и поступками людей.

„Солнце, которое уже было на горизонѣ, скрылось; море тот-часъ приняло болѣе мрачный и болѣе торжественный видъ. Сумерки, которые сначала бываютъ не похожи ни на день ни на ночь, вѣрно изображали наши слабыя идеи: они предупреждали философа, что онъ долженъ пріостановить теченіе своихъ мыслей, а путешественника, что пора возвращаться домой. И такъ я по-вернулся домой и дорогой размышлялъ о томъ, что если существуетъ особая мораль для каждого разряда людей, то можетъ быть въ одномъ и томъ же разрядѣ существуетъ особая мораль для различныхъ отдельныхъ личностей или по меньшей мѣрѣ для различныхъ группъ схожихъ между собою личностей. А чтобы не шоки-ровать васъ какимъ нибудь слишкомъ серьезнымъ примѣромъ, я скажу вамъ, что можетъ быть есть особая мораль для артистовъ или для искусства и что она совершенно противоположна обще-принятой морали. Да, другъ мой, я очень опасаюсь, чтобы человѣкъ не шелъ прямо на бѣду тѣмъ самымъ путемъ, который ведетъ подражателя природы къ тому, что есть самаго возвышенного. Бросаться въ крайности — это руководящее правило поэтовъ. Во всемъ придерживаться середины — это руководящее правило для то-го, чтобы быть счастливымъ. Реальнуя жизнь не должно обращать въ поэзію. Герои, романтические любовники, великие патріоты, непоколе-бимые судьи, религіозные проповѣдники, философы à toute ontrapanc e,—всѣ эти рѣдкіе и божественные безумцы дѣлаютъ изъ жизни поэзію, и отъ этого происходятъ всѣ ихъ несчастія. Они-то и до-ставляютъ послѣ своей смерти сюжеты для великихъ картинъ.

¹⁾ И действительно онъ при случаѣ ихъ высказывалъ. См. XI. 101. Рей-польдѣ, который такъ искренно любилъ свое искусство, что былъ способенъ возвышаться надъ патріотическими предразсудками, описываетъ тогдашнее положеніе вещей. „Мнѣ случалось слышать, какъ живописцы утверждали, что безъ помощи природы они могли бы рисовать лучше, чѣмъ при ея помощи, и что, какъ они сами выражались, она только сбиваетъ ихъ съ толку. Наши со-сѣди французы очень много упражняются въ такихъ импровизаціяхъ и ихъ ловкость въ этомъ дѣлѣ такъ велика, что даже возбуждаетъ удивленіе, если не зависѣтъ; но какъ рѣдко можно относиться съ такой же похвалой къ ихъ законченнымъ произведеніямъ живописи!—Двѣнадцатая бесѣда, стр. 105.

Ихъ всего удобнѣе изображать съ помощью живописи. Опытъ доказалъ намъ, что природа обрекаетъ на несчастіе того мушкынъ, котораго она надѣлила геніемъ и ту женщыну, которую она надѣлила красотой; а это потому что они существа поэтическія. Тогда я сталъ восхвалять въ своеемъ умѣ посредственность, которая предохраняетъ насъ и отъ порицаній и отъ зависти и спрашивала у самого себя, почему однакожъ никто не захотѣлъ бы утратить свою воспріимчивость и сдѣлаться человѣкомъ посредственнымъ? О тщеславіе людскогъ! ¹⁾.

Гѣтевъ *Tasse*,—это произведеніе столь полное высшей поэзіи и прелести,—есть идеализированное и патетическое видоизмѣненіе той фигуры, которую Дидро выдаетъ за олицетвореніе генія. Разговоры между несчастнымъ поэтомъ и свѣтскимъ человѣкомъ—Антоніемъ представляютъ искусное, возвышенное и ярко выдающееся изложеніе той же проблемы, которая часто мучила Дидро. Гѣте сочувствовалъ Антонію въ его точкѣ зрѣнія, такъ какъ въ его натурѣ было много сдержанности, здравомыслія и обыкновенной свѣтской разсудительности, а въ искусствѣ онъ любилъ спокойные идеалы. Напротивъ того Дидро,—какъ читатели уже могли замѣтить,—смотрѣлъ на все это иначе.

Статья о *Красотѣ*, помѣщенная въ Энциклопедіи, менѣе богата содержаніемъ, чѣмъ большая часть другихъ произведеній Дидро касательно этого предмета. ²⁾ Она содержитъ въ себѣ подробный разборъ двухъ или трехъ другихъ теорій и въ особенности теоріи Гютчесона. Цѣль статьи—объяснить откуда происходитъ красота. Дидро приходитъ къ заключенію, что источникомъ Красоты служать «соотношения». Слова, которыми мы обозначаемъ различные оттѣнки того, что прекрасно, выражаютъ наши понятія (пріобрѣтенныя опытомъ чрезъ посредство чувствъ) о порядкѣ, пропорціи, симметріи, единствѣ и т. д. Но при этомъ все таки остается неразрѣшенной суть вопроса—почему одни соотношенія прекрасны, а другія нѣтъ, почему одни и тѣ же предметы для меня прекрасны, а на васъ не производятъ никакого впечатленія, почему одинъ и тотъ же предметъ прекрасенъ для меня сегодня, а завтра не производить на меня никакого впечатленія или возбуждать во мнѣ отвращеніе? Правда, Дидро перечисляетъ двѣнадцать источниковъ, изъ которыхъ происходитъ такое различіе мнѣній, и находить ихъ въ различіи расъ, возрастовъ, индивидуальныхъ особенностей, душевныхъ настроений, но ихъ влияніе обусловливается тѣмъ, чтобы въ понятіе о прекрасномъ внесенъ былъ какой нибудь болѣе определенный элементъ, нежели простая идея о соотношеніяхъ. Нѣкоторыя изъ его сужденій доказы-

¹⁾ X. 124—5.

²⁾ Oeuvres, X.

ваютъ, что онъ былъ очень близокъ къ знаменитой теоріи Алисона, признававшій красоту только затѣмъ, что мы слышимъ и видимъ, когда и то и другое напоминаетъ намъ о чёмъ нибудь, что приятно, возвыщенно, патетично и направляетъ наши идеи и эмоціи въ одинъ изъ этихъ каналовъ. Но онъ не слѣдуетъ по стопамъ Алисона и не находитъ никакого прилагательнаго, которое онъ могъ бы предполагать своимъ *g a r r o g t s*, чтобы уяснить ихъ смыслъ. Сверхъ того онъ напрасно тратить время, стараясь втиснуть въ рамки своего опредѣленія нѣкоторыя значенія слова красота, которые въ сущности примѣнимы къ предметамъ только путемъ аналогіи и которыхъ вовсе негодны для опредѣленія красоты въ какомъ либо литературномъ или научномъ ея смыслѣ.

Въ изслѣдованіяхъ по части эстетики нѣть болѣе интереснаго отдѣла чѣмъ тотъ, который касается взаимныхъ отношеній искусствъ между собою и разграниченія сферъ поэзіи, живописи, скулптуры и музыки. На этотъ трудный предметъ Дидро сталъ обращать вниманіе съ самаго начала своей литературной карьеры. Въ своемъ письмѣ *O иллю-и-льмыхъ* (1751) онъ поставилъ себѣ задачей—перечислить всѣ обычныя красоты поэзіи, живописи и музыки, указать на существующую между ними аналогію, объяснить какъ поэтъ, живописецъ и музыкантъ изображаютъ одинъ и тотъ же предметъ, уловить ихъ измѣнчивые способы выраженія. Почему, спрашивается онъ, положеніе, которое превосходно въ поэмѣ, становится смѣшнымъ въ произведеніи живописи? ¹⁾) Напримѣръ, что мѣшаетъ живописцу воспроизвести описанный у Виргилія моментъ, когда Нептунъ подымаетъ свою голову изъ бушующихъ волнъ:

*Interea magno misceri murmure pontum,
Emissamque hiemem sensit Neptunus, et imis
Stagna refusa vadis; graviter commotus, et alto
Prospiciens, summâ placidum caput extulit undâ.*

Отвѣчая на этотъ вопросъ, Дидро заранѣе становится на точку зрения автора той знаменитой маленькой книжки, которая вышла въ свѣтъ черезъ пятнадцать лѣтъ послѣ того и которую по справедливости считаютъ за фундаментъ эстетического образованія. Въ *Даоконъ* Лессингъ утверждаетъ,—въ противность автору *Полиметиса* Спенсу, въ противность Кэлюсу и нѣкоторымъ другимъ современнымъ ему писателямъ,—что у поэзіи и живописи различные цѣли, различные способы производить впечатлѣніе, различные объемы и различные границы, установлены для каждой изъ нихъ

¹⁾) Слѣдуетъ также замѣтить, что онъ обнаруживаетъ истинную проницательность когда сопоставляетъ трудность перевода поэтическаго рассказа въ произведение живописи съ однородной трудностью перевода законченной поэмы на какой либо другой языкъ. См. также XI. 107.

свойствомъ ихъ существенныхъ особенностей. 1) Такъ и Дидро утверждаетъ, что живописецъ не могъ бы изобразить описанный Виргилиемъ моментъ, потому что тѣло, только одной частію погруженное въ воду, было бы обезображеніемъ отраженіемъ, которое непремѣнно должно быть воспроизведено отчетливымъ артистомъ; потому что тѣло нельзя видѣть сквозь бушующія волны и стало бы боязнь казался бы обезглавленнымъ; потому что, художникъ, нежелающій, чтобы его картина была изображеніемъ хирургической ампутаціи, долженъ показать какую нибудь часть скрытаго подъ водою тѣла для того чтобы зрителю было ясно, что у головы есть тѣло. 2) Дидро беретъ другой примѣръ, изъ котораго видно, что прекрасное въ поэзіи можетъ быть невыносимо въ живописи. Онъ спрашиваетъ: кто могъ бы вынести изображеніе на полотнѣ Полифемуса, который грызетъ зубами кости одного изъ спутниковъ Улисса? Кто могъ-бы видѣть безъ отвращенія, какъ гигантъ держитъ въ своей громадной пасти человѣка, и какъ кровь течетъ по его лицу и по его груди?

Между многочисленными замѣчаніями, въ которыхъ Дидро касается различій между поэзіей и живописью, нѣть ни одного болѣе мѣткаго и болѣе основательного чѣмъ то, когда онъ умоляетъ поэта не заниматься описаніемъ мелкихъ подробностей: «Правильность вкуса заключается въ томъ, чтобы остановиться на одной или двухъ характеристическихъ особенностяхъ, а все остальное предоставить на произволъ воображенія. Армида кажется намъ прекрасной именно въ тотъ моментъ, когда она съ благородной осанкой идетъ промежъ рядовъ арміи Готфрида и когда генералы бросаются другъ на друга завистливые взоры. Елена прекрасна именно тогда, когда она проходитъ передъ старцами Трои и когда они всѣ превозносятъ ее. А Альсина вовсе не прекрасна въ тотъ моментъ, когда Ариостъ описываетъ ее съ верхушки ея головы до подошвы ея ногъ, не смотря на то, что его стихъ полонъ граціи, легкости и пріятнаго изящества. Онъ описываетъ мнѣ все, такъ что мнѣ ничего не остается дѣлать; а это надоѣдаетъ мнѣ и выводить меня изъ терпѣнія. Если личность, которую вы описываете, двигается, представьте мнѣ ея осанку и ея ловкость,—остальное я самъ дополню. Если она наклонилась, расскажите мнѣ только какія у ней руки и плечи, все остальное я беру на себя. Если вы дѣлаете больше того, что нужно, вы перепутываете различные роды искусства, вы перестаете быть поэтомъ и становитесь живописцемъ или скульпторомъ. Дайте

1) Лессинга, какъ кажется, привело къ этой мысли вліяніе Аристотеля. См. Готшильха Lessing's Aristotelische Studien, p. 120.

2) Oeuvres, I. 382, 403.

мнѣ одну, только одну, характеристическую черту и очень выдающуюся черту, а остальное предоставьте моему воображению. Въ этомъ заключается настоящее мастерство и самое высокое мастерство». ¹⁾ И затѣмъ онъ съ восторгомъ цитируетъ слова Овидія о богинѣ морей:

Nec brachia longo
Margine terrarum parrexerat Amphitrite.

Какая картина! — восклицаетъ онъ. Какія руки! Какія удивительные движения! Какая фигура! и т. д. въ тонѣ своего обычного паѳоса.

Никто не станетъ сравнивать эти неполныя отрывочные сужденія съ тѣмъ всестороннимъ спокойнымъ мастерствомъ, съ которымъ Лессингъ излагаетъ многочисленныя развѣтвленія своей основной идеи въ *Лаокоонѣ* и недоконченныхъ къ нему дополненіяхъ. Мы можемъ только замѣтить, что Дидро стоялъ одной ногой на томъ самомъ пути, на которомъ Лессингъ впослѣдствіи достичь такихъ замѣчательныхъ результатовъ. Если читатель захочетъ точнѣе оцѣнить плоды болѣе серьезнаго и сосредоточеннаго вниманія, съ которымъ Лессингъ относился къ своему предмету, пусть онъ сравнитъ двѣнадцатую главу *Лаокоона* съ тѣмъ, какъ анализируетъ Дидро картину Дуайена *Битва между Диомедомъ и Энеемъ*. ²⁾ Видя, какъ близокъ былъ Дидро къ правильному взгляду на всѣ эти предметы и какъ однако онъ былъ еще далекъ отъ полнаго пониманія того, что стало бы доступно для его высокаго ума при сколько нибудь послѣдовательномъ изученіи предмета, мы не безъ скорби припоминаемъ его собственное признаніе: «Я сознаю, что не употребилъ въ дѣло и половины моихъ способностей: *jus qu' à présent je n'ai que baguenaudé*».

Касательно великаго музыкального искусства Дидро не высказалъ много такого, что было бы достойно вниманія. Нѣмецкій музыкантъ Бемеридеръ, дававшій его дочери уроки на клавикордахъ, написалъ начальное руководство подъ названіемъ *Уроки на клавикордахъ и принципы Гармонии*. Новѣйшіе преподаватели музыки считаютъ это произведение никуда негоднымъ. Но Дидро, съ свойственнымъ ему безграничнымъ добродушіемъ, задалъ себѣ трудъ изложить содержаніе этого сочиненія въ цѣломъ рядомъ диалоговъ, въ которыхъ наставникъ, ученикъ и философъ высказываютъ другъ другу разныя изысканныя любезности и осыпаютъ другъ друга комплиментами. Это напоминаетъ одну изъ старинныхъ еврейскихъ грамматикъ, изложенную въ формѣ разговора съ какой то герцо-

¹⁾ *Oeuvres*, XI. 328.

²⁾ *Salon de 1761; Oeuvres*, V. 140.

гиней: «Ваша свѣтлость изволили милостиво одобрить составленный мною планъ. Все это, вѣроятно, уже извѣстно Вашей Свѣтлости, но Ваша Свѣтлость, вѣроятно, никогда еще не изволила».... и т. д.

Нелѣпости, которыя писались литераторами изъ добродушнаго желанія оказать пріятельскую услугу, не такъ многочисленны, чтобы мы не могли относиться къ нимъ съ добродушной снисходительностью. Статьи Дидро о художественныхъ выставкахъ имѣютъ столько достоинствъ, что этимъ достоинствами прикрываются многочисленные его грѣхи по другимъ отраслямъ искусства. Въ европейской литературѣ не много произведеній, которыя бы такъ же хорошо объясняли намъ, какимъ образомъ критика искусства сама можетъ сдѣлаться изящнымъ искусствомъ.

ГЛАВА XII.

Петербургъ и Гага.

«Что сказали-бы вы о хозяинѣ огромнаго дворца, проводящемъ всю свою жизнь въ томъ, что онъ изъ погреба взбирается на самый верхній этажъ, а изъ верхняго этажа опять спускается въ погребъ, вмѣсто того, чтобы спокойно сидѣть среди своего семейства? А въ этомъ и заключается препровожденіе времени того, кто путешествуетъ». Однако Дидро, которому принадлежать приведенные слова, рѣшился предпринять, когда ему было шестьдесятъ лѣтъ, такое дальнее путешествіе, какъ поѣздка въ столицу, лежащую на берегахъ Невы. Ему пришла на умъ мысль или можетъ быть другіе внушили ему мысль, что онъ обязанъ сдѣлать визитъ своей августейшей благодѣтельницѣ, облегчившай своими щедротами бремя его житейскихъ заботъ. Онъ только-что познакомился съ двумя знатными русскими особами. Одна изъ нихъ была княгиня Дашкова, считавшаяся за дѣятельную участницу въ переворотѣ 1762 года, окончившемся возведеніемъ Екатерины II на престолъ. Внавши въ немилость, она пустилась путешествовать по Европѣ. Горасъ Вальполь описалъ намъ, съ какимъ любопытствомъ смотрѣли въ Лондонѣ на эту амазонку, принимавшую участіе въ важныхъ политическихъ событіяхъ, когда ей было только девятнадцать лѣтъ. Въ Англіи она произвела хорошее впечатлѣніе несмотря на то, что въ ея глазахъ отражалось «настоящее Катилиновское высокомѣріе». Ей также понравидалась Англія и когда она перѣехала изъ Лондона въ Парижъ, она вовсе не старалась пріобрѣтать друзей въ столицѣ враждебной англичанамъ націи. Дидро былъ, какъ кажется, единственный человѣкъ, съ которымъ она была въ интимныхъ отношеніяхъ. Княгиня (1770) забѣжала за нимъ почти каждый день, увозила его обѣдать и удерживала его у себя до утра, слушая его

рассказы и декламацию. Ее забавляли «ураганы его восторженной натуры» и много лѣтъ спустя послѣ того она вспоминала, какъ она однажды до того взволновала его, что онъ быстро вскочилъ со стула, сталъ бѣгать взадъ и впередъ по комнатѣ и съ яростью плевать на полъ.¹⁾

Другимъ болѣе влиятельнымъ русскимъ пріятелемъ Дидро былъ князь Голицынъ. Это былъ одинъ изъ тѣхъ иностранцевъ, которые подобно Гольбаху, Гримму и Галіани, чувствовали себя въ Парижѣ болѣе дома, чѣмъ въ какомъ либо другомъ мѣстѣ земного шара. Онъ проводилъ время большую частью среди артистовъ и литераторовъ и скоро сдѣлался ихъ общимъ любимцемъ. Съ помощью Дидро (1767) онъ приобрѣлъ для императрицы много произведений живописи, служащихъ украшениемъ петербургской картинной галлерей, и Дидро высоко цѣнилъ его пониманіе изящныхъ искусствъ, такъ какъ у него былъ велиcantъ принципъ вѣрнаго вкуса—*belle âme*.²⁾ Князь писалъ пастушескія стихотворенія на французскомъ языкѣ и взялся за болѣе полезную и болѣе трудную задачу— написать на своеимъ родномъ еще не вполнѣ обработанномъ языкѣ изслѣдованіе о великихъ живописцахъ Италии и Голландіи.³⁾ Дидро тонко замѣчаетъ на его счетъ, что онъ вѣрилъ въ равенство всѣхъ слоевъ общества по инстинкту,—а это гораздо лучше чѣмъ вѣрить въ равенство всѣхъ доводовъ разсудка.⁴⁾ Чрезъ посредство этого дружески расположенного и интеллигентнаго человѣка императрица и купила библіотеку Дидро. Въ 1769 г. онъ былъ назначенъ русскимъ посланникомъ въ Гагѣ и былъ доволенъ этимъ назначениемъ главнымъ образомъ потому, что оно давало ему возможность жить неподалеку отъ его парижскихъ друзей.

Дидро отправился въ путь лѣтомъ 1773 г.,—въ то самое время какъ Джонсонъ предпринялъ свою знаменитую поѣздку на Гебридскіе острова,—и мѣстомъ его первой остановки была столица Голландіи, находившаяся въ то время на разстояніи четырехъ дней пути отъ Парижа. Тамъ онъ пробылъ нѣсколько недѣль въ нерѣшительности на счетъ того, приводить-ли въ исполненіе проектъ гораздо болѣе длиннаго путешествія. Большую часть своего времени онъ проводилъ въ обществѣ князя и княгини Голицыныхъ, которые были добры къ нему какъ братъ и сестра. Онъ упоминаетъ о томъ, что ихъ домъ когда-то служилъ мѣстопребываніемъ для Барневель-

¹⁾ *Memoirs of Princess Dashkoff* (vol. II), изд. Брайфорда, спутника и пріятеля княгини. (Лондонъ, 1840). См. что пишетъ объ ней Дидро, *Oeuvres*, XVII. 487. Сравн. *Письма Гораса Вальполя*, V. 266.

²⁾ *Oeuvres*, XVIII. 239.

³⁾ Гримма Сог. Lit. XV. 18. Дидро, XVIII. 251.

⁴⁾ *Oeuvres*, XIX. 250.

да. Такие люди какъ Дидро рѣдко останавливаютъ свое вниманіе на историческихъ условіяхъ своего собственного времени, иначе мы были бы въ правѣ ожидать отъ него какихъ нибудь размышленій по поводу того, что эта страна свободы и терпимости нерѣдко служила спасительнымъ убѣжищемъ для тѣхъ, кто еще прежде него подвизался на литературномъ поприщѣ во имя эманципаціи. Декартъ провелъ двадцать лѣтъ (1629—1649) между голландскими бургераами, пользуясь неоцѣнімой свободой. Основныя идеи Энциклопедіи пришли прямымъ путемъ отъ Бэйля (ум. 1706) и Локка (ум. 1704) а и Бэйль и Локкъ были обязаны, хотя и не въ одинакой мѣрѣ, своей безопасностью тому упорному мужеству, съ которымъ Голландцы защищали свое отечество и научили англичанъ защищаться отъ пагубныхъ притязаній католического абсолютизма. Такія воспоминанія вѣроятно не приходили на умъ Дидро, точно также какъ не приходили на умъ Декарта теоріи Гроція или художественные произведения Рембранда. Сантиментальность къ историческимъ фактамъ не была ни въ духѣ того времени ни въ духѣ Дидро. «Чѣмъ ближе я знакомлюсь съ этой страной», — писалъ онъ своимъ парижскимъ пріятелямъ, — «тѣмъ болѣе я чувствую себя какъ дома. Камбала, свѣжіе сельди, палтусы, окуни, — все это прекрасныя вещи. Мѣста для прогулки прелестны; не знаю добродѣтельны-ли здѣшнія женщины, но когда онѣ проходятъ мимо меня въ большихъ соломенныхъ шляпахъ съ опущенными внизъ глазами и съ огромными косынками, прикрывающими ихъ талию, онѣ точно будто возвращаются изъ церкви или идутъ на исповѣдь». Впрочемъ Дидро дѣлаетъ и болѣе серьезныя наблюденія. Его замѣчаніе касательно того, какъ нужно путешествовать, чтобы извлекать изъ путешествія самую большую для себя пользу, полны здраваго смысла, а написанныя имъ замѣтки о Голландіи доказываютъ, что онѣ не были лишены того дара проницательной наблюдательности, какого мы въ правѣ ожидать отъ него. ¹⁾ Я считаю болѣе умѣстнымъ поговорить подробно объ этомъ предметѣ, когда буду вести рѣчь о его вторичной установкѣ въ Гагѣ на возвратномъ пути изъ Россіи.

Послѣ долгихъ колебаній жребій наконецъ былъ брошенъ. Камергеръ Нарышкинъ взялъ философа на свое попеченіе и выѣхалъ вмѣсть съ нимъ въ отличномъ экипажѣ по грустной дорогѣ, которая ведетъ въ столицу, основанную Петромъ Великимъ. Здѣсь умѣстно будетъ сдѣлать небольшое отступленіе для того, чтобы объяснить соціальное и интеллектуальное различіе между столицей, которая служила для философа постояннымъ мѣстопребываніемъ и той столицей, куда онъѣхалъ, и для того чтобы выяснить значеніе этой

¹⁾ Oeuvres, XVIII. 365, 471.

побѣдки. Только тогда мы будемъ въ состояніи понять, какое положеніе занимали Энциклопедисты въ Европѣ и почему близкое знакомство со всѣмъ, что ихъ касается, интересно для всякаго, кто изучаетъ исторію западной цивилизациі. Для того, чтобы составить себѣ ясное понятіе о цѣляхъ революціонной философіи и о первенствующей роли, которую игралъ Парижъ на западѣ Европы, мы должны слѣдить не только за тѣмъ, что дѣжалось въ Фернѣ и Грандвалѣ, въ салонахъ г-жи Жоффренъ и дѣвицы Леспинассъ, но и за тѣмъ, что происходило въ дворцахъ Флоренціи, Берлина, Вѣны и Петербурга.

Перенестись въ Россію изъ Голландіи,—этой страны съ свободными учрежденіями, съ мирной промышленной дѣятельностью, съ накопленными богатствами, съ многообразными и оригинальными произведеніями искусства, съ великими политическими и литературными преданіями,—значило измѣрить ступени развитія западной Европы и возвратиться назадъ по пятамъ генія цивилизациі. Политическая столица Россіи представляла собою насильственное и искусственное сочетаніе старыхъ условій общественной жизни съ новыми. По словамъ одного очевидца, въ Петербургѣ соединились: вѣкъ варварства съ вѣкомъ цивилизациі, десятое столѣtie съ восемнадцатымъ, нравы Азіи съ нравами Европы, самые грубые Скиѳы съ самыми образованными европейцами, блестящая и гордая аристократія съ народомъ погруженнымъ въ рабство! Съ одной стороны—изящная моды, великолѣпные туалеты, роскошные пиры, блестящія празднества и театры, совершенно похожіе на тѣ, которые вносили одушевленіе въ избранные кружки лондонскаго и парижскаго общества; съ другой стороны—торговцы въ азіатскихъ костюмахъ, кучера, слуги и крестьяне въ бараныхъ туникахъ, съ длинными бородами, мѣховыми шапками, длинными рукавицами и топорами, висящими на кожаныхъ поясахъ. Толстые шерстяные валики, надѣтые на ихъ ноги, походили на грубые котурны, а тому, кто видѣлъ барельефы на Трояновой колонѣ въ Римѣ, неуклюжія физіономіи этихъ людей напоминали наводившихъ ужасъ на имперію Скиѳовъ, Даковъ, Готоевъ, и Роксолановъ.¹⁾ Научное образованіе было ограничено самыми узкими рамками. Хотя Россія и была во многихъ отношеніяхъ восточнымъ государствомъ, она отличалась отъ восточныхъ странъ тѣмъ, что русскія женщины были,—и какъ слышно, до сихъ поръ еще бываются,—болѣе образованы и развиты, чѣмъ мужчины. Многія изъ нихъ могли выражаться на нѣсколькихъ иностраннѣхъ языкахъ, умѣли играть на различныхъ инструментахъ и были знакомы съ произведеніями знаме-

¹⁾ Сегюра Мѣм. II. 230.

нитыхъ поэтовъ Франціи, Италіи и Англіи. Напротивъ того между мушинами, за исключениемъ немногихъ семействъ, приближенныхъ къ двору,—громадное большинство было совершенно незнакомо съ тѣмъ, что дѣлается въ предѣловъ ихъ отечества. Немногіе русскіе, побывавшіе за границей и стоявшіе на одномъ умственномъ уровнѣ съ своимъ вѣкомъ, имѣли такъ же мало общаго съ своими соотечественниками, какъ мало общаго между англичанами и Ирокезами.

Кто-то сказалъ, что нужно имѣть перо Прокопія, чтобы описать дворъ Екатерины вѣрными красками. Это было гнѣздо разврата, интригъ, зависти, насилий и ненависти. Однажды Екатерина сказала обращаясь къ окружавшимъ ее двадцати семи царедворцамъ: «Если бы я повѣрила тому, что вы говорите другъ про друга, то оказалось бы, что между вами нѣтъ ни одного, который не заслуживаетъ, чтобы ему отсѣкли голову». Одна княгиня была извѣстна своей безчеловѣчной жестокостью. Она нечаянно узнала, что одна изъ ея горничныхъ родила ребенка; въ ярости бросилась она на беззащитную Каллисто, преслѣдую ее изъ одной комнаты въ другую, наконецъ догнала ее, ударила ее по головѣ тяжелымъ орудиемъ и въ изступленіи отъ гнѣва, сорвала съ нея одѣжды. Когда двумъ царедворцамъ случалось поссориться, они бросались другъ на друга точно пьяные чернорабочіе, а у Потемкина одинъ глазъ былъ выбитъ въ подобной придворной дракѣ. Эти отвратительныя сцены даютъ намъ мѣру того, на сколько въ Версаліи было болѣе гуманности, и объясняютъ намъ, почему дуэль можетъ считаться за признакъ болѣе высокой цивилизациі. Господствующими страстями были жадность къ деньгамъ и удовлетвореніе грубаго тщеславія. Дружба, добродѣтель, вѣжливость, деликатность, честность,—все это, по словамъ одного очевидца, были тамъ не болѣе какъ слова, лишенныя всякаго смысла. Веденіе государственныхъ дѣлъ было настроено на такой же грубый тонъ, какъ и отношенія между частными людьми. Сэръ Г. Макартнэ говорить, что онъ можетъ въ подтвержденіе этого сослаться на заявленія Клерка и Тиллотсона въ Константинопольскомъ диванѣ и на авторитетъ Пуффендорфа и Гроція.

Отзывы о характерѣ самой императрицы не такъ единогласны, какъ мнѣнія о томъ обществѣ, въ средѣ котораго она была единственной внушавшей уваженіе личностью. Въ исторіи она стоитъ на ряду съ английской королевой Елизаветой, съ Катериной Медици, съ Марией Терезой въ числѣ тѣхъ женщинъ, которыхъ были похожи на великихъ мужей. Здѣсь не мѣсто говорить о томъ, что она сдѣлала для организаціи громадной имперіи, примыкающей съ одной стороны къ Пруссіи, а съ другой къ Китаю. Только въ наше время становятся доступными тѣ материалы, по которымъ можно ближе ознакомиться

сь ея личностью и оцѣнить ея дѣятельность¹⁾). При этомъ,—какъ это всегда бываетъ въ подобныхъ случаяхъ,—быстро исчезаютъ ми-
тические элементы, окружавшіе ее подобно блѣдному туману сѣвер-
ныхъ морей, изъ которого ея личность выдѣлялась какъ какой-то
призракъ, и вместо неясныхъ очертаній нашимъ взорамъ предста-
вляется обыкновенный человѣческій образъ съ болѣе чѣмъ обыкно-
венными человѣческими размѣрами твердости, решительности и яснаго
пониманія своего положенія.

Чтобы вѣрно охарактеризовать ея личность, мы должны обратить-
ся отъ философовъ къ дѣловымъ людямъ. Эти послѣдніе разсказы-
ваютъ намъ, что она представляла собою небывалое смѣщеніе отваги
съ слабостью, знанія съ некомпетентностью, твердости съ нерѣши-
тельностью; переходя поочередно къ самымъ противоположнымъ край-
ностямъ, она представлялась въ тысячахъ различныхъ видовъ, такъ
что наблюдателю не оставалось ничего другаго, какъ признать за
нею замѣчательное искусство притворяться. У нея не было быстрыхъ
соображеній. Она не была въ состояніи понять очень тонкаго
остраго слова, и была способна объяснить его въ противоположномъ
смыслѣ. Она не любила никакихъ шутливыхъ замѣчаній о финан-
сахъ, о военныхъ силахъ и даже о климатѣ ея имперіи²⁾. Поли-
тическая сторона ея натуры была самой серьезной ея стороной. У
нея была склонность къ литературѣ, но не было литературныхъ
способностей Фридриха Великаго. Есть достовѣрныя указанія на то,
что она написала для своего внука не только сокращенную исторію
Россіи, но и цѣлый томъ нравственныхъ разсказовъ³⁾. Но сочине-
ніе нравственныхъ разсказовъ не имѣло никакой связи съ нравствен-
ностью. Точно такъ какъ у Лудовика XV были разныя Шатору,

1) Императорское историческое общество издаетъ теперь *Общій Сборникъ документовъ*, въ числѣ которыхъ есть не мало и такихъ, которые бросаютъ свѣтъ на сношенія Екатерины съ литераторами. Въ архивахъ кн. Воронцова (въ особенности въ т. XII), въ массѣ вещей не имѣющихъ никакого значенія для занимающаго насть предмета, есть и кое-что интересное. Рамбо,—авторъ учеваго сочиненія о греческой имперіи въ десятомъ столѣтіи,—сдѣлалъ интересныя извлечения изъ названнаго источника и изложилъ ихъ въ двухъ статьяхъ, напечатанныхъ въ *Revue des deux Mondes* за февраль и апрель 1877 года. Кроме свѣдѣній, которыхъ можно почерпнуть отъ Вильяма Тука, Сегюра, Дашковой, пользующихся всѣми признаннымъ авторитетомъ, есть еще не мало интересныхъ страницъ въ мемуарахъ князя де-Лини,—этой привлекательной и интересной личности. Выдержки изъ англійскихъ и французскихъ депешъ я заимствовалъ изъ анонимнаго но исторически достовѣрнаго произведения, напечатаннаго въ Берлинѣ въ 1858 г. подъ заглавиемъ: *La Cour de la Russie sous les empereurs: 1725—83; extraits des d閒r鑑hes des Ambassadeurs anglais et fran莽ais*. Собственные мемуары Екатерины, изданные въ 1859 г. въ Лондонѣ Александромъ Герценомъ, внушаютъ сильное сомнѣніе въ ихъ подданности.

2) *M m. du Prince de Ligne*, p. 101.

3) Сегюръ, 219.

Помпадуръ, Дюбарри, у Екатерины были Орловы и Потемкины и безчисленное множество ничтъмъ не замѣчательныхъ любимцевъ въ родѣ Васильчикова, Завадовскаго, Зорича, Корсакова. Въ серьезныхъ дѣлахъ главнымъ для нея образцомъ и идоломъ былъ Лудовикъ XIV. Всякое критическое замѣчаніе касательно знаменитаго короля она считала за личное для себя оскорблѣніе. Своимъ занятіямъ въ качествѣ государыни—*to printé page*, какъ она называла поученія о своей огромной неустроенной имперіи,—она предавалась съ такой же неутомимой дѣятельностью, какъ и самъ Лудовикъ въ лучшую пору своей жизни. Не смотря на всѣ усилия улучшить положеніе имперіи, она не была популярна и не пользовалась любовью своихъ подданныхъ, но она, какъ кажется, не столько заботилась о мнѣніяхъ и чувствахъ русскаго народа, сколько объ одобрѣніи Европы. Она не любить трагедій, писалъ французскій посланникъ, а комедіи надоѣдаются ей; она не любить музыку; ея столь пишено всякой изысканности; въ саду она заботится только о розахъ; она любить только заниматься постройками и вводить дисциплину при своемъ дворѣ; что же касается ея склонности къ тому, чтобы царствовать и розыгрывать въ мірѣ важную роль, то это скрѣвѣ всепоглощающая страсть, чѣмъ склонность.

Англійскій повѣренный въ дѣлахъ Гённингъ утверждалъ, что мотивомъ для всѣхъ ея патріотическихъ усилий служило не желаніе общаго блага, а ненасытная и безграницная жажда славы. «Иначе мы были бы должны обвинить ее въ доходящей до сумасбродства непослѣдовательности за то, что она предпринимала множество огромныхъ построекъ для общественной пользы, основывала коллегіи и академіи по самому широкому плану и съ огромными денежными затратами, а потомъ оставляла эти предприятия недоконченными, и даже не доводила постройки до окончанія». Все это дѣлалось съ прѣлію вызвать со стороны иностранцевъ похвалы съверной Семирамидѣ и больше этого ничего не требовалось. Здѣсь есть множество академій и для искусствъ и для наукъ,—писалъ французскій посланникъ,—но въ академіяхъ мало сюжетовъ для занятій и еще менѣе воспитанниковъ. И откуда взяться воспитанникамъ въ такой странѣ, гдѣ нѣть другихъ людей кромѣ царедворцевъ, солдатъ и рабовъ? Принцесса Софія Ангальтская воспитывалась французской гувернанткой за долго до того времени, когда въ ней зародились мечты о престолѣ, а развившіеся въ ней подъ вліяніемъ этой гувернантки вкусы превратились въ такую страсть къ французской литературѣ, которую можно сравнить только съ подобной страстью Фридриха Великаго. Екатерина только поддерживала то движение умовъ, которое уже достигло значительныхъ размѣровъ въ царствованіе ея предмѣстника. Общественная реакція противъ политическа-

го преобладанія Германіи сопровождалась симпатіями къ Франції. Французскіе профессора по части искусствъ и литературы получали приглашеніе переселяться въ Москву, дворяне Ѵздили въ Парижъ запасаться одеждами и домашней обстановкой, а въ Петербургѣ былъ открытъ французскій театръ и дворяне были обязаны посѣщать его подъ угрозой денежнаго штрафа. За тѣми, кто не являлся во время въ свою ложу, посыпали конныхъ гонцевъ.

Сама Екатерина была болѣе серьезна и болѣе интеллигентна въ своихъ влеченияхъ къ французской культурѣ. Она начинала съ чтенія книгъ, въ которыхъ всего сильнѣе сказывалось старое французское остроуміе,—съ Рабелэ, Скаррона, Монтэні; она восхищалась Мольеромъ и Корнелемъ; а между писателями восемнадцатаго столѣтія,—если не считать Вольтера,—любимцемъ ея былъ авторъ Жиль-Блаза. Эти имена уже сами по себѣ свидѣтельствуютъ о томъ, что она чувствовала влечение ко всему, что энергично, остроумно и изящно. «*Jesuis une Gauloise du nord*,—говорила она,—«и понимаю только прежнихъ французовъ, но не понимаю новыхъ. Я думала, что извлеку какую нибудь пользу изъ вашего образованнаго сословія, изъ вашихъ ученыхъ разныхъ наименованій съ окончаніями на *истъ*: я испытала ихъ на дѣлѣ; я выписала сюда нѣкоторыхъ изъ нихъ; при случаѣ я переписывалась съ ними; они надѣли мнѣ до смерти и никогда не умѣли понять меня; только мой добрый покровитель Вольтеръ составляетъ исключение. Знаете ли вы, что Вольтеръ тотъ, кто былъ моимъ руководителемъ?»¹⁾ Это было секретное признаніе, сдѣланное много времени спустя послѣ того, какъ философы большую частію уже окончили свое земное существованіе. Даже если бы мы не имѣли столь несомнѣннаго свидѣтельства, какъ приведенные слова самой Екатерины, мы безъ труда могли бы открыть секретъ ея дружбы съ такимъ человѣкомъ, какъ Дидро. Екатерина искала философъ, потому что они были въ славѣ, а не потому что она сочувствовала ихъ идеямъ. Въ ту пору они привлекали къ себѣ вниманіе всей Европы, точно такъ какъ въ различныя эпохи привлекали къ себѣ ея вниманіе то знатоки греческой литературы, то живописцы, то великие мастера въ религіозной полемикѣ. «Главное достоинство Франціи»,—сказалъ Вольтеръ,—«то достоинство, которое даетъ ей преобладающее значеніе, заключается въ томъ, что у нея есть нѣсколько замѣчательныхъ или привлекательныхъ геніальныхъ людей, благодаря которымъ французскій языкъ въ употребленіи и въ Вѣнѣ и въ Стокгольмѣ и въ Москвѣ. Ваши министры, ваши интенданты, ваши главные секретари не имѣютъ никакой доли участія въ приобрѣтеніи такой славы». Бла-

¹⁾ Къ князю де-Лину.

годаря общеизвѣстности философовъ и литература ихъ отечества пріобрѣла всеобщую извѣстность. Даже въ такомъ отдаленномъ краѣ, какъ Крымъ, одиы татарскій ханъ находилъ наслажденіе въ томъ, что приказывалъ читать ему вслухъ *Tartюfa* и *Le Bourgeois Gentilhomme*¹⁾.

Тотчасъ послѣ восшествія своего на престолъ (1762) Екатерина стала стараться пріобрѣтать себѣ друзей въ этой вліятельной сферѣ. Понятно, что она должна была начать съ всемогущаго патріарха, жившаго въ Фернѣ. Любезные стихи отъ Вольтера были такимъ же украшеніемъ для коронованной главы, какъ и діадема и Екатерина отвѣчала на нихъ любезностями, которыхъ едва ли не были болѣе искренни, чѣмъ самые стихи. Она не знаетъ, какъ отблагодарить его за присланная ей книги и наконецъ рѣшаетъ, что любителю человѣческаго рода ничто не доставить такого удовольствія, какъ введеніе въ ея обширной имперіи оспопрививанія; и вотъ она выписываетъ изъ Англіи доктора Димсдэля и позволяетъ исполнить этотъ обрядъ надъ своей собственной священной особой. Она посыпаетъ мѣхъ въ подарокъ живущему среди Альповъ отшельнику, а императорскій посланецъ разсказываетъ ему, какъ онъ радъ тому, что ему пришлось побывать въ Фернѣ. Но Вольтеръ былъ доволенъ не столько присылкой ему мѣховъ, сколько тѣмъ, что Екатерина безъ замедленія и съ большой акуратностью уведомляла его о своихъ военныхъ и политическихъ предпріятіяхъ противъ Турціи. Благодаря этому онъ дѣлался средоточіемъ европейской интеллигенціи не въ одномъ только литературномъ смыслѣ слова и въ борьбѣ, длившей всю его жизнь, могъ позировать,—покрайней мѣрѣ въ своихъ письмахъ,—какъ равный съ своимъ другомъ королемъ Пруссікимъ. Д'Аламберомъ императрица восхищалась, но нѣсколько менѣе чѣмъ Вольтеромъ. Она очень желала, чтобы онъ перебѣхалъ въ Россію для руководства воспитаніемъ молодаго Великаго Князя. Но д'Аламберъ былъ слишкомъ благоразуменъ, чтобы переселиться въ Петербургъ, точно такъ же какъ онъ былъ слишкомъ благоразуменъ, чтобы предпринимать поѣздку въ Берлинъ. Монтескѣё умеръ за пять лѣтъ до восшествія Екатерины на престолъ, но его вліяніе на нее не ослабѣвало. Она называла *Духъ Законовъ* молитвенникомъ королей и когда начертала руководство для составленія новаго свода законовъ, призналась, что многое заимствовала отъ Монтескѣё. «Я надѣюсь»,—сказала она,—«что еслибы онъ могъ изъ другаго міра видѣть меня за этой работой, онъ простишь бы мнѣ это литературное воровство ради той пользы, которую оно доставить двадцати миллионамъ людей». На самомъ дѣлѣ эти двадцать миллионовъ лю-

¹⁾ Rambaud; p. 573.

дей не получили большой пользы отъ упомянутаго свода законовъ. Изъ теоріи самаго Монтескіе она могла бы усмотрѣть, что даже абсолютная власть не въ состояніи ввести гражданскую систему свободного труда въ такое общество, которое основано на рабствѣ. Но въ томъ нѣтъ ничего удивительного, что Екатерина не обнаружила болѣе мудрости, чѣмъ другіе болѣе демократические преобразователи, черпавшіе свои идеи изъ французскихъ источниковъ. А можетъ быть и сама она въ глубинѣ души сознавала негодность ея кодекса для практическаго примѣненія, но не хотѣла сознаться въ этомъ передъ парижскими философами.

Екатерина не позабыла, что хотя французскія идеи преобладали въ ту пору въ литературѣ, однако и въ другихъ странахъ были достойные и полезные люди. Она вела переписку съ ганноверцемъ Циммерманомъ, написавшимъ сочиненіе объ *Уединеніи*, которое можно найти у всѣхъ даже второстепенныхъ книгопродавцевъ. Она очень старалась склонить Беккарію къ переселенію изъ Флоренціи въ Петербургъ. Ей удалось убѣдить Эйлера возвратиться въ столицу, куда онъ былъ за много лѣтъ передъ тѣмъ приглашенъ Екатериной I-й и где онъ теперь снова поселился.

И по своему положенію и по своему темпераменту Екатерина не могла находить ни пользы ни удовольствія въ обществѣ лицъ одного съ ней пола. «Не знаю, происходит ли это отъ привычки или отъ склонности», — писала она, — «но я могу вести разговоръ только съ мужчинами. Есть только двѣ женщины, съ которыми я въ состояніи поддерживать разговоръ въ теченіи получаса». Въ числѣ тѣхъ, съ кѣмъ она была въ самой интимной перепискѣ, была одна женщина, хорошо знакомая кружку Энциклопедистовъ. Она дѣятельно обмѣнивалась письмами съ г-жою Жофреанъ — этой интересной особой, которая хотя и принадлежала къ буржуазіи и не имѣла ни малѣйшихъ признаковъ литературнаго таланта, но получала доказательства особагоуваженія и отъ Екатерины, и отъ Станислава, и отъ Густава, и отъ Іосифа II¹⁾.

И такъ на переписку Екатерины съ европейскими знаменитостями слѣдуетъ въ нѣкоторой мѣрѣ смотрѣть какъ на результатъ политическихъ расчетовъ. У ней отчасти были тѣ же самыя цѣли, на которыхъ въ наше время нѣкоторыя правительства употребляютъ такъ называемый *фондъ пресмыкающихся*. До насъ дошло одно письмо герцогини Шуазѣль къ г-жѣ дю-Деффанъ — ея близкому другу и другу многихъ людей, принадлежавшихъ къ литературному кружку; въ этомъ письмѣ на-прямикъ высказанъ секретъ тѣхъ отношеній, ко-

1) См. введеніе, которое Муи предпослалъ ея перепискѣ съ Станиславомъ.

торыя существовали между Екатериной и литераторами. «Все это покровительство искусствамъ и наукамъ», — писала она, — «есть ничто иное какъ роскошь и капризъ современной моды. Всъ эти пышныя фразы — продуктъ тщеславія, а не принциповъ или убѣжденія.... Императрица Всероссійская, покровительствуя литературѣ, имѣть въ виду другую цѣль; у ней достаточно здраваго смысла, чтобы понимать, что ей нужна поддержка литераторовъ.... Съ своей стороны литераторы, которымъ она расточаетъ лесть, ухаживанія и любезности, чванятся тѣмъ, что въ состояніи оказывать ей поддержку и позволяютъ морочить себя ея заискаваніями. Эти люди, утверждающіе и воображающіе, будто они руководятъ владыками міра, унижаются до того, что гордятся поддержкой, которую и она съ своей стороны имъ оказываетъ, и гордятся только потому, что она возсѣдаетъ на тронѣ»¹⁾.

Короче сказать, сѣверные монархи сознавали вліяніе литераторовъ и умѣли имъ пользоваться, тогда какъ собственный государь этихъ литераторовъ сознавалъ ихъ вліяніе только для того, чтобы ихъ угнетать. Этотъ контрастъ между либерализмомъ сѣверныхъ монарховъ и обскурантизмомъ французского короля постоянно проявлялъ себя нагляднымъ образомъ. *Велизарий* Мармонтеля былъ осужденъ Сорbonной и сожженъ у подножія главной лѣстницы Судебной Палаты, а въ Россіи нѣсколько царедворцевъ поспѣшили перевести его на русскій языкъ, и сама императрица взяла на себя переводъ одной главы. Дидро не имѣлъ доступа во французскую академію, но былъ принятъ съ почетомъ во дворцѣ русской государыни. За все это Екатерина была щедро вознаграждена. Когда Дидро прибылъ въ Петербургъ, Вольтеръ поздравилъ императрицу съ тѣмъ, что она можетъ познакомиться съ этой единственной въ своемъ родѣ личностью, но, — прибавилъ онъ, — «Дидро — не единственный французъ, приходящій въ восторгъ отъ вашего величія. Мы — свѣтскіе миссіонеры, проповѣдующіе религію св. Екатерины, и мы можемъ похвастаться тѣмъ, что наша церковь порядочно обширна»²⁾. Мы уже говорили о томъ, что Екатерина изъ великодушія пріобрѣла библіотеку Дидро и назначила ему жалованье за то, чтобы онъ хранилъ ее въ качествѣ ея библіотекаря. «Я никакъ не ожидала,» — сказала она, — «что покупка библіотеки доставить мнѣ столько изысканныхъ комплиментовъ; всѣ осыпаютъ меня похвалами за эту покупку. Но вы, — кому человѣчество обязано сильной поддержкой, оказанной вами невинности и добродѣтели въ лицѣ Каласа, — вы

1) Correspondance Complète de Mme du Deffand, I, 115, (изд. 1877).
Июнь 1767.

2) 1 ноября 1773.

должны сознаться, что было бы жестоко и несправедливо разлучать ученаго съ его книгами¹⁾. «Ахъ, ваше величество», — отвѣчаетъ на это самый любезный изъ всѣхъ царедворцевъ, — «прошу вѣсль извинить меня; нѣть, вы не сѣверное сіяніе, а безспорно самая блестящая сѣверная звѣзда и никогда еще не было такой благотворной звѣзды какъ вы. Андромеда, Персей, Каллисто не могутъ равняться съ вами. Всѣ эти звѣзды оставили бы Дидро умирать съ голода. Его преслѣдовали въ его родной странѣ, а ваши благодѣянія отыскали его тамъ! Лудовикъ XIV былъ менѣе великодушенъ, чѣмъ ваше величество: онъ награждалъ достоинства въ чужихъ странахъ, но на нихъ указывали ему другіе, тогда какъ вы сами отыскивали ихъ и сами нашли ихъ. Ваши великодушныя старанія возстановить въ Польшѣ свободу совѣсти представляютъ такой актъ благотворительности, за который человѣчество всегда будетъ прославлять васъ»²⁾.

Когда черезъ семь лѣтъ послѣ того состоялся первый раздѣлъ Польши, Екатерина доказала, что она не безъ практической цѣли поддерживала дружескія сношенія съ французскими философами. Образъ дѣйствій господствовавшей въ Польшѣ партіи вызвалъ со стороны Екатерины такія мѣры, которыя затрогивали во французскихъ философахъ ихъ самую чувствительную струну. Польская олигархія была предана католицизму и налагала самыя обременительныя стѣсненія на ту часть населенія, которая не исповѣдывала католической вѣры. Касательно сейма 1764 года король Станиславъ писалъ г-жѣ Жоффенѣ: «При малѣйшей попыткѣ что либо сдѣлать въ пользу не-католиковъ, раздаются страшные возгласы фанатизма! Недопущеніе натурализаціі иностраницъ, презрѣніе къ такъ называемымъ готигіегс и угнетеніе ихъ, а также католическая религіозная нетерпимость, — вотъ тѣ главные предразсудки моихъ соотечественниковъ, съ которыми я долженъ бороться; въ сущности это хорошие люди, но ихъ воспитаніе и ихъ невѣжество дѣлаютъ ихъ крайне неуступчивыми по этимъ тремъ пунктамъ». ³⁾ Польша воспроизвѣдila въ сокращенномъ видѣ, но въ увеличенной и болѣе варварской формѣ, тѣ вредныя стороны католического феодализма, въ которыхъ философы видѣли главный источникъ дѣйствій ихъ собственного отечества. Екатерина вступилась за диссидентовъ и приняла на себя роль защитницы религіозной терпимости. А такъ какъ терпимость была главнымъ изъ всѣхъ философскихъ лозунговъ, то, видя его на знамени императрицы, энциклопедическая партія и не

1) Ноябрь 1766.

2) 22 декабря 1766.

3) Согласно стр. 135, 144 и пр.

заявляла никакихъ другихъ требованій. Вотъ почему всѣ члѣны этой партіи,—за исключеніемъ Руссо,—воздержались отъ тѣхъ жалобъ по поводу раздѣла, которыя впослѣдствіи такъ часто высказывались европейскими либералами. Вотъ почему они умалчивали обо всемъ, что могло клониться ко вреду Екатерины. «Я очень хорошо знаю»,—сказалъ Вольтеръ, —«что на нее возводятъ какія-то пустяшныя обвиненія по поводу ея отношеній къ мужу, но это—семейная дѣла, въ которыхъ я не считаю себя въ правѣ мѣшаться».

Въ какой мѣрѣ Екатерина дорожила мнѣніемъ Европы видно изъ одного факта, находящагося въ связи съ ея отношеніями къ Дидро. Рюльеръ,—который впослѣдствіи пріобрѣлъ литературную известность какъ историкъ,—началь свою каррьеру тѣмъ, что поступилъ секретаремъ къ французскому посланнику въ Петербургѣ Бретѣлю. Онъ былъ очевидцемъ тѣхъ событій, которыя предшествовали восшествію Екатерины на престолъ и написалъ разсказъ о переворотѣ 1762 года. Эта пикантный разсказъ, написанный молодымъ человѣкомъ, читавшимъ Тацита и Саллустія, ходилъ въ рукописи по рукамъ въ парижскихъ салонахъ (1768). Дидро предупредилъ Рюльера, что крайне опасно сообщать разныя подробности о царствующихъ особахъ, что не всегда можно говорить правду и что онъ долженъ бы быть постараться пріобрѣсть расположение великой государыни, богоизбранной своими поданными. Екатерина съ своей стороны утверждала, что такая неважная особа какъ секретарь посольства не могъ знать настоящихъ мотивовъ описанного имъ событія. Дидро сообщилъ ей, что въ рукописи она изображена повелительно отдающей приказанія. «Не было ничего подобнаго»,—сказала она;—«вопросъ заключался только въ томъ, погибнуть ли или спастись съ помощью толпы, которая настоятельно хотѣла прийти мнѣ на помощь». Она понимала, что рукопись слѣдуетъ купить, и сначала попыталась купить расположение самого автора, а когда ей это не удалось, постаралась добиться того, чтобы его засадили въ Бастилью, но французское правительство не удовлетворило ея желаній. Дидро добился отъ Рюльера только одного,—что его произведеніе не будетъ напечатано, пока императрица будетъ жива. Оно вышло въ свѣтъ въ 1797. Когда Дидро находился въ Петербургѣ, императрица настоятельно спрашивала его о содержаніи рукописи, которую онъ читалъ, но съ которой она никакъ не могла достать копіи. «Что касается лично васъ»,—сказалъ онъ,—«если вы придаете большую важность приличіямъ и добродѣтельямъ—этимъ истасканнымъ лохмотьямъ вашего пола, то это сочиненіе есть сатира, направленная на васъ; если же вы придаете болѣе значенія широкимъ цѣлямъ, мужественнымъ и патріотическимъ замысламъ, то авторъ изображаетъ васъ великой госуда-

рыней». Императрица отвѣчала, что эти слова только усиливаютъ въ ней желаніе прочитать книгу. Самъ Дидро довольно основательно считалъ эту книгу за историческій романъ, содержащій въ себѣ такую смѣсь выдумокъ съ правдой, которую потомство будетъ сравнивать съ какой нибудь главой, написанной Тацитомъ¹⁾). Въ ней есть только одна страница, которая несомнѣнно будетъ интересна для потомства, а именно та, на которой авторъ описываетъ наружность Екатерины— ея высокій и открытый лобъ, ея широкій и слегка раздвоенный подбородокъ, ея великолѣпные каштановые волосы, ея блестящіе каріе глаза, которымъ отраженія свѣта придаютъ синеватый оттѣнокъ. «Гордость»,—говорить онъ,—«есть главная отличительная черта ея физіономіи. Любезность и грація, которая также въ ней замѣтны, кажутся проницательному наблюдателю лишь результатомъ сильнаго желанія нравиться, и эти плѣнительныя особенности ея лица слишкомъ ясно разоблачаютъ желаніе плѣнять».

Первый французъ, получившій отъ Екатерины ласковый пріемъ, былъ Фальконетъ, о распряхъ котораго съ философами мы будемъ говорить въ одной изъ слѣдующихъ главъ. Его рекомендовалъ Екатеринѣ Дидро. Она просила Дидро, указать ей скульптора, который могъ бы взяться за колоссальную статую Петра Великаго. Фальконетъ достигъ въ своемъ отечествѣ апогея извѣстности; покидалъ Францію, онъ, какъ кажется, не имѣлъ иного мотива, кромѣ желанія воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобы воздвигнуть громадный памятникъ искусства, хотя при этомъ имѣли нѣкоторую долю вліянія и краснорѣчивыя убѣжденія Дидро. Личный характеръ Фальконета былъ именно такой, какимъ обыкновенно отличаются гениальные артисты. Дидро называлъ его Жанъ-Жакомъ скульптуры. У него вовсе не было той жадности къ деньгамъ, которую такъ часто проявляютъ артисты въ своихъ отношеніяхъ къ иностраннымъ государямъ, но онъ былъ раздражителенъ, заносчивъ, нетерпѣливъ и несговорчивъ. Онъ съ рыцарскимъ самоотверженіемъ вступался за своихъ бѣдныхъ сотоварищъ по искусству и никогда не преклонялся передъ знатью. Его распри съ вѣрными фактотумомъ императрицы Бецкимъ были также ожесточенны, какъ распри между Вольтеромъ и Мопертюи. У Бецкаго были свои собственные идеи касательно статуи, которую предполагалось воздвигнуть въ честь основателя имперіи, и онъ настоятельно требовалъ, чтобы была принята за образецъ статуя Марка Аврелія. Фальконетъ, какъ человѣкъ гевіальный, возражалъ Бецкому, что въ изображеніи Петра Великаго будетъ неумѣстно то, что было умѣстно въ изображеніи Марка Аврелія. Происходившая по этому поводу придворная борьба не входить въ

¹⁾ *Satire I. sur les caractères, etc. Oeuvres, VI. 313.*

нашъ сюжетъ, но нѣкоторые изъ ея эпизодовъ представляютъ интересную иллюстрацію юдкаго французскаго остроумія. Фальконетъ насталять на своеимъ, и, послѣ работы нѣсколькихъ лѣтъ, бронзовый колоссъ быль посаженъ верхомъ на коня, стоящаго на громадной массѣ необѣланнаго гранита. Екатерина относилась съ самыимъ живымъ участіемъ къ работѣ артиста, нерѣдко посѣщала его мастерскую и часто съ нимъ переписывалась. И отъ него, точно такъ же какъ и отъ всѣхъ другихъ, она настоятельно требовала, чтобъ онъ не стѣснялся никакими церемонными приличіями и не вставлялъ въ свои письма разныхъ эпитетовъ, которымъ она не придавала ни малѣйшей цѣны. Она, такъ сказать, сама поощряла его докучать ей просьбами о разныхъ неизвѣстныхъ его соотечественникахъ, искавшихъ куска хлѣба, вслѣдствіе чего и возникла въ русской столицѣ маленькая французская колонія, состоявшая изъ людей, съ именами которыхъ не связано никакихъ воспоминаній. Рассказъ Дидро объ этой кучкѣ его соотечественниковъ, поселившихся въ Петербургѣ, напоминаетъ намъ описание подобной кучки, поселившейся въ Берлинѣ. «Живущіе здѣсь французы большою частію поносятъ и не навидятъ другъ друга и навлекаютъ презрѣніе какъ на самихъ себя такъ и на свою націю; это—самый отвратительный сбродъ негодяевъ, какой только можно себѣ представить»¹⁾.

Дидро прибылъ въ Петербургъ въ концѣ 1773 г. и пробылъ тамъ мѣсяцѣвъ пять—до начала марта 1774 г. Будучи воспріимчивъ отъ природы, онъ быль непріятно пораженъ холодностью, съ которой его принялъ Фальконетъ, но во дворцѣ онъ нашелъ самый радушный пріемъ, такъ какъ тамъ съ нетерпѣніемъ ожидали его прїѣзда. Императрица всегда утверждала, что она ненавидитъ церемоніи и официальность. Въ одномъ изъ писемъ къ г-жѣ Жофренѣ, она заявляетъ такое же требование, съ какимъ обратилась къ Фальконету, а именно, чтобъ передъ ней не преклонялись такъ, какъ это дѣлается при персидскомъ дворѣ. «Нѣть ничего въ мірѣ столь безобразнаго и ненавистнаго какъ выставка величія. Когда я вхожу въ комнату, вы сказали бы что я произвожу впечатлѣніе головы Медузы: всѣ точно будто окаменѣютъ. Я постоянно кричу орлинымъ голосомъ противъ такой манеры себя держать, но чѣмъ болѣе я кричу, тѣмъ менѣе всѣ чувствуютъ себя не стѣсненными въ моемъ присутствіи... Если бы вы вошли въ мою комнату, я сказала бы вамъ—садитесь, и будемъ разговариватьничѣмъ не стѣсняясь. Вы сѣли бы на кресло противъ меня, а между нами стоялъ бы столъ. *Et puis des bâtons rompus, tant et plus, c'est mon fort.*

Точно такъ обходилась она съ Дидро. Онъ почти каждый день бывалъ у нея съ трехъ до пяти или шести часовъ по полудни. При этомъ былъ изгнанъ всякий этикетъ. Откровенность и горячность Дидро находили для себя въ Царскомъ Селѣ такой же просторъ и такую же нестѣсняемость, какъ и въ Грандвалѣ или въ улицѣ Таганнѣ. Если ему случалось сдерживать потоки своей импровизаціи при мысли, что онъ говоритъ съ высокой особой, Екатерина просила его не стѣсняться. «*Allons*, — восклицала она, «*entre hommes tout est permis*». Въ пылу разговора философъ иногда такъ часто и такъ сильно скималъ своими руками колѣни императрицы, что Екатерина жаловалась на то, что они почернѣли и посинѣли. Случалось, что она искала позади большаго стола охраны отъ подобныхъ усиленныхъ доказательствъ истины. Бдительные дипломаты не сомнѣвались въ томъ, что эти свиданія имѣли связь съ политикой. Англійскій посланникъ Каткартъ писалъ своему правительству, что Дидро все еще у императрицы въ Царскомъ Селѣ, гдѣ «ведетъ свои политическія интриги». А французскій министръ иностранныхъ дѣлъ и французскій посланникъ, — какъ бы это ни казалось страннымъ, — воображали, что они нашли въ этомъ геніальному но непослѣдовательному мечтателю полезнаго дипломатическаго агента. «Свиданія между Екатериной и Дидро безпрестанно слѣдуютъ одно за другимъ и повторяются со дня на день. Онъ сказалъ мнѣ, — и я имѣю основаніе думать, что онъ сказалъ правду, — что онъ указывалъ на опасности союза Россіи съ королевствомъ Пруссіи и на выгоды союза съ яами. Императрица не только не порицала его за свободу его мыслей, но поощряла его словами и жестами. «Вы не любите этого государя», — сказала она Дидро. «Не люблю», — отвѣчалъ Дидро, — «это великий человѣкъ, но дурной король и сверхъ того онъ дѣлаетъ фальшивую монету». «О! — воскликнула она, смѣясь — «я получила мою долю изъ его монеты».

Первый раздѣлъ Польши окончательно совершился осенью 1773 г. — за нѣсколько недѣль до прибытія Дидро въ Петербургъ. Лудовикъ XV, который былъ уже близокъ къ смерти и его министръ д'Эгильонъ были озабочены при видѣ начинающейся эры территоріальныхъ переворотовъ, и искали союзниковъ противъ Россіи и Пруссіи. Англія благоразумно отказалась дѣйствовать. Тогда Франція стала заботиться лишь о томъ, чтобы отдалить Екатерину отъ Фридриха. Но всѣ дѣйствія французскаго правительства были нерѣшительны; оно мало зналъ императрицу, если воображало, что Дидро былъ тотъ человѣкъ, который могъ бы повлиять на ея сильный и положительный умъ. Впослѣдствіи она рассказала Сегюру, какой успѣхъ имѣли его политическія мнѣнія.

«Я много и часто разговаривала съ нимъ», — сказала Екатерина, — «но не столько съ пользой для себя, сколько изъ любопытства.

Еслибы я послушалась его, мнѣ пришлось бы все перевернуть въ моей имперіи вверхъ дномъ, пришлось бы совершенно преобразовать и законодательство, и администрацію, и финансы для того чтобы очистить мѣсто для невозможныхъ теорій. Однако, такъ какъ я слушала болѣе чѣмъ говорила, то всякий кому случилось бы присутствовать при этой бесѣдѣ, принялъ бы его за строгаго педагога, а меня за его покорную ученицу. Онъ вѣроятно и считалъ себя за педагога, такъ какъ убѣдившись по прошествіи нѣкотораго времени, что не сдѣлано ни одного изъ рекомендованныхъ имъ великихъ нововведеній, онъ выразилъ удивленіе и отзывавшеся заносчивостью неудовольствіе. Тогда я обратилась къ нему съ слѣдующими откровенными словами: *Г-нъ Дидро, я съ величайшимъ удовольствиемъ выслушала все, что вамъ внушило ваше блестящее воображеніе; съ помощью вашихъ великихъ принциповъ, которые я очень хорошо понимаю, можно писать прекрасныя книги, но очень плохо вести дѣла. При изложеніи всѣхъ вашихъ плановъ для реформъ вы позабываете, какъ различны наши положенія; вы работаете только на бумагѣ, которая выноситъ все; она не ставитъ препятствій ни вашему воображенію, ни вашему перу. Но я, какъ императрица, работаю на человѣческой кожѣ, которая гораздо болѣе раздражительна и разборчива. Я увѣрена, что съ этой минуты онъ съ сожалѣніемъ смотрѣль на меня, какъ на женщину съ узкимъ и вульгарнымъ умомъ. Послѣ того онъ разговаривалъ только о литературѣ, и политика перестала быть сюжетомъ нашихъ бесѣдъ*¹⁾.

Екатерина, какъ мы далѣе увидимъ, очень ошибалась воображая, что Дидро неставилъ ее на одномъ уровнѣ съ самыми великими людьми. Англійскій посланникъ Каткартъ писалъ съ сердитымъ настроениемъ духа: «Всѣ его письма наполнены похвалами императрицѣ, которую онъ ставитъ выше всѣхъ человѣческихъ существъ. Его льстивые отзывы о великому князю не менѣе преувеличены, но къ чести юнаго наслѣдника престола слѣдуетъ замѣтить, что онъ выказалъ одинакое презрѣніе и къ лести и къ пагубнымъ принципамъ этого такъ называемаго философа».

Фридрихъ говорилъ д'Аламберу, что хотя императрица и осыпаетъ Дидро милостями, однако въ Петербургѣ всѣ находятъ что онъ надѣдовъ, придирчивъ и «постоянно поетъ все одну и ту же пѣсню». Однако Екатерина не высказываетъ ничего подобнаго въ своихъ письмахъ къ Вольтеру. Она находить, что у Дидро неистощимая фантазія и ставить его на ряду съ самыми необыкновенными людьми, какие когда либо жили; она наслаждается его бесѣдой и находить

¹⁾ Сегюръ, III. 34.

чрезвычайное удовольствие въ его посѣщеніяхъ. Въ этихъ отзывахъ можетъ быть была нѣкоторая доля искренности. Екатерина, вѣроятно, умѣла цѣнить въ Дидро его краснорѣчіе, его замѣчательный и оригинальный умъ, но это нисколько не мѣшало ей замѣтать въ немъ недостатокъ границъ и мѣры. Вѣдь она не принадлежала къ числу тѣхъ ограниченныхъ людей, которые находять для себя удовлетвореніе только въ безусловной хвалѣ или въ безусловномъ порицаніи.

У Дидро былъ компаньонъ, который нравился ей болѣе самого Дидро. Въ это время Гrimmъ приѣхалъ въ первый разъ въ Петербургъ и имѣлъ тамъ большой успѣхъ. Г-жа Жоффренъ писала королю Станиславу, что «императрица осыпаетъ Grimmъ любезностями. И онъ имѣеть все что нужно, чтобы быть достойнымъ ихъ». У Дидро нѣтъ ни тонкой смѣтливости, ни деликатнаго такта, которыми обладаетъ Grimmъ; оттого то онъ и не имѣлъ такого успѣха, какъ Grimmъ. Дидро постоянно сосредоточенъ въ самомъ себѣ и замѣчаетъ въ другихъ только то, что имѣеть какое нибудь соотношеніе съ нимъ самимъ. Это—человѣкъ съ большимъ умомъ, но благодаря своимъ природнымъ наклонностямъ и направленію своего ума ни на что не годенъ и, даже болѣе того—быть бы очень опаснымъ человѣкомъ во всякой должности. О Grimmѣ можно сказать совершенно противное¹⁾.

Дѣйствительно,—какъ мы уже прежде это замѣтили, — между членами партіи энциклопедистовъ Grimmъ былъ одинъ изъ самыхъ проницательныхъ людей; у него было много знанія, его сужденія были основательны и остроумны, и сверхъ того онъ умѣлъ быть пріятнымъ въ обществѣ, не впадать въ восторженность и всегда обнаруживалъ много здраваго смысла. Однако и онъ отзывался объ императрицѣ съ такой же преданностью и съ такимъ же восхищениемъ, какъ и его запальчивый другъ. «Здѣсь», — сказалъ онъ, — «велись не тѣ разговоры, которые отличаются постоянными прыжками и скачками, въ которыхъ праздность пробѣгаєть цѣлый рядъ идей, не имѣющихъ никакой связи между собою и въ которыхъ скуча заставляетъ васть перебрасываться отъ одного предмета къ дюжинѣ другихъ. То были разговоры, въ которыхъ все было связано вмѣстѣ, не рѣдко незамѣтными нитями, но тѣмъ болѣе натурально, что ни одно сказанное слово не было натянуто или заранѣе подготовлено». Grimmъ не находилъ словъ чтобы описать одушевленіе Екатерины и потокъ ея блестящихъ остротъ, ея мѣткихъ выходокъ, ея орлиныхъ соуп *d'o eil*. Не удивительно, что возвратившись отъ нея, онъ былъ такъ наэлектризованъ, что проводилъ половину ночи, ходя взадъ и впередъ по своей комнатѣ и припо-

1) *Mme Correspondante Stanislas*, стр. 501.

миная все, что ему пришлось услышать. Трудно рѣшить, насколько все это было искренно и насколько здѣсь слышится голосъ лести. Впрочемъ лучи императорского солнца не ослѣпили его благородства до такой степени, чтобы заставить его принять настоятельное приглашеніе Екатерины оставаться при ней на службѣ. Когда Дидро выѣхалъ изъ Петербурга, Гrimmъ отправился въ Италию. По прошествіи нѣкотораго времени онъ возвратился въ Россію и былъ удостоенъ прежнихъ милостей. Когда настало время разстаться съ императрицей, она назначила ему ежегодную пенсію въ двѣ тысячи рублей и съ той деликатностью, которая рѣдко встрѣчается у коронованныхъ особъ, приказала выплачивать ему эту пенсію такъ, чтобы онъ ничего не терялъ на обмѣнѣ русскихъ денегъ на французскія. Мы не знаемъ, имѣла ли она какую нибудь специальную цѣль, когда старалась расположить къ себѣ Grimm'a. Достовѣрно известно только то, что съ 1766 г. и до паденія французской монархіи она вела обширную переписку съ нимъ, и что онъ былъ чѣмъ то въ родѣ неофиціального посредника между ней и версалскими министрами. Она каждый день записывала, что желала бы передать Grimm'у и въ концѣ каждыхъ трехъ мѣсяцевъ эти ежедневныя замѣтки завертывались въ огромный пакетъ и отсылались въ Парижъ съ особымъ курьеромъ, который возвращался съ такимъ же пакетомъ отъ Grimm'a. Эти сношенія продолжались до разгара революціи,—до тѣхъ поръ пока самъ Grimmъ не спасся бѣгствомъ изъ Парижа въ февралѣ 1792 г. Щедрая дружба императрицы продолжалась до конца ея жизни (1796) ¹⁾.

На возвратномъ пути изъ Россіи Дидро прибылъ въ Гагу на первой недѣлѣ апрѣля 1774 г., быстро совершивъ перѣездъ семи сотъ лье въ три недѣли съ однимъ днемъ. D'Аlamberъ очень желалъ, чтобы Фридрихъ Великій пригласилъ Дидро посѣтить его въ Берлинѣ. Фридрихъ сказалъ d'Аlamberu, что какъ онъ ни любить чтеніе, онъ не въ состояніи читать произведенія Дидро. «Въ нихъ господствуетъ такой тонъ самодовольства и высокомѣрія, который оскорбляетъ во мнѣ инстинктивное чувство моей свободы. Не такимъ слогомъ писали Платонъ, Аристотель, Цицеронъ, Локкъ, Гасенди, Бэйль и Ньютонъ». D'Аlamberъ возразилъ на это, что личности философа король будетъ отзываться болѣе благосклонно, нежели о его сочиненіяхъ, и что онъ найдетъ у Дидро вмѣстѣ съ общемъ идей, фантазіей и знаніемъ, пріятную сердечную теплоту и большую привлекательность ²⁾). Однако Фридрихъ не послалъ пригла-

¹⁾ M moire Historique, напечатанный въ 1 томѣ вновь изданной (1877) Морисомъ Турне корреспонденція Grimm'a съ Дидро.

²⁾ D'Аlamberъ къ королю Пруссіи, 14 февр. 1774.

шенія и Ди́дро возвратился изъ Петербурга той же съверной дорогой, по которой ъхалъ туда. Онъ проѣхалъ Кенигсбергъ не останавливаясь, такъ какъ онъ не зналъ, что въ то самое время Кантъ собирался писать *Критику Чистаго Разума*. Иначе Ди́дро захотѣлъ бы повидаться съ знаменитымъ ученымъ, которому было суждено нанести такой тяжелый ударъ энциклопедическимъ приемамъ мышленія и оставить по себѣ имя, не менѣе славное, чѣмъ имена Фридриха и Екатерины. Одному придворному чиновнику было приказано сопровождать философа. Неудобства ъзды на почтовыхъ вдоль морского берега между Кенигсбергомъ и Мемелемъ вдохновили Ди́дро къ написанію очень плохихъ стиховъ во время его первого путешествія, а непріятная переправа черезъ Двину вдохновила его къ написанію другихъ нисколько не лучшихъ стиховъ на его возвратномъ пути. Погода была дурная; четыре кареты изломались дорогой. Онъ боялся утонуть, когда услышалъ въ Ригѣ, какъ трещитъ ледь подъ ногами его лошадей, и вообразилъ что ему вывихнули руку и плечо, когда перѣѣжалъ на паромѣ рѣку подъ Митавы. Но все кончилось благополучно и онъ снова очутился подъ кровлей князя Голицына въ Гагѣ. Отсюда онъ написалъ женѣ и парижскимъ друзьямъ, что имъ должно быть будеть очень пріятно узнать, что его отдѣляеть отъ нихъ только четыреходневный перѣѣздъ. Однако онъ не пускался въ этотъ перѣездъ въ теченіе почти четырехъ мѣсяцевъ. Ди́дро обѣщалъ императрицѣ составить правила для различныхъ учрежденій, основанныхъ ею для пользы имперіи, и воображалъ, что можетъ исполнить это обѣщаніе самыи удовлетворительнымъ образомъ только живя въ Голландіи. Жизнь его проходила тамъ въ рабской зависимости отъ корректурныхъ листовъ, которая дѣлалась сколько нибудь сносной благодаря ежедневнымъ бесѣдамъ, отрывочно возникавшимъ новымъ идеямъ, спорамъ и мечтательному созерцанію. Онъ познакомился съ профессоромъ восточныхъ языковъ Лундскаго университета шведомъ Бѣрнштѣлемъ и на нѣсколькихъ страницахъ въ мало извѣстномъ сочиненіи этого малоизвѣстнаго писателя можно найти единственныя воспоминанія о философѣ во время его странствованій¹⁾). Ди́дро восхвалялъ въ разговорахъ покинутаго имъ друга съ такимъ же восторгомъ, съ какимъ отзывался о немъ въ своихъ письмахъ. Самыи слабыи изъ его похвальныхъ отзывовъ былъ тотъ, что этотъ другъ соединялъ въ себѣ прелести Клеопатры съ душой Цезаря, а иногда и съ душой Брута.

«Въ Гагѣ», — говорить Бѣрнштѣль, — «я каждый день видѣлся съ Ди́дро. Его идеи обнимаютъ сферу невѣроятной ширини; онъ обла-

1) Briefe aus seinen auslndischen Reisen, III, 217 — 233.
(Лейпцигъ, 1780, — нѣмецкій переводъ съ шведскаго).

дается такой живостью, которую я не въ состояніи описать; онъ пріятель и дружелюбецъ въ личныхъ съ нимъ сношенихъ и касательно всякаго предмета дѣластъ какое нибудь новое и необыкновенное замѣчаніе.... Кто могъ-бы не восхищаться имъ? Онъ такъ блестящеъ, такъ свѣдущъ, такъ богатъ новыми идеями, что нѣтъ возможности не удивляться ему. Но тогда какъ онъ охотно вступаетъ въ разговоръ со всякимъ, кто ищетъ его бесѣды, онъ не выказываетъ себя въ такомъ же благопріятномъ свѣтѣ, когда находится въ многочисленномъ обществѣ, и это было причиною того, что онъ не всѣмъ понравился въ Петербургѣ. Не трудно понять, почему этотъ замѣчательный человѣкъ не доставляетъ удовольствія другимъ и самъ не находитъ удовольствія въ такихъ кружкахъ, гдѣ ведутся разговоры о модахъ, о платьяхъ, о бездѣлушкиахъ и всякихъ пошлостяхъ». И затѣмъ шведскій профессоръ обобщаетъ странный принципъ, что тамъ гдѣ блестятъ пустоголовые люди, образованному человѣку не мѣсто.

Бѣрнштѣль приводитъ мнѣніе Вольтера, что Дидро бытъ бы по-этомъ, еслибы не предпочиталъ бытъ философомъ — мнѣніе, которое вѣроятно было результатомъ обычной снисходительности Вольтера, а не серьознаго взвѣшиванія личныхъ достоинствъ Дидро. Но если онъ и не бытъ поэтомъ, онъ зналъ наизусть произведенія Пиндара и Гомера, а въ Гагѣ не выходилъ изъ дома не положивъ въ карманъ сочиненій Горация. И хотя онъ не бытъ поэтомъ, онъ бытъ полонъ поэтическихъ чувствъ. Его любимымъ мѣстомъ прогулки бытъ Шевенингенъ—мѣстечко не въ большомъ разстояніи отъ Гаги, гдѣ были морскія купанья. «Тамъ»,—пишетъ онъ,—«я имѣлъ обыкновеніе смотрѣть на закатъ солнца, на покрытое блѣднымъ туманомъ море, на катящіяся и вздывающіяся волны, на виднѣвшихся вдали бѣдныхъ рыбаковъ въ ихъ большихъ неувлюющихъ лодкахъ, на собравшихся на берегу женщины, дрожавшихъ отъ холода или страха и старавшихся согрѣться на солнцѣ. Когда работа была окончена и рыбаки сходили на берегъ, этотъ послѣдній покрывался разнаго рода рыбами. Эти добрые люди отличались простотою, искренностью, сыновней и отеческой преданностью стараго времени. Лишь только рыбаки выходили изъ своихъ лодокъ, ихъ жены бросались къ нимъ на шею; они обнимали своихъ отцевъ и своихъ маленькихъ дѣтей; каждый нагружался рыбами; сынъ подавалъ отцу треску или лосося и тотъ несъ ихъ съ торжествомъ домой, благодаря небо за то, что оно послало ему такого трудолюбиваго и достойнаго сына. Когда онъ входилъ въ домъ, видъ рыбы приводилъ въ восторгъ жену старика; рыба тотчасъ разрѣзывалась на части и менѣе счастливые соседи приглашались на

пиръ; она была быстро съѣдаема и въ комнатѣ раздавались благодаренія Господу и веселыя пѣсни». ¹⁾

Такія сцены съ моремъ на заднемъ планѣ, съ своей одушевленностью, съ своей простотой, нѣжностью и житейской реальностью, натурально, приходились Диdro по сердцу. Онъ нерѣдко признавался мнѣ, говорить Бѣрнштѣль, что онъ никогда не находилъ времени слишкомъ длиннымъ въ обществѣ крестьянъ, мастеровыхъ или какихъ бы то ни было ремесленниковъ, тогда какъ оно нерѣдко казалось ему слишкомъ длиннымъ въ обществѣ царедворцевъ. «Это потому», — говорилъ онъ, — «что первыхъ всегда можно спрашивать о разныхъ полезныхъ и необходимыхъ вещахъ, тогда какъ послѣдніе ничего не могутъ сказать вамъ касательно того, что имѣетъ связь съ практической пользой.»

Лѣтъ сто тому назадъ каждой изъ большихъ европейскихъ столицъ приписывали способность излечивать какую нибудь изъ слабыхъ сторонъ человѣческаго характера. Такъ напримѣръ тѣмъ, кто не въ мѣру любилъ изящество внѣшней обстановки, совѣтовали отправляться въ Лондонъ, дикарямъ совѣтовали отправляться въ Парижъ, ханжамъ — въ Берлинъ, мятежникамъ — въ Петербургъ, людямъ не въ мѣру откровеннымъ — въ Римъ, не въ мѣру предающимся ученымъ занятіямъ — въ Брюссель, а тѣмъ кто не въ мѣру полонъ огня — въ Гагу. Впрочемъ взводимое на Голландію обвиненіе въ сонливости не всеми признавалось за основательное. Безприострастные путешественники находили, что разговоры въ тамошнихъ образованныхъ кружкахъ находятся на одномъ уровне съ разговорами въ подобныхъ кружкахъ Франціи и Англіи. Нѣкоторые даже заходили далѣ и утверждали, что Голландцы имѣютъ большое преимущество надъ другими странами, потому что если съ одной стороны у нихъ нѣтъ легкомыслія и блестящаго остроумія французовъ, за то съ другой стороны у нихъ нѣтъ подавляющей сдержанности и молчаливости англичанъ. ²⁾ При всемъ этомъ Голландія вполнѣ входила въ ту пору въ сферу великаго умственного движения запада и была такъ же непосредственно доступна литературнымъ влияніямъ, какъ и во всякое другое время. Еслибы Диdro ознакомился съ туземными литературными произведеніями, онъ нашелъ бы, что и здѣсь перешла въ литературу струя реакціи противъ требованій французскаго классицизма и противъ прилива англійской наивности и семейной сантиментальности. *Spectator* и *Clarissa* Наглове вдохновляли голландскихъ писателей, точно такъ же какъ они вдохновляли самого Диdro. ³⁾

¹⁾ XVII. 449.

²⁾ Джоржа Форстера *Ansichten vom Niederrhein*, II. 396 (1790).

³⁾ Жонкблозта *Gesch. d. Niederland. Lit.* (немецк. переводъ) II, 502 и сл.

Въ сферѣ эрудиції, Голландія даже послѣ смерти Єкалигера была точно такъ же, какъ и въ теченіе всего семнадцатаго столѣтія, самой ученой страной въ Европѣ, а старикъ Гемстергюи съ помощью такихъ учениковъ какъ Рюнкенъ и Валькенеръ, поддерживалъ какъ только могъ школьнаго традиціи Гроновіуса и Гревіуса. Но восемнадцатый вѣкъ не былъ вѣкомъ эрудиції. Ученые занятія уступили мѣсто спекуляціи.

Самою интересною личностью изъ всѣхъ тѣхъ, съ кѣмъ Дидро познакомился въ Гагѣ, былъ привѣтливый и ученый сынъ старика Гемстергюи, который, — мимоходомъ замѣтить, — не былъ голландецъ, а сынъ француза. Гемстергюи очень заинтересовался тѣмъ что онъ слышалъ о Дидро ¹⁾, но до насъ не дошло никакихъ письменныхъ воспоминаній о впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ имъ изъ личнаго между ними знакомства. Какъ самого Дидро называли въ шутку французскимъ Сократомъ, такъ и младшій Гемстергюи получилъ отъ своего пріятеля прозвище голландскаго Платона. Голландцы указывали на его задумчивую фигуру, на его обширныя познанія въ древней литературѣ и въ древнемъ искусствѣ, на его сладкозвучныя философскія теоріи, на его грациозный и выработанный стиль, — какъ на доказательства того, что ихъ страна способна развивать энергию и воспріимчивость человѣческой природы до ихъ высшей степени. ²⁾ И онъ имѣлъ право на то, чтобы ему удѣлили мѣсто въ исторіи новѣйшей философіи. При мысли о томъ, что онъ бесѣдовалъ съ Дидро, намъ представляется, что мы находимся на такомъ пунктѣ, откуда можно господствовать надъ расходящимися въ разныя стороны потоками и встрѣчными теченіями идей того времени. Въ лицѣ этихъ двухъ людей на минуту сошлись два великихъ теченія идей и потомъ направились въ свои глубоко намѣченныя колеи. Гемстергюи, отъ рожденія пропитанный до мозга костей духомъ Платонизма, сдѣлался вожакомъ реакціи противъ французской философіи просвѣщенія, — противъ философіи, основанной на чувствахъ, на опытахъ, на томъ, что доступно провѣркѣ. Онъ внесъ въ литературу очень замѣтную струю того мистицизма и того піетизма, въ которые впала Германія передъ началомъ французской революціи, а также ту религіозную философію, которая сдѣлалась признакомъ патріотическихъ чувствъ и въ Германіи и при русскомъ дворѣ послѣ того, какъ война съ революціонерами по видимому отождествила враждебную философію энциклопедистовъ съ побѣдноснымъ щитомъ національного врага. Предводитель мистиковъ Якоби сначала напалъ на французовъ при помощи доводовъ, заимствован-

¹⁾ Оeuv. Phil. de Fr. N e m s t e r g u y s , III. 141. (Изъ Мейбума).

²⁾ Форстеръ, II. 398. Галіани, Соггеср. II. 189.

ныхъ имъ изъ сентиментализма Руссо, но впослѣдствіи нашелъ у Гемстергюи болѣе существенные интеллектуальные аргументы въ защиту своихъ мыслей и чувствъ противъ притязаній энциклопедистовъ на верховенство въ сферѣ мышленія.

Въ исторіи этого движенія играла немаловажную роль хозяйка дома, въ которомъ Дидро жилъ въ Гагѣ. Князь Голицынъ былъ женатъ на дочери Фридрихова фельдмаршала Шметтау. Гёте, видѣвшій ее (1797) черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ смерти Дидро, отзываетъся объ ней какъ о такой женщинѣ, о которой нельзя составить себѣ понятія, не познакомившись съ нею лично, и которую можно оцѣнить по достоинству только тогда, когда будуть разсматривать ее не только въ связи но и въ борьбѣ съ ея временемъ. Если она обратила на себя вниманіе Гёте, когда пятидесятилѣтній возрастъ уже успѣлъ наложить на нее свою печать, то она должна была казаться Дидро еще болѣе достойной вниманія, когда была въ полной силѣ молодости и умственного возбужденія. Блестящему и гиблому уму своей жены князь Голицынъ и былъ обязанъ тѣмъ, что его домъ пользовался особымъуваженіемъ и былъ изъ числа самыхъ привлекательныхъ. «Она очень жива», — сказалъ Дидро, — «очень веселаго характера и очень интеллигентна; она еще очень молода, образована и полна талантовъ; она много читала и какъ большая часть нѣмокъ знаетъ нѣсколько языковъ; она играетъ на клавикордахъ и поетъ какъ ангель; въ ея разговорѣ много остроумія и колкости; она чрезвычайно добросердечна.»¹⁾ Однако онъ никакъ не могъ уговорить ее принять на вѣру его философскія теоріи. Біографъ княгини говоритъ, что Дидро проповѣдывалъ свои идеи и горячо старался всѣмъ внушать вѣру въ «свою поэму о вѣчно вращающихся атомахъ; изъ которыхъ, благодаря случайному между ними соединенію, развилось настоящее устройство вселенной». Его блестящее краснорѣчіе вызывало со стороны княгини требованіе доказательствъ. Ея безпрестанно повторяемые *Почему?* и *Какъ?*, будто бы, доказали «герою атеизма его совершенное ничтожество и бессиліе.»²⁾ Въ концѣ концовъ Дидро былъ совершенно разбитъ представителями противоположной философской теоріи. Гемстергюи вошелъ въ самую тѣсную дружбу съ княгиней и его письма къ ней служатъ самымъ поразительнымъ доказательствомъ того, какую необыкновенную преданность способна внушить умная и симпатичная женщина философамъ одного умственного направления съ Кондильякомъ, Жуберомъ, д'Аламберомъ, Миллемъ. Хотя самъ Гем-

¹⁾ Oeuvres, XIX. 342.

²⁾ Доктора Катеркампа Denkwürdigkeiten aus dem Leben der Fürstin Amalie von Gallitzin, p. 45.

стергюи никогда не преступалъ черты, отдѣляющей философию релігии отъ активной сферы догматическихъ вѣроисповѣданій, но его послѣдователи не находили для себя удовлетворенія въ суровой возвышенности его идей. Въ самый годъ смерти Дидро (1784) князина Голицына обратилась въ католическую вѣру, а ея сынъ сдѣлался не только католикомъ, но и ревностнымъ проповѣдникомъ католической вѣры въ Америкѣ.

Но въ ту пору, о которой теперь идетъ рѣчь, еще дѣло не дошло до такихъ крайностей. Бѣрнштель изъ патротического чувства очень желалъ, чтобы Дидро побывалъ въ Стокгольмѣ и лично убѣдился въ томъ, что голштинская кровь такъ же благородна въ Швеціи, какъ и въ Россіи. Дидро отвѣчалъ ему, что ему очень хотѣлось бы увидѣть возсѣдающимъ на своемъ престолѣ государя (Густава III), который вѣроятно скоро отдалъ бы ему визитъ въ его собственной парижской квартирѣ въ четвертомъ этажѣ. Но онъ откровенно сознавался, что онъ начинаетъ тосковать по родинѣ и потому не пойдетъ въ Стокгольмъ. Въ сентябрѣ 1774 Дидро выѣхалъ во Францію. «Я возвращаюсь», — писалъ онъ наканунѣ отѣзда, — «къ моему домашнему очагу, котораго никогда болѣе не покину до конца моей жизни. Уже прошло то время, которое измѣрялось годами и вместо него настало такое время, которое слѣдуетъ измѣрять днями. А чѣмъ ограниченнѣе нашъ доходъ, тѣмъ необходимѣе тратить его съ благоразумiemъ. У меня впереди можетъ быть лѣтъ десять жизни. Изъ этихъ десяти лѣтъ два или три истратятся на флюсы, ревматизмы и на другихъ членовъ этой докучливой семьи; постараемся же провести остальные семь лѣтъ въ покой и скромномъ счастии, какое доступно для человѣка, которому уже болѣе шестидесяти лѣтъ». Эти ожиданія оправдались. Дидро прожилъ еще десять лѣтъ, и хотя его собственная задача въ этомъ мірѣ уже была исполнена, то были годы, полные великаго значенія и для Франціи и для всего міра. Они были свидѣтелями учрежденія республики въ американскихъ колоніяхъ, и они же были свидѣтелями послѣдней фазы въ исторіи упадка старой монархіи во Франції. Тюрго былъ назначенъ главнымъ контролеромъ за нѣсколько мѣсяцевъ до возвращенія Дидро, а назначеніе министерства Тюрго было послѣдней серьозной попыткой ввести систематическая преобразованія. Послѣдовавшій за тѣмъ взрывъ отозвался такъ же громко въ Петербургѣ и въ Голландіи, какъ и въ самой Франціи, и Екатерина приказала въ 1792 выбросить въ подвалъ всѣ бюсты Вольтера, украшавши залы и коридоры ея дворца.

ГЛАВА XIII.

Гельвеций.

Прежде чѣмъ перейти къ послѣднимъ годамъ жизни Дидро, я намѣренъ сдѣлать краткій обзоръ трехъ замѣчательныхъ книгъ, которыхъ по общему мнѣнію были написаны подъ вліяніемъ его идей, которыхъ во всякомъ случаѣ были непосредственнымъ и естественнымъ продуктомъ энциклопедическихъ теорій, и которыхъ играли чрезвычайно важную роль въ умственныхъ потрясеніяхъ вѣка.

Самое сильное нападеніе на Энциклопедію, какъ мы уже ранѣе замѣтили, было сдѣлано въ 1758 г. послѣ изданія седьмаго тома. Точно такое же гоненіе наѧсло еще болѣе тяжелый ударъ знаменитому произведенію Гельвеція *L'Esprit*. Можно безъ преувеличенія сказать, что изъ всѣхъ книгъ, вызвавшихъ преслѣдованіе въ теченіе восемнадцатаго столѣтія, книга Гельвеція возбудила самое сильное негодованіе. Причиной этого было отчасти то, что она была изъ числа первыхъ произведеній той литературы, которая повела борьбу противъ установленныхъ идей. Это былъ смѣлый и неожиданный шагъ. Цензоръ, давшій официальное разрѣшеніе на ея выпускъ, былъ отставленъ, а авторъ былъ лишенъ почетнаго мѣста при дворѣ королевы.¹⁾ Въ обвинительномъ актѣ было сказано, что эта книга — «кодексъ самыхъ отвратительныхъ и гнусныхъ страстей», что это — сборникъ всего, что только могло придумать нечестіе съ цѣллю возбудить ненависть къ христіанству и къ католицизму. Судъ приговорилъ книгу къ сожженію и, какъ будто желая доказать, что мотивомъ его рѣшенія было не одно негодованіе противъ парадоксовъ Гельвеція; приказалъ сжечь на томъ же самомъ кострѣ изящную поэму Вольтера о натуральной религії. Люди

¹⁾ Барбье, VII. 137.

менѣе предубѣжденные отнеслись къ книгѣ почти такъ же враждебно, какъ парламентскіе юристы и сорбонскіе профессора. Руссо объявилъ, что она отвратительна, написалъ замѣтки въ опроверженіе изложенныхъ въ ней принциповъ и изъ отвращенія къ ея теоріямъ написалъ нѣкоторыя изъ самыхъ пылкихъ страницъ въ *Вѣроисповѣданіи* савойскаго викарія.¹⁾ Даже Дидро, — не смотря на то, что вслѣдствіе своего дружескаго расположенія къ автору и своей склонности къ смѣлымъ философскимъ теоріямъ, онъ ставилъ *L'Esprit* въ числѣ замѣчательнѣйшихъ произведеній вѣка наряду съ *Духомъ Законовъ* Монтескіѣ и съ *Натуральной Исторіей* Бюффона,—даже Дидро нашелъ и доказывалъ, что все произведеніе Гельвенція построено на парадоксѣ и что, хотя въ немъ есть нѣкоторыя вѣрныя замѣчанія, общіе его принципы большою частию ложны.²⁾ Тюрго находилъ, что это—философское произведеніе безъ логики, литературное произведеніе безъ вкуса, и нравоучительное произведеніе безъ доброй нравственности.³⁾

Въ той же критической статьѣ, которая содержитъ на двухъ или трехъ страницахъ столько неизмѣнно цѣнныхъ истинъ, Тюрго говоритъ:—«Тотъ, кто собирается напасть на религіозную нетерпимость и на неправду, долженъ прежде всего опереться на справедливыя идеи, потому что инквизиторы находятъ свою выгоду въ томъ, чтобы поддерживать религіозную нетерпимость, а визири и ихъ помощники находятъ свою выгоду въ томъ, чтобы поддерживать всѣ правительственные злоупотребленія. Такъ какъ они сильнѣе васъ, то вы только даете имъ основательный поводъ для оправданій, когда начинаете громить ихъ безъ всякаго толку. Я столько же ненавижу деспотизмъ, какъ и многіе другіе, но нападать на него слѣдуетъ не одними голословными обвиненіями. Даже и въ деспотизмѣ есть различныя степени; есть множество такихъ злоупотребленій деспотизма, въ которыхъ сами государи не имѣютъ никакого интереса; есть и такія злоупотребленія, которыя допускаются ими только потому, что общественное мнѣніе еще не убѣдилось въ ихъ несправедливости и въ происходящихъ отъ нихъ пагубныхъ послѣдствіяхъ. Тотъ окажетъ большую услугу народу, кто станетъ нападать на злоупотребленія не краснорѣчивыми укорами, а ясно, смѣло и главнымъ образомъ затрагивая чувства человѣколюбія. Тамъ гдѣ нѣть оскорбительныхъ словъ, трудно найти поводъ обижаться.... Нѣть ни одной формы правленія безъ какихъ нибудь недостатковъ, которые само правительство охотно исправило бы, если бы могло, и

¹⁾ *Oeuvres*, XII. 301.

²⁾ *I b i d.*, II. 267—274.

³⁾ *I b i d.*, II. 795.

безъ какихъ нибудь злоупотреблений, которыя оно всегда намѣревается прекратить по меньшей мѣрѣ въ неотдаленномъ будущемъ. Поэтому мы можемъ оказывать услугу какому бы то ни было правительству, обсуждая вопросы общественного блага спокойнымъ и серьознымъ тономъ, не холодно и не съ преувеличениями, а съ такимъ внушающимъ сочувствіе жаромъ, который истекаетъ изъ глубокаго влечения къ справедливости и любви къ порядку.»¹⁾

Конечно, еще очень сомнительно, могла ли бы французская монархія ввести длинный рядъ необходимыхъ преобразованій въ 1758 году, то есть въ такую эпоху, когда ее отдѣляло отъ великаго общественного переворота только одно поколѣніе; тѣмъ не менѣе въ ту пору еще можно было извинить Тюrgo его убѣжденіе, что желаемый имъ прогрессъ можетъ быть достигнутъ безъ тѣхъ насильственныхъ перемѣнъ, на которыхъ такъ ясно указывали рѣзкія выходки Гельвеція. Во всякомъ случаѣ его слова стоило цитировать, потому что они полны серьознаго и общепримѣнного значенія и потому что они ставятъ насъ именно на ту точку зрѣнія, съ которой можно сдѣлать правильную оцѣнку книги *L'Esprit*. Онь находитъ, что настоящей цѣлью книги было указаніе на политическое положеніе дѣлъ, а также нападки на правительство и на соціальные порядки того времени. Въ этомъ случаѣ,— точно также какъ во всѣхъ другихъ произведеніяхъ оппозиціонной литературы первыхъ шестидесяти лѣтъ восемнадцатаго столѣтія—церковь была, безъ всякаго сомнѣнія, той частію общественныхъ основъ, на которую были направлены самые непосредственные и самые ожесточенные нападки; вотъ почему по случаю появленія книги Гельвеція прежде всѣхъ встревожилась церковь. Дѣйствительно, можно сказать, что по самой природѣ вещей куда бы ни направлялся революціонный потокъ, онъ повсюду наталкивался на церковь. Она повсюду заслоняла васъ отъ лучей свѣта. Вольтеръ поколебалъ ея догматы. Руссо заставилъ ее краснѣть за ея противный религіи духъ. Диdro доказалъ ошибочную безусловность ея философіи. За тѣмъ выступили на сцену Гельвецій и Гольбахъ не только съ критикой, но и съ тѣмъ, что могло бы замѣнить опровергаемыя теоріи. Гольбахъ изложилъ новыя понятія о вселенной, о матеріи и движеніи, о случайномъ возникновеніи формъ. Гельвецій изложилъ теорію человѣческаго характера и сдѣлалъ новый анализъ нравственности, принимая интересъ за основу справедливости, удовольствіе за настоящій мотивъ интереса, а характеры за продукты воспитанія и законовъ.

Излагать такія идеи значило отвергать всѣ тѣ понятія, которы-

1) *Oeuvres*, II. 795—8.

ми жило общество. А такъ какъ церковь была органомъ старыхъ понятій, то книга Гельвеція была тотчасъ арестована церковными властями, дѣйствовавшими по внушенію вѣрнаго инстинкта, и послужила поводомъ для первого яростнаго нападенія на всѣхъ противниковъ однимъ разомъ. Однако, если мы разсмотримъ книгу *L'Esprit* помимо борьбы, возбужденной по ея поводу церковью, и если мы взвѣсимъ ея внутреннія достоинства, мы ясно увидимъ что Гельвецій, сочиняя ее, помышлялъ не столько о богословскихъ спорахъ своего времени, сколько о томъ, чтобы перенести философию Локка и Кондильяка въ политическую сферу и извлечь изъ нея новые лозунги и новые силы для общественного переустройства. И не смотря на свою поверхностную пустоту и на свои парадоксы, его книга содержала въ себѣ единственный принципъ, придерживаясь котораго можно бы было совершить необходимый переходъ къ новому режиму, миновавъ *террора*.

И враги Гельвеція и его встревоженные друзья обыкновенно полагали, что мотивомъ, вдохновившимъ его, были тщеславіе и беспокойное надменное желаніе славы. Онъ былъ родомъ нѣмецъ. Его пра-прадѣдъ поселился въ Голландіи и сталъ лечить больныхъ хитро составленными элексирами, порошкомъ изъ толченыхъ оленыхъ роговъ и составами изъ крокодильихъ зубовъ. Его дѣдъ отправился искать счастія въ Парижъ; тамъ ему удалось убѣдить публику въ цѣлебныхъ свойствахъ ипекакуаны и получить отъ Лудовика XIV (1689) патентъ на приготовленіе этого снадобья¹⁾. Медицинскія традиціи семьи поддерживались и въ третьемъ поколѣніи, такъ какъ отецъ Гельвеція былъ однимъ изъ докторовъ королевы и имѣлъ случай оказать человѣчеству сомнительную услугу тѣмъ, что однажды спасъ жизнь Лудовика XV. Гельвецій, родившійся въ 1715 г., отказался отъ профессіи своихъ предковъ и благодаря расположению, которымъ пользовался его отецъ при дворѣ, получилъ място *fermier général*. Благодаря этому онъ сдѣлался богатымъ человѣкомъ, но богатство безъ славы не удовлетворяло его. Онъ дѣлалъ попытки въ разныхъ направленіяхъ, всегда придерживаясь того, что могло доставить ему популярность въ данную минуту. Монпертои былъ въ ту пору героемъ дня и это внушило Гельвецію мысль сдѣлаться геометромъ. Блестящій успѣхъ Вольтера ввелъ въ моду поэзію, и Гельвецій написалъ поэдюжини длинныхъ пѣсенъ о *Счастії*. Монтескій обратилъ на себя вниманіе всего Па-

¹⁾ См. Жалл Dict. Crit. стр. 676. Въ книгѣ *L'Esprit* есть одно сравненіе, которое вѣроятно было написано подъ вліяніемъ фамильныхъ преданій: «Подобно тѣмъ докторамъ, которые, завидуя открытию рвотнаго, воспользовались легковѣремъ некоторыхъ прелатовъ для того, чтобы предать проклятию лекарство, оказывающее столь скорую и спасительную помощь» и т. д.—II 23.

рижа книгой *Духъ законовъ* (1748) и Гельвецій имѣлъ достаточно прозорливости, чтобы подмѣтить, что въ его время соціальная теории способны были возбуждать самый сильный и самый продолжительный интересъ¹⁾. Онъ тотчасъ принялъся за работу и на этотъ разъ сталъ работать безъ торопливости. Въ 1751 г. онъ отказался отъ должности *фегтіег генерал* и вмѣстѣ съ ней отъ ежегодного дохода въ двѣ или три тысячи фунт. стерл.²⁾, и за тѣмъ посвятилъ семь лѣтъ на сочиненіе, которое было задумано съ цѣллю пріобрѣсть бессмертную славу. По словамъ одного изъ близкихъ друзей Гельвеція, «ему нужно было долго трудиться въ потѣ лица для того только, чтобы написать одну главу»; онъ разъ по двадцати передѣльвалъ одну и ту же фразу. Писатели, болѣе легко владѣвшіе перомъ, смотрѣли на него съ удивленіемъ, когда онъ, живя въ деревнѣ, размышлялъ по цѣлымъ утрамъ надъ одной страницей и ходилъ по цѣлымъ часамъ взадъ и впередъ по комнатѣ, стараясь возбудить дѣятельность своего ума или обдумывая какую нибудь оригиналную форму выраженія³⁾. Его парижскіе пріятели потѣшались надъ его стараніями навести разговоръ на тотъ предметъ, который занималъ его въ данную минуту. Чтобы удовлетворить его желаніе они вступали съ нимъ въ пренія и потому старались заставить его высказать его собственныхъ мнѣнія. «Тогда,» — говорить Мармонтель, — «онъ съ жаромъ брался за свой сюжетъ и былъ на столько простымъ, естественнымъ и искреннимъ, на сколько въ своихъ произведеніяхъ онъ былъ систематикомъ и софистомъ. Не было ничего менѣе схожаго съ его личнымъ чисто-сердечiemъ и съ простотою его обыденной жизни, чѣмъ искусственная и предумышленная простота его сочиненій. Гельвецій представлялъ по своему характеру совершенный контрастъ съ тѣмъ, что онъ выдавалъ за свои убѣжденія; онъ былъ либераленъ, велико-душенъ, нехвастиливъ и добръ»⁴⁾.

Въ одномъ изъ произведений Дидро Гельвецій представлена совершенно въ иномъ свѣтѣ. Во время одной изъ своихъ загородныхъ поѣздокъ Дидро случайно познакомился съ одной дамой, которой была хорошо знакома та мѣстность, где жилъ Гельвецій. «Она рассказала намъ, что философъ у себя въ деревнѣ самый несчастный человѣкъ. Онъ окружены крестьянами и сосѣдями, которые ненавидятъ его. Они бьють стекла въ его домѣ, по ночамъ

¹⁾ Впрочемъ Юмъ разсказываетъ, будто Гельвецій пытался отговорить Монтескіе отъ изданія его капитального сочиненія на томъ основаніи, что оно не достойно уже пріобрѣтеної имъ репутациіи.

²⁾ Барбье, V. 57.

³⁾ Моремаль, I. 71.

⁴⁾ Мармонтель, II. 116.

разоряютъ его имущество, срубаютъ его деревья и ломаютъ заборы. Онъ не смѣеть выйти изъ дома чтобы подстрѣлить кролика иначе какъ въ сопровождѣніи конвоя. Вы спросите меня отчего это происходитъ? Это происходитъ отъ чрезмѣрной заботливости о цѣлостности его дикихъ звѣрей. Его предшественники охраняли порядокъ въ имѣніи при помощи двухъ слугъ и нѣсколькихъ ружей. У Гельвеція двадцать четыре сторожа и все таки онъ никакъ не можетъ охранить свою собственность. Сторожа получаютъ небольшую денежную награду за каждого пойманнаго ими истребителя барской дичи, и прибѣгаютъ къ всевозможнымъ придиркамъ, чтобы увеличить эту жалкую статью дохода. Въ этомъ случаѣ они вовсе не лучше тѣхъ людей, которые занимаются по найму охотой на чужой землѣ. Окраины его лѣсовъ служатъ убѣжищемъ для жалкихъ бѣдняковъ, которые выгнаны изъ дома и принуждены жить въ шалашахъ. Эти то безпрестанно повторяющіеся акты тиранніи и создали ему враговъ всякаго рода,—и тѣмъ болѣе дезертиковъ враговъ, что, по словамъ г-жи Н., они убѣдились, какъ мелочно малодушенъ этотъ добрый философъ. Я не понимаю, что онъ выигралъ отъ такой системы управления своимъ имѣніемъ; онъ тамъ въ одиночествѣ, его всѣ ненавидятъ, и о旤 находится постоянно въ страхѣ. Насколько благоразумнѣе была наша добрая г-жа Жоффренъ, когда сказала по поводу одного надѣдавшаго ей судебнаго разбирательства: «Прекратите мой искъ. Имъ нужны мои деньги? у меня они есть; такъ дайте имъ денегъ. И могу ли я сдѣлать лучшее употребленіе изъ денегъ, чѣмъ купить на нихъ мое спокойствіе! Будь я на мѣстѣ Гельвеція, я сказала-бы: «они убиваютъ нѣсколько зайцевъ и кроликовъ; не мѣшайте имъ въ этомъ. У этихъ несчастныхъ нѣть другаго убѣжища, кромѣ моихъ лѣсовъ; не мѣшайте имъ тамъ укрываться»¹⁾.

Съ другой стороны есть вполнѣ достовѣрные рассказы о щедрости Гельвеція. Мы приведемъ одно достойное вниманія свидѣтельство о добродушіи, которымъ онъ славился. Послѣ того какъ претендентъ на англійскій престолъ былъ изгнанъ изъ Франціи, были особенные причины, по которымъ ему иногда нужно было прїезжать въ Парижъ. Онъ написалъ Гельвецію, что много слышалъ о немъ какъ объ одномъ изъ самыхъ безкорыстныхъ и самыхъ честныхъ людей во Франціи и потому рѣшился вѣбрить ему самого себя. Гельвецій не отвѣчалъ отказомъ на эту опасную любезность, и въ теченіе двухъ лѣтъ скрывалъ принца въ своемъ домѣ²⁾. Онъ былъ точно также услужливъ и въ такихъ случаяхъ, когда ничто не лѣстило его

1) Voyage à Bourbone. О е и в., XVII. 344.

2) Бергова Н и м е, II. 464.

тицеславію. Многіе литераторы, и въ томъ числѣ Марибо, получали отъ него ежегодную пенсію, и его домъ, точно такъ же какъ домъ Гольбаха, былъ всегда открытъ для всѣхъ философовъ. Мореллѣ рассказывается, что тамъ разговоры не были такъ же дѣльны и послѣдовательны, какъ въ домѣ барона. «Хозайка дома бесѣдовала съ тѣми, кто ей всего болѣе нравился, а такъ какъ она выбирала не самыхъ худшихъ людей, то многіе уходили. Нельзя сказать, чтобы она имѣла болѣе склонности къ философіи, чѣмъ г-жа Гольбахъ; но эта послѣдняя сидѣла гдѣ нибудь въ уголкѣ, не вмѣшиваясь въ разговоры или тихонько болтая съ своими пріятельницами и потому не была ни для кого помѣхой; напротивъ того въ присутствіи супруги Гельвеція, отличавшейся красотой, оригинальностью и рѣзко выдающимися особенностями характера, философскія пренія были невозможны. Самъ Гельвецій не умѣлъ поддерживать или одушевлять ихъ. Онъ обыкновенно отводилъ кого нибудь изъ нась къ окну, и заводилъ рѣчъ объ интересовавшемъ его вопросѣ, стараясь уловить отъ нась какой нибудь аргументъ въ подтвержденіе его собственной точки зрѣнія или какое нибудь возраженіе,—такъ какъ онъ обдумывалъ свое сочиненіе въ обществѣ. Еще чаще случалось, что вскорѣ послѣ обѣда онъ отправлялся въ оперу или въ какое нибудь другое мѣсто и предоставляя женѣ занимать гостей»¹⁾). Не смотря на все это Гельвецій пріобрѣлъ въ обществѣ значительную популярность. Впрочемъ это произошло лишь послѣ того какъ онъ достигъ славы, такъ какъ въ эпоху появленія книги *L'Esprit* Дидро едва ли встрѣчался съ нимъ болѣе двухъ разъ въ годъ, а знакомство его съ д'Аламберомъ было самое поверхностное. Сверхъ того слѣдуетъ полагать, что раскаявшійся членъ ненавистнаго класса откупщиковъ едва ли могъ находить радушный пріемъ въ кружкѣ философовъ, принадлежавшихъ къ оппозиціонной партіи. Тюрго былъ очень мѣтокъ, когда сдѣлалъ презрительный вопросъ, почему долженъ онъ быть признателнымъ такому девламатору какъ Гельвецій, который осыпаетъ правительство рѣзкими оскорблѣніями и Ѳдѣни сарказмами, а вслѣдъ за тѣмъ улаживаетъ отправку къ Фридриху Великому цѣлой колоніи таможенныхъ чиновниковъ. Только благодаря тѣмъ строгостямъ, съ которыми правительство отнеслось къ его книгѣ, Гельвецій сдѣлался популярнымъ и пріобрѣлъ симпатіи энциклопедистовъ.

Для нась англичанъ интересно то, что Гельвецій очень восхищался Англіей. Гольбахъ, какъ намъ уже известно (см. выше стр.

¹⁾ Мореллѣ, I. 141. Очень живой разсказъ о женѣ Гельвеція въ ея поздніе годы можно найти въ *Письмахъ* г-на Адама, цитированныхъ въ сочиненіи Партина *Жизнь Франклина*, II. 429.

186), не раздѣлялъ такого взгляда и объяснялъ увлеченіе своего пріятеля тѣмъ, что Гельвецій смотрѣлъ на свободную Англію глазами человѣка, подвергшагося преслѣдованіямъ во Франціи¹). Горасъ Вальполь извѣщалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ сэра Гораса Манна, что Гельвецій ёдетъ въ Англію и везетъ съ собою двухъ дочерей съ приданымъ въ пятьдесятъ тысячъ фунт. ст., съ цѣлію отдать ихъ замужъ за двухъ незапятнанныхъ членовъ нашего августейшаго и неподкупнаго сената, если только ему удастся отыскать въ этотъ вѣкъ добродѣтели людей, которые согласятся получить отъ него деньги. Далѣе, желая выразить протестъ противъ такого невыгоднаго сравненія между двумя націями, Вальполь прибавляетъ: «Положимъ, что французы морочатъ насъ своими безразсудными выдумками, но они еще въ десять разъ болѣе безразсудны потому что дозволяютъ морочить себя нашими добродѣтелями»²). Гибонъ познакомился съ Гельвециемъ (1763) и нашелъ въ немъ разумнаго человѣка, пріятнаго собесѣдника и самого достойнаго человѣка въ мірѣ, не говоря уже о тѣхъ его достоинствахъ, что у него была хорошенъкая жена и сто тысячъ ливровъ ежегоднаго дохода. Варбуртонъ приглашенъ былъ вмѣстѣ съ Гельвециемъ на обѣдь къ лорду Мансфильду, но отказался, потому что не желалъ встрѣчаться съ явнымъ проповѣдникомъ атеизма, негодялемъ и бездѣльникомъ³).

Теперь перейдемъ къ той книжѣ, которая навлекла на ея автора всѣ эти оскорбительные отзывы. Написалъ-ли ее Гельвецій изъ тщеславія или нѣтъ, во всякомъ случаѣ такой мотивъ никогда еще не возбуждалъ въ публикѣ интереса къ какому либо литературному произведенію и мы можемъ быть вполнѣ увѣрены, что ни тѣ, которые одобряли ее, ни тѣ, которые относились къ ней съ отвращеніемъ, не были бы такъ глубоко возбуждены ея содержаніемъ, если бы они не сознавали, что авторъ проникъ въ самую суть самыхъ великихъ вопросовъ. Но прежде всего мы должны сказать нѣсколько словъ о формѣ его сочиненія.

Гrimmъ, конечно, былъ правъ, когда утверждалъ, что только человѣкъ лишенный вкуса и здраваго смысла могъ находить въ книжѣ *L'Esprit* нравственный теоріи или колоритъ произведеній Дидро. Для настъ достаточно ясно, что у Гельвеція былъ передъ глазами примѣръ Фонтенелля, — того самаго Фонтенелля, который излагалъ астрономическія системы въ формѣ изящныхъ литературныхъ произведеній, и о которомъ кто то сказалъ, что *il nous enjôle à la vérité* — онъ настъ ласкою вовлекаетъ въ позна-

¹⁾ Œuvres, XIX. 187.

²⁾ Corresp., IV. 119.

³⁾ Corresp. Вальполя, IV. 217.

ніє истины. *L'Esprit* едва ли не самая удобочитаемая книга о нравственности, какая когда либо была написана для тѣхъ, кто совершенно равнодушенъ къ большей или меньшей научной достовѣрности того, что онъ читаетъ. Юмъ, получившій оть Гельвеція приглашеніе перевести книгу на англійскій языкъ, писалъ Адаму Смиту, что ее стоитъ прочесть не ради заключающейся въ ней философіи, которую онъ не высоко цѣнить, а ради ея пріятнаго изложения¹⁾). Именно это и имѣлъ въ виду Гельвецій, когда наполнялъ ее разными рассказами и анекдотами. Многіе изъ нихъ очень бѣдны содержаніемъ, многіе неумѣстны, иные не совсѣмъ приличны, а некоторые дурно изложены, но все таки это были рассказы и анекдоты, увлекавши за собою легкомысленнаго читателя съ одной страницы на другую, отъ одной главы къ другой. Но тотъ, кто взялся бы за книгу Гельвеція съ цѣллю серьзного изученія этики, едва ли могъ бы примириться съ его негодными теоріями ради его забавныхъ анекдотовъ. Г-жа Роланд читала знаменитую книгу когда была еще романтической дѣвушкой и вынесенная ею впечатлѣнія, полагаю, были точно такія же, какія должна была производить эта книга на всякую благородную натуру. «Гельвецій сдѣлалъ меня несчастливой; онъ уничтожилъ во мнѣ самый очаровательный иллюзіи; онъ заставлялъ меня повсюду видѣть отвратительный личный интересъ». «Однако сколько у него прозорливости!» продолжаетъ она. «Я убѣждена, что Гельвецій изображалъ людей точно такими, какими они сдѣлались благодаря нравственной испорченности общества: я полагала, что полезно развивать свой умъ чтеніемъ такого автора для того, чтобы быть способной посѣщать такъ называемое свѣтское общество и не быть его игрушкой. Но я старалась не придерживаться его принциповъ, когда хотѣла изучить отличительныя свойства человѣческой натуры. Я чувствовала себя способной къ такому великодушію, какого онъ никогда не признавалъ. Съ какимъ наслажденіемъ я противопоставляла его теоріямъ великие исторические подвиги и добродѣтели героевъ, которыхъ обезсмертила исторія»²⁾.

Я уже позволилъ себѣ замѣтить, что книга *L'Esprit* содержала въ себѣ единственный принципъ, способный служить основой для такой соціальной теоріи, которая могла дать французымъ того времени правильное понятіе о томъ, какъ взяться за необходимыя реформы. Въ исторіи литературы едвали найдется другой писатель, который былъ такъ же близокъ какъ Гельвецій къ уразумѣнію главной основы спасительныхъ истинъ, но затѣмъ вовлекся въ

1) Бергонъ. II. 57.

2) *Oeuvres de Mme Roland*, I. 108.

самые грубые парадоксы, какие только может придумать должно направленное остроуміе. Чтобы понять въ какой мѣрѣ было вредно такое ложное направление, стоитъ припомнить, что тоже самое орудіе, которое было въ рукахъ у Гельвеція, но которымъ онъ не умѣлъ владѣть, было заимствовано у него родившимся въ иной странѣ геніальными человѣкомъ и обратилось въ средство для пропаганда реформъ, спасшихъ Англію отъ внутреннихъ потрясеній. Никто не будетъ утверждать, что Гельвецій изобрѣлъ утилитаризмъ. Изъ того, что въ его книгѣ часто встречается имя Юма уже ясно видно, что и самъ авторъ вовсе не считалъ себя изобрѣтателемъ утилитарного принципа. Нужно быть,—сказалъ Милль,—вовсе незнакомымъ съ исторіей философіи и всеобщей литературой, чтобы не знать, что всегда которая нибудь изъ философскихъ школъ была утилитарной, не только начиная со временъ Эпікура, но и задолго до него. Нельзя однако отвергать одного факта, который самъ по себѣ достаточенъ для того, чтобы дать Гельвецію право на почетное мѣсто въ исторіи,—нельзя отвергать того, что понятіе о всеобщей пользѣ какъ объ основѣ нравственности было заимствовано отъ Гельвеція тѣмъ энергическимъ и мощнымъ англійскимъ мыслителемъ, который сдѣлалъ изъ утилитаризма главную жизненную силу законодательныхъ реформъ и основу юриспруденціи. Самъ Бентамъ открыто сознавался въ томъ, что именно изъ этого источника онъ черпалъ вдохновеніе¹⁾.

Эта книга, такъ глубоко проникавшая въ самую суть предмета, упала въ общемъ мнѣніи, вслѣдствіе того неблагопріятнаго для нея обстоятельства, что Гельвецій смѣшалъ утилитарный принципъ съ самой неудобоваримой всякой всячиной, какую только можно найти въ литературѣ психологіи. Оттого то, когда Руссо, вмѣшившись въ споръ, стала проповѣдывать свою безсодержательную философію преобразованій краснорѣчивымъ, возвышеннымъ и мощнымъ слогомъ, онъ увлекъ всѣхъ за собой. Тогда демократія сантиментализма заняла то мѣсто въ литературѣ революціонной подготовки, которое должна бы была занимать демократія утилитарная. Фикція Руссо о народномъ верховенствѣ была произвольнымъ и по своей сущности бесплоднымъ извращеніемъ тѣхъ реальныхъ истинъ, на которыхъ указывала злополучная книга Гельвеція.

Чтобы установить взаимную связь законовъ между собою, говорилъ Гельвецій, «необходимо возвести всѣ ихъ къ одному принци-

1) „Бентамъ нерѣдко говоривалъ, что этой книгѣ (*L'Esprit*) онъ обязанъ въ значительной мѣрѣ тѣмъ рвениемъ и тѣмъ жаромъ, съ которыми онъ проповѣдывалъ свою теорію общей пользы. Въ ней онъ находилъ для себя поощреніе... изъ нея онъ научался быть непоколебимымъ“, и т. д.—Deontologу, I. 296.

пу—къ принципу общей пользы, то есть пользы самого большаго числа людей, подчиненныхъ одной и той же формѣ правления, къ такому принципу, объемъ и плодовитость котораго не могутъ быть измѣнены и который содержитъ въ себѣ всю нравственность и все законодательство». ¹⁾

Человѣкъ честенъ, когда всѣ его дѣйствія клонятся къ общественной пользѣ. «Чтобъ быть добродѣтельнымъ необходимо соединять благородство души съ просвѣщенными умомъ. Кто соединяетъ въ себѣ эти достоинства, тотъ дѣйствуетъ въ предѣлахъ общественной пользы. Эта польза есть принципъ всѣхъ человѣческихъ добродѣтелей и основа всѣхъ законодательствъ. Она должна вдохновлять законодателя и заставлять народы подчиняться его законамъ» ^{2).}

Принципъ общественной пользы не измѣняемъ, хотя въ своемъ примѣненіи онъ и можетъ прилагаться къ различнымъ положеніямъ, въ которыхъ можетъ находиться нація, по мѣрѣ того какъ это положеніе менѣяется ^{3).}

Общественный интересъ есть интересъ большинства, и служить основой, на которой неизмѣнно должны покояться принципы здравой морали ^{4).}

Эти извлечения,—а извлеченій въ томъ же духѣ можно было привести немало,—объясняютъ намъ, на какомъ фундаментѣ Гельвецій думалъ строить свои теоріи. Но почему же Бентамъ возвеличилъ на этомъ фундаментѣ зданіе столь полезное для человѣчества, тогда какъ Гельвецій засыпалъ его ни къ чему негодными парадоксами? Потому что Бентамъ взялся за свой сюжетъ съ точки зрењія практическаго юриста, и излагалъ человѣческія побужденія и поступки съ систематической и объективной классификацией, для которой руководствомъ служилъ принципъ утилитарности. А Гельвецій, вмѣсто того чтобы развивать принципъ, что дѣйствія хороши или дурны смотря потому согласны ли они или не согласны съ общими интересами большинства, удовольствовался повтореніемъ на всѣ возможные лады своего положенія, что любовь къ самому себѣ служить для настъ мѣриломъ добродѣтели. Послѣ того, какъ онъ принялъ пользу за знамя добродѣтели и установилъ, что интересъ есть выраженіе примѣнимое ко всему, что можетъ доставлять намъ удовольствіе и отстранять отъ настъ непріятности, ⁵⁾ онъ долженъ бы былъ сдѣлать то, что сдѣлалъ Бентамъ—расположить удовольствія и непріятности въ ихъ логическомъ порядкѣ. Вмѣсто того

1) Disc. II. chap. 17.

2) Ibid., II. 6.

3) Ibid., II. 17.

4) Disc. II. chap. 23.

5) Ibid., II. 1, примѣчаніе (b).

Гельвецій, отправляясь отъ положенія, что «судить значитъ чувствовать», пустился въ изложеніе полной теоріи человѣческаго характера, содержавшей въ себѣ по меньшей мѣрѣ два пагубныхъ недостатка. Во первыхъ эта теорія не имѣла корня въ изученіи развитія всего человѣчества; во вторыхъ она принимала въ соображеніе одни чисто эгоистическіе импульсы, вовсе не касаясь противоположной имъ половины человѣческихъ влеченій. Помимо этихъ коренныхъ недостатковъ, Гельвецій опрометчиво впалъ въ то самое заблужденіе, которое было общимъ для всѣхъ, кто нападалъ на утилитарный принципъ, а именно онъ смѣшалъ основу человѣческихъ поступковъ съ ихъ мотивами и настоятельно утверждалъ, что такъ какъ польза есть мѣрило добродѣтели, то перспектива самоудовлетворенія есть единственная причина, почему люди предпочитаютъ добродѣтель пороку.

Это, по словамъ г-жи дю-Дефантъ тоже, что разсказывать секретъ каждого. Мы одобляемъ поступки въ той мѣрѣ, въ какой они ведутъ къ удовлетворенію нашихъ интересовъ. Дружба, егрит де согрс, патріотизмъ, гуманность—слова, обозначающія такія качества, которымъ мы придаемъ большую или меньшую цѣну соразмѣрно съ болѣе или менѣе близкой ихъ связью съ нашимъ, собственнымъ благополучіемъ, а степени нашихъ предпочтеній находятся въ обратной пропорціи съ числомъ тѣхъ людей, которые пользуются даннымъ поступкомъ. Если онъ касается всего человѣчества или нашего отечества, мы одобляемъ его съ меньшимъ жаромъ, чѣмъ когда онъ специально клонится къ нашей собственной исключительной пользѣ. Поэтому если вы хотите подѣйствовать на людей и направить ихъ образъ дѣйствій къ общественной пользѣ, вы должны вліять на нихъ чрезъ посредство того, что имъ пріятно или непріятно.

Въ этой мысли, возбудившой всеобщее негодованіе противъ автора, есть безъ сомнѣнія доля правды. Мы можемъ ради примѣра напомнить, что все уголовное законодательство,—въ той мѣрѣ, въ какой оно имѣетъ цѣллю не мстить за преступленія, а предотвращать ихъ,—предполагаетъ у всѣхъ тѣхъ, кого оно касается, ту самую теорію, которая навлекла на Гельвеція общую ненависть. Мы можемъ привести еще болѣе вѣское оправданіе въ пользу Гельвеція, выраженное Шарлемъ Контомъ въ слѣдующихъ словахъ:—Если бы сила, съ которой мы желаемъ отплатить за зло, не была соразмѣрна съ личной опасностью, которой мы подвергаемся, то мы едвали бы были способны охранять самихъ себя; если же дѣйствія, причиняющія вредъ всему человѣчеству, огорчали бы насъ столько же сколько огорчаютъ насъ дѣйствія, причиняющія вредъ лично намъ самимъ, мы бы были самыми жалкими существами, такъ какъ мы

безпрестанно терзались бы по поводу такихъ дѣйствій, которыхъ мы не въ силахъ предотвратить. Сверхъ того, если бы благодѣянія, оказанныя лично намъ однімъ, не внушили намъ болѣе сильной признательности чѣмъ тѣ, которыя совершаются для всего человѣчества, мы вѣроятно не пользовались бы ничьимъ предпочтительнымъ расположениемъ и сами не питали бы такого расположенія къ другимъ, а въ такомъ случаѣ эгоизмъ развился бы до самыхъ громадныхъ размѣровъ¹⁾.

Впрочемъ эта сторона теоріи Гельвеція представляеть одну изъ тѣхъ истинъ, которая неопровергимы только при томъ условіи, чтобы онъ разсматривались въ связи съ цѣлой группой другихъ истинъ, а Гельвецій именно потому и не былъ въ состояніи отразить вызванныхъ его теоріей нападокъ, что онъ излагалъ отрывочно такую идею, которая сама по себѣ не принадлежитъ ни къ разряду истинъ, которыхъ нельзя доказать, ни къ разряду безмыслицъ. Заблужденія Гельвеція происходили отъ различныхъ причинъ и могутъ быть выяснены различными способами. Чаще всего указываютъ на то, что приписывая самолюбію самую большую долю вліянія на нашу оцѣнку человѣческихъ поступковъ, онъ по меньшей мѣрѣ долженъ бы быть удѣлить какую нибудь часть этого вліянія нашимъ симпатіямъ,—потому что хотя и можно утверждать, что симпатія есть не болѣе какъ косвенный родъ самолюбія или тѣнь бросаемая самолюбіемъ, однако это такое видоизмѣненіе самолюбія, которое предполагаетъ въ настѣ совершенно иной разрядъ убѣжденій и требуетъ, чтобы его обозначали инымъ названіемъ.

Книга *L'Esprit* служить самымъ яснымъ доказательствомъ того, въ какой мѣрѣ успѣхъ всякой новой теоріи зависитъ отъ формы ея изложенія. Гельвецій точно будто направилъ всѣ свои усилия къ тому, чтобы обставить свою теорію всѣмъ, что отталкивало бы отъ нея читателя. Такъ напримѣръ онъ начинаетъ одну изъ самыхъ важныхъ главъ утверждениемъ, что личный интересъ есть единственный мотивъ, способный побудить человѣка на великолушные поступки. «Для него точно такъ же невозможно любить добро ради добра, какъ невозможно любить зло ради зла». Остальная часть главы состоить изъ примѣровъ, приводимыхъ въ объясненіе этой мысли; и какіе это примѣры? Во первыхъ авторъ указываетъ на Брута, который пожертвовалъ своимъ сыномъ для спасенія Рима, потому что его любовь къ отечеству была сильнѣе его отеческой любви; а благодаря этой любви къ отечеству «просвѣтившей его умъ для пониманія общественныхъ интересовъ» онъ былъ въ состояніи понять, какую пользу доставить для государства показанный имъ примѣръ.

1) *Traité de Legislation*, I. 243.

суроности. Другие приводимые въ той же главѣ примѣры служатъ объясненіемъ того же самаго принципа нравственности—а именно того принципа, что истинная добродѣтель заключается въ томъ, чтобы заглушать въ себѣ всѣ побужденія къ удовлетворенію семейныхъ или дружескихъ влечений, когда это удовлетвореніе было бы противно общей пользѣ¹⁾.

Пожалуй можно согласиться съ тѣмъ, что при строго логическомъ анализѣ человѣческихъ дѣяній самоотверженіе героя или мученика окажется ничѣмъ инымъ какъ сознательнымъ съ его стороны предпочтеніемъ такого образа дѣйствій, который всего менѣе для него тяжелъ, такъ какъ или вслѣдствіе его религіозныхъ убѣждений, или вслѣдствіе его патріотизма, или вслѣдствіе его врожденного великолѣдія, самопожертвованіе представляется для него всего менѣе тяжелымъ образомъ дѣйствій. Но называть такое геройское душевное настроеніе самолюбиемъ значитъ выдѣлять изъ цѣлаго самый незначительный его элементъ, и выставлять этотъ элементъ въ такомъ видѣ, какъ будто въ немъ заключается вся суть предмета. Это влечетъ за собой самыя превратныя толкованія. Вѣдь различіе между человѣкомъ добродѣтельнымъ и человѣкомъ порочнымъ зиждется не на томъ фактѣ, что каждый изъ нихъ поступаетъ такъ, какъ ему менѣе тяжело поступать благодаря привычкѣ, а на томъ фактѣ, что вслѣдствіе привычки для первого изъ нихъ тяжело себялюбіе, а для втораго—самопожертвованіе, что въ первомъ изъ нихъ себялюбіе перешло въ интересъ къ благу другихъ, а во второмъ не перешло. Чѣмъ можетъ быть болѣе превратно, чѣмъ указаніе на личный интересъ въ дѣлѣ благотворительности или чѣмъ настоятельное утвержденіе, что такъ какъ благотворительность находится въ связи съ человѣческимъ себялюбіемъ, то она ничто иное какъ прикрытое себялюбіе? Точно будто плодъ или цветокъ не только находится въ зависимости отъ корня, какъ отъ одного изъ условій его развитія, но въ дѣйствительности самъ есть корень! Помимо этого нарушенія правилъ логики, здѣсь нарушаются и правила реторики, такъ какъ здѣсь выставляется на видъ формула, ставящая данную теорію въ связь съ самыми отвратительными идеями, и потомъ этой формулѣ придается самое выдающееся значеніе во всемъ изложеніи. Ничего не выигрывая ни въ ясности, ни въ опредѣленности, ни въ послѣдовательности, авторъ сознательно наводитъ читателя на складъ идей совершенно противоположный тому, къ которому онъ желалъ бы внушить расположение.

Сверхъ того Гельвецій даетъ себѣ трудъ оскорблять великодушную чувствительность и возмущать здравый смыслъ публики. Труд-

¹⁾ Disc. II. 5.

но указать что либо болѣе скандально-циническое и болѣе нелѣпое чѣмъ та мысль, что если мы будемъ смотрѣть на поведеніе распутныхъ женщинъ съ политической точки зрењія, мы найдемъ что оно въ нѣкоторомъ отношеніи чрезвычайно полезно для публики. Желаніе нравиться, заставляющее этихъ женщинъ обращаться къ торговцамъ новомодными товарами, къ модисткамъ и портнихамъ, спасаетъ множество рабочихъ отъ нищеты. Добротельные женщины, подающія милостыню нищимъ и уголовнымъ преступникамъ, руководствуясь въ этомъ случаѣ совѣтами своего духовнаго отца, поступаютъ менѣе разумно чѣмъ тѣ женщины, которыхъ руководствуются желаніемъ нравиться; эти послѣднія доставляютъ средства существованія полезнымъ гражданамъ, тогда какъ первыя по меньшей мѣрѣ совершенно бесполезны, а нерѣдко даже вредны для нації¹⁾. Все это—ничто иное какъ многорѣчивое повтореніе плохихъ изреченій Мандевилля касательно «сластолюбивыхъ царедворцевъ», не знающихъ предѣловъ своей роскоши и легкомысленныхъ проститутокъ, выдумывающихъ каждую недѣлю новые моды». Мы не можемъ удивляться тому, что всякий человѣкъ съ благородными чувствами или съ здравымъ умомъ отворачивался даже отъ высказанныхъ истинъ, оттого что эти истины были перемѣшаны съ столь пагубными софизмами и циническими примѣрами.

Намъ не трудно повѣрить, что г-жа Роланъ въ годы великолѣпной юности почувствовала отвращеніе къ книгѣ, усъянной пошлыми анекдотами. Гельвецій съ искреннимъ удовольствіемъ разсказываетъ намъ, что находившійся при дворѣ Александра Великаго Парменіонъ сказалъ Филотасу:—«Сынъ мой, старайся быть ничтожнымъ передъ Александромъ; доставляй ему отъ времени до времени случай дѣлать тебѣ наставленія, и не забывай, что только тогда ты приобрѣшешь его дружбу, когда будешь выказывать твоё ничтожество предъ нимъ». Король Португальскій поручилъ одному изъ своихъ придворныхъ составленіе записки по такому дѣлу, которое онъ самъ изучилъ. Сравнивая его записку съ написанной имъ самимъ, король нашелъ что записка царедворца лучше написана; тогда царедворецъ низко поклонился королю и поспѣшилъ расстѣнчиться съ своими друзьями: «Я пропалъ»—сказалъ онъ,—«король нашелъ что у меня болѣе ума, чѣмъ у него»²⁾. Одна только посредственность имѣеть успѣхъ въ свѣтѣ. «Вы имѣете успѣхъ въ свѣтѣ»,—сказалъ отецъ своему сыну, «—и вы вообразили, что вы обладаете большими достоинствами. Чтобы смирить вашу гордость, я скажу вамъ, какимъ качествамъ вы обязаны такимъ успѣхомъ: вы родились безъ поро-

¹⁾ Disc. II. 15.

²⁾ См. болѣе точный текстъ этихъ словъ у Дидро, Оeuvres, II. 482.

ковъ, безъ добродѣтелей, безъ характера; ваши познанія скудны, вашъ умъ узокъ. А это такія качества, которыя даютъ вамъ право на общую къ вамъ благосклонность» ¹⁾.

Въ нашъ предметъ не входитъ разсмотрѣніе съ какой либо догматической точки зрењія всѣхъ заблужденій Гельвеція въ сфере умозрительной этики. Причина ихъ достаточно очевидна. Гельвецій смотрѣлъ на человѣка какъ на отдельное существо, явившееся въ свѣтъ безъ всякихъ заранѣе намѣченныхъ предрасположеній и независящее отъ окружающей его среды. Сверхъ того, онъ не понималъ, что добродѣтель, справедливость, и другія великия слова, выражающія наши понятія о нравственности, обозначаютъ такія свойства, которыя находятся въ непосредственной зависимости отъ основныхъ особенностей человѣческаго характера. По выражению Дидро, ²⁾ онъ никогда не усматривалъ возможности найти въ нашихъ натуральныхъ влеченіяхъ, въ нашей жизни, въ нашемъ организмѣ, въ нашей чувствительности прочную основу для нашихъ понятій о томъ, что справедливо и несправедливо, что добродѣтельно и что порочно. Онъ прицѣплялся къ фактамъ, обнаруживающимъ многоразличныя формы, въ которыхъ облекаются справедливость и несправедливость, но онъ не обращалъ никакого вниманія на человѣческую натуру, въ которой нашелъ бы объясненіе характера этихъ формъ и ихъ происхожденія. Притомъ, хотя его книга была написана съ цѣллю доказать, что только хорошия законы могутъ создавать добродѣтельныхъ людей и что все искусство законодателя заключается въ томъ, чтобы заставить людей изъ чувства себялюбія быть справедливыми другъ къ другу, ³⁾ однако Гельвецій не замѣтилъ, какъ трудно предполагать въ излагающемъ нравственныя правила законодателю ту способность заглушать свое себялюбіе, которую онъ не признаетъ за остальными людьми. Вѣдь самая трудная задача политическихъ учрежденій и заключается именно въ противодѣйствіи себялюбію правящихъ классовъ. Гельвецій обошелъ эту трудность, приписавъ законодателю то самое личное безпристрастіе, отсутствіе котораго въ человѣческомъ родѣ послужило основой для всей его системы нравственности ⁴⁾.

¹⁾ Disc. IV. 13 и пр.

²⁾ Œuvres, II. 270.

³⁾ Disc. II. 24.

⁴⁾ Генри Сидгвикъ такъ выражаетъ ту же мысль: „Даже неутомимое терпѣніе и неистощимая изобрѣтательность Бентама едавали были въ состояніи разрушить вредное вліяніе нашихъ личныхъ предпочтений. Дѣйствительно, если людямъ обыкновенного уровня не предоставять никакого участія въ общественныхъ дѣлахъ, то задача соединенія этихъ эгоистовъ въ одну общую организацію ради общей пользы становится похожей на требование сплести канатъ изъ песку. Трудность, которую Гоббзъ тщетно пытался разрѣшить при помо-

Повторяю, что не наше дѣло подробно разбирать его теорію. Такъ какъ мы стараемся изучить исторію человѣческихъ мнѣній, то насы интересуетъ только вопросъ, что хотѣлъ Гельвецій выразить въ своихъ парадоксахъ, и какъ они зародились въ его умѣ. Никакой серьозный писатель, и еще менѣе какой либо французскій писатель восемнадцатаго столѣтія не выступалъ на литературное поприще безъ такихъ стремленій къ общему благу, которымъ способны произвести на публику хорошее впечатлѣніе. А какую благую цѣль имѣлъ въ виду Гельвецій? Что было у него на умѣ, когда онъ извращалъ свои собственные идеи, доказывая что благотворительность есть продуктъ себѧлюбія? Мы можемъ объяснить это только однимъ способомъ. Утверждая, что невозможно любить добро ради добра, Гельвецій имѣлъ въ виду богослововъ. Ихъ ученіе, что человѣкъ предрасположенъ любить зло ради зла, вытекающее изъ сферы тѣхъ рациональныхъ мотивовъ, которые выясняются обыденнымъ человѣческимъ опытомъ. Гельвецій противопоставлялъ этому ученію ту мысль, что и въ своихъ хорошихъ и въ своихъ дурныхъ поступкахъ люди дѣйствуютъ подъ вліяніемъ своихъ интересовъ, а не мистического или врожденного предрасположенія къ добру или къ злу. Онъ пытался перенести нравственность и человѣческие поступки изъ сферы произвольныхъ и суевѣрныхъ догадокъ въ сферу наблюденія. Онъ воображалъ, что дѣйствуетъ въ научномъ духѣ въ противоположность духу богословскому, принимая личный интересъ за основу нашихъ дѣяній вмѣсто того, чтобы принимать за такую основу любовь къ Богу, или вліяніе благодати или авторитетъ церкви.

Мы можемъ даже утверждать, что въ книгѣ Гельвеція есть такое положительное достоинство, какого нѣть въ произведеніяхъ самыхъ знаменитыхъ писателей того вѣка. Вотъ, напримѣръ, одинъ отрывокъ изъ его сочиненій, заключающій въ себѣ, не смотря на неудовлетворительность изложенія, несомнѣнныій зародышъ правильной исторической оцѣнки: — «какъ бы ни казались намъ нелѣпы тѣ или другіе обычаи, не можетъ подлежать сомнѣнію, что народы, руководствуясь своими интересами, приняли ихъ не безъ причины. Странности этихъ обычаевъ обусловливаются интересами этихъ народовъ. Дѣйствительно, если народы всегда, хотя бы и смутно, понимаютъ подъ словомъ добродѣтель стремленіе къ общественной пользѣ, если они вслѣдствіе такого пониманія называютъ хорошими таکія дѣянія, которыхъ полезны для ихъ отечества, и если понятіе о пользѣ всегда соединяется въ умахъ съ понятіемъ о добродѣтели, то можно

быть увѣреннымъ, что ихъ самые странные и даже самые жестокіе обычаи всегда имѣютъ въ основѣ дѣйствительную или воображаемую общественную пользу»¹⁾.

Если мы противопоставимъ эту мысль общей для всѣхъ друзей Гельвеція манерѣ нападать на прошлую исторію человѣческаго рода, то мы увидимъ, что какъ ни груба внѣшняя сторона приведенного отрывка, онъ содержитъ въ себѣ ту чрезвычайно важную и не знакомую ни Вольтеру, ни Руссо, ни Дидро теорію, что человѣческія дѣянія, даже въ ихъ самыхъ варварскихъ проявленіяхъ, допускаются разумное ихъ истолкованіе съ объясненіемъ ихъ мотивовъ, которые находятся въ связи съ ихъ интеллектуальными формами, точно также какъ мотивы самыхъ образованыхъ обществъ находятся въ связи съ интеллектуальными формами этихъ обществъ. Въ множествѣ волюмовъ, написанныхъ во Франціи въ теченіе восемнадцатаго столѣтія по вопросу о происхожденіи общества, не много найдется такихъ мѣстъ, которыя подходили бы къ новѣйшей точкѣ зреенія такъ же близко, какъ приведенная мысль Гельвеція.

Положеніе Гельвеція было положеніемъ человѣка, отыскивающаго новыя основы для нравственности. Въ восемнадцатомъ столѣтіи едва ли сталъ бы кто нибудь искать такихъ основъ въ католической религії, а отъ Гельвеція этого можно было ожидать еще менѣе чѣмъ отъ кого либо другаго. «Фанатизмъ», — сказалъ онъ въ тщательно обѣланномъ отрывкѣ — «есть то, что влагаетъ оружіе въ руки католическихъ государей; онъ предписываетъ католикамъ умерщвлять еретиковъ; онъ снова вводитъ въ міръ употребление пытокъ, изобрѣтенныхъ такими чудовищами, какъ Фаларисъ, Бузирисъ, Неронъ; въ Испаніи онъ воздвигаетъ и зажигаетъ костры инквизиціи, въ то время какъ благочестивые испанцы отправляются за далекія моря для того, чтобы водружать крестъ и распространять смятеніе въ Америкѣ. Куда бы вы ни обратили ваши взоры, на сѣверъ или на югъ, на востокъ или на западъ, вы повсюду увидите, что священный мечъ религіи направленъ въ грудь женщинъ, дѣтей, стариковъ, и земля обагряется кровью жертвъ, приносимыхъ ложнымъ богамъ, представляя изъ себя обширный и отвратительный могильный склепъ, устроенный религіозной нетерпимостью. И какой добродѣтельный человѣкъ, какой христіанинъ, — если только его чувствительное сердце исполнено той божественной благодати, которой дышутъ евангельскія правила, если только онъ не равнодушенъ къ воплямъ несчастныхъ и отверженцевъ и по временамъ утираетъ ихъ слезы — какой человѣкъ не проникнется отъ такого зрелища состраданіемъ къ человѣчеству и не употребить всѣ свои

¹⁾ Disc. II. 13.

усилія на то, чтобы утвердить понятіе о честности не на религіозныхъ принципахъ, хотя они сами по себѣ и достойны всякаго уваженія, а на такомъ принципѣ, которымъ не такъ легко злоупотреблять,—на принципѣ личнаго интереса»? ¹⁾

Съ этой точки зрењія и слѣдуетъ рассматривать книгу Гельвеція. Старанія руководить нравственностью при посредствѣ религіи оказались безуспѣшными. Гельвецій, какъ органъ реакціи противъ аскетизма и мистицизма, обратился за помощью къ положительному опыту и къ врожденной человѣческой наклонности искать того, что пріятно и избѣгать того, что непріятно. Научное несовершенство его попытки очевидно, но во всякомъ случаѣ эта попытка имѣла именно ту цѣль, которую мы указали.

То же самое стремленіе къ соціальному переустройству внушило ему второй капитальный парадоксъ его сочиненія *l'Esprit*. Этотъ парадоксъ заключается въ томъ, что будто изъ всѣхъ источниковъ умственного различія между людьми человѣческий организмъ имѣеть самое ничтожное вліяніе на это различіе. Интеллектуальные различія, будто бы, происходятъ отъ различія обстоятельствъ и отъ различнаго воспитанія. Великіе люди сдѣлались великими вовсе не потому, что они болѣе счастливо одарены отъ природы. Нѣть такого человѣка, въ которомъ неблагопріятныя природные свойства не могли бы быть осилены страстью, личнымъ интересомъ, воспитаніемъ и благопріятными обстоятельствами, и нѣть такого великаго человѣка, который не смотря на то, что онъ болѣе щедро одаренъ отъ природы, не сдѣлся бы глупцомъ, если бы у него не было ни страстей, ни личныхъ интересовъ, ни воспитанія, и еслибы ему не помогли нѣкоторыя благопріятныя случайности. Только въ сфере нравственности можно найти настоящія причины умственного неравенства. Гений—не рѣдкій даръ природы. Онъ очень обыкновенное явленіе, но тѣ условия, которыя необходимы для его развитія, рѣдки. Гениальный человѣкъ—ничто иное, какъ продуктъ тѣхъ условій, въ которыхъ онъ поставленъ. Замѣчаемое нами у мужчинъ неравенство интеллигенціи (*esprit*) обусловливается формой правленія, подъ которой они живутъ, временемъ, въ которое имѣло пришлось жить, воспитаніемъ, которое они получили, тѣмъ, какъ сильно въ нихъ желаніе достигнуть отличія и наконецъ тѣмъ, какъ велики и плодотворны тѣ идеи, на которыхъ случайно остановился ихъ умъ. ²⁾

И здѣсь не трудно указать, какія нужны оговорки для того, чтобы придать основательность этому длинному ряду положеній, въ

¹⁾ Disc. II. 24.

²⁾ Disc. III.

которомъ однако кроется зародышъ здравой теоріи. Дидро указалъ на нѣкоторыя изъ главныхъ причинъ заблужденій Гельвеція и сдѣлалъ имъ слѣдующій краткій обзоръ: «Вся третья бесѣда повидимому зиждется на ложномъ соображеніи, въ которое авторъ не ввелъ всѣ тѣ элементы, которые имѣютъ право занимать тамъ извѣстное мѣсто и въ которомъ всѣ вошедшіе въ него элементы не оцѣнены по своему настоящему достоинству. Онъ не примѣтилъ той непрѣодолимой преграды, которая отдѣляетъ человѣка, предназначенаго по своей природѣ къ исполненію извѣстной роли, отъ человѣка, вносящаго въ исполненіе этой роли лишь предпримчивость, личный интересъ и вниманіе». ¹⁾ Въ другомъ сочиненіи, вышедшемъ въ свѣтъ послѣ его смерти (1774) и носящемъ заглавіе *De l'Homme*, Гельвецій изложилъ эти преувеличенныя мнѣнія съ большими подробнотами и съ множествомъ новыхъ иллюстрацій. Въ опроверженіе ихъ Дидро написалъ тщательно обдуманныя подробныя замѣтки, разсматривая каждую главу по пунктамъ, и обнаружилъ въ этомъ критическомъ разборѣ большую умственную проницательность и силу. ²⁾ Для каждого читателя должно быть ясно, какого рода возраженія могутъ быть сдѣланы противъ того тезиса, что человѣческій характеръ не зависитъ отъ организаціи. Но и въ этомъ случаѣ, точно такъ же какъ въ своемъ парадоксѣ о себялюбіи, Гельвецій доискивался и даже доискивался въ надлежащемъ направлении рациональнаго принципа для нравственныхъ сужденій, нравственного воспитанія и нравственнаго улучшенія. Хотя оба эти тезиса одинаково ложны въ теоріи, однако въ практическомъ примѣненіи конечно менѣе вредно утвержденіе, что воспитаніе и учрежденія болѣе сильны чѣмъ природная наклонности, нежели то утвержденіе, что организація вліяетъ сильнѣе воспитанія и учрежденій. Въ ту пору во Франціи было дѣломъ первостепенной важности—обращать общее вниманіе на вліяніе, которое имѣютъ учрежденія на caractères; дѣлая это, писатели создавали одинъ изъ самыхъ основательныхъ мотивовъ для преобразованія французскихъ учрежденій и вмѣсть съ тѣмъ объясняли, въ какомъ духѣ должны быть предприняты эти преобразованія. Еслибы Гельвецій удовольствовался утвержденіемъ, что какова бы ни была сила организаціи въ исключительныхъ натурахъ, въ людяхъ съ организаціей средняго уровня эти предрасположенія могутъ быть до безконечности видоизменямы воспитаніемъ, законами и учрежденіями,—то онъ высказалъ бы не только то, чего нельзѧ опровергать, но и то, что было бы вполнѣ достаточно для его собственной цѣли. Вильямъ Годвинъ въ

¹⁾ *Oeuvres*, II. 271.

²⁾ *Ibid.*, II. 275—456.

своемъ когда то знаменитомъ трактатѣ о *Политической справедливости* заимствовалъ отъ Гельвеція содержаніе одной изъ самыхъ важныхъ главъ, но то что у Гельвеція было преувеличено до парадокса, съ которымъ не могъ согласиться ни одинъ разсудительный человѣкъ, у Годвина выражено какъ рациональная полу-истина, безъ которой ни одинъ реформаторъ воспитанія или учрежденій не захотѣлъ бы приступать къ своей работѣ.¹⁾

Читая романъ Бенжамена Констана *Адольфъ*,—этотъ грустный анализъ жалкой страсти,—мы иногда невольно вспоминаемъ о Гельвеціѣ. Этотъ романъ начинается описаніемъ сильного удивленія юноши при его вступленіи въ свѣтъ, такъ какъ, по словамъ автора, намъ нужно время, чтобы привыкнуть къ человѣческому роду въ томъ видѣ, какимъ его сдѣлали притворство, тщеславіе, малодушіе и личный интересъ. Скоро вслѣдъ затѣмъ мы научаемся дивиться нашему прежнему удивленію; мы очень удобно примѣняемся къ нашимъ новымъ условіямъ жизни, точно такъ какъ мы привыкаемъ свободно дышать въ театрѣ наполненномъ биткомъ, хотя при входѣ туда мы чуть чуть не задохлись. Однако авторъ этого очерка тревожныхъ заботъ эгоизма, почти дошедшаго до своихъ крайнихъ предѣловъ, внезапно бросаетъ намъ неожиданное, но полное проницательности и блеска нравоученіе; *la grande question dans la vie, c'est la douleur que l'on cause*—главный вопросъ въ жизни составляетъ то горе, которое мы вносимъ въ жизнь другихъ. Когда Гельвецій вводитъ насъ въ какое нибудь мрачное подземелье, насъ также нерѣдко освѣжаетъ дуновеніе болѣе вольнаго воздуха. Среди множества то вѣрныхъ, то ложныхъ, то пошловатыхъ, то глубокомысленныхъ изреченій, разбросанныхъ на страницахъ Гельвеція, есть одна тонкая и дальноворкная мысль сильно поразившая Бентама. «Чтобъ любить людей»,—пишеть онъ,—«надо малоаго ожидать отъ нихъ». Въ устахъ какого нибудь циника эти слова могли бы считаться за выраженіе такого рода мизантропіи, который столько же непривлекателенъ, сколько не согласенъ съ научными истинами. Но въ устахъ Гельвеція эти слова были аргументомъ въ пользу осмотрительности и снисходительности и, главнымъ образомъ, имѣли цѣлью убѣдить читателя въ необходимости быть терпѣливыми и сдержанными, когда имѣешь дѣло съ массами людей. «Всякий»,—говорить онъ,—«чей разсудокъ не ослѣпленъ страстью, всегда будетъ тѣмъ болѣе снисходительнымъ, чѣмъ болѣе просвѣщенъ его умъ». Онъ понимаетъ, что люди именно таковы, какими должны быть, что всякое чувство

1) *Political Justice*, кн. 1. гл. IV.—„Характеры людей зарождаются въ окружающихъ ихъ внешнихъ условіяхъ“.

ненависти къ нимъ не основательно, что безумецъ творить безумные дѣла, точно также какъ дикое растеніе даетъ кислые ягоды и что поносить ихъ за это то-же, что винить дубъ въ томъ, что онъ производить желуди а не оливки.¹⁾ Все это настолько разумно и гуманно, насколько могутъ быть разумны и гуманны слова и во всемъ этомъ выражается настоящая цѣль и настоящій характеръ теоріи Гельвеція. Къ несчастію для него и для его поколѣнія, его точка зрѣнія была слаба и измѣнчива. Онъ не имѣлъ способности правильно мыслить; оттого то изъ всѣхъ книгъ восемнадцатаго столѣтія его книга была по преимуществу сочетаніемъ самыхъ полезныхъ истинъ съ самыми отталкивающими заблужденіями.

¹⁾ Disc. II. 40.

ГЛАВА XIV.

Система Природы Гольбаха.

Система Природы вышла въ свѣтъ въ 1770 г.,—за восемь лѣтъ до смерти Вольтера и Руссо; всѣ разбросанныя критикой того вѣка взрывчатыя вещества были соединены здѣсь въ одну громоносную машину бунта и разрушенія. Ее выдавали за посмертное произведеніе Мирабо, занимавшаго должность секретаря Академіи. Это былъ одинъ изъ тѣхъ литературныхъ подлоговъ, которые были въ ту пору обычнымъ явленіемъ. Настоящимъ же авторомъ ея былъ Гольбахъ. Она составлена съ такой систематичностью и послѣдовательностью, что нѣтъ возможности предполагать участіе въ ней нѣсколькихъ лицъ; она также слишкомъ систематична для того, чтобы можно было повѣрить нерѣдко высказывавшейся догадкѣ, будто авторомъ ея былъ Дидро. Въ то же самое время есть основательные резоны думать, что не только многія изъ высказанныхъ въ ней идей, но и нѣкоторыя ея страницы были непосредственно дѣломъ Дидро. Позднѣйший издатель произведеній безпечнаго философа былъ конечно правъ, когда помѣстилъ въ числѣ принадлежавшей его перу литературной смѣси напыщенные возгласы, выражавши въ сжатомъ видѣ всю суть этой немилосердой книги. Молва такъ настоятельно называла Дидро авторомъ книги, что онъ встревожился и поспѣшилъ уѣхать изъ Парижа къ себѣ на родину въ Лангръ и потому на морскія купанья въ Бурбоннъ для того, чтобы было удобнѣе бѣжать за границу при первомъ извѣстіи, что готовится декретъ о взятіи его подъ стражу.¹⁾ Вотъ въ какихъ словахъ онъ выразилъ похвалу произведенію своего друга: «Мнѣ опротивѣла новѣйшая манера смѣшивать невѣріе съ суевѣріемъ. Я люблю философскія

¹⁾ Oeuvres, XVII. 329.

размышленія ясныя, опредѣленныя и откровенныя,—такія, какія я нахожу въ *Системѣ Природы*. Авторъ ея не выказываетъ себя на одной страницѣ атеистомъ, а на другой дейстомъ. Вся его философія представляетъ нѣчто цѣльное». ¹⁾

Никогда еще никакая книга не производила такого всеобщаго потрясенія въ умахъ. Всякій хотѣлъ прочесть ее и почти всякий приходилъ отъ нея въ ужасъ. Точно молнія, освѣщающая путь странника среди ночного мрака, она внезапно раскрыла въ глазахъ людей, въ среду какихъ страшныхъ образовъ, подъ какой неизѣдомый для нихъ небесный сводъ и на какую опасную дорогу они были безсознательно увлечены своими странствованіями въ послѣдніе пятьдесятъ лѣтъ. Въ теченіе полуѣвропейскаго времени они пользовались такими умственными наслажденіями, какихъ не знало ни одно изъ большихъ европейскихъ обществъ со смерти Микеля Анджело и какія едва ли были когда либо доступны для тѣхъ, кто жилъ къ сѣверу отъ Альповъ. А теперь многимъ изъ нихъ казалось, что перелистывая книгу Гольбаха они стоять лицомъ къ лицу съ дьяволомъ средневѣковой легенды, требующимъ, чтобы они отдали ему свою душу. Сатирическія насмѣшки надъ Іовомъ и Давидомъ, шутливыя замѣчанія по поводу убийствъ Иисуса Навина и наложницъ Саломона, издѣяніе надъ слѣпыми пастырями еще болѣе слѣпой паству, старанія возвести Ньютона на тронъ Декарта и Локка на пьедесталъ Малебранша, пожеланія, чтобы послѣдній янсенистъ былъ задушенъ въ объятіяхъ послѣдняго іезуита,—все это придавало вседневной жизни особый вкусъ и ароматъ. Но среди этого ликованія Гольбахъ вдругъ указалъ имъ на перстъ ихъ собственного божества—Разума, пишущій на стѣнѣ страшное рѣшеніе, что нѣтъ бога, что вселенная ничто иное какъ пришедшая въ движение матерія, и—самая прискорбная для всѣхъ слова,—что то, что люди называютъ душой, умираетъ вмѣстѣ съ смертью тѣла, точно такъ какъ прекращается музыка, когда струны лопнули.

Галлани,—этотъ остроумный неаполитанецъ, имѣвшій много хорошихъ друзей въ кружкѣ философовъ,—высказалъ то же мнѣніе, которое выражено въ хорошо известной фразѣ одного изъ новѣйшихъ писателей. «Авторъ *Системы Природы*»,—сказалъ онъ,—«тоже по части метафизики, что аббатъ Террэ по части финансовъ: онъ дѣлаетъ скидки, прекращаетъ платежи и доводить до банкротства и знанія и удовольствія и человѣческой умъ. Но вы скажете мнѣ на это, что кредитъ былъ сильно подорванъ, что по отчетамъ былъ большой дефицитъ и что на рынкѣ было слишкомъ много ничего не стоящихъ бумагъ. Это правда и именно оттого произо-

1) Oeuvres, II. 398.

шелъ кризисъ». ¹⁾ Гете, бывшій въ ту пору студентомъ Страсбургскаго университета, рассказалъ намъ, какой ужасъ и какое смятение возбудила въ тамошнихъ кружкахъ *Система Природы*. Но мы никакъ не могли понять,—говорить онъ,—почему эта книга могла бы быть опасной. Она показалась намъ такой безумной, такой мертвенной, что мы съ трудомъ выносили ея присутствіе; смотря на нее мы приходили въ содроганіе, точно будто мы видѣли привидѣніе. Она поражала насъ какъ настоящая квинтессенція затхлости; мы находили, что въ ней нѣтъ никакого аромата и что она внушаетъ отвращеніе». ²⁾

Если въ такомъ свѣтѣ представилась эта книга тому юношѣ, которому было суждено скоро сдѣлаться центромъ немецкой литературы, то блестящій ветеранъ, бывшій въ теченіе двухъ поколѣній центромъ французской литературы, былъ въ одно и тоже времена и оскорблѣнъ отвагой нового трактата и приведенъ въ смятеніе опасностью, которую этотъ трактатъ навлекалъ на всю Энциклопедическую братью вмѣстѣ съ стоявшимъ въ ея главѣ Патріархомъ. Лишь только Вольтеръ прочелъ *Систему Природы*, онъ тотчасъ схватился за перо, чтобы писать на нее возраженія. ³⁾ Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ позабочился о томъ, чтобы это было извѣстно кому слѣдуетъ. Онъ написалъ своему старому покровителю и другу Ришелье, прося его сообщить королю, что Вольтеръ, котораго всѣ такъ брачнѣ, написалъ возраженія на книгу, обратившую на себя общее вниманіе. Я полагаю, писалъ онъ, что всегда полезно поддерживать ученіе о существованіи Бога, отъ котораго исходятъ наказанія и награды; общество нуждается въ такомъ понятіи. Замѣчательно съ какимъ безпредвѣдѣніемъ старались поддерживать идею о *Dieu-vengé* два самыхъ безнравственныхъ человѣка того времени—Лудовикъ Пятнадцатый и Ришелье. Вольтеръ по крайней мѣрѣ ясно понималъ, что эта идея была въ интересѣ двора, отъ котораго исходили и наказанія и награды. Авторъ *Системы Природы*,—писалъ онъ Гримму,—долженъ бы быть понимать, что онъ губить своихъ друзей и дѣлаетъ ихъ ненавистными въ глазахъ короля и двора. ⁴⁾ Это мнѣніе оказалось основательнымъ по отношенію къ самому королю философовъ. Фридрихъ Пруссій былъ оскорблѣнъ книгой, которая такъ же мало щадила политическіе предразсудки какъ и богословскіе доктрины и трактовала о короляхъ такъ же смѣло, какъ она трактовала о духовенствѣ. Хотя онъ въ ту пору очень внимательно слѣдила за ходомъ войны между Россіей и Турцией.

¹⁾ Corresp. de Galani, I. 142.

²⁾ Wahrheit und Dichtung, кн. XI.

³⁾ См. статью Dieu въ Dict. Philosophique.

⁴⁾ Согг. Вольтера. 1 нояб. 1770.

цієй і уже помышлялъ о раздѣлѣ Польши, онъ нашелъ время, чтобы написать статью въ защиту деизма. Это хороший знакъ,— сказалъ ему Вольтеръ,—когда какой нибудь король сходится въ мнѣніяхъ съ простымъ смертнымъ; ихъ интересы такъ часто бываютъ противоположны, что въ тѣхъ случаяхъ когда они думаютъ одинаково, они не могутъ ошибаться.¹⁾

По правдѣ сказать, Вольтеръ никогда и не понималъ философскаго значенія Гольбаховскихъ тезисовъ. Какъ было основательно замѣчено однимъ писателемъ, онъ былъ представителемъ обыкновенного здраваго смысла, который, при всѣхъ своихъ декламаціяхъ и воззаніяхъ къ человѣческимъ чувствамъ, не имѣлъ никакого вѣса или значенія въ сравненіи съ какой либо философской системой мышленія, хотя бы эта система была сама по себѣ изъ самыхъ скромныхъ.²⁾ Онъ едва ли задалъ себѣ болѣе труда, чтобы понять Гольбаха, чѣмъ Джонсонъ, чтобы понять Беркелея. Въ сущности Вольтеръ обыкновенно смотрѣлъ на великие результаты богословской полемики скорѣе съ соціальной, чѣмъ съ философской точки зрѣнія. Однажды въ его присутствіи шелъ разговоръ о существованіи божества; когда кто то съ жаромъ высказался по этому предмету отрицательно, Вольтеръ всѣхъ удивилъ тѣмъ, что обратился къ прислугѣ съ приказаниемъ выйти изъ комнаты и за перъ вслѣдъ за нею дверь. «Господа»,—сказалъ онъ присутствующимъ въ объясненіе этого образа дѣйствій,—«я не желаю, чтобы завтра утромъ мой лакей зарѣзалъ меня». Вольтеръ уважалъ деистическую вѣрованія не ради ихъ истины, а ради того, что они будто бы способствуютъ поддержанію благочинія. Напротивъ того, д'Аламберъ смотрѣлъ на предметъ спора съ безпристрастной философской точки зрѣнія. «Касательно существованія высшей интеллигенції»,—писалъ онъ Фридриху Великому,—«я полагаю, что тѣ, которые его отвергаютъ, заходятъ гораздо далѣе того, что въ состояніи доказать, и что скептицизмъ есть единственная разумная точка зрѣнія». Впрочемъ онъ говоритъ далѣе, что опытъ неопровергимо доказываетъ и материальность души и существованіе материальнаго божества—похожаго на то, какое не отвергается Миллемъ,—съ ограниченною властью и зависящаго отъ опредѣленныхъ условій.³⁾

Но обратимся къ содержанію самой книги, и прежде всего къ ея автору. Кто читалъ *Новую Элоизу*, тотъ, конечно, не позабылъ, что послѣ того какъ герояня этого романа сознала свою вину и

¹⁾ 27 июля 1770.

²⁾ *Gesch. d. Materialismus* Ланге, I. 369; авторъ этой книги доказываетъ, что Вольтеръ совсѣмъ не понялъ точки зрѣнія, съ которой Гольбахъ объяснялъ устройство вселенной.

³⁾ *Deutsches*, V. 296, 303 и пр.

вышла замужъ, она знала только одно горе въ жизни,—что ея мужъ рѣшительно не вѣритъ ни въ Высшее Существо ни въ другой міръ. Въ лицѣ ея мужа Вольмара,—какъ всѣ думали,—Руссо хотѣлъ изобразить Гольбаха, который едва ли остался бы недовольнымъ такимъ портретомъ. Вольмаръ представленъ въ романѣ человѣкомъ добрымъ, дѣятельнымъ, терпѣливымъ, спокойнымъ, дружелюбнымъ и правдивымъ. Хорошо комбинированное согласованіе человѣческихъ дѣяній съ обстоятельствами нравится ему точно такъ же, какъ ему понравилась бы изящная соразмѣрность статуи или искусно придуманные драматическіе эффекти. Если у него есть какая нибудь господствующая страсть, то одна только страсть къ наблюденію; онъ находитъ наслажденіе въ томъ, чтобы читать въ сердцахъ людей.¹⁾

Эта характеристика воображаемаго Вольмара вполнѣ примѣнима къ невымыщленному Гольбаху. Мы уже знаемъ, что Дидро былъ его интимнымъ другомъ и частымъ гостемъ. Онъ былъ изъ числа самыхъ просвѣщенныхъ людей своего времени (1723—89). У него были отличная библіотека, картинная галлерея и прекрасный кабинетъ натуральной исторіи, и всѣмъ этимъ его бѣдные друзья могли пользоваться такъ же не стѣсняясь, какъ и богатые. Его обхожденіе было пріятно, вѣжливо и не натянуто; онъ былъ образцемъ чистосердечія и доброта его души отражалась во всѣхъ чертахъ его лица. Его гостепріимство доставило ему прозвище мэтръ д'отеля философіи, а его домъ былъ въ шутку прозванъ *Café de l'Europe*. По воскресеньямъ и четвергамъ,—не исключая и другихъ дней,—къ его прекрасному обѣду съ отличными винами собирались отъ десяти до двадцати человѣкъ литераторовъ и выдающихся иностраннныхъ гостей, какъ Юмъ, Уильксъ, Шельбурнъ, Гаррикъ, Франклинъ, Пристлей. Какъ на доказательство того, какъ было привлекательно это общество, указывали на тотъ фактъ, что гости, собиравшіеся въ два часа пополудни, обыкновенно расходились не прежде семи или восьми часовъ вечера. Для одного изъ посѣтителей, обратившагося впослѣдствіи въ могущественнаго врага группы Энциклопедистовъ, казались горькими и ядовитыми и царствовавшая тамъ веселость, и непочтительность, и смѣлость мыслей и нестѣсняемость выраженій. Руссо находилъ, что ихъ атеистическая выходки оскорбительны выше всякой мѣры. Ихъ суровый рапіонализмъ былъ отвратителенъ для великаго мечтателя, погруженного въ душевныя эмоціи и послѣ того, какъ онъ поссорился поочередно съ каждымъ изъ нихъ, онъ выразилъ въ трогательныхъ жалобахъ Юлии свой собственный взглядъ на мрачный характеръ атеизма. «Пойми-

¹⁾ *Nouvelle Héloïse*, IV. XII.

те, какое мученье жить въ удаленіи отъ свѣта съ такимъ человѣкомъ, который раздѣляетъ ваше существованіе, но не въ состояніи раздѣлять упований, придающихъ цѣну этому существованію; какое мученье никогда не быть въ состояніи вмѣстѣ съ нимъ благословлять твореніе божіе или разсуждать о счастливой будущности, обѣщанной намъ божескою благодатью; какое мученіе видѣть, что онъ повсюду творить добро, но равнодушенъ ко всему, что заставляетъ насть находить наслажденіе въ добрыхъ дѣлахъ; какое мученіе постоянно видѣть то странное противорѣчіе, что онъ мыслить какъ нечестивецъ, а живетъ какъ христіанинъ. Представьте себѣ Юлю прогуливающуюся вмѣстѣ съ мужемъ въ то время, когда она съ восторгомъ смотритъ на роскошную прелесть природы, какъ на твореніе и щедрый даръ творца вселенной, а онъ не видитъ въ ней ничего кромѣ случайной комбинаціи, кромѣ продукта слѣпой необходимости! Увы! восклицаетъ она, великое зрѣлище природы, въ нашихъ глазахъ столь полное красоты и одушевленія, мертвъ въ глазахъ несчастнаго Вольмара, и въ этой великой гармоніи бытія, где все говорить намъ такъ нѣжно и убѣдительно о Богѣ, онъ ничего не слышитъ кромѣ вѣчнаго молчанія» ¹⁾.

Нельзя, однако же отдать справедливости автору этого краснорѣчиваго *Ignoratio Elenchi*, что онъ добросовѣстно исполнилъ свою задачу—доказать и религіознымъ и философскимъ партіямъ, что противники каждой изъ нихъ способны вести жизнь честную, полезную и полную великодушія. Можно усомниться только въ томъ, изобразилъ-ли бы онъ воображаемаго Вольмара въ такомъ благопріятномъ свѣтѣ, если бы онъ узналъ, какого рода книгу готовится издать реальный Гольбахъ. Вѣдь мнѣнія Гольбаха казались болѣе суровыми и мрачными въ хладнокровно обдуманной формѣ печатнаго изложения, чѣмъ въ усъянной перерывами устной бесѣдѣ.

Касательно самого содержанія книги мы должны прежде всего замѣтить, что ея авторъ не избѣжалъ самого важнаго изъ недостатковъ, какими страдала философская школа того вѣка. Мы даже позволимъ себѣ обобщить это замѣчаніе и сказать, что пренебреженіе къ исторической точкѣ зрѣнія было естественнымъ недостаткомъ всѣхъ материалистическихъ теорій, начиная со временъ Эпікура ²⁾. Подобно всѣмъ другимъ членамъ одной съ нимъ школы, Гольбахъ не усматривалъ или не понималъ необходимости объяснить, какимъ образомъ человѣческое мышленіе дошло до того положенія, въ ко-торомъ оно находилось въ ту пору, какимъ образомъ люди дошли до того, что стали мыслить и вѣрить такъ, какъ они мыслили и

¹⁾ *Nouvelle Héloïse*. V. V.

²⁾ См. Ланге, I. 85.

вѣрили въ ту пору. Онъ хочетъ измѣнить ихъ убѣжденія, ссылаясь на такие мотивы, которые онъ считаетъ неопровергимыми, но онъ вовсе не думаетъ задавать самому себѣ вопросъ, въ какихъ элементахъ человѣческаго характера коренились старыя убѣжденія и отъ какихъ удобствъ практическаго примѣненія они получали свою жизненную силу. А пока эта сторона предмета не была принята въ серьезное соображеніе, его неопровергимые мотивы не могли достигать желаемой цѣли. Когда общественные перевороты подорвали уваженіе къ вѣку логики, люди начали припоминать, что какъ у логики такъ и у человѣческихъ мнѣній есть своя история, что эти мнѣнія тѣсно связаны съ множествомъ унаследованныхъ предубѣждений и что они отождествились съ множествомъ общественныхъ обычаевъ, составляющихъ самую дорогую для людей долю ихъ жизни. Натура породила вчерашнюю тьму, она же породила и сегодняшний свѣтъ; она въ одинаковой мѣрѣ и виновница суетѣй и оракулъ разума. Все это было забыто приверженцами Гольбаховской школы, оттого то эта школа и кажется намъ теперь такой узкой и поверхностной. Эти люди утверждали, будто все прошедшее было дѣломъ прикрытымъ мистеріями неправды. «Масса бѣдствій человѣческаго рода не уменьшилась, а напротивъ того увеличилась благодаря его религіямъ, его правительствамъ, его убѣженіямъ, однимъ словомъ благодаря всѣмъ тѣмъ учрежденіямъ, которыхъ заставляли его принимать подъ предлогомъ улучшенія его участіи»¹⁾. *On lui fit adopter!* Но кто же эти онъ, и какимъ путемъ они дѣйствовали? Съ помощью какихъ орудій и съ какой точкой опоры? Никогда еще никто не дѣлалъ такого пагубного злоупотребленія изъ этого отвлеченного выраженія. И если религіи, правительства, убѣжденія увеличили бѣдствія человѣческаго рода, то что же было причиной уменьшенія этихъ бѣдствій? Вѣдь школа Энциклопедистовъ никогда и не пыталась отрицать, подобно Руссо, что міръ сдѣлалъ шагъ впередь по пути къ лучшему. Оттого, что послѣдователи Гольбаха смотрѣли на человѣчество какъ на рабовъ, которые непремѣнно должны желать сбросить наложенные на нихъ оковы, ихъ дѣятельность, принесшая во время революціи нѣкоторую пользу ложнымъ путемъ, привела въ концѣ концовъ къ пагубной реакціи въ пользу католицизма.

Впрочемъ философія *Системы Природы* не имѣла того непосредственного значенія, какое имѣли ея запальчивые, нестѣсняемые и упорные нападки на правительство. Вольтеръ,—какъ мы не разъ уже имѣли случай замѣтить,—всегда воздерживался отъ всякаго вмѣщательства въ теорію или въ практическія злоупотребленія адми-

¹⁾ *Syst. de la Nat.*, I. XVI.

нистрації. Всѣ его стрѣлы были направлены въ религіозныя сувѣрія. Правда, Руссо началъ свое знаменитое изложеніе политическихъ теорій воскликаніемъ, что человѣкъ, родившійся свободнымъ, находится повсюду въ оковахъ. Но Руссо выражался туманно, владающій въ отвлеченности и въ сентиментальность. Напротивъ того въ *Системѣ Природы* мы находимъ ясное предзначенніе тѣхъ рѣзкихъ и надменныхъ бранныхъ возгласовъ, которые, черезъ двадцать лѣтъ послѣ ея выхода въ свѣтъ, раздавались въ ушахъ каждого изъ садовъ Пале-Ройяля и со скамей залы Якобинцевъ. Авторъ рѣшительно пришелъ къ тому убѣждѣнію, что наконецъ настало время отбросить скромную форму нравоучительныхъ басней и притчей, и придать своимъ словамъ рѣзкость завостренного меча. Туманная оболочка политическихъ размышеній и жеманныя оговорки какой то Утопіи или Новой Атлантиды уступили мѣсто страстнымъ, язвительнымъ и прямо примѣнимымъ къ жизни обвиненіямъ. Повсюду,— говорилось въ книгѣ,—люди находятся подъ игомъ такого властелина, который пренебрегаетъ образованіемъ своего народа, стараясь лишь о томъ, чтобы его провести и надуть. Во всѣхъ странахъ земного шара правители—люди несправедливые, неспособные, изнѣженные роскошью, нравственно испорченные лестью, развратившіеся отъ своеволія и безнаказанности, не отличающіеся ни талантами, ни нравственными правилами, ни добродѣтелями. Будучи равнодушны къ своимъ обязанностямъ, о которыхъ они болѣею частію не имѣютъ никакого понятія, они едва ли посвящаютъ одну минуту въ день заботамъ о благосостояніи ихъ народа; все ихъ вниманіе поглощено бесполезными войнами или стараніемъ безпрестанно отыскивать новые средства для удовлетворенія ихъ ненасытной жадности. Общество находится въ положеніи постоянной борьбы между его правителемъ и всѣми остальными его членами. Во всѣхъ странахъ нравственность народа въ совершенномъ пренебреженіи и правительства заботятся только о томъ, чтобы сдѣлать управляемыхъ боязливыми и подлыми. Простолюдинъ ничего не желаетъ для себя кромѣ хлѣба; онъ зарабатываетъ въ потѣ своего лица этотъ хлѣбъ, который казался бы ему сладкимъ, если бы правительство не дѣлало его горькимъ. Всѣдѣствіе безразсудства правительства, даже тѣ, которые утопаютъ въ роскоши, не будучи оттого нисколько болѣе счастливы, отнимаютъ у земледѣльца то, что онъ извлекъ изъ земли своимъ трудомъ. Несправедливость, доводя бѣдняковъ до отчаянія, заставляетъ ихъ искать въ преступленіяхъ средствъ противъ лишений. Несправедливое правительство вселяетъ въ сердца людей отчаяніе; отъ его притѣсненій населеніе уменьшается, поля остаются необработанными, голодъ, болѣзни и зараза распространяются въ странѣ. Потомъ раздраженные страданіями умы начинаютъ приходить въ

броженіе и разгорачаться, а неизбѣжнымъ послѣствіемъ этого бываетъ распаденіе государства¹⁾.

Если бы Франція благоденствовала, все это было бы принято за пустую декламацію раздраженного литератора. На самомъ же дѣлѣ эта декламація изображала дѣйствительное положеніе страны въ выраженіяхъ столько же согласныхъ съ истиной, сколько невоздержныхъ и явительныхъ. А подъ тяжестью невымыщленныхъ материальныхъ золъ не обращалось никакого вниманія на то, согласны ли мотивы обвиненія съ принципами здраваго исторического взгляда на общество. И этому нельзя удивляться. Слѣдуетъ также обратить вниманіе на одинъ фактъ, подобного которому мы не могли подмѣтить въ первыя десятилѣтія восемнадцатаго столѣтія,—на то, что въ *Системѣ Природы* протестъ противъ безсилія общества находится въ неразрывной связи съ протестомъ противъ всемогущества божія. Эта связь окончилась кровавой развязкой черезъ двадцать четыре года послѣ того, какъ она была указана книгой Гольбаха,—а именно когда Комитетъ Общественной Безопасности отправилъ на гильотину Гебера и другихъ людей, которые были лучше Гебера, за то что они были атеисты. Вѣдь атеизмъ, по увѣренію Робесппера, былъ аристократиченъ.

Произведеніе Гольбаха, очевидно, возникло изъ теоріи, что соціальное освобожденіе человѣка зависитъ отъ его интеллектуального освобожденія, и что ключъ къ его интеллектуальному освобожденію можетъ быть найденъ лишь въ замѣнѣ деизма натурализмомъ. Что разумѣть онъ подъ словомъ натурализмъ, мы увидимъ ниже. Стиль Гольбаха, не смотря на энергию и послѣдовательность идей, нерѣдко расплывается и впадаетъ въ декламацію. Кто то сказалъ о *Системѣ Природы*, что въ ней по меньшей мѣрѣ вчетверо болѣе словъ, чѣмъ сколько нужно. Однако Вольтеръ, выказывавшій крайнее непреположеніе къ ея теоріи, сознавалъ, что авторъ умѣлъ заинтересовать и ученыхъ и невѣждъ и женщинъ. «Онъ часто бываетъ ясенъ», — сказалъ Вольтеръ, — «и иногда краснорѣчивъ, но его можно упрекнуть въ томъ, что онъ впадаетъ въ декламацію, повторяется и противорѣчитъ самому себѣ»²⁾. Галіани, указавши на недостатокъ въ стилѣ спокойствія и самообладанія, сдѣлалъ очень тонкое критическое замѣчаніе, что читая книгу написанную такимъ стилемъ вамъ кажется, будто авторъ старается убѣдить не столько другихъ, сколько самого себя. Но таково было лишь поверхностное впечатлѣніе, такъ какъ никто не могъ сомнѣваться ни въ глубокой искренности автора, ни въ его горячемъ желаніи пріобрѣсть послѣдовател-

¹⁾ Syst. de la Nat. I. XIV. XVI. etc. etc.

²⁾ Dict. Phil., s. V. Dieu, § IV.

лѣй. Онъ зналъ, чего хотѣлъ, и отчеканивалъ свою теорію такими сильными ударами молота, которые попадали прямо въ цѣль. Тѣмъ не менѣе, хотя его слогъ и былъ настроенъ на декламаторскій тонъ, онъ нерѣдко нисходилъ до пустой болтовни. Современники Гольбаха такъ много натерпѣлись отъ когтей католической церкви, что не придавали никакой цѣны ни ритму, которымъ отличались поученія поборниковъ церкви, ни ихъ округленнымъ періодамъ. Но въ наше время,—когда католическая церковь научилась отъ своихъ противниковъ быть болѣе хорошей христіанкой, чѣмъ какой она была лѣтъ сто тому назадъ,—мы можемъ положительно утверждать, что Гольбахъ не отличался болѣе пѣнительнымъ слогомъ, чѣмъ некоторые отцы католической церкви и по тону своихъ произведеній не всегда былъ болѣе ихъ назидателенъ.

Что же такое система природы и что такое натурализмъ, которымъ авторъ хочетъ замѣнить общепринятый вѣрованія въ божество, неоснованный на изученіи природы? Онъ вовсе не заявляетъ претензіи доискаться отвѣта на этотъ вопросъ путемъ экспериментальнымъ. Онъ сначала и до конца одушевленъ свойственной догматикамъ самоувѣренностью. Онъ не столько изслѣдователь сколько истолкователь, онъ не столько философъ сколько проповѣдникъ и въ своихъ увѣщаніяхъ онъ смѣло обходится безъ ссылокъ на доказательства.

«Пусть человѣкъ перестанетъ отыскивать внѣ міра, въ которомъ онъ живеть, такія существа, которыя доставили бы ему то благополучіе, котораго ему не даетъ природа; пусть онъ изучаетъ эту природу, знакомится съ ея законами и вникаетъ въ энергию и неизмѣняемое постоянство, съ которыми она дѣйствуетъ; пусть онъ пользуется своими открытиями для своего собственного благополучія и молчаливо подчиняется законамъ, отъ дѣйствія которыхъ ничто не можетъ избавить его; пусть онъ примирится съ мыслию, что ему всегда будутъ неизвѣстны причины того что есть, таѣкъ какъ для него онѣ окружены непроницаемымъ покровомъ; пусть онъ безропотно подчиняется велѣніямъ всеобъемлющей силы».

Знаніе, основанное на опыте, есть источникъ всяко разумного образа дѣйствій. Физика (la physique) и опытъ—вотъ съ чѣмъ должны мы сообразоваться въ религии, въ нравственности, въ законодательствѣ, равно какъ въ наукахъ и искусствахъ. Съ всеобщей природой мы связаны нашими чувствами и при помощи этихъ чувствъ мы открываемъ ея тайны. Когда мы впервые знакомимся съ этими тайнами на опыте, мы впадаемъ въ сферу недоумѣній, въ которой наше воображеніе вовлекается настѣ въ нескончаемыя заблужденія.

Движеніе есть то, что устанавливаетъ отношенія между на-

шими органами и външними предметами. Каждый предметъ имѣетъ свои собственные законы движенія. Во вселенной все находится въ движении; въ сущности никакая часть природы не остается въ покое¹).

Откуда получаетъ природа это движение? Отъ самой себя, такъ какъ она—великое цѣлое, ввѣ котораго ничто не можетъ существовать. Движеніе есть такая форма бытія, которая необходимо истекаетъ изъ сущности матеріи; матерія двигается своею собственною энергией; ея движение есть результатъ присущей ей силы; разнообразіе ея движений и происходящія отъ нихъ явленія, суть результатъ измѣненія особенностей, свойствъ, комбинацій, первоначально кроющихся въ различныхъ первобытныхъ матеріяхъ, соединеніе которыхъ вмѣстѣ и есть природа.

Откуда взялась матерія? Матерія существовала вѣчно, а такъ какъ движение есть одно изъ существенныхъ и неизмѣнныхъ свойствъ матеріи, то и движение существовало вѣчно.

Отвлеченное понятие о матеріи должно быть разложено на части. Вместо того, чтобы смотрѣть на матерію какъ на единичное существо,—грубое, пассивное, неспособное двигаться само собою и производить различные смышенія, мы должны смотрѣть на нее какъ на такой родъ существованія, въ которомъ различные индивидуальные члены, составляющіе родъ, не должны быть причисляемы къ одному классу и не должны быть соединяемы подъ одно наименование, не смотря на то что у нихъ есть нѣкоторая общія всѣмъ имъ свойства, какъ то объемъ, дѣлимость, внѣшній видъ и т. д.

Въ чёмъ заключается процессъ природы? Въ постороннемъ движении. Начиная съ камня, образующагося въ недрахъ земли путемъ плотного соединенія однородныхъ и схожихъ между собою частицъ, и кончая солнцемъ—этимъ обширнымъ вмѣстилищемъ воспламенившихъ частицъ, освѣщающимъ небесную твердь; начиная онѣмѣлой устрицей и кончая человѣкомъ—все представляетъ непрерывное движение, нескончаемую цѣль комбинацій и движений, отъ которыхъ возникаютъ существа, отличающіяся одно отъ другаго лишь разнообразiemъ ихъ первоначальныхъ элементовъ, а также комбинаціей и размѣрами этихъ элементовъ. Отъ этого разнообразія происходитъ и безконечное разнообразіе способовъ существования и дѣйствія. Въ рождениіи, питаніи, сохраненіи мы усматриваемъ лишь различные виды матеріи, различными образомъ комбинированные, такъ что каждый изъ этихъ видовъ имѣть свое особое движение, опредѣляемое постоянными законами, которые заставляютъ ихъ подвергаться необходимымъ измѣненіямъ.

¹) Гольбахъ сознаетъ, что въ данномъ случаѣ онъ многимъ обязанъ Письмамъ къ Сирену Толанда (1704).

Считаемъ не лишнимъ привести здѣсь три опредѣленія, принадлежащія автору разсматриваемой книги. 1) *Движеніе есть усиление, съ помощью которого только перемѣняетъ или старается перемѣнить свое мѣсто.* 2) Объ окончательномъ составѣ матеріи Гольбахъ не говоритъ ничего опредѣленного, хотя и полагаетъ, что основнымъ закономъ для него служитъ молекулярное движение. Онь довольноствуетъ опредѣлениемъ его «по отношенію къ намъ», — такимъ опредѣленіемъ, которое можетъ быть было вполнѣ достаточно для той цѣли, для которой было назначено его сочиненіе. И такъ по отношенію къ намъ матерія вообще есть все то, что какимъ бы то ни было образомъ дѣйствуетъ на наши чувства; а свойства, приписываемыя нами различнымъ родамъ матеріи, основаны на различіи впечатлѣній, производимыхъ ими на насъ. 3) «Когда я говорю, что природа производить впечатлѣніе, я вовсе не думаю олицетворять эту природу, которая есть отвлеченное понятіе; я хочу сказать, что впечатлѣніе, о которомъ я говорю, есть неизбѣжный результатъ свойствъ какого либо изъ тѣхъ существъ, которые составляютъ въ нашихъ глазахъ великое цѣлое. Такимъ образомъ, когда я говорю, что природа требуетъ, чтобы человѣкъ работалъ для своего собственного благополучія, я хочу этимъ сказать, что всякий, кто способенъ чувствовать, мыслить, хотѣть и дѣйствовать, долженъ по своему естеству трудиться для своего собственного благополучія. Подъ естествомъ я разумѣю то, что дѣлаетъ существо такимъ, каково оно есть, — то есть сумму его особенностей или тѣхъ свойствъ, благодаря которымъ оно существуетъ и дѣйствуетъ именно такъ, а не иначе».

Всѣ феномены неизбѣжны. Во вселенной нѣтъ такого существа, которое, при данныхъ обстоятельствахъ и при данныхъ своихъ особенностяхъ, могло бы дѣйствовать иначе, чѣмъ оно дѣйствуетъ. Огонь неизбѣжно сожигаетъ всякую горючую матерію, какая попадаетъ въ сферу его дѣятельности. Человѣкъ неизбѣжно желаетъ того, что доставляетъ ему или кажется доставляющимъ комфорѣ и благосостояніе. Не можетъ быть ни какой либо самостоятельной силы, ни какой либо изолированной причины, ни какой либо оторванной отъ всего дѣятельности въ такомъ мѣрѣ, гдѣ всѣ существа непрестанно вліяютъ другъ на друга и который самъ ничто иное, какъ вѣчное круговое движение, совершающее согласно съ неизбѣжными законами. Во время вихря, вздымающаго облака пыли, во время самой сильной бури, приводящей въ движеніе океанъ, ни одна пылинка и ни одна капля воды не мѣняетъ своего мѣста случайно, или, иначе сказать, не занимаетъ безъ надлежащей причины того мѣста, на которомъ находится. Точно такъ и во время страшныхъ потрясеній, нерѣдко кончающихся паденiemъ имперій, нѣтъ ни одного дѣятельности, ни одного слова, ни

одной мысли, ни одного желанія или страсти въ каждомъ отдельномъ агентѣ такого переворота,— все равно принадлежитъ ли онъ къ числу разрушителей или къ числу жертвъ разрушенія,— которые не были бы неизбѣжны, которыхъ не дѣйствовали бы именно такъ какъ они должны дѣйствовать и которыхъ не производили бы неминуемо такого дѣйствія, какое должны производить сообразно съ мѣстомъ, которое данный агентъ занимаетъ въ нравственномъ вихрѣ¹⁾.

Порядокъ и беспорядокъ— отвлеченные термины, которые не могутъ существовать въ природѣ, идти все неизбѣжно и все подчиняется неизмѣннымъ законамъ. Порядокъ—ничто иное какъ неизбѣжность по отношенію къ послѣдовательности дѣйствій. Беспорядокъ по отношенію къ какому бы то ни было существу есть ничто иное, какъ переходъ этого существа къ новому порядку,—къ ряду такихъ движений и дѣйствій, которыхъ различны отъ тѣхъ, къ какимъ оно было способно до того времени. Поэтому въ природѣ не можетъ быть ни чудовищъ, ни дивныхъ существъ, не можетъ быть ничего удивительного или чудеснаго. По той же самой причинѣ мы не имѣемъ никакого права раздѣлять произведенія природы на произведенія интелигенціи и на произведенія случайности. Тамъ, где все неизбѣжно, подъ словомъ случайность можно разумѣть лишь ограниченность человѣческихъ знаній.

Затѣмъ у автора есть нѣсколько главъ (VI—X) о человѣкѣ, о его сложеніи, о его отношеніяхъ и судьбѣ. Его главные положенія находятся въ строгомъ соотвѣтствии съ изложенными ранѣе того общими теоріями. Все что человѣкъ дѣлаетъ и все что въ немъ происходит есть результатъ энергіи, которая свойственна ему точно такъ же какъ и другимъ извѣстнымъ намъ существамъ. Но прежде чѣмъ сдѣлалось для него возможнымъ правильное и ясное пониманіе единства природы, онъ до такой степени находился подъ влияніемъ разнообразія и сложности своего организма и вызываемыхъ имъ движений, что его умъ никакъ не могъ проникнуться сознаніемъ, что эти движения связаны между собою матеріальной необходимостью, приковывающей его ко всѣмъ другимъ силамъ и ко всѣмъ другимъ видамъ бытія. Люди воображаютъ, что придумывая слова они восполняютъ свое незнаніе предметовъ; такъ напримѣръ, чтобы объяснить дѣйствіе матеріи по отношенію къ человѣку, они присоединяли къ понятію о матеріи гипотетическую субстанцію, которая на самомъ дѣлѣ гораздо менѣе понятна, чѣмъ сама матерія. Они считали себя двойственными; они усматривали въ себѣ сочетаніе матеріи съ чѣмъ то другимъ, чуднымъ образомъ съ ней соединяющимся, и давали этому название *ума* или *души*, а затѣмъ съ гордостью

¹⁾ Тоже самое и почти слово въ слово читаемъ мы у Дидро. См. выше стр. 162.

выдавали себя за существа отличные отъ всѣхъ другихъ созданій. По правдѣ сказать, умъ—ничто иное, какъ скрытая сила, изобрѣтенная для того, чтобы объяснить скрытые свойства и дѣйствія, но на самомъ дѣлѣ необъясняющая ничего. Подъ словомъ умъ они разумѣютъ ничто иное, какъ неизвѣстную причину тѣхъ явлений, которыхъ они не въ состояніи объяснить натурально, точно такъ какъ краснокожіе индѣйцы воображали, что духи производили ужасное дѣйствіе пороха, и точно такъ какъ въ наше время невѣжды вѣрятъ въ ангеловъ и демоновъ. Какъ могли бы мы представить себѣ форму такого существа, которое, не будучи матеріей, дѣйствовало бы на матерію, не имѣя съ ней точекъ соприкосновенія или сходства, и съ своей стороны само испытывало бы на себѣ вліяніе матеріи чрезъ посредство матеріальныхъ органовъ, предупреждающихъ его о присутствіи вицѣнныхъ предметовъ? Какъ могли бы мы представить себѣ соединеніе тѣла съ душой, и какъ можетъ это матеріальное тѣло заключать въ себѣ, привязать къ себѣ, удерживать при себѣ и вложить въ опредѣленныя рамки непостоянную форму бытія, недоступную ни для одного изъ нашихъ чувствъ? Разрѣшать эти трудности тѣмъ, что имъ даютъ названія мистерій и считаются ихъ за результатъ всемогущества такого Высшаго Существа, которое еще болѣе непонятно, чѣмъ человѣческая душа,—это то-же, что сознаваться въ своемъ абсолютномъ невѣжествѣ.

Не лишнимъ будетъ замѣтить, что вслѣдствіе характеристической склонности французской материалистической школы дѣлать изъ метафизическихъ и психологическихъ изслѣдований практическое примѣненіе, Гольбахъ понялъ, какое обширное новое поле дѣятельности открывается для медиковъ материалистическое понятіе объ умѣ. «Если бы люди руководствовались опытомъ, а не предразсудками, медицина дала бы нравственности ключъ къ человѣческому сердцу, и, излечивая тѣло, она нерѣдко излечивала бы вмѣстѣ съ тѣмъ и умъ.... Догматъ безтѣлесности души обратилъ нравственность въ науку, основанную на догадкахъ, ни мало не способствующую намъ для пониманія, какъ слѣдуетъ поступать на основаніи человѣческихъ мотивовъ.... Человѣкъ всегда останется загадкой для тѣхъ, кто смотритъ на него предубѣжденными глазами теологии и приписываетъ его дѣйствія такому принципу, о которомъ невозможно составить себѣ яснаго понятія». — (Гл. IX). Конечно не подлежитъ сомнѣнію тотъ исторический фактъ, что рациональнымъ леченіемъ сумасшедшихъ и рациональнымъ взглядомъ на нѣкоторые роды преступлений мы обязаны такимъ людямъ, какъ Пинель, воспитанный въ материалистической школѣ восемнадцатаго столѣтія. Ясно, что великія и гуманныя реформы въ этой сферѣ не были возможны, пока теология не пришла окончательно въ упадокъ. Теология считаетъ

нравственную испорченность за натуральное состояніе человѣческаго сердца и можетъ смотрѣть на сумасшествіе лишь какъ на чрезмѣрно усилившуюся нравственную испорченность. Сверхъ того, теология настоятельно указывала на абсолютную независимость ума отъ тѣла и тѣмъ самымъ устраняла мысль о томъ, что, дѣйствуя на тѣло, можно сдѣлать что нибудь полезное для ума. Въ настоящее время намъ можетъ быть грозить та опасность, что мы оставимъ безъ вниманія обратное примѣненіе мнѣній Гольбаха, а именно оставимъ безъ вниманія пользу умственныхъ лекарствъ или предохранительныхъ средствъ въ случаяхъ физического нездоровья.

Но возвратимся къ изложению теоріи Гольбаха. Если вы будете, говорить онъ, высказывать сожалѣніе, что указанного механизма недостаточно для того, чтобы объяснить принципъ движеній и свойствъ души, то на это можно отвѣтить, что душа въ этомъ случаѣ находится въ такомъ же положеніи, какъ и вся тѣла въ природѣ. Въ нихъ самыя простыя движения, самыя обыкновенные явленія, самыя обыкновенные дѣйствія—необъяснимыя тайны, основной принципъ которыхъ навсегда скрыты отъ нашихъ взоровъ. Развѣ мы можемъ льстить себя тѣмъ, что намъ извѣстенъ основной принципъ тяготѣнія, въ силу которого камень падаетъ на землю? Чѣмъ знаемъ мы о томъ механизмѣ, который производить притягиваніе нѣкоторыхъ веществъ и отталкиваніе другихъ? Но непонятность натуральныхъ послѣдовательствъ не причина, чтобы мы объясняли ихъ такими мотивами, которые еще болѣе непонятны для насъ, чѣмъ какой либо другой мотивъ изъ числа намъ извѣстныхъ.

Человѣку не дано способности все знать; ему не дано способности ни знать свое собственное происхожденіе, ни проникать въ сущность вещей, ни возвышаться до основнаго принципа вещей. Ему дана лишь способность обладать разсудкомъ, быть прямодушнымъ, откровенно сознаваться въ незнаніи того, чего онъ не можетъ знать, и не восполнять недостатка точныхъ свѣдѣній такими словами, которыя непонятны, и такими предположеніями, которыхъ неѣпѣ.

Солнцы меркнутъ и планеты перестаютъ существовать; загораются новые солнца и новые планеты начинаютъ вращаться по новымъ путямъ, а человѣкъ—эта безконечно малая частица земнаго шара, который самъ ничто иное какъ маленькая точка въ безконечномъ пространствѣ—человѣкъ воображаетъ, что вселенная создана для него, что природа должна повѣдать ему всѣ свои тайны, и надменно льстить себя мыслю, что онъ долженъ быть вѣчный! О человѣкъ, неужели ты никогда не поймешь, что ты ничто иное какъ живущее одинъ день наскъкомое? Во вселенной все измѣняется, въ природѣ нѣть ни одной формы, которая была бы неизмѣнна, тѣмъ не менѣе ты заявляешь претензію на то, что твой родъ никогда не

исчезнетъ съ лица земли и не будетъ подчиненъ великому всеобщему закону непрестанной измѣнчивости!

Мы прервемъ это изложеніе для того чтобы замѣтить, что и православные богословы и атеистъ Гольбахъ употребляли одни и тѣ же выраженія, стараясь смирить предполагаемое въ людахъ высокомѣріе. Но возраженія, исходившія отъ Гольбаха, были искренни; они были необходимы для того, чтобы подготовить человѣческій умъ къ пониманію вселенной какъ одного цѣлого. А со стороны богослововъ такія возраженія ничто иное какъ уловки, для того чтобы внушать вѣру въ чудо божественной благодати. У проповѣдника натурализма тщеславное убѣжденіе, что человѣкъ есть конечная цѣль творенія, замѣняется плодотворнымъ преклоненіемъ передъ превосходствами человѣческаго разума и правильной оцѣнкой того, что можетъ дать его благоразумное и дисциплинированное примѣненіе къ дѣлу. А богословы поддерживаютъ этотъ нелѣпый и совращающій съ правильнаго пути эгоизмъ человѣческой расы, изображая Создателя занимающимся главнымъ образомъ твореніемъ чудесъ для спасенія такого живаго существа, умъ котораго въ одно и то же время и крайне слабъ и ужасно извращенъ, и сердце котораго съ самого рожденія порочно, безнравственно и обречено на проκлятия. Различіе между этими взглядами по истинѣ громадно. Теологъ заставляетъ человѣка падать духомъ, заставляетъ его въ бездѣйствіи и въ отчаяніи ожидать чуда его нравственного перерожденія; натуралистъ, напротивъ того, ободряетъ человѣка, внушая ему самые убѣдительные мотивы для энергического пользованія самыми выдающимися его способностями. «У людей всегда была бы благодать», — сказалъ Гольбахъ, — «еслибы они были хорошо воспитываемы и хорошо управляемы». А по поводу странного пониманія нравственности со стороны тѣхъ, которые приписываютъ всякое нравственное зло первородному грѣху, а все хорошее, что мы дѣлаемъ, благодати, — онъ говоритъ: «Неудивительно, что нравственные правила, основанныя на такой странной гипотезѣ, оказываются въ примѣненіи ни къ чему не годными»¹⁾.

Отсюда естественъ переходъ къ мнѣніямъ Гольбаха о нравственности. Въ ту пору только что насталъ для Франціи моментъ, — наступившій гораздо раньше въ Англіи, — когда отрицательное направление метафизическихъ понятій навело людей на отыскваніе основъ этики. Развѣ старыя понятія о добрѣ и злѣ могли оставаться неизмѣнными при новомъ взглядѣ на механизмъ вселенной? Этотъ же вопросъ ястойчиво возникаетъ въ человѣческомъ умѣ оттого, что Дарвинова гипотеза и масса подтверждающихъ ее доказательствъ

¹⁾ Гл. XI.

нанесли новый страшный ударъ богословскимъ понятіямъ и заставили людей съ содроганіемъ сознаться въ ненадежности официальныхъ основъ добродѣтели и долга.

Гольбахъ начинаетъ указаніемъ на несостоительность нашихъ понятій о свойствахъ таинственной теоріи свободы воли. Это изложеніе составляетъ одну изъ самыхъ важныхъ частей книги, и эта задача едва ли когда либо была исполнена болѣе твердою рукою. Выводъ изложеній съ такою рѣшительностью, которая можетъ показаться слишкомъ рѣзкой. Здѣсь утверждается, что между человѣкомъ, который самъ бросается изъ окна и человѣкомъ, котораго выбрасываютъ изъ окна, различие заключается только въ томъ, что импульсъ вліяющій на втораго изъ нихъ происходитъ извнѣ, а импульсъ, причиняющій паденіе первого изъ нихъ, исходитъ изнутри его собственного механизма. Стоть только приняться за отысканіе мотива и вы всегда будете приходить къ тому убѣждѣнію, что этотъ мотивъ находится внѣ сферы вліянія дѣйствующаго лица. Неумолимая логика, съ которой авторъ преслѣдуется приверженцевъ свободы воли отъ одного убѣжища до другаго, отъ одной уловки до другой, оставляетъ его противниковъ почти такими же беззащитными наступивъ мощнаго и вполнѣ развитаго Гольбахова натурализма, какими они всегда бывають наступивъ энергического деизма Іоната-на Эдварда. «Система человѣческой свободы», — говоритъ Гольбахъ (II. II) съ нѣкоторой язвительностью, — «повидимому была придумана только для того, чтобы поставить человѣка въ возможность оскорблять Бога и тѣмъ оправдать все зло, которому Богъ подвергъ человѣка въ наказаніе за пользованіе свободой, дарованной ему на его же гибель».

Но если бы человѣкъ не былъ свободенъ, какое имѣли бы мы право наказывать тѣхъ, кто не можетъ воздерживаться отъ дурныхъ поступковъ, или награждать тѣхъ, кто не можетъ воздерживаться отъ хорошихъ поступковъ? Гольбахъ даетъ надлежащій и вполнѣ удовлетворительный отвѣтъ и на этотъ вопросъ и на различные другие способы объяснять вредъ фатализма для общества. Онъ разсматриваетъ свойства дѣянія и ставить въ зависимость отъ этихъ свойствъ и общественное одобрение и общественное порицаніе. Онъ опредѣляетъ достоинства и недостатки образомъ дѣйствій, сообразуясь съ тѣмъ, клонится ли образъ дѣйствій къ общей пользѣ или вреду. И мое негодованіе и мое одобрение такъ же неизбѣжны какъ и тѣ поступки, которые возбуждаютъ эти чувства. Мои чувства не болѣе и не менѣе натуральны, чѣмъ тѣ мотивы, которыми руководствовалось дѣйствующее лицо. Какъ бы ни была велика принудительная сила мотивовъ нашихъ дѣяній, я имѣю право дѣлать все что могу путемъ похвалы и порицанія, путемъ награды и наказа-

ния, чтобы укрепить или чтобы ослабить, чтобы поддержать или чтобы ниспровергнуть мотивы, служащія антecedентомъ для дѣйствія,—точно такъ какъ я имѣю право запрудить потокъ или направить его теченіе въ другую сторону, сообразуясь съ моими личными удобствами. Такъ напримѣръ уголовные законы служатъ для людей сильнымъ мотивомъ для того, чтобы воздерживаться отъ удовлетворенія личныхъ наклонностей. Гольбахъ не выясняетъ съ достаточной точностью, что цѣль уголовнаго законодательства въ нѣкоторыхъ случаяхъ заключается въ томъ, чтобы заставить и преступника и другихъ людей призадуматься прежде чѣмъ рѣшиться на повтореніе совершеннаго преступленія; однако въ другихъ случаяхъ,—когда наказаніе заключается въ смертной казни,—законодательство имѣеть въ виду повліять не на умы преступника, а только на умы другихъ людей. Въ этомъ обнаруживается лишь одна слабая сторона тѣхъ аргументовъ, на которые привыкли ссылаться въ настоящемъ вопросѣ. Полное объясненіе уголовныхъ законовъ на основаніи принциповъ систематического фатализма могло бы быть успѣшно лишь тогда, еслибы мы заботились во всякомъ данномъ случаѣ не столько о преступникѣ, сколько объ общихъ мотивахъ и о томъ, какъ ввести въ обычай уклоненіе отъ извѣстнаго ряда дѣяній или совершеніе такихъ дѣяній.

Затѣмъ авторъ основательно приводитъ свой философскій детерминизмъ въ связь съ гуманностью наказаній. Онъ протестуетъ противъ чрезмѣрной жестокости въ наложеніи уголовныхъ наказаній и въ особенности противъ пытки, по двумъ причинамъ: во первыхъ, потому что опытъ доказываетъ бесполезность такихъ излишнихъ строгостей и во вторыхъ, потому что привычка быть свидѣтелемъ жестокихъ наказаній заставляетъ и преступника и другихъ людей свыкаться съ идеей о жестокости. Согласно съ этой здравой теоріей Гольбаха, одобрение, съ которымъ парижане относились въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ къ жестокостямъ террористовъ, было результатомъ того, что законодательство ежедневно пріучало ихъ до самыхъ послѣднихъ годовъ монархіи къ еще болѣе ужаснымъ жестокостямъ. И Гольбахъ былъ правъ, предполагая, что когда умы людей освояются съ теоріей детерминизма ихъ приговоры будутъ болѣе человѣколюбивы и болѣе разумны. Мы уже перестали относиться къ индивидуальнымъ преступнымъ дѣйствіямъ съ желаніемъ отмѣтки, и стали съ энергией протестовать противъ тѣхъ несовершенствъ воспитанія и учрежденій, которыхъ виною того, что дурные мотивы берутъ въ людяхъ перевѣсь надъ хорошими. На основаніи теоріи детерминизма наказаніе всегда должно соединяться съ мѣрами предупрежденія и имѣть цѣну именно потому, что это есть способъ предупрежденія, а не только потому что оно служитъ возмездіемъ.

Гольбахъ довольно удачно отвѣтаетъ на обычное возраженіе, что фатализмъ погрузилъ бы человѣческую душу въ апатію. Если все неизбѣжно, то почему же не предоставить все своему естественному ходу, а самому оставаться въ бездѣйствіи? Точно будто мы были бы въ состояніи удерживать наши руки отъ дѣйствія, если бы въ нашемъ сердцѣ была развита свойственная ему склонность къ чувствительности и къ симпатіямъ. Точно будто человѣкъ съ чувствительнымъ сердцемъ способенъ не интересоваться всѣмъ, что касается участія подобныхъ ему существъ. Развѣ наша увѣренность, что смерть неизбѣжна, мѣшаетъ намъ оплакивать потерю дорогихъ для насъ людей? Развѣ мое сознаніе, что огонь неизбѣжно все сожигаетъ, мѣшаетъ мнѣ употреблять всѣ мои усилия, чтобы избѣжать пожара?

Наконецъ, когда люди утверждаютъ, что теорія детерминизма унижаетъ человѣка, низводя его до уровня какой то машины и приравнивая его жизнь къ произрастанію самыхъ низкихъ растеній, они употребляютъ выраженія, придуманныя въ непониманіи того, что составляетъ настоящее достоинство человѣка. Чѣмъ же такое сама природа, какъ не обширная машина, въ которой нашъ человѣческій родъ не болѣе какъ ничтожная пружина? Хорошій человѣкъ есть машина, въ которой пружины приспособлены такъ, чтобы онѣ исполняли свое назначеніе достигать благотворныхъ результатовъ для близкихъ. Развѣ такой инструментъ можетъ не быть предметомъуваженія, любви и признательности?

Чтобъ закончить анализъ этой части книги Гольбаха, мы считаемъ не лишнимъ замѣтить, что онъ очень слабо сознаеть, въ какой мѣрѣ онъ отвергаетъ то, что прежде служило мотивомъ для хвалы и порицанія. Онъ не только измѣняетъ старыя понятія объ этомъ предметѣ, но замѣняетъ ихъ новыми, удерживая лишь старыя названія. Хвала въ своемъ новомъ смыслѣ—въ смыслѣ одобренія полезныхъ и доставляющихъ удовольствіе дѣйствій и мотивовъ,—такая же могущественная сила и такое же хорошее возбудительное средство къ хорошимъ дѣламъ и хорошимъ мотивамъ, какъ хвала въ старомъ смыслѣ этого слова,—въ смыслѣ одобренія сознательно и самопроизвольно дѣйствующей свободной воли. Но смыслъ этихъ двухъ понятій различенъ. Здѣсь старая этическая теорія превращается въ нечто такое, что обязано своимъ вліяніемъ въ одинаковой мѣрѣ и обычаямъ и требованіямъ соціального самосохраненія,—но все таки это нечто другое. Если бы Гольбахъ и другие послѣдователи теоріи детерминизма сознали это различие болѣе ясно и развили бы его до конечныхъ результатовъ, они избѣжали бы неопределенностіи, которая много вредитъ имъ въ умахъ тѣхъ, кого они желали бы убѣдить. Не трудно понять, что въ сферѣ морали прежде всего не-

обходимо измѣнить старую этическую фразеологію такъ, чтобы она годилась для идей свойственныхъ той ступени развитія, когда человѣкъ окончательно сдѣлался такимъ же предметомъ научныхъ изслѣдований, какъ и весь другія естественные явленія во вселенной.

Въ главѣ (XIII) о бессмертіи души авторъ анализируетъ этотъ замѣчательный продуктъ человѣческихъ вѣрованій съ большой энергией и съ самой разрушительной проницательностью. Какъ мы уже имѣли случай замѣтить, онъ отвергаетъ теорію двойственной силы въ человѣкѣ—силы матеріальной и силы духовной, точно такъ какъ впослѣдствіи онъ отвергалъ сходную гипотезу о двойственныхъ силахъ природы, исходящихъ съ одной стороны отъ духовнаго двигателя, находящагося въ наружныхъ міровыхъ явленій. Согласно съ такимъ непризнаніемъ особой духовной силы въ людяхъ, Гольбахъ не хочетъ ничего знать и о такой духовной силѣ, которая будто бы способна пережить разрушеніе механической формы. Утверждать, что душа будетъ чувствовать, мыслить, радоваться и страдать послѣ смерти тѣла, по его мнѣнію, то-же, что утверждать, будто разбитые на тысячу кусочковъ часы могутъ по прежнему бить или обозначать время дня. А вслѣдъ за рѣшительнымъ отказомъ раздѣлять общія вѣрованія, онъ направляется свои удары на тѣхъ, кто придерживается этихъ вѣрованій и защищаетъ ихъ какъ охрану общества. Намъ нѣть надобности излагать его положенія. Въ сущности это тѣ самыя положенія, которыя хорошо знакомы всякому, кто читалъ третью книгу поэмы Лукреція и не забылъ тѣхъ мѣстъ поэмы, которыя поражаютъ насъ столько же своими философскими взглядами, сколько возвышенностью и трогательностью поэтической формы:

Nam veluti pueri trepidant atque omnia caecis
In tenebris metuunt, sic nos in luce timemus
Interdum, nilo quae sunt metuenda magis quam
Quae pueri in tenebris pavitant finguntque futura.
Hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest
Non radii solis neque lucida tela diei
Discutiant, sed naturae species ratioque.

И далѣе:

Jam' jam' non domus accipiet te laeta, neque uxor
Optima nec dulces occurrit oscula nati
Praeripere, et tacita pectus dulcetine tangent.
Non poteris factis florentibus esse, tuisque
Praesidium. Misero misere», aiunt, «omnia ademit
Una dies infesta tibi tot praemia vita».
Illud in his rebus non addunt, «nec tibi earum
Iam desiderium rerum super insidet una,
Quod bene si videant animo dictisque sequantur,
Dissolvant animi magno se angore metuque,
«Tu quidem ut es leto sopitus, sic eris aevi
Quod superest cunctis privatu' doloribus aegris;
At nos horrifico cinefactum te prope busto

Insatiabiliter deflevimus, aeternumque
Nulla dies nobis maerorem e pectore demet.
Illud ab hoc igitur quaerendum est, quid sit amari
Tanto opere, ad somnum si res redit atque quietem,
Cur quisquam aeterno possit tabescere luctu.

Можно пожалѣть о томъ, что Гольбахъ, разсуждая объ этихъ важныхъ и трогательныхъ вопросахъ, обнаружилъ такое непониманіе исторіи, что обозвалъ Давида, Магомета, Иоанна Златоустаго и другихъ святыхъ людей, суевѣрами. Нельзя также не замѣтить, что онъ слишкомъ безусловно отвергалъ ту мысль, что страхъ адскихъ мученій заставляетъ людей воздерживаться отъ зла; тѣмъ не менѣе на каждого сочувствовавшаго ему въ 1770 г. человѣка, онъ нашелъ бы въ 1880 г. тысячу людей, раздѣляющихъ его мнѣніе, что есть возможность отыскать такія поощрѣнія къ добродѣтели, который по меньшей мѣрѣ столь же полезны какъ и фикція вѣчныхъ мученій, не будучи столь же жестокими со стороны боговъ и столь же уничтожительными для людей.

Подобно всѣмъ другимъ писателямъ отвергавшимъ вѣрованіе въ бессмертіе души, Гольбахъ естественнымъ образомъ переходить отъ своихъ нападокъ на это вѣрованіе къ улучшенію воспитанія, законовъ, учрежденій, которые должны усиливать и вкоренять въ людяхъ побужденія, способныя отклонять ихъ отъ зла и направлять къ добру. Въ выраженіяхъ, которыя уже цитированы выше, онъ произноситъ строгій приговоръ надъ королями, находя ихъ несправедливыми, неспособными, нравственно испорченными своею волей и безнаказанностью. Въ этой главѣ есть одно мѣсто, которое можно назвать страшнымъ пророчествомъ, въ точности сбывающимся на дѣлѣ почти еще при жизни автора: — «Въ настоящее время положеніе общества таково, что Государь ведетъ борьбу со всѣми и каждый членъ общества съ другими членами. Человѣкъ дуренъ не потому, что онъ родился дурнымъ, а потому что его сдѣлали такимъ; знатные и влиятельные люди безнаказанно угнетаютъ нуждающихся и несчастныхъ, а эти въ свою очередь стараются отплатить за сдѣланное имъ зло. Они или явно или тайно нападаютъ на свою родину, которая оказывается для нихъ жестокой мачихой, такъ какъ однимъ изъ своихъ дѣл она дала все, а другихъ оставила ни съ чѣмъ. Они жестоко наказываютъ ее за ее пристрастіе; они доказываютъ ей, что мотивы, заимствованные изъ другой жизни, безсильны противъ страстей и злобной ярости, порождаемыхъ развращенной администрацией въ этой жизни, и что всякий страхъ наказаній въ этомъ мірѣ "бессиленъ" противъ нужды, противъ порочныхъ привычекъ и дурной организации, которыхъ никогда не пытались исправить путемъ воспитанія». (Гл. XIV). Въ дру-

гомъ мѣстѣ читаемъ:—«Общество пользуется всѣмъ благополу-
чіемъ, какое для него доступно, если большинство его членовъ
имѣть пищу, одежду и помѣщеніе, однимъ словомъ если оно мо-
жетъ безъ чрезмѣрныхъ усилий удовлетворять тѣ потребности, кото-
рыя природа сдѣлала для него неизбѣжными. Ихъ умъ спокоенъ,
когда они увѣрены, что никакая сила не въ состояніи отнять у
нихъ плодовъ ихъ дѣятельности и что они работаютъ на самихъ
себя. Но вслѣдствіе человѣческаго безразсудства, цѣлыхъ націи вы-
нуждены работать въ потѣ лица и орошать землю своими слезами
только для того, чтобы питать сластолюбіе, прихоть и безнравствен-
ность кучки глупцовъ и совершенно бесполезныхъ созданій. Вотъ
почему религіозная и политическая заблужденія превратили міръ въ
долину слезъ». Эти слова служатъ постояннымъ припѣвомъ, сопро-
вождающимъ какими то хриплыми звуками, который слышится во
всѣхъ этическихъ и метафизическихъ разсужденіяхъ Гольбаха. У
него есть нѣсколько десятковъ страницъ, на которыхъ также самая
идея развивается съ такой мрачной горячностью, что читателю ка-
жется, будто онъ слышитъ Робеспіера, произносящаго рѣчь въ На-
циональномъ Собрани, Камилла Демулена, декламирующаго въ саду
Пале-Рояля и Дантона, мечущаго громы въ клубѣ Кордельеровъ.
Мы уже какъ будто видимъ передъ собою дымъ пылающихъ замковъ,
поднимающейся къ небесамъ, какъ при очистительныхъ жертвоприно-
шенияхъ.

Начиная съ этого пункта и до самого конца первой части, эта
книга принадлежитъ не столько къ разряду философскихъ произве-
деній, сколько къ литературѣ политической революціи. Въ ней есть
странныя вставка, сдѣланная съ цѣлью оправдать презрѣніе къ
смерти и даже самоубійство; авторъ указываетъ съ какимъ то зло-
радствомъ на тотъ фактъ, что Самсонъ, Элеазаръ и другие знаме-
нитые люди сами были причиною своей смерти, не говоря уже о
разныхъ спасавшихся покаяніемъ отшельникахъ, которые сами себя
убивали понемножку.¹⁾ Резюмируя всѣ свои доводы, онъ говоритъ
въ заключеніе: «Страхъ смерти будетъ только дѣлать людей труса-
ми; страхъ предполагаемыхъ ея послѣдствій будетъ только дѣлать
изъ людей фанатиковъ или меланхолическихъ шестистовъ, столь же

¹⁾ Въ настоящемъ случаѣ Гольбахъ повторилъ чужую мысль. Помѣщеннія
въ Энциклопедіи статья Дидро о самоубійствѣ, (О е и у. XVII. 235) заключаетъ
въ себѣ обычные аргументы церкви противъ самоубійства, иллюстрированные
разными приѣзами, но она также заключаетъ въ себѣ разборъ написанного
докторомъ Донномъ оправданія самоубійства подъ заглавиемъ *Віатіапа-*
тос (1651); такъ мы находимъ слово въ слово тѣ же самыи замѣчанія, какъ
у Гольбаха. По мнѣнію Галлама, книга Донна такъ скучна и педантична, что
читающій ее захочетъ лишиТЬ себѣ жизни только въ томъ случаѣ, если ему
пригрозить изданіемъ слѣдующей части.

безполезныхъ для самихъ себя, какъ и для другихъ. Смерть есть ресурсъ, которого мы не должны отнимать у угнетенной добродѣтели, нерѣдко доводимой до отчаянія людскою несправедливостью». Вотъ та доктрина, въ которой воспитывалось революціонное поколѣніе, а какъ глубоко она проникла въ его душу видно изъ того, какъ легко люди въ ту пору лишали жизни и себя и другихъ¹⁾. Когда мы читаемъ, что Верньо и Кондорсе носили съ собою ядъ, что Барбару не разставался съ своимъ пистолетомъ, а Валазэ съ своимъ ножемъ, намъ приходитъ на память Роланъ, идущій пѣшкомъ по обсаженной деревьями дорогѣ изъ Руана въ Парижъ и на пути втыкающій себѣ въ грудь вдѣланній въ трость кинжалъ съ такимъ спокойствіемъ, съ какимъ сбрасываютъ съ себя не нужное верхнее платье.

Гольбаха обвиняли въ томъ, что онъ низводить добродѣтель до уровня дальноворкаго эгоизма²⁾ и ложацій можно цитировать нѣкоторыя изъ высказанныхъ имъ отрывочныхъ и незрѣлыхъ идей, которые могутъ служить подтвержденіемъ такого обвиненія. Но онъ основываетъ нравственность на личномъ благополучіи лишь номинально, а на самомъ дѣлѣ онъ видитъ ея основу въ благополучіи большинства. Придерживаясь классификаціи Сидгвика, мы должны отнести Гольбаха къ числу универсалистовъ, а не къ числу эгоистическихъ Гедонистовъ. Дѣйствительно во всемъ, что онъ говоритъ, видны не индивидуалистическая а соціальная цѣль. «Хорошій человѣкъ—тотъ, кто понялъ, что его собственный интересъ или его собственное благополучіе заключается въ такомъ образѣ дѣйствій, который другіе люди вынуждены любить и одобрять ради своихъ собственныхъ интересовъ.... Это такой человѣкъ, какіе всего болѣе нужны для счастья людей.... Достоинство и добродѣтель основаны на природѣ человѣка, на его нуждахъ.... Только путемъ добродѣтели мы можемъ приобрѣтать расположеніе, довѣріе, уваженіе тѣхъ, съ кѣмъ мы имѣемъ сношенія; однимъ словомъ, никто не можетъ быть счастливъ въ одиночествѣ.... Быть добродѣтельнымъ значитъ приоравливать свои интересы къ интересамъ другихъ, значитъ находить наслажденіе въ той пользѣ и въ тѣхъ радостяхъ, которыя мы въ состояніи доставлять другимъ.... Чувство себѧлюбія становится во сто разъ

¹⁾ Трактатъ Юма о самоубийствѣ (см. изданіе Грина и Грода 1875, ч. II. 405) содержитъ въ себѣ гораздо болѣе убедительные аргументы, чѣмъ книга Гольбаха, хотя способы выражения въ обѣихъ книгахъ нерѣдко поражаютъ своимъ сходствомъ. Въ этомъ вопросѣ, точно такъ же какъ во многихъ другихъ, какъ напримѣръ въ томъ что касается брака,—Руссо бралъ сторону церкви, допуская самоубийство только въ тѣхъ случаяхъ, когда человѣка постигла тяжелая и неизлечимая болѣзнь. См. два знаменитыхъ письма въ *Новой Элоизѣ*, III. 21—22.

²⁾ Апсіен Рѣгіш Тена, стр. 287.

болѣе пріятнымъ, когда оно раздѣляется всѣми тѣми, съ кѣмъ насть связываетъ судьба. Склонность къ добродѣтели возбуждаетъ внутри насъ такія потребности, которыя можетъ удовлетворить одна добродѣтель; поэтому-то добродѣтель и служить сама себѣ воздаяніемъ, вознаграждая сама себя тѣми благами, которыя она доставляетъ другимъ». — (Гл. XV).

Только легкомысленный человѣкъ или педантъ могъ бы усмотрѣть въ этихъ словахъ себѧлюбіе, все равно идетъ ли рѣчь о себѧлюбіи дальнозоркому или недальнозоркому; но читатель впалъ бы въ еще болѣе грубую ошибку, еслибы усмотрѣлъ здѣсь ниспроверженіе преградъ, сдерживающихъ наши эгоистическія влеченія. «Надо чтобъ каждый гражданинъ сознавалъ, что сфера, въ которой онъ состоится членомъ, есть нечто цѣлое, не могущее существовать и быть счастливымъ безъ добродѣтели; онъ долженъ ежеминутно научать его, что благосостояніе членовъ можетъ быть лишь результатомъ благосостоянія цѣлага». — (Гл. XV). Говорить о такой доктринѣ, что она приглашаетъ каждую отдельную личность достигать счастія по своему собственному усмотрѣнію и на свой собственный манеръ и что она ниспровергаетъ преграды, сдерживающія наши эгоистическія влеченія, значило бы доводить философскія предубѣжденія до нелѣпости. Мы должны рассматривать этическую теорію Гольбаха въ самомъ широкомъ практическомъ ея примѣненіи и, если мы станемъ на соціальную точку зрѣнія, мы неизбѣжно придемъ къ убѣждению, что принципъ, лежащий въ основѣ только что цитированныхъ словъ, былъ необходимъ какъ орудіе противъ антисоціального себѧлюбія привилегированного класса. Въ этихъ словахъ выражена нравственная сторона всякаго народного и демократического движения. Пусть утверждаютъ, будто проповѣдываемыя Гольбахомъ правила нравственности принадлежать къ разряду тѣхъ, которыя основаны на личномъ интересѣ, но настоящую ихъ основу вы найдете лишь въ сочувствіи къ интересамъ соціальнымъ. Признавать благополучіе за критеріумъ добродѣтели значило развивать доктрину натурализма, такъ какъ благополучіе достигается лишь тогда, когда мы сообразуемся съ натуральнымъ положеніемъ вещей. Съ другой стороны утверждать, что добродѣтель заключается въ содѣйствіи благополучію соціального тѣла, какъ цѣлаго, значило проповѣдывать самую великую изъ всѣхъ истинъ при такомъ положеніи вещей, когда общественное тѣло было доведено до тревожнаго и бѣдственнаго положенія себѧлюбіемъ небольшаго числа его членовъ. Церковь, номинально опиравшаяся на мораль своихъ уставовъ, совратилась съ пути, и сдѣлалась великимъ органомъ пагубныхъ личныхъ интересовъ. Атеисты, повидимому проповѣдывавшіе мораль Эпікуреевъ, на самомъ дѣлѣ поучали любви къ общему благу и желанію дѣлать

добро. А проповѣдывать любовь къ общему благу, при тогдашнемъ положеніи страны, было то же самое, что возбуждать умы къ общественному перевороту. Мы сомнѣваемся въ томъ, дѣйствительно ли Гольбахъ задавалъ себѣ всѣ тѣ вопросы, которые сливаются въ одно выраженіе—основа нравственности. Въ чемъ заключается санкція правиль нравственности? Почему всякий долженъ способствовать благополучію всѣхъ? По какому признаку можно отличать то, что хорошо, отъ того, что дурно? Въ чемъ заключается основа совѣсти или такого умственного настроенія, при которомъ мы предпочитаемъ хорошее дурному? Ясно, что все это темы совершенно самостоятельныя. Однако Гольбахъ, очевидно, не отдѣлялъ ихъ въ своемъ умѣ одну отъ другой и повидимому воображалъ, что одинъ и тотъ же отвѣтъ годенъ для всего, что онъ ошибочно соединялъ въ одномъ и томъ же вопросѣ. Онъ находилъ достаточнымъ сказать, что всякий индивидуумъ желаетъ быть счастливымъ и что онъ не можетъ быть счастливъ, если не будетъ въ хорошихъ отношеніяхъ съ своими сосѣдями; эту-то взаимность нужды и услугъ онъ и называлъ основой нравственности. Можетъ быть этого и было достаточно для той поверхностной и основанной на простомъ здравомъ смыслѣ точки зрѣнія на предметъ, которую Гольбахъ старался запечатлѣть въ умахъ читателей, но это нельзя назвать продуктомъ правильнаго и научнаго мышленія.

Я также не нахожу надобности доискиваться, почему Гольбахъ, излагая свою *Систему Природы*, оставилъ безъ всякаго вниманія великий естественный процессъ, путемъ котораго то, что приобрѣтено однимъ поколѣніемъ, обращается въ точку исхода для дальнѣйшихъ приобрѣтеній слѣдующаго поколѣнія. Онъ совершенно позабылъ, что существуютъ ступени развитія. Изъ его разсужденій о человѣкѣ можно бы было заключить, что всѣ человѣческія расы и всѣ эпохи человѣческаго развитія сходны между собою и что каждый индивидуумъ старается достигать извѣстной степени благополучія своимъ собственнымъ путемъ. Было бы болѣе согласно и съ новѣйшимъ взглядомъ на этотъ предметъ и съ собственнымъ мнѣніемъ Гольбаха о неразрывной связи между нашимъ образомъ дѣйствій и рядомъ условій существовавшихъ съ нашего рожденія, еслибы онъ созналъ, что совѣсть, нравственные предпочтенія, стремленія къ общему благу и все то, что онъ называетъ основой нравственности, получается людьми вмѣстѣ со всѣмъ тѣмъ аппаратомъ, который обязательно передается прошедшемъ временемъ настоящему, а не является результатомъ какихъ либо приемовъ, основанныхъ на личномъ разсчетѣ.

Гольбахъ не сознавалъ съ достаточной ясностью, какъ возникаютъ нравственные идеалы, какимъ путемъ они измѣняются и перерождаются. Онъ, безъ сомнѣнія, былъ слишкомъ сильно увлеченъ

потокомъ идей восемнадцатаго столѣтія, чтобы не чувствовать того упоенія жизнью въ самыхъ обильныхъ ея проявленіяхъ, которое моралисты богословской школы порицали и преслѣдовали, какъ мірскую суету и чувственность. «Дѣйствіе», — говорить онъ въ той же главѣ, — «есть существенный элементъ человѣческаго ума; лишь только человѣкъ перестаетъ действовать, онъ впадаетъ въ состояніе тревоги и томленія». Такое мнѣніе было бы слишкомъ безусловно, если бы мы принимали въ соображеніе то умственное состояніе, въ которомъ находятся миллионы жителей востока, но оно было вѣрно по отношенію къ народамъ запада. Однако не смотря на то, что авторъ сознавалъ основательность этого закона, онъ все таки не былъ въ состояніи избѣжать повторенія нѣкоторыхъ старыхъ избитыхъ фразъ о томъ, что будто тѣ люди самые счастливые, у которыхъ всего менѣе нуждъ. Точно будто та дѣятельность, на которую онъ указываетъ какъ на существенный элементъ человѣка, не находится въ непосредственной связи съ постояннымъ умноженіемъ нуждъ. Впрочемъ мы можемъ смотрѣть на это, какъ на случайное подчиненіе тѣмъ идеямъ, которыя были общими для всѣхъ моралистовъ аскетического периода. Въ сущности же *Система Природы* была протестомъ противъ идеаловъ аскетизма и квѣтизма.

Вторая половина *Системы Природы* трактуетъ о божествѣ, о доказательствахъ его существованія, о его атрибуатахъ и о томъ, какимъ путемъ оно влияетъ на счастіе людей. Достойно вниманія то, что здѣсь авторъ нападаетъ не только на злоупотребленія католической церкви, не только на религіозныя суевѣрія, но и на ту великую идею, которая царить на недосягаемыхъ для нашего зрѣнія высотахъ несравненно выше всякой церкви и всякой религіозной формы. То, что авторъ здѣсь осуждаетъ, есть деизмъ какъ въ его самой чистой таѣ и въ его самой грубой формѣ. Нѣтъ возможності указать другое литературное произведеніе съ болѣе выработанными, болѣе рѣзкими и болѣе рѣшительными нападками на самыя основныя положенія теологии, какъ натуральной таѣ и опирающейся на откровеніе. Чистый раціонализмъ ничего не могъ бы присовокупить къ этимъ разрушительнымъ ударамъ. Ихъ тонъ нельзя называть вполнѣ философскимъ, потому что авторъ смотритъ на идею о божествѣ, какъ на ненормальный и болѣзненный наростъ, а не какъ на натуральный продуктъ человѣческаго развитія. Оставаясь вѣрнымъ общеупотребительнымъ въ ту пору философскимъ приемамъ, онъ не задаетъ себѣ труда объяснять теологію или изучать тѣ броющіяся подъ ея внѣшними формами нужды, влечениія и свойства человѣческой природы, въ которыхъ теология находитъ самыя прочныя для себя основы и даже свой первоначальный источникъ. Онъ смотрѣть на нее какъ на врага, котораго слѣдуетъ немилосердно побивать, а

не какъ на силу, съ которой онъ долженъ считаться. Тѣмъ не менѣе вторая часть *Системы Природы*, въ качествѣ грубаго и безжалостнаго полемическаго произведения, остается замѣчательной по своей энергіи и силѣ. Въ наше время самый запальчивый изъ противниковъ теологии долженъ казаться трусливымъ и умѣреннымъ въ сравненіи съ этимъ ярымъ бойцемъ. Самое нападеніе, опирающееся на чисто рационалистические доводы, направлено не на ту или другую позицію противниковъ, а на все, что входитъ въ систему ея обороны. Идея божества разсматривается и опровергается со всѣхъ возможныхъ сторонъ—и съ точки зрѣнія космологіи, и съ точки зрѣнія этики, и съ точки зрѣнія метафизики. Сказать, что аргументація Гольбаха одностороння то же самое, что сказать, что она была орудіемъ для нападенія. Но тотъ фактъ, что авторъ оставляетъ безъ вниманія все, что пріобрѣли нравственность и цивилизацію подъ временнымъ руководствомъ теологии, не умаляетъ значенія другаго факта, что авторъ съ необычайной энергіей перечисляетъ все, что можетъ быть сказано противъ нелѣпыхъ идей и ложныхъ нравственныхъ понятій, которыя питались и поддерживались теологіей и успѣли пустить такие глубокіе корни.

Касательно тщательнаго разбора доказательствъ существованія божества, приводимыхъ Декартомъ, Самуиломъ Кларкомъ, Малебраншемъ и Ньютономъ (гл. IV и V), достаточно будетъ сказать, что вся его сущность можетъ быть вкратцѣ выражена въ одномъ положеніи,—что авторъ рѣшительно отвергаетъ всякую априористическую основу для какихъ бы то ни было вѣрованій. Для философскихъ цѣлей было бы достаточно, еслибы онъ ограничился объясненіемъ и упроченіемъ такой точки зрѣнія. Онъ отвергалъ всю априористическую систему и поэтому отвергалъ каждое изъ двѣнадцати положеній, выработанныхъ Кларкомъ путемъ априористического метода. Онъ усматривалъ въ опытѣ источникъ и предѣлы знаній, размышеній и вѣрованій и отвергалъ какъ фантастическое сумасбродство мечтателей-метафизиковъ то предположеніе, что нашъ умъ установляетъ условія объективнаго существованія. Стать на такую точку зрѣнія значило разомъ устранить всѣ доказательства въ пользу того, что нѣчто существовало вѣчно, что самостоятельное и неизмѣнное Высшее существо существовало вѣчно, что оно существуетъ самою собою и непостижимо для нашего ума, что такъ какъ оно существуетъ неизбѣжно, то оно неизбѣжно едино и единствено—и такъ далѣе. Вникая въ эти споры, мы невольно приходимъ къ тому убѣждѣнію, что они велись двумя противниками на основаніи различныхъ системъ мышленія, что они велись двумя существами, жившими среди различныхъ элементовъ. Примѣнить мѣрила опыта къ положеніямъ Кларка или къ слегка видоизмѣненнымъ по-

ложењіямъ Малебранша и измѣрять ихъ достоинство принципомъ относительности, должно бы было казаться пагубнымъ заблуждењемъ даже для тѣхъ, кто принимаетъ опытъ за единственное вѣрное мѣрило въ этомъ предметѣ. Это то же самое, что разбирать ходъ дѣйствія въ итальянской оперѣ, оширяясь на условія реальной жизни: тогда все представление показалось бы намъ неизѣпимъ. Ни одинъ любитель лирической драмы не согласится на то, чтобы о ней судили съ такой точки зрѣнія, и философы, принадлежавшіе къ числу приверженцевъ теологии, можетъ быть, поступили бы болѣе благородно, еслибы не заявляли претензіи доказать свои главные тезисы. Они могли бы довольствоваться тѣмъ, что охраняли бы эти тезисы какъ продуктъ душевныхъ эмоцій, какъ созданную фантазіей гипотезу, какъ возвышенное и упрощенное выраженіе мечтаній, возникшихъ вмѣстѣ съ первымъ пробужденіемъ человѣческаго сознанія.

Какъ бы то ни было, но ни одна сторона не была въ состояніи убѣдить другую, потому что у нихъ не было общаго мѣрила. Едва ли были у нихъ и одинакіе способы выраженія. Единственнымъ результатомъ ударовъ, которые наносилъ Гольбахъ, было убѣжденіе толпившейся въ ту горячую пору вокругъ арены массы любопытныхъ, что такъ называемыя доказательства, съ которыми были связаны возвышенные философскіе термины, были доказательствами только для тѣхъ, кто придерживался въ мышлѣніи именно тѣхъ приемовъ, которые решительно отвергались въ восемнадцатомъ столѣтіи. Полемическое достоинство этихъ нападокъ заключалось лишь въ томъ, что они ярко выставляли въ глазахъ читателя непримиримое противорѣчие между тѣмъ, что считалось за доказательства въ семнадцатомъ столѣтіи и тѣмъ, что считалось за доказательства въ восемнадцатомъ.

Можно сдѣлать еще одно замѣчаніе. Каково бы ни было наше мнѣніе объ успѣшности нападокъ Гольбаха на дейстіческую гипотезу о созданіи міра, мы не можемъ отвергать того, что онъ по меньшей мѣрѣ съ успѣхомъ отразилъ нападки, которымъ подвергался такъ называемый атеизмъ. Онъ доказываетъ, что тѣхъ, кто выработалъ для себя ясныя понятія о движущей силѣ вселенной, неразумно обвинять въ отрицаніи существованія такой силы; что тѣхъ самыхъ людей, которые приписываютъ все, что происходитъ во вселенной, дѣйствію опредѣленныхъ и неизмѣнныхъ законовъ, было бы неѣпо обвинять въ томъ, что они все объясняютъ случайностью. Если бы подъ словомъ атеистъ, говоритъ онъ, вы разумѣли человѣка, непризнающаго существованія такой силы, которая присуща матеріи и безъ которой невозможно представить себѣ природу, и если бы вы назвали эту движущую силу Богомъ, то слово атеистъ было бы однозначуще съ словомъ умалишенный. Затѣмъ

Гольбахъ объясняетъ, почему существуютъ атеисты и чѣмъ они могутъ оправдать свое существованіе. Онъ находитъ, что они имѣютъ слѣдующія отличительныя свойства: они руководствуются только опытомъ и свидѣтельствомъ своихъ чувствъ и не видятъ въ природѣ ничего кромѣ матеріи, которая по своему существу дѣятельна, подвижна и способна производить всѣ видимыя нами существа; они воздерживаются отъ отыскиванія какой либо химерической причины и не считаютъ за болѣе основательное знаніе движущей силы вселенной простое приписываніе ея такому Существу, которое помѣщается въ величаго цѣлаго; они чистосердечно признаются, что ихъ умъ не въ состояніи ни понять отрицательные атрибуты и теологическая отвлеченности, ни согласовать ихъ съ человѣческими и нравственными свойствами, приписываемыми божеству.

Глава (IX) о превосходствѣ натурализма надъ деизмомъ, какъ основы для болѣе здравой нравственности, не лишена интереса для тѣхъ, кто ищетъ аргументовъ противъ общихъ мѣстъ, проповѣдываемыхъ съ церковной каѳедры. Въ этой сферѣ Гольбахъ такъ же разборчивъ и взыскателенъ, какъ любой изъ суровыхъ моралистовъ, когда либо излагавшихъ печатно свои мнѣнія. Тѣ, которые толкуютъ о легкомысленной нравственности разрушительныхъ литературныхъ произведеній восемнадцатаго столѣтія, были бы удивлены возвышенностью идеи *Системы Природы*, если бы только они заставили себя прочесть тѣ книги, о которыхъ они толкуютъ. Гольбахъ говоритъ, что основу для нравственности слѣдуетъ искать въ неизвѣжныхъ условіяхъ нашего существованія. Какова бы ни была Высшая Причина, помѣстившая человѣка въ занимаемое имъ жилище и давшая ему извѣстныя свойства, и все равно, будемъ ли мы смотрѣть на человѣческій родъ какъ на произведеніе природы или какъ на произведеніе какого либо интеллигентнаго Высшаго Существа, отдѣльного отъ природы,—существованіе человѣка такимъ, какимъ мы его видимъ, есть фактъ. Мы видимъ въ немъ существо, которое существуетъ, мыслить, обладаетъ интеллигенціей, имѣть самолюбіе, старается сдѣлать для самого себя жизнь пріятной и живеть въ обществѣ себѣ подобныхъ существъ, изъ которыхъ оно, смотря по тому какъ будетъ себя вести, можетъ сдѣлать себѣ друзей или враговъ. На этихъ то общихъ для всѣхъ чувствахъ и слѣдуетъ основывать нравственность, которая есть ни болѣе ни менѣе какъ знаніе обязанностей, которыя лежатъ на человѣкѣ живущемъ въ обществѣ. Лишь только вы станете искать основу нравственности въ человѣческой природѣ, вы впадете въ заблужденіе, такъ какъ никакая другая основа не будетъ тверда и надежна. Помощь такъ называемой богословской санкціи не только не нужна, но и была бы вредна. Сочетаніе реальныхъ обязанностей съ теологическими

призраками вовлекло бы понятіе объ обязанностяхъ въ такой же упадокъ, въ какой свѣтъ просвѣщенія привелъ суевѣрія, соединявшіяся прежде съ такими понятіями. При такомъ сочетаніи заявляется произвольное требование, чтобъ нѣчто измѣнчивое, носящее название благочестія, замѣнило ясныя требования справедливости. Утверждать, что безъ идеи о божествѣ не можетъ быть нравственныхъ чувствъ, или другими словами, не можетъ быть яснаго различія между порокомъ и добродѣтелью, то же самое, что утверждать, будто безъ идеи о божествѣ человѣкъ не будетъ чувствовать потребности есть и пить.

Затѣмъ авторъ старается выставить въ яркомъ свѣтѣ хорошія стороны натурализма. «Натура», говоритъ онъ, «приглашаетъ человѣка любить самого себя и постоянно увеличивать сумму своего благополучія.... Она требуетъ, чтобъ человѣкъ совѣщался съ своимъ разумомъ и видѣлъ въ немъ своего руководителя.... Она внушиаетъ человѣку желаніе искать свѣта и стремиться къ истинѣ.... Она говоритъ человѣку: люби славу, старайся приобрѣтать уваженіе, будь дѣятеленъ, бодръ, предпримчивъ.... Она выставляетъ за образецъ такихъ людей, которые одарены душою благородной, энергической, склонной къ дѣланію добра, и которые потрудились на пользу своихъ собратьевъ.... Она заставляетъ дѣтей уважать, любить и слушаться родителей и быть ихъ подпорой въ старости.... Она заставляетъ дурнаго человѣка краснѣть за свои пороки, за свои безстыдныя желанія, за свои преступленія».

Философская критика, конечно, могла бы сдѣлать не мало возраженій противъ этихъ рѣшительныхъ утвержденій, такъ какъ голосъ природы едва ли нашептывалъ на ухо первобытнаго человѣка всѣ эти возвышенныя и велиcodушныя внушенія. Но если подъ словомъ природа мы будемъ разумѣть энциклопедистовъ и если мы примемъ въ соображеніе тотъ фактъ, что Гольбахъ излагалъ приведенные мнѣнія въ противоположность тому, чему поучала въ ту пору католическая церковь во Франціи, то мы не найдемъ въ его словахъ слишкомъ большаго преувеличенія. Политическая сторона взводимыхъ имъ на эту церковь обвиненій также не была лишена нѣкоторой основательности, хотя и приводила своей смѣлостью въ смущеніе даже такихъ людей какъ Вольтеръ.

Гольбахъ съ энергией пропагандировалъ свои мнѣнія. Черезъ два года послѣ появленія въ свѣтѣ его капитального произведенія, онъ собралъ изложенные тамъ главные тезисы въ одинъ маленький волюмъ, носящій заглавіе: *Здравый смыслъ, или натуральныя понятія въ противоположность сверхъестественнымъ.* Его усердіе побудило его написать ипустить въ обращеніе множество другихъ трактатовъ и небольшихъ книжекъ, одно перечисленіе которыхъ

заняло бы нѣсколько страницъ и которыхъ неизмѣнно возбуждали умы читателей противъ системы господствовавшей въ ту пору и въ католической церкви и въ государствѣ. Онъ прожилъ достаточно долго, чтобы увидѣть собственными глазами первые рѣзкие взрывы революціоннаго движенія. Онъ умеръ весной 1789 года. Если бы онъ прожилъ еще только лѣтъ пять, онъ увидѣлъ бы, какъ соборъ Парижской Богоматери былъ торжественно посвященъ законодательнымъ актомъ поклоненію Разума, какъ католические епископы публично топтали ногами свои посохи и перстни при общихъ апплодисментахъ и какъ толпы народа шли за процессіями, въ которыхъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ былъ оселъ,увѣянчанный епископскою митрой.

ГЛАВА XV.

Исторія Индій Рэйналя.

«Со времени выхода въ свѣтъ *Духа Законовъ* Монтескье», — говоритъ Гrimmъ въ своей хроникѣ, — «въ нашей литературѣ едва ли найдется произведение болѣе достойное перейти къ самому отдаленному потомству и навсегда служить свидѣтельствомъ успѣховъ нашего просвѣщенія и нашей умственной дѣятельности, чѣмъ сочиненіе Рэйналя *Философская и политическая исторія европейскихъ колоний и европейской торговли въ общихъ Индіяхъ*. Тѣмъ не менѣе можно съ увѣренностью сказать, что между нашими современниками не найдется и одной сотни людей, прочитавшихъ хоть нѣсколько главъ той книги, которой Гrimmъ предсказывалъ въ будущемъ бессмертіе.

Когда потокъ революціоннаго движенія сталъ мало по малу опадать, тогда надъ поверхностью понизившихся волнъ стали видѣться нѣкоторые изъ литературныхъ памятниковъ предшествовавшей эпохи. Они утратили среди бурныхъ волненій революціоннаго разлива яркій блескъ своихъ первыхъ дней, однако и послѣ революціи многіе находили то—же, что ихъ дѣды находили до революціи, — что есть нѣчто увлекательное въ чтеніи *Духа Законовъ*, *Новой Элоизы* и безчисленныхъ сатиръ, разсказовъ и поэмъ великаго Вольтера. Но книга Рэйналя не была изъ числа тѣхъ поблекшихъ знаменитыхъ произведеній, которыя снова возвратились къ жизни. Она поблекла окончательно. И нельзя сказать, чтобы она стоила лучшей участіи. Въ настоящее время она можетъ интересовать только тѣхъ, кто изучаетъ настроеніе умовъ въ тѣ революціонные дни, когда длинный разскѣзъ о политическихъ и торговыхъ сношеніяхъ могъ читаться съ такою же жадностью, какъ романъ или комедія, и когда подобная книга могла сдѣлаться, благодаря пре-

обладающимъ интересамъ двя, «библіей для обѣихъ частей свѣта почти на цѣлые двадцать лѣтъ.»

Личность Рэйналя не была изъ такихъ, которыя внушаютъ уваженіе. Онъ родился въ 1711 году, перебѣхалъ изъ южной Франціи въ Парижъ и присоединился къ нуждающимся лицамъ духовнаго званія, толпившимся въ великомъ городѣ въ надеждѣ на получение какой нибудь церковной должности. Онъ сдѣлался героемъ одного изъ такихъ же анекдотовъ, какіе разсказывались о многихъ аббатахъ того времени; все равно, вымыщенъ ли этотъ анекдотъ или нѣть, онъ, полагаемъ, можетъ служить вѣрной иллюстраціей того, до какого упадка дошли въ ту пору нравы духовенства. Онъ, какъ разсказываютъ, не имѣлъ никакихъ средствъ существованія кромѣ небольшой платы, которую получалъ за то, что служилъ обѣдни. Аббатъ Прево бралъ по двадцати су за каждую обѣдню и платилъ по пятнадцати су аббату Лапорту какъ своему замѣстителю, а аббатъ Лапортъ платилъ по восьми су Рэйналю за то, чтобы служить обѣдни вмѣсто него. Но этому искателю приключений не было суждено оставаться въ презрѣнномъ положеніи паразита, смиренно питающагося отъ другихъ паразитовъ. Онъ сдѣлался сочинителемъ, написалъ исторію штадтгальтерства, цѣлый томъ объ англійскомъ парламентѣ и разсказъ о самомъ привлекательномъ для литераторовъ того времени историческомъ фактѣ—о разводѣ англійского короля Генриха VIII съ женою. Онъ нѣсколько разъ ъздили въ Англію и удостоился чести быть избраннымъ въ 1754 г. въ члены Лондонскаго Королевскаго Общества.¹⁾ Для нась не совсѣмъ понятно, какимъ образомъ онъ достигъ такой извѣстности, точно также какъ мы не въ состояніи объяснить, какимъ образомъ этотъ человѣкъ, съ радостью бравшійся служить обѣдни за нѣсколько пенсовъ, вдругъ сдѣлался богатымъ и независимымъ. Полагаютъ, что онъ принялъ участіе въ какихъ то рискованныхъ колоніальныхъ аферахъ и имѣлъ успѣхъ. Его враги распространили оскорбительный для него слухъ, будто онъ нажилъ деньги торговлей невольниками, но въ ту пору вражда партій была такъ сильна, что язвительныя выдумки не знали никакихъ границъ. Во всякомъ случаѣ нельзѧ отвергать того, что Рэйналь дѣлалъ изъ своихъ денегъ хорошее употребленіе. Онъ между прочимъ придерживался ходячаго

¹⁾ Въ Biographie Universelle, а вслѣдъ за тѣмъ и въ Encyclopædia Britannica, сообщались подробности о посвѣщении Рэйналя Палаты Общинъ; тамъ рассказывалось, что когда Спикеръ узнавъ о прибытіи Рэйналя, онъ „пріостановилъ пренія до тѣхъ поръ, пока найдется приличное мѣсто для французскаго философа.“ Это извѣстіе слѣдуетъ отнести къ разряду выдумокъ. Когда стали справляться съ газетами того времени, въ нихъ не нашли подтвержденія этого факта, который уже самъ по себѣ достаточно неправдоподобенъ.

въ ту пору мнѣнія, что можно сдѣлать мѣрь лучшимъ посредствомъ возможно большаго изданія ученыхъ разсужденій и находилъ удовольствіе въ томъ, что назначалъ преміи для провинціальныхъ академій за такія сочиненія. Такъ напримѣръ онъ предложилъ Ліонской академіи слѣдующій знаменитый тезисъ, который даже въ наше время можетъ считаться заслуживающимъ вниманія: *Было ли открытие Америки полезно или вредно для человеческаго рода?*

Рѣйналь былъ однимъ изъ самыхъ постоянныхъ гостей на философскихъ обѣдахъ барона Гольбаха и Гельвеція; онъ отличался веселымъ расположениемъ духа и уживчивостью, и вовсе не былъ зараженъ тѣмъ раздражительнымъ сознаніемъ собственного достоинства и тѣмъ самолюбиемъ, которыя слишкомъ обыкновены въ писателяхъ имѣющихъ успѣхъ, какъ и во всѣхъ другихъ людяхъ, которымъ что либо удается. Онъ бывалъ въ обществѣ не для того, чтобы какъ нибудь провести время. Онъ, точно такъ какъ Гельвецій, дѣлалъ изъ салона мастерскую. Онъ ко вся кому настойчиво обращался съ вопросами о тѣхъ и важныхъ и неважныхъ предметахъ, съ которыми онъ предполагалъ въ своемъ собесѣдникѣ близкое знакомство. ¹⁾ Горасъ Вальполь встрѣтился съ нимъ въ «скучномъ домѣ Гольбаха» и аббатъ тотчасъ началъ приставать къ нему черезъ весь столъ съ вопросами объ англійскихъ колоніяхъ. Вальполь былъ такъ же мало знакомъ съ этимъ предметомъ, какъ мало былъ знакомъ съ тѣмъ, что касается Коптовъ, и потому стала знаками объяснять своему мучителю, что ничего не слышить. Въ другой разъ, за обѣдомъ въ Строберри-Гиллѣ, Рѣйналь оскорбилъ тщеславіе хозяина дома тѣмъ, что не только самъ не обратилъ никакого вниманія на чудеса роскошной домашней обстановки, но и помѣшилъ другимъ обратить на нихъ вниманіе, потому что все время безъ умолку говорилъ и всѣхъ забрасывалъ вопросами. «Я никогда еще не слыхалъ такой наглой и скучной болтовни», — восклицаетъ нашъ болтунь-соотечественникъ. ²⁾

Рѣйналь не внушалъ высокаго о себѣ понятія и людямъ болѣе достойнымъ, чѣмъ Горасъ Вальполь. Когда его капитальное сочиненіе обратило на себя общее вниманіе, никто не хотѣлъ вѣрить, что оно было написано имъ самимъ. *Исторію обѣихъ Индій*, точно такъ же какъ и *Систему Природы* всѣ приписывали Дидро и даже самые умѣренные критики настойательно утверждали, что по меньшей мѣрѣ одна треть сочиненія принадлежитъ перу этого писателя. Указывали также на менѣе извѣстныхъ писателей, какъ на сотрудниковъ Рѣйналя, исполнявшихъ для него черную работу. Намъ вовсе

¹⁾ Мореллъ, I. 221.

²⁾ *Корреспонденція* Вальполя, VI. 147 и 445.

нетрудно согласиться съ тѣмъ предположеніемъ, что такой громадный трудъ могъ быть исполненъ лишь совокупными усилиями многихъ. Въ немъ нѣть ни единства композиціи, ни однообразія мѣры, ни правильности пропорцій; напротивъ того, въ немъ точно будто случайно разбросаны отрывки изъ эпической поэмы рядомъ съ спокойными описаніями, исторія рядомъ съ изслѣдованіями о нравственности, о торговлѣ, о законодательствѣ, о физикѣ и метафизикѣ. Читателю кажется, что все это было дѣломъ пол-дюжины писателей, изъ которыхъ каждый трактовалъ о своемъ предметѣ сообразно съ своей личной точкой зреінія и съ своими личными познаніями.

Дѣйствительно въ литературной дѣятельности Франціи восемнадцатаго столѣтія настѣнко поражаетъ тогъ странный фактъ, что авторскій эгоизмъ и авторское тщеславіе были низведены условіями того времени до такой низкой степени, до какой они не доходили ни при какомъ другомъ поколѣніи съ тѣхъ поръ какъ возникла литература. Іезуиты едва ли достигли болѣе полного уничтоженія нашего я, чѣмъ самые блестящіе и самые вліятельные противники іезуитства. То тѣсное единеніе, которое существуетъ въ наше время между книгой и извѣстной личностью, было въ то время совершенно невозможно, благодаря постоянной необходимости скрывать свое имя. Мы уже замѣтили выше, что читающая публика едва ли знала, кто былъ творцемъ того знаменитаго литературнаго памятника, который называется *Системой Природы*. Вольтеръ имѣлъ обыкновеніе энергически отрекаться отъ всякаго изъ своихъ самыхъ характерныхъ произведеній, и хотя среди толковъ парижанъ о такихъ выдающихся сочиненіяхъ, какъ сочиненія Вольтера, безъ сомнѣнія не разъ произносилось настоящее имя ихъ автора, но такая непрочная и сомнительная извѣстность не могла бы удовлетворить его тщеславія, еслибы лучшая доля его самого не была вполнѣ искренне посвящена на такія общественные цѣли, въ которыхъ тщеславіе не играетъ никакой роли. Руссо былъ исключеніемъ изъ общаго правила, но Руссо въ сущности былъ реакціонеръ, а не вѣрный членъ великой группы преобразователей. А что касается до Дидро, то онъ придавалъ таکъ мало цѣны авторскимъ лаврамъ, что оставлялъ вѣкоторые изъ своихъ лучшихъ произведеній заброшенными въ неизвѣстности въ какомъ нибудь ящикѣ и дѣлалъ это съ небрежностью исполнина и съ полнымъ равнодушіемъ къ апплодисментамъ или свисткамъ аудиторіи, хотя и слѣдилъ съ самымъ напряженнымъ вниманіемъ за ходомъ разыгрывающейся въ этомъ мірѣ траги-комической драмы. Мы можемъ къ этому прибавить, что и Тюрго и другіе менѣе замѣчательные люди, участвовавшіе въ составленії Энциклопедіи, ставили непремѣннымъ условіемъ, чтобы ихъ имена не оглашались

публично. Вообще, шло-ли дѣло о томъ, чтобы нанести чувствительный ударъ помошью меча или о томъ, чтобы заложить фундаментъ помошью лопаты, всегда являлись люди готовые жертвовать собою и нисколько не заботившіеся о томъ, будеть ли ихъ доля участія въ общей работѣ оцѣнена по достоинству и публично за ними признана, или же она будетъ поглощена и затеряна въ общей массѣ, къ которой она принадлежитъ какъ часть къ цѣлому.

Но что бы ни говорилось о томъ, кто былъ настоящимъ авторомъ книги Рэйналя, и все равно принадлежала или не принадлежала Рэйналю основная идея сочиненія, во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, что оригиналъный авторъ, кто бы онъ ни былъ, умѣлъ предугадать рѣдкое стеченіе самыхъ благопріятныхъ для его труда обстоятельствъ. Это предугадываніе играетъ въ авторской дѣятельности точно такую же роль, какъ удачный опытъ въ дѣятельности тѣхъ, кто ищетъ научныхъ открытий. Книга немедленно пошла въ ходъ. Она вышла въ свѣтъ въ 1772 г.; по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ потребовалось второе изданіе, и общее любопытство было только тогда вполнѣ удовлетворено, когда разошлось болѣе двадцати изданій и безчисленное множество перепечатокъ, сдѣланныхъ безъ разрѣшенія автора. Такъ какъ сюжетъ книги заставлялъ автора заглядывать во всѣ страны свѣта, то она находила читателей во всѣхъ обитаемыхъ людьми частяхъ земного шара. И въ числѣ этихъ читателей были такие, которымъ судьба готовила высокое назначеніе. Одного изъ юныхъ читателей усердіе завлекло такъ далеко, что онъ собралъ самыя смѣлые мысльта въ одинъ томъ и издалъ его подъ заглавіемъ *L'Esprit de Raynal*, а такъ какъ онъ былъ членомъ религіозной конгрегаціи, то этимъ онъ вносиластвіи навлекъ на себя непріятности. ¹⁾ Франклінъ читалъ эту книгу въ Лондонѣ и восхищался ею. Негръ Туссенъ-Лувертюръ, сидя въ своей невольничьей хижинѣ, съ усердіемъ разбиралъ ее по складамъ, находя въ ея разсказахъ о бѣдственномъ положеніи его расы и въ ея страстныхъ протестахъ противъ рабства первое ясное выраженіе тѣхъ самыхъ мыслей, которыя смутно бродили въ его благородномъ умѣ при видѣ жестокостей, ежедневно совершившихся на его глазахъ. Гиббонъ формально обезсмертилъ Рэйналя, отозвавшись о немъ въ своей *Исторіи упадка и разрушения римской имперіи* какъ о такомъ писателѣ, который «съ основательной самоувѣренностью предполагалъ своей собственной исторіи почетные эпитеты политическая и философская.» ²⁾ Въ своей превосходной *Исторіи Америки*, обнимающей одну часть той самой почвы, на

¹⁾ Его имя Гедуенъ.

²⁾ Гл. XXI.

которой стоялъ Рэйналь, и вышедшій въ свѣтъ лишь въ 1777 г., Робертсонъ хвалилъ Рэйналя за его остроуміе и краснорѣчіе и воспроизводить некоторые изъ Рэйналевскихъ историческихъ умозрѣній.¹⁾

Фридрихъ Великій началъ читать книгу Рэйналя и въ теченіи нѣсколькихъ дней въ заобѣденныхъ бесѣдахъ съ приближенными къ нему французами отзывался съ восторгомъ о ея краснорѣчіи и здравомысліи. Но онъ внезапно умолкъ и никогда болѣе не сказалъ о ней ни одного слова. Онъ дошелъ до той полу-дюжины страницъ, на которой авторъ обращается къ нему съ очень впечатлительными наставленіями:

«О Фридрихъ, Фридрихъ! Ты былъ одаренъ отъ природы смѣлымъ и пылкимъ воображеніемъ, не знавшей предѣловъ любознательностью и страстью къ дѣятельности. Человѣчество, повсюду находящееся въ оковахъ, повсюду впавшее въ уныніе, отерло свои слезы при видѣ первыхъ понесенныхъ тобою трудовъ и находило облегченіе всѣхъ своихъ страданій въ надеждѣ, что ты отмстишь за него. На грозномъ театрѣ войны ты удивилъ всѣ націи твоей быстротой, искусствомъ и распорядительностью. На тебя смотрѣли какъ на образецъ короля-воина. Но есть еще другое болѣе славное название — название короля-гражданина.... Открой же снова твое сердце для благородныхъ и добродѣтельныхъ чувствъ, составлявшихъ отраду твоей юности.» Затѣмъ авторъ нападалъ на Фридриха за то, что онъ хранить деньги въ своей военной кассѣ, вместо того, чтобы пускать ихъ въ обращеніе, за то что онъ допускаетъ насилия и произволъ администраціи и за то что онъ обременяетъ народъ чрезмѣрными налогами. «Дерзни предпринять еще болѣе великое дѣло: дай миру покой. Пусть авторитетъ твоего посредничества и сила твоего оружія внесутъ миръ въ среду встревоженныхъ націй. Только вселенная можетъ быть отечествомъ для великаго человѣка и поприщемъ дѣятельности для твоего гenія; будь же благотворителемъ народовъ.»²⁾

Впослѣдствіи, когда Рэйналь, напыщенный тщеславіемъ и сознаніемъ собственного достоинства, поѣхалъ въ Берлинъ и не безъ затрудненій добился личного свиданія съ королемъ, Фридрихъ отмстилъ ему за приведенные слова. Онъ сказалъ Рэйналю, что за нѣсколько лѣтъ передтѣмъ онъ читалъ исторію штадтгальтерства и исторію англійского парламента. На это Рэйналь скромно замѣтилъ, что послѣ того онъ написалъ болѣе важные сочиненія. «Я съ ними не знакомъ», — сказалъ король такимъ тономъ, который положилъ конецъ разговору.³⁾

¹⁾ Собрание сочиненій, XII. 189 (Издание 1822 г.)

²⁾ Кн. V. § 31.

³⁾ Thiébaul t, III. 172; тамъ есть длинныя и крайне нелестныя подроб-

Люди более беспристрастные, чѣмъ Фридрихъ, также невысоко цѣнили произведеніе Рѣйналя. Одинъ писатель даже сравнилъ его книгу съ шарлатаномъ, который влезъ на верхушку кареты и оттуда выкрикиваетъ передъ толпою зѣвакъ разныя избитыя фразы противъ деспотизма и религіи, привлекающія не интересомъ своего содержанія, а лишь своею смѣлостью.¹⁾ Но инстинктъ у толпы зѣвакъ былъ вѣрный. Если мы будемъ смотрѣть на *Исторію Рѣйналя* съ точки зрѣнія новѣйшихъ требованій науки, мы не найдемъ въ ней большихъ достоинствъ: Но мы имѣемъ иѣкоторое основаніе утверждать, что вообще въ теченіе послѣднихъ ста лѣтъ взглядъ на исторію стала менѣе, а не болѣе правильнымъ. Даже въ наше время есть много доказательствъ того, что онъ становится узкимъ, педантическимъ и тризвѣтнымъ. Цѣль широкаго обозрѣнія великихъ эпохъ въ жизни человѣческихъ обществъ онъ грозитъ переродиться въ такія обширныя и безчисленныя накопленія незначительныхъ фактовъ, бесплодныхъ знаній и мелочныхъ археологическихъ изслѣдований, въ которыхъ пропадаетъ изъ виду духъ эпохи и изъ которыхъ нельзя познакомиться ни съ направлениемъ, ни съ значеніемъ, ни съ перечнемъ разнообразныхъ теченій исторіи человѣчества. Вольтеровъ *Essai sur les Moeurs* даетъ совершенно вѣрное понятіе о томъ, какого рода исторія стоитъ того, чтобы ее писали или читали. Произведеніе Робертсона *View of the Progress of Society in Europe from the fall of the Roman Empire to the Sixteenth Century*,—не смотря на всѣ свои несовершенства,—и по своему плану и по изложенію удивительно вѣрно, умно и достойно называться историческимъ сочиненіемъ. Хотя самъ Рѣйналь по достоинству своихъ сужденій и своего направленія много ниже такихъ писателей, какъ Вольтеръ и Робертсонъ, однако и онъ не лишенъ свѣтлой ширины взгляда и не позабываетъ насколько вліяніе событий на европейскую цивилизацию важнѣе какого бы то ни было множества мелкихъ подробностей о самихъ событияхъ. Такъ напримѣръ, говоря о португальскихъ завоеваніяхъ въ Остѣ-Индіи, онъ не позабываетъ замѣтить, что всего замѣчательнѣе и всего важнѣе въ этихъ завоеваніяхъ было то, что они задержали развитіе оттоманского могущества въ такой моментъ европейской исторіи, когда христіанскія государства были менѣе, чѣмъ когда либо, способны оказывать сопротивленіе и когда всего менѣе можно было ожидать отъ нихъ совокупнаго про-

ности о Рѣйнальѣ, которыи нельзя назвать неправдоподобными, хотя и не слѣдуетъ забывать, что одинъ компетентный судья отозвался о Тіебо, какъ о чловѣкѣ «глупомъ, лживомъ и способномъ утверждать всякия неѣности.»

¹⁾ Senac de Meilhan, 123.

тиводействія замысламъ Солимана.¹⁾ Въ сущности это самое дѣльное замѣчаніе, какое только можно сдѣлать касательно португальскихъ завоеваній; оно свидѣтельствуетъ о привычкѣ Рэйналя, точно такъ же какъ о привычкѣ лучшихъ умовъ того вѣка, всегда оцѣнивать события по ихъ вліянію на развитіе западной цивилизациіи и свободы и оставлять безъ вниманія всѣ неважныя подробности.

Но это замѣчательное достоинство не должно скрывать отъ нашихъ глазъ недостатки Рэйналя въ другихъ отношеніяхъ. У него очень рѣдко указывается время событий. Совершенное отсутствіе въ его книгѣ объяснительныхъ примѣчаній и ссылокъ на авторитеты осуждалось Гиббономъ какъ «непростительный недостатокъ въ сочиненіи, которое впрочемъ въ высшей степени интересно». У него нетъ критики. Такъ какъ Рэйналь былъ ничто иное какъ компиляторъ чужихъ литературныхъ произведеній, то и нельзя было ожидать, чтобы онъ не впадть въ свойственный его времени несовершенства методовъ мышленія. Отъ него нельзя было ожидать, что онъ будетъ трактовать о различныхъ группахъ явлений среди первобытныхъ растъ въ такомъ же научномъ направлении, какимъ отличается новѣйшая антропология. Онъ, правда, былъ современникомъ Де-Бросса, принадлежавшаго къ числу тѣхъ писателей, которые положили начало систематическому изученію возникновенія человѣческой культуры. А у Де-Бросса есть одна сентенція, которая должна бы была предостеречь Рэйналя отъ ложнаго метода, бывшаго причиной того, что почти все, что писалось имъ и другими литераторами одной съ нимъ школы о первобытномъ человѣкѣ, было въ высшей степени невѣрно, лишено всякихъ достоинствъ и способно лишь вводить въ заблужденіе. «Мы должны изучать человѣка», — сказалъ Де-Броссъ, — «не въ томъ, что возможно, а въ самомъ человѣкѣ: наше дѣло не придумывать, что могъ бы или что долженъ бы быть дѣлать человѣкъ, а наблюдать, что онъ дѣлаетъ». Такъ напримѣръ Рэйналь не имѣлъ рационального понятія о происхожденіи и развитіи мифовъ. Когда ему приходилось имѣть дѣло съ какимъ нибудь мифомъ, онъ подводилъ его подъ общія условія человѣческихъ дѣяній и затѣмъ съ спокойной совѣстью разсказывалъ о немъ, какъ объ историческомъ фактѣ. Старинную перуанскую легенду о томъ, что законы искусства были принесены въ Перу двумя божественными дѣтьми солнца — Манко-Капакомъ и его сестрой — женой Манка-Оэлло, онъ превратилъ въ серьезный и прозаический разсказъ, въ которомъ дѣянія Манко-Капака подробно описаны съ такой увѣренностью, съ

1) Книга I. § 7. Робертсонъ подробно развиваетъ эту мысль въ своемъ сочиненіи *Historical Disquisition concerning Ancient India*, IV. § 8.

какой авторъ могъ бы говорить о Фридрихѣ Великомъ, или о Пом-
балѣ или о какомъ либо другомъ государственномъ человѣкѣ, жив-
шемъ и дѣйствовавшемъ на его глазахъ. Можно бы было привести
не мало иллюстрацій, и очень забавныхъ иллюстрацій такого ев-
гемеристического взгляда на первобытныя легенды младенческаго
періода человѣчества.

Но превращая миѳы въ исторію, Рѣналь вмѣстѣ съ тѣмъ посто-
янно прибѣгаєтъ къ противоположному методу, превращая прозу
реальной жизни въ нечто похожее на поэзію. Если онъ низводить
полубоговъ до положенія простыхъ смертныхъ, онъ также находить
удовольствіе въ томъ, что окружаетъ дикарь пріятной обстановкой
полубоговъ пастушеской поэзіи. Онъ никогда не пропускаетъ удоб-
наго случая, чтобы внести въ свой разсказъ какую нибудь идилію.
Въ то время такова была мода, введенная Жанъ-Жакомъ Руссо и
усовершенствованная авторомъ *Павла и Виргиніи*. Но склонность
къ идиллическому изображенію жизни дикарей имѣла по меньшей
мѣрѣ одну хорошую сторону: этимъ путемъ распространялось убѣжд-
деніе, что жизнь дикаря вовсе не безформенный и бесодержатель-
ный хаосъ, лишенный всякаго соотношенія съ жизнью людей циви-
лизованныхъ, и что въ ней есть нечто нормальное, систематиче-
ское и послѣдовательное. Одинъ только что возвратившійся изъ Китая
путешественникъ описалъ ежегодно совершающуюся тамъ церемонію,
которую Рѣналь заимствовалъ отъ него безъ указанія источника¹⁾.
Пуаврѣ описалъ, какъ китайскій императоръ отправляется одинъ
разъ въ годъ въ поля и тамъ своими собственными руками направ-
ляетъ плугъ, прорѣзывающій длинныя борозды. Изъ этого обряда
Рѣналь сдѣлалъ сюжетъ для рапсодіи, въ которой говорилось о
спокойствіи, простотѣ, общемъ довольствіи и объ отцѣ всего народа.
Одинъ придирчивый критикъ замѣтилъ по поводу разсказа г.
Пуаврѣ, что еслибы какой нибудь китайскій путешественникъ при-
былъ въ Версаль утромъ въ праздникъ Вознесенія, онъ увидѣлъ бы
короля Франціи смиренно обмывающаго ноги двѣнадцати бѣдныхъ и
престарѣлыхъ людей, однако,—какъ всякому французу хорошо из-
вѣстно,—это зрѣлище не могло бы служить основаніемъ для во-
сторженного восхваленія смиренія и человѣколюбія французскаго двора.

Придерживаясь тѣхъ же самыхъ приемовъ, Рѣналь не стѣсняясь
наполнять свои страницы сантиментальными декламаціями, въ ко-
торыхъ находила для себя отраду и удовлетвореніе возникшая въ
ту пору реакція противъ гнета пришедшей въ упадокъ системы ис-

¹⁾ *Voyage d'un Philosophe, etc.*; это сочиненіе вышло въ свѣтъ въ 1768 и было въ теченіе нѣкотораго времени въ большомъ ходу отчасти потому, что доставляло матеріалъ для философскихъ разсужденій Рѣналя, Гельвеція и другихъ. См. *De l'Homme*, II. XIII, и пр. Гриммъ, V. 450.

кустественныхъ социальныхъ порядковъ. Между этими вымыщленными сантиментальными исторіями ни одна не была такъ популярна, какъ эпизодъ о Полли Бэкеръ. Онъ помѣщенъ въ тѣхъ главахъ, гдѣ идетъ рѣчь объ основаніи Новой Англіи¹⁾). Фанатизмъ и религіозная нетерпимость пуританского духовенства этой знаменитой страны описаны здѣсь съ такимъ же священнымъ гнѣвомъ, какой воодушевлялъ реформаторовъ восемнадцатаго вѣка въ ихъ нападкахъ на реформаторовъ семнадцатаго вѣка. О религії здѣсь безстрашно говорится какъ объ ужасной болѣзни, пагубное влияние которой распространяется даже на самые неважные предметы. Пожалуй можно согласиться съ тѣмъ, что жестокое преслѣдованіе квакеровъ и обратительная безобразія, которыми сопровождалось розыскиваніе вѣдьмъ въ Нью-Сalemъ, доставили Рэйналью по меньшей мѣрѣ такой же основательный поводъ для нападокъ на протестантизмъ, какой онъ нашелъ въ ужасахъ, творившихся на Вестъ-Индскихъ островахъ или въ Перу для нападокъ на католицизмъ. Даже послѣ того, какъ эта лихорадочная жажда крови утихла, говорить Рэйналь, въ характерѣ мѣстныхъ жителей сохранилась какая то суровость, отзывавшаяся воспоминаніями отъ печальныхъ днѧхъ, когда тамъ возникли пуританская колонія. Онъ иллюстрируетъ это замѣчаніе разсказомъ объ одной женщинѣ, которая была предана суду за то что родила ребенка, не находясь въ бракѣ. Это было съ ея стороны уже пятое нарушеніе закона. Рэйналь, смотрѣвшій на исторію такими же глазами, какими смотрѣлъ на нее авторъ знаменитыхъ *Рѣчей Перикла*, вложилъ въ уста несчастной грѣшницы длинную и краснорѣчивую защитительную рѣчь. Рискуя моей собственной жизнью, восклицала она, я произвела на свѣтъ пятерыхъ дѣтей. «Я обрекла себя совсѣмъ мужествомъ материнской заботливости на тяжелый трудъ, которого требовали отъ меня ихъ безпомощность и нѣжный возрастъ. Я пріучила ихъ къ добродѣтели, которая ничто иное какъ одинъ изъ терминовъ для обозначенія разсудка. Они уже любятъ свое отечество такъ же, какъ я его люблю... Развѣ преступленіе быть такой же плодовитой, какъ плодовита общая всѣхъ насть мать—земля?.. И могу-ли я не жаловаться на несправедливость моей участіи, когда я вижу, что тотъ, кто меня соблазнилъ и погубилъ, пользуется почетомъ и влияниемъ и въ настоящую минуту засѣдаетъ въ томъ самомъ судѣ, который наказываетъ меня за мое несчастіе розгами и позоромъ? Кто былъ тотъ варварскій законодатель, который, опредѣляя отношенія между лицами различныхъ половъ, обратилъ всѣ свои кары на того, кто всѣхъ слабѣе—на тотъ несчастный полъ, который за минуту наслажденія платится тысячами опасностей», — и т. дал.

1) Книга XVII.

Едва ли есть надобность доказывать читателю, что весь этот рассказъ, написанный въ духѣ Дидро и почти словами Дидро, не имѣть ни малѣйшей достовѣрности. На это есть сверхъ того и вышеупомянутое доказательство, изъ котораго видно до какой степени Рѣйналь мало заботился объ исторической достовѣрности. Франклинъ и Силасъ Динъ однажды разговаривали о многочисленныхъ промахахъ въ Рѣйналевской книжѣ, какъ вдругъ вошелъ въ комнату самъ ея авторъ. Они сообщили ему содержаніе своего разговора. «Нѣтъ», — сказалъ Рѣйналь, — «я самыи тщательнымъ образомъ старался не сообщать ни одного факта, за достовѣрность котораго мнѣ не было бы порукой чей нибудь неоспоримый авторитетъ». Тогда Динъ указалъ на исторію Полли Бэкеръ и объявилъ, что ему положительно известно, что въ Массачусетѣ никогда не было закона наказывавшаго за произведеніе на свѣтъ дѣтей виѣ брака. Рѣйналь продолжалъ упорно утверждать, что весь этотъ рассказъ заимствованъ имъ изъ самого достовѣрнаго источника, пока Франклинъ не разразился громкимъ хохотомъ и не объяснилъ ему, что бывши издателемъ какой то газеты, онъ иногда по недостатку интересныхъ новостей забавлялъ своихъ подписчиковъ выдумками, которыхъ нравились имъ столько же, сколько и невымышленные факты. Въ числѣ такихъ выдумокъ была и легенда о Рѣйналевской героинѣ. Но аббатъ отъ этого никакъ не смущился. «Очень хорошо, докторъ», — сказалъ онъ, — «но мнѣ все-таки приятнѣе сообщать выдуманныя вами исторіи, чѣмъ другая людскія истины»¹⁾.

Перечисляя бросающіеся въ глаза недостатки *Исторіи общихъ Индій*, мы однако не должны позабывать того, что она пользовалась огромной популярностью. Еслибы мы захотѣли узнать причины такого блестящаго успѣха, намъ не пришлось бы ходить за ними очень далеко. Прежде всего это сочиненіе привлекаетъ къ себѣ вниманіе и разнообразіемъ и интересомъ своего содержанія. Горасъ Вальпель никакъ не преувеличивалъ его привлекательности, когда писалъ къ леди Айлесбюри: «Въ немъ идетъ рѣчь обо всемъ: здѣсь объясняются вамъ, какъ дѣлаются завоеванія, вторженія, промахи, ликвидациіи, банкротства, большія состоянія и пр.; здѣсь разсказывается и натуральная и бытовая исторія всѣхъ націй; здѣсь говорится о торговлѣ, о мореплаваніи, о чаѣ, о кофе, о фарфорѣ, о рудникахъ, о соли. о пряныхъ кореньяхъ, а также о португальцахъ, англичанахъ, французахъ, голландцахъ, датчанахъ, испанцахъ, арабахъ, о караванахъ, о персахъ, индійцахъ, о Лудовицѣ XIV и королѣ Пруссіи, о Ла-Бурдоннѣ, о Дюпле и адмиралѣ Саундерсѣ, о рисѣ, о женщинахъ, которыхъ танцуютъ голыми, о

¹⁾ Джейферсонъ, цитируемый въ *Life of Franklin* Шартона, II. 418.

верблюдахъ, объ индѣйскихъ бумажныхъ материахъ и о киссѣ, о миллионахъ миллионовъ ливровъ, фунтовъ стерлинговъ, рупій и замѣняющихъ деньги раковинъ, о жѣлѣзныхъ канатахъ и о черкесскихъ женщинахъ, о законодательствѣ и о Миссисипи, и сверхъ того дѣлаются нападки на всѣ правительства и на всѣ религіи¹⁾).

Все это не отличалось изысканностью колорита, тѣмъ не менѣе Рэйналевская космополитическая картина въ точности удовлетворяла требованіямъ минуты. Въ ту пору читателями только что овладѣло любопытство на счетъ того, что дѣлается въ Франціи и на счетъ всего менѣе извѣстныхъ отраслей человѣческой расы. Конечно, это было болѣе похоже на любопытство остроумнаго ребенка, чѣмъ на научную любознательность. Монтескій былъ первый писатель, возбудившій этого рода интересъ въ формѣ описанія обычаевъ, учрежденій, вѣрованій, стремленій и образа жизни. Но Монтескій трактовалъ обѣ этихъ материахъ отрывочно и въ связи съ болѣе или менѣе отвлеченными разсужденіями о политикѣ, тогда какъ Рэйналь сдѣлалъ ихъ сюжетомъ живаго и конкретнаго описанія и представилъ ихъ въ болѣе удобной формѣ систематического исторического повѣстованія. Къ тому же, хотя любознательность французскихъ читателей и была любознательностью людей интеллигентныхъ, ихъ воображеніе не было лишено того сладострастія, которое могло находить приятное возбужденіе въ дѣйствовавшихъ на чувственность описаніяхъ такихъ обычаевъ, которые были совершенно незнакомы для людей, привыкшихъ жить въ жѣлѣзныхъ тискахъ цивилизаціи. Наконецъ, публика того времени очень любила прикрывать свое сладострастіе и смѣшивать его съ другими предметами, вдаекась въ изслѣдованія о нравственности, и поверхности, но суетливо интересуясь неразрѣшимыми философскими задачами. Сверхъ того, ловкій Рэйналь зналъ чѣмъ можетъ угодить своимъ патронамъ и во всякомъ случаѣ, быть ли или не быть Дидро авторомъ этихъ страницъ, наполненныхъ софизмами о нравственности и парадоксами, въ нихъ есть нечто такое, что тотчасъ напоминаетъ намъ *Прибавление къ путешествіямъ Буренвилля*.

Говоря о внѣшнихъ причинахъ популярности Рэйналевской *Исторіи*, мы не можемъ умолчать и о томъ обстоятельствѣ, что это сочиненіе было написано вслѣдъ за очень интереснымъ критическимъ переворотомъ въ колоніальныхъ владѣніяхъ Франціи. Семилѣтняя война окончилась изгнаніемъ французовъ изъ Канады и изъ ихъ владѣній въ Ост-Індіи. Когда миръ 1763 года былъ заключенъ, въ немъ видѣли самую печальную окончательную развязку, закрѣпившую то, что считалось национальнымъ бѣдствиемъ. Когда мы видимъ, какую

1) Письма Вальполя, V. 421.

привязанность питають современные намъ французы къ владѣніямъ въ Алжирѣ, до сихъ поръ не принесшимъ имъ никакой пользы, для насы становится понятной глубокая скорбь французовъ того времени при видѣ того, что бѣлый флагъ и королевскія ліліи должны были навсегда покинуть берега Св. Лаврентія на западѣ и берега Короманделя на востокѣ. Самъ Рѣйналь разсказываетъ намъ, какъ усердно правительство старалось изгладить изъ памяти народа воспоминаніе объ этомъ горѣ, поддерживая надежды на болѣе удачные предпріятія въ той мѣстности, которой оно дало великое письменное название *Равноденственной Франціи*. Поселеніе вольныхъ и преданныхъ отечеству людей среди благоухающихъ лѣсовъ и плодоносныхъ полей Гвіаны должно было съ избыткомъ вознаградить за потерю холодныхъ равнинъ Канады. Эта утопія о заведеніи великолѣпныхъ колоній въ Гвіанѣ постоянно заражала умы французскихъ государственныхъ людей, начиная съ Шуазеля и кончая Луи-Наполеономъ, и ея исторія представляеть поразительный памятникъ человѣческихъ заблужденій. Но съ 1763 по 1770 годъ, то есть въ то время, когда Рѣйналь писалъ свою книгу, всѣ умы были заняты этими геройскими планами, а благодаря этому усиливавшись интересъ всего того, о чемъ велъ рѣчь Рѣйналь — колонизаціи, торговли и переустройства вновь открытыхъ странъ.

Впрочемъ, какъ ни многое связана Рѣйналевская *Исторія* своей популярностью всѣмъ указаннымъ нами причинамъ, настоящая причина этой популярности лежала глубже; ее слѣдуетъ искать въ томъ, что *Исторія* давала пищу двумъ господствовавшимъ въ ту пору тревожнымъ чувствамъ — ненависти къ религії и страстному влечению къ справедливости и свободѣ. Сюжетъ книги легко приспособлялся къ этимъ двумъ направленіямъ идей. Можно даже сказать, что ненависть къ религії и страстное желаніе справедливости и свободы были настоящимъ сюжетомъ книги, а коммерческія и политическія сношенія съ новыми странами на востокѣ и западѣ составляли лишь оправу сюжета, — его внѣшнюю оболочку. Рѣйналь былъ едва ли не первый писатель, пришедший къ убѣждѣнію, что лучшее средство поколебать уваженіе къ католицизму — изложить вѣкоторые подробности изъ его прошлаго. Гиббонъ вскорѣ послѣ того прибѣгнувъ къ тому же приему и нашелъ въ презрительномъ анализѣ ересей и въ изложеніи эгоистическихъ мотивовъ, которыми руководствовались соборы и прелаты, такое же удобное средство для поколебанія авторитета католической церкви, какое Рѣйналь нашелъ въ описаніи возмутительныхъ обмановъ и жестокостей, благодаря которымъ присутствіе христіанъ было такимъ ужаснымъ горемъ для беззащитныхъ жителей вновь открытыхъ странъ. И точно такъ какъ Гиббонъ, описывая гуманную, интеллигентную и счастливую

эпоху язычниковъ Антониновъ, искусственно внесъ въ это описание цѣлый рядъ обвиненій, Рэйналь употребилъ такой же приемъ, стараясь противопоставить отвратительнымъ наклонностямъ христіанъ воображаемую простоту и ничѣмъ ненарушенное счастіе туземныхъ расъ, кровь которыхъ христіанскіе завоеватели проливали какъ воду.

Въ такую минуту, когда писатели жадно хватались за всякое орудіе для борьбы, какое только попадалось имъ подъ руку, было бы очень странно, еслибы они не остановили своего вниманія на томъ, какъ пагубно вліялъ католицизмъ, когда онъ приходилъ въ соприкосновеніе съ высшими слоями человѣческой расы. Въ лѣтописяхъ человѣческаго рода нѣть такой главы, которая была бы болѣе возмутительна своимъ содержаніемъ, чѣмъ исторія этого вліянія, и которую историки католицизма обходили бы болѣе охотно молчаніемъ. Немилосердныя жестокости испанскихъ завоевателей въ ново-открытыхъ странахъ служатъ чрезвычайно поучительнымъ свидѣтельствомъ того, какъ узно христіанство съ точки зрѣнія цапской церкви, какъ оно мелочно исключительно, какъ низка и ошибочна его мораль, и главнымъ образомъ, въ какой мѣрѣ оно было неспособно руководить умами и влечениями людей, стоявшихъ лицемъ къ лицу съ страшными искушеніями, въ которыхъ вовлекали ихъ скровища Нового Свѣта. Въ теченіе двѣнадцати столѣтій и даже болѣе, католицизмъ побѣдоносно руководилъ совѣстю обитателей Европы. Но исторія американского архипелага, Мексики, Перу,— даже въ изложеніи писателей болѣе беспристрастныхъ, чѣмъ Рэйналь,— доказываетъ намъ, что несмотря на это вѣнчшее торжество церкви, духъ христіанства не одержалъ большой побѣды надъ алчностью, сластолюбіемъ и кровожадностью натурального человѣка. Она доказываетъ, въ какой мѣрѣ религія, господствовавшая въ вѣка вѣры, была поверхностна, какъ громадна была задача остававшаяся еще неисполненной и въ какой мѣрѣ самая трудная часть этой задачи заключалась въ томъ, чтобы сдѣлать самый католицизмъ болѣе цивилизованнымъ и болѣе нравственнымъ. Вѣдь едва ли найдется кто нибудь, кто сталъ бы отрицать, что католицизмъ не только не умѣлъ найти узду, которая сдерживала бы человѣческія страсти, но сдѣлалъ еще нѣчто худшее. Испанскіе завоеватели доказали, что онъ доставлялъ пищу еще болѣе отвратительнымъ страстямъ, чѣмъ тѣ, которыхъ питались грубыми интересами материальнаго себялюбія, когда сдѣлалъ изъ поголовного истребленія или изъ обращенія въ рабство тѣхъ беззащитныхъ народовъ обязанность для католической церкви и будто бы пріятное для Всевышняго жертво-приношеніе.

Конечно, историкъ, становящійся на философскую точку зрѣнія, не оставить безъ вниманія того важнаго соображенія, что безраз-

судные избіенія, совершившіся поданными Самою Католическою изъ королей, были менѣе отвратительны и были менѣе постояннымъ источникомъ нравственной порчи, чѣмъ ежедневная кровавая жертвоприношенія живыхъ человѣческихъ существъ, совершившіяся въ храмахъ Гунтилопохти и Тецкатлипуга. Онъ не позабудеть, точно такъ же какъ этого не позабываетъ даже Райналь, что если надсмотрщиками надъ невольниками и убийцами были католики, за то апостолъ справедливости и милосердія Ласъ-Казасъ былъ также католикъ. Тѣмъ не менѣе остается во всей силѣ тотъ фактъ, что доктрина нравственныхъ обязанностей по отношенію къ нисшимъ расамъ еще не заняла подобающаго ей мѣста въ Европѣ, точно такъ же какъ ни у итальянцевъ, ни у испанцевъ еще не заняла подобающаго ей мѣста доктрина о нашихъ обязанностяхъ по отношенію къ нашимъ помощникамъ и товарищамъ — нисшимъ животнымъ. Все еще остается въ силѣ тотъ фактъ, что старое христіанство въ шестнадцатомъ столѣтіи было неспособно съ пользой мѣшаться въ новыя условія, среди которыхъ очутилось человѣчество. А такъ какъ и въ восемнадцатомъ столѣтіи католицизмъ оказался неспособнымъ согласовать съ старыми традиціями новыя нравственныя влеченія и новые соціальные потребности, то Райналь имѣлъ полное основаніе снова освѣжать въ памяти читателей печальную исторію его прежнихъ неудачъ и отождествлять вѣру убийца Каласа и Да-Барра съ вѣрой тѣхъ людей, которые за два вѣка передъ тѣмъ наложили проклятие на будущность самой прекрасной части Нового Свѣта.

Впрочемъ одного того обстоятельства, что эта книга была длиннымъ и энергическимъ обвинительнымъ актомъ противъ католической церкви, было бы недостаточно для того, чтобы доставить ей ту обширную популярность, которой она пользовалась. Въ ту пору нападки на церковь сдѣлались слишкомъ обыденнымъ явлениемъ. У восемнадцатаго столѣтія была положительная сторона, которая имѣла по меньшей мѣрѣ столь же важное значеніе, какъ и его отрицательная сторона, — что мы и имѣемъ главнымъ образомъ въ виду доказать въ настоящемъ изслѣдованіи. Писатели того времени, — какъ мы не разъ уже имѣли случай это замѣтить, — были воодушевлены стремлениемъ къ политической справедливости, къ гуманности, къ введенію лучшаго и болѣе однообразнаго для всѣхъ законодательства и къ улучшенію участія каждого, — такимъ стремлениемъ, которое никогда не было превзойдено ни въ своей стойкости, ни въ своей искренности, ни въ своемъ безкорыстіи. А произведеніе Райнalia, въ цѣломъ, было едва-ли не самой сильной и самой выдержанной изъ всѣхъ литературныхъ формъ, въ которыхъ выражались величія соціальныхъ идеи того вѣка. Въ немъ вовсе не было того

странного и сосредоточенного пламени, которое пылало на страницахъ *Общественного Договора*; за то оно было полно движений, реальности, живыхъ и живописныхъ повѣствованій. Оно было доступно для пониманія каждого, и оно было конкретно. Рэйнальская *Исторія* затрагивала прямо за сердце многихъ изъ числа тѣхъ читателей, которымъ аргументы Руссо казались не совсѣмъ понятными и наводящими уныніе. Это была именно та книга восемнадцатаго столѣтія, которая въ общественномъ мнѣніи Франціи обончательно ввела нынѣшнія расы въ сферу правъ и обязанностей. Гравюры, которые можно видѣть на заглавномъ листѣ каждого изъ семи томовъ, могутъ служить ключемъ для пониманія того, какое впечатлѣніе производили эти томы. На одной изъ этихъ гравюръ изображенъ философъ, пишущій на колоннѣ полное грустнаго значенія старинное изреченіе *Auri sacra fames*, между тѣмъ какъ въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ него стоять на якорѣ испанскіе и португальскіе корабли, а на берегу бѣлые люди избиваютъ черныхъ. На другой гравюрѣ представлена красивая женщина, которая одной грудью кормить бѣлага ребенка, а другой — чернаго; ея глаза съ состраданіемъ устремлены на задній фонъ гравюры, гдѣ изображена толпа негровъ-невольниковъ, работающихъ надъ сахарнымъ тростникомъ подъ плетью и заостренной палкой безжалостнаго господина. На третьемъ заглавномъ листѣ изображена исторія Инка и Ярико, которую Рэйналь приписывалъ какому то английскому поэту; но такъ какъ ни одинъ английскій поэтъ не касался сюжета этого трогательнаго разсказа, пока Кольманъ-младшій не драматизировалъ его въ 1787 г., то мы имѣемъ основаніе думать, что Рэйналь запомнилъ его изъ статьи Стиля въ *Зрителѣ*. Послѣдняя изъ этихъ гравюръ представляетъ хорошо обработанную мѣстность; она усыана деревенскими жилищами, а въ гавани стоять множество судовъ; на переднемъ планѣ два квакера; одинъ изъ нихъ ласково обнимаетъ молодыхъ индѣйцевъ, а другой съ негодованіемъ отбрасываетъ въ сторону символы раздоровъ и войнъ — лукъ и стрѣлы.

Въ сущности самая лучшая главы въ этой книгѣ были краснорѣчивыми проповѣдями на эти простыя и трогательныя темы. Онѣ вводили негровъ и индѣйцевъ въ сферу общечеловѣческаго братства. Онѣ поучали болѣе возвышенной морали по отношенію къ этимъ родившимся въ рабствѣ несчастнымъ, онѣ внушали невѣdomое до тѣхъ поръ состраданіе къ нимъ, онѣ возбуждали въ людяхъ великолдушное къ нимъ сочувствіе. И все это излагалось авторомъ такъ, чтобы не только распространить болѣе правильныя понятія объ индѣйцахъ и неграхъ, о невольническомъ труде и еще болѣе отвратительной торговлѣ невольниками, но чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ возбудить и усилить въ людяхъ сознаніе, что всѣ общественные порядки на

всемъ земномъ шарѣ должны быть регулированы на основаніи справедливости, равенства и человѣколюбія. Тоже самое движение умовъ, которое привело къ убѣждѣнію, что и по отношенію къ страданіямъ черной расы существуютъ нравственные обязанности, и что эта раса также должна имѣть права, усиливало точно такое же понятіе о правахъ и обязанностяхъ по отношенію къ угнетеннымъ народнымъ массамъ во Франціи. Эти чувства были господствующими во время ребяческаго и юношескаго возраста тѣхъ людей, которымъ, быть черезъ двадцать послѣ того какъ книга Рейналя впервые попала къ нимъ въ руки, было суждено примѣнить эти чувства къ дѣлу съ такимъ пыломъ и съ такимъ успѣхомъ.

Монтескій былъ первый писатель, затронувшій различные вопросы касательно невольничества. Но въ какой мѣрѣ умы разгорячились во Франціи въ промежутокъ времени между 1750 и 1770 годами, всего яснѣ видно изъ различія въ тонѣ между двумя писателями, столь равными по своей популярности, хотя и вовсе неравными по достоинству, какъ Рейналь и Монтескій. Этотъ послѣдній, хотя и не оправдывалъ ни вредныхъ послѣдствій, ни существованія невольничества въ какой бы то ни было формѣ, однако старался рационально объяснить причины его возникновенія.¹⁾ А Рейналь выходилъ изъ терпѣнія, читая эти объясненія. Онъ былъ настоящимъ олицетвореніемъ страстнаго протesta противъ исторического метода. «Монтескій,» — говорить онъ, — «не могъ имѣть намѣренія серьезно рассматривать вопросъ о невольничествѣ. Дѣйствительно, это значило бы унижать нашъ разумъ, если бы мы стали употреблять его не скажу на защиту, но даже на опроверженіе пагубнаго учрежденія, столь противнаго разуму. Тотъ, кто оправдываетъ столь отвратительную систему, заслуживаетъ отъ философа самого грубаго презрѣнія, а отъ негра удара кинжаломъ. «Если вы только дотронетесь до меня пальцемъ, — говорила Кларисса Ловеласу, — я лишу себя жизни. А я сказаль-бы тому, кто покусился-бы на мою свободу: если вы только подойдете ко мнѣ, я васъ зарѣжу.... Можетъ быть, ктонибудь скажетъ мнѣ, что тотъ, кто старается сдѣлать изъ меня раба, пользуется своимъ правомъ? Но откуда взялось это право? Кто наложилъ на него такую священную печать, которая могла бы заставить меня молчать? Если ты думаешь, что имѣешь право угнетать меня, потому что ты могущественнѣе и сильнѣе меня, то не жалуйся, если мои мощныя руки разорвутъ твою труду, чтобы добраться до твоего сердца; не жалуйся, если ты почувствуешь въ твоихъ сведенныхъ судорогами внутренностяхъ присутствие смертель-

¹⁾ Кн. XV. *Esprit des Lois.*

наго яда, который я впустил туда вмѣстѣ съ твоей пищей. Будь и ты въ свою очередь жертвой и искуши преступленія угнетателя». ¹⁾

Затѣмъ Рэйналь задаетъ себѣ политический вопросъ, какимъ путемъ мы могли бы ниспровѣрнуть зданіе, которое поддерживается человѣческими страстями, существующими законами, соперничествомъ могущественныхъ націй и силою еще болѣе могущественныхъ предразсудковъ. Къ какому трибуналу, восклицаетъ онъ, должны мы обращаться съ нашей священной жалобой? На эти вопросы онъ не находить лучшаго отвѣта, чѣмъ тотъ, который дали на него Тюрго и Экономисты. Отъ королей должны мы ожидать уничтоженія всѣхъ этихъ чудовищныхъ безобразій. Обязанность королей уничтожить угнетателей огнемъ и мечемъ. «Ваши арміи», — восклицаетъ онъ, какъ бы предугадывая знаменитое выраженіе современаго намъ писателя, — «будутъ преисполнены священнымъ энтузіазомъ человѣколовія». Становясь вслѣдъ за тѣмъ на болѣе практическую точку зрѣнія, Рэйналь предостерегаетъ читателей, что если черные когда нибудь возстанутъ для отмщенія за причиненное имъ зло, участъ бѣлыхъ будетъ ужасна. Неграмъ нуженъ только предводитель, который бы достаточно отваженъ, чтобы повести ихъ на отместку и на рѣзню. «Гдѣ же этотъ великий человѣкъ, котораго природа обязана произвести на свѣтъ къ чести человѣческаго рода? Гдѣ онъ, этотъ новый Спартакъ, который не найдетъ себѣ противника въ Крассѣ? Когда онъ появится, Черный Кодексъ исчезнетъ, — и какъ будетъ страшенъ Бѣлый Кодексъ!» Не трудно понять, какое впечатлѣніе производили такія слова на Туссена и на тѣхъ, кому Туссенъ повторялъ ихъ.

Многимъ случалось задавать самимъ себѣ вопросъ, что думали бы великие литературные подготовители революціи и какъ бы они дѣйствовали, если бы они дожили до дней Террора? Что сказалъ бы Вольтеръ о Робеспьерѣ? Какъ держалъ-бы себя Руссо въ клубѣ якобинцевъ? Принялъ-ли бы Дидро участіе въ процессіи, устроенной въ честь Богини Разума? Спрашивать, одобрили ли бы эти знаменитые люди Терроръ, значило бы поносить великія имена; мы не имѣемъ никакого основанія предполагать, что ихъ мощные умы были бы приведены въ смущеніе. Нѣкоторые изъ самыхъ юныхъ членовъ знаменитой философской партіи видѣли на дѣлѣ, какъ рушились старые порядки. Кондорсе противостоялъ бурѣ съ такимъ геройствомъ духа, которое никогда не было превзойдено; отвращеніе къ насилиямъ дурныхъ людей не могло поколебать его увѣренности

1) Кн. XI. § 30.

въ благотворности движенія, направленного ихъ безумiemъ на ложный путь.

У Рейналя не было такой стойкости убѣжденій, и онъ доказалъ, что въ его краснорѣчіи было много жеманства и такихъ формулъ, которыхъ онъ позаимствовалъ отъ другихъ. Онъ дожилъ до самыхъ мрачныхъ дней революціи и слѣдилъ за событиями съ напряженнымъ вниманіемъ. Онъ очень скоро впалъ въ уныніе. Задолго до кровавой междоусобицы между политическими партіями, и наканунѣ неудачной попытки короля спастись бѣгствомъ, онъ обратился къ Национальному Собранию (31 мая 1791 г.) съ письмомъ, которое не лишено силъ и смѣлыхъ выраженийъ. «Я долго имѣть смѣлость напоминать королямъ объ ихъ обязанностяхъ», — писалъ онъ. «А теперь позвольте мнѣ указать народу на его заблужденія, а народнымъ представителямъ на опасности, угрожающей всѣмъ намъ». Затѣмъ онъ по прежнему сыпѣтъ обвиненія, но уже съ иною цѣллю и не на тѣхъ, на кого сыпалъ ихъ прежде. На этотъ разъ онъ нападаетъ не на королей и не на духовенство, а на правительство преклоняющееся передъ тиранніей народа, на армію, не признающую дисциплины, на начальниковъ, не имѣющихъ никакого авторитета, на министровъ, не имѣющихъ въ своемъ распоряженіи никакихъ денежныхъ средствъ и на тѣхъ грубыхъ и совершенно невѣжественныхъ людей, которые дергаютъ разрѣшать самые трудные политические вопросы. Какъ могло случиться, спрашивается онъ, что послѣ того какъ вы провозгласили догматъ свободы религіозныхъ мнѣній, вы позволяете подвергать священниковъ преслѣдованіямъ и оскорблѣніямъ, за то что они не придерживаются вашихъ религіозныхъ мнѣній? Въ такомъ же энергическомъ тонѣ онъ указываетъ на неспособность Учредительного Собрания основать прочное и сильное правительство и положить конецъ тѣмъ актамъ мщенія, востаніямъ и взрывамъ страстей, которые разносятъ повсюду тревогу и угрозы. Короче сказать, это былъ энергический памфлетъ, написанный въ интересахъ Малуэ и конституціонныхъ роялистовъ. Собрание выслушало его до конца, но не безъ рѣзкихъ перерывовъ. Робеспьеръ послѣшилъ взойти на трибуну. Онъ осуждалъ тонъ Рейналевскаго письма, но объявилъ, что вовсе не имѣть намѣренія возбуждать въ Собранию или въ общественномъ мнѣніи негодованія противъ такого человѣка, за которымъ все таки остается великое имя; онъ полагалъ, что преклонныя лѣта автора письма служатъ достаточнымъ оправданіемъ его отступничества. Собрание согласилось съ мнѣніемъ Робеспьера и перешло къ очередному порядку.¹⁾

Рейналь дожилъ до того времени, когда его предсказанія сбылись

¹⁾ Робеспьеръ Гамеля I. 456—8.

во всемъ, что въ нихъ было самаго ужаснаго. Не смотря на то, что онъ прогнѣвилъ многихъ влиятельныхъ людей, онъ не былъ гильотинированъ; онъ даже не былъ заключенъ въ тюрьму. Все, что онъ имѣлъ, было у него отобрано, и онъ умеръ въ самой крайней бѣдности весной 1796 года. Будемъ надѣяться, что его горестное положение въ концѣ жизни облегчалось воспоминаніями о томъ, что онъ когда-то былъ мощнымъ бойцемъ за благородное дѣло.

ГЛАВА XVI.

Послѣдніе годы Дидро.

Въ концѣ длиннаго ряда замѣтокъ и вопросовъ касательно анатоміи и физіологии, которые Дидро мало по малу записывалъ въ теченіи многихъ лѣтъ, онъ дѣлаетъ слѣдующія странныя размышленія:

«Я не буду знать до самаго конца, что я потерялъ или что я выигралъ въ этомъ обширномъ игорномъ домѣ, гдѣ мнѣ пришлось провести лѣтъ шестьдесятъ съ игральными костями въ рукѣ, *tes-seras agitans*.

«Что я вижу? Формы. А еще что? Формы. О сущности я ничего не знаю. Мы бродимъ среди тѣней, будучи сами тѣни и для себя и для другихъ.

«Если я смотрю на радугу, образовавшуюся на облакѣ, то это потому что я въ состояніи ее видѣть; а тотъ, кто посмотрѣлъ бы на нее подъ другимъ угломъ, ничего бы не увидѣлъ.

«Люди нерѣдко воображаютъ, будто они умерли, будто они стоять подъ собственнаго трупа и идутъ вслѣдъ за своей собственной погребальной процессіей. Это то-же, что человѣкъ пустившійся плавать, который наблюдаетъ за положенной имъ на берегу одеждой.

«Философія,—то обычное глубокое умственное созерцаніе, которое отвлекаетъ насъ отъ всего окружающаго и уничтожаетъ нашу собственную личность,—есть особый видъ приготовленія къ смерти.»¹⁾

Теперь настало то время, когда эти слова должны оправдаться на дѣлѣ. Дидро, какъ мы уже сказали, возвратился изъ своей поѣздки въ Россію осенью 1774 года, спокойно разсчитывая на то, что передъ нимъ еще лѣтъ десять, прежде чѣмъ завершится его жизненное поприще. Въ теченіе этого продолжительнаго заката своей жизни

¹⁾ *Eléments de Physiologie, Œuvr., IX. 428.*

онъ оставался по характеру и привычкамъ такимъ же, какимъ былъ во время ея утренней зари и ея полудня,—услужливымъ, дѣятельнымъ, привѣтливымъ, разговорчивымъ и сильно интересовавшимся всѣмъ, что касалось развитія либеральныхъ и прогрессивныхъ идей. Когда онъ возвратился домой, жена его и дочь нашли, что онъ похудѣлъ и перемѣнился. Вѣдь нерѣдко бываетъ достаточно нѣсколькихъ мѣсяцевъ разлуки для того, чтобы мы замѣтили, что нашъ другъ постарѣлъ, и что отъ пережитыхъ имъ годовъ видны длинные тѣни. Казалось, будто старость наступила въ одинъ день, подобно внезапно наступившемъ зимнимъ холодамъ. Дидро быть по старому веселъ и добродушенъ. Нѣкоторые изъ его друзей утверждали, что ему самому никогда не пришла бы мысль, что надо возвратиться домой. По словамъ Галіани, «время и пространство были въ его глазахъ то же, что въ глазахъ Всемогущаго; онъ воображалъ, что онъ по всюду и что онъ вѣченъ». ¹⁾ Дидро предсказывали, что его постигнетъ въ Петербургѣ такая же участъ, какая постигла Декарта при дворѣ королевы Христины. Но философъ побѣдоносно выдержалъ характеръ. «Добрая моя жена», — сказала онъ, взобравшись въ свою квартиру на четвертомъ этажѣ, — «пожалуйста пересмотри всѣ мои вещи; ты увидишь, что нѣтъ никакого основанія бранить меня; я не потерялъ даже ни одного носового платка.»)

Однако, не смотря на его веселое расположение духа, его друзья не могли не замѣтить въ немъ признаковъ душевной тоски, которыхъ они не примѣчали до его поѣздки въ Россію. Это не было то склонное къ раздражительности утомленіе, которое нерѣдко придаетъ послѣднимъ годамъ человѣческой жизни такой неприглядный отпечатокъ. Онъ остался вѣрить здоровому temperamentu своей молодости и безъ сѣтованій смотрѣлъ на приближеніе старости. Къ нему можно было примѣнить слова, сказанныя Сократу ветераномъ Кефаломъ, — что причина сожалѣній и сѣтованій лежитъ не въ возрастѣ человѣка, а въ его temperamentѣ, и что тотъ, кто счастливо одаренъ отъ природы, едвали будетъ чувствовать на себѣ бремя пожилыхъ годовъ.

Въ 1762 г. Дидро написалъ къ дѣвицѣ Воланъ цѣлую страницу, наполненную трогательными размышеніями на эту патетическую тему:

„Вы спрашиваете меня, почему мы тѣмъ менѣе привязаны къ жизни, чѣмъ болѣе она полна? Если это правда, то это потому, что жизнь въ занятіяхъ вообще бываетъ безупречной жизнью; тогда менѣе думаютъ о смерти и менѣе боятся ея; тогда безсознательно примиряются съ общей участью людей, постоянно умирающихъ и возрождающихся на нашихъ глазахъ; а послѣ того, какъ

¹⁾ Corresp., II. 180.

²⁾ Oeuv., I. liv.

человѣкъ въ теченіе многихъ лѣтъ исполнялъ обязанности, возложенные на него природой, онъ начинаетъ уклоняться отъ нихъ и чувствовать себя утомленнымъ; силы начинаютъ падать, человѣкъ слабѣетъ и желаетъ конца жизни, точно такъ какъ послѣ усиленной работы мы желаемъ, чтобы день скорѣе кончился; вѣдь тотъ, кто живеть въ гармоніи съ природой, не будетъ возставать противъ тѣхъ ея предписаній, которыя на его глазахъ исполняются неизбѣжно всѣми.... Между нами нѣтъ никого, кто послѣ продолжительной усталости не желалъ бы лечь въ постель и не смотрѣлъ бы на приближеніе этой минуты съ величайшимъ удовольствіемъ; вѣдь для иныхъ жизнь ничто иное какъ длинный утомительный день, смерть—продолжительный сонъ, гробъ—ложе для отдохновенія, а земля—такая подушка, на которую, когда все кончилось, пріятно положить свою голову съ тѣмъ, чтобы никогда болѣе не подымать ее. Увѣряю васъ, что, когда послѣ пережитыхъ мною тревогъ, я смотрю на смерть съ такой точки зрѣнія, она представляется мнѣ чрезвычайно пріятной. И я хочу все болѣе и болѣе пріучаться смотрѣть на нее именно такими глазами¹⁾.

Смиреніе, съ которымъ Дидро говоритъ о приближающемся концѣ своей тревожной жизни, напоминаетъ намъ разсказъ Платона о престарѣломъ Кефалѣ, сидящемъ съ вѣнкомъ на головѣ на мягкихъ подушкахъ. «Я жилъ въ деревнѣ почти въ совершенномъ одиночество; не зная ни заботъ, ни тревогъ, я ничѣмъ не нарушалъ спокойнаго теченія времени, такъ какъ у меня было лишь одно желаніе,—чтобы вечеромъ, въ концѣ дня, я чувствовалъ себя такъ, какъ иногда чувствуетъ себя человѣкъ утромъ послѣ ночи, проведенной въ пріятномъ сновидѣніи. Прожитые годы не оставили мнѣ ни одной изъ тѣхъ страстей, которыя причиняютъ страданія и вовсе не оставили послѣ себя скучи, которая бываетъ ихъ послѣдствіемъ; я утратилъ вкусъ къ тѣмъ мелочнымъ удовольствіямъ, которыя пріобрѣтаютъ столь большое значеніе благодаря нашей надеждѣ, что мы будемъ долго ими наслаждаться.... Я сказалъ самому себѣ: если то немногое, что я сдѣлалъ и то немногое, что мнѣ остается сдѣлать, должно погибнуть вмѣстѣ со мною, что потеряетъ отъ того человѣчество? Чѣмъ я отъ того потеряю?» ²⁾

Вотъ съ какимъ душевнымъ настроениемъ Дидро писалъ свою странную апологію жизни и характера Сенеки. Розенкранцъ очень вѣрно замѣтилъ, что хотя Дидро достигъ въ пониманіи греческаго искусства и въ особенности произведеній Гомера большей самостоятельности взгляда, чѣмъ большинство его современниковъ, однако и въ немъ преобладалъ римскій элементъ. Гораций, Терренций, Лукреций, Тацитъ, Сенека—вотъ кто до самаго конца его жизни былъ болѣе

1) Письмо къ дѣвице Воланѣ, 23 сент. 1762. XIX. 136—7.

2) Règnes de Claude et de Néron, посвященіе Нѣрону, III. 9.

близокъ его сердцу, чѣмъ который либо изъ греческихъ писателей. Для него имѣли неотразимую привлекательность и нравоучительная размышенія римскихъ писателей, и ихъ склонность къ сатирѣ и ихъ декламаторскій тонъ.¹⁾ И Рожеръ Бэконъ и Фрэнсисъ Бэконъ уже прежде него восхищались Сенекой, а Монтэнъ находилъ, что Цицеронъ скученъ и недостаточно поучителенъ въ сравненіи съ авторомъ *Посланій къ Луциллю*. «Когда европеица постигаетъ какое нибудь несчастіе», — говоритъ воображаемый житель восточныхъ странъ въ *Персидскихъ Письмахъ* Монтецкѣ, — «единственнымъ для него утѣшениемъ можетъ служить чтеніе произведеній философа, называемаго Сенекой».²⁾

Но Дидро былъ не такой человѣкъ, чтобы восхищаться только отчасти, и потому къ литературной оцѣнкѣ произведеній Сенеки онъ присовокупилъ полную оцѣнку всей его жизни. Въ своей молодости онъ отзывался о Сенекѣ съ пренебреженіемъ³⁾, но вслѣдствіе ли болѣе близкаго знакомства съ предметомъ или вслѣдствіе случайности онъ измѣнилъ свое мнѣніе. Отвлеченная этика обыкновенно относилась къ Сенекѣ съ легкомысленной строгостью, а эту строгость Дидро находилъ въ теченіе всей своей жизни нестерпимой. Гольбахъ убѣдилъ одного спасенного имъ отъ нищеты молодаго литератора — Лагранжа взяться за переводъ произведеній Сенеки, а когда Лагранжъ умеръ, Гольбахъ убѣдилъ одного изъ горячихъ приверженцевъ Дидро — Нажона докончить и пересмотрѣть этотъ трудъ, остающійся до сихъ поръ самымъ лучшимъ переводомъ произведеній Сенеки на французскій языкъ. Затѣмъ и Гольбахъ и Нажонъ настоящіли на томъ, чтобы Дидро описать жизнь этого философа. Въ *Очеркѣ царствованій Клаудія и Нерона*⁴⁾ такъ же много пыла, такъ же много искреннаго увлеченія, какъ еслибы Сенека быть личнымъ другомъ Дидро. Тамъ есть огонь, страсть и искренность убѣжденій, рѣдко встрѣчающіяся въ историческихъ апологіяхъ. Какъ во всѣхъ произведеніяхъ Дидро и здѣсь неизбѣжно встрѣчается не мало страницъ, наполненныхъ отступленіями и декламацией. Его толкованія Тацита представляютъ любопытный образчикъ того, какимъ образомъ стиль, служащий выраженіемъ мрачной поэтической

¹⁾ Diderot's Leben, II. 357.

²⁾ См. предисловіе Бревера къ *Рожеру Бэкону*, стр. 73. — Монтэнъ статья *Des Livres et Defense de Sénèque et de Plutarque*. — Let. Pers., 33.

³⁾ Essais sur le Merite et la Vertu. Оеч. I. 118, примѣч.

⁴⁾ Въ первомъ изданіи (1778) это было такое заглавіе: *Essais sur la Vie de Sénèque le philosophe, sur ses écrits, et sur le règne de Claude et de Néron*. Во второмъ изданіи (1782) это заглавіе было измѣнено такъ: *Essais sur les regnes de Claude et de Néron, et sur la vie et les écrits de Sénèque*.

сосредоточенности можетъ расширяться до размѣровъ стиля напышенной реторики. И Гриммъ и одна русская принцесса царской крови настоятельно убѣждали его перевести всѣ произведенія Тацита, но трудно бы было найти другаго писателя, который менѣе его обладалъ качествами Тацита. Тѣмъ не менѣе его разсказъ очень живъ. *Я не сочиняю, сказаъ Дидро въ своемъ посвященіи. Я не авторъ; я читаю и бесѣдую; я ставлю вопросы и даю на нихъ отвѣты.* Онъ увлекается историческимъ положеніемъ описываемой имъ личности съ живымъ участіемъ современника и если его критическая замѣчанія отзываются софизмами, то по меньшей мѣрѣ его описанія удивительно драматичны. Положеніе, которое занималъ Сенека въ качествѣ Неронова министра, было, какъ кажется, именно однимъ изъ такихъ, которыя всегда возбуждали въ Дидро самый живой интересъ,—это было такое положеніе, при которомъ общія правила нравственности осуждаютъ человѣка, а здравый смыслъ оправдываетъ его.

Дидро,—какъ мы уже прежде замѣтили¹⁾,—всегда склонялся къ тому мнѣнію, что не существуетъ никакихъ абсолютныхъ правилъ касательно того, что хорошо и что дурно, безусловно расположивающихъ всѣ поступки по разрядамъ, но что свойства каждого поступка должны быть оцѣниваемы по отношенію ко всѣмъ обстоятельствамъ данного случая. Политическая карьера Сенеки служить яснымъ подтвержденіемъ такого взгляда на предметъ. Потачка мелкимъ чувственнымъ наслажденіемъ юнаго Нерона, какъ средство отклонить его отъ настоящихъ преступленій и поддержать порядокъ въ управлѣніи, вѣроятно не вызоветъ порицанія со стороны тѣхъ, кто ясно сознаетъ, какъ было опасно въ ту пору положеніе имперіи. По этому поводу Дидро основательно замѣчаетъ, что никто не порицаетъ Фенелона или Боссюэта за то, что они не покидали своего положенія при дворѣ Лудовика XIV въ то время, когда онъ предавался чувственнымъ удовольствіямъ. Но потачка любовнымъ интригамъ короля, какъ бы она ни казалась унизительной съ известной точки зрѣнія, не имѣеть ничего общаго съ согласіемъ на то, чтобы король убилъ свою матерь. Здѣсь Дидро до того увлекся своей запальчивостью, что въ нѣсколько скачковъ перескочилъ черезъ всѣ препятствія. Онъ рассматриваетъ, какие пути открывались передъ министромъ послѣ убийства Агрипинѣ и не одобряетъ ни одного изъ нихъ. Какъ,—спрашиваетъ онъ,—развѣ послѣ того какъ Неронъ убилъ свою матерь, уже ничего не оставалось дѣлать твердому, справедливому и просвѣщенному человѣку, на которомъ лежало громадное бремя общественныхъ дѣлъ и который, благодаря своему му-

¹⁾ См. выше, гл. IX.

жеству и своей любви къ добру, быть въ состояніи помогать несчастнымъ, заглаживать сдѣланное зло, преслѣдовать лихоимство, удалять неспособныхъ людей и призывать къ власти людей добродѣтельныхъ, свѣдущихъ и способныхъ? Если онъ могъ спасти честь только одной хорошей женщины, или жизнь и состояніе только одного хорошаго гражданина, если онъ могъ доставить провинціямъ только одинъ день спокойствія или только въ теченіе одной недѣли воспрепятствовать замысламъ окружавшихъ императора негодяевъ, то онъ вызвалъ бы порицаніе и быть бы достоинъ порицанія, если бы удалился отъ двора или лишилъ себя жизни¹⁾). Всѣ эти сужденія довольно основательны, и если бы Сенека былъ лишь государственный человѣкъ, его вѣроятно всѣ одобрили бы за то, что онъ ни за что не хотѣлъ выпустить изъ своихъ рукъ кормило правленія. Къ сожалѣнію, онъ былъ не только государственный человѣкъ, но и моралистъ, а согласовать эти два званія нелегко. Конфликтъ между возвышенными идеями литературныхъ произведеній и изворотливой системой управлениія быть такъ же гибелью для репутаціи Сенеки, какъ и для репутаціи Фрэнсиса Бэкона. Вѣдь всякий, кто отваживается указывать міру на возвышенные идеалы, дѣлаетъ это съ опасностью для самого себя.

Одно изъ самыхъ странныхъ отступленій, которыми такъ богатъ *Очеркъ царствованій Клавдія и Нерона*, выставляетъ передъ нашими глазами въ самомъ яркомъ свѣтѣ великую литературную расплюю того вѣка. Вскорѣ послѣ того, какъ Руссо возвратились изъ Англіи, поселился въ Парижѣ въ послѣдній разъ, всѣмъ стало известно, что онъ написалъ *Исповѣдь*, въ которой онъ разсказываетъ разныя подробности о своихъ знакомыхъ такъ же безцеремонно, какъ и о себѣ самомъ. Онъ даже читалъ въ 1770 и 1771 гг. въ обществѣ нѣкоторая мѣста изъ этого сочиненія, пока г-жа Эпине и вѣроятно также супруга маршала Люксембургскаго не обратились къ властямъ съ просьбой воспретить эти чтенія. Это никого тѣль не раздражило какъ Дидро, и въ первомъ изданіи выше упомянутаго очерка, вышедшаго въ свѣтѣ въ самый годъ смерти Руссо (1778), онъ совершенно не кстати вилелъ въ свои изслѣдованія о философѣ первого столѣтія длинную и язвительную замѣтку о нравственной испорченности реакціонернаго философа восемнадцатаго столѣтія. У тѣхъ, кто имѣлъ случай разговаривать съ нимъ объ этомъ предметѣ, было убѣжденіе, что онъ боится выхода въ свѣтѣ *Исповѣди*, — и мы съ своей стороны готовы раздѣлить это убѣжденіе, не приѣзгая къ предположенію, что Дидро сознавалъ свою вину въ такихъ безобразіяхъ, которыя онъ желалъ-бы скрыть отъ публики.

Онъ хорошо зналъ, что Руссо такъ своенравенъ и такъ криводушенъ и въ своихъ мечтахъ и въ своихъ сужденіяхъ, что невинность не могла никого оградить отъ его злословія и отъ его склонности исказжать факты.

Имя Жанъ-Жака Руссо никогда вплоть до нашего времени не имѣло недостатка въ фанатическихъ приверженцахъ, и нѣкоторые изъ нихъ, принадлежавшіе къ числу самыхъ раннихъ, начали на Дидро за его язвительную замѣтку. Первая часть *Исповѣди*—единственная, какую когда либо приходилось Дидро имѣть въ рукахъ,—появилась въ 1782 и въ томъ же году Дидро выпустилъ второе изданіе *Очерка о Клавдіи и Неронѣ*, до такой степени наполненное умѣстными и неумѣстными возраженіями на рѣзкіе нападки приверженцевъ Руссо, что читатель затрудняется рѣшить, съ какой цѣлью написана книга,—съ цѣлью ли превознести Сенеку или же съ цѣлью оправдать Дени Дидро. По словамъ Гrimма, авторъ внезапно переносится изъ дворца Цезарей на чердакъ П. Руай, Грэзье и К°, изъ Парижа въ Римъ и изъ Рима опять въ Парижъ, изъ царствованія Клавдія въ царствованіе Людовика XV, изъ коллегіи Сорбонны въ коллегію авгурівъ; онъ обращается то къ владыкамъ міра, то къ визгливымъ дворнижкамъ литературы; въ своемъ драматическомъ увлеченіи онъ заставляетъ однихъ говорить, а другихъ возражать; онъ обращается то къ самому себѣ, то къ читателямъ, такъ что эти послѣдніе иногда не могутъ понять, кто тотъ, кто тотъ, кто говоритъ и кто тотъ, къ кому обращена рѣчь¹⁾). Мы можемъ согласиться съ Гrimмомъ въ томъ, что это придаетъ сочиненію нѣкоторую оригинальность, но такая оригинальность не можетъ нравиться серьезному человѣку и не можетъ быть привлекательна даже для тѣхъ немногочисленныхъ читателей, которымъ не нравится педантическая привила касательно литературной формы. Насъ приводить въ недорѣдѣніе продолжительная неизвѣстность на счетъ того, идетъ ли здѣсь рѣчь о римскомъ императорѣ или о французскомъ королѣ, идетъ ли рѣчь о Сенекѣ, Буррѣ и Тразевѣ или же о Тюргѣ, Мальзербѣ и Неккерѣ.

Благодаря своему чистосердечію, своей наивности, добродушию и искренности во всемъ что касалось житейскихъ интересовъ, Дидро всегда стоялъ выше той мелочности, того пронырливаго зложелательства, того тщеславнаго самомнія и тѣхъ дрязгъ, которыми заражены всѣ литературные и соціальные кружки. Поэтому намъ съ перваго взгляда кажется страннымъ, какъ Дидро, всю свою жизнь выносивший съ приличнымъ хладнокровiemъ ужаленія комаровъ изъ Гробъ-Стрига, могъ прийти въ такое раздраженіе отъ Руссо или отъ другихъ менѣе значительныхъ противниковъ, отъ

¹⁾ Гrimmъ С. о. L. t., XI. 77.

которыхъ рѣшительно отрекся бы самъ Руссо. Объясненіе этого, какъ кажется, слѣдуетъ искать въ томъ фактѣ, что люди съ такимъ temperamentомъ, какимъ отличался Дидро, хотя и остаются совершенно равнодушными къ критикѣ, направленной на ихъ мнѣнія или на ихъ общественное положеніе, но до крайности чувствительны къ нападкамъ, направленнымъ на ихъ частную жизнь и на ихъ личную честь. Оскорбительный отзывъ о его умственныхъ способностяхъ не затрагивалъ его самоцѣлія, но онъ не могъ простить тѣмъ, кто старался занятьтать его *belle âme*. Дѣйствительно, дажъ человѣка, всегда щедро тратившаго свои жизненные силы на пользу другихъ, было не легко выносить обвиненія въ зложелательствѣ и въ неспособности къ дружескимъ привязанностямъ. Это было тѣмъ болѣе нелегко, что въ ту пору было въ модѣ ставить во главѣ всѣхъ добродѣтелей дружелюбіе, привѣтливость, желаніе нравиться и оказывать услуги. Всѣ письма того времени отличаются самымъ ласковымъ тономъ; они нерѣдко наполнены слишкомъ изысканными и натянутыми выраженіями, но они свидѣтельствуютъ о томъ, какъ было сильно въ ту пору чувство общительности и даже чувство гуманности, смягчавшее рѣзкости человѣческаго селялюбія.

Сверхъ того, хотя въ *Исповѣди* и не было неблагосклонныхъ отзывовъ о самомъ Дидро, тамъ было нѣсколько такихъ отзывовъ о г-жахъ д'Эппине и д'Удето, которые не только свидѣтельствовали о неблагодарности Руссо по отношенію къ этимъ двумъ женщинамъ, обходившимся съ ними съ большой благосклонностью, но и были разсчитаны на то, чтобы причинить практической вредъ людямъ, еще находившимся въ живыхъ. Все это было отвратительно само по себѣ, а Дидро казалось еще болѣе отвратительнымъ чѣмъ кому либо другому, потому что онъ давно зналъ г-жу д'Эппине за добрую женщину, и главнымъ образомъ потому, что Гrimmъ былъ ея любовникомъ. Къ тѣмъ причинамъ, которыя побудили его написать упомянутая выше оскорбительная для Руссо замѣчанія, можетъ быть слѣдовало бы присовокупить и сознаніе того вреда, который былъ причиненъ сантиментальностью Руссо здравому и положительному философскому мышленію. Но вліяніе этой причины, безъ сомнѣнія, было гораздо болѣе слабо, чѣмъ вліяніе тѣхъ мотивовъ, которые истекали изъ сантиментальности самого Дидро. Впрочемъ эта распри уже не интересуетъ никого, кроме немногихъ фанатическихъ приверженцевъ Руссо, и намъ нѣть надобности стряхивать накопившиеся на ней густые слои пыли. Манеру самого Дидро писать исторію нельзя считать недостойной подражанія; но своему духу она примѣнна къ описанію частной дѣятельности не менѣе чѣмъ къ изложенію великихъ общественныхъ событий. «Если исторія

представляетъ мнѣ разсказъ о какомънибудь факѣ, который безчестить человѣчество, я разсматриваю его съ самой большой строгостью; я употребляю всю проницательность ума, къ какой только я способенъ, чтобы отыскать противорѣчія, позволяющія усомниться въ достовѣрности разсказа. Я этого не дѣлаю, когда поступокъ прекрасенъ, возвышенъ, благороденъ. Я никогда не стараюсь заглушать пріятное чувство, которое я испытываю при мысли, что тотъ, кто совершилъ этотъ поступокъ, такой же человѣкъ какъ и я. Скажу болѣе: у меня возникаетъ желаніе, которое, полагаю, не противорѣчитъ чувству справедливости,—желаніе высказать такое рискованное мнѣніе, которое смыло бы съ того или другаго знаменитаго человѣка пятно, налагаемое авторитетными писателями на его жизнь, на его доктрину и на его репутацію¹⁾.

Тщательно обдуманные гнѣвные нападки на Руссо были со стороны Дидро едва-ли не единственнымъ нарушеніемъ тѣхъ правилъ благопристойности, которыя обязательны для всякаго великодушнаго человѣка. Если не самъ Дидро, то его тѣнь посплатилась за это. Ла-Гарпъ отмстилъ за какое-то легкое оскорблѣніе его мелкаго литературнаго щеславія тѣмъ, что, читая лекцію о Сенекѣ, собралъ во едино всѣ обвиненія, какія когда либо сыпались на защитника Сенеки. Благодаря различнымъ причинамъ, о которыхъ я не считаю нужнымъ говорить подробнѣ, Ла-Гарпъ пріобрѣлъ въ годы реакціи расположеніе европейской публики, послѣ того какъ онъ отвернулся отъ своихъ старыхъ друзей между философами, и перешелъ въ консервативный лагерь. Публика съ жадностью слушала все, что ни говорилось противъ людей, которые считались виновниками нравственной испорченности вѣка, и его грубыя искаженія истины, нерѣдко усиленныя ложью, были источникомъ многихъ вульгарныхъ предубѣждений, которыхъ начали исчезать лишь при нашемъ поколѣніи.

Руссо умеръ въ 1778 г., а болѣе его измѣнчивый геніальный писатель того же вѣка умеръ въ томъ же году нѣсколькими мѣсяцами ранѣе. Только по случаю торжественнаго посѣщенія Вольтеромъ Парижа послѣ двадцатисемилѣтняго отсутствія, онъ наконецъ свидѣлся съ Дидро. Ихъ переписка была менѣе постоянна и менѣе задушевна, чѣмъ переписка Вольтера съ другими лицами; но хотя между ними и не было полнаго сочувствія, все таки у нихъ не было недостатка во взаимномъ доброжелательствѣ и уваженіи. Поэтому, какъ утверждаютъ, сдѣлалъ все, что отъ него зависѣло, чтобы ввести Дидро въ Академію, но король былъ непреклоненъ,

¹⁾ Оеп. III. 57.

а Дидро не былъ жаденъ до пустыхъ отличий. У него вовсе не было ни того тщеславія ни того, извинительного въ подобныхъ случаяхъ, желанія видѣть свои заслуги публично признанными, которыхъ удовлетворяются подобными отличіями. Онъ вѣроятно раздѣлялъ мнѣніе Вольтера объ академіяхъ и парламентахъ,—что когда люди сходятся вмѣстѣ, ихъ уши тотчасъ дѣлаются болѣе длинными. Послѣ возвращенія Дидро изъ Россіи, Вольтеръ писалъ ему: «Мнѣ восемьдесятъ три года, и,—повторяю вамъ,—я не могу примириться съ мыслью, что я могу умереть не повидавшись съ вами. Я постарался собрать вокругъ меня сколь можно болѣе вашихъ питомцевъ, но я еще далекъ отъ того, чтобы собрать всѣхъ членовъ вашего кружка.... Въ сущности мы немного расходимся въ мнѣніяхъ и одной бесѣды было бы достаточно для того, чтобы привести насъ къ соглашенію»¹⁾.

О содержаніи такихъ бесѣдъ мы почти ничего не знаемъ. Никакой благочестивый бардъ не воспѣвъ взаимныхъ привѣтствій между героями. Намъ только известно, что въ концѣ ихъ первого свиданія, краснорѣчіе Дидро лилось съ такимъ обиліемъ, что по его уходѣ Вольтеръ сказалъ: «Этотъ человѣкъ, безспорно, даровитъ, но у него нѣтъ одной и притомъ очень важной способности—способности вести разговоръ». Замѣчаніе Дидро о Вольтерѣ болѣе картино: «онъ похожъ на одинъ изъ тѣхъ старыхъ, часто посѣщающихъ замковъ, которые разваливаются со всѣхъ сторонъ; но вы тотчасъ чувствуете, что тамъ живетъ какой-то старый чародѣй»²⁾. Между ними зашелъ споръ о достоинствахъ Шекспира и Дидро разсердилъ патріарха, повторивши уже цитированное нами мнѣніе (стр. 230), что Шекспиръ, подобно статуѣ св. Христофора въ соборѣ Богоматери, безобразенъ и грубъ, но такой гигантъ, что обыкновенные люди могутъ проходить между его ногами, не дотрогиваясь до него³⁾.

Быть одинъ человѣкъ, который могъ бы разскажать намъ тысячу интересныхъ подробностей и о бесѣдѣ Дидро съ Вольтеромъ и объ отношенияхъ Дидро къ другимъ людямъ. Этотъ человѣкъ былъ Нэронъ, которому Дидро передалъ большую часть своихъ бумагъ и который, до самой своей смерти въ 1814 г., выдавалъ себя за самаго вѣрнаго приверженца Дидро и за самый авторитетный источникъ свѣдѣній. По его словамъ Дидро былъ болѣе замѣчательнъ какъ собесѣдникъ, чѣмъ какъ писатель, и притомъ какъ собесѣдникъ, напоминавшій не Джонсона, а Кольриджа. Къ сожалѣнію

1) 8 дек. 1776.

2) Соггеср. Сесгѣтъ Метра. VI. 292.

3) Си. Оену. Дидро, XIX. 465, прим.

Нэжонъ не довольствовался ролью простаго репортера и не быть одаренъ отъ природы талантомъ Бозвелля. «Мы желали бы знать» — говорить Карлейль, — «что было за существо труженикъ и боецъ Дени Дидро, какая была у него наружность, какъ онъ жилъ, что дѣлалъ и что говорилъ». Вместо того мы не получаемъ ничего кромѣ «скучныхъ, надутыхъ, гнусливыхъ, однообразныхъ и безконечныхъ лекцій объ атеистической философіи», произнесенныхъ съ страстью какого нибудь площадного проповѣдника. Нэжонъ принадлежалъ къ слишкомъ многочисленному классу мужчинъ и женщинъ, въ избыткѣ одаренныхъ безпутной интеллигентіей. Онъ былъ остроумецъ, дѣятеленъ и усидчивъ; онъ любилъ книги, въ особенности тѣ, у которыхъ широкія поля и красивый переплетъ, а главнымъ образомъ онъ былъ самый фанатический атеистъ и самый неутомимый и самый усердный пропагандистъ, какимъ только можетъ похвастаться эта форма религіозныхъ убѣждений. Намъ неизвѣстно въ точности, когда онъ въ первый разъ сошелся съ Дидро¹⁾; намъ извѣстно только то, что у Дидро, въ концѣ его жизни, не было болѣе дѣятельного и болѣе ревностнаго послѣдователя чѣмъ Нэжонъ. Во всякомъ случаѣ для насъ ни это знакомство, ни эта преданность не принесли большой пользы.

Самая поздніяя достовѣрныя свѣдѣнія о Дидро мы получили отъ того гуманнаго и просвѣщенаго англичанина, имя котораго всегда будетъ читмо между нами. Самуилъ Ромилъ, бывши двадцатичетырехъ-лѣтнимъ юношемъ, посѣтилъ Парижъ въ 1781 г. Тамъ онъ познакомился съ однимъ однофамильцемъ, который писалъ для Энциклопедіи статьи о фабрикаціи часовъ и сынъ котораго написалъ болѣе замѣчательныя статьи о Терпимости и о Добродѣтели. Этотъ почтенный человѣкъ ввелъ Ромилъ къ д'Аламберу и къ Дидро. Первый изъ нихъ былъ слабъ здоровьемъ и разговаривалъ мало. Напротивъ того, Дидро былъ полонъ жизни и огня и высказался своему гостю съ такой откровенностью, какъ еслибы они были старые близкіе знакомые. Онъ говорилъ о политикѣ, религіи и философіи. Онъ хвалилъ англичанъ за то, что они проложили путь къ здравой философіи, но утверждалъ, что французы, благодаря своей умственной отвагѣ, опередили своихъ руководителей. «Вы примѣниваете», — продолжалъ онъ — «къ вашей философіи теологію; это значитъ все портить и смѣшивать ложь съ истиной; *il faut sabre g la théologie*. По словамъ Ромилъ, онъ съ хвастовствомъ говорилъ о свѣдѣніи въ полномъ невѣріи въ существованіе Бога. Онъ

¹⁾ Biographie Universelle, относящая рожденіе Нэжона къ 1738 г.. впадаетъ въ несообразность, приписывая ему статью Ате въ Энциклопедіи, такъ какъ эта статья была напечатана въ 1752 г., когда Нэжону было только четырнадцать лѣтъ.

ссыпался на «автора лучшей теологии, какая когда либо существовала въ мірѣ,—Платона, который сказалъ, что небеса закрыты отъ насъ громаднымъ занавѣсомъ и что люди должны довольствоваться тѣмъ, что происходит внизу этого занавѣса и никогда не пытаться приподнять его; а для того, чтобы завершить мое излечение отъ моихъ жалкихъ заблуждений, онъ прочелъ мнѣ сначала до конца небольшое написанное имъ сочиненіе»; объ этомъ сочиненіи мы будемъ говорить ниже. О политикѣ онъ говорилъ съ большимъ жаромъ и «горячо наладаляр на тираннію французскаго правительства. Онъ сказалъ мнѣ, что онъ долго обдумывалъ сочиненіе о смерти Карла I, что онъ изучилъ процессъ этого короля, и что онъ имѣлъ намѣреніе снова совершить надъ нимъ судъ и послать его на эшафотъ, еслибы нашелъ его виновнымъ, но что онъ въ концѣ концовъ отказался отъ этого намѣренія. Онъ привель бы его въ исполненіе въ Англіи, но не имѣлъ духа сдѣлать это во Франціи. Д'Аламберъ, какъ я замѣтилъ, былъ болѣе остороженъ; онъ ограничился наблюденіемъ надъ тѣмъ, какое вліяніе оказывала въ его время философія на умы народа. Рожденіе Дофина (извѣстнаго вноскѣствіи подъ именемъ Лудовика XVII и окончившаго жизнь въ тюрьмѣ Тампля) послужило для него объяснительнымъ примѣромъ. Онъ сказалъ, что онъ достаточно старъ, чтобы помнить, какъ вся нація приходила въ опьяненіе отъ восторга по поводу подобныхъ событий, но что теперь она относилась съ большимъ равнодушіемъ къ рожденію на свѣтъ нового повелителя»¹⁾.

Такимъ образомъ для обоихъ ветерановъ Энциклопедіи было ясно, что перемѣна, изъ за которой они трудились, уже была недалеко. Изъ печатныхъ станковъ буквально сыпалась памфлеты, трактаты, поэмы, разсказы, въ которыхъ проповѣдывалось совершенное уничтоженіе тѣхъ самыхъ вѣрованій, которые за пятьдесятъ лѣтъ передъ тѣмъ тщательно охранялись даже отъ неодобренія ююнотомъ выраженного въ интимной бесѣдѣ. Въ ту пору бралисъ за всевозможныя литературныя формы для того, чтобы обращать ихъ въ орудіе для безжалостнаго нападенія на L'Infaute. Консервативная или религіозная оппозиція выказывала такое безсиліе, подобнаго которому едва ли можно найти въ длинной исторіи этой великой борьбы. И искусство и ловкость и энергія и выдержка—все было на одной сторонѣ. Даже Цалиссо былъ едва ли не лучшій изъ всѣхъ писателей, ставшихъ на сторонѣ консерваторовъ²⁾). При всѣхъ своихъ недостаткахъ онъ обладалъ литературнымъ вкусомъ. Многое изъ того, что онъ говорилъ, было вѣрно, а нѣкоторая изъ третьестепенныхъ

1) *Memoirs of sir Samuel Romilly*, I. 63, 1791 и пр.

2) См. выше стб. 252.

личностей, на которых онъ нападалъ, заслуживали нападеній. Его критический разборъ драмы Дидро *Незаконный Сынъ* нисколько не былъ болѣе строгъ, чѣмъ того заслуживало это плохое произведеніе¹⁾. Читая эту драму, намъ нерѣдко приходилось пожелать за-одно съ Палиссо, чтобы Дидро менѣе вдавался въ пророческіе и апокалиптическіе обороты рѣчи, чтобы вокругъ его жгучихъ и блестя-щихъ идей было поменьше хаоса, и чтобы онъ не давалъ безпрестан-но своимъ врагамъ повода называть его Ликуфрономъ философіи²⁾.

Тѣмъ не менѣе комедія Палиссо *Философы* была скандальнымъ извращеніемъ истины, въ которомъ Дидро лично выводился на сце-ну, а въ его уста вкладывалась такая смѣсь безразсудства съ плутовствомъ, которая была вовсе несвойственна Дидро. Въ 1782 г. сатирикъ снова напалъ на своего противника, уже состарѣвшагося и усталаго. Завистливый и лицемѣрный риѳомонлетъ Валерій въ комедіи *Le Satyrique* долженъ былъ, по меньшей мѣрѣ въ нѣ-которыхъ частностяхъ, олицетворять собою Дидро. Одинъ разнощикъ газетъ, довольно удачно названный г-номъ Намфлѣтомъ, приходитъ съ требованіемъ уплаты по его счету.

Daignez avoir égard à mes vives instances.

Je suis humilié d'y mettre tant de feu:

Mais les temps sont si durs! le comptoir rend si peu!

Imprimeur, Colporteur, Relieur, et Libraire,

Avec tous ces métiers, je suis dans la misère:

Mais j'ai toujours grand soin, malgré ma pauvreté,

De ne peser mon gain qu'au poids de l'équité.

Vous en allez juger par le susdit mémoire.

(Il prend ses lunettes comme pour lire).

Mal ère. (avec humeur). Eh, monsieur, finissez.

M. Pamphlet. C'est trahir votre gloire

Que de vouloir cacher les immortels écrits

(Il lit.)

Dont vous êtes l'auteur. Les Bouffoirs de Paris,

Ou Jeu royal des Abîmes. L'Espion des Coulisses,

Ouvrage assez piquant sur les moeurs des actrices.

Смысли этихъ остротъ объясняется въ полномъ коварства под-строчномъ примѣчаній; такъ, какъ инымъ могло бы показаться стран-нымъ, что такой серьезный человѣкъ какъ Валерій могъ написать такія безнравственныя и легкомысленныя произведенія, то имъ объ-ясняется, что и философъ можетъ въ часы досуга написать напри-мѣръ *Les Bijoux Indiscrets*, а на слѣдующій день сочи-нить трактать о нравственности³⁾,—что именно и сдѣдалъ Дидро.

Палиссо не можетъ быть поставленъ на ряду съ Мольеромъ, Буало-

¹⁾ Petites Lettres sur de Grands Philosophes, II.

²⁾ Œuvr. de Palissot, I: 445, IV. 244.

³⁾ Le Satyrique, III. стр. 84, примѣч.

и Цюпомъ, хотя и былъ достаточно тщеславенъ, чтобы считать себя не ниже ихъ; тѣмъ не менѣе онъ безспорно былъ выше того писаки, который задавалъ себѣ слѣдующіе вопросы:

Mais enfin de quoi se glorifie
Ce siècle de mollesse et de Philosophie?
Dites-moi: le Français a-t-il un coeur plus franc,
Plus prodigue à l'état de son généreux sang,
Plus ardent à venger la plaintive innocence?
Contre l'iniquité que soutient la puissance?
Le Français philosophe est-il plus respecté
Pour la foi, la candeur, l'exakte probité?
Où sont-ils ces Héros, ces vertueux modèles
Que l'Encyclopédie a couvé sous ses ailes? ¹⁾

Помимо скучныхъ виршъ этого рода, у партии обскурантовъ не было другаго лучшаго орудія, чтобы состязаться съ силой, граціей и блескомъ произведеній Вольтера.

Впрочемъ великие официальные поборники старой системы не были много умнѣе своихъ наемныхъ писателей. Духовенство находилось въ совершенномъ осѣщеніи. Полное изданіе произведеній Вольтера, которое готовилъ Бомаршэ по ту сторону границы въ Кильѣ, возбудило въ немъ гнѣвъ, доходившій до ярости. Кардиналь де-Роанъ, бывшій въ то время (1781) архіепископомъ въ Страсбургѣ, усмотрѣлъ въ этомъ изданіи святотатство. Архіепископъ Парижскій (1785) сталъ метать громы въ этогъ памятникъ позора, въ это дьявольское произведеніе. Архіепископъ Віеннскій запретилъ вѣрующимъ своего прихода подписываться на него подъ страхомъ смертнаго грѣха. Въ общемъ собраниіи духовенства, открывшемся лѣтомъ 1780 года, епископы обратились къ королю съ прошеніемъ, въ которомъ жаловались на почетъ, оказанный здаменитому писателю, «менѣе известному привлекательностью своего гenia и превосходствомъ своихъ дарованій, чѣмъ непреклонной и беспощадной борьбой, которую онъ вель въ теченіи шестидесяти лѣть противъ Бога и Христа». Они въ торжественной формѣ прокляли «возмутительныя богохульства» Рейналевской *Исторіи обичій Индій* и объявили, что выходъ въ свѣтъ новаго изданія этой знаменитой книги съ именемъ и портретомъ ея автора служить доказательствомъ того, что въ людяхъ совершенно заглохли самая элементарная понятія о стыдѣ и приличіяхъ.

Среди этихъ безпрестанныхъ жалобныхъ воплей мы не находимъ никакихъ признаковъ сознанія той истины, что нравственные недуги могутъ излечиваться лишь нравственными лекарствами. Эти душевно разслабленные люди не искали иныхъ средствъ кроме тѣхъ, которыхъ находились въ ихъ старомъ арсеналѣ запрещеній, угрозъ, насилий и

¹⁾ Метра, VI. 128.

тираннії. «Ваше величество», — восклицали они, — «пора положить конецъ этой прискорбной летаргії». Они напоминали королю о декларациі 1757 года, обрекавшій на смертную казнь всякаго, кто печаталъ или пускалъ въ обращеніе сочиненія враждебныя къ религії. Однако ихъ «пастырскія сердца содрогались при мысли о такихъ строгихъ законахъ» и они ограничивались тѣмъ, что рекомендовали тюремное заключеніе, раззорительные денежные штрафы и бдительное шпіонство¹⁾). Если читателя возмущаетъ опрометчивость, съ которой Дидро ожидалъ скораго исчезновенія вѣры въ существованіе Бога²⁾), то его должна возмущать въ одинаковой мѣрѣ и упорная безотложность тѣхъ людей, которые воображали, что эту вѣру можно поддержать при помощи шпіоновъ департамента полиціи. Не подлежитъ сомнѣнію, что въ прошлыхъ времена католическая церковь достигла многаго путемъ жестокостей и угнетеній, но съ тѣхъ поръ какъ Вольтеръ сталъ властвовать надъ умами, а Энциклопедія стала просвѣщать ихъ, со стороны французскихъ епископовъ было безразсудно не сознавать того факта, что старые приемы сдѣлались впередъ невозможными во Франціи и сдѣлались невозможными навсегда. Можно ли удивляться тому, что такое опасное сочетаніе безсилія съ злобой возбуждало ненависть и презрѣніе въ людяхъ, столь ясно понимавшихъ новыя общественныя потребности, какъ Дидро и д'Аламберъ?

Между тѣмъ предвестники новыхъ порядковъ быстро сходили со сцены. Гrimmъ и Гольбахъ, Екатерина и Фридрихъ еще жили³⁾). Но д'Аламберъ, за которымъ Кондорсе ухаживалъ до послѣдней минуты съ любовью почтительного сына, умеръ въ концѣ октября 1783 г.; Тюрго, смотрѣвшій удивленными глазами на то, какъ общество радостно спѣшило впередъ по пути къ разрушенію, сошелъ въ могилу за два года передъ тѣмъ (1781); Вольтеръ — этотъ великий умственный руководитель Европы въ теченіе пятидесяти лѣтъ и Руссо — этотъ великий реакціонеръ, вліявший путемъ душевныхъ эмоцій, — оба кончили жизнь въ 1778 г. Прекратилось существованіе и тѣхъ небольшихъ кружковъ, которые благодаря участію интеллигентныхъ мужчинъ и женщинъ и при содѣйствіи Адріенны Лекуврёръ, маркизы де-Ламберъ и г-жи де-Тенсенъ успѣли въ первой половинѣ столѣтія превратиться въ самостоятельныя школы безпристрастныхъ сужденій и окончательно перенести изъ Версаля въ Парижъ центръ критики

¹⁾ Подробный свѣдченія касательно этого предмета можно найти у Рокана въ его сочиненіи *L'esprit Révolutionnaire au XVIIIe siècle*, книга X, стр. 382, 390 и пр.

²⁾ Монтескѣй былъ болѣе благоразуменъ, когда давалъ католической церкви не болѣе пятьсотъ лѣтъ жизни. *Let. Regis.*, 117. Иль нѣкъ уже прошли сто пятьдесятъ лѣтъ.

³⁾ Гrimmъ умеръ въ 1807. Гольбахъ въ 1789. Екатерина въ 1796. Фридрихъ Великій въ 1786.

и умственной деятельности. Г-жа дю-Деффанъ умерла въ 1780, г-жа Жоффренъ въ 1779, а въ 1776 умерла дѣвица Леспинассъ, которую долго переживутъ ея письма, какъ пылкое литературное выражение смутной тревоги и душевныхъ страданий. Одинъ изъ любимыхъ собесѣдниковъ Дидро въ старое время,—любитель древности, ученый, политикъ, неподражаемый мимикъ, самый проницательный, самый остроумный и самый веселый изъ людей послѣ Вольтера, Галіани,—грустно доживалъ послѣдніе дни подъ своимъ роднымъ небомъ въ Неаполѣ. Его *Діалоги о хлѣбной торговли* (1769—70), не смотря на свое мало обѣщающее название, представляютъ такое литературное произведеніе, которое по живости изложенія, остроумію, діалектическимъ тонкостямъ и дѣйствительной силѣ мысли, едва ли уступаетъ образцовымъ произведеніямъ, пользующимся болѣе широкой известностью. Вольтеръ утверждалъ, что нужно было соединять въ себѣ дарованія Платона и Мольера чтобы написать эту книгу, занимательную какъ лучшій изъ романовъ и поучительную какъ лучшее изъ серьезныхъ сочиненій. Дидро, участвовавшій въ пересмотрѣ сочиненія передъ тѣмъ, чтобы отдать его въ печать¹⁾, заходилъ такъ далеко, что считать его достойнымъ стоять на ряду съ *Провинциальными Письмами* Паскаля и утверждалъ, что подобно этимъ бессмертнымъ письмамъ и *Діалоги Галіані* останутся образцемъ совершенства въ своемъ собственномъ жанрѣ долго послѣ того, какъ и сюжетъ и лица, о которыхъ тамъ идетъ рѣчь, утратятъ всякий интересъ²⁾. Это предсказаніе не сбылось вполнѣ, оттого что люди занятые своимъ дѣломъ не внимательны ко всему остальному, а при выборѣ книгъ для чтенія выбираютъ жертвой случайности и причудливыхъ традицій. Тѣмъ не менѣе, хотя Галіани по всему вѣроятію не былъ правъ въ своемъ спорѣ съ экономистами, и въ наше время было бы не безполезно познакомиться съ его разумнымъ и остроумнымъ способомъ опровергать теорію абсолютныхъ истинъ въ политической экономіи. Онъ былъ въ постоянной перепискѣ съ г-жой д'Эпине, которая за четверть вѣка передъ тѣмъ была благотворительницей Руссо, которая была въ дружбѣ съ Дидро и болѣе чѣмъ въ дружбѣ съ Гриммомъ. Она умерла въ 1783, и въ томъ же или въ слѣдующемъ году умерла дѣвица Боланъ, игравшая такую важную роль въ жизни Дидро. Такимъ образомъ большинство близкихъ его сердцу людей жило лишь въ его воспоминаніяхъ, и онъ утѣшалъ себя тѣмъ, что не долго переживетъ ихъ.

Казалось, что будто времена умственного возбужденія и филантропическихъ надеждъ достигли своего высшаго пункта, но на самомъ

¹⁾ Оенв., XIX, 317, 326.

²⁾ Оенв., VI, 442; здесь Дидро описываетъ этого интересного человека.

дѣлъ они уже отошли въ прошедшее. По словамъ Талейрана «тотъ, кто не жилъ раньше 1789 года, не въ состояніи понять, какъ можетъ быть пріятна жизнь». Старый міръ смѣялся своимъ послѣднимъ смѣхомъ надъ *Свадьбой Фигаро* (апрѣль 1784), но въ хохотѣ Фигаро есть какой то странный отзовѣкъ. Извѣ подъ его веселости, живости и удивительной наивности проглядываетъ что-то мрачное. Въ нихъ слышится что то похожее на угрозу. Дурачества Фигаро были ироническимъ подтвержденіемъ рѣзкихъ словъ Рэйналя, что «законъ ничего не значить, если нѣтъ меча занесенного надъ головами всѣхъ безъ исключенія и поражающаго всякаго, кто возвышается надъ горизонтальной площадью, по которой онъ движется».

Самого Дидро обвиняли въ томъ, что онъ разжигалъ звѣрскія страсти слѣдующимъ отвратительнымъ двустишіемъ:

*Et ses mains ourdiraient les entrailles du prêtre.
Au défaut d'un cordon pour étrangler les rois¹⁾.*

Утверждать, что эти стихи могли служить поощреніемъ для террористовъ, невозможно уже потому, что они не появились въ свѣтѣ до 1795 г. Сверхъ того, всякий кто прочтетъ сочиненіе, изъ кото-раго взяты приведенные строки, непремѣнно замѣтитъ, что оно все написано въ игривомъ фантастическомъ тонѣ и что самые стихи вложены ради драматического эффекта въ уста отъявленнаго Элеве-романа или человѣка помѣшавшагося на свободѣ²⁾). Дидро никакъ не могъ предвидѣть, что слова, написанныя имъ съ цѣллю иллюстрировать сумасбродство въ формѣ пиндарического диѳирамба, такъ скоро будутъ ошибочно приняты за сжатую формулу примѣнимой на практикѣ политической теоріи³⁾.

1) «Развѣ добродѣтельное и умѣренное предложеніе задушить послѣдняго іезуита въ объятіяхъ послѣдняго якесиниста могло содѣствовать примиренію мнѣній?» — Вольтеръ къ Гельвешю, 11 мая 1761.

2) *Les Eleuthéromanes, ou les Fugieux de la Liberté.* Оeuv., IX. 16;

3) Какъ велика была небрежность, съ которой писатели относились къ такѣй называемой школѣ отрицанія, видно изъ того факта, что даже такой добросовѣстный историкъ какъ Генри Мартенъ (*Hist. de France*, XVI. 146) приписывалъ Дидро въ числѣ многихъ другихъ вредныхъ положеній слѣдующее: «публичная казнь короля измѣняетъ духъ націи навсегда». Но эти слова встрѣчаются въ числѣ замѣтокъ о системѣ правлениія, которымъ Дидро писалъ на поляхъ своего экземпляра сочиненій Тацита и которыхъ носятъ заглавія *Principes de Politique des Souverains* (1775). Некоторые изъ самыхъ рѣзкихъ положеній очевидно высказаны съ цѣллю осенять военную и Маккіавелевскую политику Фридриха Великаго, между тѣмъ какъ замѣчанія насатительно политики римскихъ императоровъ остроумны и основательны. Мартенъ взялъ свою цитату изъ 147-го положенія, въ которомъ мрачные слова этой цитаты слѣдуютъ за слѣдующими мыслями: «*Пусть народъ никогда не видитъ, чтобы проливалась королевская кровь за какое бы то ни было дѣло. Публичная казнь короля*», и пр. См. Оeuv., II. 486.

Въ 1780 г. жители города Лангра оказали ему любезность, которая доказывала, что имя философа пользовалось почетомъ на его родинѣ. Его просили снять съ себя портретъ, который предполагалось поставить въ городской ратуши рядомъ съ другими замѣчательными людьми. Въ отвѣтъ на это Дидро послалъ сдѣланній Гудономъ бронзовый бюстъ, который и былъ принятъ со всѣми подобающими почестями. Изъ словъ Нажона видно, что въ послѣдніе годы своей жизни Дидро придавалъ деньги болѣе цѣны, чѣмъ когда либо прежде¹⁾, не потому что онъ обѣнялъ, а потому что, подобно многимъ другимъ людямъ, онъ только въ концѣ долгаго житейскаго опыта узнавъ, въ какой мѣрѣ деньги служать орудиемъ для того, чтобы усаждать послѣдніе годы жизни. Мы склонны сожалѣть о томъ, что въ своей чрезмѣрной заботливости о приведеніи въ порядокъ своихъ дѣлъ Дидро послушался разумшаго совѣта неблагоразумнаго Нажона—заняться тщательнымъ пересмотромъ всего, что было имъ написано. Но инстинктъ, которымъ руководствовался въ этомъ случаѣ Дидро, былъ вѣренъ. Среди свойственныхъ старости тревожныхъ думъ, онъ снова взялся за свое *Письмо о слѣпыхъ* и перечелъ его съ полнымъ безыристрастіемъ. Онъ, натурально, нашелъ нѣкоторые недостатки въ сочиненіи, написанномъ тридцать три года тому назадъ, но даже не попытался исправить ихъ изъ опасенія, что произведеніе молодаго человѣка можетъ пострадать отъ поправокъ старика. «Уже пришло то время»,—говоритъ онъ,—«когда опытность даетъ вамъ такие совѣты, основательность которыхъ вы сознаете, но слѣдовать которымъ у васъ уже нѣтъ силы. Это—малодушіе, происходящее отъ сознанія своей слабости, или скорѣе лѣнность, являющаяся однимъ изъ результатовъ слабости и малодушія и отталкивающая меня отъ такого труда, который вѣроятно скорѣе ухудшилъ бы, а не улучшилъ мое произведеніе.

*Solve senescentem mature sanus equum, ve
Pecset ad extremum ridendus et illa ducat.*

Вотъ почему онъ ограничился нѣсколькими необѣланнными замѣтками о такихъ фактахъ, которые могли служить подтвержденіемъ того, что онъ писалъ въ своей молодости²⁾.

Въ началѣ весны 1784 г. съ Дидро сдѣлялся болѣзnenный припадокъ, который онъ считалъ предвестникомъ близкаго конца. У него открылась водянная и онъ кое-какъ дотянулся до лѣта. Священникъ церкви св. Сюльпиція, находившейся въ самомъ центрѣ того квартала, где жили философы, навѣщалъ его по два и по три раза въ недѣлю, въ надеждѣ добиться отъ него хоть чего-нибудь

¹⁾ M  m. sur la Vie et les Ouvrages de Diderot, стр. 412.

²⁾ Corr. Lit. Гризма, XI. 120.

жаго на обращеніе въ христіанство. Дидро не поддерживалъ разговоръ о богословіи, но не уклонялся отъ нихъ, когда священникъ настаивалъ. Однажды, когда они пришли къ тому убѣждению, что они стоять на одной и той же почвѣ, въ томъ что касается нравственности и добрыхъ дѣлъ, священникъ рѣшился намекнуть на то, что еслибы онъ изложилъ письменно такія прекрасныя правила и присовокупилъ къ нимъ легкое отреченіе отъ своихъ прежнихъ сочиненій, это произвело бы на всѣхъ очень хорошее впечатлѣніе. «Я полагаю, что впечатлѣніе было бы хорошее, господинъ священникъ, но согласитесь съ тѣмъ, что я поступилъ бы какъ безстыдный лжецъ». Дѣло кончилось тѣмъ, что не было произнесено ни одного слова въ смыслѣ отреченія. Когда смерть наступила внезапно, священникъ увернулся отъ необходимости лишить его установленнаго церковью похороннаго обряда.

Въ теченіе тридцати лѣтъ Дидро постоянно жилъ въ одной и той же квартирѣ, въ верхнемъ этажѣ одного дома въ улицѣ Таранть и даже тогда, когда доктора объявили ему, что вабираясь на такую высокую лѣстницу онъ рискуетъ свою жизнью, его не могли склонить на переѣздъ въ другую квартиру. Его дочь говорила, что было бы легче склонить короля къ переѣзду изъ Версаліи. Въ концѣ концовъ Гриммъ обратился къ императрицѣ Екатеринѣ съ просьбой доставить помѣщеніе ей библіотекарю, а когда эта просьба была уважена, Дидро согласился на переѣздъ съ своего чердака въ роскошныя комнаты въ улицѣ Ришельё. Онъ не пользовался ими и двухъ недѣль. Хотя онъ замѣтнымъ образомъ слабѣлъ съ каждымъ днемъ, онъ дѣлая все что могъ, чтобы поддерживать бодрость въ окружающихъ и старался развлекать и себя и другихъ гѣмъ, что приводилъ въ порядокъ свои картины и книги. До самой своей смерти онъ находилъ въ себѣ достаточно силъ, чтобы бесѣдовать о наукахъ и философіи съ друзьями, которые съ обычной жадностью ловили послѣдніе проблески его плодотворнаго ума. Въ послѣдней бесѣдѣ, которую слышала его дочь, его послѣдними словами былъ рѣзкий афоризмъ, что *первый шагъ къ философии есть невѣrie*.

Вечеромъ 13-го июля 1784 г. онъ сѣлъ за столъ и послѣ обѣда взялъ абрикосъ. Его жена съ нѣжной заботливостью старалась удержать его. *Mais que le diable de mal venu qui que sera me fasse?* — сказалъ онъ и сѣлъ абрикосъ. Затѣмъ онъ облокотился на столъ, занимаясь стоявшими на немъ конфектами. Его жена обратилась къ нему съ какимъ-то вопросомъ; не получая отвѣта, она взглянула на него и увидѣла, что онъ мертвъ. Онъ умеръ такъ, какъ по словамъ одного греческаго поэта люди умирали въ золотомъ вѣкѣ — имъ точно будто овладѣлъ сонъ. Онъ всегда былъ того мнѣнія, что вскрытие мертвыхъ очень полезно на

практике, и потому его желание, чтобы подобная операция была совершена надъ его собственнымъ трупомъ, было исполнено. При этомъ не было открыто ничего интереснаго или достойнаго внимания и его останки были похоронены въ склепѣ церкви Сенъ-Рошъ.

Такимъ то образомъ спустился занавѣсъ надъ странной трагикомедіей литератора. Лучшимъ къ ней эпилогомъ могутъ служить его собственные слова:—«Мы останавливаемъ наши взоры на развалинахъ тріумфальной арки, портика, пирамиды, храма, дворца и переносимся мыслю къ самимъ себѣ. Все уничтожается, все погибаетъ, все проходитъ. Остается въ живыхъ только одна вселенная; не прекращается только одно время. Я вращаюсь между двумя вѣчностями. Въ какую бы сторону я ни обратилъ мои взоры, предметы меня окружающіе говорятъ мнѣ о смерти и научаютъ меня примиряться съ мыслю о моей собственной смерти. Что значитъ мое кратковременное существование въ сравненіи съ существованіемъ распадающагося на мелкіе куски утеса и приходящаго въ гніеніе лѣса? Я вижу, какъ надгробный мраморный памятникъ превращается въ прахъ, а я все таки не могу примириться съ мыслю, что я долженъ умереть! Развѣ слабую ткань изъ волокна и мяса я въ состояніи изыять изъ общаго закона, немилосердно исполняющаго даже надъ твердыми металлами!»

ГЛАВА XVII.

Заключение.

Мы должны удълить еще нѣсколько страницъ нѣкоторымъ изъ произведеній Дидро, о которыхъ намъ до сихъ поръ не приходилось упоминать. Мы вовсе не имѣемъ въ виду полнаго обзора всѣхъ его сочиненій, и полагаемъ, что дѣлать критический разборъ всѣхъ ихъ значило бы тратить свое время на неблагодарную работу. Одинъ только списокъ темъ, на которыя онъ писалъ, наполнилъ бы длинную главу. Никакой критикъ, менѣе самого Дидро способный на всѣ руки и менѣе его одаренный энциклопедическимъ умомъ, не быльбы въ состояніи сдѣлать даже поверхностного разбора такихъ многообразныхъ литературныхъ произведеній, въ числѣ которыхъ встрѣчаются и длинный трактатъ о гармоніи, и многоразличныя замѣтки о начальныхъ основаніяхъ физіологии, и собраніе различныхъ статей о драмѣ, и еще болѣе обширное собраніе различныхъ статей о сотнѣ вопросовъ, касающихся литературы и искусства, и отрывочная статья о воспитаніи русского юношества, и тщательно обработанный планъ занятій для будущаго русскаго университета. Каждый критикъ найдетъ что нибудь сказать касательно собранія новѣстей, въ которыхъ Дидро пытался осмѣять нравы своего времени на манеръ Рабелэ, Монтэня, Ла-Мотть-ле-Вейэ и Свифта; но не каждый въ состояніи сдѣлать разборъ, напримѣръ, тѣхъ пяти мемуаровъ о различныхъ математическихъ предметахъ, (1748) съ помощью которыхъ Дидро надѣялся заглушить скандальное впечатлѣніе, которое было произведено его предшествовавшимъ произведеніемъ.

I.

Между всѣми сочиненіями Дидро, о которыхъ мы еще не имѣли случая упоминать, безспорно самое замѣчательное—*Pensées sur*

L'interprétation de la nature (1754). Понятно, что изучение Бэкона и составление вступительного обозрения Энциклопедии должны были наполнить умъ Дидро идеями о вселенной, какъ о чёмъ то цѣломъ. Великая проблема изученія этой вселенной,—то есть предѣлы, способы и результаты такого изученія,—представлялась его уму съ такой настойчивостью, что онъ не былъ въ состояніи отѣлиться отъ нея. Монпертю издалъ въ 1751 г., подъ вымышленнымъ именемъ доктора Эрлангенского университета Баумана, разсужденіе о *Всебицкой Системѣ Природы*, въ которомъ онъ старался доказать, что механизмъ вселенной всегда одинъ и тотъ-же, и что или онъ самъ видоизмѣняется до бесконечности разнообразными путями, или же его видоизмѣняютъ находящіеся въ немъ самомъ жизненные элементы¹⁾). Знаменитая идея Лейбница, принимавшаго, что работа природы идетъ неизмѣнно съ наименьшей затратой двигательной силы, была усвоена Монпертю, выражена имъ въ формѣ *Закона о сбереженіи силы* (*Loi d'Ergonomie*) и сдѣлалась исходной точкой умозрѣній, прямо приведшихъ къ Гольбауху и къ *Системѣ Природы*²⁾). *Loi d'Ergonomie* очевидно клонилась къ тому, чтобы сдѣлать изъ единства всѣхъ силъ вселенной руководство или точку отправленія для философскихъ изслѣдований. Въ эту пору своей жизни Дидро не соглашался съ теоріей Монпертю о единствѣ жизненной силы вселенной; или,—вѣрѣть сказать,—онъ видѣлъ въ какой мѣрѣ она доступна критикѣ, хотя его неодобреніе и не выражалось въ обычномъ для него тонѣ пылкаго убѣжденія. Какъ бы то ни было, но эта теорія заинтересовала его; она подходила къ разряду тѣхъ умозрѣній, которые уже возникли въ его умѣ вслѣдствіе помысловъ объ изданіи Энциклопедіи и для которыхъ написанный въ 1746 г. *Pensées Philosophiques* служили незримой премюдіей.

Pensées sur l'interprétation de la nature были, какъ по своей формѣ такъ и по заглавию подражаніемъ тѣмъ знаменитымъ *Aphorismi de Interpretatione Naturae et Regni Hominis*, которые всякому известны подъ болѣе краткимъ названіемъ Бэкона *Noctum Organum*.³⁾ У Дидро афоризмы находятся въ очень слабой связи между собою. Онъ началь съ предувѣдомленія, что его мысли будутъ выходить изъ-подъ

1) Болѣе точное понятие о темѣ, которую развивалъ Монпертю, можно получить изъ сочиненія *Ланге. Gesch. d. Materialismus*, I, 413, прим. 37. См. также Розенкранца, I, 134.

2) Въ 1765 г. Гримъ говорилъ объ основномъ положеніи Лейбница и Монпертю; «оно со всѣхъ сторонъ располагаетъ часть въ свою пользу». — Согр. *Litt.*, IV, 186.

3) Палиссо сильно опиралъ въ своей комедіи *Философы* на пылкое напыщенное введеніе къ *Interprétation de la Nature*. Актъ II, сц. II.

его пера одна вслѣдъ за другой въ томъ же порядкѣ, въ какомъ онъ возникали въ его умѣ, и онъ сдержалъ свое слово. Стараясь выразить общую цѣль этихъ афоризмовъ въ возможно-сжатомъ видѣ, мы скажемъ, что они имѣли въ виду примирить два главныхъ разряда, на которые Дидро дѣлилъ тѣхъ, кто размышляетъ о природѣ,—а именно примирить тѣхъ, у кого много орудій, но мало идей съ тѣми, у кого мало орудій, но много идей,—другими словами примирить людей науки, неимѣющихъ философіи, съ философами, которые не знакомы съ науками, основанными на опытѣ.

Въ сферѣ самой науки Дидро предвидѣть столь же большую перемѣну, какъ и въ отношеніяхъ между наукой и философіей. «Мы приближаемся къ моменту огромнаго переворота въ наукахъ. Видя какъ сильно въ человѣческихъ умахъ влеченіе къ морали, литературѣ, исторіи природы и опытной физикѣ, я готовъ утверждать, что прежде чѣмъ пройдетъ еще лѣтъ сто, во всей Европѣ не найдется даже трехъ великихъ геометровъ. Эта наука остановится на томъ пункѣ, на которомъ оставили ее Бернульи, Эйлерсъ, Монперти, Клэръ, Фонтэнъ, д'Аламберъ и Лагранжъ. Эти люди образуютъ собою столпы Геркулеса. Далѣе ихъ никто не пойдетъ.» Кто читалъ гнѣвные нападки Конта на извращеніе геометріи посредствомъ алгебры и на безполезную трату умственныхъ силъ въ анализахъ нашего времени¹⁾, тотъ пойметъ, какимъ образомъ могло возникнуть у Дидро такое убѣжденіе. И вѣроятно никто не будетъ отрицать того, что все равно были или не были окончательно поставлены лѣтъ сто тому назадъ столпы геометрическаго Геркулеса, великия открытія, совершившіяся въ теченіи ста лѣтъ послѣ смерти Дидро, были сдѣланы, согласно съ его предсказаніемъ, именно въ высшихъ наукахъ. Великимъ несчастіемъ для Франціи было то, что преображеніе геометріи совпало съ началомъ великой эры политическихъ споровъ. Одинъ писатель утверждалъ, что въ знаменитой книгѣ Монтескье, положившей начало для такихъ споровъ въ литературѣ, опредѣленія были сдѣланы скорѣе рукою геометра, чѣмъ рукою юрисконсультата²⁾. Въ ту пору обращались съ соціальными истинами, не смотря на ихъ чрезвычайную сложность, точно такъ же какъ съ положеніями Евклида, а логические выводы изъ произвольныхъ посылокъ принимались за точное выраженіе реальныхъ фактovъ. Низведеніе геометріи до подобающаго ей мѣста произошло слишкомъ поздно.

Контъ всегда отдавалъ полную справедливость гению Дидро, и всякий, кто читалъ мнѣнія Конта о необходимости субъективнаго

¹⁾ Система положительной политики Конта, I. 380 и пр.

²⁾ Ф. Склюпісъ, извѣніе котораго цитируется Ваномъ въ его Hist. de Montesquieu, стр. 51.

синтезиса усмотрить зародышъ этой теоріи въ слѣдующемъ замѣчательномъ отрывкѣ, вышедшемъ изъ подъ пера Дидро:

„Если мы сравнимъ безконечное множество явлений природы съ ограниченностью нашего ума и съ слабостью нашихъ органовъ, развѣ мы въ правѣ будемъ ожидать отъ медленности нашихъ работъ, отъ ихъ продолжительныхъ и частыхъ перерывовъ и отъ рѣдкости творческихъ геніевъ чего либо кроме немногихъ обрывковъ, оторванныхъ отъ великой цѣпи, соединяющей всѣ предметы?... Если бы экспериментальная философія работала сотни столѣтій, собранные ею материалы въ концѣ концовъ достигли бы такого числа, которое недоступно нашему соображенію, но все таки они были бы далеки отъ полноты. Если бы всѣ явленія были намъ известны, сколько потребовалось бы томовъ, чтобы вмѣстить въ нихъ одни только термины, которыми мы стали бы обозначать различные группы явлений? Когда философскій языкъ будетъ полонъ? А если бы онъ былъ полонъ, какой человѣкъ былъ бы въ состояніи изучить его? Если бы Предвѣчный, пожелавъ проявить свое всемогущество еще болѣе очевиднымъ образомъ чѣмъ чудесами природы, изложилъ бы механизмъ вселенной на листахъ, исписанныхъ его собственной рукой, неужели вы думаете, что эта великая книга была бы болѣе доступна для нашего пониманія, чѣмъ сама вселенная? Сколькія изъ ея страницъ были бы понятны для того философа, который при всей силѣ своего природнаго ума, не былъ увѣренъ даже въ томъ, что онъ понялъ всѣ выводы, путемъ которыхъ одинъ древній геометръ опредѣлилъ отношеніе сферы къ цилинду? Въ этихъ листахъ мы нашли бы довольно хорошее мѣрило того, какъ великъ объемъ человѣческаго ума и еще болѣе хорошую сатирикъ яа наше тщеславіе. Тогда мы могли бы сказать: Ферма дошелъ до такой то страницы, а Архимедъ зашелъ въ сколькими страницами далѣ.

„Какая же наша цѣль? Исполненіе такой работы, которая никогда не можетъ быть доведена до конца и которая была бы гораздо выше человѣческой интелигенціи, если бы она была доведена до конца. Развѣ мы не болѣе безразсудны, чѣмъ первые обитатели Сеннаарской равнинѣ? Намъ известно, что разстояніе между землей и небесами безконечно, а мы все таки не перестаемъ строить нашу башню.

„Но можно ли предположить, что наконецъ настанетъ такое время, когда наша гордость, утративъ надежду на усилѣхъ, откажется отъ такой работы? Развѣ есть какое либо основаніе думать, что эта гордость, чувствуя тѣсноту своего помѣщенія и неудобства жизни на землѣ, будетъ упорно продолжать виѣ земной атмосферы постройку такого дворца, въ которомъ нельзѧ жить? Если бы она упорно продолжала эту работу, развѣ она не встрѣтила бы препятствія въ смышеніи языковъ, которое и безъ того уже слишкомъ ощутительно и слишкомъ неудобно для насъ при изученії на-

туральной истории? Сверхъ того полезность опредѣляетъ всему границы. Черезъ нѣсколько столѣтій полезность будетъ опредѣлять границы, экспериментальной физики, точно такъ какъ она уже начинаетъ опредѣлять границы геометріи. Я полагаю, что пройдетъ нѣсколько вѣковъ въ такомъ изученіи, потому что сфера его полезности несравненно болѣе обширина, чѣмъ сфера полезности какой либо отвлеченнной науки, и потому что она безспорно служить основой для нашихъ истинныхъ знаній.”¹⁾

Послѣ этого мы не можемъ удивляться тому, что Конть, составляя списокъ ста пятидесяти томовъ, изъ которыхъ должна по его мнѣнію состоять въ девятнадцатомъ столѣтіи библіотека настоящаго позитивиста, помѣстилъ *L'Intégration de la Nature* такъ, что рядомъ съ этимъ сочиненіемъ значились съ одной стороны Декартово *Разсужденіе о Методѣ*, а съ другой Бэконовъ *Novum Organon*.

То-же настроеніе ума сказалось еще съ большею силою и съ большею выразительностью въ слѣдующемъ позднѣйшемъ афоризмѣ: — «Такъ какъ разумъ не въ состояніи все понимать, воображеніе не въ состояніи все предвидѣть, чувства не въ состояніи все подмѣтить, а память не въ состояніи все удержать; такъ какъ великие люди рождаются послѣ длинныхъ промежутковъ времени, а развитіе научныхъ познаній такъ часто прерывается революціями, что цѣлые вѣка умственной работы тратятся на то, чтобы снова приобрѣсть познанія предшествовавшихъ столѣтій,—то дѣлать наблюденія безъ всякаго разбора надъ всѣмъ, что представляется природой, значитъ не исполнять своеї обязанности передъ человѣческимъ родомъ. Люди, которые по своимъ способностямъ стоятъ выше обыкновенцаго уровня, должны тратить свое время такъ, какъ этого требуетъ уваженіе къ самимъ себѣ и къ потомству. Что подумало бы о насъ потомство, если бы мы не завѣщали ему ничего кроме полной инсектологіи, кроме обширной истории микроскопическихъ животныхъ? Нѣтъ,— для великихъ умовъ великие предметы, для мелкихъ умовъ мелкие предметы» (§ 54).

Предостерегая такимъ образомъ изслѣдователей отъ угрожающей имъ опасности, Лидро вѣстѣ съ тѣмъ, сознавать пользу настойчивыхъ и безграницыхъ экспериментовъ. «Когда вы создали въ вашемъ умѣ»,— говоритъ онъ,—«какую нибудь изъ такихъ системъ, которые требуютъ пропрѣки путемъ опыта, вы не должны ни держаться за нее съ упорствомъ, ни отказываться отъ нея безъ серьезныхъ на то основаній. Случается, что мы считаемъ наши предположенія неосновательными только потому, что мы не принадлежимъ

¹⁾ Оепу., II. 12, 13, § 6. Касательно выражения той же самой идеи въ Энциклопедіи—см. выше стр. 156 и 157.

жащихъ мѣръ для того, чтобы убѣдиться въ ихъ правильности. Упорство представляетъ даже менѣе невыгодъ, чѣмъ противоположная крайность. Если увеличивая число экспериментовъ вы и не найдете того, что вамъ нужно, вы можете быть попадете на что нибудь лучшее. Время, потраченное на допрашиваніе природы, никогда не бываетъ совершенно потеряннымъ» (§ 42). Читатель, конечно, не оставитъ безъ вниманія того обстоятельства, что это правило ограничивается условіемъ провѣрки. Ни о какой системѣ, находящейся въ связи съ *Объясненіемъ Природы*, Дидро не сталъ бы говорить, если бы нельзя было провѣрить ее на опыте.

Однако все это не помѣшало ему высказывать гипотезы и предсказанія, основательность которыхъ самъ онъ не былъ въ состояніи доказать. Такъ напримѣръ онъ утверждалъ, что точно такъ какъ въ математикѣ изслѣдованіе всѣхъ свойствъ кривой линіи приводить настъ къ тому убѣжденію, что всѣ эти свойства суть одно и тоже свойство, представляющееся въ различныхъ видахъ.—и при изученіи природы, когда экспериментальная физика достигнетъ большаго развитія, люди убѣдятся, что всѣ явленія,—будь это явленія тяжести, эластичности, магнетизма или электричества, суть не болѣе какъ различные стороны одного и того же свойства (§ 44). Но онъ удовольствовался тѣмъ, что завѣщаѣтъ эту мысль потомству и не попытался возводить новое зданіе на такихъ основахъ, которыя не подкреплены доказательствами.

Благодаря тому же научному направлению своего ума онъ понялъ пустоту всякой системы касательно *Конечныхъ Причинъ*.

Докторъ, профессія котораго заключается въ томъ, чтобы предписывать, а не въ томъ, чтобы что либо воздвигать, откажется отъ слова *почему* и будетъ заниматься лишь словомъ *какъ...* Сколько нелѣпыхъ идей, ложныхъ предположеній и химерическихъ понятій въ тѣхъ гимнахъ, которые сочинались въ честь Создателя нѣкоторыми слѣпыми поборниками конечныхъ причинъ? Вмѣсто того, чтобы раздѣлять восторженное удивленіе пророка, и восклицать при видѣ безчисленныхъ звѣздъ, освѣщающихъ ночью небеса, *C a e l i e n a g r a n t g l o r i a m D e i*, они увлеклись суевѣріемъ своихъ догадокъ. Вмѣсто того, чтобы боготоворить Всевышняго въ самыхъ твореніяхъ природы, они стали падать лицъ передъ призраками своей собственной фантазіи. Если кто нибудь, повинуясь голосу предразсудковъ, усомнится въ основательности моего упрека, я попрошу его сравнить трактать, написанный Галеномъ касательно пользованія различными частями человѣческаго тѣла, съ физіологіей Бѣргаава, а физіологію Бѣргаава съ физіологіей Галлера; я приглашаю потомство сравнять заключающіеся въ произведеніи Галлера систематические или преходящіе взгляды съ тѣмъ, чѣмъ сдѣлается физіология въ будущемъ. Человѣкъ ради своихъ собственныхъ уз-

кихъ цѣлей превозносить Превѣчнаго, а Превѣчный, слушая его съ высоты своего престола, и имѣя въ виду свою собственную цѣль, принимаетъ его нелѣпия похвалы и смеется надъ его тщеславiemъ (§ 56).

Со временемъ Дидро міръ быстро подвинулся впередъ по этому пути и мимоходомъ открылъ не мало новыхъ истинъ, существованія которыхъ Дидро даже не подозрѣвалъ. Но движение впередъ было, какъ кажется, менѣе удовлетворительно въ томъ, что касается развиція научнымъ путемъ той философіи, которая заключается въ слѣдующемъ примѣненіи идеи Лейбница и Мопертою о законѣ сбереженія, присущаго природнымъ силамъ: — «Наше удивленіе нерѣдко происходитъ отъ того, что мы предполагаемъ существованіе различныхъ чудесъ тамъ, где на самомъ дѣлѣ есть только одно чудо, — отъ того, что мы воображаемъ, будто натура совершила столько же отдѣльныхъ актовъ, сколько мы въ состояніи насчитать явлений, тогда какъ *натура на самомъ дѣлѣ вѣроятно никогда не совершала болѣе одного акта*. Намъ даже кажется, что еслибы натура необходимо должна была совершать различные акты, то многообразные результаты этихъ актовъ были бы изолированы одинъ отъ другаго; тогда возникли бы накопленія феноменовъ независимыхъ одни отъ другихъ, а общая связь между ними, считаемая философіей за непрерывную, была бы разорвана въ нѣсколькихъ мѣстахъ. *Абсолютная самостоятельность единичного факта несовмѣстима съ понятіемъ о всеобъемлющемъ цѣломъ, а безъ понятія о цѣломъ не можетъ быть философіи*» (§ 11).

Въ заключеніе Дидро ставить рядъ вопросовъ, которые, по его мнѣнію, можетъ быть, будуть признаны философами за достойные обсужденія. Напримѣръ, какая разница между живой матеріей и мертввой? Измѣняется ли энергія живой частицы сама собою или же сообразно съ количествомъ, качествомъ и формами мертввой или живой матеріи, съ которой она соединена? Мы не находимъ надобности продолжать перечисленіе этихъ вопросовъ, потому что самъ Дидро внезапно прерываетъ ихъ по истинѣ удивительнымъ выраженіемъ этого мнѣнія, что они не достойны вниманія серьезныхъ людей, способныхъ понимать, чѣмъ отличается благоразумное и плодотворное пользованіе интеллигенцией отъ нелѣпаго и бесполезнаго злоупотребленія ею. «Когда я обращаю взоры», — говоритъ онъ, — «на творенія людей, и вижу со всѣхъ сторонъ, что выстроены города, что всѣ элементы подчинены намъ для нашей пользы, что развились языки, что націи стали цивилизованными, что построены гавани, что измѣрены земля и небеса, — тогда міръ кажется мнѣ очень старымъ. Когда же я замѣчу, что человѣкъ не твердъ въ томъ, что ка-

сается первыхъ основныхъ правилъ медицины и земледѣлія, свойствъ самыхъ обыкновенныхъ веществъ, знакомства съ поражающими его недугами, обрѣзанія древесныхъ вѣтвей и лучшихъ формъ для сохи, мнѣ кажется, будто люди живутъ на землѣ только со вчерашняго дня. Если бы люди были благоразумны, они наконецъ стали бы заниматься такими изслѣдованіями, которыхъ могутъ имѣть влияніе на ихъ благосостояніе и стали бы задавать себѣ трудъ отвѣтывать на мои пустые вопросы никакъ не прежде, чѣмъ лѣтъ черезъ тысячу; даже очень вѣроятно, что вслѣдствіе незначительности того мѣста, которое эти вопросы занимаютъ въ пространствѣ и во времени, они никогда не удостоили бы ихъ какимъ либо отвѣтомъ».

II.

Въ 1769 г. Дидро написалъ три діалога, о которыхъ онъ говорилъ, что вмѣстѣ съ его замѣтками о математикѣ это единственная его произведенія, которыми онъ доволенъ. Первый изъ этихъ діалоговъ есть разговоръ между нимъ и д'Аламбера (*Entretien entre d'Alembert et Diderot*); второй носитъ заглавіе—*Сонъ д'Аламбера* (*Le rêve de d'Alembert*); здѣсь д'Аламбера продолжаетъ во снѣ начатый разговоръ, въ то время какъ сидящая у его кровати дѣвица Леспинассъ записываетъ его слова; въ третьемъ діалогѣ дѣвица Леспинассъ и знаменитый докторъ Бордѣ завершаютъ обмѣнъ мыслей по данному предмету.¹⁾ Дидро говорилъ дѣвицѣ Воланѣ, что невозможно быть болѣе глубоко-мысленнымъ и болѣе безумнымъ, чѣмъ авторъ этихъ діалоговъ, и что они въ высшей степени сумасбродны, но вмѣстѣ съ тѣмъ заключаютъ въ себѣ самую глубокую философію. Онъ поздравляетъ самъ себя съ тѣмъ, что ему пришла счастливая мысль вложить свои идеи въ уста человѣка, погруженного въ сновидѣнія,—потому что мы не рѣдко принуждены придавать мудрости вѣнчаній видъ безразсудства, если хотимъ чтобы она встрѣтила сочувствіе. Но дѣвица Леспинассъ была другаго мнѣнія. Она заставила д'Аламбера настоять на томъ, чтобы этотъ діалогъ былъ уничтоженъ и Дидро оставался при томъ убѣжденіи, что онъ сжегъ единственный экземпляръ діалога. Въ дѣйствительности же рукопись была впервые издана въ 1830 г., когда все тѣ, кого она затрогивала, давно уже обратились въ прахъ. Тамъ есть пять или шесть страницъ, говоритъ Дидро дѣвидѣ Воланѣ, отъ которыхъ у вашей сестры встали бы дыбомъ волосы. Но можно быть гораздо менѣе щепетильнымъ, чѣмъ сестра дѣвицы Воланѣ, и все таки находить, что фантастической вымыселъ, носящій заглавіе *Сонъ д'Аламбера*, равно

¹⁾ О е и в., II.

какъ діалогъ, служацій ему продолженіемъ, такъ-же отвратительны, какъ причудливыя выходки неблагопристойнаго Діогена въ его бочкѣ. Мы считаемъ нужнымъ сдѣлать два замѣчанія касательно этого странного произведения. Во первыхъ, Дидро не предназначалъ эти діалоги для читающей публики. Онъ бытъ бы возмущенъ не менѣе самого парижскаго архіепископа, еслибы онъ могъ предположить, что они сдѣлаются доступными для всякаго, кто умѣеть читать. Во вторыхъ, хотя по своей формѣ, они представляютъ самое уродливое и самое отталкивающее изъ всѣхъ произведеній философической литературы, они свидѣтельствуютъ объ искренности, съ которой Дидро увлекался своимъ сюжетомъ. Наука по существу своему не знаетъ ни пощады, ни стыда, а въ *Силь д'Аламбера* авторъ вдавался именно въ тотъ отдѣль физіологии, который всего менѣе пригоденъ для литературной обработки. Попытка автора придать различнымъ направленіямъ человѣческаго организма внешній видъ чего то забавнаго заслуживаетъ рѣшительнаго порицанія, не смотря на то, что Дидро проводить свою мысль съ проницательностью и силой искуснаго діалектика.

Въ книгѣ, которая не предназначена исключительно для однихъ ученыхъ, нѣть возможности сдѣлать полный обзоръ этихъ трехъ діалоговъ. Но намъ необходимо нужно изложить ихъ основную мысль, такъ какъ именно въ нихъ Дидро является рѣшительно материалистомъ. Дидро не былъ ни въ какомъ смыслѣ слова творцемъ французскаго материализма восемнадцатаго столѣтія. Его предшественниками въ этомъ дѣлѣ были Мопертюи, Робинэ и Ла-Меттри, и мы уже имѣли случай замѣтить, что когда онъ писалъ *Мысли касательно объясненія природы* (1754), онъ не вполнѣ принималъ материалистический тезисъ Мопертюи. Ланге доказалъ, что въ самый ранній періодъ этого движенія умовъ уже успѣло выработаться самый зрѣлый материализмъ, между тѣмъ какъ такие вожаки движения какъ Вольтеръ и Дидро еще склонялись или къ деизму или къ чему то похожему на смѣсь деизма съ скептицизмомъ¹⁾). А философія въ *Силь д'Аламбера* достаточно определенна и одинаково далека и отъ деизма и отъ скептицизма.

„Мыслящій человѣкъ похожъ на музикальный инструментъ. Представьте себѣ, что у клавикордовъ есть чувствительность и есть память, и скажите мнѣ, развѣ они не будутъ сами собою повторять тѣ арии, которые вы исполняли на ихъ клавишахъ. Мы—инструменты, одаренные чувствительностью и памятью. Наши чувства тоже что клавиши, на которыхъ играетъ окружающая нась природа и которые нерѣдко приводятъ въ движение одни другихъ; вотъ,

¹⁾) *Gesch. d. Materialismus*, I. 309—10, и пр.

по моему мнѣнію, все, что происходит въ клавикордахъ, организованныхъ такъ какъ организованы вы и я.

„Есть только одна субстанція въ мірѣ. Мраморъ статуй можетъ быть обращенъ въ человѣческое тѣло и обратно. Обратите кусокъ мрамора въ мельчайшій порошокъ, смѣшайте этотъ порошокъ съ черноземомъ или съ землей, годной для растительности; хорошоенько разотрите ихъ вмѣстѣ, налейте на эту смѣсь воды и оставьте ее гнить годъ, два года или цѣлый вѣкъ,—тутъ время ничего не значить. Отсюда возникнетъ растеніе, которое будетъ питать человѣка и такимъ образомъ произойдетъ превращеніе мрамора въ человѣческое тѣло.

„Видите-ли вы это яйце? съ помощью его можно ниспрoverгнуть всѣ богословскія школы и всѣ храмы на землѣ. Это безчувственная масса, пока не будетъ введенъ туда зародышъ жизни, а послѣ того какъ будетъ введенъ туда зародышъ, это все еще будетъ безчувственная масса, такъ какъ зародышъ самъ по себѣ есть ничто иное какъ неспособная ни къ какой дѣятельности жидкость. Какимъ образомъ эта масса перейдетъ къ иной организаціи, къ чувствительности, къ жизни? По средствомъ теплоты. А что произведетъ теплота? Движеніе. Какіе будутъ послѣдовательные результаты движенія? Сначала это будетъ точка, едва движущаяся, потомъ образуется волокно, которое расширяется, потомъ тѣло,—нось и т. д.“

Затѣмъ слѣдуетъ примѣненіе тѣхъ же идей къ воспроизведенію людей,—но это такая сфера, въ которую мы не считаемъ умѣстнымъ проникать вслѣдъ за физіологическимъ изслѣдователемъ. Говоря о превращеніи органической субстанціи въ человѣка, Дидро приходилъ къ результату столь же рѣшительному, какъ и Бюхнеровскій матеріализмъ.

„Но скажите-же мнѣ докторъ, восклицаетъ лѣвица Леспинассъ, что становится съ порокомъ и добродѣтелью,—что становится съ словомъ добродѣтель, которое считается священнымъ на всѣхъ языкахъ, что становится съ идеей о добродѣтели, которая священна у всѣхъ народовъ?

Бордѣ. Надо замѣнить ихъ словами *добroe дѣло* и противоположными имъ словами *дурное дѣло*. Всякій рождается съ хорошими или съ дурными задатками, всякий неудержанно увлекается общимъ по-токомъ, который влечетъ однихъ къ славѣ, а другихъ къ позору.

Лѣвица Леспинассъ. А самоуваженіе, а стыдъ, а угрозеній совѣсти?

Бордѣ. Это—мелочность, основанная на невѣжествѣ и тщеславіи существа, которое ставить себѣ въ заслугу или въ вину то, что было результатомъ необходимости.

Лѣвица Леспинассъ. А награды и наказанія?

Бордѣ. Это—средства для исправленія измѣнившаго существа,

которое называют злымъ человѣкомъ и для поощренія тѣхъ, кого называют добрыми людьми¹⁾.

Третій діалогъ мы должны отложить въ сторону. Тотъ фактъ, что немецкія книги пишутся для публики состоящей изъ специалистовъ, далъ Розенкранцу возможность разобрать эти діалоги съ такой же нестѣсненностью, съ какой писалъ ихъ самъ Дидро, и его критика по обыкновенію отличается умѣренностью, терпѣніемъ и солидностью. Но англійскій писатель вынужденъ обходить многое молчаніемъ и въ настоящемъ случаѣ онъ дѣлаетъ это тѣмъ охотнѣе, что сюжетъ третьаго діалога принадлежитъ къ разряду такихъ, о которыхъ очень трудно сказать дѣльное слово.

III.

Планъ Университета для русскаго правительства (*Plan d'une Université pour le gouvernement de Russie ou d'une éducation publique dans toutes les sciences*) былъ дѣломъ послѣднихъ лѣтъ жизни Дидро, но ни одинъ экземпляръ этого произведенія не былъ выпущенъ въ свѣтъ до 1813—14 года, когда Гизо издалъ извлечения изъ оригиналной рукописи Дидро, переданной ему Сюардомъ. Руководствуясь тѣмъ уваженiemъ къ чужой компетентности, которое въ людяхъ съ его умомъ и его искренностью никогда не соединяется съ себѧлюбиемъ, Дидро началъ съ того, что сталъ убѣждать императрицу обратиться за советами къ лейпцигскому ученому Эрнести, который извѣстенъ какъ издатель сочиненій Цицерона и былъ въ свое время (1707—1781) не менѣе извѣстенъ тѣми перемѣнами, которыя онъ ввелъ въ систему обученія въ немецкихъ университетахъ. А объ Оксфордскомъ и Кэмбриджскомъ университетахъ Дидро отзывался съ большою снисходительностью, чѣмъ какой они заслуживали въ то время.

Самая выдающаяся идея въ этомъ Планѣ была именно такая, какой можно было ожидать отъ издателя Энциклопедіи; Дидро хотѣлъ поставить на первомъ мѣстѣ то, что немцы называютъ реальнымъ или техническимъ образованіемъ и перевести чистую литературу какъ предметъ изученія съ первого мѣста въ учебномъ курсѣ на послѣднее. На факультетѣ искусствъ нисшій курсъ преподаванія долженъ быть начинаться съ ариѳметики, алгебры и геометріи. Затѣмъ слѣдуютъ физика и механика; потомъ—астрономія; на четвертомъ курсѣ натуральная исторія и опытная физика; на пятомъ—химія и анатомія, на шестомъ—логика и грамматика, на седьмомъ—отечественный языкъ. Не прежде какъ въ восьмомъ классѣ греческій и латинскій языки, краснорѣчіе и поэзія входили

¹⁾ О е н ., II. 176.

въ число предметовъ или средствъ образованія. Параллельно съ этимъ ходомъ занятій студенты должны были изучать основныя правила метафизики, всеобщей нравственности и религіи какъ натуральной такъ и основанной на откровенії. Здѣсь же удѣлялось мѣсто для исторіи и географіи. Въ третьемъ параллельномъ курсѣ изученіе перспективы и живописи должно было сопровождать изученіе первой изъ этихъ двухъ наукъ, а также изученіе философіи и исторіи второй изъ нихъ.

Касательно тернистаго вопроса о религіозномъ образованіи Дидро не высказываетъ своего собственного мнѣнія, а ограничивается выражениемъ той мысли, что подданные императрицы натурально будутъ сообразоваться съ ея взглядомъ на этотъ предметъ. Такъ какъ ея величество полагаетъ, что страхъ наказаній въ будущей жизни имѣеть большое вліяніе на человѣческіе поступки, и такъ какъ она убѣждена, что сумма мелкихъ ежедневныхъ выгодъ, доставляемыхъ вѣрой, превосходить сумму золъ, порождаемыхъ расколами и религіозной нетерпимостью, то студентовъ слѣдуетъ обучать тайнѣ различія между двумя субстанціями, бессмертію души и т. д.¹⁾.

Рассказываютъ, что находясь однажды вечеромъ у императрицы, Дидро съ бурнымъ краснорѣчіемъ изобличалъ низость тѣхъ, кто льстить королямъ; для такихъ людей, сказаль онъ, долженъ бы быть существовать болѣе мрачный и болѣе страшный адъ. «Скажите мнѣ, Дидро», — прервала его императрица, — «что говорять въ Парижѣ о смерти моего мужа». Вмѣсто того, чтобы сказать ей всю правду, философъ сталъ разсыпаться въ самыхъ сладкихъ любезностяхъ. «Признайтесь же», — сказала ему Екатерина, — «что если вы неайдете по тому самому пути, который ведетъ къ вашему мрачному аду, то вы, конечно, очень не далеко отъ чистилища».

Такъ какъ намъ не разъ приходилось укорять Дидро въ чрезмѣрномъ многословіи, то не лишнимъ будетъ замѣтить, что одно мѣсто въ *Планѣ*, о которомъ идетъ рѣчь, доказываетъ, что при случаѣ Дидро умѣть быть сжатымъ и сосредоточеннымъ. На тѣхъ двухъ страницахъ, гдѣ онъ возстаєтъ противъ предразсудковъ касающихся латинскаго и греческаго языковъ²⁾, изложенъ вполнѣ исчерпывающій этотъ предметъ перечень всѣхъ доводовъ и возраженій. Можно положительно утверждать, что въ нескончаемыхъ спорахъ, происходившихъ въ теченіе ста лѣтъ послѣ смерти Дидро касательно латинскаго и греческаго языковъ, не былъ затронутъ ни одинъ пунктъ, котораго не коснулся бы Дидро на этихъ полныхъ энергіи и законченности страницахъ. Онъ начинаетъ съ того помо-

¹⁾ О е п. в., III. 490.

²⁾ О е п. в., III. 469—71.

женія, что современная система преподаванія латинскаго и греческаго языковъ въ сущности бесплодна даже для литераторовъ. Я совершенно увѣренъ, говорить онъ, что Вольтеръ, котораго нельзя отнести къ числу посредственныхъ литераторовъ, чрезвычайно мало знакомъ съ греческимъ языкомъ и что между современными латинистами онъ по достоинству не только не двадцатый, но даже не сотый¹⁾.

Всльдь за этимъ *Планомъ* напечатано письмо Дидро къ графинѣ Форбахъ касательно воспитанія дѣтей. Оно наполнено самыми здравыми идеями объ этомъ предметѣ. Читая его, нельзя не признать за Дидро тѣхъ достоинствъ, благодаря которымъ онъ былъ любимъ своими друзьями. Отсюда намъ также становится яснымъ, что когда къ нему обращались за советами, онъ умѣлъ воздерживаться отъ тѣхъ трескучихъ парадоксовъ, которыми онъ потѣшалъ себя въ часы философскихъ грезъ.

IV.

Ромилы разсказываетъ намъ, что Дидро пытался излечить его отъ религіозныхъ заблужденій и съ этой цѣлію прочиталъ ему *Разговоръ съ супругой маршала*^{***} (*Entretien d'un philosophe avec sa magéchale de****)²⁾. Этотъ разговоръ, какъ полагаютъ, былъ ничто иное какъ идеализированное изложеніе разговора, действительно происходившаго между Дидро и г-жею де-Броли; почти всльдь за тѣмъ, какъ онъ былъ написанъ (1777), онъ былъ впервые напечатанъ въ тѣхъ корреспонденціяхъ, въ которыхъ Метра, въ подражаніе Гrimmu, сообщали своимъ иностраннымъ подписчикамъ о томъ, что дѣжалось въ Парижѣ. Поклонники Дидро считаютъ этотъ разговоръ за самый драгоценный перлъ, какой только можно найти въ его философскихъ произведеніяхъ. Здѣсь идетъ рѣчь о свойствахъ вѣры и невѣрія, олицетвореніемъ которыхъ являются два выводимыхъ на сцену собесѣдника; это ничто иное какъ изящный и наглядный перечень всѣхъ рационалистическихъ выражений противъ установленныхъ церковью вѣрованій. Здѣсь самое выдающееся по своимъ литературнымъ достоинствамъ мѣсто — та притча, которую приписывали Руссо, но въ которой на самомъ дѣлѣ Руссо не имѣлъ никакого участія помимо того, что сказавшееся въ ея аргументахъ направленіе ума онъ воспроизвелъ въ знаменитомъ исповѣданіи вѣры савойскаго викария.

Утомленный работой молодой мексиканецъ прогуливался однажды

¹⁾ О е н ., III. 473.

²⁾ О е н ., vol. II. 505—528.

по берегу моря. Онъ увидѣлъ доску, которая однимъ концемъ была погружена въ воду, а другимъ упиралась въ берегъ. Онъ сѣлъ на эту доску и, обнимая своимъ взоромъ развертывавшееся передъ нимъ общирное пространство, онъ сказалъ самому себѣ: не подлежитъ сомнѣнію, что моя бабушка говорила вздоръ, когда рассказывала мнѣ исторію о какихъ-то людяхъ, когда-то высадившихся на этотъ берегъ и прибывшихъ сюда изъ какой-то страны, лежащей по ту сторону нашихъ морей. Въ этомъ разсказѣ нѣть здраваго смысла: развѣ я не вижу, что море граничитъ небесами? И могу ли я наперекоръ тому, что вижу, вѣрить старой баснѣ, которая возникла неизвѣстно когда, которую всякий передѣлываетъ на свой ладъ и которая ничто иное какъ сплетеніе нелѣпостей, изъ-за которыхъ рассказчики готовы вѣнчаться другъ другу въ глаза? Въ то время какъ онъ такимъ образомъ разсуждалъ, вздыхающейся воды качали его на лодкѣ и онъ уснулъ. Въ то время какъ онъ спалъ, вѣтеръ усилился, волны приподняли доску, на которой онъ дежалъ, и нашъ молодой разумникъ поплылъ.

Супруга маршала.—Увы, это—изображеніе судьбы всѣхъ насы: каждый изъ насы сидѣтъ на доскѣ; подымается вѣтеръ и волны уносятъ насы.

С.—Когда онъ проснулся, онъ былъ уже далеко отъ твердой земли. Нашъ мексиканецъ очень удивился увидѣвшимъ себѣ среди открытаго океана, и еще болѣе удивился, когда, потерявъ изъ виду берегъ, на которомъ такъ недавно прогуливался, онъ увидѣлъ, что море со всѣхъ сторонъ прикасается къ небесамъ. Тогда въ немъ зародилось подозрѣніе, что онъ ошибался и что если вѣтеръ не перемѣнится, онъ можетъ быть занесенъ на тотъ берегъ и къ тѣмъ людямъ, о которыхъ такъ часто рассказывала ему бабушка.

Супруга маршала.—А вы ничего не говорите о его испугѣ?

С.—Онъ вовсе не чувствовалъ испуга. Онъ говорилъ самому себѣ: „Не бѣда, лишь бы только удалось пристать къ берегу. Пожимай, я разсуждалъ какъ безумецъ, но я былъ чистосердечеъ по отношенію къ самому себѣ, а это все, чего можно требовать отъ меня. Если имѣть умъ—не добродѣтель, то не имѣть ума—не порокъ“. Между тѣмъ вѣтеръ дулъ все въ томъ же направленіи, молодой человѣкъ все плылъ на доскѣ и наконецъ вдали стаѣ видѣнъ незнакомый берегъ. мексиканецъ наконецъ вышелъ на твердую землю.

Супруга маршала.—Мы все, когданибудь сойдемся тамъ.

С.—Я этого желаю; въ какомъ бы то ни было месте я всегда дочею за честь быть вами приятнымъ. Лишь только мексиканецъ сошелъ съ своей доски и поставилъ ногу на песокъ, онъ увидѣлъ стоящаго подъ него почтенного старца. Онъ спросилъ у старца, гдѣ онъ находится и съ кѣмъ имѣть честь разговаривать: „Я государь этой страны“, отвѣчаль ему старецъ. „Молодой человѣкъ, тотчасъ падъ нѣть передъ нимъ, но старецъ сказалъ ему: „Встаньте.

Вы отвергали мое существование? — „Это правда“.— „И существование моей империи? — „Это правда“.— „Я въамъ это прощаю, потому что я тотъ, кто проникаетъ взоромъ въ глубину сердца и потому что я прочелъ въ глубинѣ вашего сердца, что вы были искрены; но другія ваши мысли и дѣйствія не такъ нивинны“. Тогда старецъ, державшій его за ухо, напомнилъ ему всѣ заблужденія его жизни и на каждомъ его словѣ молодой мексиканецъ преклонялъ голову, ударяя себя въ грудь и просилъ прощенія....

У.

Мы уже упоминали о Фальконетѣ¹⁾, какъ о геніальномъ скульпторѣ и какъ объ одномъ изъ самыхъ интимныхъ друзей Дидро. Въ письмѣ къ Софѣ Воланѣ отъ 21 ноября 1765 г. Дидро сообщаетъ ей, что нѣкоторые шутки Фальконета побудили его серьозно приняться за защиту бессмертія и уваженія къ потомству²⁾. Эта задача была исполнена въ дѣятельной корреспонденції, продолжавшейся съ конца 1765 до 1767 г. Письма Фальконета были сожжены его внучкой по неизвѣстнымъ для настъ причинамъ; до насъ дошли только отрывки изъ нихъ, которые цитируетъ самъ Дидро. Фальконетъ льстилъ себя мыслю, что на его сторонѣ были лучшіе аргументы, и съ нетерпѣніемъ ожидалъ ихъ появленія въ печати, но Дидро не исполнилъ его желанія или понерадѣнію, или потому, что былъ занятъ другимъ дѣломъ. Корреспонденція была сообщена императрицѣ Екатеринѣ, очень ею заинтересовавшейся, а также нѣкоторымъ другимъ лицамъ, но она была опубликована лишь въ 1830 г. и то не вполнѣ.

Основная мысль, которую выражалъ Дидро въ этихъ двѣнадцати письмахъ, заключается въ томъ, что мысль о бессмертіи и уваженіе къ потомству растрогиваютъ сердца и возвышаютъ душу, что это — два источника великихъ дѣлъ, двѣ надежды одинаково почтенные, какъ одна такъ и другая, два утѣшенія столь же дѣйствительныя, какъ большая часть утѣшеній находимыхъ въ жизни, но болѣе благородныя, болѣе полезныя и болѣе сильныя. Подъ словомъ бессмертіе Дидро разумѣлъ не тотъ религіозный догматъ, что индивидуальная личность объективно сохранится и продолжится въ какой нибудь другой формѣ существованія. Напротивъ того, именно его не вѣріе въ этотъ церковный догматъ придавало нѣкоторую пикантность его застушничеству за иной видъ бессмертія, благодаря которому наша личность не умираетъ лишь во мнущаемыхъ признателѣстю и одобрениемъ воспоминаніяхъ тѣхъ людей, которые будутъ жить

¹⁾ См. выше гл. XІІ., стр. 327.

²⁾ XІІ. 200.

послъ нась. Подъ идеей о бессмертіи онъ разумѣль «желаніе, чтобы наше имя блестѣло въ глазахъ потомства, чтобы мы возвуждали удивленіе и были предметомъ разговоровъ въ будущіе вѣка, чтобы послѣ нашей смерти намъ воздали такія же почести, какія мы возвдаемъ тѣмъ, кто кончилъ здѣсь жизнь прежде насъ, чтобы историкъ могъ написать о нась нѣсколько прекрасныхъ строкъ, чтобы наше имя было записано наряду съ тѣми именами, которыхъ мы никогда не произносимъ не проронивши слезы, не испустивши вздоха или не выразивъ сожалѣнія, чтобы нась осыпали такими же благословеніями, какими мы осыпаемъ Сюлли, Генриха IV и всѣхъ другихъ благодѣтелей человѣческаго рода».¹⁾ Наше честолюбіе слишкомъ широко въ сравненіи съ той сферой, которая окружаетъ нась и въ средѣ которой міръ превозносить нась,—слишкомъ широко въ сравненіи съ тѣмъ временемъ, въ которое мы существуемъ и выслушиваемъ похвалы, и въ сравненіи съ чи-сломъ тѣхъ, кто, непосредственно обращается къ намъ съ похвалами, которыхъ мы отъ нихъ заслужили. Поэтому подъ тѣхъ, кто преклоняется передъ нами, мы хотѣли бы видѣть и тѣхъ, кто еще не появлялся на свѣтѣ. Только такой несмѣтный союзъ поклонниковъ могъ бы удовлетворить того, чей умъ постоянно стремится къ безконечному. Ночью пріятно слышать въ отдаленіи звуки оркестра, доходящіе до нашихъ ушей лишь урывками, которые соединяются въ одно melodическое цѣлое нашимъ воображеніемъ, тѣмъ охотнѣе предающимся очарованію, что оно въ значительной мѣрѣ его собственное созданіе. Даже еслибы все это было не болѣе какъ сладость пріятнаго сновидѣнія, развѣ можно сказать, что сладость сновидѣнія ничего не стоитъ? Развѣ я долженъ ставить ни во что такое сладкое сновидѣніе, которое длится такъ же долго какъ моя жизнь и которое держитъ меня въ непрерывномъ упоеніи!

Возраженія Фальконета были рѣзки и положительны. Достаточно, говорилъ онъ, той извѣстности, которой мы пользуемся среди нашихъ современниковъ. Что такое слава, если меня нѣть въ живыхъ чтобы наслаждаться ею? Страхъ униженія и позора служить вполнѣ достаточнымъ мотивомъ для того, чтобы побуждать людей на великия дѣла. Слава послѣ смерти есть нѣчто химерическое и ненадежное. Вспомните о всѣхъ великихъ именахъ, которыхъ совершенно позабыты, о всѣхъ великихъ труженикахъ, произведенія которыхъ или утрачены или безслѣдно уничтожены, о множествѣ другихъ тружениковъ, произведенія которыхъ приписываются тѣмъ, кто ихъ не создавалъ! Потомство, о которомъ вы мечтаете, нѣсколько не лучше лоттереи.

1) XVIII. 94.

Нѣтъ, восклицаетъ Дидро съ удвоеннымъ краснорѣчіемъ, доходящимъ до своего апогея¹⁾, «настоящее есть недѣлимый пунктъ, разрѣзывающій на двоє длину безконечной линіи. Нѣтъ возможности держаться на этомъ пункте и тихо скользить съ нимъ далѣе, никогда не оглядываясь на то, что впереди и никогда не поворачивая головы, чтобы посмотретьъ назадъ. Чѣмъ болѣе человѣкъ углубляется въ прошедшее и чѣмъ болѣе онъ старается проникнуть въ будущее, тѣмъ болѣе онъ становится великъ... А всѣ тѣ философы, министры и люди говорившіе правду, которые пали жертвами глупости народовъ, жестокостей духовенства, ярости тирановъ, какое утѣшеніе находили они въ смерти? То, что эти предразсудки исчезнутъ и что потомство покроетъ ихъ враговъ позоромъ. О святое и сиященное для меня потомство,—подпора для несчастныхъ и для угнетенныхъ! Ты справедливо, ты неподкупно, ты мстишь за добрыхъ людей, снимаешь маску съ лицемѣровъ и низвергаешь тирановъ; не оставь же и меня твоимъ неизмѣннымъ, твоимъ утѣшительнымъ довѣріемъ! Потомство для философа тоже, что другой міръ для набожныхъ людей!»

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Племянникъ г-на Рамо: переводъ.

(См. стр. 242).

(Въ этомъ переводе выпущены страницы, на которыхъ идетъ рѣчь о личностяхъ, утратившихъ для нашего поколѣнія всякий интересъ; выпущены также тѣ мѣста, где идетъ рѣчь о техническихъ условіяхъ музыки. Остальнаго достаточно для того, чтобы можно было составить себѣ ясное понятіе о томъ, что такое *Племянникъ г-на Рамо*).

Какая бы ни была погода, хорошая или дурная, я каждый день часовъ въ пять послѣ обѣда иду гулять въ Пале-Ройаль. Если вы замѣчили человѣка, сидѣвшаго въ одиночествѣ на скамейкѣ д'Аржансона и погруженаго въ размышленія,—то это былъ я. Я бессдѣльно сѣлъ съ собою о политикѣ, о любви, о вкусахъ или о философіи; я предоставлю моему уму самую неограниченную свободу; я не мѣшаю ему голяться за первой, разумной или безразсудной идеей, какая ему представится, подобно тому какъ въ алеѣ de-Foy наши молодые развратники гоняются за женщиной легкаго поведенія съ нахальнымъ видомъ, смѣющимся лицемъ, огненными взглядами, вздернутымъ носомъ, потомъ покидаютъ ее чтобы гнаться за другой, пристаютъ къ каждой изъ нихъ, но не привязываются ни къ одной. Мои мысли—это мои женщины легкаго поведенія. Когда холодно или идетъ дождь, я ишу убѣжища въ кофейной de la Régence. Тамъ я забавляюсь тѣмъ, что смотрю какъ играютъ въ шахматы. Во всемъ мірѣ вѣтъ другаго города, где играли бы въ эту игру такъ же хорошо какъ въ Парижѣ, а въ Парижѣ иѣть другаго мѣста, где играли бы въ эту игру такъ же хорошо какъ въ кофейной de la Régence; тамъ можно видѣть какъ подвигаются глубокомысленный Легаль, хитрый Филидоръ и солидный Майл, тамъ можно видѣть самые поразительные

ходы и слышать самая глупая речи, потому что если можно быть въ одно и то же время умнымъ человѣкомъ и замѣчательнымъ шахматнымъ игрокомъ, какъ Легаль, то также можно быть замѣчательнымъ шахматнымъ игрокомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ глупцомъ, какъ Фуберъ или Майо.

Однажды послѣ обѣда я сидѣлъ тамъ, много наблюдая, мало разговаривая и слушая какъ можно меньше, какъ вдругъ ко мнѣ подошелъ одинъ изъ самыхъ оригинальныхъ людей, которыми Богъ не обѣдилъ эту страну. Это какая то смѣсь высокомѣрія съ низостью, здраваго смысла съ безразсудствомъ; надо полагать, что въ головѣ этого человѣка страннымъ образомъ перепутались понятия о томъ что честно и что безчестно, такъ какъ хорошія качества, которая дала ему природа, онъ выказываетъ безъ хвастовства, а дурныя—безъ застѣнчивости. При этомъ онъ одаренъ сильнымъ сложеніемъ, замѣчательно пылкимъ воображеніемъ и необычайно здоровыми легкими. Если вамъ когданибудь случится повстрѣчаться съ нимъ и если онъ васъ не оттолкнетъ отъ себя своей оригинальностью, вамъ придется или заткнуть себѣ пальцами уши или спасаться бѣгствомъ. О Боже, какія у него ужасныя лѣткія! Нѣтъ ничего такъ мало на него похожаго, какъ онъ самъ. Иногда онъ худъ и блѣденъ, точно больной при послѣднемъ градусѣ чахотки; тогда можно бы было сосчитать сквозь его щеки, сколько у него зубовъ и можно бы было подумать, что онъ вѣсколько дней ничего неѣлъ, или что онъ только что выпущенъ изъ La Тарре. Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ онъ жиренъ и тученъ, точно будто онъ не вставалъ изъ-за стола какого нибудь крупнаго капиталиста или былъ заключенъ въ монастырь Бернардинцевъ. Сегодня онъ въ грязномъ бѣлѣ, въ разорванныхъ панталонахъ, весь въ лохмотьяхъ и почти безъ башмаковъ; ходить онъ понуривъ голову и избѣгаетъ встрѣчъ съ знакомыми; вы готовы подозревать его къ себѣ, чтобы дать ему милостыню. Завтра онъ напудренъ, обутъ, завитъ, хорошо одѣтъ, ходить поднявши голову вверхъ, старается обращать на себя вниманіе, и вы готовы принять его за порядочнаго человѣка: онъ живеть со дня на день и бываетъ то грустенъ, то веселъ, смотря по обстоятельствамъ. Утромъ, лишь только онъ всталъ съ постели, его первая забота о томъ, где ему удастся пообѣдать; послѣ обѣда онъ думаетъ о томъ, куда бы пойти погулять. Ночь также приносить съ собой свои заботы: или онъ возвращается пѣшкомъ на узенький чердакъ, который служить ему мѣстопребываніемъ, если хозяйка дома, выведенная изъ терпѣнія напраснымъ ожиданіемъ квартирной платы, не отобрала у него ключа отъ входной двери, или же онъ направляется въ одинъ изъ загородныхъ трактировъ, где дожидается разсвѣта за кускомъ хлѣба и кружкой пива. Если же у него нѣтъ шести су въ карманѣ,—что иногда съ нимъ случается,—онъ или ищетъ убѣжища въ наемной каретѣ какого нибудь пріятеля или прибѣгаєтъ къ покровительству какого нибудь кучера знатнаго барина, чтобы получить

позволеніе уснуть на соломѣ рядомъ съ его лошадьми. Утромъ еще бывають виды въ его волосахъ клочки отъ его матраца. Если погода хороша, онъ всю ночь ходить взадъ и впередъ по Елисейскимъ полямъ. Съ разсвѣтомъ онъ снова появляется въ городѣ одѣтымъ наканунѣ для завтрашнаго дня, а иногда одѣтымъ съ завтрашнаго дня на всѣ остальные дни недѣли.

Я не пытаю уваженія къ оригиналамъ этого рода, но иные сходятъ съ ними тѣсное знакомство и даже дружбу. Разъ въ годъ мнѣ случается вступать съ ними въ разговоръ, потому что ихъ характеръ рѣзко отличается отъ характера другихъ людей и потому что они нарушаютъ скучное однообразіе, порождаемое вашимъ воспитаніемъ, условіями общественной жизни и вошедшими въ обычай приличіями. Когда одинъ изъ нихъ появляется въ обществѣ, онъ бываетъ похожъ на дрожжи, которыя, прия въ броженіе, возвращаются каждому нѣкоторую долю его природной индивидуальности. Онъ расшевеливается, онъ возбуждается, онъ заставляетъ одобрять или порицать; онъ обнаруживаетъ истину, онъ доставляетъ возможность распознавать честныхъ людей, онъ снимаетъ маску съ плутовъ; тогда человѣкъ съ здравымъ умомъ вслушивается въ разговоры и узнаѣтъ, съ какими людьми имѣть дѣло.

Этотъ человѣкъ давно былъ мнѣ знакомъ. Онъ часто бывалъ въ одномъ домѣ, въ который открыли ему двери его дарованія. Тамъ была единственная дочь; онъ поклялся отцу и матери, что женитися на ихъ дочери. Они пожимали плечами, смѣялись ему въ лицѣ, говорили ему, что онъ сошелъ съ ума, однако я тотчасъ могъ замѣтить, что это дѣло было уже улажено. Онъ попросилъ у меня взаймы нѣсколько экю, и я ему ихъ далъ. Онъ втерся, не знаю какъ, въ нѣсколько почтенныхъ семействъ, гдѣ для него всегда былъ готовъ приборъ, но съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ не открывалъ рта, не получивъ на то позволенія. Онъ молчалъ и съ яростью наѣдался; интересно было видѣть его въ такомъ стѣсненномъ положеніи. Если у него являлось желаніе нарушить условіе и онъ разѣвалъ ротъ чтобы говорить, то при первомъ сказанномъ имѣ словѣ всѣ присутствующіе начинали кричать: *Рамо!*, — тогда его глаза блестѣли отъ гнѣва и онъ еще съ большою яростью принимался за єду. Вы хотѣли знать имя этого человѣка, но теперь вы уже знаете его. Это—Рамо, ученикъ того знаменитаго человѣка, который избавилъ насъ отъ широкаго протяжнаго пѣнія, господствовавшаго у насъ болѣе ста лѣтъ; который написалъ столько непонятныхъ мечтаній и апокалиптическихъ истинъ касательно теоріи музыки, въ которой ни онъ ни всѣ другіе никогда ничего не понимали; отъ котораго мы имѣемъ нѣсколько оперъ не лишенныхъ гармоніи, пѣвучести, безсвязныхъ идей, треску, высокихъ пареній, триумфовъ, ударовъ копья, прославленій, сѣтованій, безконечныхъ побѣдъ, пьесъ для танцевъ, которыхъ будутъ жить вѣчно, и который, похоронивши флорентинца (Люлли), будетъ похороненъ итальянскими виртуозами; онъ это предчувствовалъ, отчего

и былъ такъ мраченъ, печаленъ и сварливъ, такъ какъ даже хо-
рошенькая женщина вставшая съ постели съ прышикомъ на носу,
не бываетъ такъ раздражительна какъ авторъ, который находится
въ опасности утратить свою хорошую репутацію.

Онъ подходитъ ко мнѣ. „А! вотъ и вы, господинъ философъ! Что
вы тутъ дѣлаете въ обществѣ этихъ празднолюбцевъ? Ужъ и вы
не тратите ли ваше время на передвиженіе деревяшекъ?...“ (Подъ
этимъ презрительнымъ выраженіемъ разумѣется игра въ шахматы
или въ шашки).

Я. Нѣтъ, но когда я ничемъ не занятъ, я люблю смотрѣть на
тѣхъ, кто умеетъ хорошо ихъ передвигать.

Онъ. Въ такомъ случаѣ вамъ должно быть рѣдко приходится быть
довольнымъ: кромѣ *Легала* и *Филидора* никто ничего въ этомъ не
смыслитъ.

Я. А г-нъ *де-Бюсси?*

Онъ. Этотъ, какъ шахматный игрокъ, то—же что дѣвица Клеронъ
какъ актриса: оба они знаютъ о своей игрѣ все, чему можно на-
учиться.

Я. Вамъ нелегко угодить и я вижу, что вы списходительны толь-
ко къ тѣмъ, кто достигъ высшаго совершенства.

Онъ. Да, въ шахматахъ, шашкахъ, поэзіи, краснорѣчіи, музикѣ
и въ другихъ тому подобныхъ пустякахъ. Какая польза отъ по-
средственности въ этихъ предметахъ?

Я. Я согласенъ съ вами, что небольшая. Но для того, чтобы могъ
появиться геніальный человѣкъ, надо чтобы значительное число
другихъ людей предварительно поработало надъ этими предметами:
вѣдь онъ одинъ среди множества. Но отложимъ это въ сторону.
Я такъ долго не видѣлся съ вами. Я не вспоминаю о васъ когда
васъ не вижу, но всегда радъ съ вами встрѣтиться. Что вы по-
дѣлывали?

Онъ. То же, что дѣлали вы, я и всѣ другіе,—то что нибудь хо-
рошее, то что нибудь дурное, а то и вовсе ничего. Сверхъ того
я чувствовалъ голодъ и Ѳль, если представлялся къ тому случай;
поѣвші, я чувствовалъ жажду и иногда утолялъ ее. Между тѣмъ
у меня росла борода, и когда она выростала, я ее сбивалъ.

Я. И напрасно это дѣлали: это единственная вещь, которой вамъ
недостаетъ, чтобы быть мудрецомъ.

Онъ. Конечно. У меня широкій и морщинистый лобъ, полные ог-
ня глаза, большой носъ, щеки толстые, брови черныя и густыя,
ротъ красивый, губы вздернутыя и лицо четыреугольникомъ. Будь
этотъ широкій подбородокъ покрытъ длинной бородой, право все
это выглядывало бы очень хорошо въ бронзѣ или въ мраморѣ!

Я. Рядомъ съ изображеніями такихъ людей какъ Цезарь, Маркъ-
Аврелий, Сократъ.

Онъ. Нѣтъ, мнѣ будетъ лучше между Діогеномъ, Лaisой и
Фринеей. Я безстыденъ какъ первый изъ нихъ, и я охотно по-
сѣщаю вторыхъ.

Я. Всегда ли хорошо ваше здоровье?

Онб. Да, обыкновенно хорошо, но сегодня не особенно.

Я. Какъ такъ! Вѣдь у васъ животъ какъ у Силены, а лицо какъ...

Онб. Такое лицо, которое можно принять за.. Это оттого, что дурное расположение духа, которое изсушаетъ моего дорогаго учителя, повидимому заставляетъ жирѣть его дорогаго ученика.

Я. Кстати, скажите мнѣ, видитесь ли вы съ этимъ дорогимъ учителемъ?

Онб. Да, я иногда вижу его идущимъ по улицѣ.

Я. Развѣ онъ ничего не дѣлаетъ для васъ?

Онб. Если онъ что нибудь и дѣлаетъ для кого нибудь, то безъ своего вѣдома. Это—философъ въ свомъ родѣ; онъ думаетъ только о себѣ, а все остальное хоть провались. Его дочь и его жена могутъ умереть когда угодно, лишь бы приходскіе колокола, въ которые будуть звонить по случаю ихъ смерти, звучали *секундой* и *септимой*, и все будетъ хорошо. Это очень счастливо для него и это именно то, что я особенно цѣлю въ геніальныхъ людяхъ. Они хороши только для своего дѣла, а въ остальномъ ни къ чему негодны; они не понимаютъ, что значитъ быть гражданиномъ, отцомъ, матерью, родственникомъ, другомъ. Между нами сказать, не худо быть похожими на нихъ во всемъ, но не слѣдуетъ желать, чтобы это сѣмья сдѣгалось обыкновеннымъ. Намъ нужны люди, а не геніальные люди; нѣтъ, увѣрию васъ, намъ такихъ не надо. Они —именно тѣ, кто измѣняетъ положеніе дѣлъ на земномъ шарѣ, а глупость такъ всеобща и такъ всесильна даже въ самыхъ мелкихъ вещахъ, что ея нельзя передѣлать безъ общаго переполоха. Часть того, что они придумываютъ, входить въ употребленіе, а все прочее остается по старому; отсюда два евангелія, — нѣчто похожее на платье арлекина. Мудрость монаха у Рабелэ есть истинная мудрость и для его собственнаго спокойствія и для спокойствія другихъ; исполнять свою обязанность кое-какъ, всегда хорошо отзываться о наставлѣ, а остальное пусть идѣтъ какъ случится. И вѣдь все идетъ хорошо, потому что большинство довольно. Если бы я зналъ исторію, я доказалъ бы вамъ, что все дурное здѣсь на землѣ всегда исходило отъ какихъ нибудь геніальныхъ людей, но я не знаю исторіи, потому что я не знаю ровно ничего. Чортъ меня восьми, если я чemu нибудь когда нибудь учился и если мнѣ стало хуже оттого, что я ничему не учился. Однажды я сидѣлъ за столомъ у министра Короля****, который уменъ за-четверыхъ: ну что же! онъ доказалъ намъ такъ же ясно, какъ одинъ плюсъ одинъ—два, что нѣтъ ничего болѣе полезнаго для народа въ чёмъ ложь, и ничего болѣе вреднаго, чѣмъ правда. Я не припомню въ точности его доказательствъ, но изъ нихъ очевидно вытекало, что геніальные люди отвратительны, и что еслибы какой нибудь ребёнокъ появился на свѣтъ съ ясными на его челѣ признаками этого опаснаго дара природы, то слѣдовало бы или задушить его или бросить на съѣденіе уткамъ.

Я. Однако люди этого рода, относящиеся такъ враждебно къ геню, всегда воображаютъ, что они имъ обладаютъ.

Онѣ. Я полагаю, что они это воображаютъ въ глубинѣ души, но я не думаю, чтобы они осмѣлились это высказывать.

Я. Они этого не дѣлаютъ изъ скромности. И такъ вы возьмѣли страшную ненависть къ геню?

Онѣ. Такую, которая никогда не угаснетъ.

Я. Однако я помню то время, когда вы приходили въ отчаяніе при мысли, что вы ничего болѣе, какъ самый обыкновенный человѣкъ. Вы никогда не будете счастливы, если и за *противъ* будуть одинаково огорчать васъ: надо стать на которую нибудь сторону и держаться ея. Хоть иные и согласятся съ вами въ томъ, что геніальные люди бываютъ вообще странны или, какъ говорить по словица, что *нѣтъ великихъ умовъ безъ маленькой доли глупости*, однако все таки всѣ будутъ презирать тѣ вѣка, которые не произвели геніальныхъ людей. Такие люди будутъ дѣлать честь тѣмъ народамъ, среди которыхъ они жили; рано или поздно имъ воздвигнутъ статуи и будутъ считать ихъ за благодѣтелей человѣческаго рода. Чѣмъ бы ни думалъ тотъ великий министръ, на котораго вы ссылались, я все таки остаюсь при томъ мнѣніи, что если ложь и можетъ быть полезна въ данный моментъ, она въ концѣ концовъ непремѣнно окажется вредной и что, напротивъ того, правда оказывается полезной впослѣдствії, хотя въ данную минуту она и можетъ приносить вредъ. Отсюда я готовъ прийти къ заключенію, что геніальный человѣкъ, возстающій противъ всеобщаго заблужденія или убѣждающій въ какой нибудь великой истинѣ, всегда достоинъ нашего глубокаго уваженія. Можетъ случиться, что такой человѣкъ падетъ жертвой предразсудковъ и законовъ; но есть два рода законовъ: одни основанные на всеобщей абсолютной справедливости, а другіе — странные и вошедшіе въ силу лишь вслѣдствіе ослѣпленія или временной необходимости. Эти послѣдніе покрываютъ того, кто ихъ нарушилъ, лишь времененнымъ позоромъ,—такимъ позоромъ, который съ теченіемъ времени переходитъ на судей и на народы, чтобы никогда не покидать ихъ. На комъ въ наше время лежитъ позоръ, — на Сократѣ или на томъ судье, который заставилъ его выпить ядъ?

Онѣ. Какая оттого польза Сократу! Развѣ онъ все таки не былъ осужденъ на смерть? Развѣ онъ все таки не былъ лишенъ жизни? Развѣ онъ все таки не былъ буйнымъ гражданиномъ? Тѣмъ, что онъ выказалъ презрѣніе къ дурному закону, развѣ онъ не поощрилъ глупыхъ людей къ неуваженію хорошихъ законовъ? Развѣ онъ все таки не былъ дерзкимъ оригиналомъ? Вы чуть не высказали такого мнѣнія, которое было бы не въ пользу геніальныхъ людей.

Я. Выслушайте меня, мой милый. По настоящему, въ обществѣ не должно быть дурныхъ законовъ, а если бы въ немъ были только хорошие законы, оно никогда не стало бы преслѣдовать геніального человѣка. Я никогда не говорилъ вамъ ни того, что геніаль-

ность бывает неразрывно связана съ злостью, ни того, что злость неразрывно связана съ гениальностью. Глупый человѣкъ чаше бываетъ злымъ, чѣмъ умный. Если бы гениальный человѣкъ и былъ грубъ въ обхожденіи, непріятенъ, приидирчивъ, невыносимъ, если бы онъ былъ золъ, что вы заключили бы изъ этого?

Онѣ. Что его слѣдуетъ утопить.

Я. Потише, мой милый. Вѣдь я не взялъ-бы за образецъ вашаго дядюшку Рамо. Онъ грубъ и жестокъ; у него нѣтъ человѣко-любія; онъ скучъ; онъ дурной отецъ, дурной мужъ, дурной дядя; между тѣмъ нельзѧ еще утверждать, что онъ гениальный человѣкъ, что онъ много подвигнулъ впередъ свое искусство и что его произведения не будутъ позабыты лѣтъ черезъ десять. А Расинъ? Вѣдь у него безспорно былъ гений, а онъ не считался за очень хорошаго человѣка. А Вольтеръ?...

Онѣ. Не будьте такъ настойчивы; вѣдь я не уклоняюсь отъ правильныхъ выводовъ.

Я. Что вы предпочли-бы: чтобы онъ былъ добрякомъ, отожествляющимъ съ своей конторой, какъ Бриассонъ, или съ своимъ аршиномъ, какъ Барбье, чтобы онъ акуратно каждый годъ производилъ на свѣтъ законнаго ребенка, чтобы онъ былъ хорошимъ мужемъ, хорошимъ отцемъ, хорошимъ дядей... хорошимъ сосѣдомъ, честнымъ торговцемъ и ничего болѣе; или чтобы онъ былъ лукавъ, вѣроломъ, честолюбивъ, завистливъ, золъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ былъ бы авторомъ *Андромаки*, *Британника*, *Ифигеніи*, *Федры*, *Аматіи*?

Онѣ. Для него самого, мнѣ кажется, было бы гораздо лучше, еслибы онъ былъ первымъ изъ этихъ двухъ людей.

Я. Это несравненно болѣе близко къ правдѣ, чѣмъ вы думаете.

Онѣ. А! вотъ вы каковы, господа! Если мы скажемъ чтонибудь дѣльное, вы хотите увѣрить, что мы сказали это какъ полуумные люди по вдохновенію, случайно. Точно будто вы одни говорите сознательно; нѣтъ, господинъ философъ, я говорю такъ-же сознательно, какъ и вы.

Я. Посмотримъ. Ну, скажите мнѣ, почему вы такъ выразились о немъ?

Онѣ. Потому что всѣ прекрасныя вещи, которыя онъ создалъ, не принесли ему и двадцати тысячъ франковъ и потому что торгуй онъ хорошо шелковыми матеріями въ улицѣ Сенъ-Дени и Сенъ-Онора, или будь онъ оптовымъ торговцемъ колоніальными товарами, или аптекаремъ, у которого много постоянныхъ покупателей, онъ нажилъ-бы огромное состояніе и наживая его не отказывалъ бы себѣ ни въ какихъ удовольствіяхъ; онъ давалъ бы отъ времени до времени по золотой монетѣ такому жалкому шуту, какъ я за то, что я смѣшилъ бы его и доставлялъ бы ему хорошеныхъ женщинъ; мы были-бы у него отличные обѣды, играли-бы крупную игру, пили-бы отличные вина, отличные ликёры, отличный кофе и устраивали-бы поѣздки за городъ. И такъ вы видите, что я зналъ,

что хотѣль сказать. Вы смеетесь?..... Но дайте же ми въ докончить: онъ былъ-бы лучше для окружающихъ.

Я противъ этого не спорю, но при томъ условія, что онъ не сталъ бы дѣлать дурнаго употребленія изъ богатства, нажитаго дозволенной торговлей, что онъ удаилъ-бы изъ своего дома всѣхъ игроковъ, паразитовъ, пошлыхъ льстецовъ, тунеядцевъ, развратныхъ бездѣльниковъ и приказалъ бы своимъ лавочникамъ отколотить палками того услужливаго негодяя, который беретъ на себя роль сводника.

Онъ. Отколотить палками, милостивый государь! Въ благоустроенному городѣ никого нельзя колотить палками. Вѣдь это честное ремесло; имъ занимаются даже титулованные люди. И куда же тратить свои деньги если не на то, чтобы имѣть хороший столъ, приятное общество, хорошія вина, красивыхъ женщинъ, всевозможныя удовольствія и всякаго рода развлеченія? По моему, имѣть большое состояніе и не пользоваться ни однимъ изъ названныхъ наслажденій, то-же что быть нищимъ. Но возвратимся къ Расину. Этотъ человѣкъ былъ хороши только для тѣхъ, кто его не зналъ и въ такое время, когда его уже не было на свѣтѣ.

Я. Согласенъ, однако взвѣсьте дурное и хорошее. Черезъ тысячу лѣтъ отъ настоящаго момента, онъ будетъ заставлять пла-
вать, имъ будутъ восхищаться во всѣхъ странахъ земного шара; онъ будетъ внушать человѣкобіе, состраданіе, иѣжныя чувства; будутъ спрашивать, чтѣ онъ былъ за человѣкъ, изъ какой страны и будутъ завидовать Франції. Онъ заставилъ страдать иѣсколькихъ людей, которыхъ уже иѣть на свѣтѣ и которые для насъ почти иѣсколько не интересны; намъ самимъ нечего бояться ни его по-
рока, ни его нравственныхъ недостатковъ. Конечно, было бы лучше, еслибы вмѣстѣ съ талантами великаго человѣка онъ полу-
чили отъ природы добродѣтели хорошаго человѣка. Это—такое дерево, отъ котораго засохло иѣсколько другихъ деревьевъ поса-
женныхъ по сосѣдству съ нимъ и засохли растенія, выросшія у
его подножія; но оно достигло своей вершиной до облаковъ; его вѣтви распостранились далеко; оно даетъ свою тѣнь всѣмъ кто искалъ, ищетъ или будетъ искать отдохновенія подлѣ его величе-
ственного ствола; оно дало самые вкусные плоды, которые беззре-
станно возобновляются. Конечно было бы желательно, чтобъ Вольтеръ имѣлъ иѣжность Дюкло, чистосердечіе аббата Трюблэ, прямоту аббата д'Оливэ, но такъ какъ этого не можетъ быть, то будемъ смотрѣть на предметъ съ той его стороны, которая дѣйствительно интересна; забудемъ на минуту, какой мы занимаемъ пунктъ въ про-
странствѣ и во времени, и окинемъ взоромъ будущіе вѣка, самыя отдаленные страны и еще не явившіеся на свѣтѣ народы. Поду-
маемъ о благѣ нашей расы; если мы сами недостаточно велико-
душны, то покрайней мѣрѣ извинимъ природѣ то, что она была болѣе благоразумна чѣмъ мы. Если вы нальете холодной воды на
голову Грѣза, вы, можетъ быть, потушите его талантъ вмѣстѣ съ

его тщеславиемъ. Если вы сдѣлаете Вольтера менѣе чувствительнымъ къ критикѣ, онъ уже не будетъ въ состояніи проникать въ душу Меропы и не будетъ васъ трогать.

Онѣ. Но если натура столь же сильна сколько благоразумна, то почему же она не сдѣлала этихъ людей въ такой же мѣрѣ добрыми, въ какой она сдѣлала ихъ великими?

Я. Неужели вы не замѣчаете, что такими разсужденіями вы ниспровергаете общий порядокъ и что если бы здѣсь на землѣ все было превосходно, то не было-бы ничего превосходнаго?

Онѣ. Вы правы; главная суть въ томъ, чтобы вы и я существовали и чтобы мы были—вы и я, а все остальное пусть идетъ какъ можетъ. По моему мнѣнію, самый лучшій порядокъ всегда тотъ, въ которомъ мнѣ есть мѣсто; но мнѣ нѣтъ никакого дѣла до самаго лучшаго изъ міровъ, если меня тамъ нѣть! Я предпочитаю существовать и даже быть дерзкимъ болтуномъ, чѣмъ вовсе не существовать.

Я. Всякій кто разсуждаетъ такъ, какъ вы, и нападаетъ на существующій порядокъ, не замѣчаетъ того, что онъ этимъ отказывается отъ своего собственнаго существованія.

Онѣ. Это правда.

Я. Будемъ же брать вещи, какъ они есть. Посмотримъ, чего они намъ стоять и что они намъ приносятъ и оставимъ какъ есть то цѣлое, съ которымъ мы недостаточно знакомы, чтобы быть въ состояніи хвалить его или порицать, и которое, можетъ быть, не хорошо и не дурно, такъ какъ оно по мнѣнію многихъ хорошихъ людей необходимо.

Онѣ. Я не могу хорошенько понять того, что вы говорите. Оно похоже на что то въ родѣ философіи, но я васъ предупреждаю, что я въ нее не мѣшаюсь. Я знаю только то, что я хотѣлъ бы сдѣлаться другимъ человѣкомъ и при счастливой случайности геніальнымъ человѣкомъ, великимъ человѣкомъ; да, я долженъ сознаться, что во мнѣ есть что-то такое, что даетъ мнѣ такую надежду. Я никогда не могъ слышать похвалъ подобнымъ людямъ, не чувствуя тайной злобы. Я завистливъ... Когда я узнаю какую нибудь унизительную для нихъ черту изъ ихъ жизни, я слушаю съ удовольствіемъ; это сближаетъ насъ и я легче примираюсь съ моей посредственностью. Я говорю самъ себѣ: конечно, ты никогда не написалъ бы *Магомета*; но ты не написалъ бы и похвалы *Мону*. И такъ я всегда былъ и всегда буду недоволенъ тѣмъ, что я посредственность. Да, да, я посредственность и я этимъ недоволенъ. Я никогда не могъ слышать угертюру изъ *Indes galantes*, никогда не могъ слышать въ пѣніи *Profonds abimes du Ténaige; Nuit, eternelle nuit*, безъ того чтобы не сказать съ горестью самому себѣ: вотъ этого ты никогда не создашь. Стало быть я завидовалъ моему дядюшкѣ.

Я. Если только это васъ огорчаетъ, то этимъ не стоять огорчаться.

Онъ. Это ничего, вѣдь это бываетъ только минутами, а потомъ проходить. (Всльдъ затѣмъ онъ сталъ напѣвать сквозь зубы увертуру изъ *I n d e s galantes* и арию *P rofonds abîmes* и потомъ продолжать):

Какой-то внутренний голосъ говорить мнѣ: Рамо, тебѣ очень хотѣлось-бы быть авторомъ этихъ двухъ пьесъ; если бы ты могъ написать эти двѣ пьесы, ты написалъ бы еще парочку другихъ, а когда ты написалъ бы ихъ довольно много, ихъ стали-бы разыгрывать и распѣвать повсюду. Ты сталъ бы ходить поднявши голову къ верху; твоя совѣсть свидѣтельствовала-бы тебѣ о твоемъ собственномъ достоинствѣ, а другіе показывали-бы на тебя пальцами и говорили-бы: вотъ тотъ, кто написалъ хорошенкіе гавоты (и онъ начиналъ сквозь зубы напѣвать гавоты). Потомъ, съ видомъ человѣка утопающаго въ наслажденіяхъ и съ глазами влажными отъ иѣги, онъ прибавилъ, потирая себѣ руки: у тебя былъ бы прекрасный домъ (и онъ измѣрялъ руками его размѣры), хорошая постель (и онъ пѣбрежно опускался на нес), хорошія вина (и онъ отвѣдывалъ вино, щелкая языкомъ о нѣбо), прекрасный экипажъ (и онъ подымалъ ногу, чтобы войти въ него), хорошенкія женщины (и онъ протягивалъ къ нимъ руки, бросая на нихъ сладострастные взгляды); сотня бездѣльниковъ ежедневно приходила-бы къ тебѣ чтобы превозносить тебя (и ему казалось, что онъ видѣть вокругъ себя Палиссо, Пуансинѣ, Фрероновъ отца и сына, ла-Порта; выслушивая ихъ онъ то принималъ важный видъ, то одобрялъ ихъ, то улыбался имъ, то обходился съ ними съ пренебреженіемъ, то выказывалъ имъ презрѣніе, то выгонялъ ихъ отъ себя, то заставлялъ ихъ возвратиться; и потомъ продолжать): И вотъ по утрамъ тебѣ стали бы говорить, что ты великий человѣкъ; ты прочелъ-бы въ *Исторіи трехъ столѣтій*, что ты великий человѣкъ; вечеромъ ты пришелъ бы къ убѣжденію, что ты великий человѣкъ и такимъ образомъ великий Рамо уснулъ бы подъ пріятное журчанье похвалъ, раздающихся въ его ушахъ; даже во время сна онъ имѣлъ-бы довольный видъ: его грудь расширялась бы, возвышалась бы и опускалась бы съ легкостью; онъ хранилъ бы какъ великий человѣкъ.... (И, говоря это, онъ съ иѣгой опускался на кушетку, закрывалъ глаза и представлялъ, какъ онъ сталъ-бы спать. Насладившись иѣсколько минутъ такимъ пріятнымъ отдохновеніемъ, онъ просыпался, протягивалъ руки, зѣвалъ, протиралъ глаза и оглядывался кругомъ, ища своихъ пошлыхъ поклонниковъ).

Я. Стало быть вы думаете, что у счастливыхъ людей особый сонъ?

Онъ. Еще бы этого не думать! Когда я, жалкій бѣднякъ, возвращаюсь вечеромъ на мой чердакъ и ложусь въ мою жосткую постель, меня коробить подъ моимъ одѣяломъ, грудь моя съуживается и дыханіе становится тяжелымъ; это—что-то въ родѣ едва слышнаго жалобнаго звука,—тогда какъ капиталистъ хранилъ на всю комнату и приводить въ изумленіе всѣхъ, кто живеть въ одной съ

нимъ улицѣ. Но въ настоящую минуту я огорчаюсь вовсе не тѣмъ, что я храплю и дурно сплю какъ бѣднякъ.

Я. Однако, это непріятно.

Онѣ. То, что случилось со мной, гораздо непріятнѣе.

Я. А что такое?

Онѣ. Вы всегда принимали во мнѣ нѣкоторое участіе потому что я добрый малый, котораго вы въ глубинѣ души презираете, но который забавляет вась.

Я. Это правда.

Онѣ. Такъ я вамъ разскажу въ чемъ дѣло. (Прежде, чѣмъ начать, онъ испустилъ глубокій вздохъ и взялся обѣими руками за голову; затѣмъ онъ принялъ спокойный видъ и сказалъ мнѣ):

Вы знаете, что я невѣжда, глупецъ, безумецъ, нахаль, лѣтнай и обжора

Я. Какой панегирикъ!

Онѣ. Онъ вѣренъ во всѣхъ отношеніяхъ; изъ него нельзѧ выкинуть ни одного слова, и я прошу васъ не возражать на него. Никто не знаетъ меня лучше самого меня, и я еще не все сказалъ.

Я. Я не хочу васъ раздражать и готовъ согласиться на все.

Онѣ. Такъ вотъ что! Я жилъ въ обществѣ людей, которые расположились ко мнѣ именно потому, что я въ высшей степени обладаю всѣми этими свойствами.

Я. Это странно: до сихъ поръ я былъ того мнѣнія, что ихъ или скрываютъ отъ самого себя или извиняютъ въ самомъ себѣ, но презираютъ въ другихъ.

Онѣ. Скрывать отъ самого себя! Развѣ это возможно? Будьте увѣрены, что когда Палиссо остается яединѣ и переносить свои мысли на самого себя, онъ говоритъ совсѣмъ не то, что говорить при другихъ; будьте увѣрены, что когда онъ остается глазъ на глазъ съ своимъ товарищемъ, они откровенно сознаются передъ самими собою, что они ничто иное какъ пара знаменитыхъ негодавъ. Презирать эти свойства въ другихъ! Люди, въ обществѣ которыхъ я жилъ, были болѣе справедливы и благодаря моему характеру я имѣлъ у нихъ большой успѣхъ; я катался какъ сырь въ маслѣ; меня угождали и если теряли меня на самое короткое время изъ виду, сожалѣли обѣ этомъ; я былъ для нихъ маленький Рамо, ми-ленъ-кій Рамо, Рамо—безумецъ, нахаль, невѣжда, лѣтнай, обжора, щутъ, неотесанный болванъ. Не было ни одного изъ этихъ эпитетовъ, который не сопровождался бы улыбкой, лаской, легкимъ ударомъ по плечу, оплеухой, пинькомъ, вкуснымъ кускомъ брошеннымъ во время обѣда въ мою тарелку, а послѣ обѣда какой нибудь вольностью, которой я не придавалъ никакого значенія. потому что я самъ человѣкъ безъ значенія. Можно дѣлать изъ меня, при мнѣ и со мною все что вздумается, я никогданичѣмъ не обижуюсь. А сколько сыпалось на меня маленькихъ подарочковъ! Ахъ, я собака, зачѣмъ я все это потерялъ! А потерялъ я все потому, что только разъ, только единственный разъ въ моей жизни

обнаружилъ здравый смыслъ. Ахъ! Неужели это можетъ еще когда nibудь случиться!

Я. Въ чёмъ же было дѣло?

Онб. Рамо! Рамо! Развѣ васъ для этого взяли? Какъ было глупо обнаружить немножко вкуса, немножко ума, немножко здраваго смысла; другъ мой Рамо, это объясняетъ вамъ, какими вѣсъ создалъ Богъ, и какими вѣсъ желають видѣть ваши покровители. Вотъ вѣсъ и взяли за плечи, вытолкали вѣсъ въ дверь и сказали вамъ: „Вонъ, не-годай, и впередъ сюда ни ногой! Онъ тоже хочетъ имѣть и умъ и здравый смыслъ! Вонъ! У насъ всѣ этихъ свойствъ достаточно и даже избытокъ“. И вотъ вы ушли кусая себѣ пальцы; вамъ прежде всего следовало бы кусать вашъ проклятый языкъ. Такъ какъ вы не догадались этого сдѣлать, то вотъ вы теперь и выброшены на улицу; у васъ нѣтъ ни копейки и вы не знаете куда преклонить голову. Вѣсъ кормили на убой, а теперь вамъ придется поститься; вы имѣте хорошее помѣщеніе, а теперь вы сочтете себя счастливыми, если вѣсъ опять пустятъ на вашъ чердакъ; вы спали въ покойной постель, а теперь вѣсъ ждетъ соломы у кучера г-на де-Субизъ или у вашего пріятеля Роббэ; вместо того чтобы наслаждаться по прежнему сладкимъ и спокойнымъ сномъ, вы будете слышать лошадиное ржаніе и топотъ, и сознавать, что вы жалкій безумецъ, одержимый тысячью бѣсовъ!

Я. Но развѣ нѣтъ никакого способа поправить дѣло? Развѣ ваша вина изъ такихъ, которыхъ не прощаются? На вашемъ мѣстѣ я снова отправился бы къ этимъ людямъ; вы для нихъ необходимы болѣе, чѣмъ сколько вамъ кажется.

Онб. О! Я увѣренъ, что съ тѣхъ поръ какъ я пересталъ ихъ смѣшить, они скучають какъ собаки.

Я. Поэтому-то я снова отправился бы къ нимъ: я не даль-бы имъ времени пріучиться къ моему отсутствію и обратиться къ какимъ нибудь благороднымъ развлеченіямъ, — потому что вѣдь нельзѧ знать, что можетъ случиться.

Онб. Этого-то я не боюсь; это чѣ можетъ случиться.

Я. Какъ бы вы ни были неподражаемы, другой можетъ замѣнить вѣсъ.

Онб. Едва-ли.

Я. Положимъ, что это такъ. Однако я все таки пошелъ бы туда съ этимъ исхудалымъ лицемъ, съ этими блуждающими глазами, съ этой раскрытої шеей, съ этими растрепанными волосами и въ этомъ по истинѣ трагическомъ положеніи, въ которомъ вы теперь находитесь. Я бросился бы къ ногамъ божества и, не подымая головы, сказалъ бы тихимъ и заглушаемымъ рыданіями голосомъ: „Простите меня! Простите! я низкій, безчестный человѣкъ. То было лишь одно несчастное мгновеніе; вѣдь вы хорошо знаете, что я не способенъ имѣть здравый смыслъ, и я обѣщаю вамъ, что никогда не буду его имѣть въ теченіе всей моей жизни“.

(Забавно то, что въ то время, какъ я говорилъ ему эти слова,

онъ изображалъ ихъ пантомимой и паль ницъ; онъ прильяулъ головой къ полу, точно будто обнималъ обѣими руками кончикъ туфли, плакалъ, рыдалъ и говорилъ: „Да, моя маленькая королева, да, я вамъ обѣщаю, я не буду имѣть его всю мою жизнь, всю мою жизнь“).... Потомъ онъ вдругъ вскочилъ и сказалъ серьезнымъ и задумчивымъ тономъ:

Онъ. Да, вы правы; я вижу, что это будетъ самое лучшее. Она добра. Однако идти для того, чтобы унижаться передъ распутницей, для того, чтобы просить пощады у ногъ яичкою фиглярки, которую постоянно преслѣдуютъ свистки партера! Я—Рамо, я—сынь дижонского аптекаря Рамо, который былъ честный человѣкъ и никогда ни передъ кѣмъ не преклонялъ колѣнъ! Я—авторъ пьесъ для фортепьяно, которыхъ никто не играетъ, но которая можетъ быть будуть единственными пьесами, которая перейдутъ къ потомству и будуть имъ исполняться,—и я пойду туда!.... Нѣтъ, милостивый государь, этого не можетъ быть (и положивъ правую руку на грудь, онъ продолжалъ): я чувствую, что у меня что-то шевелится тамъ и говорить мнѣ: Рамо, ты этого не сдѣлаешь. Въ человѣческой натурѣ должно быть есть иѣкоторое чувство достоинства, котораго ничто не можетъ заглушить. Оно пробуждается ни къ селу ни къ городу; да—ни къ селу ни къ городу, потому что бываютъ такие дни, когда мнѣ ничего не стѣбѣть сдѣлать какую угодно подлость; тогда нѣтъ такой низости, которой я бы не сдѣлалъ изъ за одного гроша....

Я. Если тотъ способъ, который я вамъ указываю, вамъ не нравится, то имѣйте достаточно мужества, чтобы оставаться бѣднякомъ.

Онъ. Тяжело быть бѣднякомъ, когда есть столько богатыхъ глупцовъ, на счетъ которыхъ можно бы было жить. Да сверхъ того и презрѣніе къ самому себѣ невыносимо.

Я. Развѣ вамъ знакомо это чувство?

Онъ. Еще бы! Сколько разъ я говорилъ самому себѣ: Какъ это могло случиться, Рамо, что въ Парижѣ есть десять тысячъ прекрасныхъ обѣденныхъ столовъ, каждый въ пятнадцать или двадцать кувертовъ, а ни одинъ изъ этихъ кувертовъ не поставленъ для тебя! Есть кошельки, полные золота, льющагося направо и налево, а тебѣ не достается ни одной золотой монеты! Тысячи красноваевъ безъ таланта и безъ всякихъ достоинствъ, тысячи низкихъ созданій безъ всякихъ прелестей, тысячи подлыхъ интригановъ—хорошо одѣты, а ты будешь ходить въ лохмотьяхъ! Неужели ты до такой степени глупъ? Развѣ ты не съумѣлъ бы льстить не хуже другихъ? Развѣ ты не съумѣлъ бы лгать, клясться и нарушать клятвы, обѣщать и исполнять или нарушать обѣщанія не хуже всякаго другаго? Развѣ ты не съумѣлъ бы не хуже всякаго другаго ползать на четверенькахъ? Развѣ ты не съумѣлъ бы не хуже всякаго другаго способствовать любовной интригѣ барыни и относить любовныя записочки барина?... Развѣ ты не съумѣлъ бы внушить дочери одного изъ нашихъ буржua, что она дурно одѣта, что ей

были бы очень къ лицу хорошія серыги, немного румянъ, кружева или платье à la polonaise? Что еа маленькия ножки не сдѣланы для того, чтобы ходить пѣшкомъ по улицѣ? Что есть красивый господинъ, молодой и богатый, у которого платье въ золотыхъ галунахъ, великолѣпные экипажи и шесть длинныхъ лакеевъ, что этотъ господинъ видѣлъ ее мимоходомъ, что онъ нашелъ ее восхитительной, что съ этого дня онъ не пьетъ и не ъестъ, что онъ лишился сна и кончить тѣмъ, что оттого умретъ?.... Наконецъ онъ приходитъ и нравится, а въ одинъ прекрасный день дѣвочка исчезаетъ и мнѣ отсчитываютъ мои двѣ тысячи золотыхъ.... Чѣ-же это значитъ! Ты обладаешь такимъ талантомъ, а нуждаешься въ кускѣ хлѣба! Развѣ тебѣ не стыдно, несчастный?.... Я вспоминаль о массѣ негодяевъ, которымъ было далеко до меня, а они ходили въ бархатѣ; они опирались на трости съ золотыми набалдашниками и носили дорогіе перстни на пальцахъ. А что-же это были за люди? Они умѣли кое какъ брянчать на музыкальномъ инструментѣ, а теперь они выглядываютъ баричами. Тогда я чувствовалъ въ себѣ бодрость, моя душа возвышалась, умъ дѣлался проницательнымъ и на все способнымъ; но это счастливое настроеніе духа должно быть не долго продолжалось, потому что я до сихъ поръ не далеко ушелъ. Какъ бы то ни было, но вотъ вамъ содержаніе моихъ частыхъ бесѣдъ съ самимъ собою, которое я вамъ не мѣшаю изложить на бумагѣ въ такой формѣ, какая вамъ вздумается, лишь бы только вы убѣдились, что мнѣ знакомо презрѣніе къ самому себѣ или тѣ угрызенія совѣсти, которые возникаютъ вслѣдствіе безпомощности дарованій, ниспосланныхъ намъ Провидѣніемъ; это самая жестокія изъ всѣхъ страданій. Почти было-бы лучше совсѣмъ не родиться на свѣтѣ.

(Я слушалъ его и въ то время, какъ онъ представлялъ въ дѣйствіи сцену соблазна несчастной дѣвушки, въ моей душѣ боролись два противоположныхъ чувства; я не зналъ, дать ли волю желанію расхохотаться или же дать волю взрывамъ негодованія. Мое положеніе было мучительное: двадцать разъ взрывъ хохота останавливалъ взрывъ моего гнѣва и двадцать разъ гнѣвъ, кипѣвшій въ глубинѣ моей души, оканчивался хохотомъ. Я былъ совершенно сбитъ съ толку такой прозорливостью и такой низостью, такой манерой выражать идеи то совершенно вѣрныя, то фальшивыя, такой полной развращенностью чувствъ, такой безграницкой подлостью и такой рѣдкой откровенностью. Онъ замѣтилъ, что внутри меня происходила борьба): Что съ вами? сказалъ онъ.

Я. Ничего.

Онъ. Мнѣ кажется, что вы чѣмъ-то взволнованы.

Я. Вы не ошиблись.

Онъ. Наконецъ, скажите же мнѣ, что вы мнѣ совѣтуете дѣлать?

Я. Перемѣнить тонъ вашего разговора. Ахъ, несчастный! До какого унизительнаго положенія вы дошли!

Онъ. Я съ этимъ согласенъ. Однако вы не очень растрогиваетесь

моимъ положенiemъ; раскрывая вамъ мою душу, я вовсе не имѣль въ виду опечалить васъ. Живя у этихъ людей, я успѣлъ сдѣлать кой-какія сбереженія; подумайте, вѣдь у меня не было никакихъ тратъ, рѣшительно никакихъ, а мнѣ давали не мало денегъ на мелкие расходы.

(Онъ сталъ бить себя по лбу кулакомъ, кусать себѣ губы и закатывать глаза къ потолку, и затѣмъ сказалъ): Но это конченое дѣло. Я отложилъ кое-что въ сторону; время протекло, а это тоже что прибыль.

Я. Вы хотите сказать—убытокъ.

Онъ. Нѣтъ, нѣтъ, прибыль. Человѣкъ съ каждой минутой богатѣетъ: вѣдь жить однимъ днемъ менѣе или пріобрѣсть лишній єкю—одно и тоже. Въ послѣдній моментъ всѣ одинаково богаты—и Самуиль Бернаръ, который благодаря кражамъ, грабительствамъ и банкротствамъ оставляетъ послѣ себя двадцать семь миллионовъ золотой монетой, и Рамо, послѣ котораго не останется ничего и которому благотворительность доставитъ кусокъ холста, въ который обернутъ его трупъ. Мертвый не слышитъ звона колоколовъ: напрасно сто священниковъ дерутъ себѣ горло изъ-за него, напрасно впереди и сзади двигается длинный рядъ зажженныхъ факеловъ, его душа не идетъ рядомъ съ церемоніей мастеромъ погребальной процессіи. Сгинуть подъ мраморной доской или сгинуть подъ землей—все-таки сгинуть. Развѣ не все равно, что подъ гроба будутъ стоять дѣти одѣтыя въ красная платья, или дѣти одѣтыя въ синяя платья, или никто не будетъ стоять? А посмотрите-ка на кисть моей руки; она была неподатлива какъ чортъ; мои десять пальцевъ были точно палки, воткнутыя въ пясть, сдѣланную изъ дерева, а эти сухія жилы были точно старыя кишечныя струны, болѣе сухія, болѣе тугія и менѣе гибкія чѣмъ тѣ, которыя были въ употребленіи на колесѣ у токаря! Такъ ты не хочешь гнуться? а я, чортъ возьми, говорю тебѣ, что ты должна согнуться и что такъ будетъ.....

(Въ то время какъ онъ это говорилъ, онъ схватилъ правой рукой пальцы и кисть лѣвой руки, и сталъ сгибать ихъ то внизъ то вверхъ; окончности пальцевъ дотрогивались до руки, ихъ суставы трещали; я боялся, что онъ вывижнетъ ихъ кости.)

Я. Смотрите, вѣдь вы себя искалѣчите.

Онъ. Не бойтесь, они къ этому привыкли: въ теченіе десяти лѣтъ они достаточно поработали инымъ образомъ! Волей или неволей, имъ пришлось пріучиться и научиться, какъ слѣдуетъ бѣгать по клавишамъ и какъ перебирать струны: за то теперь они ходятъ какъ слѣдуетъ.....

(Въ это самое время онъ принимаетъ позу человѣка, играющаго на скрипкѣ; онъ напѣваетъ вполноголоса какое то allegro изъ Локателли, его правая рука подражаетъ движенію смычка, лѣвая рука и ея пальцы точно будто бѣгаютъ вдоль рукоятки: если ему случается взять фальшивую ноту, онъ останавливается, натягиваетъ или ослабляетъ струну, пробуетъ настроена ли она въ

тонъ и затѣмъ продолжаетъ начатую пьесу съ того мѣста, на которомъ остановился. Онъ бѣть ногой въ тактъ, работаетъ головой, ногами, руками, всѣмъ тѣломъ; вы вѣроятно видали какъ въ духовныхъ концертахъ Феррари, Шиабро или какой нибудь другой виртуозъ выдѣлываетъ такія же конвульсивныя движенія, которыя кажутся мнѣ столь же мучительными и производятъ на меня такое же непріятное впечатлѣніе; вѣдь вы согласитесь съ тѣмъ, что очень непріятно видѣть какъ терзается человѣкъ, старающійся доставить вамъ удовольствіе. Если такой человѣкъ представляетъ изъ себя мученика, надъ которымъ совершаются пытка, то скройте его отъ моихъ глазъ, опустивши между вимъ и мною занавѣсъ. Когда среди этихъ волненій и возгласовъ дѣло доходило до одного изъ такихъ гармоническихъ пассажей, при исполненіи которыхъ смычокъ медленно двигается за-разъ по нѣсколькимъ струнамъ, его лицо принимало видъ восторженности, его голосъ становился болѣе мягкимъ и онъ съ упоеніемъ слушалъ самого себя: онъ былъ увѣренъ, что аккорды раздавались и въ его ушахъ и въ моихъ; затѣмъ, положивъ свой инструментъ подъ свою лѣвую руку тою самой рукой, которую его держалъ, и опустивъ внизъ правую руку съ находившимся въ ней смычкомъ, онъ сказалъ:)

Ну! какъ вы это находите?

Я. Превосходно!

Онѣ. Мнѣ кажется, что недурно; это звучитъ почти такъ же какъ у другихъ.....

(Всѣдѣ затѣмъ онъ сѣль какъ садится музыкантъ, чтобы играть на фортепьяно.)

Я. Я прошу васъ имѣть состраданіе и къ вамъ и ко мнѣ.

Онѣ. Нѣтъ, нѣтъ; разъ я васъ поймаль, вы должны меня послушать. Я не хочу чтобы меня хвалили, не зная за что. Вы будете хорошо отзываться обо мнѣ съ большей увѣренностью, а это доставить мнѣ новыхъ учениковъ.

Я. Я такъ рѣдко бываю въ обществѣ и боюсь, чтобы вы не утомили себя напрасно.

Онѣ. Я не утомляюсь никогда.

(Такъ какъ я видѣлъ, что было бы безполезно его уговаривать, хотя онъ и былъ весь въ поту отъ исполненія сонаты на скрипкѣ, то я рѣшился не мѣшать ему дѣлать все, что онъ хочетъ. И вотъ онъ усѣлся за фортепьяно, согнувъ колѣнки, закинулъ голову къ потолку, точно будто онъ читалъ тамъ партитуру, сталъ что-то напѣвать, брать приготовительные аккорды и затѣмъ началъ исполнять какую то пьесу Алberti или Галуппи,—не помню хорошенько котораго изъ этихъ двухъ композиторовъ. Его голосъ разносился какъ вѣтеръ, а его пальцы бѣгали по воображаемымъ клавишамъ. На его лицѣ одни чувства смѣнялись другими: на немъ изображались то нѣжность, то гнѣвъ, то удовольствіе, то горестъ; вы чувствовали когда было ріапо и когда было forte и я увѣренъ, что человѣкъ, болѣе меня свѣдущій въ музикѣ, узналъ

бы, какая ария, по движению и характеру исполнения, по его жестамъ и по нѣкоторымъ звукамъ, иногда вырывавшимся изъ его устъ. Но что всего забавнѣе—онъ по временамъ точно будто сбивался, переначиналъ съезнова и выражалъ досаду, что пальцы не слушаются его.) Теперь вы видите, — сказалъ онъ вставая и обтирая капли пота, которыхъ текли по его щекамъ,—что мы также умѣемъ употреблять терціи и квинты и что намъ хорошо извѣстно все, что касается верхней квинты тоники. Тѣ энгармонические пассажи, по поводу которыхъ милый лядюшка дѣлаетъ столько шума, не большая премудрость: мы также справляемся съ ними.

Я. Вы задали себѣ большой трудъ для того, чтобы доказать, что вы очень искусны въ музыке, но я повѣрилъ-бы вамъ и на-слово.

Онѣ. Очень искусенъ,—о! нѣтъ. Я немножко знакомъ съ тѣмъ, что входитъ въ мое ремесло и это болѣе того, чѣмъ нужно; развѣ въ этой странѣ необходимо знать то, чѣму учишь?

Я. Не болѣе, чѣмъ сколько необходимо знать то, чѣму учишься.

Онѣ. Это вѣрно, совершенно вѣрно! Ну скажите, господинъ философъ, откровенно, положа руку на сердце: вѣдь было такое время, когда вы не были въ такомъ достаткѣ, какъ теперь.

Я. Мой достатокъ и теперь не великъ.

Онѣ. Но вы уже не отправились бы въ лѣтнюю пору въ Люксембургскій садъ.... Вы этого не позабыли?...

Я. Оставимъ этотъ разговоръ: да, я этого не позабылъ.

Онѣ. Въ сѣромъ плисовомъ сюртукѣ.

Я. Да, да.

Онѣ. Вытертымъ съ одной стороны и съ разорваннымъ рукавомъ; а ваши черные шерстяные чулки были заштопаны сзади бѣлыми нитками.

Я. Да, да,—все что вамъ угодно.

Онѣ. Чѣмъ дѣлали вы тогда въ аллее Вздоховъ?

Я. Я игралъ довольно жалкую роль.

Онѣ. Вы давали уроки математики.

Я. Не имѣя о ней никакого понятія. Не для того ли, чтобы услышать это признаніе вы вели разговоръ?

Онѣ. Совершенно вѣрно.

Я. Показывая другимъ, я самъ учился и мнѣ удалось сформировать нѣсколько хорошихъ учениковъ.

Онѣ. Очень можетъ быть; но музыка не то, что алгебра или геометрия. А теперь, когда вы сдѣлались зажиточными человѣками....

Я. Не очень-то зажиточными.

Онѣ. И вашъ кошелекъ тugo набитъ....

Я. Вовсе не тugo.

Онѣ. Вы берете учителей для вашей дочери.

Я. Нѣтъ еще; ей воспитаніемъ занимается мать, потому что нужно сохранять домашнее спокойствіе.

Онѣ. Домашнее спокойствіе? Чортъ возьми! Чѣмъ его имѣть нужно быть или слугою или господиномъ, а лучше быть господи-

иомъ.... У меня тоже была жена..... Богу угодно было взять къ себѣ ея душу! Но когда ей случалось огрызаться на меня, я вышаль голосъ, начинай метать громы, говорилъ словами Создателя: „Быть свѣтъ“ и дѣйствительно являлся свѣтъ. За то въ теченіе четырехъ лѣтъ не случилось и десяти разъ, чтобы одинъ изъ насъ заговорилъ громче другаго. Какихъ лѣтъ вашъ ребенокъ?

Я. Это не имѣть никакой связи съ предметомъ.

Онѣ. Какихъ лѣтъ вашъ ребенокъ?

Я. Чортъ васъ побери! Оставьте въ покой моего ребенка и его возрастъ и поговоримъ о томъ, кто будетъ его наставникомъ.

Онѣ. Клянусь Богомъ, яѣтъ людей болѣе упрямыхъ, чѣмъ философы. Униженно прошу, нельзя ли мнѣ узнать отъ господина философа, сколько приблизительно лѣтъ можетъ имѣть его дочка?

Я. Предположите, что ей восемь лѣтъ.

Онѣ. Восемь лѣтъ! Уже четыре года тому назадъ ей слѣдовало держать пальцы на клавишиахъ.

Я. Но можетъ быть я и не желаю, чтобы въ планѣ ея воспитанія входило занятіе, которое требуетъ такъ много времени, а приноситъ тѣль мало пользы.

Онѣ. А чѣму-же вы будете учить ее?

Я. Правильно разсуждать, если только буду въ состояніи; это такая вещь, которая рѣдко встречается у мушинъ, и еще болѣе рѣдко у женщинъ.

Онѣ. Эхъ! пусть она судить вкрай и вкось сколько ей угодно, лишь бы она была красива и забавна и кокетлива.

Я. Такъ какъ натура была столь неблагосклонна къ ней, что дала ей иѣжный организмъ съ чувствительнымъ сердцемъ и обрекла ее на такія житейскія невзгоды, которая требуютъ крѣпкаго организма и желѣзного сердца, то я постараюсь, если могу, научить ее переносить эти невзгоды съ мужествомъ.

Онѣ. Эхъ! Пусть она плачетъ, терзается, жеманится, страдаетъ разстройствомъ нервъ подобно всѣмъ другимъ, лишь бы только она была красива, забавна и кокетлива. Неужели, вы даже не будете учить ее танцамъ?

Я. Лишь столько, сколько это нужно, для того чтобы она умѣла сдѣлать реверансъ, чтобы она держала себя прилично, чтобы она умѣла войти въ комнату и чтобы она имѣла красивую походку.

Онѣ. И не будете учить пѣнію?

Я. Не болѣе того, сколько нужно, чтобы ясно выговаривать слова.

Онѣ. И не будете учить музыкѣ?

Я. Если бы нашелся хороший учитель гармоніи, я охотно прігласилъ бы его заниматься съ ней по два часа въ день, въ теченіе одного или двухъ лѣтъ, но не болѣе.

Онѣ. А на мѣсто тѣхъ существенно важныхъ предметовъ, безъ которыхъ вы намѣрены обойтись...

Я. Я ставлю грамматику, миѳологію, исторію, географію, немно-
го рисования и много нравоучений.

Онѣ. Мне было бы вовсе не трудно доказать вамъ, какъ беспо-
лезны всѣ эти познанія въ той сферѣ, среди которой мы живемъ.
Что говорю я: бесполезны! можетъ быть даже вредны! Но я огра-
ничусь пока вопросомъ: не нужно ли будетъ для нея нѣсколько на-
ставниковъ?

Я. Конечно.

Онѣ. Вотъ въ этомъ то и вся суть. Неужели вы думаете, что
они будутъ знать грамматику, миѳологію, исторію, географію и
нравы нравственности, которыхъ они будутъ ей преподавать? Бас-
ни, мой дорогой учитель, басни! Если бы они знали эти предметы
такъ хорошо, что могли бы преподавать ихъ, они не стали бы ихъ
преподавать.

Я. А почему же?

Онѣ. Потому что они провели бы всю свою жизнь, изучая ихъ!
Надо имѣть глубокія познанія въ искусствахъ и наукахъ, для того
чтобы хорошо уразумѣть ихъ основныя правила. Классическія про-
изведенія могутъ быть написаны только теми, кто посвѣдѣлъ въ ра-
ботѣ; вѣдь только середина и конецъ разгоняютъ мракъ начинаній.
Спросите у вашего пріятеля, господина д'Алембера,—этого кори-
фея математическихъ наукъ,—взялся ли бы онъ за изложенія ихъ
основныхъ принциповъ. Только послѣ тридцати или сорока лѣтъ
практики мой дядюшка понялъ глубину и первыя основы теоріи
музыки.

Я. О безумецъ, архи-безумецъ! воскликнула я, какъ можетъ
умѣститься въ твоей безнущной головѣ столько вѣрныхъ идей въ
перемышку съ столькими нелѣпостями?

Онѣ. Кто можетъ знать, отчего это происходитъ? Случайность
заносить ихъ въ голову и они остаются тамъ. Дѣло въ томъ, что
когда не знаешь всего; то ничего не знаешь какъ слѣдуетъ;—де-
знаешь, куда вещь ведеть, откуда она приходитъ, гдѣ та или дру-
гая изъ нихъ должна быть помѣщена, которая изъ нихъ должна
идти впереди, которая будетъ лучше на второмъ мѣстѣ. Развѣ мо-
жно преподавать безъ методы? А откуда берется метода? Призна-
юсь вамъ, мой милый философъ, что по моему мнѣнію физика всег-
да будетъ жалкой наукой,—всегда будетъ каплей воды; почерпну-
той изъ обширнаго океана кончикомъ иголки, всегда будетъ чес-
тиковой, отдѣлившемся отъ цѣпи Альповъ. Послѣ этого ищите при-
чины явленій природы! Право лучше ничего не знать, чѣмъ знать
такъ мало и такъ плохо. Вотъ именно этого правила я и придер-
живался, когда сталъ давать уроки музыки. О чёмъ вы задумались?

Я. Я думалъ о томъ, что все с вами сказанное не столько досто-
вѣрно, сколько оригинально. Но оставимъ это; вы говорите, что
вы учили музыку и композицію?

Онѣ. Да, на здѣсь я пришла съ сыномъ и старшимъ братомъ отъ

Я. И вы ничего не понимали въ этомъ дѣлѣ?

Она. Ровно ничего; потому то и были еще более плохие наставники, чёмъ я,—а именно тѣ, которые воображали, что они чтонибудь знаютъ. Я по крайней мѣрѣ не портилъ ни вкусы дѣтей, ни ихъ руки. Такъ какъ они ничему не научались, то переходя отъ меня къ хорошему наставнику, они не должны были разучиваться, а это было то же что сбереженіе и денегъ и времени.

Я. Какъ-же вы дѣлали?

Она. Какъ все они дѣлаютъ. Я приходилъ и разваливался въ креслахъ. „Какая скверная погода! Какая утомительная ходьба по мостовой!“ Я начинала болтать о разныхъ новостяхъ дня: „Дѣвица Лемьеръ должна была исполнять въ новой оперѣ роль весталки, но вторично забеременѣла; неизвѣстно кто замѣнить ее. Дѣвица Арну разсталась съ своимъ графчикомъ; говорятъ, что она ведетъ переговоры съ Бартеномъ.... Бѣдная Дюмениль ужъ болѣе не понимаетъ ни того что она говоритъ, ни того что она дѣлаетъ.... Возьмите же, милостивая государыня, вашу книгу“.... Въ то время какъ она, не торопясь, ищетъ затерявшуюся книгу, въ то время какъ зовутъ горничную и бранятъ ее, я продолжаю: „Клеронъ по истиинѣ дѣподражаема. Ходитъ слухъ обѣ очень странномъ бракѣ, о бракѣ дѣвицы.... какъ фамилія этого маленькаго существа, которое было на содержанії у столькихъ?—Полноте, Рамо, вы врете; это го не можетъ быть.—Я вовсе не вру; даже увѣряють, будто это дѣло конченное; ходить слухъ, что Вольтеръ умеръ; тѣмъ лучше.—А почему же тѣмъ лучше?—Потому что это значитъ, что она собирается позабавить насъ; она имѣть обыкновеніе умирать за дѣвъ недѣли передъ этимъ.... Что сказать вамъ еще? Я рассказываю какойнибудь изъ звѣрь, который переносиль изъ семейства, гдѣ я бывалъ, потому что мы все большіе сплетники. Я разыгрывала роль шута; меня слушали, смыслились и восклицали: „Какъ онъ забавенъ!“ Между тѣмъ книга моей ученицы отыскалась гдѣ-то подъ стуломъ, куда ее затащила собаченка или кошка, чтобы растрепать въ клочки. Ученица садится за фортепиано; сначала она барабанитъ на немъ одна, а потомъ я подхожу къ ней, сѣдавши матери-знати одобрѣнія. Мать говорить мнѣ: „Это идетъ не дурно; ей стбйтъ только захотѣть, но именно охоты то и нѣтъ; она предпочитаетъ терять время въ болтовнѣ, въ занятіи тряпками, въ бѣготнѣ и Богъ знаетъ еще въ чёмъ. Только что вы ушли, книга закрывается и только при вашемъ возвращенії снова раскрывается; поднако вы никогда не браните ее.“ Такъ какъ нужно-же было чѣмъ-нибудь сдѣлать, я бралъ ея руки, клады ихъ на лавашини и нациналь выражать досаду, кричать ей *soul, soul, soul*, милостивая государыня, а оттѣ *lai*. Мать: „Гдѣ же у васъ уши? Вотъ не сижу за фортепиано, и не смотрю въ вашу четверадь, а все臺灣и чувствую, что тутъ должна быть *soul*. Вы отвѣтчили на мое дѣло, вашему наставнику; я удивляюсь его терпѣнію; вы забываете все, что онъ вамъ говорить и не дѣлаете никакихъ успѣховъ....“ Тогда я понижалъ тонъ моего голоса и, начавъ головой, говорилъ:

„Извините, милостивая государыня, все шло бы хорошо, еслибы ваша дочь этого хотѣла, если бы она хоть немного трудилась; впрочемъ все идетъ недурно.“ Мать: „Наша честь я держала бы ее цѣлый годъ на одной пьесѣ.“ — „О! что касается этого, то она оставается на этой пьесѣ пока не преодолѣть всѣхъ трудностей, но этого не придется ждать такъ долго, какъ вы думаете.“ — „Господинъ Рамо, вы говорите ей незаслуженные похвалы, вы слишкомъ добры. Вѣдь одни только эти слова мои упомянуть изъ всего урока и при случаѣ будетъ мнѣ повторять ихъ....“ Часъ кончался, моя ученица подавала мнѣ билетикъ съ той граціей въ движеніяхъ, которой ее научилъ танцмейстеръ, — я клалъ его въ карманъ, а мать говорила дочери: „Очень хорошо; если бы Фавинье былъ здѣсь, онъ сталъ бы аплодировать вамъ...“ Я болтала изъ приличія еще нѣсколько мгновеній и затѣмъ исчезалъ; вотъ что называлось въ ту пору урокомъ музыки.

Я. А развѣ теперь это откладывается иначе?

Онѣ. Еще бы! Я прихожу; у меня серьзный видъ; я торопливо заворачиваю мои манжеты, открываю фортепіано, пробѣгаю пальцами по клавишамъ. Я всегда второпяхъ; если меня заставляютъ ждать одну минуту, я кричу, — точно будто у меня вытаскиваютъ изъ кармана экю; черезъ часъ мнѣ нужно быть тамъ-то, черезъ два часа мнѣ нужно быть у герцогини такой-то; къ обѣду меня ждутъ у одной прелестной маркизы, а отъ нея я отправляюсь на музыкальный вечеръ къ барону Б.**

Я. А на самомъ дѣлѣ вѣсть нигдѣ не ждутъ?

Онѣ. Это правда.

Я. Зачѣмъ-же прибѣгать къ такимъ унизительнымъ уловкамъ, къ такимъ недостойнымъ мелкимъ хитростямъ?

Онѣ. Унизительны? А почему-же онѣ унизительны? Они обычны для людей одного со мною ремесла; я не унижаю себя дѣляя то же что всѣ. Не я ихъ выдумалъ, и съ моей стороны было бы странно и неблагородно не прибѣгать къ нимъ. Я очень хорошо понимаю, что если вы примѣните къ этому случаю нѣкоторые общіе принципы какой-то странной морали, которая у всѣхъ на устахъ и которой никто не придерживается на практикѣ, то окажется, что то, чтобъ бѣло — черно, а то что черно, то бѣло. Но, господинъ философъ, вѣдь есть всеобщая совѣсть, точно такъ же есть всеобщая грамматика, и сверхъ того въ каждомъ языкѣ есть исключенія, которыхъ называются у людей ученыхъ..... да помогите же мнѣ; какъ они называются....

Я. Идиотизмами.

Онѣ. Совершенно вѣрно. И такъ каждое положеніе въ жизни имѣеть особыя исключенія изъ общей совѣсти, которая я назову идиотизмами ремесла.

Я. Понимаю. Такъ напримѣръ Фонтенель говорить хорошо, пишетъ хорошо, хотя его стиль кишитъ французскими идиотизмами.

Онѣ. А государи, министры, судьи, военные, литераторы, юво-

ката, прокуроры, торговцы, банкиры, ремесленники, учителя пѣнія, учителя танцевъ,—все это очень честные люди, хотя ихъ образъ дѣйствій во многихъ отношеніяхъ отклоняется отъ общей совѣсти и полонъ нравственныхъ идіотизмовъ. Чѣмъ древнѣе существующія учрежденія, тѣмъ болѣе идіотизмовъ, чѣмъ несчастнѣе времена, тѣмъ болѣе размножаются идіотизмы. Каковъ человѣкъ, таково и ремесло; а въ концѣ концовъ бываетъ такъ, что каково ремесло, таковъ и человѣкъ. Поэтому то каждый и старается возвысить свое ремесло сколько возможно.

Я. Изъ всей этой путаницы я понялъ только, что мало такихъ ремесль, которыми занимаются честно, или, иначе сказать, мало такихъ людей, которые честны въ своемъ ремеслѣ..

Онѣ. Да, ихъ вовсе нѣтъ; но за то мало такихъ мошенниковъ, которые не сидѣли бы въ своей лавочкѣ: все шло-бы довольно хорошо, еслибы не было такихъ людей, которыхъ называютъ усидчивыми, акуратными, строго исполняющими свои обязанности, или, —чѣмъ тоже самое,—всегда сидящими въ своей лавочкѣ, занимающимися своимъ ремесломъ съ утра до вечера и не занимающимисяничѣмъ другимъ: За то они одни богатѣютъ и пользуютсяуваженіемъ.

Я. Въ силу идіотизмовъ.

Онѣ. Да; я вижу, что вы меня поняли. И такъ идіотизмъ, общій почти для всѣхъ общественныхъ положеній,—вѣдь есть такие идіотизмы, которые свойственны всѣмъ странамъ: во всякия времена, точно такъ же какъ есть общія всѣмъ имъ глупости—общій идіотизмъ заключается въ томъ, чтобы имѣть самую обширную практику, а общая глупость заключается въ мнѣніи, будто самый искусный тотъ, у кого самая обширная практика. Вотъ два исключенія изъ общей совѣсти, съ которыми надо уживаться. Это—нѣчто въ родѣ кредита, и само по себѣ ничего не стѣбътъ, но приобрѣтаетъ цѣну благодаря общественному мнѣнію. Утверждаютъ, будто хорошая репутація лучше золотаго пояса: однако тотъ, у кого хорошая репутація, не имѣеть золотаго пояса и я замѣчаю, что въ наше время тотъ, кто носитъ золотой поясъ, едва ли нуждается въ хорошей репутаціи. Надо, по возможности, стараться имѣть и репутацію и поясъ; это я и имѣю въ виду, когда стараюсь возвысить себя въ мнѣніи другихъ путемъ того, что вы называете унизительными уловками и недостойными мелкими хитростями. Я даю мой урокъ и даю его хорошо: это общее правило; я стараюсь увѣрить, будто у меня столько уроковъ, чтобъ на нихъ недостало бы всѣхъ часовъ дня; вотъ въ чемъ заключается идіотизмъ.

Я. А уроки вы хорошо даете?

Онѣ. Да, не дурно, порядочно. Основной басъ моего дорогаго учителя упростилъ эту задачу. Прежде я кралъ деньги моихъ учениковъ, да, я ихъ кралъ, это безспорно, а теперь я ихъ заработываю по меньшей мѣрѣ такъ же какъ и другіе.

Я. И вы обкрадывали ихъ безъ угрызеній совѣсти?

Онъ. О! Безъ всякихъ угрозеній. Говорять, что когда одинъ воръ обкрадываетъ другаго, чортъ хоочеть. У родителей было огромное состояніе, нахитое Богъ вѣсть какимъ образомъ. Это были люди придворные, финансисты, крупные торговцы, банкиры, дѣльцы: я, вмѣстѣ съ множествомъ другихъ людей, которыхъ они содержали какъ и меня, помогалъ имъ возвращать неправильно нахитое. Въ природѣ всѣ породы пожираютъ, одна другую, а въ обществѣ пожираютъ другъ друга всѣ сословія. Мы чинимъ другъ надъ другомъ расправу безъ всякаго вмѣшательства со стороны представителей закона. Прежде Дешанъ мстила финансисту за князя, а сегодня мстить Гишаръ; а Дешанъ мстить за финансиста торговка модными товарами, золотыхъ дѣлъ мастеръ, обойщикъ, бѣлошвейка, мошенникъ, горничная, поваръ, шорникъ. Въ этой средѣ только глупецъ или празднолюбецъ несетъ убытки никому не дѣля вреда, и онъ этого стоить. Отсюда вы видите, что исключенія изъ общей совѣсти или нравственные идиотизмы, о которыхъ такъ много кричатъ, сами по себѣ ничтожны и что нужно только умѣть мѣтко попадать въ цѣль.

Я. Въ этомъ отношеніи я удивляюсь вашему умѣнию.

Онъ. А нужда! голосъ совѣсти и чести очень слабъ, когда въ животѣ пусто. Достаточно того, что если я разбогатѣю, я долженъ буду отдавать назадъ и я рѣшился отдавать всѣми возможными способами—ѣдой, игрой, виномъ, женщинами.

Я. Но я опасаюсь, что вы никогда не разбогатѣете.

Онъ. Я тоже въ этомъ неувѣренъ.

Я. Но еслибы это случилось, что стали бы вы дѣлать?

Онъ. То-же, что дѣлаютъ всѣ разбогатѣвшіе бѣдняки; я буду самымъ наглымъ негодяемъ, какого когда либо видали. Тогда-то я припомню все, что я отъ нихъ выносилъ и, я имъ возвращу съ придачей все, что они для меня сдѣлали. Я люблю повелѣвать и буду повелѣвать. Я люблю, чтобы меня хвалили и меня будутъ хвалить. У меня будетъ состоять на жалованье вся толпа льстецовъ, шутовъ и паразитовъ; я буду имъ говорить тоже что мнѣ говорили: „Ну, негодяи, потѣшайте меня“, и меня будутъ потѣшать, „разорвите мнѣ на клочки честныхъ людей“ и ихъ разорвутъ на клочки, если только найдутъ такихъ людей. Сверхъ того у насъ будутъ женщины; когда мы будемъ пьяны, мы будемъ говорить другъ другу ты; мы будемъ пьянствовать, будемъ рассказывать сказки, будемъ предаваться всякаго рода распутствамъ и порокамъ: это будетъ прелестно. Мы докажемъ, что у Вольтера нѣтъ генія, что вѣчно высокопарный Бюффонъ ничто иное какъ напыщенный декламаторъ; что Монтескье ничто иное какъ краснобай, а д'Аламбера мы закупоримъ въ его математику. Мы зададимъ трепку всѣмъ этимъ крошечнымъ Катонамъ, въ родѣ васъ, которые презираютъ насъ изъ зависти, у которыхъ скромность служитъ подкладкой для гордости, адержанность есть законъ необходимости. А музыка! Вотъ тогда то мы юзаймемся.

Я. Узнавши какое прекрасное употребление вы сдѣлали бы изъ богатства, я понялъ какъ достойно сожалѣнія то, что вы въ нищетѣ. Вы стали бы вести такую жизнь, которая сдѣлала бы честь человѣческому роду, была бы полезна для вашихъ согражданъ и доставила бы вамъ самимъ большую славу.

Онѣ. Но вы, какъ кажется, подшучиваете надо мной, господинъ философъ; вы не знаете надѣй кѣмъ вы насмѣхаетесь; вы не подозреваете того, что въ эту минуту я олицетворяю самую важную часть городского населенія и двора. Все равно говорили-ли наши богачи всѣхъ сословій самимъ себѣ или не говорили то-же самое, въ чемъ я вамъ сознался,—во всякомъ случаѣ жизнь, которую я велъ бы на ихъ мѣстѣ, была бы совершенно такая, какую они ведутъ. Въ томъ-то и дѣло, что вы воображаете, будто одно и тоже счастье сдѣлано для всѣхъ. Какое странное заблужденіе! Ваше счастье обусловливается въ извѣстной мѣрѣ романтическимъ настроениемъ ума, котораго у насъ вѣтъ, страннымъ характеромъ и особыми вкусами. Вы украшаете эту странную смѣсь именемъ добродѣтеля; вы называете ее философіей, но развѣ добродѣтель и философія сдѣланы для всѣхъ? Ихъ имѣть только тотъ, кто въ состояніи ихъ имѣть, и придерживается ихъ только тотъ, кто въ состояніи это дѣлать. Представьте себѣ, что весь міръ былъ бы проникнутъ мудростью и философіей; согласитесь съ тѣмъ, что онъ былъ-бы чертовски скученъ. По моему да здравствуетъ философія и мудрость Соломона!—Пить хорошія вина, наѣваться тонкими кушаньями, жить съ хорошенькими женщинами, отдыхать въ мягкой постели: помимо этого все остальное пустяки.

Я. Какъ! А защищать свое отечество?

Онѣ. Пустяки! Нѣть болѣе отечества: отъ одного полюса до другаго я ничего не вижу кроме тирановъ и рабовъ.

Я. А помогать друзьямъ?

Онѣ. Пустяки! Развѣ у когонибудь есть друзья? А если бы и были, то какая надобность дѣлать изъ нихъ людей неблагодарныхъ? Всммотритесь хорошенько и вы увидите, что оказанныя услуги почтѣ никогда не ведутъ ни къ чему другому. Признательность есть бремя, а всякое бремя сдѣлано для того, чтобы его сбрасывали съ себя.

Я. А занимать въ обществѣ какоенибудь положеніе и исполнять сопряженныя съ нимъ обязанности?

Онѣ. Пустяки! Все равно имѣть положеніе или не имѣть его, лишь бы только быть богатымъ; вѣдь всякий выбираетъ себѣ какуюнибудь дѣятельность только съ цѣллю разбогатѣть. А къ чему ведетъ исполненіе своихъ обязанностей? Къ зависти, раздорамъ и гоненіямъ. Развѣ такимъ способомъ дѣлаютъ карьеру? Нѣть: ухаживать, бывать у влиятельныхъ людей, изучать ихъ вкусы, поддѣлываться подъ ихъ прихоти, угощать ихъ порочнымъ наклонностямъ, хвалить ихъ дурныхъ дѣла,—вотъ въ чемъ весь секретъ.

Я. А наблюдать за воспитаніемъ своихъ дѣтей?

Онѣ. Пустяки! Это дѣло наставника.

Я. Но если этотъ наставникъ будетъ руководствоваться вашими принципами и будетъ пренебрегать своими обязанностями, кто будетъ за это расплачиваться?

Онѣ. Конечно не я, но можетъ быть когда нибудь мужъ моей дочери или жена моего сына.

Я. А если оба они предадутся разврату и порокамъ?

Онѣ. Это свойственно ихъ положению.

Я. А если они покроютъ себя позоромъ?

Онѣ. Чѣмъ бы человѣкъ ни дѣлалъ, онъ не можетъ покрыть себя позоромъ, если онъ богатъ.

Я. А если они раззорятся?

Онѣ. Тѣмъ хуже для нихъ.

Я. Стало быть вы не обращали-бы большаго вниманія на вашу жену?

Онѣ. Никакого. По моему мнѣнію, дѣлать все что нравится — самыи лучшій способъ обхожденія съ своей дорогой половиной. Несу жели вы думаете, что общество было бы очень привлекательно, если бы каждый изъ его членовъ исполнялъ свой долгъ?

Я. Отчего-же неѣтъ? Для меня вечеръ тогда только особенно пріятель, когда я былъ доволенъ моимъ утромъ.

Онѣ. И для меня тоже.

Я. Если свѣтскіе люди такъ разборчивы въ своихъ удовольствіяхъ, это происходитъ отъ того, что они живутъ въ совершенной праздности.

Онѣ. Не думайте этого; они много суетятся.

Я. Такъ какъ они никогда не утомляются, то они никогда не ищутъ отдохновенія.

Онѣ. Не вѣрьте этому; они постоянно измучены.

Я. Они всегда смотрятъ на развлечениѣ какъ на дѣловое занятіе, а не какъ на удовлетвореніе потребности.

Онѣ. Тѣмъ лучше; удовлетвореніе потребности всегда сопряжено съ трудомъ.

Я. Они все осушаютъ до дна. Ихъ душа деревенѣеть; ей овладѣваетъ скука. Тотъ кто отнялъ-бы у нихъ жизнь среди ихъ подавляющаго избытка, оказалъ-бы имъ услугу; вѣдь имъ знакомо счастье только съ той стороны, которая всего скорѣе притупляетъся. Я не пренебрегаю чувственными наслажденіями: у меня также есть нѣбо, которому доставляютъ удовольствіе тонкія яства и прекрасныя вина; у меня есть сердце и есть глаза, и мнѣ пріятно видѣть хорошенькую женщину. Иногда я съ удовольствіемъ принимаю участіе въ обществѣ друзей въ такихъ пирушкиахъ, которыхъ бываютъ шумы. Но я не хочу скрывать отъ васъ, что мнѣ гораздо болѣе пріятно помочь какому нибудь несчастному, окончить какое нибудь щекотливое дѣло, дать спасительный совѣтъ, прощать что нибудь поучительное, сдѣлать прогулку въ обществѣ дорогихъ для меня мушкинъ или женщины, провести нѣсколько часовъ въ за-

иятияхъ съ моими дѣтьми, написать хорошую страницу, исполнить обязанности моего положенія, сказать той, которую я люблю, что выбудь столь яѣжное и пріятное, что она за это обовьетъ своими руками мою шею. Есть такія дѣянія, что я отдалъ бы все что имѣю за то, чтобы быть въ состояніи ихъ совершить. *Магометъ*—великое произведеніе, но я предпочитаю ему возстановленіе чести Каласа.—Одинъ изъ моихъ знакомыхъ искалъ убѣжища въ Кареагенѣ; это былъ младшій сынъ семьи въ такой странѣ, где все состояніе родителей переходитъ къ старшему сыну. Онъ узнаетъ, что его старшій братъ, бывшій любимцемъ отца и матери, отнявъ у нихъ все, что они имѣли, выгналъ ихъ изъ замка и что добрые старики живутъ въ нуждѣ въ одномъ маленькомъ провинціальномъ городѣ. Что же дѣлаетъ этотъ младшій сынъ, отправившійся искать счастья на чужбинѣ, потому что родители обходились съ нимъ безчеловѣчно? Онъ присыпаетъ имъ денегъ; онъ спѣшить устроить свои дѣла, дѣлается богатымъ, снова поселяетъ отца и мать въ ихъ прежнемъ мѣстопребываніи, выдаетъ за-мужъ своихъ сестеръ. Ахъ! мой милый Рамо, этотъ человѣкъ считалъ то время самыемъ счастливымъ въ его жизни и не могъ разсказывать мнѣ о немъ безъ слезъ; даже я, передавая вамъ эту исторію, чувствуя что сердце мое бѣется и что радостный трепетъ мѣшаетъ мнѣ продолжать.

Онѣ. Какія вы странныя существа!

Я. А вы, существа достойныя сожалѣнія, если вы не въ состояніи понять, что человѣкъ можетъ возвышаться надъ тѣмъ положеніемъ, въ которое онъ поставленъ судьбою и что тотъ не можетъ быть несчастливъ, кто совершилъ два рассказанныхъ мною прекрасныхъ дѣянія.

Онѣ. Это такого рода счастье, съ которымъ мнѣ было-бы трудно освоиться, потому что оно встрѣчается такъ рѣдко. Стало быть по вашему надо быть честными людьми?

Я. Конечно, для того чтобы быть счастливымъ.

Онѣ. Однако я вижу множество честныхъ людей, которые несчастливы, и множество людей счастливыхъ, которые нечестны.

Я. Вы такъ думаете.

Онѣ. А развѣ не оттого я не знаю куда пойти сегодня вечеромъ поужинать, что я выказалъ одно мгновеніе здравый смыслъ и искренность.

Я. О яѣтъ! это потому, что вы не обладали постоянно этими качествами, это потому, что вы не поняли во-время, что прежде всего нужно создать средства существованія, независящія отъ рабского подчиненія.

Онѣ. Тѣ средства которыхъ я создалъ — все равно зависятъ они или не зависятъ отъ рабского повиновенія,—по меньшей мѣрѣ самыя удобныя для меня.

Я. Но самыя нѣвѣрныя и самыя безчестныя.

Онѣ. Но всего лучше соответствующія моимъ наклонностямъ тунеядца, глупца и негодяя.

Я съ вами согласенъ! Онъ Твой какъ я могу быть счастливымъ посредствомъ пороковъ, которые во мнѣ натуральны, которые я приобрѣлъ безъ труда и сохранию безъ усилия, которые соответствуютъ нравамъ моихъ соотечественниковъ, которые приходятся по вкусу тѣмъ, кто меня протежируетъ и больше подходитъ къ ихъ мелкимъ нуждамъ чѣмъ добродѣтели, которые стѣсняли бы ихъ, служа для нихъ съ утра до вечера укоромъ, — то было бы очень странно, если бы я сталъ мучить себя какъ каторжникъ для того, чтобы сдѣлать изъ себя нечто такое, что на меня не похоже; для того чтобы вложить въ себя характеръ, который не по мнѣ и такія качества, которыя я, чтобы не спорить, готовъ называть очень почтенными, но которыя мнѣ было бы очень трудно пріобрѣсть и примѣнить на практикѣ, которыя не привели бы ни къ чему и можетъ быть даже хуже чѣмъ ни къ чему, такъ какъ они были бы постоянной критикой на тѣхъ самыхъ богачей, у которыхъ такие бѣдняки какъ я должны искать средствъ къ существованію. Люди хвалятъ добродѣтель, но ненавидятъ ее, бѣгутъ отъ нея, потому что она обдаетъ насъ холодомъ, тогда какъ въ этомъ мірѣ надо чтобъ наши ноги были теплы; сверхъ того все это неизбѣжно навело бы меня на мрачное расположение духа. Вѣдь отчего же мы такъ часто видимъ, что благочестивые люди такъ жестокосерды, такъ несносны, такъ необходительны? Оттого что они задали себѣ такую задачу, которая не въ ихъ натурѣ; они страдаютъ, а тотъ кто страдаетъ заставляетъ страдать и другихъ: это не по вкусу ни мнѣ, ни моимъ покровителямъ; я долженъ быть весель, изворотливъ, забавенъ, шутливъ, смѣшонъ. Добродѣтель хочетъ, чтобы ее уважали, а уваженіе стѣснительно; она хочетъ чтобы ей поклонялись, а поклоненіе не забавно. Я имѣю дѣло съ такими людьми, которые скучаютъ; надо чтобы я заставлялъ ихъ смыться. А смышилъ могутъ нелѣпости и безразсудства, стало быть я долженъ быть нелѣпъ и безразсуденъ; даже еслибы я не былъ именно такимъ отъ природы, то всего проще было бы притвориться такимъ. Къ счастію я не имѣю надобности быть лицемѣромъ; ихъ и безъ того уже не мало всевозможныхъ цвѣтовъ, не считая тѣхъ, которые лицемѣрятъ передъ самыми собой. Посмотрите, напримѣръ, на кавалера де-ла-Морлиера: онъ надѣлъ шляпу на бекренъ, ходитъ зажинувъ голову вверхъ, смотрѣтъ на проходящихъ съ высока, заставляетъ свою длинную шпагу колотиться о его бока, готовъ сказать дерзость всякому: кто держитъ себя скромно, и точно будто вызываетъ на бой всякаго встрѣчнаго; а въ сущности какая его цѣль? Онъ дѣлаѣтъ все что можетъ, чтобы убѣдить себя что онъ храбрецъ, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ трусъ. Дайте ему щелчокъ по носу и онъ будетъ какъ шелковый. Хотите, чтобы онъ понизилъ свой тонъ? Заговорите сами громче, покажите ему вашу трость или дайте ему ногой тычка. Онъ самъ удивится тому, что онъ трусъ и спросить васъ, кто вамъ объ этомъ сообщилъ, откуда вы это узнали? Онъ

самъ до сихъ порь этого не зналъ; продолжительная привычка изображать изъ себя храбреца внушила ему высокое себѣ мнѣніе; онъ столько времени разыгрывалъ роль, что принялъ ее да иъчто сердце. А эта женщина, — которая убиваетъ свою плоть, постыщаетъ тюрьмы, участвуетъ во всѣхъ благотворительныхъ обществахъ, ходить опустивши гдаза внизъ и не рѣшается посмотретьъ, мужчины прямо въ глаза изъ опасенія власти, въ соблазнъ, — развѣ въ ея сердцѣ нѣть страстей, развѣ изъ ея груди не вырываются вздохи, развѣ ея темпераментъ не воспламеняется, развѣ ее не томятъ желанія, развѣ ея воображеніе не рисуетъ ей.... А если бы нашъ другъ Рамо вздумалъ выказывать презрѣніе къ богатству, къ женщинамъ, къ вкуснымъ обѣдамъ, къ праздности и сталъ бы выдавать себя за стеденаго человѣка, развѣ онъ не превратился бы въ лицемѣра? Рамо долженъ быть такимъ, каковъ онъ есть—частливы разбойникомъ среди богатыхъ разбойниковъ, а не фанфарономъ добродѣтели и даже не добродѣльнымъ человѣкомъ, питающимся коркой черстваго хлѣба въ обществѣ другихъ бѣдняковъ. Короче сказать, мнѣ не по вкусу ни ваше счастье, ни счастье мечтателей одного съ вами покрова.

Я. Я вижу, мой милый, что вамъ незнакомо это счастье и что вы даже не способны его понять.

Онѣ. Тѣмъ лучше, уверяю васъ, тѣмъ лучше. Оно заставило бы меня умирать отъ голода, отъ скуки и даже, можетъ быть, отъ угрозей совѣсти.

Я. Поэтому я могу вамъ дать только одинъ совѣтъ—возвратиться поскорѣй въ тотъ домъ, откуда васъ выгнали вслѣдствіе вашей опрометчивости.

Онѣ. И дѣлать то, чего вы не порицаете безусловно, но чего мнѣ не хотѣлось бы дѣлать по яѣкоторымъ соображеніямъ.

Я. Какая странность!

Онѣ. Тутъ ничего нѣтъ странного; я готовъ дѣлать подлости, но я не хочу дѣлать ихъ по принужденію. Я готовъ унижать мое достоинство.... Вы смеетесь?

Я. Да, меня смѣшитъ ваше достоинство.

Онѣ. У всякаго свое. Я готовъ позабывать о моемъ достоинствѣ, но по моей волѣ, а не по приказанію другихъ. Развѣ я могу допустить чтобы мнѣ говорили: ползай и чтобы это обязывало меня ползать? Это—аллюръ червяка и мой; мы оба держимся его, когда намъ не мѣшаютъ, но мы выпрямляемся, когда наступаютъ намъ на хвостъ; мнѣ наступили на хвостъ, и я выпрямился. Сверхъ того вы не имѣете никакого понятія о томъ уродливомъ существѣ, о которомъ идетъ рѣчь. Представьте себѣ задумчиваго и угрюмаго человѣка, изнемогающаго отъ принадѣлокъ ипохондрии и закутаннаго въ два или три оборота въ свой халатъ; онъ не доволенъ и самимъ собою и, всѣмъ на свѣтѣ; его съ трудомъ можно разсмѣшить даже исковеркавъ свое тѣло и свой умъ на тысячу ладовъ; онъ хладнокровно смотрѣть на забавныя кричанія моего лица и на

кривлявъ моей фантазіи, которая еще болѣе забавна. Какъ бы я ни старался достигнуть той высоты, до которой доходить жильцы дома умалишеныхъ,—все напрасно! Разсмеяется ли онъ или не разсмеяется? Вотъ что я вынужденъ спрашивать у самаго себя среди моихъ кривлений; а вы легко поймете, какъ такая неуверенность вредить таланту. Мой иноходчикъ съ головой закутанной въ ночной колпакъ, который закрываетъ ему глаза, похожъ на неподвижную пагоду, къ подбородку которой прикрепили лягушку, спускающуюся подъ самое кресло. Вы ждете чтобы лягушка зашевелилась, но она не шевелится; если же случается, что ротъ полуоткроется, то это для того, чтобы произнести прискорбное для васъ слово,—такое слово, которое доказываетъ вамъ, что на васъ не обращали никакого вниманія и что всѣ ваши кривлянья пропали безъ пользы. Это слово есть отвѣтъ на одинъ изъ вопросовъ, которые вы дѣлали ему дни четыре тому назадъ, и послѣ того какъ оно произнесено (соскѣвидный мускулъ сжимается) и ротъ закрывается (Всѣдѣ затѣмъ онъ сталъ передразнивать старика. Онъ сѣялъ въ кресла, голова его была неподвижна, шляпа была надвинута на лобъ до самыхъ бровей, глаза были полузакрыты, руки висѣли, а ротъ шевелился какъ у автомата). Нечайный, угрюмый и въ своихъ приговорахъ рѣзкий какъ судьба,—таковъ нашъ патронъ.

Противъ него сидѣть прѣчудница, которая разыгрываетъ изъ себѣ важную особу, и которой можно было решиться сказать, что она хороша, потому что она действительно хороша; хотя у нея на лицахъ мѣстами прыщи. Сверхъ того она злѣе, горже и глуше всячаго гуся. Сверхъ того, она хочетъ, чтобы думали, что она умна. Сверхъ того, надо увѣрять ее, что она такъ умна, какъ никто. Сверхъ того, она ничего не знаетъ, а все рѣшаетъ. Сверхъ того, надо апплицировать ея рѣшеніямъ и руками и ногами, надо пригать отъ радости и цѣнить отъ восторга: „какъ это прекрасно, какъ это тонко, какъ это хорошо сказано, какъ это тонко подмѣчено, какъ это чудно прочувствовано! И откуда все это женщины берутъ? Безъ серебряныхъ знаний, одной силой инстинкта, однимъ природнымъ даромъ! Это настоящее чудо! И послѣ этого пусть еще попробуютъ увѣрять насъ, будто для этого нужна опытность, знаніе, размыщеніе, воспитаніе!....“ Надо выскаживать другія подобныя неизѣпости и плакать отъ радости, надо десять разъ въ день прѣклоняться передъ ней, такъ чтобы колено одной ноги было согнуто, другая нога была вытянута назадъ и руки были протянуты къ богинѣ, надо угадывать ее желанія изъ ее взоровъ, надо ловить каждое слово, которое упадетъ съ ее устъ, надо ждать ее приказаний и получивши ихъ, летѣть какъ стрѣла. Кто захочетъ взять на себя такую роль, кроме тѣхъ жалкихъ тварей, которая находить тамъ раза два или три въ недѣлю, чтобы удовлетворить требованія своихъ жаждущихъ?

Я никогда не могъ бы подумать, что вы тѣтъ взыскательны.

Онъ. Я вовсе не взыскатель. Я сначала наблюдалъ, какъ дѣлаютъ другіе и дѣлалъ, какъ они, даже немного лучше, потому что у меня болѣе откровенной наглости, потому что я лучше умюю разыгрывать комедію, потому что я болѣе изморился голодомъ и потому что у меня болѣе здоровыя легкія. Я должно быть происхожу по прямой линіи отъ знаменитаго Стендера...

(И чтобы дать мнѣ понятіе о силѣ своего голоса, отъ сталъ такъ громко кашлять, что въ кофейной затряслись оконныя стекла, а шахматные игроки пристановили игру).

Я. Но къ чему же служить этотъ талантъ?

Онъ. Развѣ вы не догадываетесь?

Я. Нѣтъ; я не способенъ быстро соображать.

Онъ. Предположите, что завязался споръ и что побѣда еще не склонилась ни на чью сторону; я встаю и громовымъ голосомъ объявлю: „Это такъ, какъ утверждаетъ, дѣвица вотъ что по истинѣ можно назвать дѣльнымъ мнѣніемъ. Въ немъ видна гениальность“. Однако не слѣдуетъ ободрять всегда однимъ и тѣмъ же образомъ, иначе сдѣлаешься монотоннымъ, будешь казаться неискреннимъ, и всѣмъ надоѣшь. Этого можно избѣжать только при помощи смѣтливости и находчивости; надо умѣть подготовить и кстати пустить въ ходъ свой мажорный и рѣшительный тонъ, надо умѣть пользоваться случаемъ и удобной минутой. Напримеръ, когда мнѣнія расходятся, когда споръ достигъ высшей степени ожесточенія, когда ничего нельзя разслышать и все говорятъ въ одно время, тогда нужно стать въ сторонѣ въ углу комнаты, самому отдаленномъ отъ поля битвы, надо подготовить свой взрывъ долгимъ молчаниемъ и потомъ, внезапно, участь какъ громовой ударъ промеж спорящихъ; никто не обладаетъ этимъ искусствомъ, какъ я. Но въ чемъ я перазителенъ—это въ противоположныхъ приемахъ: у меня есть слабые тоны голоса, которые я сопровождаю улыбкой, есть безконечное разнообразіе одобрительныхъ ужимокъ; тутъ участвуютъ и щеки и ротъ и лобъ и глаза; я обладаю удивительной гибкостью поясницы, и особенной манерой сгибать позвоночный хребетъ, подымать или опускать плечи, растропыривать пальцы и приходить въ остолбненіе, точно будто я слышала исходящій съ неба ангельскій и божественный голосъ; вотъ именно это-то и льстить самолюбію. Не знаю, поняли ли вы всю выразительность этой послѣдней поэзіи; не я ее выдумала, но въ примѣненіи ее на практикѣ еще никогда никто не могъ меня превзойти. Посмотрите, посмотрите.

Я. Действительно, это денонастаемо.

Онъ. Не думаете ли вы, что найдется такая женская головка, которая способна и противъ этого устоять?

Я. Не думаю; я должна сознаться, что въ искусствахъ разыгрывать изъ себя шута и унижать себѣ, вы зашли такъ далеко, какъ и только можно.

Онъ. Чѣмъ бы они ни дѣлали, все они, безъ исключенія, они, видите, когда до этого не доѣдутъ; напримѣръ: лучший изъ нихъ Шадисе

всегда будетъ не болѣе какъ хорошимъ ученикомъ. Но хотя эта роль въ началѣ забавляетъ и хотя находишь вѣкоторое удовольствіе въ томъ, что внутренне смишься надъ тѣми, кого морочишь, въ концѣ концовъ она утрачиваетъ пикантность и послѣ вѣсколькихъ новыхъ открытій бываешь вынужденъ повторяться: вѣдь и умъ и искусство имѣютъ свои предѣлы; только для Бога и для вѣсколькихъ рѣдкихъ геніевъ поприще расширяется по мѣрѣ движенія впередъ.

Я. При такой любви ко всему прекрасному и при такихъ геніальныхъ дарованіяхъ, неужели вы ничего не изобрѣли?

Онъ. Извините а напримѣръ выражавший восторгъ изгибъ спины, о которомъ я вамъ говорилъ; я считаю его моимъ изобрѣтеніемъ, еслибы даже у меня и стали его оспоривать вѣкоторые завистники. Я охотно вѣрю, что и до меня его употребляли въ дѣло, но кто другой могъ понимать, въ какой мѣрѣ онъ удобенъ для того, чтобы внутренно подсмѣиваться надъ глупцомъ, которымъ мы повидимому восхищаемся? У меня есть сто способовъ приступить къ обольщению молодой девушки въ присутствіи ея матери такъ, что эта послѣдняя ничего не замѣтитъ и даже будетъ помогать мнѣ. Съ самаго вступленія на это подрище я всегда пренебрегалъ пошлыми средствами передавать любовныя записочки; у меня есть десятокъ способовъ устроить такъ, что онъ будутъ взяты изъ моихъ рукъ и я смѣю лѣстить себя надеждой, что въ числѣ этихъ способовъ есть совершенно новые. Я въ особенности обладаю талантомъ ободрять робкихъ молодыхъ людей; вѣкоторые изъ нихъ благодаря мнѣ имѣли полный успѣхъ, хотя не отличались ни умомъ, ни наружностью. Еслибы все это было изложено письменно, я полагаю что за мной признали-бы вѣкоторую геніальность.

Я. Это доставило-бы вамъ оригиналную известность.

Онъ. Я въ этомъ и не сомнѣваюсь.

Я. На вашемъ мѣстѣ я, наверное, бы эти вещи на бумагѣ. Было-бы жаль, еслибы онъ пропали безследно.

Онъ. Это правда; но вы не можете себѣ представить, какъ мало я придаю значенія методу и принципамъ. Тотъ, кому нужно составленіе протоколовъ, не далеко пойдетъ; геніи мало читаются, многому научаются на опытѣ и формируются сами собой. Посмотрите на Цезаря, на Тюрана, на Вобана, на маркизу де-Тенсенъ, на ея брата—кардинала, на секретаря этого кардинала аббата Трюблѣ и на Бурѣ? Кто даваль Бурѣ уроки? Никто; сама природа образуетъ такихъ рѣдкихъ людей.

Я. Но въ ваши свободные часы, когда томленіе вашего пустаго желудка или тяжесть вашего переполненнаго желудка не позволяетъ вамъ уснуть...

Онъ. Я обѣ этомъ подумаю. Лучше писать великія вещи, чѣмъ совершать малыя. Тогда душа возвышается, воображеніе разгорячается, воспламеняется и пріобрѣтаетъ необыкновенную ширину полета; напротивъ того, оно суживается, когда въ присутствіи ка-

шай маленькой патронши мы выражаемъ удивленіе по поводу апплодисментовъ, расточаемыхъ глупой публикой этой жеманной Данжевилль, которая играѣтъ такъ безсмысленно, ходить по сцѣнѣ почти согнувшись пополамъ, притворяется будто смотрѣть прямо въ глаза тому съ кѣмъ говорить, а сама смотрѣть по сторонамъ, считаетъ выдѣльваемый ею гримасы за вѣчно изящное и полагаетъ что ея манера ходить крошечными шагами очень грациозна; — или по поводу того, что иные восхищаются этой напышенной Клеронъ, которая худа, накрашена, неестественна и натянута до крайности. Глупый партеръ хлопаетъ ей изо всѣхъ силъ, но не замѣчаетъ, что въ наѣ масса прелестей — что у наѣ прелестная кожа, прекрасные глаза, хорошенъкое личико, хотя при этомъ немногого внутреннихъ достоинствъ, но походка если не очень легкая, то и не такая неловкая, какъ говорить. За то, что касается чувствъ, никто не можетъ съ нами равняться.

Я. Что хотите вы этимъ сказать? Говорите ли вы искренно или въ насмѣшку?

Онѣ. Къ несчастію эти чертовскія чувства всѣ внутри, и нарушу отъ нихъ не выходить даже слабаго отраженія; но я знаю и навѣрно знаю, что они у нея есть. Надо только посмотреть, какъ они действуютъ, когда на нее находить блажь, какъ она обходится съ лакеями, какъ она бѣть по щекамъ горничныхъ, какъ она выталкиваетъ ногами пріятеля, который нарушилъ должное къ ней уваженіе. Увѣрю васъ, что это маленький чertъ, полный чувствъ и достоинства... Однако, вы кажется не понимаете, что я хочу сказать?

Я. Признаюсь, я не могу понять, говорите-ли вы чистосердечно или изъ чувства злобы. Я прямой человѣкъ; поэтому прошу васъ выражаться съ больше ясностью и отложить въ сторону всякие извороты.

Онѣ. Вѣдь все это мы разсказываемъ нашей маленькой патронишѣ касательно Данжевилль и Клеронъ, по временамъ пересыпая нашъ разсказъ нѣкоторыми словами, изъ которыхъ можно догадаться, что мы неискренни. Я допускаю, что вы считаете менѣ за негодяя, но не допускаю, чтобы вы считали меня за глупца; а только глупецъ или влюбленный могъ бы серьозно говорить такія нелѣпости.

Я. Но какъ-же можно рѣшиться ихъ высказывать?

Онѣ. Это не дѣлается съ разу, но до этого доходить мало по ма-
лу. *Ingenii largitor ventus.*

Я. Для этого нужно сильно страдать голодомъ.

Онѣ. Можетъ быть. Однако, какъ бы ни казались вамъ нелѣпы эти мнѣнія, повѣрьте мнѣ, что тѣ, кому они высказываются, гораздо болѣе привыкли ихъ слышать, чымъ мы привыкли дозволять себѣ эту смѣлость.

Я. И неужели находится ктонибудь, кто осмѣливается разъ-
лять ваши мнѣнія?

Онѣ. Что разумѣете вы подъ словами ктонибудь? Вѣдь въ на-
шемъ кружкѣ все такъ думаютъ и такъ говорятъ.

Я. Тѣ изъ васъ, которые не страшные негодяи, должны быть страшные глупцы.

Онѣ. Глупцы? Клянусь вамъ, что есть только одинъ глупецъ—тотъ, кто насъ угощаетъ за то, что мы его морочимъ.

Я. Но я не понимаю, какъ можно допустить, чтобы насъ морочили такимъ грубымъ образомъ. Вѣдь превосходство талантовъ Данжевилль и Клеронъ всѣми признано.

Онѣ. Люди пьютъ большими глотками ложь, которая льстить ихъ самолюбію, а правду, которая имъ непріятна, они пьютъ по каплямъ. Къ тому же мы съ виду такъ глубоко убѣждены, такъ искрени!

Я. Не можетъ-же быть, чтобы вамъ никогда не случалось нарушить правила вашего искусства и нечаянно высказать одну изъ тѣхъ горькихъ истинъ, которыхъ оскорбительны для самолюбія;—вѣдь не смотря на то, что вы исполняете самую жалкую, самую низкую и самую отвратительную роль, я полагаю что въ сущности у васъ должно быть въ глубинѣ души иѣкоторое благородство.

Онѣ. У меня! Вовсе иѣтъ. Чортъ меня побери, если я знаю, какъ я въ сущности! Вообще у меня умъ круглый какъ шаръ, а характеръ гибкій какъ ива. Я никогда не фальшу, если только мнѣ выгодно быть правдивымъ и никогда не бываю правдивъ, если мнѣ выгодно быть фальшивымъ. Я говорю что вздумается; если говорю толково, тѣмъ лучше; если говорю вздоръ, на него не обращаютъ вниманія. Я не стѣсняюсь въ выборѣ выражений. Я никогда въ моей жизни не размышилялъ ни прежде того, чтобы говорить, ни въ то время какъ говорилъ, ни послѣ того какъ говорилъ; за то моими словами никто и не обижается.

Я. Однако это случилось съ вами у тѣхъ почтенныхъ людей, у которыхъ вы жили и которые были такъ добры къ вамъ.

Онѣ. Чѣмъ дѣлать? Это было несчастье, это былъ одинъ изъ тѣхъ дурныхъ моментовъ, которые неизбѣжны въ жизни; непрерывнаго благополучія не существуетъ: мнѣ было слишкомъ хорошо и это не могло продолжаться вѣчно. У насъ, какъ вамъ известно, собирались очень многочисленное и самое избранное общество. Это была школа человѣколюбія, это напоминало старинное гостепріимство; тутъ сходились всѣ поэты, у которыхъ талантъ начиналъ спадать, всѣ неимѣвшіе успѣха музыканты, всѣ авторы которыхъ никто не читаетъ, всѣ освистанныя актрисы и актеры, и пѣла масса бѣдняковъ, пошляковъ и паразитовъ, во главѣ которыхъ я выступалъ какъ храбрый вождь, толпы трусовъ. Я приглашалъ ихъ есть не церемонясь, когда они въ первый разъ приходили въ домъ; я приказывалъ, чтобы имъ дали пить;—вѣдь они были такъ застѣнчивы. Тамъ было иѣсколько молодыхъ людей, которые были въ лохмотьяхъ и не знали куда дѣться, но у которыхъ была счастливая наружность; тамъ были также негодяи, которые ухаживали за патрономъ и старались усыпить его для того, чтобы тѣмъ временемъ поживиться чѣмъ нибудь отъ патронши. Мы съ виду весели, но въ дѣй-

ствительности мы въ печальномъ настроеніи духа и страшно голодны. Волки не болѣе жадны, тигры не болѣе жестокосерды. Мы наѣдаемся точно волки послѣ того какъ земля пробыла долгое время подъ снѣгомъ, и точно тигры рвемъ въ клочки все, что имѣть успѣхъ. Никто еще никогда не видалъ собранія столькихъ ожесточенныхъ, злобныхъ и ядовитыхъ тварей. Вы не слышите другихъ именъ, кромѣ именъ Бюффона, Дюкло, Монтескье, Руссо, Вольтера, д'Аламбера, Дидро. И Богъ вѣсть какими эпитетами сопровождаются эти имена! Мы не признаемъ таланта за тѣми, кто не такъ глупъ какъ мы. Тамъ-то и былъ задуманъ планъ комедіи *Философы*; въ этой комедіи и вѣсъ не пощадили болѣе чѣмъ кого либо другаго.

Я. Тѣмъ лучше! Этимъ дѣлаютъ мнѣ больше чести, чѣмъ сколько я стою. Я считалъ бы себя оскорблѣннымъ, если бы меня стали хвалить тѣ, которые бранятъ столькихъ талантливыхъ и честныхъ людей.

Онѣ. Насъ много, и каждый долженъ уплатить свою дань; принася въ жертву крупныхъ животныхъ, мы принимаемся и за остальныхъ.

Я. Поносить и науку и добродѣтель для того чтобы жить—значить покупать насущный хлѣбъ слишкомъ дорогой цѣнной.

Онѣ. Я вамъ уже сказалъ, что мы люди безъ всякаго вѣса; мы поносимъ рѣшительно всѣхъ, но мы никому не причиняемъ огорченій. У насъ иногда бываетъ и глупый аббатъ д'Оливѣ и толстый аббатъ ле-Бланъ и лицемѣръ Баттѣ; толстый аббатъ бываетъ золь только до обѣда. Выпивъ свой кофе, онъ усаживается въ кресло, упирается ногами въ каминъ и засыпаетъ какъ старый попугай на своей жердочкѣ. Если подымается слишкомъ шумный разговоръ, онъ начинаетъ зѣвать, вытягивать свои руки, протирать глаза и говорить: „Да въ чёмъ же дѣло?—Рѣчъ идетъ о томъ, правда-ли что у Пирона болѣе остроумія нежели у Вольтера.—Не слѣдуетъ забывать, что рѣчъ идетъ объ остроуміи, а не о вкусѣ, потому что Пиронъ не подозрѣваетъ даже существованія этого послѣдняго.—Даже не подозрѣваетъ существованія?—Нѣтъ...“ И вотъ между нами завязывается споръ о вкусѣ. Тогда патронъ дѣлаетъ рукой знакъ, чтобы его слушали, потому что именно по этой части онъ считаетъ себя самыемъ свѣдущимъ. „Вкусъ, говорить онъ,—вкусъ такая вещь...“ Но клянусь вамъ я не понялъ, что онъ хотѣлъ сказать, да и онъ самъ не понималъ.

Иногда посѣщаетъ насъ и пріятель Роббэ; онъ угощаетъ насъ двусмысленными рассказами, описаніемъ чудесъ, которыя творятся какими-то фанатиками и которыя онъ видѣлъ собственными глазами, а также чтеніемъ нѣкоторыхъ пѣсней изъ его собственной поэмы, написанной на такой сюжетъ, который онъ изучилъ вполнѣ. Я терпѣть не могу его стиховъ, но люблю слушать, какъ онъ ихъ декламируетъ; тогда онъ бываетъ похожъ на человѣка одержимаго бѣсомъ. Всѣ окружающіе восклицаютъ: „Вотъ это настоящій поэтъ!..“

Къ намъ также приходитъ иногда одинъ простофия, который съ виду пошлъ и глупъ, а на самомъ дѣль уменъ какъ черть и хитрѣ старой обвязаны. Это одна изъ такихъ личностей, которыхъ вызываютъ васъ на шутки и насмѣшки, и которыхъ Богъ создалъ для исправленія тѣхъ людей, которые судятъ по наружности и которые должны бы были убѣдиться глядя въ зеркало, что такъ же не трудно принимать видъ глупца, будучи умнымъ человѣкомъ, какъ не трудно скрывать свою глупость подъ маской остроумія. Это общая большинству людей слабость,—что они нападаютъ на добряка для того чтобы позабавить другихъ на его счетъ; оттого-то все и нападали на нашего простофия. Это была западня, которую мы разставляли для новыхъ пришельцевъ, и я не видѣлъ почти ни одного изъ нихъ, который не попался-бы въ нее...

(Я иногда удивлялся вѣрности, съ которой этотъ безумецъ судилъ людей и характеры, и я ему это высказалъ). Это происходитъ отъ того,—отвѣчалъ онъ мнѣ,—что изъ дурнаго общества выносится польза, точно такъ же какъ изъ распутства; утрата невинности вознаграждается утратой предразсудковъ: въ обществѣ дурныхъ людей порокъ выказываетъ себя во всей наготѣ и потому представляется возможность хорошо изучить ихъ; къ тому-же я читаль кое-что.

Я. Что же вы читали?

Онѣ. Я читалъ, читаю и безпрестанно перечитываю Теофраста, Лабрюэйра и Мольера.

Я. Это превосходныя произведенія.

Онѣ. Они гораздо лучше чѣмъ думають; но кто же умѣеть ихъ читать?

Я. Всѣ, соразмѣрно съ своими умственными способностями.

Онѣ. Почти никто. Можете-ли вы сказать мнѣ, чѣго въ нихъ ишутъ?

Я. Развлеченія и поученій.

Онѣ. Но какихъ именно поученій? Вѣдь въ этомъ вся суть.

Я. Познанія своихъ обязанностей, любви къ добродѣтели, ненависти къ пороку.

Онѣ. Я же извлекаю изъ нихъ все, что слѣдуетъ дѣлать и все, чѣго не слѣдуетъ говорить. Такъ напримѣръ, когда я читаю *Скупца*, я говорю самому себѣ: будь скൃпъ если хочешь, но берегись выражаться какъ скൃпецъ. Когда я читаю *Тартюфа*, я говорю самому себѣ: будь лицемѣръ если хочешь, но не говори какъ лицемѣръ. Береги пороки, которые полезны для тебя, но не имѣй ни ихъ тона, ни ихъ наружнаго вида, которые сдѣлали-бы тебя смѣшнымъ. Чтобы предохранить себя отъ этого тона и отъ этого наружнаго вида, надо ихъ изучить, а именно названные авторы и описали ихъ какъ нельзя лучше. Я таковъ какъ есть, и остаюсь такимъ каковъ есть, но дѣйствую и говорю какъ слѣдуетъ дѣйствовать и говорить. Я не изъ числа тѣхъ, кто презираетъ моралистовъ; отъ нихъ можно многому научиться и въ особенности отъ тѣхъ

изъ вихъ, которые излагають мораль въ дѣйствіи. Порокъ лишь изрѣдка оскорбляетъ людей, а отличительные признаки порока оскорбляютъ ихъ съ утра до вечера. Едва ли не лучше быть на самомъ дѣлѣ нахаломъ, чѣмъ имѣть нахальная физіономію; кто нахаленъ по характеру, тотъ оскорбляетъ васъ лишь отъ времени до времени, а у кого нахальная физіономія, тотъ оскорбляетъ васъ постоянно. Впрочемъ не думайте, что я одинъ читаю такимъ образомъ; въ этомъ случаѣ моя заслуга заключается только въ томъ, что я дѣлаю вслѣдствіе систематичности, смѣтливости и правильности взгляда то же самое, что многие другие дѣлаютъ по инстинкту. Отсюда происходитъ то, что чтеніе не дѣлаетъ ихъ болѣе хорошими чѣмъ я, и что они все таки остаются смѣшными даже этого не желая, тогда какъ я бываю смѣшонъ только тогда, когда этого хочу и въ этихъ случаяхъ оставляю ихъ далеко позади меня; вѣдь не слѣдуетъ позабывать, что то же самое искусство, которое даетъ мнѣ возможность въ извѣстныхъ случаяхъ уклоняться отъ роли шута, научаетъ меня, когда нужно, какъ исполнять эту роль всего успѣши. Тогда я припоминаю все, что говорили другие, все что я читалъ и присовокупляю къ этому все что есть плодъ моихъ собственныхъ дарованій, которыхъ въ этомъ жанрѣ поразительно плодовиты.

Я. Вы хорошо сдѣлали, что повѣдали мнѣ эти тайны, потому что иначе я могъ бы подумать, что вы въ противорѣчіи съ самимъ собою.

Онѣ. Я вовсе не противорѣчу самому себѣ, потому что на одинъ случай, когда нужно избѣгать роли шута, къ счастію приходится сто случаевъ, когда нужно ее разыгрывать. Въ средѣ высокопоставленныхъ людей нѣть лучшей роли, чѣмъ роль глупца. Въ теченіи долгаго времени существовало официальное званіе королевскаго шута, но никогда еще не существовало званіе королевскаго мудреца. Я—шутъ Бертина и многихъ другихъ и въ настоящую минуту можетъ быть вашъ, или можетъ быть вы—мой. Кто мудръ, тотъ не держаль-бы при себѣ шута, стало быть тотъ, кто держить при себѣ шута, не мудръ; если же онъ не мудръ, онъ самъ шутъ или можетъ быть онъ шутъ своего шута. Не слѣдуетъ, впрочемъ, позабывать, что въ такомъ измѣнчивомъ предметѣ какъ нравы, нѣть ничего что было-бы безусловно, существенно и вообще вѣрно или ложно, кроме того правила, что слѣдуетъ быть такимъ, какимъ приказывается быть разсчетъ—хорошимъ или дурнымъ, мудрецомъ или шутомъ, пристойнымъ или смѣшнымъ, честнымъ или порочнымъ. Если бы добродѣтель вела къ богатству, я или былъ бы добродѣтелемъ или подобно другимъ представлялся бы добродѣтелемъ; но отъ меня хотѣли, чтобы я былъ смѣшонъ и я сдѣлалъ себя смѣшнымъ; что же касается до того, что я пороченъ, то я этимъ обязанъ одной натурѣ. Впрочемъ, когда я говорю пороченъ, я примѣняюсь къ вашему способу выраженія; вѣдь если бы мы за-

хотѣли объясниться откровенно, вѣроятно оказалось бы, что вы называете порокомъ то, что я называю добродѣтелью, а добродѣтелью то, что я называю порокомъ.

У насъ бываютъ также авторы изъ *Комической оперы*, ихъ актеры и актрисы, и еще чаще ихъ импрезаріи; это все люди со средствами и съ самыми высокими достоинствами. Я позабылъ еще упомянуть о великихъ литературныхъ критикахъ, о всей этой сволочи, которая пишеть въ *l' Avant-Coureur*, *les Petites Affiches*, *l' Année littéraire*, *l' Observateur littéraire*, *le Censeur hebdomadaire*.

Я. L' Année littéraire! L' Observateur littéraire! Это не можетъ быть; вѣдь они ненавидятъ другъ друга.

Онъ. Это правда; но всѣ бѣдяки мирятся между собою за суповой чашкой. Эта проклятый *Observateur littéraire*, чтобы чортъ побралъ и его самого и его печатные листы! Именно этотъ проклятый маленький жадный попъ и былъ причиной моего несчастія. Вчера онъ появился въ первый разъ на нашемъ горизонте; онъ вошелъ въ ту минуту, когда мы всѣ вылезаемъ изъ нашихъ берлогъ,—въ ту минуту, когда столъ накрытъ.... Подаютъ кушанье, съ аббатомъ обращаются какъ съ почетнымъ гостемъ и сажаютъ его на первое мѣсто. Я вхожу и, увидѣвши его, говорю ему: „какъ, господинъ аббать, вы здѣсь сидите на первомъ мѣстѣ? Сегоднѧ такъ и должно быть, но завтра вы спуститесь ниже на одинъ приборъ, послѣ завтра еще на одинъ приборъ и такимъ образомъ будете передвигаться отъ одного прибора къ другому направо или налево, пока съ того мѣста, которое я занималъ однажды до васъ, Фрeronъ однажды послѣ меня, Дорѣ однажды послѣ Фрeronа, Палиссо однажды послѣ Дорѣ, вы наконецъ не займете постоянного мѣста подлѣ меня, такого же жалкаго бездѣльника, какъ и вы, che siede sempre come un maestoso saggo fra due i coglion i. (Итальянская поговорка по своему содержанию неудобная для перевода). Такъ какъ аббать добрый малый и на все смотритъ съ хорошей стороны, то онъ разсмѣялся; дѣвица N., пораженная вѣрностью сдѣланнаго мною сравненія, расхоталаась; тѣ, которые сидѣли направо и налево отъ аббата или которыхъ онъ заставилъ передвигнуться на одинъ приборъ, стали смѣяться; всѣ смѣялись кроме хозяина, который разсердился и сталъ говорить мнѣ такія слова, которыхъ не имѣли бы для меня никакого значенія, если бы я былъ съ нимъ вдвоеъ... „Вы дерзки.—Я это знаю, и вы приняли меня на этомъ условіи.—Вы бездѣльникъ.—Какъ и всякий другой.—Вы оборванецъ.—Не будь я такимъ, развѣ я бы былъ бы здѣсь?—Я велю выгнать васъ.—Послѣ обѣда я самъ уйду...—Я вамъ это совѣту...“ Мы стали обѣдать и я продолжалъ шутить по прежнему. Хорошо наѣвшись и напившись вдоволь (вѣдь господинъ желудокъ такая особа, на которую я никогда не дуюсь), я принялъ мое рѣшеніе и сталъ собираться уходить; я далъ слово въ присутствіи столькихъ свидѣтелей, что не могъ не сдержать его.

Я довольно долго бродил по комнатѣ, отыскивая палку и шляпу тамъ, гдѣ ихъ не было и разсчитывая на то, что патронъ разразится новыми ругательствами, что кто нибудь возьметъ на себя роль посредника и что, набравшись вдоволь, мы въ концѣ концовъ помиримся. Я вертѣлся все на одномъ мѣстѣ, потому что у меня ничего не было на сердцѣ; но патронъ, болѣе мрачный и нахмуренный чѣмъ Гомеровъ Аполлонъ, когда онъ металъ свои стрѣлы въ греческую армию, еще болѣе обыкновенного надвинулъ на добѣ свой колпакъ и ходилъ въ волненіи взадъ и впередъ по комнатѣ. Барышня подходитъ ко мнѣ: „Да что же случилось необычайного?“ говорю я ей. „Развѣ сегодня я не былъ такимъ же какъ всегда?“ — „Я требую, чтобы онъ шелъ вонъ“. — „Я уйду. Но я не сдѣлалъ ему никакой невѣжливости“. — „Извините; приглашаютъ г-на аббата, а вы...“ — „Хозяинъ самъ сдѣлалъ ошибку приглашая аббата и въ то же время принимая въ домъ меня и вмѣстѣ со мною столько другихъ негодяевъ. Я....“ — „Полноте, мой милый... надо чтобы вы просили извиненія у г-на аббата“. — „Къ чему мнѣ его извиненіе?“ — „Полноте, полноте, все это уладится мирно...“ Меня берутъ за руки и тащатъ къ креслу аббата; я протягиavo руки и смотрю на аббата съ нѣкоторымъ удивленіемъ, такъ какъ я думаю еще никогда никто не просилъ у него извиненія. „Г-нъ аббатъ“, — говорю я ему, — „все это очень нелѣпо, неправда-ли?“ Затѣмъ я начинаю хохотать, а вслѣдъ за мною и аббатъ. И такъ съ одной стороны мнѣ все извинили, но нужно было еще обратиться къ другой сторонѣ, а съ хозяиномъ нужно было выражаться иначе. Я не припомню въ какихъ именно выраженіяхъ я стала извиняться передъ нимъ: „Милостивый государь, вотъ тотъ безумецъ...—Онъ уже давно причиняетъ мнѣ непріятности; я не хочу и слышать о немъ.—Онъ сердится.—Да я сержусь.—Этого болѣе не случится...—Пока первый негодяй...“ Я не знаю былъ ли это одинъ изъ тѣхъ дней, когда онъ въ такомъ дурномъ расположеніи духа, что даже барышня не смѣеть близко подходить къ нему, или можетъ быть онъ не разслышалъ моихъ словъ, или можетъ быть я неясно выразился,—но дѣло приняло еще худшій оборотъ, чѣмъ прежде. Чортъ возьми! да развѣ онъ не знаетъ меня? Развѣ онъ не знаетъ, что я похожъ на ребенка и что бываютъ случаи, когда я болтаю безъ разбору всякой вздоръ? Къ тому же,—да простить мнѣ Богъ,—вѣдь и для меня должна быть когда нибудь минута отдыха. Вѣдь и сдѣланная изъ стали марionетка не долго выдержитъ, если будутъ держать шнурокъ отъ утра до вечера и отъ вечера до утра. Я долженъ разгонять ихъ скучу,—это условлено; но и я долженъ иногда развлечь самого себя. Среди этихъ затрудненій мнѣ пришла въ голову пагубная мысль, внушенная мнѣ увѣренностью въ самомъ себѣ, и заставившая меня держать себя гордо и дерзко,—мысль, что безъ меня не могутъ обойтись, что я человѣкъ необходимый.

Я. Да, я полагаю, что вы имъ очень полезны, во что они вамъ еще болѣе полезны. Вамъ не легко будетъ найти другой такой же

хорошій домъ, тогда какъ они, чтобы замѣнить одного выбывшаго шута, найдутъ цѣлую сотню такихъ же.

Онѣ. Сто шутовъ такихъ какъ я! господинъ философъ; ихъ не легко найти. Площадныхъ дураковъ—да. Къ шутству предъявляютъ болѣе строгія требованія, чѣмъ къ таланту или къ добродѣти. Я—большая рѣдкость въ моемъ жанрѣ, да, большая рѣдкость. Теперь, когда они утратили меня, что они дѣлаютъ? Они тоскуютъ какъ собаки. Я—неистощимый источникъ нелѣпостей. У меня ежеминутно была готова какая нибудь причудливая выходка, заставлявшая ихъ смеяться до слезъ; для нихъ я былъ такъ же забавенъ какъ всѣ обитатели дома умалишенныхъ вмѣстѣ взятые.

Я. За то вы имѣли столь, одежду, кафтанъ, съ панталонами, башмаки и по одной золотой монетѣ въ мѣсяцъ.

Онѣ. Это хорошая, выгодная сторона дѣла, но вы ничего не говорите о служебныхъ обязанностяхъ. Во первыхъ, если проходилъ слухъ о новой пьесѣ, то, какая бы ни была погода, я долженъ былъ обыскивать всѣ парижскіе чердаки, пока не отыщу ея автора; я долженъ былъ добиться того, чтобы мнѣ дали прочесть новую пьесу и долженъ былъ ловко намекнуть автору, что въ его произведеніи есть одна роль, которая была бы превосходно исполнена одной знакомой мнѣ особой. „А кто она такая?—Кто! Вотъ прекрасный вопросъ! Это—сочетаніе граціи, миловидности и изящества.—Вы вѣроятно говорите о г-жѣ Данжевиль? Вы, должно быть, знакомы съ ней? — Да, немного; но я говорю не о ней. — О комъ же?“ Я шепотомъ называлъ по имени мою покровительницу.... Она!—Да, она,—повторялъ я, нѣсколько сконфузившись, потому что вѣдь и у меня иногда бываетъ стыдъ; надо было видѣть, какъ при этомъ имени вытягивалась физіономія сочинителя, если только онъ не разражался хохотомъ прямо мнѣ въ лицѣ. Однако я непремѣнно долженъ былъ привести его къ обѣду, а онъ, изъ опасенія связать себя какимъ нибудь обѣщаніемъ, отговаривался, благодарили. Надо было видѣть, какъ обходились со мною, если я не имѣлъ успѣха въ переговорахъ! Я былъ дуралей, глупецъ, болванъ; я былъ ни на что не годенъ; я не стоилъ даже стакана воды, который мнѣ давали пить. Во время представлениія было еще хуже; среди свистковъ публики, которая, что бы ни говорили, судить вѣрно, я долженъ былъ хлопать въ ладоши, не будучи поддержанъ никѣмъ, долженъ былъ обращать на себя общее вниманіе и тѣмъ иногда избавлять актрису отъ свистковъ, долженъ былъ слушать какъ рядомъ со мною говорили: „Это одинъ изъ преодѣлѣтъ лакеевъ того, кто.... Когда же этотъ негодяй замолчитъ!..“ Вѣдь никому неизвѣстно, что заставляетъ меня такъ поступать; думаютъ что это дѣлается по тупоумію, тогда какъ на это есть такая причина, которою все извиняется.

Я. Даже нарушеніе гражданскихъ законовъ.

Онѣ. Впрочемъ въ концѣ концовъ, ознакомившись съ моей личностью, говорили: „Al! Это Рамо“. Для меня служило рессурсомъ

то, что я бросалъ въ толпу какое нибудь ироническое замѣчаніе, которое спасало меня отъ срама, заставляя думать, что подъ моими апплодисментами скрывалось неодобрение. Согласитесь съ тѣмъ, что надо имѣть въ виду очень большія выгоды, чтобы осмѣлиться выказывать такое неуваженіе къ публикѣ и что такая тяжелая рабоча стбила дороже одного маленькаго эку?

Я. Отчего же вы не запасались помощниками?

Онѣ. Я иногда это дѣлалъ и этимъ способомъ кое-что зарабатывалъ. А прежде чѣмъ отправиться на мѣсто пытки, надо было заручить на память самыя блестящія сцены, въ которыхъ я долженъ былъ давать знакъ апплодисментовъ. Если мнѣ случалось позабыть ихъ или ошибиться, я по возвращеніи дрожалъ отъ страха; это былъ такой содомъ, о которомъ вы не можете составить себѣ понятія. Сверхъ того я долженъ былъ смотрѣть за цѣлой стаей собакъ; впрочемъ я имѣлъ глупость самъ наложить на себя эту обузу; на мнѣ также лежалъ высшій надзоръ за кошками. Я считалъ себя счастливымъ, если *Мику* разрывала когтями мои манжетки или дѣлала царепину на моей рукѣ. У *Крикетт* часто случаются колики; моя обязанность растирать ей животъ. Сама барышня прежде страдала припадками ипохондріи, а теперь страдаетъ разстройствомъ нервъ. Я уже не говорю о легкихъ нездоровьяхъ, при которыхъ мню не стѣсняются. Она начинаетъ очень толстѣть; еслиъ вы могли слышать, какія басни разсказываются по этому поводу.

Я. Но вы, конечно, не изъ числа тѣхъ, кто ихъ выдумываетъ?

Онѣ. Почему-же нетъ.

Я. Потому что по мельчайшей мѣрѣ неприлично насыщаться надъ своими благодѣтелями.

Онѣ. А развѣ не хуже—ссыпаться на свои благодѣянія для того, чтобы унижать тѣхъ, кого благодѣтельствуютъ?

Я. Но еслибы эти послѣдніе не были низки душой, покровитель не присвоивалъ бы себѣ такого права.

Онѣ. Но еслибы эти люди не были сами по себѣ смѣшны, они не могли бы сдѣлаться сюжетомъ забавныхъ выдумокъ. И развѣ я виноватъ въ томъ, что они сводятъ знакомство съ негодиями? Развѣ я виноватъ въ томъ что, сведя такія знакомства, они видятъ вокругъ себя измѣну и насыпушки? Кто рѣшается жить въ обществѣ такихъ людей, какъ мы, тому достаточно простаго здраваго смысла, чтобы понимать, что его ожидаютъ безконечныя гнусности. Когда берутъ насъ въ домъ, развѣ не знаютъ, что мы за люди, развѣ не знаютъ, что мы корыстолюбивы, подлы и коварны? А если нась хорошо знаютъ, то все идетъ хорошо. Между нами существуетъ молчаливый договоръ, въ силу котораго намъ должны дѣлать добро, а мы рано или поздно отплатимъ за сдѣланное добро зломъ. Развѣ такой же договоръ не существуетъ между человѣкомъ и его обезьянной или его попугаемъ? Ле-Брёнъ громко жалуется на то, что его собесѣдникъ и пріятель Палиссо сочинилъ на него куплеты. Но Палиссо долженъ былъ сочинить куплеты и виноватъ не онъ,

а ле-Брёнъ. Пуансинэ громко жалуется на то, что Палиссо приписалъ ему эти куплеты. Но Палиссо долженъ былъ приписать эти куплеты Пуансинэ и виноватъ не онъ, а Пуансинэ. Крошечный аббатикъ Рей громко жалуется на то, что его пріятель Палиссо, котораго онъ ввелъ къ своей любовницѣ, отбилъ у него эту любовницу: но не слѣдовало вводить къ своей любовницѣ такого человѣка, какъ Палиссо, или слѣдовало быть готовымъ лишиться ея; Палиссо исполнилъ свой долгъ и виноватъ не онъ, а Рей. Книгопродавецъ Д. громко жалуется на то, что его компаньонъ Б. подалъ поводъ къ неосновательнымъ слухамъ: во всякомъ случаѣ Б. исполнилъ свою роль, а виноваты Д. и его жена. Гельвецій громко жалуется на то, что Палиссо выставилъ его въ одной пьесѣ безчестнымъ человѣкомъ, тогда какъ Палиссо еще не возвратилъ ему денегъ взятыхъ у него взаймы, для того чтобы поправить свое здоровье, одѣться и кормиться; но развѣ Гельвецій могъ ожидать иного образа дѣйствій отъ такого человѣка, который замараль себя разными визгостями, который ради развлеченія убѣдилъ своего пріятеля отказаться отъ своей религіи, который завладѣль имуществомъ своихъ компаньоновъ, у котораго иѣть ни чести, ни совѣсти, ни благородства чувствъ, который старается разбогатѣть *per fas et nefas*, который считаетъ дни по числу совершенныхъ имъ безчестныхъ поступковъ и который самъ вывелъ себя на сцену самымъ опаснымъ мошенникомъ; это такое безстыдство, которому, я полагаю, еще не было и никогда не будетъ другаго примѣра. Нѣть тутъ виноватъ не Палиссо, а Гельвецій. Если бы какой нибудь провинціалъ, прия въ версальскій звѣринецъ, просунулъ по глупости свою руку въ клѣтку тигра или барса и еслибы его рука осталась въ зубахъ лютаго звѣря, кто былъ-бы этому виноватъ? Все это изложено въ молчаливомъ договорѣ и тѣмъ хуже тому, кто не признаетъ этого договора или забываетъ о немъ. Въ силу этого всеобщаго и священнаго договора сколькихъ людей слѣдуетъ признавать неосновательно обвиняемыми въ дурныхъ поступкахъ, и слѣдуетъ возлагать всю вину на собственную глупость. Да, милостивая государыня, вы сами виноваты, когда собираете вокругъ себя такихъ людей, которыхъ вы называете отродьями, и когда эти отродья дѣлаютъ вамъ разныя мерзости, заставляютъ васъ дѣлать мерзости и навлекаютъ на васъ негодованіе честныхъ людей. Честные люди дѣлаютъ то, что должны дѣлать, отродья дѣлаютъ также то, что должны дѣлать; а виноваты вы,—зачѣмъ ихъ принимаете. Если бы Бертенъ жилъ съ своей любовницей тихо и спокойно; еслибы, благодаря честности своихъ характеровъ, они сошлись съ честными людьми; если бы они собирали у себя людей талантливыхъ, людей извѣстныхъ въ обществѣ своими достоинствами; если-бы они искали развлеченія въ небольшомъ кружкѣ просвѣщенныхъ людей, на ихъ счетъ не стали бы сочинять ни хорошихъ ни дурныхъ выдумокъ. А что съ ними случилось? То, чего они стояли; они были наказаны за свое неблагоразуміе, а мы—тѣ,

кому предназначено Провидѣніемъ воздавать должное всѣмъ современнымъ Бертенамъ, точно такъ какъ нашимъ потомкамъ одного съ вами отрода предназначено воздавать должное будущимъ Бертенамъ. Но въ то время, какъ мы приводимъ въ исполненіе справедливые приговоры Провидѣнія надъ глупцами, вы приводите въ исполненіе его справедливые приговоры надъ нами, изображая насъ такими, каковы мы на самомъ дѣлѣ. Что подумали бы вы о насъ, еслибы несмотря на наши постыдные пра́вы мы стали заявлять претензіи на общее уваженіе? Вы сочли бы насъ за безумцевъ. А тотъ, кто ожидаетъ честныхъ поступковъ отъ людей, которые родились порочными и которые отличаются низостью и подлостью характера, развѣ можетъ считаться разсудительнымъ человѣкомъ? Въ этомъ мірѣ все оплачивается. Здѣсь два генеральныхъ прокурора, одинъ находится у вашихъ дверей и наказываетъ преступленія противъ общества, а другой—природа. Эта послѣдняя вѣдаетъ всѣ пороки, ускользающіе отъ установленной закономъ кары. Вы предаетесь разврату и у васъ будетъ водяная; вы пьянствуете и у васъ будетъ болѣзнь легкихъ; вы открываете двери вашего дома негодяямъ и живете въ ихъ обществѣ,—и васъ будутъ обманывать, подымать на смѣхъ и презирать; всего проще подчиниться этимъ справедливымъ приговорамъ и сказать самому себѣ: такъ должно быть; одно изъ двухъ—или надо встряхнуть своими ушами и исправиться, или же оставаться такимъ, каковъ есть, но при упомянутыхъ выше условіяхъ.

Я. Вы правы.

Онѣ. Впрочемъ, изъ всѣхъ злыхъ выдумокъ нѣтъ ни одной, которая была бы моимъ произведеніемъ; я ограничиваюсь ролью переносчика новостей. Увѣряють, будто нѣсколько дней тому назадъ, часовъ въ пять утра.....

Я. Вы болтуны. Будемъ говорить о другомъ. Съ тѣхъ поръ какъ я вступилъ съ вами въ разговоръ, у меня постоянно вертится на губахъ одинъ вопросъ.

Онѣ. Отчего-же вы такъ долго не высказывали его?

Я. Оттого, что онъ казался мнѣ нескромнымъ.

Онѣ. Послѣ всего того, что я вамъ откровенно высказалъ, едва ли найдется такая тайна, которую я захотѣлъ бы скрыть отъ васъ.

Я. Вы, конечно, не имѣете никакихъ сомнѣній на счетъ моего мнѣнія о вашемъ характерѣ?

Онѣ. Никакихъ; въ вашихъ глазахъ я очень отвратительное и достойное презрѣнія существо; иногда я бываю точно такого-же мнѣнія о самомъ себѣ, но рѣдко; я чаще хвалю себя, чѣмъ порицаю за мои пороки: вы болѣе постоянны въ вашемъ презрѣніи ко мнѣ.

Я. Это правда; но зачѣмъ-же вы обнаруживаете предо мной всю вашу низость?

Онѣ. Во первыхъ потому, что она въ значительной мѣрѣ уже

вамъ извѣстна, а во вторыхъ потому, что раскрывая передъ вами все до конца, я нахожу въ этомъ болѣе выгодъ чѣмъ невыгодъ.

Я. Объясните, пожалуйста, почему же?

Онѣ. Потому что высшая степень совершенства болѣе необходи-
ма въ злѣ, чѣмъ въ чѣмъ либо другомъ. На мелкаго воришку плю-
ютъ, но важному преступнику нельзя отказать въ иѣкотораго рода
уваженіи; его мужество удивляетъ васъ, его жестокосердіе застав-
ляетъ васъ содрогаться. Во всемъ цѣнится цѣльность характера.

Я. Но вы, кажется, еще не достигли такой почтенней цѣльности
характера; я замѣчаю, что вы иногда не тверды въ вашихъ прин-
ципахъ; трудно также решить, получили-ли вы ваши дурные свойст-
ва отъ природы или они плодъ пріобрѣтенныхъ вами познаній, и
достигли-ли вы путемъ этихъ познаній всѣхъ результатовъ, какіе
возможны.

Онѣ. Я съ вами согласенъ, но я сдѣлалъ въ этомъ отношеніи
все, чѣмъ только могъ. Развѣ я не былъ до того скроменъ, что
признавалъ иѣкоторыхъ людей превосходящими меня самого въ
моей специальности? Развѣ я не говорилъ вамъ о Бурэ съ самыи
глубокимъ уваженіемъ? Бурэ—это первый человѣкъ въ мірѣ по
этой части.

Я. Но непосредственно вслѣдъ за Бурэ вы занимаете первое
место?

Онѣ. Нѣтъ.

Я. Такъ его занимаетъ Палиссо?

Онѣ. Да Палиссо, но не онъ одинъ.

Я. Кто же достоинъ занимать рядомъ съ нимъ второе мѣсто?

Онѣ. Авиньонскій ренегатъ.

Я. Я никогда ничего не слыхалъ объ этомъ авиньонскомъ рене-
гатѣ; но это, должно быть, очень необыкновенный человѣкъ.

Онѣ. Да очень.

Я. Исторія великихъ людей всегда очень интересовала меня.

Онѣ. Еще бы. Этотъ человѣкъ жилъ у одного доброго и честного
старика, принадлежавшаго къ тѣмъ потомкамъ Авраама, о ко-
торыхъ было предсказано, что они достигнутъ такого же числа,
какъ звѣзды небесныя.

Я. У еврея?

Онѣ. Да, у еврея. Сначала онъ внушилъ состраданіе къ себѣ,
потомъ пріобрѣлъ расположеніе, а наконецъ и самое полное довѣ-
рие; вѣдь такъ всегда случается: мы такъ полагаемся на оказан-
ную вами помощь, что почти всегда повѣряемъ всѣ наши тайны
тому, кого мы осыпали нашими благодѣяніями; можно-ли же
удивляться тому, что люди бывають неблагодарны, когда мы сами
вовлекаемъ ихъ въ соблазнъ быть неблагодарными безнаказанно.
Это основательное размыщеніе не пришло въ голову нашему ев-
рею. И такъ онъ открылся ренегату, что совѣсть не позволяетъ
ему Ѳѣсть свинину. Вы увидите далѣе, какую пользу умѣлъ извлечь
изъ этого признания плодовитый умъ. Прошло яѣсколько мѣсяцевъ,

въ теченіе которыхъ нашъ ренегатъ былъ усердливъ еще болѣе обыкновеннаго; наконецъ, когда онъ убѣдился, что еврей былъ совершенно очарованъ его вниманіемъ и былъ увѣренъ, что во всѣхъ племенахъ Израїля у него нѣтъ лучшаго друга..... Подивитесь осторожности этого человѣка! Онъ не спѣшилъ и прежде чѣмъ тряхнуть яблочную вѣтвь онъ даетъ яблоку время созрѣть: излишняя горячность могла бы испортить все дѣло. Вѣдь это обыкновенное явленіе, что величие характера является результатомъ естественнаго равновѣсія между нѣсколькими свойствами одно другому противоположными.

Я. Отложите въ сторону ваши размышенія и продолжайте вашъ разсказъ.

Онѣ. Это невозможно; бываютъ дни, когда я не въ состояніи воздерживаться отъ размышеній; это своего рода болѣнь, которой слѣдуетъ предоставить свободное теченіе. На чѣмъ-же я остановился?

Я. На упрочившейся дружбѣ между евреемъ и ренегатомъ.

Онѣ. И такъ яблоко созрѣло.... Но вы не слышите меня; вы о чѣмъ-то задумались?

Я. Я думаю о томъ, что вы то повышаете, то понижаете тонъ вашего голоса.

Онѣ. Развѣ тонъ порочнаго человѣка можетъ быть всегда одинъ и тотъ-же?... И такъ однажды вечеромъ онъ входить къ своему пріятелю съ испуганнымъ видомъ; его голосъ прерывается отъ волненія, его лицо блѣдно какъ смерть, онъ дрожитъ всѣмъ тѣломъ. „Что съ вами?“— „Мы пропали.“— „Пропали! Почему же?“— „Пропали, говорю я вамъ, безвозвратно.“— „Объяснитесь же.“— „Я еще не могу прийти въ себя отъ ужаса“.— „Успокойтесь-же“.... „Одинъ измѣнникъ сдѣлалъ на насъ доносъ святой инквизиціи, на васъ какъ на еврея, на меня какъ на гнуснаго ренегата....“ Замѣтьте, что этотъ негодяй не краснѣя употреблялъ самая рѣзкія выраженія. Чѣмъ называть самого себя этимъ именемъ, надо имѣть болѣе мужества, чѣмъ думаютъ; вы не знаете съ какимъ трудомъ это достигается.

Я. Конечно не знаю. Но этотъ гнусный ренегатъ....

Онѣ. Притворялся, но это очень ловкое притворство. Еврей приходитъ въ ужасъ, рветъ свою бороду, катается по полу; ему кажется, что сыщики уже вошли къ нему въ домъ, что на него наѣли платье приговоренныхъ къ смертной казни и что уже готовятъ для него костеръ. „Мой другъ“, восклицаетъ онъ, „мой добрый другъ, мой единственный другъ, скажи, что мнѣ дѣлать?“— „Чтобъ дѣлать? Надо не скрываться отъ постороннихъ, выказывать совершенное спокойствіе и вести себя какъ всегда. Процедура этого трибунала секретна, но медленна; надо воспользоваться ея медленностью, чтобы все распродать. Я найму или поручу нанять корабль,—это гораздо удобнѣе сдѣлать чрезъ посредство третьаго лица; мы сложимъ туда все ваше имущество, такъ какъ они ме-

тять главнымъ образомъ въ ваше состояніе, и мы отправимся вдвоемъ искать подъ другимъ небомъ возможности не стѣсняясь поклоняться нашему Богу и безопасно исполнять законъ Авраама и нашей совѣсти. Въ настоящемъ опасномъ положеніи мы главнымъ образомъ должны остерегаться какой либо оплошности.....“

Какъ сказано — такъ и сдѣлано. Корабль нанять и снабженъ съѣстными припасами и матросами: богатство еврея сложено на бортъ корабля; завтра съ разсвѣтомъ они должны отправиться въ путь и потому могутъ весело поужинать и спокойно уснуть; завтра они спасутся отъ своихъ гонителей. Ночью ренегать встаетъ, беретъ бумажникъ еврея, его кошелекъ и драгоценности, садится на корабль — и поминай какъ звали. И вы думаете что это все? Нѣтъ, вы ошибаетесь. Когда мнѣ рассказывали эту исторію я угадалъ то, о чёмъ я умолчалъ теперь съ цѣллю испытать вашу проницательность. Вы хорошо сдѣлали, что пошли въ честные люди, иначе вы были-бы плохимъ мошенникомъ. До сихъ поръ ренегать не болѣе какъ такой мошенникъ, онъ не болѣе какъ жалкій негодяй, на которого никто не пожелалъ-бы быть похожимъ. Высокое достоинство его продѣлки заключается въ томъ, что онъ самъ донесъ на своего пріятеля еврея, который былъ схваченъ по приказанію святой инквизиціи на другой день утромъ лишь только проснулся, а по прошествіи нѣсколькихъ дней былъ сожженъ на кострѣ. Такимъ образомъ ренегать сдѣлался спокойнымъ обладателемъ состоянія, принадлежавшаго этому проклятому потомку тѣхъ, кто распялъ нашего Спасителя.

Я. Я затрудняюсь рѣшить, что возбуждаетъ во мнѣ болѣе сильное отвращеніе, злодѣйство-ли вашего ренегата, или тоинъ, которыемъ вы его рассказываете.

Онъ. Вотъ именно то, что я вамъ говорилъ: безчеловѣчность этого поступка заглушаетъ въ васъ чувство негодованія; потому-то я и былъ такъ чистосердечень. Я хотѣлъ, чтобы вы знали до какого совершенства я дошелъ въ моемъ искусствѣ; я хотѣлъ вызвать отъ васъ признаніе, что я по меньшей мѣрѣ оригиналъ въ моей низости; я хотѣлъ стать въ вашемъ мнѣніи наравнѣ съ великими мошенниками и потомъ восклікнуть: *Vivat M ascari llus, four b u t i m p e r a t o r!* Ну- же, господинъ философъ, будемъ восклицать вмѣстѣ: *Vivat M ascari llus, four b u t i m p e r a t o r!*

(Затѣмъ Рамо начинаетъ представлять пантомимой какую-то фугу и разговоръ переходитъ на различные предметы, касающіеся музыки¹⁾.“

Я. Какимъ образомъ, при столь изящномъ вкусѣ, при столь сильной чувствительности къ красотамъ музыкального искусства, вы такъ слѣпы ко всѣмъ нравственнымъ красотамъ, такъ нечувствительны къ прелестямъ добродѣтели?

¹⁾ Т. V. стр. 457—468.

Онб. Это, какъ кажется, происходит оттого, что тутъ требуетъ ся такое чувство, котораго у меня нѣтъ, тутъ требуется такая фибра, которая мнѣ не дана, а если и дана, то такая слабая, что сколько ее ни расшевеливай, она не дастъ никакого звука; или можетъ быть это происходит оттого, что я всегда жилъ съ хорошими музыкантами и съ дурными людьми, отчего слухъ мой сдѣлался очень тонкимъ, а сердце глухимъ. Сверхъ того тутъ есть нѣчто и врожденнаго.... У меня та же кровь, какъ и у моего отца; отцовское сѣмячко было жестко и грубо, а это проклятое первое сѣмячко приравняло все къ себѣ.

Я. Любите-ли вы вашего ребенка?

Онб. Еще бы не любить этого маленькаго дикаря! Я безъ ума отъ него.

Я. Неужели-же вы не приложите серьознаго старанія, чтобы отстранить отъ него вліяніе проклятаго отцовскаго сѣмячка?

Онб. Я полагаю, что я сталь-бы трудиться понапрасну. Если ему суждено быть честнымъ человѣкомъ, я ему въ этомъ не помѣшаю; но еслибы сѣмячко хотѣло, чтобы онъ былъ такимъ-же негодяемъ, какъ его отецъ, всѣ мои старанія сдѣлать изъ него честнаго человѣка оказались бы напрасными. Такъ какъ направленіе воспитанія стало бы безпрестанно перекрещиваться съ направленіемъ сѣмячка, то его стали бы толкать впередъ двѣ силы, противоположныя одна другой и онъ сталъ бы ходить по жизненной тропѣ зигзагами, точно такъ какъ это дѣлаетъ множество людей, одинаково неспособныхъ ни на добро, ни на зло.

Такихъ людей мы называемъ отродьями, а это самый отвратительный изъ всѣхъ эпитетовъ, потому что онъ обозначаетъ посредственность и самую крайнюю степень презрѣнія. Великий негодяй великъ и потому не можетъ считаться отродьемъ. А прежде чѣмъ отцовское сѣмячко возьметъ въ ребенка верхъ и доведетъ его до той полнѣйшей низости, до которой я достигъ, потребовалось бы много времени и онъ потерялъ бы свои лучшіе годы. Теперь я еще въ это не мѣшаюсь и только наблюдаю за нимъ. Онъ уже жаденъ, лукавъ, лѣнивъ, лживъ; я полагаю, что онъ будетъ весь въ отца.

Я. А для того чтобы сходство было полное, вы, конечно, сдѣлаете изъ него музыканта?

Онб. Музыканта! Я иногда, смотря на него, говорю, скрежеща зубами: мнѣ кажется, что если ты когда нибудь будешь знать хоть одну ноту, я сверну тебѣ шею.

Я. Почему же?

Онб. Музыка не ведеть ни къ чему.

Я. Она ведеть ко всему.

Онб. Да, когда дошли въ ней до совершенства; но кто же можетъ разсчитывать на то, что его сынъ достигнетъ совершенства? Есть десять тысячъ шансовъ противъ одного, что изъ него выйдетъ лишь такой же жалкій скрипачъ, какъ я. Знаете-ли вы, что едва ли не легче найти ребенка, годнаго для управлениія королев-

ствомъ и способнаго сдѣлаться великимъ королемъ, чѣмъ такого, который могъ бы сдѣлаться великимъ скрипачемъ?

Я. Мне кажется, что у тѣхъ народовъ, у которыхъ нравы испорчены, а развратъ и роскошь вошли въ обычай, человѣкъ съ пріятнымъ хотя и посредственнымъ талантомъ можетъ быстро сдѣлать блестящую карьеру.

Онѣ. Конечно, намъ нужно золото; золото—все, а остальное, если нѣтъ золота, ничего не стѣбѣть. За то я и не набиваю ему голову прекрасными принципами, которые онъ долженъ будеть позабыть, если не захочетъ быть нищимъ,—а когда у меня есть луидоръ,—что случается не часто,—я сажусь противъ него, вынимаю луидоръ изъ моего кармана, показываю ему его съ восхищеніемъ, подымаю глаза къ небу и цѣлую луидоръ; а для того, чтобы онъ еще лучше понялъ важность этого священнаго предмета, я ему объясняю словами и жестами все что можно съ помошью его пріобрѣсть—прекрасное платье, красивую шапку, вкусное пирожное; потомъ я кладу луидоръ въ мой карманъ, съ гордѣстью прохаживаю по комнатѣ, приподымаю полы моего камзола и рукою хлопаю себя по тому мѣсту, где находится карманъ; этимъ способомъ я даю ему понять, что отъ находящагося въ карманѣ луидора происходитъ то чувство удовольствія, которое онъ во мнѣ замѣчаетъ.

Я. Это очень хорошо придумано, но если случилось-бы, что глубоко проникнувшись сознаніемъ важности луидоръ, онъ когда нибудь.....

Онѣ. Я понимаю, что вы хотите сказать. Нужно дѣлать какъ будто этого не видишь; вѣдь нѣтъ такого нравственнаго принципа, который не представлялъ бы какихъ нибудь неудобствъ. Въ самомъ худшемъ случаѣ пришлось бы провести непріятную четверть часа и все этимъ кончилось-бы.

Я. Даже выслушавъ такія смѣлія и здравыя сужденія, я оставлюсь при томъ мнѣніи, что было-бы хорошо сдѣлать изъ него музыканта. Я не знаю лучшаго средства втиратъся къ вліятельнымъ людямъ, чтобы поддѣлываться подъ ихъ пороки и извлекать пользу изъ своихъ собственныхъ пороковъ.

Онѣ. Это правда; но у меня есть другой проектъ, успѣхъ котораго болѣе скоръ и болѣе вѣренъ. Ахъ! Если бы это была дочь! Но такъ какъ мы не можемъ дѣлать все что хотѣли-бы, то мы должны брать что есть, извлекать изъ него самую большую пользу и не слѣдовать примѣру тѣхъ глупыхъ отцовъ, которые поступаютъ такъ, какъ можно-бы было поступать только желая гибели своихъ дѣтей, а именно даютъ спартанское воспитаніе дѣтямъ, которыхъ родились на свѣтъ для того чтобы жить въ Парижѣ; если воспитаніе, которое я дамъ, окажется дурнымъ, въ этомъ будутъ виноваты нравы моей націи, а не я. Пусть отвѣтственность за это падаетъ на кого слѣдуетъ; я хочу чтобы мой сынъ былъ счастливъ, или,—что тоже самое,—чтобы онъ пользовался почетомъ, чтобы онъ былъ богатъ и вліятеленъ. Я немножко знакомъ съ самыми удобными пу-

тами, ведущими къ этой цѣли и я ихъ укажу ему заблаговременно. Если такие мудрецы, какъ вы, будуть осуждать меня, толпа и успѣхъ оправдаются меня. У него будетъ золото,—это я вамъ говорю, а когда у него будетъ много золота, у него не будетъ недостатка ни въ чёмъ, ни даже въ вашемъ почтеніи и вашемъуваженіи.

Я. Вы можете ошибиться.

Онѣ. Въ такомъ случаѣ онъ и такъ обойдется, подобно столькимъ другимъ....

(Во всѣхъ этихъ сужденіяхъ было много такихъ, которыхъ многимъ приходять въ голову, которыми многіе руководствуются въ жизни, но которыхъ никто не высказываетъ. Вотъ въ сущности въ чёмъ заключается различіе между моимъ героемъ и большинствомъ тѣхъ, кто насъ окружаетъ. Онъ признавался въ порокахъ, которые были у него и которые есть у другихъ, но онъ не былъ лицемѣръ. Онъ не былъ ни болѣе ни менѣе отвратителенъ, чѣмъ они. Онъ только былъ болѣе откровененъ и болѣе послѣдователенъ, а иногда даже глубокомысленъ въ своей нравственной испорченности. Я съ ужасомъ помышлялъ о томъ, какимъ сдѣляется его сынъ у такого наставника. Нельзя было сомнѣваться въ томъ, что при понятіяхъ о воспитаніи, въ точности соответствующихъ нашимъ нравамъ, онъ зайдетъ далеко, если только его не остановить заблаговременно на этомъ пути.)

Онѣ. О! не бойтесь ничего: главная и самая трудная задача, которую хороший отецъ долженъ имѣть въ виду, заключается не въ томъ, чтобы развить въ своемъ сыне такие пороки, которые могли бы обогатить его или такія забавныя странности, которыхъ сдѣлали-бы его дорогимъ для вельможъ,—вѣдь это всякий умѣеть дѣлать если не по системѣ какъ я, то изъ подражанія или по указанію другихъ; задача заключается въ томъ, чтобы онъ зналъ надлежащую мѣру, чтобы онъ умѣль увертываться отъ позора, отъ безчестія и отъ заколовъ: это—диссонансы въ общественной гармоніи, которые нужно умѣть кстати помѣстить, нужно умѣть подготовить и выдержать. Нѣть ничего столь безцвѣтнаго, какъ рядъ совершенно правильныхъ аккордовъ; надо чтобы чтонибудь возбуждало васъ, надо чтобы чтонибудь разсѣкало лучъ свѣта и разбррасывало его по сторонамъ.

Я. Очень хорошо; дѣлая это сравненіе вы даете мнѣ поводъ перейти отъ нравовъ къ музыкѣ, отъ которой я невольно отклонился, и я благодарю васъ за это, потому что, говоря откровенно, я предпочитаю въ васъ музыканта моралисту.

Онѣ: Однако я очень посредственъ въ музыкѣ и положительно превосходенъ въ морали.

Я. Я сомнѣваюсь въ этомъ; но еслибы даже вы не ошибались, я долженъ сказать вамъ, что я честный человѣкъ и что ваши приципы не мои.

Онб. Тѣмъ хуже для васъ. Ахъ! еслибы у меня были ваши дарованія!....

Я. Оставимъ въ сторонѣ мои дарованія и будемъ говорить о вашихъ.

Онб. Еслибы я умѣлъ выражаться какъ вы.... Но у меня, чортъ знаетъ, какіе нелѣпые обороты рѣчи,—частію похожіе на языкъ свѣтскихъ людей и литераторовъ, частію—на жаргонъ, которымъ говорятъ рыночные торговцы.

Я. Я говорю дурно; я только умѣю говорить правду, а это, какъ вами известно, не всегда бываетъ кстати.

Онб. Но я желалъ бы имѣть ваши дарованія не для того чтобы говорить правду, а напротивъ того—чтобы искусно высказывать ложь. Еслибы я умѣлъ писать, стряпать книги, сочинять посвященія, приводить глупца въ восторгъ описаніемъ его достоинствъ, вкрадываться въ довѣріе къ женщинамъ!....

Я. Но вы умѣете все это дѣлать въ тысячу разъ лучше меня; я даже былъ бы недостоинъ быть вашимъ ученикомъ.

Онб. Сколько пропадаетъ великихъ достоинствъ, которымъ вы не знаете цѣны!

Я. Я получаю отъ нихъ то, во что ихъ цѣню.

Онб. Еслибы это было такъ, какъ вы говорите, то вы не носили бы этого толстаго платья, этого камзола изъ грубої матеріи, этихъ шерстяныхъ чулокъ, этихъ толстыхъ башмаковъ и этого старомоднаго парика.

Я. Я съ вами согласенъ; кто позволяетъ себѣ все ради достижения богатства, тотъ долженъ быть очень человокъ, если остается бѣднякомъ; но вѣдь есть и такие люди какъ я, которые не считаютъ богатство за самую цѣнную вещь въ мірѣ: это—странные люди.

Онб. Очень странные; человѣкъ не родится съ такимъ складомъ ума, а пріобрѣтаѣтъ его, потому что онъ не въ природѣ!....

Я. Не въ природѣ человѣка.

Онб. Да: все что живетъ, безъ всякаго исключенія, старается достигнуть благосостоянія на счетъ тѣхъ, отъ кого можетъ его получить,—и я увѣренъ, что еслибы я предоставилъ моему маленькому дикарю развиваться безъ всякой съ моей стороны руководства, онъ захотѣлъ-бы быть хорошо одѣтымъ, отлично Ѣсть, быть любиму мушинами, нравиться женщинамъ и сосредоточить на себѣ всѣ блага жизни.

Я. Еслибы маленький дикарь, предоставленный самому себѣ, сохранилъ все свое слабоуміе, и къ неразумности маленькаго мальчика присоединилъ буйныя страсти тридцатилѣтняго мушкины, онъ удавиль-бы своего отца и обезчестиль-бы свою матъ.

Онб. Это доказываетъ необходимость хорошаго воспитанія. Кто же съ этимъ не согласится? И развѣ не то воспитаніе хорошо, которое ведеть ко всякоаго рода утѣхамъ безъ опасностей и безъ затрудненій?

Я. Я не очень далекъ отъ того, чтобы раздѣлять ваше мнѣніе, но только не будемъ входить въ дальнѣйшія объясненія.

Онѣ. Почему-же?

Я. Потому что я опасаюсь, что мы будемъ согласны другъ съ другомъ только съ виду, но разойдемся въ мнѣніяхъ, лишь только станемъ обсуждать опасности и затрудненія, которыхъ слѣдуетъ избѣгать.

Онѣ. Какая же будетъ отъ того бѣда?

Я. Оставимъ это, прошу васъ; тому, что мнѣ известно по этому предмету, вы никогда не научитесь, и вамъ гораздо легче научить меня тому, чего я не знаю, а вы знаете касательно музыки. Говорите же со мной, милый Рамо, о музыкѣ и скажите мнѣ, какъ могло случиться, что вы не произвели ничего замѣчательнаго по этой части, несмотря на то, что вы съ такой легкостью понимаете, запоминаете и передаете лучшія мѣста великихъ композиторовъ и не смотря на то, что они возбуждаютъ въ васъ восторгъ, который вы умѣете сообщать другимъ....

(Вместо того, чтобы отвѣтить на мой вопросъ, онъ сталъ качать головой, и указывая пальцемъ на небо, воскликнулъ:) А судьба! А судьба! Когда природа создала Лео, Винчи, Перголеза, Дюни, она улыбнулась; она приняла важный и серьозный видъ, когда она создала моего дорогаго дядюшку, котораго будуть называть въ теченіе лѣтъ десяти великимъ композиторомъ и о которомъ скоро вовсе перестанутъ говорить. Когда же она состряпала его ученика, она сдѣлала гримасу, и еще гримасу и опять гримасу.... (говоря эти слова, онъ выдѣльвалъ лицемъ разныя гримасы, выражая то презрѣніе, то негодованіе, то насмѣшку; въ то же время онъ точно будто мѣсили руками кусокъ тѣста и самъ смѣялся надъ различными формами, которая онъ давалъ ему; затѣмъ онъ бросилъ далеко отъ себя эту уродливую пагоду¹⁾ и сказалъ:) Вотъ такъ она создала меня и бросила меня рядомъ съ другими пагодами, изъ которыхъ однѣ были съ большими морщинистыми животами, съ короткими шеями, съ большими глазами на выкатѣ и съ расположѣніемъ къ апоплексическому удару, а другія были съ искривленными шеями; вѣкоторые изъ нихъ были сухощавыя, съ быстрыми глазами и съ загнутыми крючкомъ носами. Увидѣвъ меня, всѣ онѣ стали надрываться со смѣху, а я увидѣвъ ихъ, сталъ держать себя за бока и также надрываться со смѣху; вѣдь глупцы и сумасшедшие обыкновенно забавляются другъ надъ другомъ; они ищутъ другъ друга и чувствуютъ другъ къ другу взаимное влеченіе. Еслибы, очутившись въ этомъ обществѣ, я не нашелъ уже готовой пословицы, что *деньги илупцовъ—достояніе умныхъ людей*, то я непремѣнно выдумалъ бы ее. Я понялъ, что природа положила мою законную часть наслѣдства въ кошелекъ пагодъ, и сталъ придумывать тысячи способовъ, чтобы вступить въ обладаніе ею.

Я. Я уже знакомъ съ этими способами; вы мнѣ говорили о нихъ,

1) Такія маленькия китайскія изображенія боговъ съ качающимися головами были въ то время въ Парижѣ модной игрушкой.

и я восхищался ими; но почему-же пробуя столько способовъ, вы не попробовали написать что нибудь хорошее?

Онб. Когда я бываю наединѣ съ самимъ собою, я беру перо и хочу писать; я кусаю себѣ ногти, ломаю себѣ голову, но увы, вдохновенія нѣтъ; яувѣрилъ себя, будто у меня есть гений, но въ концѣ написанной мною строчки читаю, что я глупецъ, ничего болѣе какъ глупецъ. И развѣ можно чувствовать, возвышаться душой, мыслить, изображать яркими красками, когда ведешь знакомство съ такими людьми, которые нужны только для того, чтобы было что поѣсть, и когда не ведешь и не слышишь иного разговора, кроме болтовни въ родѣ слѣдующей: „Сегодня на бульварѣ было прелестно!“— „Слышали-ли вы маленькую Мармоттъ? она играетъ восхитительно.“— „У г-на такого-то была великолѣпная пара сѣрыхъ въ яблокахъ.“— „Красота г-жи такой-то начинаетъ увидать: развѣ можно носить такую прическу въ сорокъ пять лѣтъ?“— „Молодая Н. покрыта брилльянтами, которые ей ничего не стоятъ.“— Вы хотите сказать, что они стоятъ дорого?“— „Вовсе нѣтъ.“— „Гдѣ вы ее видѣли?“— „Въ театрѣ. Сцена отчаянія была такъ хорошо исполнена, какъ никогда. У ярмороchnаго полишинеля есть голосъ, но нѣтъ деликатности, нѣтъ души.“— „Г-жа такая-то родила за разъ двухъ дѣтей; каждый отецъ возьметъ своего...“ Неужели вы думаете, что ежедневно болтая и слушая такой вздоръ, можно вдохновиться и совершить какое нибудь великое дѣло?

Я. Нѣтъ; по моему лучше запереться на своеемъ чердакѣ, пить одну воду, питаться чорствымъ хлѣбомъ и углубляться въ самого себя.

Онб. Можетъ быть это и было бы лучше, но я не имѣю достаточно мужества, чтобы на это рѣшиться. Къ тому же пришлось бы пожертвовать своимъ благополучиемъ ради такого успѣха, который невѣренъ! А имя, которое я ношу?— Рамо! Талантъ не то, что наследственное дворянство; это послѣднее пріобрѣтаетъ все болѣе и болѣе блеска, переходя отъ дѣда къ отцу, отъ отца къ сыну, отъ сына къ внуку, но при этомъ прадѣдъ не требуетъ отъ своихъ потомковъ никакихъ личныхъ достоинствъ; старый родъ пускаетъ отъ себя многочисленное колено глупцовъ, но кому до этого дѣло?— Не то бываетъ съ талантомъ. Только для того, чтобы достигнуть известности своего отца, надо быть болѣе искуснымъ, нежели онъ; надо унаслѣдовать его фибрю.... Фибры у меня не хватило, но у меня развились ловкость въ рукахъ; смычекъ ходить и горшокъ стоять на плитѣ: если тутъ нѣть славы, за то есть бульонъ.

Я. На вашемъ мѣстѣ я бы не остановился на этомъ, я попытался бы.... Къ чему-бы мы ни приложили нашъ трудъ, окажется, что природа насъ предназначила къ тому.

Она. Она дѣлаетъ странные промахи. Что касается до меня, то я не смотрю внизъ съ такой высоты, откуда ничего не различишь — не различишь человѣка, обрѣзывающаго ножницами дерево отъ гусеницы, объѣдающей на деревѣ листья, а видны только два различ-

ныхъ насѣкомыхъ, изъ которыхъ каждое занято своимъ дѣломъ. Взлѣзьте, если вамъ это нравится, на эпициклъ Меркурия и оттуда, подражая Реомюру, распредѣляйте по классамъ всѣ творенія,—онъ будетъ распредѣлять мухъ на портнихъ, надзирательницъ, жицъ, а вы будете распредѣлять людей на столяровъ, плотниковъ, кро-вельщиковъ, танцовщиковъ, пѣвцовъ; это ваше дѣло и я въ него не мѣшаюсь. Я живу въ этомъ мірѣ и въ немъ остаюсь. Но такъ какъ въ природѣ веши имѣть аппетитъ,—я постоянно обращаюсь къ аппетиту, потому что это ощущеніе всегда мнѣ присуще,—то я не могу назвать хорошими такие порядки, при которыхъ не всегда имѣешь что есть. Что за дьявольское устройство! одни сыты по горло, а другіе, у которыхъ такой же неугомонный желудокъ и такое же безпрестанно возобновляющееся чувство голода, не знаютъ что перекусить. Но самое худшее изъ всего то, что нужда заставляетъ насъ принимать натянутыя позы. Нуждающійся человѣкъ не ходить какъ другіе, а прыгаетъ, пресмыкается, кривляется, ползаетъ и проводить свою жизнь въ томъ, что принимаетъ различныя позы.

Я. Что такое позы?

Онѣ. Спросите объ этомъ Новерра.¹⁾ Ихъ найдется въ мірѣ гораздо болѣе, чѣмъ сколькимъ можетъ подражать его искусство.

Я. Вотъ и вы,—по замѣту выраженію и по выраженію Монтэнія,—также взлѣзли на эпициклъ Меркурия и оттуда наблюдаете за различными пантомимами человѣческаго рода.

Онѣ. Нѣтъ, увѣряю васъ, что нѣтъ; я слишкомъ тяжелъ для того, чтобы взбираться такъ wysoko. Пусть журавли живутъ среди тумановъ, а я буду ходить по землѣ. Я наблюдаю за тѣмъ, что дѣлается вокругъ меня и принимаю позы, или же забавляюсь глядя на позы другихъ; я отличный пантомимъ и вы можете наглядно въ этомъ убѣдиться.

(Затѣмъ онъ сталъ улыбаться и представлять человѣка восхищающагося, человѣка умоляющаго и человѣка усугубляющаго; его правая нога выдвинута впередь, лѣвая отодвинута назадъ, спина согнулась, голова поднята вверхъ, взоръ точно будто прикованъ къ другимъ взорамъ, ротъ полуоткрытъ, рука натянута къ какому то предмету; онъ ждетъ приказанія, получаетъ его, летить какъ стрѣла, возвращается; приказаніе исполнено, и онъ доносить объ этомъ; онъ внимателенъ ко всему; онъ подымаетъ съ полу чѣмъ упало; онъ подаетъ подушку или скамейку подъ ноги; онъ держитъ блюдечко, подаетъ стулъ; онъ отворяетъ дверь, закрывается окно, задергиваетъ занавѣсь; онъ наблюдаетъ за хозяиномъ и за хозяйкой; онъ неподвиженъ, его руки висятъ, ноги стоять прямо; онъ прислушивается, онъ старается прочесть ихъ мысли на ихъ лицахъ). Вотъ моя пантомима, говорить онъ; она почти одна и та же у листецовъ, у царедворцевъ, у лакеевъ и у бѣдняковъ.

(Буфонады этого безумца, точно также какъ разсказы аббата

¹⁾ Знаменитый въ то время танцовальный учитель.

Галлани и смѣшные выходки Рабелѣ, иногда заставляли меня глубоко призадумываться. Это три складочныхъ мѣста, откуда я беру смѣшные маски, которая надѣваю на лица самыхъ важныхъ особъ и тогда мнѣ кажется будто въ прелатѣ я вижу Панталона, въ какомъ нибудь президентѣ—сатира, въ пустыннике—борова, въ министрѣ—страуса, въ его первомъ секретарѣ—гуся.) Однако, сказалъ я ему, изъ вашихъ словъ можно заключить что въ этомъ мірѣ много людей, которые живутъ милостыней, а между тѣмъ я не знаю никого, кто не былъ бы знакомъ хоть съ иѣкоторыми изъ вашего танца.

Онѣ. Вы правы. Во всемъ королевствѣ есть только одинъ человѣкъ, который ходить,—это король; а все остальные принимаютъ позы.

Я. Король? И противъ этого можно возразить кое-что. Неужели думаете вы, не случается, что при видѣ маленькой ножки, красивой шейки, хорошенькаго носика онъ не выдѣлывается передъ иими легкой пантомимы? Всякій, кому нужно чье либо расположение, есть человѣкъ нуждающійся и потому принимаетъ позы. Король принимаетъ позы передъ своей любовницей и выдѣлывается пантомиму, когда молится. Министръ выдѣлывается передъ королемъ пантомиму царедворца, льстеца, у служника и просителя милостыни. Толпа честолюбцевъ принимаетъ передъ министромъ наши позы, искашая ихъ на сто манеръ, изъ которыхъ одинъ хуже другого; знатный аббать въ своихъ брыжахъ и длинномъ верхнемъ платьѣ выдѣлываетъ то-же самое по меньшей мѣрѣ разъ въ недѣлю передъ тѣмъ, отъ кого зависятъ назначенія на церковныя должности. Увѣряю васъ, что то, что вы называете пантомимой бѣдняковъ, есть ничто иное какъ мірская суетня: у всякаго есть своя возлюбленная... и свой покровитель.

Онѣ. Мнѣ утѣшительно это слышать.

(Въ то время какъ я говорилъ, онъ такъ хорошо передразнивалъ тѣ личности, о которыхъ я упоминалъ, что смотря на него можно было умереть со смѣху. Напримѣръ, чтобы представить маленькаго аббата, онъ дѣлалъ видъ будто подъ мышкой у него шляпа, а въ лѣвой руцѣ требникъ; правой рукой онъ приподымалъ нижнія полы своей мантіи и подвигался впередъ, немного наклонивъ голову на бокъ, и такъ хорошо изображая лицемѣра, что мнѣ представилось, будто я вижу автора Réfutations передъ епископомъ Орлеанскимъ.)

Я. Это представлено въ совершенствѣ: однако есть такое существо, которое не нуждается въ пантомимѣ,—а именно философъ, ничего не имѣющей и ничего не выпрашивающей.

Онѣ. А гдѣ найти такое существо? Если у него ничего иѣть, оно страдаетъ; если оно ничего не просить, оно ничего не получитъ... и будетъ вѣчно страдать.

Я. Нѣть; Диогенъ насмѣхался надъ человѣческими нуждами.

Онѣ. Однако надо быть одѣтыми.

Я. Нетъ; онъ ходилъ совершенно голый.

Онѣ. Въ Аениахъ иногда бывало холодно.

Я. Не такъ холодно, какъ, здѣсь.

Онѣ. Тамъ людямъ надо было ѣсть.

Я. Конечно.

Онѣ. На чай-же счетъ?

Я. На счетъ природы. Къ кому обращается за пищей дикарь? Къ землѣ, къ животнымъ, къ рыбамъ, къ деревьямъ, къ травамъ, къ кореньямъ, къ ручьямъ.

Онѣ. Это—плохой столъ.

Я. Онъ обширенъ.

Онѣ. Но дурно изготовленъ.

Я. Однако это тотъ самый, отъ которого переходятъ къ болѣе изысканному.

Онѣ. Но вы согласитесь съ тѣмъ, что все это видоизмѣняется благодаря ловкости нашихъ поваровъ, пирожниковъ, трактирщиковъ, кондитеровъ. Чтобы держаться такой строгой диеты, вашъ Діогенъ долженъ быть имѣть не очень прихотливые органы.

Я. Вы ошибаетесь. Образъ жизни циника былъ когда-то образомъ жизни нашихъ монаховъ и отличался такими же добродѣтелями; циники въ Аениахъ были то же, что у насъ кармелиты и францисканцы.

Онѣ. Я ловлю васъ на этихъ словахъ. Стало быть Діогенъ также выѣзжалъ пантомиму, если не передъ Перикломъ, то по меньшей мѣрѣ передъ Лaisой и Фринеей.

Я. Вы еще разъ ошибаетесь: тѣ очень дорого платили распутной женщинѣ, которая отдавалась ему даромъ...

Онѣ. Но вѣдь мнѣ нужны и хорошая постель, и хороший столъ, и теплое платье зимой и легкое платье лѣтомъ; мнѣ нужны и спокойствіе, и деньги, и множество другихъ вещей, которыхъ я предпочитаю получать изъ рукъ благотворителей, чѣмъ добывать трудомъ.

Я. Это оттого, что вы лѣнивы, жадны, низки и грязны душой.

Онѣ. Я вамъ уже сознавался въ этомъ.

Я. Конечно удобства жизни имѣютъ свою цѣну; но вы не сознаете, какой цѣнѣ вы ихъ пріобрѣтаете. Вы выѣзжаете поддую пантомиму точно такъ-же, какъ вы выѣзжали ее до сихъ поръ, и какъ будете впредь ее выѣзжать.

Онѣ. Это правда; но мнѣ это ничего не будетъ стойти, а потому-то съ моей стороны и было-бы неблагоразумно привлекать другой аллюръ, который былъ бы для меня стѣснителенъ и отъ котораго я скоро бы отказался. Но изъ того, что вы сказали, я вижу, что моя бѣдная женка была въ своемъ родѣ философомъ; она была отважна какъ левъ: случалось, что у насъ не было куска хлѣба, а въ карманѣ ни копѣйки и что почти все наше старое тряпье было уже продано. Тогда я бросался на кровать, ломая себѣ голову надъ тѣмъ, у кого-бы занять одинъ экю, котораго я, конечно, никогда-бы не отдалъ. А она, веселая какъ птичка, садилась за фортепіано и пѣла, сама себя аккомпанируя; у нея было

соловьиное горло и я жалѣю, что вы не слышали ее. Когда я участвовалъ въ какомъ нибудь концертѣ, я бралъ ее со мною; дордгой я ей говорилъ: „Смотри-же, сдѣлай такъ, чтобы всѣ тобой восхищались, разверни весь твой талантъ и всѣ твои прелести, увлеки и преклони передъ тобою всѣхъ“.... Она пѣла, и увлекала и преклоняла всѣхъ передъ собой. Увы! Я потерялъ это доброе существо! Помимо ея таланта, у нея былъ такой маленький ротикъ, въ который едва бы могъ войти мизинецъ, и такие зубки, которые походили на нитку жемчуга; у нея были такие глазки, такія ножки, такая нѣжная кожа, такія щеки, такая походка, такія ручки, что могли бы служить моделью для скульптора. Рано или поздно у ея ногъ былъ бы поменьшей мѣрѣ главный откупщикъ. У нея была такая походка, такая манера вертѣть задомъ! Ахъ! Какъ она вѣртѣла задомъ!

(И вотъ онъ сталъ представлять походку своей жены. Онъ дѣлалъ маленькие шаги, закидывалъ голову назадъ, игралъ вѣромъ и вертѣль задомъ; это была самая забавная и самая оригинальная критика на нашихъ кокетокъ).

(Затѣмъ, продолжая свой разсказъ, онъ прибавилъ): я водилъ ее повсюду, и по Тюильрійскому саду и въ Пале-Рояль и по бульварамъ. Можно было заранѣе быть увѣреннымъ, что она покинетъ меня. Когда она проходила утромъ по улицѣ въ коротенькомъ платьице, вы остановились бы, чтобы посмотреть на нее и вамъ навѣрно захотѣлось бы поцѣловать ее. Всякій, кто замѣчалъ, какъ она быстро перебирала своими маленькими ножками и какъ тоненькая юпочки обрисовывали формы ся тѣла, ускорялъ шаги, чтобы догнать ее, а когда онъ былъ уже близко, она вдругъ поворачивала къ нему свою голову и устремляла на него свои черные блестящіе глаза, такъ что заставляла его внезапно остановиться,—потому что.... Но, увы! Я потерялъ ее, и вмѣстѣ съ ней исчезли всѣ мои мечты о богатствѣ. Я только для того и женился на ней; я сообщилъ ей мои планы, и она была достаточно благоразумна, чтобы ихъ одобрить....

(Затѣмъ онъ зарыдалъ и сказалъ): Нѣть, нѣть, я никогда не забуду этого горя. Съ тѣхъ поръ я сталъ жить какъ монахъ.... Однако, посмотрите который часъ; вѣдь мнѣ надо отправляться въ оперу.

Я. А что сегодня даютъ?

Онъ. Пьесу Довернья. Въ этой музыкѣ есть недурныя вещи, только жаль, что они не выдуманы самимъ авторомъ. Между покойниками есть такие, которые приводятъ въ отчаяніе живыхъ людей. Что-же дѣлать? *Quisque suos patimur manus.* Однако уже половина шестаго; я слышу звонъ колокола, призывающаго къ моей вѣчернѣй. Прощайте г-нъ философъ: не правда-ли что я все тотъ-же, какимъ былъ прежде?

Я. Увы! къ несчастію это правда.

Онъ. Пусть только это несчастіе продолжается еще дѣлъ сорокъ:
rira bien qui rira le dernier.

Издание К. Т. Солдатенкова.

- Аѳанасьева. Народные Русские сказки. 4 части. Изд. 2. М. 1868 г. Ц. 6 р.
— Поэтическая возвратная Славянка на природу. 3 части. М. 1868 г. Ц. 8 р.
- Берга. Записки об осаде Севастополя. 2 части. М. 1865 г. Ц. 2 р. 50 к.
— Севастопольский альбомъ (37 рисунковъ). М. 1865 г. Цѣна 7 р.
- Буасье, Гастонъ. Римская религія. Перев. *М. Корсакъ*. М. 1878 г. Ц. 5 р.
— — — Цицеронъ и его друзья. — — — М. 1880 г. Ц. 2 р.
- Бѣра. Исторія всемирной торговли. 3 ч. Пер. Э. Чиммермана. М. 1876 г.
Цѣна 7 р. 50 к.
- Вегеле, Франца. Данте Алигьери, его жизнь и сочиненія. Перев. А. Н. Веселовскаго. М. 1881 г. Ц. 3 р.
- Веселовскій А. Н. Этюды о Мольерѣ. Мизантропъ. М. 1881 г. Ц. 2 р.
- Вейса. Внѣшний бытъ народовъ съ древнейшихъ до нашихъ временъ.—
6 частей (съ 1945-ю рисунками въ текстѣ) въ пер. *В. Чаева и И. Васильева*. М. 1879 г. Цѣна 24 рубля.
- Вольского. Историческое народно-хозяйственное значение обработки земли
крестьянами-собственниками. М. 1865 г. Цѣна 2 р. 50 к.
- Гартмана. Сущность мірового процесса или философія безсознательного,
въ 2-хъ книгахъ. *А. Козлова*. М. 1876 г. Цѣна 4 р. 50 к.
- Геттнера. Исторія всеобщей литературы XVIII вѣка Т. III, кн. I и II.
М. 1872 г. Цѣна 4 р. 75 к.
- Гизо. Исторія цивілізаціи во Франціи. Т. I, II, III и IV, Пер. *П. Г. Виноградова*. М. 1877 г. Цѣна 8 руб.
- Ешевскаго. Сочиненія, 3 части. М. 1875 г. Цѣна 6 р.
- Забѣлина, И. Е. Кунцево и древній сетунскій станъ. М. 1872 г. Ц. 2 р.
- Игеринга. Борьба за право. Пер. *П. Волкова*. М. 1872 г. Цѣна 75 к.
- Кавелина. Сочиненія, 4 части. М. 1875 г. Цѣна 5 р.
- Каррьера. Искусство въ связи съ общимъ развитиемъ культуры. Т. I, II,
III, IV и V. Пер. *Е. Корша*. М. 1874 г. Цѣна 20 р.
- Ключевскаго. Древнерусская житія святыхъ, какъ исторический источ-
никъ. М. 1875 г. Цѣна 2 р.
- Корсакъ. Первоначальные уроки грамматики. М. 1879 г. Цѣна 60 к.
- Куглера. Руководство къ исторіи искусства. Пер. *Е. Корша*. 2 ч. М. 1870
г. Ц. 10 р.
— Руководство къ исторіи живописи. Пер. *И. Васильева*. М. 1870 г. Ц. 7 р.
- Курциусъ. Исторія Греціи. 3 части. Пер. *А. Веселовскаго и М. Корсакъ*.
М. 1880 г. Цѣна 12 р.
- Кольцовъ, А. В. Стихотворенія. Издание 7-е. М. 1880 г. Ц. 20 коп.
- Лотце. Микрокосмъ. 3 части. Пер. *Е. Корша*. М. 1870 г. Цѣна 6 р. 50 к.
- Любкѣ. Исторія пластики (съ 231-мъ рисунк. въ текстѣ). Перев. *В. Чаева*
М. 1873 г. Цѣна 6 руб.
- Марта. Философы и поэты-моралисты во времена Римской Имперіи.
Пер. *М. Корсакъ*. М. 1879 г. Ц. 2 р.
- Моммсена. Римская исторія. Т. I и II. Перев. *Н. Д. Ашмаринова*. Т. III.
Перев. *А. Веселовскаго*. М. 1880 г. Ц. за три тома 13 р.
- Морлея Дж. Руссо. Пер. съ англійскаго. *В. Н. Невѣдовскаго*. М. 1862.
Ц. 2 р. 50 к.

- Маурера.** Введеніе въ исторію общиннаго, подворного, сельскаго и городскаго устроенія и общественной власти. Пер. В. Корша. М. 1880 г. Цѣна 2 руб. 75 к.
- Огарева.** Стихотворенія. Изд. 3. М. 1871 г. Цѣна 50 к.
- Полонскаго Я. П.** На закатѣ. Стихотворенія. М. 1881 г. Цѣна 1 р. 25 к.
- Попова.** Россія и Сербія. 2 части. М. 1872 г. Цѣна 4 р.
- Рихтера.** Влияніе целлюлярной патологіи. М. 1872 г. Цѣна 1 р.
- Рибо.** Современная Англійская психологія. Перев. П. Д. Боборыкинъ. М. 1881. Цѣна 2 р.
- Рѣшетникова.** Сочиненія, 2 части. М. 1874 г. Цѣна 5 р. 50 к.
- Саади-Ширази.** Гюлистанъ. Съ персидскаго подлинника пер. И. Холмогоровъ. М. 1882 г. Ц. 1 р.
- Страбона.** Географія (въ 17 книгахъ, 1 т.). Перев. съ греческаго Ф. Г. Мищенка. М. 1879 г. Цѣна 10 р.—
- Сурикова.** Стихотворенія. Изд. третье, полное. М. 1877 г. Цѣна 1 р.
- Тацита.** Автосісъ. Перев. К. Кронеберга. М. 1865 г. Цѣна 1 р. 50 к.
- Трачевскаго.** Польское безкоролевье. М. 1865 г. Цѣна 3 р.
- Тренделенбурга.** Логическія изслѣдованія. 2 части. М. 1868 г. Ц. 4 р.
- Тена.** Чтенія объ искусствѣ. М. 1874 г. Цѣна 2 р.
- Фета.** Стихотворенія. 2 части. М. 1868 г. Цѣна 2 р.
- Финлей.** Гречія подъ римскимъ владычествомъ. Пер. С. Никитено. Москва. 1876 г. Ц. 4 р.
- Фрикена.** Римскія катакомбы и памятники первоначального христіанскаго искусства (съ рисунками). Части I, II и III. М. 1880 г. Ц. 4 р.
- Фюстель-Куланжъ.** Гражданская община античнаго міра. Перев. Е. Корша. М. 1867 г. Цѣна 2 р. 50 к.
- Чичерина.** Исторія политическихъ учений. Часть 1, 2, 3 и 4. М. 1876 г. Ц. за каждую 3 р.
— Нѣсколько современныхъ вопросовъ. М. 1876 г. Цѣна 1 р.
— Областныя учрежденія. М. 1876 г. Цѣна 3 р.
— Опыты по истории русскаго права. М. 1876 г. Цѣна 1 р.
— Очерки Англіи и Франціи. М. 1876 г. Цѣна 1 р.
- Шекспира.** Полное собрание драматическихъ сочиненій. Перев. Н. Кемчера. 9 частей. Ц. 10 р.
- Шилова.** Ключ или алфавитный указатель къ Исторіи Россіи С. Соловьева. Съ 6-ю родословными таблицами. М. 1870 г. Цѣна 3 р.
- Шмидта, Карла.** Исторія педагогики, изложенная во всемирно-историческомъ развитіи и въ органической связи съ культурною жизнью народовъ. Съ третьяго изданія, дополненного и исправленного Б. Жане, пер. Э. Циммермана. Томъ I, II, III и IV (IV-й томъ въ 2-хъ частяхъ). М. 1880 г. Цѣна за всѣ томы 20 р.